ДЖОН

СТЕЙНБЕК

Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ***

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Чхиквишвили И. И.
Шамота Н. З.

ДЖОН СТЕЙНБЕК

КВАРТАЛ ТОРТИЛЬЯ-ФЛЭТ

●

ГРОЗДЬЯ ГНЕВА

●

ЖЕМЧУЖИНА

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1977

Вступительная статья и примечания
А. Мулярчика

И(Амер)
С 79

Иллюстрации
П. Пинкисевича

С $\frac{70304\text{-}131}{028\ (01)\text{-}77}$ подписное

© Издательство «Художественная литература», 1977 г.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ДЖОНА СТЕЙНБЕКА

Джон Стейнбек (1902—1968) — одна из наиболее заметных и сложных фигур в современной литературной истории Соединенных Штатов; его человеческая и писательская судьба соткана из глубоких противоречий.

Художник-гуманист, создатель ярких произведений, посвященных трудовой, демократической Америке, в последние годы жизни он нанес серьезный ущерб своей репутации непримиримого критика буржуазного уклада, поддержав бесславное вмешательство правящих кругов США во внутренние дела народов Индокитая. Долгое время Стейнбек находился среди ведущих представителей социально-критического направления в американской прозе, и в его «Гроздьях гнева» (1939) передовая критика видела дальнейшее развитие прогрессивных традиций литературы США XX века, связанных с именами Джона Рида, Теодора Драйзера, Эптона Синклера, писателей школы «пролетарского романа» 30-х годов. Позднее буржуазное литературоведение приложило немало усилий, чтобы умалить значение лучших книг Стейнбека, а его самого представить в качестве «живой реликвии», обломка эпохи, навсегда ушедшей в прошлое. Творческий спад, отчетливо обозначившийся у Стейнбека с конца 40-х годов, действительно давал одно время основания для пессимистических суждений, однако публикация романа «Зима тревоги нашей» (1961) и путевых заметок «Путешествие с Чарли...» (1962) вновь подтвердила высокое мастерство американского прозаика, его преданность идеалам действенного гуманизма.

Не все, написанное Стейнбеком в продолжение почти сорока лет его литературных трудов, равноценно и может быть причислено к достижениям американского критического реализма. Если путь писателя в 30-е годы был отмечен последовательным укреплением реалистических тенденций и наращением критического потепциала, то впоследствии он опубликовал ряд откровенно слабых книг, насыщенных абстрактным морализированием, полумистическими настроениями. Сложность творческой эволюции автора

«Гроздьев гнева» неоспорима, однако и в годы стремительного роста его популярности, и в безвременье маккартизма, наложившего гнетущий отпечаток на всю духовную жизнь в Америке, писатель сохранил верность демократическим принципам — ведущему и наиболее плодотворному фактору в сложной системе его идейно-эстетических воззрений.

Прежде чем стать профессиональным литератором, Джон Стейнбек переменил и перепробовал множество занятий. Его родители, люди скромного достатка, не имели возможности постоянно помогать своему единственному сыну (в семье было еще три дочери), и молодые годы будущего прозаика прошли в борьбе за образование, которое можно было получить только ценой тяжелого физического труда. «Я беден, чертовски беден. Сначала мне нужно накормить других, а уж потом поесть самому. Я должен жить среди грязной посуды и засаленных фартуков, чтобы получить право изучать психологию и логику»,—писал он, делясь впечатлениями от работы в кафе калифорнийского городка Пало-Альто.

Так и не окончив курса в Стэнфордском университете, Стейнбек долго скитался по дорогам своего родного штата, работал на ранчо, на строительстве автострад, мыл пробирки в химической лаборатории, стоял за прилавком галантерейной лавки. Ветер странствий занес молодого калифорнийца в Нью-Йорк, где ему удалось устроиться на несколько месяцев репортером в газету «Амэрикен». По возвращении Стейнбека осенью 1927 года в Калифорнию пора исканий завершается. Уверившись в своем писательском призвании, он находит время для работы сразу над несколькими замыслами, и в августе 1929 года в одном из второстепенных нью-йоркских издательств выходит в свет его первое крупное произведение — роман «Золотая чаша».

Литературный дебют Стейнбека вряд ли можно было полагать удачным как с коммерческой, так и с собственно художественной точки зрения. В написанной в авантюрно-развлекательном ключе «Золотой чаше» чувствуется привязанность автора к сложившимся беллетристическим штампам. По своему жанру это был исторический роман, действие которого разворачивалось в Англии времен реставрации Стюартов, а также на побережье Карибского моря, получившем в ту экзотическую эпоху наименование Пиратского берега. Центральный персонаж книги — английский корсар Генри Морган, реальное историческое лицо; получив под конец жизни прощение у короля Карла II, он не захотел покидать Нового Света и был назначен губернатором колонии на острове Барбадос.

Рассказ о приключениях одного из самых знаменитых «джентльменов удачи» писатель стремился согласовать с изображением нравственной эволюции своего героя, его перехода от бунтарских порывов юности к умудренной перенесенными разочарованиями успокоенности предзакатных лет. Сама тема возвышения «сильной личности» и ее морального краха была

как нельзя более характерна для литературы США первых десятилетий XX века. Связь романа Стейнбека с мироощущением 20-х годов, отразившемся в таких общепризнанных шедеврах, как «Американская трагедия» Драйзера и «Великий Гэтсби» Фицджеральда, несомненна, но разработка автором «Золотой чаши» некоторых важных для американской литературы мотивов лишена оригинальности и глубины. Авантюрный сюжет и обилие всевозможных аллегорий не смогли заменить Стейнбеку в его первой книге отсутствия реалистической достоверности и психологической объемности характеров.

Гораздо большей самобытностью и художественным единством были отмечены романы «Неведомому богу» и «Небесные пастбища», опубликованные в самом начале 30-х годов. В них впервые выявился круг проблем, философских интересов и эстетических решений, выделивший Стейнбека среди тогдашних дебютантов. Начиная с этих романов на страницы книг Стейнбека приходят хорошо знакомые ему по собственному опыту простые люди Америки — фермеры, батраки, пастухи-мексиканцы, бездомные бродяги. Так создавалась «страна Стейнбека», охватившая полуостров Монтерей и долину Салинас в Южной Калифорнии — местожительство своеобразных и иногда чуть-чуть условных персонажей многих его произведений. В то же время в этих романах наглядно проявилось противоречие мировоззрения и творческого метода американского прозаика — сложное взаимопереплетение реализма и натурализма, борьба многомерной социально-психологической интерпретации человеческого поведения с умозрительными, мистико-биологическими концепциями.

В романе «Неведомому богу» обращение Стейнбека к потустороннему, сверхъестественному началу получает, пожалуй, наиболее последовательное развитие. Повествование о фермерской семье Уэйнов, переселившейся из восточного штата Вермонт в долины Калифорнии, становится как бы исследованием различных путей, объединяющих земной и трансцендентный планы существования человека. Центральное место в романе занимает обоснование особой «естественной религии», глашатаем и первосвященником которой выступает его главный герой Джозеф Уэйн. Религиозные стремления, свойственные, по мнению Стейнбека, каждому человеку, принимают у Джозефа форму своеобразного языческого пантеизма, когда личное общение со сверхъестественным происходит через посредство всей необъятной природы. Видения и призраки, души умерших и символы обновляющейся жизни, друиды и дриады из вечнозеленых калифорнийских лесов теснятся в воображении Джозефа, наделенного острой впечатлительностью и богатой фантазией.

Трактовка Стейнбеком темы природы указывает на еще одну (наряду с обращением к религиозной символике) особенность его творческого метода, получившую в литературе о писателе наименование «анимализма». Вслед за американскими натуралистами конца XIX — начала XX века Стейнбек нередко уподобляет жизнь людей процессам, происходящим в жи-

вотном мире. Коршун преследует кролика, дикие свиньи с жадностью пожирают угрей на дне высохшего пруда — эти картины жестокой борьбы за существование призваны, согласно мысли автора, пролить свет на загадки человеческого общежития.

«Анимализация» человека, сведение всех его эмоций и поступков к кругу чисто инстинктивных, биологических реакций — отзвуки этой концепции, впервые художественно сформулированной Стейнбеком в романе «Неведомому богу», будут не раз возникать и в его более поздних произведениях. Органичность природного мира — вот основная опора миросозерцания писателя, находившегося в числе всей школы «калифорнийских романистов» (Ф. Норрис, Дж. Лондон и другие) под несомненным влиянием философии Герберта Спенсера. Однако узость позитивизма преодолевается Стейнбеком, как только он отходит от живописания библейской «первозданности» к изображению реальной жизни своих современников. И проявляется это уже в его следующей книге, романе «Небесные пастбища», первом по-настоящему зрелом произведении молодого прозаика.

Раздумывая о причинах драматизма человеческих судеб, Джон Стейнбек нередко видел их в игре таинственных темных сил, в роковой предопределенности, распространяющей свою власть на все живое. Влияние этих представлений сказалось и на замысле «Небесных пастбищ», и на композиции произведения. В каждой из десяти историй, складывающихся в цельное повествование, рассказывалось о какой-либо катастрофе, неизменно наступавшей в жизни людей вследствие вмешательства в их судьбу злого начала, невольным носителем которого выступает центральный персонаж книги, калифорнийский фермер Берт Мунро. Помимо своей воли Берт и его семья становятся тем орудием рока, что кладет конец безмятежности существования чудаковатого отшельника Джулиуса Малтби и его сына Робби, разрушает хрупкие мечты о счастье учительницы Молли Морган, приводит к трагической гибели маленькую Хильду ван Девентер и индейца Туларесито.

Схематизм и наивность подобного подхода к изображению сложности человеческих характеров очевидны, однако в процессе работы над книгой реализм Стейнбека-художника одерживает безоговорочную победу над отвлеченными мотивами фатализма и мистики. В одной из заключительных глав повествования — новелле об упадке рода Джона Уайтсайда, самого уважаемого из фермеров долины, писатель приходит к подлинной разгадке трагических событий, обрушивающихся на обитателей «райских полей». Дело не в роке, воплощенном в Мэй Мунро, которая выходит замуж за младшего Уайтсайда и настаивает на ломке всего привычного жизненного уклада, а в наступлении новой эпохи корыстолюбия и прагматизма. Противоречия между отцами и детьми, между Джоном Уайтсайдом, погруженным в «Георгики» Вергилия, и его сыном Биллом, уже в юном возрасте обнаруживающим незаурядные способности будущего бизнесмена,— это противоречие между мыслителями и дельцами. И заключительная сцена пожара в усадьбе Уайтсайдов выразительно символизирует сдачу прежним

поколением своих позиций, окончательное торжество в американской жизни меркантильного, антигуманного начала.

Печальная ирония и элегическая созерцательность составляют основу эмоционального фона «Небесных пастбищ», но порой Стейнбеку удается выйти за пределы этого настроения, и тогда все силы его взрослеющего таланта устремляются на прославление внутренней красоты человека, духовного величия, которое проявляется в решающую минуту в самых обыкновенных, прежде совсем незаметных людях. Традиционное для американской литературы со времен «Уайнсбурга, Огайо» Шервуда Андерсона (1919) обращение к персонажам-«гротескам» уступает тогда место одухотворенному порыву, возносящему человека над привычной средой и сулящему надежду на лучшее будущее. Так, Стейнбек показывает, какие сокровища самоотверженности и веры скрываются в душе преследуемой своим непутевым мужем, забитой Катарины Уикс, как сильна и стойка романтическая любовь Пэта Хамберта к Мэй Мунро, заглушающая в нем навязчивые воспоминания прошлого и приносящая Пэту неведомую прежде радость жизни.

В «Небесных пастбищах» впервые проявляется столь характерный для Стейнбека глубокий гуманизм, решимость при любых обстоятельствах полагаться на изначальную склонность людей к добру, верить в чистоту и благородство их устремлений. Этот современный руссоизм не лишен, разумеется, утопичности, что осознавалось и самим писателем. Не случайно свой идеал естественности и независимости поведения и убеждений он связывает в первую очередь с образом Джона Уайтсайда, печальный конец которого как бы замыкает собой идейно-художественную панораму произведения.

Общественно-историческая обусловленность трагедии личности в буржуазном мире, разумеется, еще не в полной мере осознавалась автором «Небесных пастбищ». Но тем не менее уже в этой ранней книге писатель стремился к более широким философским и социальным истолкованиям, чем это, казалось бы, позволяли ему узкие рамки рассказа о «блаженной» долине и ее немногочисленных обитателях. После псевдогероики «Золотой чаши» и метафизической проблематики романа «Неведомому богу» Стейнбек приходит здесь, в первом пока приближении, к осмыслению подлинных конфликтов современности.

Несмотря на растущее мастерство рассказчика и стилиста, ранние книги Стейнбека не привлекли к нему внимания широкого читателя и критики. Лишь с публикацией в 1935 году повести «Квартал Тортилья-Флэт» в его литературной судьбе наметился перелом. Впервые имя писателя появляется в списке авторов бестселлеров, он получает премию и золотую медаль за лучшую книгу года, написанную калифорнийцем. Повесть инсценируют для сцены (впрочем, неудачно), пытаются экранизировать в Голливуде и одновременно... публично осуждают на специально созванном заседании Торговой палаты Монтерея, города, известность к которому пришла в основном благодаря произведениям Стейнбека.

Это столкновение точек зрения в какой-то мере предвосхитило грандиозную полемику в масштабе всей нации, развернувшуюся несколько лет спустя вокруг «Гроздьев гнева» и отраженных в романе картин народного страдания. В «Квартале Тортилья-Флэт» Стейнбек, еще не претендуя на эпичность, заметно усиливает и обогащает демократические интонации своего творчества. Продолжая намеченные в предыдущих романах поиски современных Аркадий, он одновременно делает еще один шаг по пути реализма и открывает новых для себя героев, людей, обитающих, согласно официальной статистике и распространенным предрассудкам, на самом «дне» американского общества.

Главная особенность калифорнийских paisanos [1], бездомных и полунищих бродяг, которых предпочитают сторониться респектабельные обыватели Монтерея, заключается в их лишь отчасти осознанном протесте против фундаментальных основ буржуазной цивилизации. «Пайсано не заражены коммерческим духом,— пишет Стейнбек,— они не стали рабами сложной системы американского бизнеса; да она, впрочем, и не слишком стремилась их опутать — ведь у них нет имущества, которое можно было бы украсть, оттягать или забрать в обеспечение займа». Простодушные «дети земли», они, как может показаться, живут лишь для удовлетворения своих самых элементарных потребностей, но писатель опровергает готовое было сложиться впечатление, показывая, как грубость нравов сочетается у пайсано с возвышенными стремлениями, наивное лицемерие — с неподдельным простодушием, а тонкий и хитрый расчет — с редкостным бескорыстием.

С точки зрения стороннего наблюдателя, герои повести — Дэнни, Пилон, Пабло, Большой Джо Португалец — обыкновенные бездельники и плуты. И все же именно в честь Дэнни, главы и покровителя остальных пайсано, собирается на неслыханный в истории города праздник все население квартала Тортилья-Флэт, именно Дэнни и его друзей имеет в виду автор, когда говорит о единстве, от которого исходили радость и веселье, готовность помочь и — уже под конец — мистическая печаль. И эта оценка оправдана, ибо в глубине души каждого пайсано лежит органическая неприязнь к собственности и наживе, ему присущ по-детски открытый взгляд на мир. Друзья живо откликаются на несчастье, постигшее многочисленное семейство Терезины Кортес, поставленное перед угрозой голодной смерти; они мгновенно отказываются от посягательств на сокровища Пирата, как только узнают, для какой возвышенной цели оно предназначалось. Особенно трогательна их забота о заболевшем ребенке молодого мексиканского капрала: даже чуждый сантиментам сухой рационалист Пилон не остается в стороне и с увлечением включается в общее дело.

Однако все обаяние веселой компании калифорнийских бродяг, этих близких родственников знаменитых горьковских босяков, не в состоянии затушевать непрочность и конечную несостоятельность их неизменной фи-

---

[1] Земляки, соотечественники *(исп.)*.

лософии. Слабые стороны его героев, безусловно, были заметны и самому Стейнбеку, и поэтому неправомерно видеть в его книге безоговорочную идеализацию примитивизма в человеческих взаимоотношениях. О критическом отношении автора к созданным им характерам свидетельствует, в частности, развязка повести — распад сообщества, члены которого внутренне всегда были слабо связаны между собой. И все-таки сердцевину произведения Стейнбека составляло объективно возникавшее противопоставление парадоксально-наивного, в чем-то ребяческого, но привлекательного своей естественностью и простотой склада мышления и жизни пайсано — суровой действительности Америки времен «великого кризиса».

В «Квартале Тортилья-Флэт», по существу, завершилось формирование общефилософских взглядов Стейнбека, получивших в критической литературе о нем наименование «нетелеологического мышления». «Все живое — свято»,— полагает Стейнбек, и в простодушном монтерейском пайсано он стремится в наиболее чистом, первозданном виде представить диалектику души каждого создания из плоти и крови, этой «сложной смеси добра и зла». Резкие контрасты и противоречия заложены, по убеждению писателя, в духовном мире каждого человека; их можно проследить в любом житейском эпизоде. Жизненные явления никогда не бывают однозначными, а безобразие и красота составляют лишь различные, но далеко не автономные грани одного и того же предмета — такова точка зрения Стейнбека в «Квартале Тортилья-Флэт», отразившаяся и во многих его дальнейших произведениях.

Идиллическая повесть-сказка, нарочито отстранявшаяся от прямого участия в идеологических битвах, сотрясавших США в 30-е годы, явилась, по выражению известного американского критика-демократа М. Гайсмара, «последней экскурсией Стейнбека в мир привольного язычества перед принятием на себя ответственности писателя, творящего в век кризиса». Десятилетие от 1936 до 1945 года, отмеченное широким размахом рабочего движения и участием США во второй мировой войне, стало свидетелем наивысших творческих успехов Стейнбека, достижения им пика своей популярности. Его книги этого периода откликались на самые жгучие проблемы национальной жизни, а позднее, в годы войны, Стейнбек активно выступил в защиту принципов демократии от смертельной угрозы фашизма. От года к году совершенствовалась и художественная форма его произведений, развивавших и обогащавших поэтику критического реализма. Одним из «самых талантливых прозаиков нашего времени» назвал Стейнбека Т. Драйзер после выхода в свет в 1939 году «Гроздьев гнева», и с ним была готова согласиться вся американская литературная критика, почти единодушно сходясь на том, что важнейшей причиной успеха писателя послужило его последовательное обращение к социальной проблематике, к изображению острейших конфликтов между трудом и капиталом.

Необходимо отметить, впрочем, что Стейнбеку не сразу удалось до конца правдиво и художественно верно представить в своем творчестве поло-

жение трудящихся в Америке, деятельность прогрессивных организаций. В романе «Битва с исходом сомнительным» (1936), посвященном стачке сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии, писатель еще только ищет пути к адекватному художественному воплощению проблем и перспектив американского рабочего движения. В новой книге Стейнбека радикально преобразились многие, уже ставшие привычными, слагаемые его манеры; подчеркнуто контрастным оказался переход от уютно-идиллического мирка Монтерея с его рокотом голубого прибоя и убаюкивающим шумом сосен к озаренным дымным пламенем костров и вспышками револьверных выстрелов сценам забастовочной борьбы в долине Торгас.

В лице Джима Нолана, одного из руководителей стачки, этого «американского Парцифаля», как назвал его литературовед У. Френч, Стейнбек приходит к совершенно новому для себя типу героя. Родным домом Нолана были трущобы фабричного города; отчаяние и гнев стали для него путеводителем по жизни. Свою мученическую смерть от руки штрейкбрехера он встречает убежденным борцом за дело рабочего класса. «Этот парень не хотел ничего только для себя»,— так начинает надгробную речь учитель и соратник Джима Мак. «Его голос звучал пронзительно, но монотонно, руки изо всех сил сжимали железный поручень платформы: «Товарищи, знайте: он ничего не хотел только для себя одного».

Но идейный смысл романа «Битва с исходом сомнительным» не исчерпывался, к сожалению, яркой демонстрацией исторической неизбежности жестоких классовых конфликтов в стране, не так давно изображавшейся в качестве образца «социальной гармонии». Хотя симпатии Стейнбека отданы бастующим, стремление писателя к «сбалансированию» противоположных точек зрения нередко лишает его произведение идейной ясности. Мак и Джим искренне преданы «общему делу», оба они часто повторяют, что «революция излечит социальную несправедливость», но практически их деятельность, как настаивает автор, не приносит их подопечным ничего, кроме горестей и разочарования. Идеологическая незрелость американского рабочего движения тех лет, в частности, элементы догматизма в политической агитации компартии США, безусловно, создавали основания для скептицизма Стейнбека. Однако, справедливо подмечая отдельные недостатки широкого, многопланового движения, писатель порой склонялся в своем «стачечном романе» к их абсолютизации.

Будучи важным этапом эволюции прозаика, «Битва с исходом сомнительным» в то время послужила как бы черновым наброском к величественной фреске народной жизни, вскоре запечатленной Стейнбеком в романе «Гроздья гнева». Роль такого же «подготовительного эскиза» сыграла и повесть «О мышах и людях» (1937), где писателю удалось избежать как налета утопичности, так и подчинения фактов жизни задуманной наперед абстрактной идее.

Жесток и неприветлив мир, окружающий героев этой книги Стейнбека, батраков-сезонников Джорджа и Ленни. «Парни вроде нас, те, что рабо-

тают на ранчо,— говорит Джордж,— самые одинокие парни во всем мире. У них нет семьи, у них нет дома. В жизни им не на что надеяться». Хотя вместе со своим чудовищно сильным и в то же время слабоумным товарищем Джордж мечтает о покое и счастье, сам он хорошо понимает всю несбыточность подобных устремлений. Столь же горька судьба и других обитателей жалкого барака на берегу Салинас-ривер: старика Кенди, который потерял на работе руку и теперь со дня на день ожидает расчета, негра-горбуна Крукса, живущего в постоянном страхе перед хозяевами фермы.

Развязка повести — трагическая гибель Ленни от руки друга, становящаяся как бы его «спасением» перед угрозой суда Линча, подчеркивает безысходность как один из важных мотивов произведения. Однако не менее сильна в нем тема мужской дружбы, согревающей и хоть как-то осмысляющей существование главных персонажей повести. Мечты двух бесприютных, отверженных рабочих о собственном доме и ветряной мельнице, о жарко натопленной печке и длинноухих пушистых кроликах под стать уровню их развития и сознательности, но вместе с тем они глубоко естественны и человечны. Трогательная тоска по безыскусственному, немудреному, но все еще недоступному миллионам простых людей в Америке идеалу была передана Стейнбеком с волнующим трагизмом, с удивительной задушевностью. Вместе с пафосом социального негодования это чувство стало отличительной особенностью идейно-художественного строя опубликованных два года спустя «Гроздьев гнева».

Написанная на основе непосредственных личных впечатлений книга Стейнбека явилась откликом на резкое обострение социально-экономической ситуации в США в конце 30-х годов. Летом 1937 года многие центральные штаты к западу от среднего течения Миссисипи были поражены сильной засухой, сопровождавшейся выветриванием почвы, «пыльными бурями». Тысячи разорившихся фермеров и арендаторов покидали родные места. Так возникла огромная волна переселенцев, мигрирующих сельскохозяйственных рабочих, искавших пристанища и заработка в долинах «золотого штата» Калифорнии. Запечатлев события и социальный смысл этого «переселения народов», роман «Гроздья гнева» в кратчайшее время приобрел общенациональную славу как символ антикапиталистического протеста, которым была проникнута общественная атмосфера Соединенных Штатов в незабываемую пору «красного десятилетия».

Силе и четкости выражения прогрессивных идей в лучшем романе Стейнбека во многом способствует его оригинальная композиция. Эпическому повествованию об испытаниях, выпадающих на долю переселенцев, сопутствуют меньшие по объему главы-интерлюдии, предоставляющие трибуну для открытого выражения мыслей и чувств автору. В прямом обращении к читателю Стейнбек говорит о классовой дифференциации среди фермеров, об обнищании арендаторов, возделывающих поля Оклахомы, об эксплуатации и грабеже народа крупными компаниями, о непреодолимой пропасти, разделяющей неимущих и собственников. Эти наполовину публи-

цистические главы складываются в цельную картину сотрясаемого ударами кризиса общественного уклада и демонстрируют обширную галерею представителей почти всех слоев населения Соединенных Штатов. Среди них и согнанный с земли крестьянин, и растерянный бизнесмен, и беззастенчивый, циничный делец, извлекающий выгоду из народного горя. Но особенно близка Стейнбеку судьба семьи Джоудов, полуграмотных простолюдинов, по праву вошедших наравне с другими бессмертными творениями литературы США в пантеон американского духа.

История злоключений Джоудов на пути из Оклахомы в Калифорнию — один из немногочисленных образцов героической саги XX столетия. Писатель нисколько не приукрашивает своих героев, рисуя их в том «природном» виде, что возникает под воздействием конкретных условий жизни и биологического склада личности. Искренность художника не позволяет Стейнбеку затушевывать в Джоудах черты грубости, ограниченности и даже патологии (образы Ноя, дяди Джона). Но писатель-реалист не ограничивается выдержанным в традициях натурализма бесстрастно-поверхностным запечатлением «куска действительности», и на примере Ма Джоуд и ее сына Тома показывает закономерную эволюцию неразвитого вначале сознания трудового человека, его приход к мысли о неизбежности протеста и борьбы.

Оставаясь верным художественной правде, писатель не стал намеренно усложнять характеры Джоудов. Однако он увидел в них главное — бесстрашие и настойчивость, мужество и выдержку, верность традициям рода и тем немудреным, но органичным понятиям о чести, долге и справедливости, что поддерживают сплоченность ядра семьи даже в часы самых суровых испытаний. Без паники, с достоинством встречают Джоуды известие о том, что банки и тресты — эти таинственные безликие чудовища — лишают их земли и средств к существованию; спокойствие душевного величия и сознания собственной правоты не покидает Ма Джоуд и перед лицом голодной смерти в финале книги.

«Гроздья гнева» — боевое, разоблачительное произведение, занимающее выдающееся место в прогрессивной мировой литературе, проникнутой духом освободительных идей. Правдиво воспроизводя обстановку конца 30-х годов, американский писатель сумел уловить характерные для различных слоев населения оттенки всеобщего недовольства и разочарованности. Стейнбек едко иронизирует над обезумевшими от страха собственниками, видевшими в любом независимо мыслящем человеке «красного агитатора» и «большевика». С другой стороны, он не склонен скрывать и тех слабостей, которые и по сей день существуют в американском рабочем движении. В одной из публицистических глав Стейнбек с грустью говорит о том, что ненависть к «Оки», пришельцам из Оклахомы, Арканзаса и других восточных штатов, разделяли и рабочие из Калифорнии, напуганные перспективой конкуренции и снижения заработной платы. Вместе с тем писатель отчетливо осознает, что разобщенность людей возникает как следствие «болезненного зуда собственности», как результат вполне осознанных намере-

ний класса капиталистов превратить свободных американцев в наемных рабов.

Размышляя о том, что препятствует свободной и счастливой жизни американцев, Стейнбек довольно сдержанно оценивает деятельность федеральных властей США, пытавшихся при помощи полумер смягчить тяжелые последствия экономического кризиса. Немало места во второй половине романа уделено описанию правительственного лагеря для безработных, одного из немногочисленных в стране «островков безопасности» среди моря насилия и произвола. «Здесь Соединенные Штаты, а не Калифорния»,— гордо заявляют жители этого приюта для бездомных, но писатель убежден в том, что ключ к решению проблемы — не в правительственной инициативе, а в чувстве коллективизма и взаимной выручки, которое органично возникает при условии предоставления людям возможности свободно распоряжаться собственной судьбой.

Важную роль в романе играет образ «преподобного» Джима Кэйси, бродячего проповедника, внешне не многим отличающегося от тех, среди кого ему случается ораторствовать. Главное, что выделяет Кэйси,— это поиски ответа на вопросы о добре и зле, о предназначении человека. Вместе с Томом Джоудом читатель встречает Кэйси в тот момент, когда он подвергает сомнению и свое право поучать других, и справедливость христианской религии. Грубая реальность жизни хорошо знакома Кэйси, и в печальной участи простого человека он (как и сам Стейнбек на пути от «Небесных пастбищ» к «Гроздьям гнева») начинает прозревать не произвол темного, мистического начала, а действие совсем иных, земных сил, которые «дышат прибылью и едят проценты с капитала».

Первым из героев романа Джим Кэйси вступает на путь сознательной борьбы с притеснителями трудящихся. Он участвует в схватке с полицейскими, добровольно идет в тюрьму, чтобы выручить Тома, а затем возглавляет забастовку на фруктовых плантациях. Сохраняя верность правде образа, Стейнбек дает понять, что в глубине души Кэйси не отказался от религиозных заветов непротивления и жертвенности. Но его этические убеждения имеют мало общего с той формой, которую обретало христианство в практике различных бродячих сект, обрисованных в «Гроздьях гнева» без малейших признаков симпатии. Подобно Джозефу Уэйну из романа «Неведомому богу», Кэйси творит свою собственную «естественную религию», где центральное место занимает не бог, не природа, а человек-труженик. «Долго я сидел и думал и вдруг сразу все понял»,— вслух размышляет Кэйси.— «Зачем нам нужно сваливать все на бога и на Иисуса? Может, это мы людей любим? Может, дух святой — это человеческая душа и есть? Может, все люди вкупе и составляют одну великую душу и частицу ее найдешь в каждом человеке?» И особенно выразительно звучат его слова над гробом деда, первой из многих утрат, понесенных семьей Джоудов: «Я не знаю, какой он был — хороший или плохой,— но это не важно. Важно то, что он был живой человек».

Мысли автора и самодвижение характеров складываются в «Гроздьях гнева» в гармоническое художественное единство, и с особой силой эта неразрывность философской концепции и живых наблюдений проявляется в разработке важнейшей темы произведения — темы благородства и величия человека. В примитивных на первый взгляд Джоудах Стейнбек открывает целый мир красоты и поэзии. Он прославляет их жизненный инстинкт, преодолевающий ужас отчаяния и смерти, и выделяет главное в совокупности их устремлений — страсть к труду, к созиданию. Пламенно-вдохновенные или взволнованно-лирические авторские отступления, роль которых в романе можно сопоставить с ролью Хора в античной трагедии, в наиболее патетических местах невольно перекликаются со знаменитыми ритмами «Антигоны» Софокла: «Много есть чудес на свете, человек — их всех чудесней». Утверждение духовных ценностей, заложенных в каждой личности — звучит ли оно в ярких публицистических обращениях к читателю или раскрывается в характерах Джоудов и Джима Кэйси,— занимает доминирующее положение в идейно-художественной структуре народной эпопеи Джона Стейнбека. Этому возвышенному гуманизму, сочетающемуся с четкой общественной позицией, с пафосом обличения, роман «Гроздья гнева» обязан своим почетным местом среди выдающихся достижений американского критического реализма в XX веке.

За три десятилетия, прошедших между созданием «Гроздьев гнева» и смертью Стейнбека 20 декабря 1968 года, писатель опубликовал немало произведений в самых различных жанрах. Некоторые его книги вызывали широкий отклик, другие же — и их было большинство — оставляли читателей и критику равнодушными. Существует мнение, что в послевоенные годы прозаик оказался как бы «несозвучным эпохе», а американское общество якобы подверглось коренной трансформации, уничтожив основания для появления новых разоблачительных социальных романов, подобных «Битве с исходом сомнительным» и «Гроздьям гнева». Стейнбеку не раз случалось опровергать эти толки обращением к анализу сложных общественных и нравственных конфликтов и в «Заблудившемся автобусе» (1947), и в «Зиме тревоги нашей», и в «Путешествии с Чарли...». Однако справедливо и то, что художественная манера Стейнбека заметно менялась уже в 40-е годы за счет усиления роли символики, метафорически-иносказательных интонаций.

Даже в повести «Луна зашла» (1942), первом в литературе США заметном произведении о войне с нацистской Германией, изображение сопротивления оккупированной, но не покоренной страны завоевателям носит подчеркнуто обобщенный, чуть ли не абстрагированный характер. Писатель избегает называть жителей захваченного государства (предположительно — Норвегии) норвежцами, а оккупантов — немцами; передача философского и политического смысла затронутого конфликта представляется ему гораздо важнее живых реалистических деталей повествования.

Несравненно более удачным опытом Стейнбека в жанре современной притчи стала повесть «Жемчужина» (1947), многими нитями связанная с проблематикой «Гроздьев гнева». Легенда об огромной жемчужине — о том, как ее нашли и как ее лишились,— не имеет временно́й датировки, в заключительных строках даже говорится, что события, о которых шла речь, произошли в давно минувшие, отдаленные времена. Предельно сконцентрированы и обстоятельства, составляющие сюжет повести: счастливая находка искателя жемчуга Кино, борьба вокруг жемчужины, смерть Койотито, сына Кино. Однако эти особенности поэтики произведения, приближающие ее к абстрагированной притче, не лишают «Жемчужину» широты социальных обобщений и не затушевывают ее остросовременного звучания.

Правдиво и многосторонне рисует писатель положение коренного населения Мексики, много десятилетий тому назад покоренного и фактически обращенного в рабство белыми пришельцами из-за океана. Трудолюбивый и талантливый народ, давший миру великих сказителей, у которых «что бы они ни делали, что бы они ни слышали, о чем бы они ни думали — все претворялось в песнь», живет в нищете и бесправии. Пользуясь одним из своих самых излюбленных приемов — броско-символическим сопоставлением социальной и биологической стихий, Стейнбек выдвигает жестокое обвинение всему современному обществу: «Сущность жемчужины смешалась с людской сущностью, и эта смесь выделила странный, мутный осадок... Поразительная весть подняла со дна города нечто бесконечно злое и темное; темная муть была как скорпион или как чувство голода, когда голодного дразнит запах пищи, или как чувство одиночества у влюбленного, когда его любовь безответна. Ядоносные железы... начали выделять яд, и город вспухал и тяжело отдувался под его напором».

Корыстолюбие и злоба, порождаемые «проклятием собственности», способны отравить самые прекрасные и чистые порывы, констатирует Стейнбек. Сияющая жемчужина становится «серой и бугристой», похожей на злокачественную опухоль; воплощенная в ней скверна мира кладет конец примитивному, но гармоническому существованию семьи Кино. Для молодого индейца жемчужина — не просто овеществленный капитал и, уж конечно, не средство угнетения себе подобных. Его мечты скромны и подлинно человечны, но, чтобы осуществить их, Кино вынужден противопоставить себя существующему порядку. Отказ героя Стейнбека от рабского прошлого и стремление защитить свои права — не индивидуалистский бунт в защиту внезапно появившегося богатства, а решительный и смелый, уже наполовину осознанный протест простого человека против «Песни зла», против всего общественного устройства, покоящегося на угнетении и обмане. «Нет,— сказал Кино.— Я не сдамся. Я одолею. Мы не упустим своего счастья».

Однако Кино не только жертва эксплуатации и несправедливости, он истинный сын своей земли и своего народа, равный среди равных в поселке тростниковых хижин, любящий муж, заботливый отец. Его жизнь

тяжела, но ее нельзя назвать безрадостной. Кино живет в органическом единении со всем, что его окружает; подобно пайсано в «Квартале Тортилья-Флэт» и очень на них похожим персонажам повести Стейнбека «Консервный ряд» (1945), он воспринимает природу непосредственно и пантеистично. Понятия о добре и зле претворяются в сознании Кино в сменяющие одна другую, но звучащие постоянно и отчетливо мелодии. Ему слышится то ясная, тихая Песнь семьи, то Песнь в честь Той, что вдруг найдется, то коварная Песнь жемчужины — скрытая, зловещая музыка капиталистического мира. И в этой поэтично-певучей настроенности повести, в красочности образного языка тоже заключен один из секретов ее художественной силы и очарования.

Произведения Стейнбека 30—40-х годов — наиболее значительный и плодотворный этап его писательской биографии. Следующее десятилетие — 50-е годы — явилось для него временем серьезных творческих потерь и разочарований. С переездом из Калифорнии в Нью-Йорк писатель словно бы лишился источника, питавшего его книги яркостью и свежестью наблюдений. Продолжая поиски гармоничного идеала человеческих взаимоотношений, он теперь все чаще предпочитает социальной действительности сферу отвлеченных этических ценностей. Отступление от принципов реализма заметно обеднило содержание романа «К востоку от рая» (1952), в котором Стейнбек-аналитик спорит со Стейнбеком — философствующим резонером. Задумав создать эпическое полотно об истории двух калифорнийских родов Гамильтонов и Трасков, писатель злоупотребляет параллелями с библейскими преданиями, навязчивой и подчас надуманной символикой. Заметна также перегруженность романа историческим и этнографическим комментарием.

Высокопарность слога и поверхностная сентиментальность характеризовали повести «Светло горящий» (1950) и «Благостный четверг» (1954), в которых Стейнбек, этот «неисправимый философ-дилетант», как стала именовать его американская критика, вновь прибегает к многозначительным, но по большей части поверхностным обобщениям. Стремление обрести самого себя отражалось в постоянном экспериментировании с художественной формой, в обращении к журналистике, к работе для кино и театра. К концу десятилетия появились признаки преодоления Стейнбеком творческого спада, а с начала 60-х годов и в особенности после присуждения ему Нобелевской премии (1962) можно говорить о возвращении к писателю значительной доли былой популярности.

Выражением благотворных перемен стал в первую очередь роман «Зима тревоги нашей» (1961), которым американский прозаик откликнулся на нараставшую в США и во всем западном мире атмосферу социального и духовно-нравственного неблагополучия. «Везде зрела тревога, зрело недовольство,— писал Стейнбек,— и гнев закипал, искал выхода в действии, и чем оно неистовее, тем лучше. Африка, Куба, Южная Америка, Европа, Азия, Ближний Восток — все дрожало от беспокойства, точно скаковая ло-

шадь перед тем, как взять барьер». Постоянным внутренним напряжением отмечено и поведение персонажей романа, жителей небольшого городка в Новой Англии Нью-Бейтауна, банкиров и бакалейщиков, стареющих светских львиц и домохозяек.

Человек, лишившийся собственности, лишается всего — такова, констатирует Стейнбек, беспощадная буржуазная мораль, обусловливающая драматизм положения Итена Хоули; выпускник Гарварда, вынужденный встать за прилавок лавки, он идет на сделку с совестью ради достижения непрочного успеха. От кассира Морфи Хоули узнает, как можно, оставаясь неопознанным, ограбить банк; от своего хозяина Марулло он усваивает циничную философию коммерческого предприятия. «Учись ловчить, мальчуган,— не то прогоришь»,— говорит Марулло, тот «ловчит», да так успешно, что сам лавочник становится его жертвой. «Деньги и дружба — совсем разное... Деньгам нужна не дружба, а еще и еще деньги»,— поучает Марулло, и Хоули, точно рассчитав все последствия, добивается смерти своего друга, чтобы воспользоваться его деньгами.

Эффект нравственного перерождения «антигероя» «Зимы тревоги нашей» усиливается еще и тем, что, согласно замыслу Стейнбека, первые главы романа образуют как бы параллель библейскому преданию о смерти (страстная пятница) и воскрешении (пасхальное воскресение) Иисуса Христа. Своеобразную нравственную эволюцию претерпевает за эти дни и Хоули, единственный, как можно судить, искренне верующий во всем Нью-Бейтауне. От «устаревших» понятий о чести, долге, моральной ответственности, связанных в его сознании с заветами христианства, он приходит к принятию жестоких законов реально существующего мира. «Судьи темных глубин» — по сути, все те же марулло и морфи — выносят приговор, и честный, даже несколько прекраснодушный человек умирает в Хоули. Его место занимает беспринципный, готовый на все «возродившийся» стяжатель.

Предательства, совершаемые Итеном Хоули, этим современным Ричардом III американской провинции, в отношении дружески расположенных к нему людей, выглядят чудовищно, но их нельзя считать необъяснимыми, психологически не мотивированными. Конкретный жизненный путь стейнбековского персонажа, быть может, малотипичен, но тем не менее писателю удалось с высокой степенью реалистической достоверности запечатлеть в нем зловещие симптомы «болезни века». «В этом романе рассказано о том, что происходит сегодня почти во всей Америке»,— не без основания предупреждал он читателя во вступлении к книге.

Последние годы жизни Стейнбека не были отмечены крупными творческими свершениями. Обретя статут «живого классика», он пользовался расположением со стороны официальных кругов и по инициативе президента Л. Джонсона был, в частности, награжден в 1964 году «Медалью свободы». Но Стейнбека ценила и «молодая», бунтарская Америка, для которой книга очерков «Путешествие с Чарли в поисках Америки» (1962) послу-

жила своего рода путеводителем по многим существенным внутриамериканским проблемам, ждущим своего разрешения. Противоречивым в конечном итоге оказалось и отношение Стейнбека к вьетнамской войне. Поддержав в корреспонденциях из Сайгона американское вмешательство, он спустя всего несколько месяцев крайне скептически отозвался об усилиях по «умиротворению» вьетнамского народа. «Создалось впечатление, что мы все глубже и глубже увязаем в трясине,— писал он в августе 1967 года.— Теперь я полностью убежден, что люди, ведущие эту войну, не в состоянии ни осмыслить ее, ни удержать события под контролем».

Неудачный, или, по меньшей мере, двусмысленный, эпилог долгого жизненного и творческого пути не в силах перечеркнуть положительного вклада, внесенного Джоном Стейнбеком в развитие прогрессивных тенденций американской литературы, в сокровищницу американского духа. Глубокая симпатия ко всем угнетенным неизменно составляла характерную особенность миросозерцания писателя. Изображение остроты социальных схваток, протест против мертвящей силы собственности, прославление гуманистических идей, мира труда — вот то основное, что сохраняет притягательность лучших книг Стейнбека для миллионов сегодняшних читателей.

А. МУЛЯРЧИК

КВАРТАЛ ТОРТИЛЬЯ-ФЛЭТ

ПЕРЕВОД И. ГУРОВОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда я писал эту книгу, мне не приходило в голову, что моих пайсано можно счесть любопытной или смешной диковинкой, существами замученными нуждой или приниженными. Все это — люди, которых я знаю и люблю; люди, которые превосходно приспосабливаются к окружающей среде. Такое свойство человеческой натуры зовется истинно философским отношением к жизни, и это — прекрасная вещь.

Знай я, что этих людей сочтут забавной диковинкой, я, наверное, не стал бы писать про них.

Когда я учился в школе, у меня был приятель. Мы называли его piojo; [1] у этого смуглого мальчугана, очень доброго и хорошего, не было ни отца, ни матери — только старшая сестра, которую мы все любили и уважали. Мы почтительно называли ее «девицей на часок». Ни у кого в городе не было таких румяных щек, и она частенько угощала нас хлебом с помидорами. Так вот, в домике, где жили piojo и его сестра, «девица на часок», кран кухонной раковины был отломан, а труба наглухо забита деревянной пробкой. Воду для стряпни и питья брали из унитаза. Для этого на полу рядом с ним стоял жестяной ковшик. Когда вода кончалась, стоило только дернуть ручку, и запас ее пополнялся. Использовать унитаз по назначению строжайше запрещалось. Однажды, когда мы напустили туда головастиков, хозяйка дома как следует отругала нас, а потом смыла наших питомцев.

Быть может, это — возмутительное нарушение благопристойности. Но я так не считаю. Быть может, это забавно — забавно, о господи! Я долгое время приобщался приличиям, и все-таки я не

[1] Вошь *(исп.)*.

могу думать о сестре piojo как о — есть ли слово гнуснее? — как о проститутке, а о его бесчисленных дядюшках, порой даривших нам монетки, как о ее клиентах.

Все вышесказанное сводится в конце концов к тому, что это — не предисловие, а эпилог. Я написал эти рассказы потому, что они правдивы, и потому, что они мне нравились. Но литературные мещане отнеслись к этим людям с вульгарной высокомерностью герцогинь, которые жалеют крестьян, снисходительно над ними посмеиваясь. Рассказы эти напечатаны, и взять их назад я не могу. Но никогда больше я не отдам на поругание приличным обывателям этих хороших людей, веселых и добрых, честных в своих плотских желаниях и прямодушных, истинно вежливых, а не просто учтивых. Если, рассказав о них, я им повредил, то глубоко сожалею об этом. Больше это не повторится.

Adois [1], Монтерей.

Джон Стейнбек

Июнь 1937 года.

---

[1] Прощай *(исп.)*.

ВСТУПЛЕНИЕ

Это повесть о Дэнни, и о друзьях Дэнни, и о доме Дэнни. Это повесть о том, как Дэнни, его друзья и его дом стали единым целым, так что когда в квартале Тортилья-Флэт говорят о доме Дэнни, то имеют в виду вовсе не деревянные стены с облупившейся побелкой, совсем скрытые разросшимися кустами кастильской розы. Нет, когда там говорят о доме Дэнни, то подразумевают некое единство, частично состоящее из людей, единство, от которого исходили радость и веселье, готовность помочь и — уже под конец — мистическая печаль. Ибо дом Дэнни был подобен Круглому столу, а друзья Дэнни — рыцарям Круглого стола. И это повесть о том, как возникло их содружество, как оно расцвело и превратилось в союз, исполненный красоты и мудрости. В ней будет рассказано о рыцарских приключениях друзей Дэнни, о сделанном ими добре, о их мыслях и о их подвигах. А в конце этой повести будет рассказано, как был потерян талисман и как распалось содружество.

В Монтерее, старинном городе на калифорнийском побережье, все эти истории хорошо известны, их повторяют снова и снова, а иной раз и приукрашивают. Вот почему этот цикл следует запечатлеть на бумаге, дабы ученые будущих времен, услышав входящие в него легенды, не сказали бы, как говорят они об Артуре, о Роланде и о Робине Гуде: «Не было никакого Дэнни, и никаких

его друзей, и никакого его дома. Дэнни — это божество, олицетворяющее природу, а его друзья — всего лишь первобытные символы ветра, неба и солнца». И цель этой летописи — раз и навсегда сделать невозможной презрительную усмешку на губах угрюмых ученых.

Монтерей лежит на склоне холма между голубым заливом и темным сосновым лесом. В кварталах, расположенных ниже по склону, живут американцы, итальянцы, рыбаки и рабочие консервных заводов. Но на вершине холма, где город сливается с лесом, где на улицах нет асфальтовых мостовых, а на углах — фонарей, укрепились старейшие обитатели Монтерея, как древние британцы укрепились в Уэльсе. Это и есть пайсано.

Они живут в деревянных домишках, дворы которых заросли бурьяном, и над их жилищами еще покачиваются уцелевшие сосны. Пайсано не заражены коммерческим духом, они не стали рабами сложной системы американского бизнеса; да она, впрочем, и не слишком стремилась их опутать — ведь у них нет имущества, которое можно было бы украсть, оттягать или забрать в обеспечение займа.

Что такое пайсано? Он — потомок испанцев, индейцев и мексиканцев и еще — всевозможных европейцев. Предки его поселились в Калифорнии лет сто — двести назад. По-английски он говорит, как пайсано, и по-испански он говорит, как пайсано. Если спросить его, какой он национальности, он негодующе объявит себя чистокровным испанцем и, закатав рукав, покажет, что кожа с внутренней стороны предплечья у него почти белая. Свою смуглоту, напоминающую цвет хорошо обкуренной пенковой трубки, он приписывает загару. Он — пайсано и живет на окраине города Монтерея, расположенной на вершине холма, которая зовется Тортилья-Флэт, «Лепешечная равнина», хотя это вовсе не равнина.

Дэнни был пайсано, он вырос в Тортилья-Флэт, и все его там любили, но, впрочем, он ничем не отличался от остальных шумливых ребятишек квартала. Почти с каждым обитателем Тортилья-Флэт его связывали узы родства или романтической дружбы. Дед его был важной персоной, ему принадлежали в квартале два домика, и все уважали его за богатство. И если Дэнни, подрастая, предпочитал спать в лесу, работать на окрестных ранчо и с боем вырывать еду и вино у сурового мира, не отсутствие влиятельных родственников послужило тому причиной. Дэнни был невысок, смугл и настойчив. К двадцати пяти годам ноги его окончательно приобрели кривизну, точно соответствующую изгибу конского бока.

И вот, когда Дэнни исполнилось двадцать пять лет, началась война с Германией. Когда Дэнни и его друг Пилон (да, кстати, «пилоном» называется придача после заключения сделки — магарыч) услышали про войну, они располагали двумя галлонами вина. Большой Джо Португалец заметил блеск бутылей среди сосен и присоединился к Дэнни и Пилону.

По мере того как вина в бутылях становилось все меньше, патриотизма в их сердцах становилось все больше. И вот, когда вино кончилось, все трое спустились с холма, нежно взявшись за руки — во имя дружбы и чтобы крепче держаться на ногах,— и зашагали по улицам Монтерея. Перед домом, где записывали добровольцев в армию, они принялись кричать «ура» в честь Америки и поносить Германию. Они осыпали Германскую империю угрозами до тех пор, пока сержант-вербовщик не проснулся, не надел форму и не вышел на улицу, чтобы их утихомирить. В постель он вернулся не скоро, потому что стал записывать их в армию.

Сержант выстроил их перед своим столом. Они благополучно прошли все проверки, кроме одной — проверки на трезвость, и тогда сержант принялся задавать им вопросы, начав с Пилона:

— В каком роде войск ты хочешь служить?

— А мне наплевать,— небрежно бросил Пилон.

— Такие молодцы нам, пожалуй, нужнее всего в пехоте.

И Пилон был направлен в пехоту.

Затем сержант повернулся к Большому Джо, но Португалец уже успел немного протрезвиться.

— А ты куда хочешь?

— Я хочу домой,— тоскливо сказал Большой Джо.

Сержант и его записал в пехоту. Наконец он обратился к Дэнни, который давно уже стоя спал.

— Куда тебя направить?

— А?

— Я говорю: в каком роде войск ты хочешь служить?

— Что значит: «в каком роде»?

— Что ты умеешь делать?

— Я? Я все умею.

— А что ты делал раньше?

— Я? Был погонщиком мулов.

— Ах вот как! Со сколькими мулами зараз ты сумеешь справиться?

Дэнни наклонился к нему с небрежным видом профессионала.

— А сколько их у вас?

— Тысяч около тридцати.

Дэнни взмахнул рукой.

— Давайте их сюда!

И вот Дэнни отправился в Техас и до конца войны объезжал мулов, Пилон маршировал по Орегону вместе с пехотой, а Большой Джо, как будет рассказано дальше, сидел в тюрьме.

ГЛАВА I

О том, как Дэнни, вернувшись с войны, получил наследство, и о том, как он поклялся защищать сирых и обиженных

Когда Дэнни вернулся домой из армии, он узнал, что получил наследство и что теперь у него есть недвижимая собственность. Его вьехо — другими словами, его дед — умер, оставив Дэнни два домика в квартале Тортилья-Флэт.

Когда Дэнни услышал об этом, он ощутил, что на его плечи ложится бремя забот, которыми чревато всякое обладание собственностью. Прежде чем отправиться осматривать свое имущество, он купил галлон красного вина и выпил его почти весь в одиночку. Тогда бремя спало с его плеч и в нем пробудились самые худшие свойства его натуры. Он орал во всю глотку, он сломал парочку стульев в бильярдной на улице Альварадо и затеял две короткие, но восхитительные драки. Но никто не хотел его замечать. В конце концов заплетающиеся кривые ноги понесли его к пристани, куда, готовясь выйти в море, сходились в этот ранний час рыбаки-итальянцы в резиновых сапогах.

Расовые предрассудки взяли верх над здравым смыслом Дэнни. Он стал угрожать рыбакам. Он называл их «сицилийскими ублюдками», «подонками тюремного острова» и «собачьими собаками». Он кричал: «Chinga tu madre, Piojo» [1]. Он показывал им нос и делал всякие неприличные жесты. Но рыбаки только усмехались, разбирали весла и говорили:

— Здорово, Дэнни. Когда это ты вернулся? Приходи сегодня вечерком. У нас есть молодое вино.

Дэнни был возмущен до глубины души.

---

[1] Грубое испанское ругательство.

— Pon un condo a la cabesa [1],— завопил он.

Они крикнули ему:

— До свидания, Дэнни. До вечера.

И, забравшись в утлые лодчонки, подгребли к своим моторкам, завели их и, тарахтя, уплыли прочь.

Дэнни почувствовал себя оскорбленным. Он двинулся обратно, вверх по улице Альварадо, разбивая по пути окна, и на втором перекрестке его арестовал полицейский. Дэнни питал большое почтение к закону и сопротивляться не стал. Если бы он не был только что демобилизован после победы над Германией, он получил бы шесть месяцев. Но сейчас судья дал ему только тридцать дней.

И вот в течение месяца Дэнни сидел на койке в городской тюрьме Монтерея. Иногда он рисовал на стенах непристойные картинки, а иногда вспоминал свою военную карьеру. Время в этой камере городской тюрьмы тянулось очень, очень медленно. Порой к нему на ночь запирали какого-нибудь пьяницу, но обычно в преступной жизни Монтерея царил застой, и Дэнни изнывал от одиночества. Сперва ему немного докучали клопы, но когда они привыкли к его вкусу, а он свыкся с их укусами, недоразумения между ними прекратились.

Он стал развлекаться сатирами. Он изловил клопа, раздавил его на стене, обвел кружком и подписал карандашом — «мэр Клу». Потом наловил еще клопов и назвал их в честь муниципальных советников города. Вскоре вся стена была украшена раздавленными клопами, носившими имена видных деятелей Монтерея. Он пририсовывал им уши и хвосты, снабжал их огромными носами и усами. Тито Ральф, тюремный надзиратель, был шокирован, но промолчал, так как Дэнни не включил в свою картинную галерею ни судью, отправившего его в тюрьму, ни кого-либо из полицейских чинов. Дэнни весьма уважал закон.

Как-то вечером, когда тюрьма пустовала, Тито Ральф вошел в камеру Дэнни с двумя бутылками вина. Через час он отправился за новыми запасами, и Дэнни отправился с ним. В тюрьме было неуютно. Они купили вина в заведении Торрелли и сидели там, пока Торрелли не вышвырнул их на улицу. Тогда Дэнни пошел на вершину холма и уснул в лесу под соснами, а Тито Ральф, шатаясь, побрел в тюрьму и доложил о его побеге.

Когда в полдень ослепительное солнце разбудило Дэнни, он решил весь день прятаться, спасаясь от погони. Он кружил среди кустов. Он выглядывал из молодой поросли, как затравленная лисица. А вечером, выполнив все условия игры, он вышел из лесу и отправился по своим делам.

---

[1] Грубое испанское ругательство.

В делах Дэнни не было ничего темного или таинственного. Он подошел к задней двери ресторана.

— Нет ли у вас черствого хлеба для моей собаки? — спросил он у повара.

И пока этот доверчивый человек заворачивал ему хлеб, Дэнни украл два куска ветчины, четыре яйца, баранью отбивную и мухобойку.

— Я заплачу вам потом,— сказал он.

— Берите даром. Я бы все равно их выбросил.

На душе у Дэнни полегчало. Раз так, значит, он неповинен в воровстве. Он вернулся в заведение Торрелли, обменял четыре яйца, баранью отбивную и мухобойку на большой стакан граппы и отправился в лес стряпать себе ужин. Вечер был темный и сырой. Меж сосен, охраняющих сухопутные пределы Монтерея, мокрым тюлем висел туман. Дэнни втянул голову в плечи и затрусил под защиту леса. Впереди он разглядел еще одну темную фигуру и, когда расстояние между ними сократилось, узнал подпрыгивающую походку своего старого друга Пилона. Дэнни был щедрым человеком, но тут он вдруг вспомнил, что продал все свои съестные припасы, кроме двух кусков ветчины и кулька черствого хлеба.

«Я не стану окликать Пилона,— решил он.— Он вышагивает как человек, который объелся жареной индейкой и всякими другими лакомствами».

Но тут Дэнни вдруг заметил, что Пилон нежно прижимает руку к груди.

— Здравствуй, Пилон, amigo [1],— закричал Дэнни.

Пилон ускорил шаг. Дэнни перешел на рысь.

— Пилон, дружочек, куда ты так торопишься?

Пилон смирился с неизбежным и остановился. Дэнни приблизился с некоторой опаской, но голос его был исполнен восторга:

— Я разыскивал тебя, милый ангелочек моего сердца, потому что, погляди-ка, у меня есть два больших куска от свиньи самого господа бога и мешок сладкого белого хлеба. Раздели же со мной и то и другое, Пилон, пышечка.

Пилон пожал плечами.

— Как хочешь,— злобно пробурчал он.

Они вместе углубились в лес. Пилон недоумевал. Наконец он остановился и посмотрел на приятеля.

— Дэнни,— печально сказал он.— Откуда ты знаешь, что у меня под курткой бутылка коньяку?

---

[1] Друг *(исп.)*.

— Бутылка коньяку? — вскричал Дэнни.— У тебя есть коньяк? Наверное, он для твоей больной старушки матери,— добавил он простодушно.— А может, ты хранишь этот коньяк для господа нашего Иисуса Христа, чтобы угостить его в день второго пришествия. Разве мне, твоему другу, пристало судить, для чего предназначен этот коньяк? И я даже не знаю, есть ли он у тебя. Кроме того, я не хочу пить. Я не дотронусь до этого коньяка. Кушай на здоровье мое свиное жаркое, ну а твой коньяк — он твой.

Пилон сказал сурово:

— Дэнни, я готов отдать тебе половину моего коньяка. Но мой долг — присмотреть, чтобы ты не выпил его весь.

Тут Дэнни переменил тему.

— Вот здесь, на поляне, я зажарю эту свинью, а ты поджаришь сахарные хлебцы из этого мешка. Коньяк поставь вот сюда, Пилон. Это самое лучшее для него место — так мы будем видеть и его, и друг друга.

Они развели костер, поджарили ветчину и съели черствый хлеб. Коньяк в бутылке быстро убывал. Поев, они придвинулись поближе к огню, отхлебывая из бутылки маленькими глоточками, как озябшие пчелы. Туман окутал их, и их куртки поседели от его капель. В соснах над их головами грустно вздыхал ветер.

И вскоре Пилоном и Дэнни овладела тоска. Дэнни стал вспоминать потерянных друзей.

— Где Артур Моралес? — спросил Дэнни, простирая руки ладонями вверх.— Погиб во Франции,— ответил он себе и, повернув ладони вниз, в отчаянии опустил руки.— Погиб за родную страну. Погиб в чужой земле. Чужие люди проходят мимо его могилы, и они не знают, что в ней зарыт Артур Моралес.— Он снова поднял руки ладонями вверх.— А где Пабло, такой хороший человек?

— В тюрьме,— ответил Пилон.— Пабло украл гуся и спрятался с ним в кустах, а гусь ущипнул Пабло, и Пабло закричал, и его поймали. Теперь ему сидеть в тюрьме шесть месяцев.

Дэнни вздохнул и умолк, так как понял, что легкомысленно поторопился использовать единственного своего знакомого, который мог послужить темой для прочувствованной речи. Но тоска продолжала мучить его и требовала выхода.

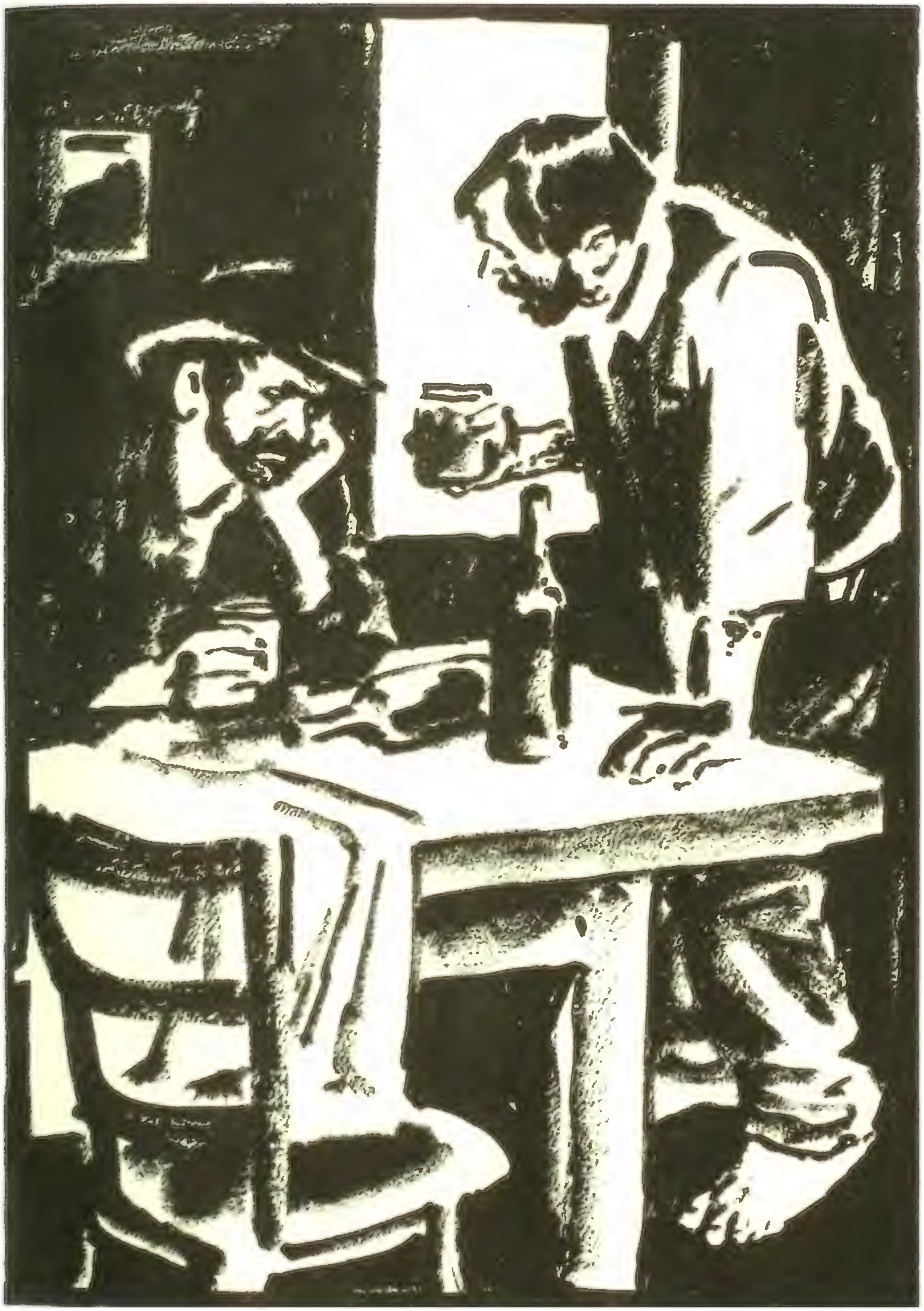
— Вот сидим мы...— начал он наконец.

— Сердце ноет,— добавил Пилон, попадая в размер.

— Нет, это не стихи,— возразил Дэнни.— Вот сидим мы, бесприютные. Мы отдавали жизнь за родную страну, а теперь у нас нет даже крыши над головой.

— И никогда не было,— весьма уместно вставил Пилон.

Дэнни задумчиво тянул коньяк, пока Пилон не дернул его за локоть и не отобрал бутылку.



«Квартал Тортилья-Флэт»

— Это напомнило мне,— сказал Дэнни,— историю о человеке, у которого было два веселых дома...— Тут он умолк с открытым ртом.— Пилон! — воскликнул он.— Пилон! Утеночек мой! Дружочек! И как это я забыл? Ведь я получил наследство. У меня теперь есть два дома.

— Два веселых дома? — с надеждой спросил Пилон.— Ты врешь спьяну,— спохватился он.

— Нет, Пилон. Я говорю правду. Мой вьехо умер. Я его наследник. Я — его любимый внук.

— Единственный внук,— поправил педантичный Пилон.— А где эти дома?

— Ты знаешь дом моего вьехо в Тортилья-Флэт, Пилон?

— Здесь, в Монтерее?

— Ну да, в Тортилья-Флэт.

— А они на что-нибудь годятся, эти дома?

Дэнни откинулся на спину, измученный пережитым волнением.

— Не знаю. Я совсем забыл, что они у меня есть.

Пилон молчал и сосредоточенно о чем-то думал. Лицо его стало печальным. Он бросил в костер горсть сосновых игл и глядел, как огненные язычки взметнулись по ним и тут же погасли. Затем он долго и тревожно всматривался в лицо Дэнни, а потом громко вздохнул и еще раз вздохнул.

— Теперь все кончено,— сказал он уныло.— Пришли к концу дни радости. Твои друзья будут оплакивать их, но этим беде не поможешь.

Дэнни поставил бутылку, и Пилон забрал ее и зажал между колен.

— Что кончено? — недоуменно спросил Дэнни.— О чем ты?

— Это ведь всегда так,— продолжал Пилон.— Когда человек бедён, он думает: «Будь у меня деньги, я поделился бы с моими добрыми друзьями». Но стоит ему получить эти деньги, как великодушие и щедрость покидают его. Вот что случилось с тобой, мой бывший друг. Теперь ты возвысился над своими друзьями. Теперь ты домовладелец. И ты позабудешь своих друзей, которые всем с тобой делились, даже своим коньяком.

Его слова расстроили Дэнни.

— Я не такой,— крикнул он.— Я тебя никогда не позабуду, Пилон.

— Это ты сейчас так думаешь,— холодно сказал Пилон.— Но когда ты сможешь спать в двух домах, тогда сам увидишь. Пилон — только бедняк пайсано, а ты будешь обедать у мэра.

Дэнни с трудом поднялся на ноги и выпрямился, цепляясь за дерево.

— Пилон, клянусь: все, что у меня есть,— твое. Пока у меня есть дом, у тебя тоже есть дом. Дай мне выпить.

— Не поверю, пока не увижу своими глазами,— безнадежным голосом произнес Пилон.— Случись такое, это было бы чудо на весь мир. Люди приезжали бы за тысячу миль поглядеть на него. Да и бутылка пуста.

ГЛАВА II

О том, как Пилон, прельстившись солидным положением, покинул гостеприимный кров Дэнни

Нотариус оставил их у калитки второго дома, уселся в свой форд и, громыхая, покатил вниз по склону холма в Монтерей.

Дэнни и Пилон стояли перед некрашеным забором и с восторгом глядели на недвижимое имущество — на приземистый домишко, еще хранящий полосы давней побелки, на его пустые слепые окошки без занавесок. Но у крыльца цвела пышная кастильская роза, а в бурьяне, которым зарос дворик, кое-где алела дедушкина герань.

— Этот лучше того,— сказал Пилон.— Он больше.

Дэнни держал в руке новенький ключ. Он на цыпочках прошел по скрипучему крыльцу и отпер дверь. Большая комната осталась точно такой же, как при жизни вьехо. Украшенный розой календарь за 1906 год, шелковый платок на стене, с Боевым Бобом Эвансом, выглядывающим из-за палубных надстроек броненосца, прибитый рядом букет красных бумажных роз, связки запылившегося красного перца и чеснока, железная печка, старые кресла-качалки.

Пилон заглянул в дверь.

— Три комнаты,— благоговейно прошептал он.— И кровать, и печка. Мы будем здесь счастливы, Дэнни.

Дэнни с опаской переступил порог. От вьехо у него остались самые неприятные воспоминания. Пилон опередил его и бросился в кухню.

— Раковина с краном,— крикнул он и повернул кран.— Вода не идет. Дэнни, пусть водопроводная компания включит воду.

Они стояли и улыбались друг другу. Но Пилон заметил, что обладание собственностью уже накладывает печать беспокойства на лицо Дэнни. Никогда больше не будет оно беззаботным. Никогда больше не будет Дэнни бить окна, раз у него самого теперь есть окна, которые можно разбить. Пилон был прав — Дэнни возвысился над своими друзьями. Плечи его расправились, готовые принять на себя все тяготы новой сложной жизни. Но перед тем как

он навсегда покончил со своим прежним простым и ясным существованием, один крик боли все же сорвался с его уст.

— Пилон,— сказал он грустно.— Хорошо бы этот дом был твоим, а я поселился бы здесь с тобой!

Пока Дэнни ходил в Монтерей просить, чтобы включили воду, Пилон забрел на заросший бурьяном задний двор. Тут стояли фруктовые деревья, почерневшие и покрывшиеся наростами от старости, искривившиеся и засыхающие от отсутствия ухода. В бурьяне виднелись шалашики для несушек, груда ржавых обручей, куча золы и размокший матрац. Пилон заглянул через забор в птичник миссис Моралес и, минуту поразмыслив, проделал в заборе несколько дырок для кур.

«Им будет приятно устраивать гнезда в высоком бурьяне»,— сочувственно подумал он. Он решил также изготовить ловушки на случай, если во двор вдруг явятся петухи и будут мешать курам и не пускать их в гнезда. «Мы будем тут счастливы»,— снова подумал он.

Дэнни вернулся из Монтерея полный негодования.

— Водопроводная компания требует депозита,— сказал он.

— Депозита?

— Ну да. Сначала дай им три доллара, а потом они пустят воду.

— Три доллара,— назидательно заявил Пилон,— это три галлона вина. А когда оно кончится, мы займем ведро воды у нашей соседки миссис Моралес.

— Но у нас нет трех долларов на вино.

— Я знаю,— сказал Пилон.— Но, может быть, нам удастся занять немного винца у миссис Моралес.

День начинал клониться к вечеру.

— Завтра мы наведем тут порядок,— сказал Дэнни.— Завтра мы тут все вымоем и выскребем. А ты, Пилон, скосишь бурьян и выбросишь весь мусор в овраг.

— Бурьян? — в ужасе вскричал Пилон.— Только не этот бурьян! — И он изложил свои соображения относительно кур миссис Моралес.

Дэнни тут же согласился с ним.

— Мой друг,— сказал он,— я рад, что ты поселился у меня. А теперь я наберу топлива, а ты раздобудь что-нибудь на обед.

Пилон, вспомнив про свой коньяк, решил, что это несправедливо.

«Я становлюсь его должником,— с горечью думал он.— Я лишусь свободы. Скоро я стану рабом из-за этого кровопийцы-дома».

Но он все-таки отправился искать обед.

Пройдя две улочки, уже у самой опушки леса он заметил петушка плимутрока, разгребавшего пыль посреди дороги. Петушок достиг той поры юности, когда голос его начал ломаться, а ноги, шея и грудь еще не обросли перьями. Голова Пилона была еще полна благостными размышлениями о курах миссис Моралес, и, быть может, поэтому он тут же ощутил живейшую симпатию к молодому петушку. Он медленно направился к темному сосновому лесу, а петушок бежал перед ним.

Пилон сочувственно думал:

«Бедная лысая птичка. Как ты, наверное, мерзнешь на рассвете, когда выпадает роса и воздух холодеет перед зарей. Милосердный господь не всегда бывает милосерден к малым тварям». И еще он подумал: «Вот ты играешь на улице, цыпленочек, и в один прекрасный день тебя переедет автомобиль, и тебе еще повезет, если он сразу убьет тебя. Но что, если он только сломает тебе крыло или лапку? Тогда ты останешься несчастным калекой до конца дней своих. Твоя жизнь слишком тяжела для тебя, маленькая птичка».

Он продвигался медленно и расчетливо. Порой петушок пытался прорваться назад, но каждый раз у него на пути оказывался Пилон. В конце концов он исчез среди сосен, и Пилон неторопливо последовал за ним.

Да будет воздано должное душевной доброте Пилона: из чащи не донеслось ни единого крика страдания. Петушок, которому Пилон пророчил жизнь, полную мук, умер мирно, или, во всяком случае, тихо. А это делает немалую честь сноровке Пилона.

Десять минут спустя он вышел из лесу и зашагал к домику Дэнни. Петушок, уже ощипанный и расчлененный, покоился в его карманах. Среди жизненных правил, которыми руководствовался Пилон, одно было незыблемо: никогда, ни при каких обстоятельствах не приноси домой перья, голову и лапки, ибо только по ним можно опознать птицу.

Вечером друзья топили печку сосновыми шишками. Огонь ворчал в трубе. Дэнни и Пилон, сытые, пригревшиеся и счастливые, тихонько покачивались в качалках. Обедали они при свете огарка, но теперь только отблески огня в печке разгоняли мрак комнаты. И к довершению блаженства по крыше забарабанил дождь. Крыша протекала совсем немного, да и то в местах, где все равно никто не захотел бы сидеть.

— Хорошо! — сказал Пилон.— Вспомни-ка ночи, когда мы мерзли на улице. Вот это настоящая жизнь!

— Да,— ответил Дэнни.— И как-то странно: столько лет у меня не было дома. А теперь их у меня целых два. Не могу же я ночевать в двух домах.

Пилон не терпел бессмысленного расточительства.

— Это и меня тревожит. Почему бы тебе не сдать другой дом жильцу? — предложил он.

Ноги Дэнни со стуком опустились на пол.

— Пилон! — воскликнул он.— Как я сам об этом не подумал? — Мысль казалась ему все более заманчивой.— Но кто его у меня снимет, Пилон?

— Я его сниму,— сказал Пилон.— Я буду платить за него десять долларов в месяц.

— Пятнадцать! — потребовал Дэнни.— Это хороший дом. Пятнадцать долларов — цена без запроса.

Пилон поворчал, но согласился. Впрочем, он согласился бы и на гораздо большую сумму, ибо он только что видел, как преображается человек, поселившийся в собственном доме, и ему очень хотелось самому испытать такое преображение.

— Значит, договорились,— закончил Дэнни.— Ты снимешь мой дом. Я буду хорошим домохозяином, Пилон. Я не стану тебе докучать.

У Пилона, если не считать года, проведенного в армии, ни разу в жизни не было за душой пятнадцати долларов. «Но платить за дом надо будет только через месяц,— подумал он,— а кто знает, что может случиться за месяц?»

Очень довольные, они покачивались у печки. Потом Дэнни вышел из дома и вскоре вернулся, держа в руках несколько яблок.

— Дождь их все равно испортил бы,— сказал он в свое оправдание.

Пилон, не желая отставать от друга, встал, зажег огарок и направился в спальню, откуда тотчас же вернулся с тазиком, кувшином, двумя красными стеклянными вазами и пучком страусовых перьев.

— Плохо, когда кругом столько хрупких вещей,— сказал он.— Стоит им разбиться или сломаться, и тебе становится грустно. Лучше совсем их не иметь.— Он снял со стены бумажные розы.— Подарок для синьоры Торрелли,— объяснил он, исчезая за дверью.

Вскоре он вернулся, мокрый, но торжествующий: в руке он держал бутыль красного вина вместимостью в галлон.

Позже они сцепились друг с другом, но даже не узнали, кто победил, потому что оба очень устали от волнений этого дня. Вино навевало дремоту, и они так и уснули на полу. Огонь потух, печка, остывая, тихонько пощелкивала. Огарок опрокинулся и после нескольких протестующих голубых вспышек погас в лужице собственного сала. В доме воцарились тьма, тишина и покой.

ГЛАВА III

О том, как Пилон был отравлен ядом собственности и как зло на время восторжествовало в его душе

На следующий день Пилон поселился во втором домике. Этот домик был точно таким же, как дом Дэнни, только поменьше. И у него тоже было свое крылечко, осененное цветущей кастильской розой, и свой заросший бурьяном двор, и свои старые, бесплодные фруктовые деревья, и своя алая герань,— а за забором находился птичник миссис Сото.

Дэнни, владевший домом, который можно было сдать внаем, стал великим человеком, а Пилон, сняв этот дом, довольно высоко поднялся по ступеням общественной лестницы.

Неизвестно, думал ли Дэнни получать квартирную плату и думал ли Пилон ее вносить. Если думали, то оба они были разочарованы в своих ожиданиях. Дэнни ни разу не потребовал ее, а Пилон ни разу ее не предложил.

Друзья виделись очень часто. Стоило Пилону раздобыть бутылку вина или кусок мяса, как Дэнни являлся к нему в гости. А если удача Дэнни или его ловкость приносили ему такие же блага, то Пилон проводил у него буйный вечерок. Бедняга Пилон отдал бы Дэнни причитавшиеся с него деньги, если бы они у него были, но их никогда у него не бывало,— во всяком случае, они исчезали прежде, чем ему удавалось найти Дэнни. Пилон был честным человеком. И порой ему становилось не по себе при мысли о доброте Дэнни и о собственной бедности.

Как-то вечером он оказался обладателем доллара, ниспосланного ему столь удивительным способом, что он тут же постарался об этом забыть, опасаясь помрачения рассудка. Какой-то человек у дверей отеля «Сан Карлос» сунул доллар ему в руку и сказал: «Сбегай купи четыре бутылки фруктовой воды, а то в отеле ее нет». Бывают же на свете чудеса, думал Пилон. И следует принимать их на веру, а не сомневаться в них и не ломать над ними голову. Он направился вверх по холму, собираясь отдать доллар Дэнни, но по дороге купил галлон вина и с его помощью заманил к себе в дом двух пухленьких девиц.

Дэнни, проходя мимо, услышал шум и радостно поспешил войти. Пилон пал в его объятья и отдал все, что у него имелось, в распоряжение Дэнни. А потом, когда Дэнни помог ему разделаться с одной из девиц и с половиной вина, между ними началась чудеснейшая драка. Дэнни лишился зуба, а рубаха Пилона была разодрана в клочья. Девицы визжали и пинали того, кто оказывался внизу. Наконец Дэнни встал с пола и боднул одну из девиц

в живот, так что она вылетела за дверь, квакая, как лягушка. Другая девица украла две кастрюли и последовала за подругой.

Несколько минут Дэнни и Пилон оплакивали женское коварство.

— Ты и понятия не имеешь, какие все женщины твари,— назидательно сказал Дэнни.

— Нет, имею,— ответил Пилон.

— И понятия не имеешь.

— Нет, имею.

— Врешь!

Началась новая драка, но уже далеко не такая славная.

После этого мысль о невнесенной квартирной плате перестала мучить Пилона. Разве он не оказал гостеприимства своему домохозяину?

Прошло еще несколько месяцев. И невнесенная квартирная плата вновь начала беспокоить Пилона. Терзания его становились все более невыносимыми. В конце концов он не выдержал и целый день потрошил каракатиц у Чин Ки, заработав два доллара. Вечером он повязал шею красным платком, надел широкополую шляпу своего отца и отправился на вершину холма, чтобы отдать Дэнни два доллара в счет долга.

Но по дороге он купил два галлона вина. «Так будет лучше,— подумал он.— Если я заплачу ему деньгами, это не покажет, какие горячие чувства питаю я к своему другу. Подарок — другое дело. И я скажу ему, что эти два галлона обошлись мне в пять долларов». Что было глупо, как отлично понимал Пилон, хотя и позволил себе помечтать: цены на вино в Монтерее Дэнни знал лучше всех.

Пилон шел и радовался. Решение его было твердо, нос обращен прямо в сторону дома Дэнни. Его ноги неторопливо, но безостановочно двигались в нужном направлении. Под мышками он нес два бумажных мешка, и в каждом мешке была бутылка.

Наступили лиловые сумерки — тот сладостный час, когда дневной сон уже кончается, а вечер развлечений и дружеских бесед еще не начался. Сосны на фоне неба казались совсем черными, и все предметы вокруг уже окутала тьма, но небо было пронзительно ясным, как грустное воспоминание. Чайки, лениво взмахивая крыльями, летели домой на рифы после дневного посещения рыбоконсервных заводов Монтерея.

Пилон был мистиком, влюбленным в красоту. Он поднял лицо к небу, и душа его воспарила к последним отблескам солнечного сияния. Тот далекий от совершенства Пилон, который хитрил и дрался, ругался и пил, медленно брел своей дорогой, но другой Пилон, исполненный светлой грусти, сияющий белизной, вознес-

ся туда, где чайки на чутких крыльях купались в вечернем сумраке. Этот Пилон был прекрасен, и его мысли не были осквернены ни себялюбием, ни плотскими желаниями. И узнать его мысли — благо.

«Отче наш вечерний,— думал он.— Эти птицы вьются у чела отца нашего. Милые птицы, милые чайки, как я вас всех люблю. Ваши медлительные крылья поглаживают мое сердце, как рука ласкового хозяина поглаживает сытое брюхо спящей собаки, как рука Христа поглаживала головки детей. Милые птицы,— думал он,— летите к Святой Деве Кротких Печалей, отнесите ей мое раскрывшееся сердце». И он произнес вслух самые красивые слова, какие только знал:

— Ave Maria, gratia plena! [1]

Ноги скверного Пилона остановились. Поистине в эту минуту скверный Пилон перестал существовать (услышь это, о ангел, ведущий запись наших грехов!). Не было, нет и не может быть души чище, чем душа Пилона в эту минуту. Злой бульдог Гальвеса приблизился к покинутым ногам Пилона, которые стояли во тьме одни-одинешеньки. И бульдог Гальвеса понюхал эти ноги и отошел, не укусив их.

Душа омытая и спасенная — это душа, которой вдвойне угрожает опасность, ибо весь мир ополчается против такой души. «Самые соломинки под моими коленями,— говорит блаженный Августин,— вопиют, дабы отвлечь меня от молитвы».

Душа Пилона не устояла даже против его собственных воспоминаний: глядя на чаек, он вспомнил, что миссис Пастано нередко готовит из них свои тамале, и при этой мысли он почувствовал голод, а голод низверг его душу с небес. Пилон пошел дальше, вновь превратившись в сложную смесь добра и зла. Злой бульдог Гальвеса повернулся со свирепым рычанием и удалился, глубоко сожалея о том, что упустил такую превосходную возможность укусить Пилона за ногу.

Пилон ссутулился, чтобы удобнее было нести бутылки.

Душа, способная на величайшее добро, способна также и на величайшее зло — этот факт подтверждается историей, в которой он не раз бывал запечатлен. Есть ли кто-нибудь нечестивее отрекшегося от веры священника? Есть ли кто-нибудь любострастнее недавней весталки? Впрочем, это, быть может, лишь внешнее впечатление.

Пилон, только что вернувшийся с небес, был, сам того не подозревая, особенно восприимчив к любому недоброму ветру, к любому дурному влиянию, которыми была полна ночь вокруг него.

---

[1] «Радуйся, Мария, полная благодати!» *(лат.)*

Правда, ноги все еще несли его по направлению к дому Дэнни, но в них уже не было прежней решимости и убежденности. Они ждали только повода, чтобы повернуть вспять. Пилон уже начал подумывать о том, как сокрушительно он может напиться с помощью двух галлонов вина, а главное — как долго быть пьяным.

Было уже совсем темно. И немощеная дорога, и канавы по обеим ее сторонам прятались во мраке. Я не вывожу никакой морали из того факта, что в миг, когда душа Пилона, словно перышко под дуновением ветра, колебалась между великодушием и себялюбием,— что в этот самый миг в канаве у дороги сидел Пабло Санчес, томимый желанием покурить и выпить стаканчик вина.

О, как должны молитвы миллионов мешать друг другу и уничтожать друг друга на пути к престолу божьему!

Пабло сперва услышал шаги, потом увидел смутную фигуру и затем узнал Пилона.

— Здравствуй, amigo,— радостно закричал он.— Что это у тебя за тяжкая ноша?

Пилон остановился как вкопанный и повернулся к канаве.

— Я думал, ты в тюрьме,— сказал он с упреком.— Я слышал про гуся.

— Я и был в тюрьме, Пилон,— весело отозвался Пабло.— Но меня там плохо встретили. Судья сказал, что наказание на меня не действует. А полицейские сказали, что я съедаю больше, чем отпускается на троих. И вот,— с гордостью заключил он,— меня отпустили на честное слово.

Пилон был вырван из когтей себялюбия. Правда, он не допес вино до дома Дэнни, но зато тут же пригласил Пабло разделить с ним это вино в доме, который он снимает. Если от дороги жизни ответвляются две тропы великодушия и пойти можно только по одной, то кому дано судить, которая из них лучше?

Пилон и Пабло весело вступили в маленький домик. Пилон зажег свечку и поставил на стол в качестве стаканов две банки из-под варенья.

— Твое здоровье! — сказал Пабло.

— Salud! [1] — сказал Пилон.

— Salud! — несколько мгновений спустя сказал Пабло.

— Ну, желаю тебе! — сказал Пилон.

Они перевели дух.

— Su servidor! [2] — сказал Пилон.

---

[1] Твое здоровье! *(исп.)*

[2] Ваш слуга! *(исп.)*

— Проехала! — сказал Пабло.

Два галлона — это немалое количество вина даже для двух пайсано. В духовном отношении эти бутылки можно распределить следующим образом. Чуть пониже горлышка первой бутылки — серьезная и прочувствованная беседа. Двумя дюймами ниже — воспоминания, овеянные приятной грустью. Еще три дюйма — вздохи о былых счастливых любовях. Еще дюйм — вздохи о былых несчастных любовях. На донышке — всеобъемлющая абстрактная печаль. Горлышко второй бутылки — черная, свирепая тоска. Двумя пальцами ниже — песнь смерти или томления. Большим пальцем ниже — все остальные песни, известные собутыльникам. На этом шкала кончается, ибо тут перекресток и дальнейшие пути неведомы. За этой чертой может произойти что угодно.

Но вернемся к первому делению, на котором начинается серьезная прочувствованная беседа, ибо именно тут Пилон сделал замечательный ход.

— Пабло,— сказал он.— Скажи, тебе никогда не надоедает спать в канавах, мокрым, бездомным, всеми покинутым, одиноким?

— Нет,— сказал Пабло.

Голос Пилона стал мягким и вкрадчивым:

— Так и я думал, мой друг, когда я был грязным, бесприютным псом. Я тоже был доволен своей долей, потому что я не знал, как приятно жить в маленьком домике с крышей и садом. Ах, Пабло, вот это жизнь!

— Да, конечно, это неплохо,— согласился Пабло.

Пилон ринулся в атаку:

— Послушай, Пабло, а не хотел бы ты снять часть моего дома? Тогда тебе больше уж не придется спать на холодной земле. Или на жестком песке под пристанью, где в твои башмаки залезают крабы. Хочешь жить здесь со мной?

— Само собой,— сказал Пабло.

— Ты будешь платить мне всего пятнадцать долларов в месяц! И в твоем распоряжении будет весь дом, кроме моей постели, и весь сад. Только подумай, Пабло! И если кто-нибудь напишет тебе письмо, ему будет куда его послать.

— Само собой,— сказал Пабло.— Это здорово.

Пилон облегченно вздохнул. Только сейчас он понял, каким бременем лежал на его душе долг Дэнни. Разумеется, он знал, что Пабло не заплатит за квартиру ни гроша, но это не уменьшало его торжества. Если Дэнни когда-нибудь потребует денег, он сможет сказать: «Я заплачу, когда заплатит Пабло».

Они достигли следующего деления, и Пилон вспомнил, как счастлив он был в дни детства.

— Никаких забот, Пабло. Я был безгрешен. Я был очень счастлив.

— С тех пор мы ни разу не были счастливы,— грустно согласился Пабло.

ГЛАВА IV

О том, как хороший человек Хесус Мария Коркоран против воли стал орудием зла

Жизнь Пилона и Пабло текла спокойно и очень приятно. По утрам, когда солнце выплывало из-за сосен, а далеко внизу искрился и играл волнами голубой залив, они неторопливо и задумчиво поднимались с постелей.

Солнечное утро — это время тихой радости. Когда высокие мальвы усыпаны сверкающими росинками, на каждом листке трепещет драгоценный камень, пусть ничего не стоящий, но зато прекрасный. Эти часы — не для спешки, не для суеты. Утро — время неторопливых, глубоких, золотых мыслей.

Пабло и Пилон в синих бумазейных штанах и синих рубахах рука об руку спустились в овраг за домом, а вернувшись, расположились на крыльце греться на солнце, слушать рожки рыботорговцев на улицах Монтерея и обсуждать сонно и рассеянно происшествия, волнующие Тортилья-Флэт, ибо каждый раз, пока земля оборачивается вокруг своей оси, в Тортилья-Флэт успевает произойти тысяча важнейших событий.

На крыльце они предавались блаженному покою. Только пальцы их босых ног порой постукивали по теплым доскам, отгоняя надоедливых мух.

— Если бы это была не роса, а бриллианты,— сказал Пабло,— мы бы разбогатели. Мы бы пили без просыпу всю жизнь.

Но Пилон, несший проклятие педантизма, возразил:

— Тогда бы у всех было много бриллиантов. И они ничего не стоили бы, а за вино всегда надо платить. Вот если бы вдруг пошел винный дождь, а у нас была бы цистерна, чтобы его собирать...

— Только чтобы дождь шел из хорошего вина,— перебил Пабло.— А не из того паршивого пойла, которое ты приволок в прошлый раз.

— Я ведь за него не платил,— сказал Пилон.— Кто-то спрятал бутылку в траве у дансинга. Чего же ты хочешь от найденного вина?

Они сидели, лениво отмахиваясь от мух.

— Корнелия Руис порезала вчера чумазого мексиканца,— заметил Пилон.

Пабло поглядел на него со слабым интересом.

— Подрались? — спросил он.

— Да нет. Просто чумазый не знал, что Корнелия завела себе вчера нового дружка, и попробовал войти к ней в дом. Вот Корнелия его и порезала.

— Вольно ж ему было не знать! — чопорно сказал Пабло.

— А он был в городе, когда Корнелия завела этого нового дружка. Чумазый только и сделал, что попробовал войти через окно, когда она заперла дверь.

— Чумазый всегда был дураком,— сказал Пабло.— Он помер?

— Да нет. Она только чуточку порезала ему руки. Корнелия вовсе и не сердилась. Просто она не хотела, чтобы чумазый вошел в дом.

— Корнелия не очень порядочная женщина,— сказал Пабло.— Но она заказывает мессы по своему отцу, хоть он уже десять лет как помер.

— Они ему пригодятся,— заметил Пилон.— Он был скверным человеком и ни разу не попал за это в тюрьму, и он никогда не исповедовался. Когда старик Руис помирал, пришел священник его напутствовать, и тогда Руис исповедался. Корнелия рассказывает, что священник был белее полотна, когда выходил от больного. Только потом священник говорил, что не поверил и половине того, в чем Руис ему исповедовался.

Пабло кошачьим движением прикончил муху, севшую ему на колено.

— Руис всегда был лгуном,— сказал он.— Такой душе нужно много заупокойных месс. Но как по-твоему, будет ли толк от мессы, если за нее платят деньгами, которые пропадают из карманов людей, пока они спят пьяные в доме Корнелии?

— Месса — это месса,— сказал Пилон.— Человеку, который продает тебе стаканчик вина, все равно, где ты достал на него деньги. И богу все равно, чем платят за мессы. Он просто их любит, вот как ты вино. Отец Мерфи только и знал, что удить рыбу, и святое причастие весь сезон отдавало макрелью, но ведь оно от этого не теряло святости. Пускай в таких вещах разбираются священники. А нам нечего ломать над ними голову. Где бы нам раздобыть яиц? Неплохо было бы съесть сейчас яичко.

Пабло нахлобучил шляпу на самые глаза, заслоняясь от ярких солнечных лучей.

— Чарли Милер сказал мне, что Дэнни гуляет теперь с Розой Мартин, португалкой.

Пилон в тревоге привскочил.

— А вдруг она захочет выйти замуж за Дэнни? Эти португалки всегда хотят выходить замуж, и еще они любят деньги. Вдруг, когда они поженятся, Дэнни начнет требовать с нас плату за дом? Этой Розе понадобятся новые платья. У женщин всегда так. Я их знаю.

Пабло тоже, казалось, был обеспокоен.

— Может, нам сходить к Дэнни поговорить? — предложил он.

— Может, у Дэнни найдутся яйца,— заметил Пилон.— Куры у миссис Моралес хорошо несутся.

Они надели башмаки и медленно побрели к дому Дэнни.

Пилон нагнулся, подобрал крышечку от пивной бутылки, выругался и отшвырнул ее.

— Какой-то скверный человек бросил ее здесь, чтобы обманывать людей.

— Я тоже вчера вечером на ней попался,— сказал Пабло, заглядывая во дворик, где поспевала кукуруза, и мысленно отметил, что она, пожалуй, уже поспела.

Дэнни сидел у себя на крыльце, в тени розового куста, и шевелил пальцами босых ног, отгоняя мух.

— Привет, amigos,— вяло поздоровался он с ними.

Они уселись рядом с ним, сняли шляпы и разулись. Дэнни достал кисет и бумагу и передал их Пилону. Пилона это немного шокировало, но он ничего не сказал.

— Корнелия Руис порезала чумазого мексиканца,— сказал он.

— Я слышал,— отозвался Дэнни.

Пабло заметил ядовито:

— Нынешние женщины забыли, что такое добродетель.

— Опасно иметь с ними дело,— подхватил Пилон.— Я слышал, что тут в Тортилья-Флэт есть одна португальская девчонка, которая всегда готова сделать мужчине подарочек, если он потрудится получить его.

Пабло негодующе прищелкнул языком. Он развел руками.

— Что же делать? — сказал он.— Неужто никому нельзя доверять?

Они внимательно вглядывались в лицо Дэнни, но не заметили на нем никаких признаков тревоги.

— Зовут эту девушку Роза,— сказал Пилон.— А фамилию ее я называть не стану.

— Это ты о Розе Мартин? — заметил Дэнни без всякого интереса.— Чего же еще ждать от португалки?

Пабло и Пилон облегченно вздохнули.

— Как поживают куры миссис Моралес? — как бы между прочим спросил Пилон.

Дэнни печально покачал головой.

— Все до одной передохли. Миссис Моралес закупорила бобы в банки, а банки разорвало, и она скормила эти бобы курам, а куры передохли, все до единой.

— А где сейчас эти куры? — заинтересовался Пабло.

Дэнни отрицательно помахал указательным и средним пальцами.

— Кто-то сказал миссис Моралес, чтобы она не ела этих кур, а то заболеет, но мы хорошенько их выпотрошили и продали мяснику.

— Кто-нибудь умер? — осведомился Пабло.

— Нет. Наверное, этих кур можно было есть.

— А ты не купил на вырученные деньги немножко винца? — намекнул Пилон.

Дэнни насмешливо улыбнулся.

— Миссис Моралес купила вина, и я вчера вечером был у нее в гостях. Она все еще красивая женщина, и вовсе не такая уж старая.

Пилона и Пабло вновь охватила тревога.

— Мой двоюродный брат Уили говорит, что ей стукнуло пятьдесят,— взволнованно сказал Пилон.

Дэнни отмахнулся.

— Какая важность, сколько ей лет? — заметил он философски.— Женщина она очень бойкая. Она живет в собственном доме, и у нее есть двести долларов в банке.— Тут Дэнни немного смутился и добавил: — Мне бы хотелось сделать подарок миссис Моралес.

Пилон и Пабло уставились на свои ноги, всеми силами души стремясь отвратить надвигающееся. Но это им не удалось.

— Будь у меня деньги,— сказал Дэнни,— я купил бы ей коробку конфет.— Он выразительно посмотрел на своих жильцов, но они молчали.— Мне бы только доллар или два,— намекнул он.

— Чин Ки сушит каракатиц,— заметил Пилон.— Пойди к нему на полдня потрошить каракатиц.

— Хозяину двух домов неприлично потрошить каракатиц,— колко возразил Дэнни.— Вот если бы мне получить хоть часть квартирной платы...

Пилон в сердцах вскочил на ноги.

— Ты только и знаешь, что требовать квартирную плату! — крикнул он.— Ты готов вышвырнуть нас на улицу, в сточную канаву, а сам будешь нежиться в мягкой постели! Пошли, Пабло,— гневно закончил Пилон,— мы достанем денег для этого скряги, для этого кровопийцы.

И оба гордо удалились.

— А где мы достанем денег? — спросил Пабло.

— Не знаю,— ответил Пилон.— Может, он больше не будет заговаривать об этом.

Однако столь бесчеловечное требование глубоко их ранило.

— Встречаясь с ним, мы будем звать его «кровопийцей-ростовщиком»,— сказал Пилон.— Столько лет мы были его друзьями! Когда он голодал, мы кормили его, когда он мерз, мы одевали его.

— Когда же это было? — спросил Пабло.

— Неважно. Будь у нас то, в чем он нуждался бы, мы поделились бы с ним. Вот какими друзьями мы были для него. А теперь он растоптал нашу дружбу ради коробки конфет для жирной старухи.

— Есть конфеты вредно,— сказал Пабло.

Бурные переживания совсем измучили Пилона. Он опустился на край придорожной канавы, подпер рукой подбородок и погрузился в отчаяние.

Пабло сел рядом с ним, но только для того, чтобы отдохнуть, так как его дружба с Дэнни не была такой старинной и прекрасной, как дружба Пилона с Дэнни.

Дно канавы было скрыто кустами и сухим бурьяном. Пилон, склонивший голову под гнетом печали и негодования, увидел, что из-под одного кустика торчит чья-то рука, а возле руки увидел бутыль вина, наполовину полную. Он вцепился в локоть Пабло и указал вниз.

Пабло уставился на руку.

— А может, он помер, Пилон?

Пилон уже успел перевести дух, и к нему вернулась обычная ясность мыслей.

— Если он помер, то вино ему ни к чему. Бутылку же с ним не похоронят!

Рука зашевелилась, отодвинула ветки, и глазам друзей открылась чумазая физиономия и рыжая щетинистая борода Хесуса Марии Коркорана.

— Здорово, Пилон, здорово, Пабло,— ошалело сказал он.— Qué tomas? [1]

Пилон спрыгнул к нему.

— Amigo Хесус Мария! Ты нездоров?

Хесус Мария кротко улыбнулся.

— Я просто пьян,— пробормотал он, приподнялся и встал на четвереньки.— Выпейте со мной, друзья. Пейте больше. Тут еще много осталось.

---

[1] Что выпьете? *(исп.)*

Пилон положил бутыль на согнутый локоть. Он сделал четыре глотка, и содержимое ее убавилось на пинту с лишком. Затем Пабло отобрал у него бутыль и стал играть с ней, как котенок с перышком. Он пополировал горлышко рукавом. Он понюхал вино. Он сделал три-четыре предварительных глотка и покатал капельку на языке, чтобы раздразнить себя. Но вот он сказал: «Madre de Dios, que vino!» [1] — поднял бутыль, и красное вино весело забулькало у него в глотке.

Пабло еще не перевел духа, когда Пилон уже протянул руку к бутылке. Он обратил на своего друга Хесуса Марию взгляд, полный нежности и восхищения.

— Ты нашел в лесу клад? — спросил он.— Какой-нибудь богач помер и назначил тебя своим наследником, дружочек мой?

Хесус Мария был само человеколюбие, и в его сердце никогда не иссякала доброта. Он откашлялся и сплюнул.

— Дайте мне вина,— сказал он.— У меня пересохло в глотке. Я вам сейчас все расскажу.

Он пил неторопливо и мечтательно, как пьет человек, который уже столько выпил, что может больше не спешить и даже позволить себе расплескать чуточку вина, нисколько об этом не жалея.

— Две ночи тому назад,— сказал он,— я ночевал на берегу. На берегу недалеко от Сисайда. За ночь волны вынесли на берег лодку. Такую хорошую лодочку, и с веслами. Я сел в нее и погреб в Монтерей. За нее можно было бы выручить долларов двадцать, но покупателей не находилось, и я получил всего семь.

— У тебя еще остались деньги? — взволнованно перебил его Пилон.

— Я же рассказываю вам, как все было,— с достоинством ответил Хесус Мария.— Я купил два галлона вина и отнес их сюда в лес, а потом пошел погулять с Арабеллой Гросс. Я купил ей в Монтерее шелковые подштанники. Они ей понравились — они такие мягкие и розовые. И еще я купил для Арабеллы пинту виски, а потом мы встретили солдат, и она ушла с ними.

— Прикарманив деньги хорошего человека! — в ужасе вскричал Пилон.

— Нет,— задумчиво сказал Хесус Мария.— Ей все равно пора было уходить. А потом я пришел сюда и лег спать.

— Значит, у тебя больше не осталось денег?

— Не знаю,— сказал Хесус Мария.— Сейчас погляжу.— Он порылся в кармане и вытащил три смятых долларовых бумажки и десятицентовую монету.— Сегодня вечером,— сказал он,— я куп-

---

[1] Матерь божья, что за вино! *(исп.)*

лю Арабелле Гросс одну из штучек, которые носят как пояс, только выше.

— Маленькие шелковые кармашки на веревочке?

— Да,— ответил Хесус Мария.— Только они не такие уж маленькие, как ты думаешь.

Он откашлялся.

Пилон сразу исполнился нежной заботливости.

— Это все ночной воздух,— сказал он.— Спать под открытым небом вредно. Вот что, Пабло, мы отведем его к нам домой и вылечим его простуду. Грудная болезнь зашла уже далеко, но мы ее вылечим.

— О чем вы говорите? — спросил Хесус Мария.— Я здоров.

— Это тебе так кажется,— ответил Пилон.— Так казалось и Рудольфо Келлингу. А ты сам был на его похоронах месяц назад. Так казалось и Анхелине Васкес. А она померла на прошлой неделе.

Хесус Мария испугался.

— В чем же тут дело, как по-твоему?

— В том, что человек, когда спит, дышит ночным воздухом,— важно объяснил Пилоп.— Твои легкие его не выдержат.

Пабло обмотал бутыль большим сорняком, так хорошо ее укрыв, что любой прохожий проникся бы жгучим желанием узнать, какую тайну скрывает этот сорняк.

Пилон шел рядом с Хесусом Марией и порой нежно брал его под руку, чтобы он не забыл о своей болезни. Они отвели его в свой дом, уложили в постель и, хотя день был жарким, укрыли старым ватным одеялом. Пабло произнес трогательную речь о муках несчастных страдальцев, терзаемых туберкулезом. А затем медовым голосом заговорил Пилон. Он с благоговейным восторгом описывал, какое это счастье — жить в маленьком домике. Когда приходит ночь, когда иссякают дружеская беседа и вино, а за окном смертоносные туманы льнут к земле, как призраки чудовищных пиявок, тогда живущему в таком домике не нужно выходить на улицу и устраиваться на ночлег во вредной сырости оврага. Нет, он ложится в удобную, мягкую, теплую постель и спит, как малое дитя.

Тут Хесус Мария уснул. Пилону и Пабло пришлось разбудить его и дать ему выпить. Затем Пилон принялся трогательно описывать утро, когда человек лежит в своем теплом гнездышке, дожидаясь, чтобы солнце начало припекать как следует. Ему не приходится дрожать на рассвете и хлопать руками, чтобы как-то их согреть.

Наконец Пилон и Пабло мертвой хваткой вцепились в Хесуса Марию, как два эрдельтерьера, которые, безмолвно выследив

дичь, вцепляются в нее с двух сторон. Они сдали свой дом Хесусу Марии за пятнадцать долларов в месяц. Он с радостью согласился. Все трое пожали друг другу руки. Бутыль была извлечена из сорняка. Пилон основательно к ней приложился, так как знал, что самое трудное еще впереди. И вот, пока Хесус Мария пил, он небрежно и вкрадчиво произнес:

— И мы возьмем с тебя всего три доллара задатка.

Хесус Мария поставил бутыль и в ужасе уставился на него.

— Нет,— возмущенно воскликнул он.— Я обещал Арабелле Гросс купить ей такую штучку. А за дом я заплачу, когда придет срок.

Пилон понял, что взял неверный тон.

— Когда ты лежал на берегу вблизи Сисайда, бог пригнал к тебе эту лодочку. Что ж, по-твоему, милосердный бог сделал это, чтобы ты мог покупать шелковые подштанники для девки с консервного завода? Нет! Бог послал тебе лодку, чтобы ты не умер от ночевок на холодной земле. Или, по-твоему, бога заботит грудь Арабеллы Гросс? А кроме того, мы возьмем в задаток только два доллара,— продолжал он.— За один доллар ты можешь купить такую штучку, что хоть корове будет впору.

Но Хесус Мария все еще не сдавался.

— Вот что,— сказал Пилон,— если мы не уплатим Дэнни два доллара, нас всех выгонят на улицу, а виноват будешь ты. Мы будем спать в канавах, и грех падет на твою душу.

Хесус Мария Коркоран не вынес стольких ударов со стольких сторон. Он протянул Пилону две смятые бумажки.

И тогда настороженность и недоверие покинули комнату, а их место заняли покой, тишина и теплейшая дружба. Пилон облегченно вздохнул. Пабло отнес одеяло к себе на кровать, и завязалась беседа.

— Нам надо отнести эти деньги Дэнни.

Первая жажда была утолена, и теперь они попивали вино из банок.

— Почему Дэнни так нужны два доллара? — спросил Хесус Мария.

И Пилон излил ему свою душу. Его руки запорхали, как две ночные бабочки, и только запястья и плечи мешали им вылететь за дверь.

— Наш друг Дэнни ухаживает за миссис Моралес. Нет, не сочти его дураком. У миссис Моралес есть в банке двести долларов. Дэнни хочет купить коробку конфет для миссис Моралес.

— Конфеты есть вредно,— заметил Пабло.— От них болят зубы.

— Это уж Дэнни решать,— сказал Хесус Мария.— Если он хочет, чтобы у миссис Моралес болели зубы, это его дело. А нам-то что до зубов миссис Моралес?

Лицо Пилона омрачилось тревогой.

— Однако,— строго перебил он,— если наш друг Дэнни подарит миссис Моралес много конфет, он их тоже будет есть. И значит, болеть будут зубы нашего друга.

Пабло огорченно покачал головой.

— Куда это годится, если друзья Дэнни, которым он верит, доведут его до зубной боли?

— Так что же нам делать? — спросил Хесус Мария, хотя и он сам, и остальные двое прекрасно знали, что именно они сделают. Каждый вежливо предоставлял соседу произнести неизбежные слова. Молчание затягивалось. Пилон и Пабло чувствовали, что предложение не должно исходить от них, поскольку в некоторых отношениях их можно было счесть заинтересованными сторонами. Хесус Мария молчал потому, что был гостем, но когда молчание его хозяев подсказало ему, чего от него ждут, он мужественно сделал первый шаг.

— Галлон вина — вот прекрасный подарок для дамы,— произнес он задумчиво.

Пилон и Пабло были поражены его находчивостью.

— Мы скажем Дэнни, что для его зубов будет полезнее, если он купит вина.

— А вдруг Дэнни нас не послушает? Когда даешь Дэнни деньги, никогда не знаешь, что он на них купит. Вдруг он все-таки купит конфет, и тогда все наши хлопоты и волнения пропадут зря?

Они превратили Хесуса Марию в своего суфлера, в спасителя положения.

— Может, если мы сами купим вино и отдадим его Дэнни, это будет безопаснее? — предложил он.

— Вот именно! — вскричал Пилон.— Ты хорошо придумал.

Хесус Мария лишь скромно улыбнулся, услышав, что ему приписывают честь этой выдумки. Он прекрасно понимал, что идея носилась в воздухе и рано или поздно кто-нибудь ее обязательно высказал бы.

Пабло разлил остатки вина по банкам, и они выпили его, отдыхая после таких усилий. Они гордились тем, что спасительная мысль была развита столь логично и послужила столь человеколюбивой цели.

— Мне что-то есть хочется,— сказал Пабло.

Пилон встал, подошел к двери и поглядел на солнце.

— Полдень уже миновал,— сказал он.— Мы с Пабло пойдем к Торрелли за вином, а ты, Хесус Мария, иди в Монтерей и раздобудь еды. Может, миссис Бруно на пристани даст тебе рыбы. Может, ты где-нибудь достанешь хлеба.

— Я лучше пойду с вами,— сказал Хесус Мария, ибо он подозревал, что в головах его друзей столь же логично и столь же неизбежно уже зреет новая мысль.

— Нет, Хесус Мария,— сказали они твердо.— Сейчас два часа или около того. Через час будет три часа. Мы тогда встретимся с тобой здесь и перекусим. И может, запьем еду стаканчиком вина.

Хесус Мария с неохотой побрел в Монтерей, а Пилон и Пабло весело зашагали вниз по склону холма к заведению Торрелли.

ГЛАВА V

О том, как святой Франциск изменил ход событий и с отеческой мягкостью наказал Пилона, Пабло и Хесуса Марию

Вечер приближался так же незаметно, как приближается старость к счастливому человеку. К солнечному сиянию добавилось немножко больше золота. Залив стал чуть синей, и по нему побежали морщинки от берегового ветра. Одинокие удильщики, которые верят в то, что рыба клюет только во время прилива, покинули свои скалы, и их места заняли те, кто убежден, что рыба клюет только во время отлива.

В три часа ветер переменился и легонько подул с моря, принося с собой бодрящие запахи всевозможных водорослей. Чинильщики сетей на пустырях Монтерея отложили свои иглы и свернули сигареты. Жирные дамы с глазами скучающими и мудрыми, как глаза свиней, ехали по улицам города в пыхтящих автомобилях к отелю «Дель Монте», где их ждали чай и джин с содовой. На улице Альварадо Гуго Мачадо, портной, повесил на дверь своей мастерской записку: «Буду через пять минут» — и ушел домой, чтобы больше в этот день не возвращаться. Сосны покачивались медлительно и томно. Куры в сотнях курятников безмятежными голосами жаловались на свою тяжкую судьбу.

Пилон и Пабло сидели под кустом кастильской розы во дворе Торрелли и, не замечая времени, тихонько потягивали вино, а вечерние тени вокруг росли так же незаметно, как растут волосы.

— И очень хорошо, что мы не отнесли Дэнни двух галлонов вина,— сказал Пилон.— Он из тех, кто не знает меры, когда пьет.

Пабло согласился.

— Дэнни на вид здоров,— сказал он,— но ведь каждый день только и слышишь, как такие люди умирают. Возьми хоть Рудольфо Келлинга. Возьми хоть Анхелину Васкес.

Педантизм его собеседника мягко дал о себе знать.

— Рудольфо свалился в каменоломню за Пасифик-Гров,— с легким упреком поправил Пилон приятеля.— Анхелина съела испорченные рыбные консервы. Но,— закончил он ласково,— я понимаю, что ты хотел сказать. Очень многие умирают и от злоупотребления вином.

Весь Монтерей постепенно и бессознательно начинал готовиться к ночи. Миссис Гутьерес крошила красный перец для соуса. Руперт Хоган, виноторговец, разбавил джин водой и припрятал его, чтобы продавать после полуночи. И подсыпал перца в вечернее виски. В дансинге «Эль Пасео» Бомба Розендейл открыла коробку соленого печенья и разложила его по большим блюдам, словно грубые коричневые кружева. В аптеке «Палас» убрали маркизы. Кучка мужчин, которые простояли весь день перед почтовой конторой, здороваясь с друзьями, отправилась на станцию встречать экспресс «Дель Монте» из Сан-Франциско. Пресыщенные чайки поднимались с пляжа у рыбоконсервных заводов и улетали на рифы. Стаи пеликанов, тяжело взмахивая крыльями, тянулись туда, где они ночуют. Итальянские рыбаки на сейнерах складывали свои неводы. Маленькая мисс Альма Альварес, которой давно уже исполнилось девяносто лет, отнесла свой ежедневный букет розовой герани пресвятой деве над папертью церкви Сан-Карлос. В соседней методистской деревушке Пасифик-Гров члены Женского Христианского Союза Трезвости, собравшиеся на чаепитие и беседу, слушали миниатюрную даму, которая с большим жаром живописала порок и проституцию, процветающие в Монтерее. Она рекомендовала, чтобы специальная комиссия посетила тамошние притоны и на месте ознакомилась с ужасающим положением вещей. Они уже много раз все это обсуждали, и им необходимы свежие факты.

Солнце склонилось к западу и обрело оранжевый румянец. Под кустом кастильской розы во дворе Торрелли Пабло и Пилон допили первый галлон вина. Торрелли вышел из дому и прошел через двор, не заметив своих недавних клиентов. Они подождали, пока он не скрылся из вида на улице, ведущей в Монтерей; тогда Пабло и Пилон вошли в дом и, рассчитанно пустив в ход свое искусство, добились того, что миссис Торрелли угостила их ужином. Они хлопали ее по заду, называли ее «уточкой», позволили

себе несколько любезных вольностей по отношению к ее особе и в конце концов удалились, оставив ее весьма польщенной и слегка растрепанной.

К этому времени Монтерей окутали сумерки и уже зажглись фонари. Мягко светились окна. Монтереевский театр принялся выписывать огненными буквами «Дети ада, Дети ада». Маленькая, но фанатическая кучка тех, кто верит, что рыба клюет только вечером, в свою очередь, расположилась на остывших скалах. По улицам пополз легкий туман, завиваясь у печных труб, и в воздухе разлился приятный запах горящих сосновых дров.

Пабло и Пилон вернулись к своему розовому кусту и сели на землю, но им уже не было так уютно, как прежде.

— Тут холодно,— заметил Пилон и отхлебнул из бутылки, чтобы согреться.

— Пойдем лучше домой, там тепло,— сказал Пабло.

— Но у нас нет дров.

— Ладно,— сказал Пабло,— неси вино, встретимся на углу. (И он действительно пришел туда через полчаса.)

Пилон терпеливо ждал, зная, что есть положения, когда даже помощь друга бесполезна. И, ожидая, Пилон бдительно вглядывался в тот конец улицы, где исчез Торрелли, так как Торрелли был человеком буйным и любые объяснения, даже самые логичные, даже необыкновенно красноречивые, не произвели бы на него ни малейшего впечатления. Кроме того, Пилон знал, что Торрелли придерживается по-итальянски нетерпимых и чисто донкихотских взглядов на супружеские отношения. Но Пилон беспокоился напрасно. Торрелли, пылая яростью, не ворвался в свой дом. Через некоторое время явился Пабло, и Пилон с восхищением и одобрением заметил, что он несет охапку сосновых дров из поленницы Торрелли.

Пабло ни словом не обмолвился о своем приключении, пока они не добрались до дома. А тогда он сказал, как недавно Дэнни:

— Бойкая женщина эта уточка.

Пилон в темноте кивнул и сказал философски:

— Редко можно найти на одном рынке все, в чем нуждается человек,— вино, еду, любовь и дрова. Не надо забывать Торрелли, Пабло, друг мой. С таким человеком стоит водить знакомство. Давай подарим ему что-нибудь.

Пилон подбрасывал поленья в печку, пока пламя в ней не заревело. Тогда оба друга придвинули стулья поближе и поднесли банки из-под варенья к самой дверце, чтобы согреть вино. В этот вечер комнату освещал священный огонек, так как Пабло купил свечу, чтобы поставить ее святому Франциску. Но что-то отвлекло его от осуществления этого благочестивого намерения. И теперь

тоненькая восковая свечка горела ясным пламенем в устричной раковине, отбрасывала тени Пабло и Пилона на стену и заставляла их танцевать.

— Куда это запропастился Хесус Мария? — заметил Пилон.

— Он обещал вернуться давным-давно,— ответил Пабло.— Просто не знаешь, можно ли доверять такому человеку или нет.

— А вдруг его что-нибудь задержало, Пабло? Из-за рыжей бороды и доброго сердца у Хесуса Марии вечно случаются неприятности с дамами.

— У него мозги, как у кузнечика,— сказал Пабло.— Только и знает, что петь, играть да прыгать. Несерьезный он человек.

Ждать им пришлось недолго. Не успели они во второй раз наполнить банки из-под варенья, как в комнату, шатаясь, ввалился Хесус Мария. Он уцепился за оба косяка, чтобы не упасть. Рубаха его была разорвана, лицо залито кровью. Танцующее пламя свечи озаряло зловещий синяк под глазом.

Пабло и Пилон бросились к нему.

— Наш друг! Он ранен. Он упал с обрыва. Его переехал поезд!

В их тоне не было и тени насмешки, но Хесус Мария счел эти слова самой язвительной насмешкой. Он свирепо сверкнул на Пилона и Пабло тем глазом, который был еще на это способен.

— Обе твои матери — яловые коровы,— сказал он.

Они отступили, ужаснувшись вульгарности этого ругательства.

— Наш друг бредит.

— Ему проломили череп.

— Налей ему вина, Пабло.

Хесус Мария угрюмо уселся у печки, поглаживая свою банку из-под варенья, а его друзья терпеливо ждали рассказа о трагическом происшествии. Но Хесус Мария, казалось, не собирался ничего им говорить. Пилон несколько раз откашливался, Пабло глядел на Хесуса Марию взглядом, готовым немедленно выразить живейшее сочувствие, но Хесус Мария только хмурился и свирепо поглядывал то на печку, то на вино, то на святую свечу, и в конце концов его невежливая сдержанность толкнула Пилона на столь же большую невежливость. Потом он сам не понимал, как мог настолько забыться.

— Опять эти солдаты? — спросил он.

— Да,— проворчал Хесус Мария.— На этот раз они явились слишком рано.

— Наверное, их было не меньше двадцати, раз они тебя так отделали,— заметил Пабло, чтобы подбодрить друга.— Кто же не знает, что в драке ты — лев?

И действительно, после его слов Хесус Мария чуть-чуть повеселел.

— Их было четверо,— сказал он.— И Арабелла Гросс им тоже помогала. Она стукнула меня камнем по голове.

Пилона охватило добродетельное негодование.

— Не стану напоминать тебе,— сказал он строго,— что твои друзья просили тебя не связываться с этой девкой-консервницей. (Он не был вполне уверен, предостерегал ли он Хесуса Марию, но ему помнилось, что предостерегал.)

— От этих дешевых белых девчонок добра не жди,— вмешался Пабло.— А ты отдал ей эту штучку, которую носят как пояс?

Хесус Мария порылся у себя в кармане и вытащил оттуда розовый вискозный бюстгальтер.

— Не успел,— сказал он.— Я как раз хотел это сделать, а кроме того, мы еще не добрались до леса.

Пилон понюхал воздух и покачал головой, но не без оттенка грустной снисходительности.

— Ты пил виски.

Хесус Мария кивнул.

— Чье это было виски?

— Этих солдат,— ответил Хесус Мария.— Они спрятали его под мостиком. Арабелла об этом знала и сказала мне. Но солдаты увидели у нас бутылку.

Контуры случившегося постепенно прояснялись. Пилон предпочитал именно такой способ повествования. Выложить все сразу — значит безнадежно испортить рассказ. Его прелесть слагается из недосказанного, когда слушатель должен восполнять пробелы, исходя из собственного опыта. Пилон взял розовый лифчик с колен Хесуса Марии, провел по нему пальцами, и глаза его стали задумчивыми. Но через мгновение в них вспыхнула радость.

— Знаю! — воскликнул он.— Мы отдадим эту штучку Дэнни для подарка миссис Моралес.

Все, кроме Хесуса Марии, горячо приветствовали этот план, и он почувствовал, что остался в жалком меньшинстве. Пабло тактично наполнил банку Хесуса Марии, хорошо понимая, каково это — потерпеть поражение.

Но прошло немного времени, и все трое начали улыбаться. Пилон рассказал очень смешную историю, случившуюся с его отцом. К обществу вернулось хорошее настроение. Они запели. Хесус Мария отбил чечетку, чтобы доказать, что его рана — пустяк. Вина в бутыли становилось все меньше и меньше, однако оно еще не иссякло, когда троих друзей сморил сон. Пабло и

Пилон, пошатываясь, добрели до своих постелей, а Хесус Мария удобно устроился на полу возле печки.

Дрова в печке догорели. Дом наполнился басовой мелодией сна. В большой комнате все застыло в неподвижности. Только святая свеча с удивительной быстротой то вскидывала, то опускала острый язычок пламени.

Позже эта свеча заставила Пилона, и Пабло, и Хесуса Марию задуматься над кое-какими этическими вопросами. Простая восковая палочка с бечевкой внутри нее. Подобный предмет, скажете вы, подвластен определенным физическим законам, и только им. Вы думаете, что его поведение обусловливается конкретными факторами, именуемыми теплотой и горением. Вы зажигаете фитиль, воск плавится и подымается по фитилю; свеча горит какое-то количество часов, затем гаснет — и все. Эпизод закончен. Вскоре свеча уже забыта, и следовательно, никогда не существовала.

Но разве вы забыли, что свеча была святой? Что в минуту угрызений совести, а может быть, чистого молитвенного экстаза Пабло обещал ее святому Франциску? И вот этот фактор помещает восковую палочку вне пределов юрисдикции физических законов.

Свеча прицелилась острием пламени в небеса, словно художник, который сжигает себя, чтобы обрести бессмертие. Свеча становилась все короче и короче. Она искривилась. Ветер поднялся на улице и пробрался сквозь щели в стенах. Шелковый календарь, украшенный личиком прелестной девушки, выглядывающей из лепестков розы «Американская красавица», плавно качнулся на стене. Он задел огненное острие. Пламя лизнуло шелк и взбежало к потолку. Вспыхнул отставший кусок обоев и, пылая, упал на пачку старых газет.

С неба на происходившее сурово и неумолимо глядели святые и мученики. Свечка была обещана. Она принадлежала святому Франциску. Вместо нее святой Франциск получит в эту ночь свечу побольше.

Умей мы измерять глубину сна, можно было бы утверждать, что Пабло, чье кощунственное деяние послужило причиной пожара, спал еще более крепко, чем оба его друга. Но раз мы этого не умеем, остается только сказать, что спал он очень, очень крепко.

Языки пламени побежали по стенам, нашли дыры в крыше и просочились сквозь них в ночь. Дом наполнился ревом огня. Хесус Мария заворочался и, не просыпаясь, начал стягивать с себя куртку. Но тут ему на лицо упала горящая дранка. Он с воплем вскочил и потрясенно уставился на огонь, бушевавший вокруг.

— Пилон! — завопил он.— Пабло!

Он бросился в соседнюю комнату, вытащил своих друзей из постелей и вытолкал их за дверь. Пилон все еще сжимал в кулаке розовый бюстгальтер.

Они стояли перед горящим домом и смотрели в занавешенную огнем дверь. Им был виден стол, а на нем — бутыль, в которой еще оставалось добрых два дюйма вина.

Пилон почувствовал, что в Хесусе Марии поднимается волна яростного героизма.

— Не делай этого! — крикнул он.— Пусть оно гибнет в огне, в наказание нам за то, что мы его оставили там.

До них донесся вой сирен и рев монтерейских пожарных машин, на второй передаче взбирающихся по холму. Большие красные фургоны все приближались, и лучи их прожекторов уже заметались среди сосен.

Пилон поспешно повернулся к Хесусу Марии.

— Беги и скажи Дэнни, что его дом горит. Беги быстрее, Хесус Мария.

— А почему ты сам не бежишь?

— Слушай,— сказал Пилон,— Дэнни не знает, что его дом снимаешь ты. А на Пабло и меня он может рассердиться.

Хесус Мария признал логичность этого довода и опрометью кинулся к дому Дэнни. В доме было темно.

— Дэнни! — крикнул Хесус Мария.— Дэнни! Твой дом горит!

Ответа не было.

— Дэнни! — крикнул он снова.

В соседнем доме, в доме миссис Моралес, открылось окно, и Дэнни сказал раздраженно:

— Какого черта тебе тут надо?

— Твой другой дом горит! Тот, в котором живут Пабло и Пилон.

Дэнни немного помолчал, а потом спросил:

— Пожарные там?

— Да! — крикнул Хесус Мария.

К этому времени зарево разлилось по всему небу. До них донесся треск горящих бревен.

— Ну,— сказал Дэнни,— если пожарные ничего не могут поделать, так чего Пилон хочет от меня?

Хесус Мария услышал, как окно захлопнулось, и, повернувшись, побежал назад. Он понимал, что явился не вовремя, но ведь заранее не угадаешь. Если бы Дэнни пропустил пожар, он мог бы рассердиться. Во всяком случае, Хесус Мария был рад, что предупредил его. Теперь вся ответственность ложилась на миссис Моралес.

Домик был маленький, тяга хорошая, а стены сухие. Пожалуй, с тех пор как выгорел старый китайский квартал, в Монтерее не случалось такого быстрого и исчерпывающего пожара. Пожарные бросили взгляд на пылающие стены и принялись поливать траву, деревья и соседние дома. Не прошло и часа, как от дома ничего не осталось. И только тогда шланги были повернуты на кучу золы, чтобы загасить угли и раскаленный пепел.

Пилон, и Пабло, и Хесус Мария стояли плечом к плечу и смотрели. Половина жителей Монтерея и все обитатели Тортилья-Флэт, за исключением Дэнни и миссис Моралес, толпились вокруг, с большим удовольствием созерцая пожар. Наконец, когда все было кончено и над черной кучей поднялось облако пара, Пилон молча повернулся и зашагал прочь.

— Куда ты идешь? — окликнул его Пабло.

— Я иду,— сказал Пилон,— в лес, чтобы выспаться. Советую и вам сделать то же. Нам лучше пока не попадаться на глаза Дэнни.

Они задумчиво кивнули и последовали за ним в сосновый лес.

— Это урок для нас,— сказал Пилон.— Никогда не следует оставлять вино в доме на ночь.

— В следующий раз,— с унылой безнадежностью сказал Пабло,— ты оставишь его снаружи, и кто-нибудь его украдет.

ГЛАВА VI

О том, как трое грешников, раскаявшись, обрели душевный мир. О том, как друзья Дэнни поклялись в вечной дружбе

Когда солнце поднялось над соснами и земля согрелась, а ночная роса уже высыхала на листьях герани, Дэнни вышел на крыльцо, чтобы посидеть на солнышке и поразмыслить о некоторых событиях. Он сбросил башмаки и зашевелил пальцами босых ног, грея их на солнце. На рассвете он уже сходил посмотреть на черную кучу золы, из которой торчали остатки водопроводных труб,— еще недавно все это было его вторым домом. Он уже вознегодовал, как положено, на своих небрежных друзей, уже оплакал ту недолговечность земных сокровищ, которая делает столь ценными сокровища духа. Он уже всесторонне обдумал гибель своего статуса домовладельца, сдающего второй дом в аренду, и теперь, испытав и забыв весь этот клубок неизбежных и приличествующих случаю эмоций, предался, наконец, единственно под-

линной из них — чувству глубокого облегчения, что хотя бы половина этого бремени свалилась с его плеч.

«Если бы он уцелел, я бы алчно требовал платы за него,— думал Дэнни.— Мои друзья охладели ко мне, потому что они стали моими должниками. Теперь мы опять будем свободны и счастливы».

Но Дэнни знал, что он должен устроить нагоняй своим друзьям, чтобы они не сочли его рохлей. И вот, сидя на крыльце и отгоняя мух движением руки, которое скорее предостерегало их, нежели грозило им гибелью, он обдумывал, что он скажет своим друзьям, прежде чем вновь откроет для них кораль былой дружбы. Он должен показать им, что он — не тот человек, чьим долготерпением можно злоупотреблять. Но он жаждал поскорее покончить со всем этим и вновь стать тем Дэнни, которого все любили, тем Дэнни, к которому спешили люди, раздобывшие бутылку вина или кусок мяса. Ведь пока он был владельцем двух домов, его считали богачом, и поэтому он лишился многих радостей.

Пилон, и Пабло, и Хесус Мария Коркоран спали крепким сном на сосновых иглах в лесу. Ночь была исполнена бурных волнений, и они устали. Но солнце наконец начало припекать их лица с полуденным пылом, муравьи гуляли по ним взад и вперед, а две голубые сойки, опустившись на землю возле них, обзывали их всеми бранными кличками, какие только знали.

Однако окончательно разбудила их компания, устроившая пикник рядом с кустами, где они лежали: из открытой корзины с завтраком поднялись упоительные запахи и достигли ноздрей Пилона, и Пабло, и Хесуса Марии. Они проснулись; они сели; и тут они вспомнили, в каком страшном положении они очутились.

— Как начался пожар? — жалобно спросил Пабло, но никто этого не знал.

— Может,— сказал Хесус Мария,— нам пока лучше перебраться в другой город — в Уотсонвилл или в Салинас? Это хорошие города.

Пилон вытащил из кармана бюстгальтер и провел пальцем по глянцевитому розовому шелку. А потом поднял его и посмотрел сквозь него на солнце.

— Это только затянет дело,— заявил он решительно.— По-моему, будет лучше всего, если мы пойдем к Дэнни, как малые дети к отцу, и признаемся в своей вине. И тогда он уже не сможет сказать ничего такого, о чем потом не пожалел бы. А кроме того, разве у нас нет этого подарка для миссис Моралес?

Его друзья кивнули в знак согласия. Взгляд Пилона пробился сквозь густые кусты туда, где сидели участники пикника, а главное, стояла внушительная корзина с завтраком, из которой

исходил манящий аромат фаршированных яиц. Нос Пилона слегка задергался, как нос кролика. Он мечтательно улыбнулся.

— Я пойду прогуляюсь, друзья мои. И буду ждать вас у каменоломни. Если возможно, корзины не приносите.

Они грустно смотрели, как Пилон встал и исчез за деревьями точно под прямым углом по отношению к пикнику и корзине. Пабло и Хесус Мария нисколько не удивились, когда две-три секунды спустя до них донесся собачий лай, петушиный крик, ворчание дикой кошки, короткий вопль и мольба о помощи; однако участники пикника были поражены и заинтригованы. Две парочки покинули свою корзину и побежали в ту сторону, откуда исходили эти прихотливые звуки.

Пабло и Хесус Мария последовали наставлениям Пилона. Они не взяли корзины, но с тех пор их шляпы и рубахи хранили неизгладимые следы фаршированных яиц.

Часов около трех к дому Дэнни медленно брели трое кающихся грешников. Они несли искупительные дары: апельсины, яблоки и бананы, банки с оливками и маринованными огурцами, сандвичи с ветчиной и яйцами, бутылки содовой воды, кулек картофельного салата и номер «Сатердей ивнинг пост».

Дэнни заметил их приближение, встал и попытался вспомнить все, что должен был им сказать. Они выстроились перед ним в ряд, понурив головы.

«Собачьими собаками» назвал их Дэнни, и «ворами второго дома приличного человека», и «отродьем каракатицы». Он именовал их матерей коровами, а их отцов старыми баранами.

Пилон открыл пакет, который держал в руке, и показал сандвичи с ветчиной. А Дэнни сказал, что он больше не верит в друзей, что дружба его попрана и сердце его оледенело. Тут память начала ему изменять, так как Пабло достал из-за пазухи два фаршированных яйца. Однако Дэнни все же добрался до поколения их дедов и подверг бичующей критике добродетель его женщин и мужественность его мужчин.

Пилон вынул из кармана розовый бюстгальтер и равнодушно поболтал им в воздухе.

Тут Дэнни начисто все забыл. Он сел на крыльцо, его друзья сели рядом, и один за другим были развернуты все пакеты. Они наелись так, что им стало не по себе. И только через час, когда они лениво откинулись, бездумно предаваясь пищеварению, Дэнни спросил между прочим, словно о давно минувшем событии.

— А как начался пожар?

— Мы не знаем,— объяснил Пилон.— Мы заснули, и тут он начался. Может, у нас есть враги?

— Может,— сказал Пабло благочестиво,— может, к этому приложил руку бог?

— Кто знает, почему милосердный бог поступает так, а не иначе? — добавил Хесус Мария.

Когда Пилон вручил Дэнни бюстгальтер и объяснил, что это подарок для миссис Моралес, Дэнни не изъявил особого восторга. Он бросил на бюстгальтер скептический взгляд. Его друзья сильно польстили миссис Моралес, решил он.

— Женщинам вроде нее опасно делать подарки,— сказал он наконец.— Слишком часто шелковые чулки, которые мы дарим женщинам, связывают нас по рукам и ногам.

Не мог же он объяснить своим друзьям, что с тех пор, как он стал владельцем только одного дома, между ним и миссис Моралес наступило заметное охлаждение; и точно так же галантность по отношению к миссис Моралес не позволяла ему описать, как приятно ему это охлаждение.

— Я спрячу эту штучку,— сказал он.— Может, она когда-нибудь кому-нибудь пригодится.

Когда наступил вечер и стемнело, они вошли в дом и развели огонь из шишек в железной печке. Дэнни в знак того, что все прощено и забыто, вытащил кварту граппы и поделился ее пламенем со своими друзьями.

Их жизнь мирно входила в новую колею.

— А жаль, что все куры миссис Моралес передохли,— заметил Пилон.

Но оказалось, что и это не будет помехой их счастью.

— Она собирается в понедельник купить две дюжины новых,— сообщил Дэнни.

Пилон удовлетворенно улыбнулся.

— От кур миссис Сото не было никакого толку,— сказал он.— Я говорил миссис Сото, что им надо давать толченые ракушки, но она не послушалась.

Они распили кварту граппы, и ее оказалось как раз достаточно для того, чтобы дружба стала еще сладостнее.

— Хорошо иметь друзей,— сказал Дэнни.— Как грустно и одиноко человеку без друзей, с которыми можно посидеть и поделиться своей квартой граппы.

— Или своими сандвичами,— быстро добавил Пилон.

Пабло еще немного грызла совесть, ибо он подозревал, почему именно заблагорассудилось небесам спалить их дом.

— В мире найдется мало друзей, равных тебе, Дэнни. Немногим даровано утешение иметь такого друга.

Но прежде чем волны дружбы окончательно сомкнулись над головой Дэнни, он успел произнести одно предупреждение:

— Держитесь подальше от моей кровати,— приказал он.— Спать на ней буду только я.

Хотя об этом не было сказано ни слова, все четверо знали, что теперь они будут жить в доме Дэнни.

Пилон блаженно вздохнул. Незачем больше тревожиться из-за квартирной платы, незачем больше мучиться из-за долгов. Теперь он был уже не жильцом, а гостем. И мысленно он возблагодарил господа за сожжение второго дома.

— Мы все будем здесь счастливы, Дэнни,— сказал он.— Вечерами мы будем сидеть у огня, и наши друзья будут навещать нас. И порой, быть может, у нас найдется стаканчик винца, чтобы выпить за дружбу.

И тут Хесус Мария, изнемогая от признательности, произнес опрометчивое обещание. Виновата в этом была граппа, и ночь пожара, и фаршированные яйца. Он чувствовал, что получил великие дары, и хотел принести свой дар.

— Нашим долгом и нашей обязанностью будет следить, чтобы в доме всегда была еда для Дэнни,— возвестил он.— Никогда больше наш друг не будет голодать.

Пилон и Пабло привскочили в тревоге, но слова были произнесены — прекрасные, великодушные слова. Ни один человек не мог бы безнаказанно взять их назад. Сам Хесус Мария понял весь размах подобного обещания, лишь когда произнес его. Им оставалось только надеяться, что Дэнни про него забудет.

«Ибо,— размышлял Пилон,— выполнение такого обета будет похуже квартирной платы. Это будет рабство».

— Мы клянемся в этом, Дэнни! — сказал он.

Они сидели у печурки, и на глаза их навернулись слезы, а их любовь друг к другу становилась почти невыносимой.

Пабло отер увлажнившиеся глаза тыльной стороной ладони и повторил слова, недавно сказанные Пилоном:

— Мы будем здесь очень счастливы.

ГЛАВА VII

О том, как друзья Дэнни стали творить добро. О том, как они пришли на помощь бедняге Пирату

Многие люди каждый день видели Пирата, и некоторые смеялись над ним, а некоторые жалели его, но никто не был с ним близко знаком и никто не вмешивался в его жизнь. Это был тяжеловесный великан с огромной черной и густой бородой. Он ходил в бумазейных штанах и синей рубахе, а шляпы у него не

было совсем. По городу он ходил в башмаках. Когда Пират сталкивался со взрослыми людьми, в глазах его появлялся испуг — тайный страх лесного зверя, который с радостью убежал бы, если бы осмелился повернуться к врагу спиной. И поэтому все пайсано Монтерея знали, что разум его так и остался детским. Пиратом его прозвали из-за бороды. Каждый день можно было видеть, как он катит по улицам города тачку, груженную сосновыми поленьями,— он возил ее по улицам, пока не продавал свой груз. И всегда по пятам за ним стаей шли пять его собак.

Энрике сложением напоминал гончую, но обладал пушистым хвостом. Пахарито был коричневой масти и кудлат — больше ничего рассмотреть не удавалось. О Рудольфе прохожие говорили: «Вот американская собака». Пушок был мопсом, а Сеньор Алек Томпсон смахивал на эрделя. Они шли взводом позади Пирата, изъявляя ему всяческое почтение и стараясь сделать его как можно счастливее. Когда он, устав катить тачку, садился отдохнуть, они все пытались забраться к нему на колени, чтобы им почесали за ухом.

Некоторые видели Пирата рано утром на улице Альварадо, некоторые видели, как он рубит дрова, некоторые знали, что он продает растопку, но никто, кроме Пилона, не знал всего, что делал Пират. Пилон же знал всех и все о каждом.

Пират жил в Тортилья-Флэт, в пустом курятнике во дворе заброшенного дома. Поселиться в самом доме он счел бы непозволительной дерзостью. Собаки жили вокруг него и на нем, и Пирату это нравилось, потому что в самую холодную ночь ему было от них тепло. Когда у него замерзали ноги, ему достаточно было прижать их к теплому брюху Сеньора Алека Томпсона. Курятник был таким низким, что Пирату приходилось влезать в него на четвереньках.

Каждое утро задолго до рассвета Пират выползал из своего курятника, а за ним появлялись его собаки, встряхиваясь и чихая от холодного воздуха. Затем вся компания спускалась в Монтерей и начинала обрабатывать некий тупик. В этот тупик выходили задние двери нескольких ресторанов. Пират по очереди открывал каждую и оказывался в теплой ресторанной кухне, благоухающей запахами съестного. И в каждой кухне повар, ворча, совал ему в руку пакет с остатками вчерашних блюд. И ни один из них не знал, почему, собственно, он это делает.

Когда Пират заканчивал свой обход и набирал полную охапку пакетов, он возвращался вверх по склону холма на улицу Манро и располагался на пустыре, а собаки в волнении сновали вокруг него. Тут он развертывал пакеты и начинал кормить собак. Себе он из каждого пакета брал кусок хлеба или мяса, но не

«Квартал Тортилья-Флэт»

выбирал самое лучшее. Собаки рассаживались вокруг, нервно облизывались и перебирали передними лапами в ожидании кормежки. Но они никогда не дрались из-за пищи, и это было поистине удивительно. Вообще собаки Пирата никогда не дрались друг с другом, но они кидались в бой с любым четвероногим обитателем улиц Монтерея. Приятно было смотреть, как эта свора гоняется за фокстерьерами и шпицами, словно за кроликами.

К тому времени, когда трапеза заканчивалась, уже совсем рассветало. Пират сидел на земле и смотрел, как по небу разливается утренняя синева. Внизу он видел выходящие в море шхуны с палубным грузом леса. Он слышал мелодичный звон колокола на буе за Чайнапойнт. Собаки сидели вокруг него и грызли кости. Пират, казалось, не столько видел, сколько слушал день — глаза его оставались неподвижными, но в нем чувствовалась какая-то сосредоточенность. Его ручищи тянулись к собакам, и пальцы принимались ласково перебирать грубый мех. Просидев так с полчаса, Пират шел в угол пустыря, сбрасывал дерюгу, укрывавшую тачку, и выкапывал из земли топор, который закапывал тут каждый вечер. Затем, толкая перед собой тачку, он поднимался на вершину холма и бродил по лесу, отыскивая сухое смолистое дерево. К полудню он уже доверху нагружал тачку превосходной растопкой и тогда спускался со своей собачьей свитой в город и кружил по улицам до тех пор, пока не продавал свой груз за двадцать пять центов.

Проследить все это было нетрудно, но никто не знал, что он делает с вырученными деньгами. Он никогда их ни на что не тратил. Ночью он под охраной своих собак отправлялся в лес и прятал очередной двадцатипятицентовик там, где уже лежали сотни других таких же монет. Где-то у него был тайник с целой кучей денег.

Пилон, этот проницательнейший человек, от которого не ускользала ни одна подробность жизни его ближних и который особенно любил раскрывать тайны, кроющиеся в самых глубинах сознания его знакомых, обнаружил клад Пирата с помощью логических выкладок. Пилон рассуждал так: «Каждый день этот Пират получает четверть доллара. Если ему дают две монеты по десять центов и одну в пять, он заходит в лавку и обменивает их на двадцатипятицентовую. Он никогда не тратит денег. Следовательно, он их прячет».

Пилон попробовал вычислить сумму клада. Пират вел такую жизнь уже давно. Шесть дней в неделю он рубил дрова, а по воскресеньям ходил в церковь. Одежду он получал у черного хода жилых домов, пищу — у задних дверей ресторанов. Пилон некоторое время путался во внушительных цифрах, но потом

сдался. «У Пирата, во всяком случае, не меньше ста долларов»,— решил он.

Пилон уже много месяцев размышлял над всем этим. Но только после того, как они дали восторженное и глупое обещание кормить Дэнни, Пилон узрел возможность извлечь личную выгоду из богатства Пирата.

Прежде чем вплотную коснуться этого вопроса, Пилон долго обрабатывал и усыплял свою совесть. Ему было очень жаль Пирата. «Бедный дурачок,— говорил он себе.— Бог не дал ему всех положенных мозгов. Бедняжка Пират не может сам о себе позаботиться. Вспомни, он живет в грязи, в старом курятнике. Он питается объедками, которые годятся только для его собак. Он одевается в лохмотья. И оттого, что мозги у него не в порядке, он прячет свои деньги».

Теперь, заложив фундамент сострадания, Пилон перешел к выводам. «Не будет ли достойным деянием,— думал он,— позаботиться о нем, раз он сам о себе позаботиться не может? Покупать ему теплую одежду? Кормить его человеческой пищей? Однако,— напомнил он себе,— у меня ведь нет денег, хотя желание сделать все это терзает мое сердце. Так как же осуществить этот милосердный замысел?»

Вот теперь он был уже на правильном пути. Подобно кошке, которая в течение целого часа подбирается к воробью, Пилон был наконец готов к решающему прыжку. «Нашел! — мысленно вскричал он.— Дело обстоит так: у Пирата есть деньги, но не хватает ума их тратить. У меня есть ум! Мой ум будет к его услугам. Я даром поделюсь с ним моим рассудком. Вот как я смогу помочь этому бедному недоумку».

Это было одно из самых блестящих логических построений, когда-либо возводившихся Пилоном. И он почувствовал свойственную всякому истинному художнику потребность показать свое творение публике. «Я расскажу Пабло»,— подумал он. Но тут же усомнился, есть ли у него право сделать это. Так ли уж Пабло безупречно честен? Не захочет ли он потратить часть денег на собственные нужды? Пилон решил не рисковать, по крайней мере, на первых порах.

Удивительно бывает узнать, что брюхо самой черной и гнусной твари бело как снег. И грустно бывает обнаружить, что тело ангела под одеждой поражено проказой. Да будет честь и слава Пилону, ибо он открыл, как можно обнаружить и показать миру добро, скрытое в самом дурном. И, в отличие от многих и многих святых, он не был слеп ко злу, заключенному в благе. С грустью приходится признать, что Пилону никогда не удалось бы стать святым, ибо ему не хватало глупости, самодовольства и алчного

желания обрести награду. Пилону было достаточно того, что он творит добро, и наградой ему служила радость созидания братства между людьми.

В тот же вечер он отправился в курятник, где жил Пират со своими собаками. Дэнни, Пабло и Хесус Мария, сидевшие у печурки, видели, что он собрался уходить, но ничего не сказали. Их удержала деликатность, так как, думали они, либо Пилона овеяло дыхание любви, либо он знает, как раздобыть немного вина. И в том и в другом случае это их не касается, если он сам не захочет рассказать, в чем дело.

Уже давно стемнело, и в кармане у Пилона лежал огарок,— кто знает, не подскажет ли что-нибудь выражение лица Пирата во время их разговора? А в сумке у Пилона покоилась сладкая булочка, которую Сузи Франсиско, работавшая в пекарне, дала ему в обмен на приворотное зелье для Чарли Гусмана. Чарли был почтово-телеграфным рассыльным и ездил на мотоцикле; и Сузи уже запаслась мужской кепкой, чтобы надеть ее задом наперед на случай, если Чарли вдруг пригласит ее прокатиться. Пилон полагал, что Пирату может понравиться сладкая булочка.

Вечер был очень темный. Пилон брел по узкой улочке, на которую выходили пустыри и заросшие бурьяном запущенные сады.

Злой бульдог Гальвеса, рыча, выбежал из калитки Гальвеса, и Пилон наговорил ему много лестных вещей, чтобы успокоить его.

«Хорошая собачка»,— сказал он ласково, и еще: «Красивая собачка». И то и другое утверждение было заведомой ложью, однако они, видимо, произвели на бульдога благоприятное впечатление, ибо он снова скрылся за калиткой Гальвеса.

Наконец Пилон добрался до пустого дома, во дворе которого обитал Пират. Он знал, что теперь ему следует быть осторожным, ибо, как всем было известно, собаки Пирата, стоило им заподозрить кого-либо в дурном умысле против их хозяина, бросались на его защиту с демонической яростью. Едва Пилон вошел во двор, как из курятника до него донеслось глухое угрожающее рычание.

— Пират! — окликнул он.— Это твой добрый друг Пилон пришел потолковать с тобой.

Наступила тишина. Собаки перестали рычать.

— Пират, это я, Пилон.

Ему ответил угрюмый бас:

— Уходи. Я сплю. Собаки спят. Уже темно, Пилон. Иди спать.

— У меня в кармане свечка,— крикнул Пилон.— От нее в твоем темном доме станет светло, как днем. И у меня есть для тебя большая сладкая булка.

В курятнике послышалась легкая возня.

— Ну, входи,— сказал Пират.— Я скажу собакам, что ты свой.

Пробираясь через бурьян, Пилон слышал, как Пират тихо разговаривает с собаками, убеждая их, что это всего только Пилон, который ничего дурного им не сделает. Пилон согнулся перед темным входом, чиркнул спичкой и зажег свой огарок.

Пират сидел на земляном полу, а собаки лежали поперек его ног и около него. Энрике заворчал, и его пришлось еще раз успокаивать.

— Он не такой умный, как остальные,— добродушно сказал Пират. Его глаза радостно блестели, как у развеселившегося ребенка. Он улыбнулся, и в свете огарка сверкнули его большие белые зубы.

Пилон протянул ему сумку.

— Вот тебе вкусный пирог,— сказал он.

Пират взял сумку и заглянул в нее; потом он восхищенно улыбнулся и вытащил булочку. Собаки разом ухмыльнулись, повернули к нему морды, стали перебирать передними лапами и облизываться. Пират разломил булочку на семь кусков. Первый кусок он отдал Пилону, своему гостю.

— Держи, Энрике,— сказал он.— Держи, Пушок. Держи, Сеньор Алек Томпсон.

Каждая собака получила свою долю, сразу проглотила ее и посмотрела, не дадут ли еще. Пират съел свой кусок и показал собакам пустые руки.

— Видите, больше ничего нет,— сказал он им. И собаки тут же улеглись на свои места.

Пилон сел на пол и поставил огарок перед собой. Пират смущенно бросил на него вопрошающий взгляд. Пилон молчал, чтобы в голове Пирата успело промелькнуть побольше вопросов. Наконец он сказал:

— Ты причиняешь своим друзьям много беспокойства.

В глазах Пирата появилось удивление.

— Я? Моим друзьям? Каким друзьям?

Голос Пилона стал ласковым.

— У тебя есть много друзей, которые думают о тебе. Они не навещают тебя, потому что ты гордый. Они думают, что твоя гордость будет ранена, если они увидят, что ты живешь в этом курятнике, одетый в лохмотья, и ешь отбросы вместе со своими собаками. А беспокоятся твои друзья потому, что боятся, как бы от такой плохой жизни ты не заболел.

Пират слушал его речь, не дыша от изумления, и его мозг тщетно пытался усвоить все эти новые вещи. Ему и в голову не

приходило усомниться в их истинности — раз Пилон так говорит, значит, это правда.

— У меня столько друзей? — недоуменно спросил он.— А я и не знал. И я причиняю этим друзьям беспокойство? Я не знал, Пилон. Я не стал бы причинять им беспокойство, если бы знал.— Он глотнул, потому что волнение сжимало ему горло.— Понимаешь, Пилон, собакам здесь нравится. А мне здесь нравится из-за них. Я не знал, что причиняю беспокойство моим друзьям.— На глаза Пирата навернулись слезы.

— И все-таки,— сказал Пилон,— то, как ты живешь, тревожит всех твоих друзей.

Пират уставился в землю и попытался обрести ясность мыслей, но, как всегда, когда он пробовал решить какой-нибудь вопрос, его мозг подернулся серым туманом и ничем ему не помог. В растерянности он поглядел на собак, ища защиты, но они уже снова заснули, потому что все это их не касалось. И тогда он просительно взглянул в глаза Пилона.

— Скажи мне, что я должен сделать, Пилон. Я этого ничего не знаю.

Все оказалось слишком простым. Пилону даже стало стыдно, что это так легко. Он заколебался и чуть было не отказался от своего плана, но тут же почувствовал, что в таком случае очень на себя рассердится.

— Твои друзья бедны,— сказал он.— Они хотели бы помочь тебе, но у них нет денег. Если у тебя есть спрятанные деньги, достань их. Купи себе одежду. Ешь настоящую пищу, а не то, что выбрасывают другие. Достань свои деньги из потайного места, Пират.

Произнося эту речь, Пилон внимательно вглядывался в лицо Пирата. Он увидел, как глаза Пирата наполнились подозрением и недоверием и угрюмо опустились. Теперь Пилон твердо знал две вещи: во-первых, что у Пирата есть спрятанные деньги и, во-вторых, что добраться до них будет нелегко. Последнее было ему приятно. Пират превратился в тактическую задачу, решение которой доставляло Пилону истинное удовольствие.

Теперь Пират снова смотрел на него, и в его глазах была хитрость, прикрытая нарочитым простодушием.

— У меня нет никаких денег,— сказал он.

— Но каждый день, мой друг, я вижу, как ты получаешь четверть доллара за свои дрова, и я ни разу не видел, чтобы ты что-нибудь тратил.

На этот раз мозг Пирата успел прийти к нему на выручку.

— Я отдаю их одной бедной старушке,— сказал он.— У меня

нет никаких денег.— И в тоне его было нечто, запиравшее эту тему на замок.

«Значит, нужно будет что-то придумать,— подумал Пилон.— Значит, придется пустить в ход все мои дарования». Он встал и поднял огарок.

— Я только хотел рассказать тебе о том, как беспокоятся твои друзья,— сказал он с упреком.— Если ты не хочешь мне помочь, я ничего для тебя не могу сделать.

Глаза Пирата снова просияли нежностью.

— Скажи им, что я здоров,— попросил он.— Скажи моим друзьям, чтобы они приходили навещать меня. Я не буду очень гордым. Я буду рад их видеть в любое время. Ты передашь им все это, Пилон?

— Передам,— сухо ответил Пилон.— Но твои друзья огорчатся, когда они узнают, что ты ничего не делаешь, чтобы успокоить их тревогу.

Пилон задул огарок и удалился в темноте. Он понял, что Пират никогда не откроет, где его тайник. Значит, надо добраться до него хитростью, взять деньги силой, а затем снабдить Пирата всем необходимым. Иного выхода не было.

И вот Пилон принялся следить за Пиратом. Он крался за ним в лес, когда тот шел рубить дрова. Он лежал в засаде у курятника по ночам. Он долго и настойчиво уговаривал его, но все было бесполезно. Он ни на шаг не приблизился к кладу. Либо деньги были закопаны в курятнике, либо спрятаны где-то в самой чаще леса, и Пират навещал свой тайник только по ночам.

Долгие и бесплодные бдения исчерпали терпение Пилона. Он понял, что нуждается в помощи и совете. А от кого было их ждать, как не от его товарищей — Дэнни, Пабло и Хесуса Марии? Кто еще мог действовать столь хитро и столь вкрадчиво? Кто еще мог так забыть о себе в приливе доброты?

Пилон посвятил друзей в свой план; но сперва он подготовил их так же, как раньше подготовил себя: бедность Пирата, его беспомощность, и в заключение — выход из всех трудностей. Когда он дошел до описания этого выхода, его друзья уже пылали филантропическим жаром. Они осыпали его похвалами. Их лица лучились добротой. Пабло высказал предположение, что денег в тайнике наверняка гораздо больше, чем сто долларов.

Когда их восторг несколько улегся и превратился во вдохновляющий энтузиазм, они перешли к обсуждению дальнейших действий.

— Мы должны следить за ним,— сказал Пабло.

— Но я следил за ним,— возразил Пилон.— Наверное, он ходит туда ночью, и его легко потерять из вида. А по пятам за ним

не пойдешь. Собаки охраняют его хуже всяких чертей. Это будет нелегко.

— Ты приводил ему все доводы? — спросил Дэнни.

— Да, все.

В конце концов выход нашел Хесус Мария, этот гуманнейший из людей.

— Это трудно, пока он живет в своем курятнике,— сказал он.— Ну а если он будет жить здесь, с нами? Либо наша доброта заставит его заговорить, либо нам будет легче заметить, если он куда-нибудь уходит по ночам.

Друзья долго взвешивали это предложение.

— Иногда ему в ресторанах дают совсем хорошую еду,— задумчиво произнес Пабло.— Я сам видел у него бифштекс, в котором не хватало только самой чуточки.

— Там, может быть, даже двести долларов,— сказал Пилон.

У Дэнни нашлось возражение.

— Но как же собаки... он ведь приведет с собой собак.

— Это хорошие собаки,— сказал Пилон.— Они делают все, что он им говорит. Ты можешь отделить чертой угол и сказать: «Пусть твои собаки не выходят за эту черту». Он им объяснит, и собаки не будут оттуда выходить.

— Как-то утром я встретил Пирата, и он нес половину пирога, только чуть подмоченного кофе,— сказал Пабло.

Вопрос был улажен. Дом превратился в комитет, а комитет навестил Пирата.

В курятнике стало очень тесно, когда они все в него забрались. Пират пытался скрыть свою радость за ворчливым тоном.

— Погода стоит плохая,— начал он светскую беседу. И потом: — Может, вы не поверите, а я снял с шеи Рудольфа клеща величиной с голубиное яйцо.— Затем он презрительно отозвался о своем доме, как подобает хозяину.— Он слишком мал,— сказал он.— И недостоин того, чтобы принимать в нем друзей. Только здесь тепло и уютно, особенно собакам.

Тут заговорил Пилон. Он сказал Пирату, что тревога за него убивает его друзей; но если бы он согласился жить у них, они снова могли бы спать со спокойной совестью.

Это потрясло Пирата. Он поглядел на свои руки. И он поглядел на своих собак, ища утешения и поддержки, но собаки отводили глаза. Наконец он стер счастье со своих глаз тыльной стороной ладони и вытер руку о свою большую черную бороду.

— А собаки? — спросил он тихо.— Вы и собак зовете? Моим собакам вы тоже друзья?

Пилон кивнул.

— Да, мы зовем и собак. Для собак будет отведен целый угол.

Пират был гордым человеком. Он боялся, что не сумеет держаться с должным достоинством.

— Уходите пока,— сказал он умоляюще.— Идите пока домой. Я приду завтра.

Его друзья понимали, что он чувствует. Они выползли за дверь и оставили его одного.

— Он будет счастлив с нами,— сказал Хесус Мария.

— Бедняжка, до чего он одинок,— добавил Дэнни.— Если бы я только знал, я бы уже давно пригласил его, даже не будь у него клада.

Они все пылали огнем радости.

Скоро они привыкли к новым жильцам. Дэнни с помощью кусочка синего мела отделил в большой комнате один из углов, который собаки не должны были покидать, пока находились в доме. В этом же углу вместе с собаками спал и Пират.

Теперь, когда в доме жило уже пять человек и пять собак, в нем стало тесновато, однако с самого начала Дэнни и его друзья поняли, что пригласить Пирата их надоумил тот усталый и замученный заботами ангел, который следил за их судьбами и охранял их от зла.

Каждое утро, задолго до того, как его друзья просыпались, Пират выбирался из своего угла и в сопровождении собак отправлялся на обход ресторанов и пристаней. Он принадлежал к тем людям, которых все жалеют. Вручаемые ему пакеты становились все объемистее. Друзья не пренебрегали его дарами и охотно принимали их: свежую рыбу, куски пирогов, непочатые черствые булки, мясо, которое достаточно было потереть содой, чтобы плесень сошла бесследно. Теперь они зажили по-настоящему.

И то, что они принимали его приношения, трогало Пирата куда больше, чем любое благодеяние, которое они могли бы ему оказать. Когда он смотрел, как они поедают принесенные им припасы, в его глазах светилось обожание.

По вечерам, когда они сидели у печурки и ленивыми голосами сытых богов обсуждали последние события, волновавшие Тортилья-Флэт, взгляд Пирата перебегал ото рта ко рту, и губы его шевелились, шепотом повторяя слова, произносимые его друзьями. Собаки ревниво ластились к нему.

И эти люди — его друзья, говорил он себе по ночам, когда в доме воцарялся мрак, а собаки теснее прижимались к нему, чтобы всем было тепло. Эти люди так его любили, так из-за него беспокоились, что не могли позволить ему жить в одиночестве. Пират без конца твердил себе это, потому что никак не мог поверить в столь чудесную, столь невероятную вещь. Его тачка стояла теперь

во дворе Дэнни, и каждый день он рубил дрова и продавал их. Но Пират так боялся упустить хоть одно слово из вечерних бесед своих друзей и хотя бы на час лишиться возможности чувствовать веяние дружеской теплоты, что он уже несколько дней не навещал своего тайника и не добавлял к нему заработанные монеты.

Его друзья были очень добры к нему. Они обходились с ним с самой изысканной любезностью, но он всегда был под наблюдением чьих-то глаз. Когда он катил свою тачку в лес, один из друзей сопровождал его и сидел на бревне, пока он работал. Когда он перед сном спускался в овраг, Дэнни, или Пабло, или Пилон, или Хесус Мария шли вместе с ним. А ночью, как бы бесшумно он ни двигался, ему не удавалось выбраться из дома без того, чтобы за ним не последовала какая-то тень.

В течение недели друзья довольствовались тем, что просто следили за Пиратом. Но в конце концов такая бездеятельность им надоела. Действовать прямо, само собой разумеется, было нельзя — это они хорошо понимали. И вот как-то вечером у печки завязалась беседа о том, стоит ли прятать накопленные деньги. Начал Пилон:

— У меня был дядя, настоящий скряга, и он спрятал свое золото в лесу. Один раз он пошел посмотреть на него, а его уже нет. Кто-то нашел это золото и украл. Дядя был тогда уже стариком, и так как все его деньги пропали, он повесился.

Пилон с удовлетворением заметил тревогу, омрачившую лицо Пирата.

Дэнни тоже заметил ее и тут же подхватил:

— Вьехо, мой дед, которому принадлежал этот дом, тоже закопал деньги. Не знаю сколько, но он слыл богачом, так что, наверное, их было долларов четыреста, не меньше. Вьехо вырыл глубокую яму и положил в нее деньги, а потом засыпал их землей, а потом набросал сверху сосновых игл, чтобы никто не мог догадаться, что тут копали. Но когда он вернулся, яма была раскопана, а от денег и помину не осталось.

Губы Пирата беззвучно повторяли каждое слово. На лице его был написан ужас. Его пальцы перебирали жесткую шерсть на загривке Сеньора Алека Томпсона. Друзья переглянулись и на время переменили тему. Они заговорили о любовных делах Корнелии Руис.

Ночью Пират выскользнул из дома, собаки выскользнули вслед за ним, а Пилон выскользнул вслед за всеми ними. Пират быстро углублялся в лес, уверенно перепрыгивая через повалсн-ные деревья и кучи хвороста. Пилон кое-как поспевал за ним. Но когда они прошли так мили две, Пилон совсем запыхался и был весь исцарапан. Он остановился, чтобы перевести дух, и вдруг за-

метил, что впереди все звуки прекратились. Он подождал, прислушался, порыскал вокруг, но Пират как сквозь землю провалился.

Только через два часа усталый Пилон добрался до дома. Там в углу среди своих собак крепко спал Пират. Когда Пилон вошел, собаки подняли головы, и Пилону показалось, что они ехидно ему улыбнулись.

На следующее утро в овраге происходило совещание.

— Выследить его невозможно,— сообщил Пилон.— Он исчезает. Он видит в темноте. Он знает в лесу каждое дерево. Надо найти какой-то другой способ.

— Может, это в одиночку трудно,— предположил Пабло.— Вот если мы все пойдем за ним, так, может, кто-нибудь его и проследит.

— Сегодня вечером мы опять будем разговаривать,— сказал Хесус Мария,— только страшнее. Одна моя знакомая дама хочет подарить мне немного вина,— скромно добавил он.— Может, если Пират чуточку выпьет, ему будет труднее от нас ускользнуть.

На этом и порешили.

Знакомая дама подарила Хесусу Марии целый галлон вина. Что может сравниться с восторгом Пирата, когда в этот вечер перед ним поставили банку, полную вина и он, сидя в кругу друзей, попивал вино и слушал их беседу? Такая радость редко выпадала на долю Пирата. Он жаждал обнять этих чудесных людей и сказать им, как он их любит. Но сделать это было нельзя, так как они могли подумать, что он пьян. Он жалел, что не может совершить чего-нибудь замечательного, чтобы показать им свою любовь.

— Вчера мы говорили о зарытых деньгах,— сказал Пилон.— Сегодня мне припомнился мой двоюродный брат, очень умный человек. Уж если кто-нибудь в мире мог найти для денег надежный тайник, так это он. И вот он взял свои деньги и спрятал их. Может, вы его видели, жалкого нищего, который бродит по пристаням, выклянчивая рыбьи головы себе на похлебку? Так это мой двоюродный брат. Кто-то украл его зарытые деньги.

Лицо Пирата вновь омрачилось тревогой.

История следовала за историей, и в каждой на тех, кто прятал свои деньги, сыпались всевозможные беды.

— Лучше хранить деньги у себя под рукой, тратить их понемножку и делиться со своими друзьями,— закончил Дэнни.

Они не спускали глаз с Пирата и в разгар самой страшной из историй увидели, что тревога исчезла с его лица, сменившись улыбкой облегчения. Теперь он спокойно потягивал свое вино, и глаза его радостно блестели.

Друзья пришли в отчаяние. Все их планы провалились. Им было невыносимо тяжело. Вот как им отплатили за их доброту,

за их милосердие! Пират каким-то образом умудрился избежать тех благ, которыми они собирались его осыпать. Они допили свое вино и угрюмо разошлись по постелям.

Даже ночью бдительность не покидала Пилона. Его уши бодрствовали, когда все остальное его тело предавалось сну. Он услышал, как Пират и его собаки крадучись вышли из дома. Он тут же разбудил своих друзей, и через секунду все четверо уже шли за Пиратом в лес. Среди сосен стояла непроглядная тьма. Четверо друзей натыкались на стволы, путались в плетях ползучих растений, и все же в течение долгого времени слышали впереди шаги Пирата. Они добрались до того места, где Пилон накануне потерял Пирата, и тут внезапно наступила тишина — только лес шелестел да шуршал легкий ночной ветерок. Они обшарили весь лес и все заросли кустарника, но Пират вновь бесследно исчез.

В конце концов, замерзшие, полные уныния, они отыскали друг друга и устало поплелись назад в Монтерей. Заря занялась задолго до их возвращения. Лучи солнца уже искрились в волнах залива. До них донесся запах утреннего дыма из кухонных труб Монтерея.

Пират вышел на крыльцо, чтобы поздороваться с ними, и лицо его светилось счастьем. Они угрюмо прошли мимо него в комнату. Там на столе лежал большой парусиновый мешок.

Пират тоже вошел в комнату.

— Я сказал тебе неправду, Пилон,— заговорил он.— Я сказал тебе, что у меня нет денег, потому что я боялся. Я ведь не знал тогда, что у меня есть друзья. Вы рассказывали о том, что спрятанные деньги всегда воруют, и я опять испугался. Только вчера вечером я понял, что делать. Мои деньги будут в безопасности у моих друзей. Никто не сможет украсть их, если мои друзья будут стеречь их для меня.

Все четверо в ужасе уставились на него.

— Забери свой деньги назад в лес и спрячь их там,— свирепо потребовал Дэнни.— Мы не хотим их стеречь.

— Нет,— сказал Пират.— Я буду бояться за них, если я их закопаю. Но я буду счастлив и спокоен, зная, что мои друзья стерегут их для меня. Вы не поверите этому, но две прошлые ночи кто-то выслеживал меня в лесу, чтобы украсть мои деньги.

Как ни ужасен был удар, Пилон, это воплощение находчивости, попытался отвести его.

— Прежде чем отдать нам эти деньги,— сказал он вкрадчиво,— может, ты возьмешь себе немножко на расходы?

Пират покачал головой.

— Этого я сделать не могу. Деньги обещанные. У меня уже почти тысяча четвертаков. Когда я наберу их тысячу, я куплю зо-

лотой подсвечник для святого Франциска Ассизского. У меня была очень хорошая собака, и она заболела; и я обещал проработать тысячу дней, чтобы купить золотой подсвечник, если собака поправится. И,— он протянул вперед свои огромные ладони,— эта собака поправилась.

— Одна из этих собак? — осведомился Пилон.

— Нет,— сказал Пират.— Ту через несколько дней задавил грузовик.

Итак, все было кончено, не осталось никакой надежды увернуться от этих денег. Дэнни и Пабло угрюмо подняли тяжелый мешок с серебряными монетами, отнесли его в соседнюю комнату и положили под подушку на кровати Дэнни. Со временем мысль о том, что эти деньги лежат у них под подушкой, стала приносить им радость, но в эту минуту горечь поражения была невыносима. И ничего нельзя было сделать. Счастье поманило их и обмануло.

Пират стоял перед ними, и в глазах его сверкали блаженные слезы, ибо он доказал свою любовь к друзьям.

— Подумать только,— сказал он,— сколько лет я прожил в курятнике, не зная никаких радостей. Но зато теперь,— докончил он,— зато теперь я очень, очень счастлив.

ГЛАВА VIII

О том, как друзья Дэнни в канун дня святого Андрея искали заколдованный клад. О том, как Пилон нашел его и как позже саржевые брюки дважды переменили владельца

Если бы Португалец был героем, он истерзался бы, служа в армии. Но он был Большой Джо Португалец, прошедший хорошую тренировку в монтерейской тюрьме, и это не только избавило его от мук неудовлетворенного патриотизма, но и укрепило в следующем убеждении: как каждый день своей жизни человек делит пополам между сном и бодрствованием, так и каждый год человеческой жизни положено делить пополам между тюрьмой и волей. Однако пока шла война, Джо Португалец проводил в тюрьме значительно больше времени, чем на воле.

В гражданской жизни человека наказывают за то, что он делает; однако военные уставы добавляют к этому совершенно новый принцип — они наказывают человека и за то, чего он не делает. Джо Португалец никак не мог этого понять. Он не чистил своей винтовки, он не брился и раз или два не возвращался из отпуска. Эти прегрешения усугублялись, кроме того, склонностью Большого Джо вступать в словесные перепалки, когда начальство пыталось его образумить.

Прежде он проводил в тюрьме половину своей жизни; из двух лет службы в армии он провел в тюрьме восемнадцать месяцев. И тюремная жизнь в армии ему совсем не нравилась. Монтерейская тюрьма приучила его к покою и приятному обществу. В армии его принуждали работать. В Монтерее его всегда обвиняли только в одном: в пьянстве и нарушении общественного порядка. Обвинения, предъявлявшиеся ему в армии, настолько сбили его с толку, что это, вероятно, оставило неизгладимый след на его рассудке.

Когда война кончилась и солдаты были распущены по домам, Большому Джо еще предстояло отсидеть шесть месяцев. Обвинение гласило: «Появление в пьяном виде в расположении полка. Нанесение сержанту удара канистрой из-под керосина. Попытка отрицания своей личности (Джо начисто забыл, кто он такой, и поэтому на все вопросы отвечал отрицательно). Кража шестнадцати фунтов вареных бобов и самовольная отлучка на лошади майора».

Если бы перемирие еще не было подписано, Большого Джо, вероятно, расстреляли бы. Он вернулся в Монтерей много позже остальных ветеранов, когда те уже успели пообъесть все сладкие плоды победы.

Когда Большой Джо соскочил с поезда, на нем была армейская шинель, гимнастерка и синие саржевые брюки.

В городе все осталось по-старому, если не считать «сухого закона», а в заведении Торрелли все осталось по-старому, несмотря на «сухой закон». Джо сменял свою шинель на галлон вина и отправился искать друзей.

Истинных друзей он в этот вечер не встретил, хотя ему в изобилии попадались те гнусные и криводушные гарпии и мошенники, которые всегда рады заманить человека в пучину порока. Джо, не отличавшийся высокой нравственностью, не испытывал никакого отвращения к пучине; она ему нравилась.

Довольно скоро вино его иссякло, а денег у него не было и раньше. И тут гарпии попробовали изгнать Джо из пучины, но он ни за что не хотел уходить. Ему в пучине было уютно.

Когда они попытались пустить в ход силу, Большой Джо в справедливом и ужасающем негодовании переломал всю мебель, перебил все стекла в окнах, выгнал полураздетых визжащих девиц в ночной мрак и напоследок поджег дом. Вводить Джо в искушение было делом опасным: он и не думал ему противиться.

В конце концов явился полицейский и забрал его. Большой Джо испустил счастливый вздох. Теперь он почувствовал, что действительно вернулся домой.

После короткого судебного разбирательства без участия присяжных он получил тридцать дней тюремного заключения, с наслаждением разлегся на жесткой койке и проспал без просыпу десятую часть своего срока.

Большой Джо любил монтерейскую тюрьму. В ней всегда можно было рассчитывать на хорошую компанию. Стоило остаться тут подольше, и он успевал по очереди повидать всех своих друзей. Время летело незаметно. Ему взгрустнулось, когда пришлось с ней расстаться, но грусть эту смягчала мысль, что он может вернуться сюда в любую минуту.

Он с радостью погрузился бы вновь в пучину порока, но у него не было ни денег, ни вина. Он исходил все улицы в поисках своих старых друзей — Пилона, и Дэнни, и Пабло, но так их и не встретил. Полицейский сержант сказал, что давно уже не забирал их в участок.

— Значит, они все умерли,— сказал Португалец.

В тоске он забрел к Торрелли, но Торрелли не жаловал людей, у которых не было ни денег, ни ценных вещей, и Большой Джо не нашел у него утешения. Однако Торрелли все-таки сообщил ему, что Дэнни получил в наследство дом в Тортилья-Флэт и что все его друзья живут теперь у него.

Большого Джо охватила нежность к друзьям и горячее желание увидеть их. Вечером он отправился на холм в Тортилья-Флэт, чтобы отыскать Дэнни и Пилона. Пока он поднимался по крутой улочке, уже совсем стемнело, и тут ему навстречу попался Пилон, спешивший куда-то с озабоченным видом.

— Здравствуй, Пилон. А я как раз иду к тебе.

— Здорово, Джо Португалец,— торопливо сказал Пилон.— Где ты пропадал?

— В армии,— ответил Джо.

Мысли Пилона были заняты другим.

— Ну, мне пора,— бросил он.

— Я пойду с тобой,— сказал Джо.

Пилон остановился и смерил его взглядом.

— А ты помнишь, какая сегодня ночь?

— Нет. А какая?

— Сегодня канун дня святого Андрея.

Тут Большой Джо Португалец понял все: это была ночь, когда все пайсано, за исключением тех, кто сидел в тюрьме, бродили до утра по лесу. Это была ночь, когда все погребенные в земле клады испускали слабое фосфоресцирующее сияние. А сокровищ в лесу было спрятано немало. За двести лет Монтерей много раз подвергался нашествию врагов, и каждый раз люди закапывали свои богатства в землю.

Ночь была ясная. Пилон, как это иногда с ним случалось, сбросил с себя жесткую дневную скорлупу. В эту ночь он был идеалистом, дарителем даров. В эту ночь он выполнял благородную миссию.

— Ты можешь пойти со мной, Большой Джо Португалец, но если мы найдем клад, решать, что с ним делать, буду я. Если ты на это не согласен, то иди один и ищи свой собственный клад.

Большой Джо не умел самостоятельно расходовать свою энергию.

— Я пойду с тобой, Пилон,— сказал он.— А без клада я обойдусь.

Когда они вошли в лес, наступила ночь. Их ноги ступали по ковру из опавшей хвои. И Пилон понял, что ночь эта совершенна. Небо подернулось туманной дымкой, и лунный свет между деревьями колыхался, как легкая газовая ткань. Исчезла четкость форм, которую мы привыкли отождествлять с реальностью. Стволы сосен казались не черными деревянными колоннами, а мягкими полупрозрачными тенями. В неверном свете смутные пятна кустов непрерывно меняли свои очертания. В такую ночь привидения могли смело разгуливать по земле, не страшась людского неверия, ибо это была колдовская ночь и ее чарам не поддался бы лишь самый тупой и нечувствительный человек.

Иногда Пилону и Джо встречались другие искатели кладов, без устали выписывавшие среди сосен сложные зигзаги. Они шли молча, опустив голову, и не окликали встречных. И кто мог сказать, все ли они были живыми людьми из плоти и крови? Джо и Пилон знали, что по лесу бродят и призраки тех, кто когда-то закопал тут клады, ибо в канун дня святого Андрея они возвращаются на землю присмотреть, чтобы никто не тронул их золота. На шее Пилона поверх одежды висела ладанка с изображением его святого, и поэтому он не боялся духов. Большой Джо шел, сложив пальцы крестом. Хотя их и одолевал страх, они знали, что надежно защищены от таинственных сил этой ночи.

Пока они ходили так, поднялся ветер, и по бледному лунному диску, словно вода, чуть замутненная серой акварельной краской, заструился туман. Зыбкий туман привел в движение лес: каждое дерево тихонько кралось куда-то, и бесшумно, как большие черные кошки, кружили кусты. Вершины деревьев хрипло шептались на ветру, предсказывали судьбу, пророчили смерть. Пилон знал, что лучше не слушать речи деревьев. Провидение будущего никому еще не приносило добра, а кроме того, этот шепот нес погибель человеческим душам. Пилон не стал слушать речи деревьев.

Он зигзагами шел по лесу, а Большой Джо шел рядом с ним, словно громадный насторожившийся пес. Одинокие безмолвные

люди проходили мимо и шли дальше, не окликнув их; и мертвецы бесшумно проходили мимо и шли дальше, не окликнув их.

Далеко внизу, на маяке, завыла в сгустившемся тумане сирена; она рыдала, изливая свою печаль по всем славным кораблям, разбившимся на безжалостном рифе, и по всем тем, которым еще суждено было там разбиться.

Пилон содрогнулся, и ему стало холодно, хотя ночь была теплой. Еле слышным шепотом он начал читать «Ave Maria».

Им встретился серый человек, который шел, опустив голову, и не окликнул их.

Минул час, а Пилон и Большой Джо все еще бродили по лесу так же неприкаянно, как мертвецы, которыми была полна эта ночь.

Вдруг Пилон остановился. Его рука нащупала локоть Джо.

— Видишь? — шепнул он.

— Где?

— Вон там, прямо впереди.

— Кажется, вижу.

Пилону мнилось, что он видит смутный столп бледно-голубого света, исходящий из земли в десяти ярдах перед ним.

— Бо́льшой Джо,— прошептал он,— найди две палки фута в три длиной. Я боюсь отвести глаза. Я могу его потерять.

Он стоял, как пойнтер над дичью, а Большой Джо кинулся за палками. Пилон слышал, как он отломил две сухие сосновые ветки. Потом раздалось потрескивание — это Большой Джо очищал ветки от сучков. А Пилон по-прежнему смотрел на бледное призрачное сияние. Оно было таким слабым, что порой вовсе исчезало. Иногда Пилону казалось, что оно ему только чудится. Он не отвел взгляда, когда Большой Джо сунул ему в руку две палки. Пилон сложил палки под прямым углом и медленно пошел вперед, держа перед собой крест. Когда он приблизился, свет словно растаял, но Пилон уже заметил там, откуда он пробивался, совершенно круглую впадину в ковре из сосновых игл.

Пилон положил свой крест на эту впадину и произнес:

— Все, что лежит тут, принадлежит мне по праву открытия. Прочь, все злые духи. Прочь, души тех, кто зарыл клад. In Nomen Patris et Filii et Spiritus Sancti! [1] — Тут он перевел дух и сел на землю.

— Мы нашли его, друг мой Большой Джо,— вскричал он.— Много лет я искал его и вот нашел.

— Давай копать,— сказал Большой Джо.

Но Пилон досадливо помотал головой.

---

[1] Во имя отца и сына и святого духа! *(лат.)*

— Когда все духи свободно бродят по земле? Когда даже быть здесь опасно? Ты дурак, Большой Джо. Мы просидим тут до утра, потом заметим место, а копать будем завтра ночью. Света больше никто не увидит, потому что мы придавили его крестом. А завтра ночью никакой опасности уже не будет.

Теперь, когда они уселись на сухую хвою, ночь показалась им еще более жуткой, но крест, словно маленький костер, источал теплоту святости и спокойствия. Однако, как всякий костер, он грел их только спереди. А спины их были открыты холодной и злой нечисти, бродившей по лесу.

Пилон встал, очертил место, где они сидели, большим кругом и, замыкая его, оказался внутри.

— Да не преступит никакая нечисть этой черты, заклинаю ее именем пресвятого Иисуса,— проговорил он нараспев.

Потом он снова сел. И у него, и у Большого Джо стало легче на душе. Они слышали приглушенные шаги измученных, неприкаянных духов; они видели огоньки, мерцавшие на проходивших мимо призрачных фигурах; но спасительная черта надежно защищала их. Никакие злые силы ни здешнего, ни потустороннего мира не могли проникнуть в круг.

— А что ты сделаешь с деньгами? — спросил Большой Джо.

Пилон бросил на него презрительный взгляд.

— Видно, ты никогда не ходил искать кладов, Большой Джо Португалец, ведь ты даже не знаешь, как это делается. Я не могу оставить этот клад себе. Если я стану выкапывать его для себя, он будет уходить все глубже и глубже в землю, как устрица в песок, и не дастся мне в руки. Нет, так кладов не ищут. Этот клад я выкопаю для Дэнни.

Вся жившая в Пилоне мечта об идеальном вырвалась наружу. Он рассказал Большому Джо, как добр был Дэнни к своим друзьям.

— А мы ничего для него не делаем,— говорил он.— Мы не платим за жилье. Иногда мы напиваемся и ломаем мебель. Мы деремся с Дэнни, когда злимся на него, и обзываем его разными словами. Мы все очень плохие, Большой Джо. И вот все мы — Пабло, и Хесус Мария, и Пират, и я — потолковали между собой и кое-что придумали. Сегодня мы все пошли в лес искать клад. И клад этот мы ищем для Дэнни. Дэнни такой хороший, Большой Джо. Он такой добрый, а мы такие плохие. Но если мы принесем ему большой мешок сокровищ, он обрадуется. И потому, что сердце мое чисто от корысти, мне было дано найти клад.

— И ты ничего себе не возьмешь? — недоверчиво спросил Большой Джо.— Даже на бутылку вина?

В Пилоне в эту ночь не осталось даже крупицы скверного Пилона.

— Нет, ни единой золотой пылинки! Ни единого цента! Это все для Дэнни, все целиком.

Большой Джо был разочарован.

— Я столько ходил, и не получу за это даже стаканчика вина! — пожаловался он.

— Когда мы отдадим эти деньги Дэнни,— тактично сказал Пилон,— он, быть может, купит немножко вина. Конечно, я об этом и не заикнусь, потому что клад принадлежит Дэнни. Но мне думается, что он, может быть, и купит немножко вина. И в таком случае, если ты сделал ему что-нибудь хорошее, он, пожалуй, угостит и тебя.

Большой Джо утешился. Он давно знал Дэнни и считал вполне вероятным, что Дэнни купит довольно много вина.

Над ними струилась ночь. Луна зашла, и лес погрузился в глухую тьму. Сирена на мысу выла, не умолкая. И всю ночь напролет Пилон хранил непорочную чистоту души. Он даже принялся читать наставление Большому Джо, как это свойственно новообращенным.

— Быть добрым и великодушным дело стоящее,— сказал он.— Благие деяния не только возводят нам приют блаженства на небесах, но и приносят скорую награду здесь, на земле. По животу разливается золотое тепло, словно после глотка крепкой перцовки. Дух божий облекает тебя в пиджак, мягкий, словно из верблюжьей шерсти. Я не всегда был хорошим человеком, Большой Джо Португалец. Я признаюсь в этом по доброй воле.

Большой Джо был прекрасно осведомлен об этом и без его признания.

— Я был плохим,— в экстазе продолжал Пилон, наслаждаясь своей речью.— Я лгал и воровал. Я предавался распутству. Я прелюбодействовал и поминал имя божие всуе.

— И я тоже,— радостно вставил Большой Джо.

— А к чему это привело, Большой Джо Португалец? Меня томил страх. Я знал, что попаду в ад. Но теперь я вижу, что нет такого грешника, который не мог бы обрести прощения. Хотя я еще не побывал у исповеди, я чувствую, что перемена во мне угодна богу, ибо его благодать осенила меня. Если и ты тоже изменишь свою жизнь, Большой Джо, если ты оставишь пьянство, и драки, и девочек Доры Уильямс, то, быть может, ты почувствуешь то же, что и я.

Но Большой Джо крепко спал. Он всегда быстро засыпал, как только переставал двигаться.

Пилон уже не так явственно ощущал осенившую его благодать, потому что не мог больше рассказывать о ней Большому Джо, но он продолжал сидеть и смотреть на место, под которым покоился клад, а небо из темного становилось серым, и за туманами занималась заря. Он видел, как деревья обретали форму и выступали из сумрака. Ветер затих, из кустов выбежали маленькие голубоватые кролики и запрыгали по сухой хвое. Глаза Пилона слипались, но он был счастлив.

Когда рассвело, он ногой растолкал Большого Джо.

— Пора идти домой к Дэнни. Уже день.

Пилон отбросил крест, так как он больше не был нужен, и стер спасительную черту.

— А теперь,— сказал он,— мы должны запомнить это место по деревьям и камням, потому что никаких заметок делать нельзя.

— Давай выкопаем его сейчас,— предложил Большой Джо.

— И пусть вся Тортилья-Флэт явится к нам на подмогу,— саркастически закончил Пилон.

Они внимательно осмотрели все кругом, замечая:

— Вот три дерева рядом справа, и два слева. Вон там кусты, а тут большой камень.

Наконец они ушли от клада, старательно запоминая дорогу.

В доме Дэнни они увидели усталых друзей.

— Вы что-нибудь нашли? — осведомились те.

— Нет,— быстро ответил Пилон, предупреждая признание, готовое сорваться с губ Большого Джо.

— Пабло думал, что видит свет, но свет исчез прежде, чем он до него добрался. А Пират видел призрак старухи, и с ней была его собака.

Пират заулыбался.

— Старуха сказала, что моя собака теперь счастлива.

— Со мной пришел Большой Джо Португалец, он вернулся из армии,— возвестил Пилон.

— Здоро́во, Джо.

— У вас тут очень неплохо,— сказал Португалец, непринужденно опускаясь в кресло.

— Держись подальше от моей кровати,— предупредил его Дэнни, ибо он знал, что Джо Португалец отсюда больше не уйдет. В том, как он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, чувствовалась домашняя небрежность.

Пират вышел во двор, забрал свою тачку и отправился в лес рубить дрова; но остальные пятеро улеглись, подставляя себя тем солнечным лучам, которые успели пробиться сквозь туман, и вскоре крепко уснули.

Когда они проснулись, день был уже в разгаре. Пробудившись, они потянулись, сéли и скучным взглядом уставились на залив, на коричневый танкер, который медленно выходил в открытое море. Пират оставил на столе свои сумки, и друзья, открыв их, достали еду, которую собрал Пират.

Большой Джо направился по дорожке к покосившейся калитке.

— Вечером увидимся,— крикнул он Пилону.

Пилон провожал его тревожным взглядом, пока не убедился, что Большой Джо спускается по холму в Монтерей, а не поднимается к лесу. Четверо друзей расположились поудобнее и в приятной дремоте следили за тем, как наступает вечер.

В сумерках вернулся Джо Португалец. Пилон отвел его в угол двора, подальше от дома, и они коротко посовещались.

— Мы возьмем инструменты взаймы у миссис Моралес,— сказал Пилон.— Лопата и мотыга прислонены к ее курятнику.

Когда совсем стемнело, они отправились в путь.

— Мы идем в гости к девочкам, знакомым Джо Португальца,— сообщил Пилон остальным.

Пилон и Джо осторожно проникли во двор миссис Моралес и взяли взаймы лопату и мотыгу. И тут Большой Джо вытащил из придорожного бурьяна бутыль вина.

— Ты продал клад,— в ярости крикнул Пилон,— ты предатель, о собачья собака!

Большой Джо невозмутимо успокоил его.

— Я не сказал, где лежит клад,— заявил он с достоинством.— Я сказал вот так: «Мы нашли клад,— сказал я.— Но он принадлежит Дэнни. Когда Дэнни его получит, я займу у него доллар и заплачу за вино».

Пилон был ошеломлен.

— И тебе поверили и тебе дали вина? — с сомнением в голосе спросил он.

— Ну,— запнувшись, объяснил Большой Джо,— я оставил одну вещь в залог того, что я принесу доллар.

Пилон молниеносно повернулся и схватил его за горло.

— Что ты оставил?

— Только одно крохотное одеяло, Пилон,— жалобно проскулил Большой Джо.— Всего одно одеяло.

Пилон принялся его трясти, но Большой Джо был так грузен, что Пилону удалось встряхнуть только самого себя.

— Какое одеяло? — крикнул он.— Говори, какое одеяло ты украл?

Большой Джо захныкал:

— Только одно — у Дэнни. Одно-единственное. Ведь у него их два. Я взял только самое-самое крохотное. Не бей меня, Пилон. Второе было больше. А это Дэнни получит обратно, когда мы выкопаем клад.

Пилон одним рывком повернул его и вложил все свое негодование в меткий пинок.

— Свинья,— сказал он.— Подлый ворюга. Ты вернешь это одеяло, а не то я из тебя ремней понаделаю.

Большой Джо попробовал смягчить его.

— Я подумал, что ведь мы стараемся для Дэнни,— прошептал он.— Я подумал: «Дэнни будет так рад, и он сможет купить себе сто новых одеял».

— Замолчи,— сказал Пилон.— Ты вернешь это самое одеяло, или я тебя изобью камнем.

Он взял бутылку, откупорил ее и сделал несколько глотков, чтобы успокоить свою возмущенную щепетильность; а потом воткнул пробку обратно и не дал Португальцу ни капли.

— За эту кражу копать будешь ты. Бери инструменты и иди за мной.

Большой Джо заскулил, как щенок, и повиновался. У него не хватало мужества восстать против праведного гнева Пилона.

Они долго искали заветное место. Было уже очень поздно, когда Пилон наконец указал на три стоящие рядом дерева.

— Тут,— заявил он.

Они рыскали по прогалине, пока не нашли круглую впадину. В эту ночь лес не был затянут туманом, и им помогал лунный свет.

Теперь, поскольку ему не надо было копать, Пилон начал развивать новую теорию добывания кладов.

— Иногда деньги закапывали в мешках,— сказал он.— И мешки эти сгнивали. Если ты будешь копать прямо на этом месте, то можешь растерять часть денег.

Он очертил впадину широким кругом.

— Так вот, вырой по этой черте глубокую канаву, и мы подберемся к сокровищу снизу.

— А ты разве копать не будешь? — спросил Большой Джо.

Пилон дал выход своей ярости.

— Значит, это я ворую одеяла? — кричал он.— Это я краду вещи с постели друга, который приютил меня?

— Ну, один я копать не стану,— заявил Большой Джо.

Пилон схватил сосновый сук, который еще накануне был половиной святого креста, и грозно приблизился к Большому Джо Португальцу.

— Вор! — прорычал он.— Грязная свинья, фальшивый друг! Бери лопату.

Храбрость Большого Джо испарилась, и он нагнулся за лопатой. Он, возможно, и заспорил бы, но совесть его была слишком нечиста, и Пилон, на чьей стороне были правота и сосновая дубинка, внушал ему сильный страх.

Большой Джо питал отвращение к самой идее копания. В траектории движущейся лопаты не было ничего эстетического. Цель же всей работы, то есть извлечение земли из одного места и перенесение ее в другое, не может не показаться человеку с более возвышенными устремлениями бесполезной и нелепой. Чего достигнет он, даже если посвятит копанию всю свою жизнь? Правда, чувства Большого Джо не были столь сложны. Он просто не любил копать. Он записался в армию, чтобы драться, а вместо этого только и делал, что копал.

Но Пилон зорко следил за ним, и вокруг места с кладом начала изгибаться канава. Ссылки на болезнь, голод и непосильность подобного труда не приносили пользы. Пилон был неумолим и не переставая попрекал Джо преступной кражей одеяла. Джо хныкал, жаловался, протягивал руки, чтобы показать ссадины и мозоли, но Пилон не давал ему передышки и заставлял копать.

Наступила полночь, и глубина канавы достигла трех футов. Закукарекали петухи в Монтерее. Луна зашла за деревья. И наконец Пилон отдал приказ подбираться к сокровищу. Земля все медленнее вылетала из канавы. Большой Джо был совсем измучен. Перед самым рассветом его лопата ударилась о что-то твердое.

— Ой! — вскрикнул он.— Вот он, Пилон!

Находка была большой и квадратной. Они принялись лихорадочно выкапывать ее, хотя в темноте совсем не видели, что это такое.

— Осторожнее! — предостерег Пилон.— Не повреди его.

Утро наступило прежде, чем они успели выкопать свой клад. Пилон почувствовал под рукой что-то металлическое и наклонился в сером полумраке, стараясь разглядеть, что же они нашли. Нашли они бетонную плиту внушительных размеров. Сверху в нее была вделана круглая бронзовая бляха. Пилон прочел по складам:

«Геодезическая служба Соединенных Штатов + 1915 + Высота шестьсот футов».

Пилон сел на дно ямы, и плечи его уныло сгорбились.

— Значит, это не клад? — жалобно спросил Большой Джо.

Пилон ничего не ответил. Большой Джо внимательно осмотрел плиту, и брови его задумчиво сдвинулись. Он повернулся к опечаленному Пилону.

— Может, мы отдерем эту прекрасную медную дощечку и продадим ее?

Пилон поднял склоненную в горести голову.

— Джонни Помпом нашел такую штуку,— сказал он со спокойствием безмерного разочарования.— Джонни Помпом отодрал медную дощечку и попробовал ее продать. За выкапывание таких штук полагается год тюрьмы,— тоскливо заключил Пилон.— Год тюрьмы и две тысячи долларов штрафа.

Томимый страданием, Пилон хотел только одного: поскорее уйти от этого рокового места. Он встал, вырвал пук высокой травы, чтобы завернуть бутылку, и начал спускаться с холма.

Большой Джо сочувственно затрусил позади.

— Куда мы идем? — спросил он.

— Не знаю,— сказал Пилон.

Когда они добрались до берега моря, солнце уже сияло вовсю, но Пилон не остановился даже здесь. Он брел по слежавшемуся песку вдоль самой воды до тех пор, пока Монтерей не остался далеко позади и только песчаные дюны Сисайда да сверкающие волны залива могли видеть его печаль. Наконец он сел на сухой песок под горячими лучами солнца. Большой Джо сел рядом с ним, и ему показалось, что в молчаливых страданиях Пилона почему-то повинен он.

Пилон снял траву с бутылки, вытащил пробку и сделал несколько больших глотков; но печаль — это матерь сострадания, и он протянул бесчестному Джо принадлежащую ему же бутылку.

— Как мы старались! — вскричал Пилон.— Как влекли нас наши мечты! Я уже думал: вот мы несем Дэнни мешки с золотом. Я видел, каким станет его лицо. Он удивился бы. И долго-долго не мог бы этому поверить.— Пилон отобрал бутылку у Большого Джо и сделал чудовищный глоток.— И ничего этого не будет. Нынешняя ночь развеяла все надежды.

Солнце уже сильно припекало. И, несмотря на свое тяжкое разочарование, Пилон почувствовал, что его охватывает коварное успокоение, предательское желание отыскать в случившемся хорошую сторону.

Джо Португалец, по обыкновению, втихомолку отпил больше, чем ему полагалось. Пилон в негодовании отобрал у него бутылку и несколько раз основательно к ней приложился.

— В конце концов,— философски заметил он,— если бы мы отыскали золото, оно, быть может, и не пошло бы на пользу Дэнни. Он ведь всегда был бедняком. И, разбогатев, мог бы рехнуться.

Большой Джо торжественно кивнул. Вино в бутыли все убывало и убывало.

— Счастье лучше богатства,— сказал Пилон.— Если мы постараемся сделать его счастливым, это будет куда лучше, чем дарить ему деньги.

Большой Джо снова кивнул и разулся.

— Сделать его счастливым — это ты правильно говоришь.

Пилон меланхолично напустился на него.

— Ты всего только свинья и недостоин того, чтобы жить с людьми,— кротко сказал он.— Тебя, похитителя одеяла Дэнни, следовало бы держать в конуре и кормить картофельными очистками.

Теплые солнечные лучи совсем их разморили. Маленькие волны, шепчась, набегали на песок. Пилон разулся.

— Остаток пополам,— сказал Большой Джо, и они допили все вино до последней капли.

Пляж мерно покачивался, подымаясь и опускаясь, как океанская зыбь.

— Ты неплохой человек,— сказал Пилон.

Но Большой Джо Португалец уже спал. Пилон снял куртку и прикрыл ею лицо. Через несколько секунд он тоже погрузился в сладкий сон.

Солнце описывало в небосводе привычную дугу. Прилив разлился по пляжу и вновь отступил. К спящим, подпрыгивая, стайкой приблизились зуйки и внимательно их осмотрели. Бродячая собака обнюхала их. Две пожилые дамы, собиравшие морские раковины, увидели их неподвижные тела и торопливо прошли мимо,— а вдруг эти мужчины проснутся и кинутся вслед, чтобы напасть на них с преступными намерениями! Просто ужасно, единодушно решили они, что полиция не желает принимать никаких мер для предотвращения подобных случаев.

— Они пьяны,— сказала одна из дам.

Другая обернулась и посмотрела на спящих.

— Пьяные скоты,— согласилась она.

Когда наконец солнце скрылось за соснами на холме позади Монтерея, Пилон проснулся. Рот его пересох, словно обожженный квасцами, голова болела, а тело совсем затекло от долгого лежания на жестком песке. Большой Джо продолжал храпеть.

— Джо! — окликнул его Пилон, но Джо даже не пошевелился.

Пилон приподнялся на локте и посмотрел на море.

«Не худо бы смочить рот глотком вина»,— подумал он и поднес к губам бутыль, но ни единая капля не увлажнила его сухого языка. Тогда он вывернул карманы в надежде, что в них, покуда он спал, произошло чудо,— однако чуда в них не произошло. Он обнаружил только сломанный перочинный нож, за который уже раз двадцать тщетно пытался получить стакан вина. И еще рыболовный крючок в кусочке пробки, обрывок грязной бечевки, собачий зуб и несколько ключей, не подходящих ни к одному из известных Пилону замков. Среди всей этой коллекции не было ни

одной вещи, на которую Торрелли польстился бы даже в припадке умопомешательства.

Пилон задумчиво посмотрел на Большого Джо.

«Бедняга,— подумал он.— Когда Джо Португалец проснется, его будет мучить точно такая же жажда. Он будет рад, если я припасу для него глоток вина».

Он попробовал растолкать Большого Джо, но тот, буркнув что-то невнятное, продолжал храпеть, и Пилон обшарил его карманы. Он нашел медную брючную пуговицу, металлическую бляху с надписью: «В «Голландце» кормят вкусно», пять обгорелых спичек и кусок жевательного табака.

Пилон присел на корточки. Выхода не было. Хотя его глотка властно требовала вина, ему оставалось только иссохнуть в этих песках.

Тут его внимание привлекли саржевые брюки Португальца, и он тихонько пощупал их.

«Хорошая материя,— подумал он.— С какой стати должен этот подлый Португалец расхаживать в штанах из такой хорошей материи, когда все его друзья носят бумажные?»

Затем он вспомнил, как плохо сидят эти брюки на Большом Джо, как тесны они ему в поясе, даже когда он не застегивает верхних пуговиц, как они ему коротки. «А ведь человек благопристойного роста был бы счастлив обзавестись такими штанами».

Пилон вспомнил, в каком преступлении повинен Большой Джо, и почувствовал себя ангелом-мстителем. Как смеет эта чумазая дылда наносить Дэнни подобные оскорбления!

«Когда он проснется, я изобью его!.. Однако,— тут же возразил на это Пилон-моралист,— он совершил кражу. И ему было бы хорошим уроком узнать, каково это, когда у тебя что-нибудь крадут. Какой толк в наказании, если оно ничему не учит?»

Позиция Пилона была совершенно неуязвима. Если он одним махом сумеет отомстить за Дэнни, проучить Большого Джо, преподать ему урок этики и раздобыть вина, кто во всем мире решится осудить его?

Он изо всех сил толкнул Португальца, но Большой Джо только отмахнулся от него, как от мухи. Пилон ловко стянул с него брюки, скатал их и небрежной походкой направился в ту сторону, где за дюнами лежал Монтерей.

Торрелли не было дома, и дверь Пилону открыла миссис Торрелли. Несколько минут он напускал на себя таинственность, но в конце концов предъявил ей брюки.

Она решительно покачала головой.

— Но поглядите же хорошенько,— не отступал Пилон.— Вы видите только грязь и пятна. А вы поглядите, какая под ними хо-

рошая материя! Подумайте, сеньора! Вы выводите эти пятна и отглаживаете брюки! Приходит Торрелли. Он молчит, у него дурное настроение. И тут вы показываете ему эти великолепные штаны. Посмотрите, как весело заблестели его глаза! Посмотрите, как он рад! Он сажает вас к себе на колени! Посмотрите, как он улыбается вам, сеньора! Столько счастья — и всего за один галлон красного вина!

— Штаны сзади совсем протерлись,— сказала она.

Пилон поднял брюки и посмотрел их на свет.

— Разве сквозь них можно что-нибудь разглядеть? Нет! Просто они стали мягкими и удобными. Они как раз в самом лучшем состоянии.

— Нет,— твердо сказала она.

— Вы жестоки к своему мужу, сеньора. Вы лишаете его счастья. И я не удивлюсь, если увижу, что он ухаживает за другими женщинами, не такими бессердечными. Ну, не галлон, так хоть кварту?

В конце концов миссис Торрелли не устояла, и Пилон получил свою кварту. Он тут же выпил все вино.

— Вы сбиваете цену счастья,— сказал он с упреком.— Я должен был бы получить, по крайней мере, полгаллона.

Миссис Торрелли была тверже гранита. Больше Пилон не получит ни капли. Пилон сидел на кухне миссис Торрелли и угрюмо размышлял: «Бессовестная ростовщица. Она задаром выманила у меня штаны Большого Джо».

Пилон с грустью вспомнил о своем друге, оставшемся там, среди дюн. Что с ним теперь будет? Если он пойдет в город, его арестуют. А что сделала эта гарпия, чтобы заслужить такие штаны? Она попыталась купить у Пилона штаны, принадлежащие его другу, за жалкую кварту никудышного вина. Пилон почувствовал, как в нем закипает гнев против нее.

— Я ухожу,— объявил он миссис Торрелли. Брюки уже висели в чуланчике за кухней.

— Всего хорошего,— ответила через плечо миссис Торрелли и отправилась в маленькую кладовку за припасами для обеда.

По пути на улицу Пилон прошел мимо чуланчика и захватил с собой не только брюки Большого Джо, но и одеяло Дэнни.

Пилон шагал по пляжу, направляясь к тому месту, где он оставил Большого Джо. На песке впереди пылал яркий костер, и Пилон вскоре заметил, что на фоне огня мелькают маленькие силуэты. Уже совсем стемнело, и он шел, ориентируясь на огонь. Приблизившись, он сообразил, что это пикник девочек-скаутов. Дальше Пилон продвигался крадучись.

Сперва он никак не мог найти Большого Джо, но в конце концов разглядел его: тот лежал, по пояс зарывшись в песок, совсем потеряв голос от холода и страха. Пилон твердым шагом приблизился к нему и протянул ему брюки.

— Бери их, Большой Джо, и радуйся, что получил их обратно.

У Джо зуб на зуб не попадал.

— Кто украл мои штаны, Пилон? Я лежу здесь уже не знаю сколько часов — я ведь не мог уйти из-за этих девчонок.

Пилон услужливо заслонил Португальца от девочек, хлопотавших около костра. Большой Джо стряхнул с ног прилипший к ним холодный сырой песок и натянул брюки. Потом они с Пилоном бок о бок побрели по темному пляжу туда, где огни Монтерея, словно нити бус, опоясывали холм. В глубине пляжа, припав к земле, как усталые гончие, лежали дюны, а волны потихоньку разучивали удары и чуть-чуть шипели. Ночь была холодна и надменна, ее теплая жизнь исчезла без следа, и она горько и грозно напоминала человеку, что он одинок в мире и одинок среди себе подобных и что нигде его не ждет утешение.

Пилон был все еще погружен в мрачные мысли, и Джо Португалец не мог не почувствовать, что его друг чем-то глубоко взволнован. Наконец Пилон повернулся к нему.

— Это учит нас, что доверять женщине — величайшая глупость.

— Значит, мои штаны украла какая-то женщина? — в волнении спросил Большой Джо.— Кто это? Я ей покажу!

Но Пилон только грустно покачал головой, как старик Иегова, который, отдыхая в седьмой день творения, узрел, что созданный им мир нуден и плох.

— Она наказана,— сказал Пилон.— Можно даже сказать, что она сама себя наказала, а что может быть лучше? Она приобрела твои штаны, она завладела ими в алчности, а теперь она их лишилась.

Подобные рассуждения были выше понимания Большого Джо — в них крылись тайны, с которыми лучше не связываться. Именно этого и добивался Пилон. Большой Джо смиренно сказал:

— Спасибо, Пилон, что ты вернул мои штаны.

Но Пилон так погрузился в философские размышления, что даже благодарность потеряла всякую цену в его глазах.

— Пустяки,— ответил он.— Во всем этом деле важен только урок, который мы можем из него извлечь.

Они свернули с пляжа к холму и миновали огромную серебристую башню газового завода.

Большой Джо Португалец был невыразимо счастлив оттого, что он идет рядом с Пилоном.

«Вот человек, который заботится о своих друзьях,— думал он.— Даже когда они спят, он бодрствует, чтобы с ними не случилось беды».

Он принял твердое решение когда-нибудь сделать Пилону что-нибудь приятное.

ГЛАВА IX

О том, как Дэнни попал в ловушку пылесоса, и о том, как друзья Дэнни спасли его

Долорес Энграсиа Рамирес жила в собственном домике на дальнем конце Тортилья-Флэт. Она помогала по хозяйству нескольким монтереевским дамам и была одной из подлинных дочерей Золотого Запада. Она не была хорошенькой, эта пайсана с худым лицом, но в ее движениях порой сквозила томность, а в голосе звучала хрипотца, которая нравилась некоторым мужчинам. Иногда в ее глазах, туманя их, загоралась дремотная страсть, которую мужчины, подвластные велениям плоти, находили привлекательной и манящей.

Она отличалась раздражительностью, и когда давала ей волю, никому не показалась бы желанной, но сердце у нее было влюбчивое, и недаром в Тортилья-Флэт ее прозвали «Конфеткой» Рамирес.

Когда она находилась во власти нежного чувства, на нее было просто приятно смотреть. Как она облокачивалась о свою калитку! Каким воркующим становился ее голос! Как колыхались ее бедра, то прижимаясь к самому забору, то плавно отступая, то вновь к нему прижимаясь, словно ленивые летние волны, накатывающиеся на песок! Кто еще мог так томно произнести простые слова:

— Ay, amigo. A'onde vas? [1]

Правда, чаще голос ее бывал визгливым, лицо — жестким и острым, как лезвие топора, фигура — неуклюжей, а намерения — самыми эгоистичными. Вторая, более мягкая сторона ее натуры просыпалась в ней только раза два в неделю, и к тому же обычно по вечерам.

Когда Конфетка услышала, что Дэнни получил наследство, она порадовалась за него. Теперь она мечтала о том, чтобы стать его спутницей жизни, как, впрочем, и все обитательницы Тортилья-Флэт. Вечер за вечером она стояла у калитки, ожидая, что-

---

[1] Здравствуй, дружок! Куда ты идешь? *(исп.)*

бы он прошел мимо и угодил в ее тенета. Но в течение долгого времени на ее приманку попадались только бедные индейцы и пайсано, у которых не было собственных домов и даже одежда порой оказывалась беглянкой из чьих-то более полных гардеробов.

Конфетку это не устраивало. Дом ее был расположен выше по склону, в той части квартала, куда Дэнни заглядывал редко. Сама же Конфетка не могла отправиться искать его. Она была порядочной женщиной и строго соблюдала правила приличия. Вот если бы Дэнни прошел мимо, и они поболтали бы, как положено старым друзьям, и он зашел бы к ней выпить стаканчик вина, и если бы затем природа оказалась слишком сильной, а она сопротивлялась бы не слишком упорно, вот тогда приличия почти не были бы нарушены. Но она и помыслить не могла о том, чтобы покинуть свою паутину у калитки.

Месяцы шли, а ей по-прежнему приходилось довольствоваться только теми поклонниками, у которых в карманах было пусто. Но в Тортилья-Флэт не так уж много улиц. Рано или поздно Дэнни неизбежно должен был пройти мимо калитки Долорес Энграсиа Рамирес; и так в конце концов и случилось.

За все время их давнего знакомства Дэнни ни разу не проходил мимо дома Конфетки при более благоприятных для нее обстоятельствах. Дело в том, что не далее как в это утро Дэнни нашел ящик медных гвоздей, потерянный Центральной компанией поставок. Поскольку рядом не было видно никого из служащих компании, он решил, что это бесхозное имущество. Поэтому Дэнни извлек гвозди из ящика и переложил их в мешок. Затем он позаимствовал тачку Пирата, а заодно и самого Пирата, чтобы эту тачку толкать, и отвез свою находку на склад Западной компании поставок, где продал гвозди за три доллара. Ящик он подарил Пирату.

— Ты можешь хранить в нем всякие вещи,— сказал он. И Пират очень обрадовался.

И вот теперь Дэнни спускался с холма, направляясь по прямой линии к заведению Торрелли, а в кармане у него покоились три доллара.

Голос Долорес был полон сладостной хрипотцы, словно жужжание шмеля:

— Ау, amigo. A'onde vas?

Дэнни остановился. Планы его внезапно изменились.

— Как поживаешь, Конфетка?

— А не все ли равно? Моим друзьям это неинтересно,— кокетливо сказала она. И бедра ее томно заколыхались.

— Как так? — спросил он.

— А разве мой друг Дэнни хоть разок навестил меня?

— Ну вот я здесь,— галантно заявил он.

Она чуть-чуть приоткрыла калитку.

— Может, ты зайдешь выпить в честь дружбы стаканчик вина?

Дэнни последовал за ней в дом.

— Что это ты делал в лесу? — проворковала она.

И тут Дэнни совершил роковую ошибку. Он тщеславно поведал о заключенной им на вершине холма сделке и похвастал своими тремя долларами.

— Правда, вина у меня только-только на две рюмочки,— сказала она.

Они расположились на кухне и выпили по стаканчику вина. Вскоре Дэнни весьма рыцарственно и пылко покусился на добродетель Конфетки, но, к своему удивлению, встретил отпор, совершенно неожиданный для женщины ее телосложения и репутации. Это его очень рассердило, ибо в нем пробудился безобразный зверь похоти. Только когда он уже собрался уходить, все объяснилось.

Воркующий голос произнес:

— Может, ты зайдешь навестить меня вечерком, Дэнни?

Глаза Конфетки затуманились дремотным призывом.

— Соседи...— тактично вздохнула она.

Тут он все понял.

— Я приду вечером,— сказал он.

До вечера было еще далеко. Дэнни шел по улице, вновь направляясь прямо к Торрелли. Зверь в нем чудесно преобразился. Из разъяренного рычащего волка он стал большим, мохнатым сентиментальным медведем.

«Я куплю вина для этой милой Конфетки»,— думал Дэнни.

И тут ему навстречу попался Пабло, а у Пабло было две палочки жевательной резинки. Он протянул одну Дэнни и пошел рядом с ним.

— Куда ты идешь?

— Сейчас не время для дружбы,— досадливо сказал Дэнни.— Сперва я собираюсь купить вина в подарок одной даме. Если хочешь, можешь пойти со мной, но больше чем на один стаканчик не рассчитывай. Мне надоело покупать вино для дам, чтобы его все до капли выпивали мои друзья.

Пабло согласился, что это действительно невыносимо. Самому же ему нужно общество Дэнни, а не его вино.

Они зашли в заведение Торрелли и выпили по стаканчику вина, отлив его из только что купленной бутыли. Дэнни заявил, что неприлично угощать друга одним-единственным стаканчиком вина. Как ни горячо отказывался Пабло, они выпили по второму.

«Дамам,— думал Дэнни,— не следует пить много вина. Они от него глупеют; а кроме того, вино усыпляет те чувства, которые делают даму особенно приятной».

Они выпили еще несколько стаканчиков. Полгаллона — вполне приличный подарок, решили они, тем более что Дэнни собирается спуститься в город купить ей что-нибудь еще. Они отмерили полгаллона и выпили все, что было выше черты. Затем Дэнни спрятал бутыль в канаве среди бурьяна.

— Я буду рад, если ты пойдешь со мной покупать подарок, Пабло,— сказал он.

Пабло понимал, чем объясняется это предложение. Во-первых, Дэнни не хотел расставаться с другом, а во-вторых, он опасался, что вино не уцелеет, если оставить Пабло бродить, где ему вздумается. С большим достоинством и подчеркнуто твердым шагом они спустились с холма в Монтерей.

Мистер Саймон из «Фирмы Саймона: вклады, ювелирные изделия, ссуды» любезно пригласил их в свою лавку. Название фирмы достаточно точно указывало ассортимент товаров, которыми она торговала: на прилавке были выставлены саксофоны, радиоприемники, ружья, ножи, удочки и старинные монеты — каждая вещь подержанная, но тем не менее куда лучше новой, так как ее части только-только приработались.

— Вам что-нибудь показать? — спросил мистер Саймон.

— Да,— сказал Дэнни.

Хозяин лавки начал перечислять свои товары, но вскоре остановился на полуслове, заметив, что Дэнни не спускает глаз с большого алюминиевого пылесоса. Пылесборник был синий в желтую клетку. Электрический шнур — длинный, черный и глянцевитый. Мистер Саймон нагнулся над пылесосом, потер его ладонью, отступил на шаг и бросил на него восхищенный взгляд.

— Что-нибудь вроде пылесоса? — спросил он.

— Сколько?

— За этот — четырнадцать долларов.

Собственно говоря, мистер Саймон не столько назначал серьезную цену, сколько старался выяснить, какими капиталами располагает Дэнни. А Дэнни был охвачен желанием приобрести пылесос — ведь он был таким большим и блестящим! Ни у одной хозяйки в Тортилья-Флэт не было пылесоса. В эту минуту Дэнни забыл, что в Тортилья-Флэт не было также и электричества. Он положил на прилавок свои два доллара и терпеливо ждал, пока утихнет буря: бешенство, негодование, печаль, вопли о нищете, о разорении, о надувательстве. Ему указывали на качество лака, на цвет пылесборника, на особую длину шнура, на то, что один ме-

талл стоит дороже! А когда все кончилось, Дэнни вышел из лавки, унося под мышкой пылесос.

Нередко в часы дневного досуга Конфетка доставала пылесос и прислоняла его к стулу. А когда приходили соседки, она начинала возить его по полу, чтобы показать, как легко он движется. И она тихонько жужжала, подражая мотору.

— Мой друг — человек богатый,— говорила она.— Вот погодите, скоро мне в дом протянут провода, полные электричества, а тогда — жж, жж, жж! — и в комнате чисто.

Соседки пытались опорочить подарок, заявляя: «Ах, как жалко, что эта машина не работает». Или: «Нет, щетка и совок, если только уметь ими пользоваться, куда надежнее!»

Но их завистливая хула не могла повредить пылесосу. Обладание им подняло Конфетку на самую вершину общественной лестницы Тортилья-Флэт. Те, кто не знал ее имени, говорили просто — «ну, эта, с подметальной машиной». Нередко, когда мимо дома Конфетки проходили ее враги, можно было видеть, как она возит пылесосом по полу, жужжа во весь голос. По правде говоря, она каждый день, кончив подметать пол, обрабатывала его пылесосом, руководствуясь следующей теорией: с электричеством он чистил бы лучше, но ведь нельзя же иметь все сразу.

Ей завидовала вся округа. Она держалась теперь с большим достоинством и надменной любезностью и высоко задирала нос, как и надлежит владелице подметальной машины. В любом разговоре она не забывала упомянуть о пылесосе: «Рамон проходил по улице сегодня утром, когда я пылесосила», «Луиза Митер порезала руку сегодня днем, часа через три после того, как я кончила пылесосить».

Но и упиваясь своим величием, она не забывала о Дэнни. В его присутствии голос ее становился хриплым от избытка чувств. Она покачивалась, как сосна на ветру. И все свои вечера он проводил в доме Конфетки.

Сперва его друзья не обращали внимания на эти отлучки, ибо каждый человек имеет право на увлечения. Но недели шли, и, наблюдая, как Дэнни от семейной жизни становится все более бледным и апатичным, его друзья пришли к выводу, что бурная благодарность Конфетки вредна для его здоровья. Они ревновали его к Конфетке, потому что, по их мнению, все это слишком затянулось.

И Пилон, и Пабло, и Хесус Мария, каждый по очереди, принимались в отсутствие Дэнни ухаживать за дамой его сердца, но Конфетка, хотя и была польщена, продолжала хранить верность тому, кто поднял ее на такую завидную высоту. Она была бы не прочь припасти их дружбу на будущее, так как знала, что счастье

капризно, но сейчас она наотрез отказывала друзьям Дэнни в том, на что пока имел право только Дэнни.

И вот его друзья в отчаянии составили заговор, чтобы погубить ее.

Быть может, Дэнни в глубине души уже начал уставать от нежной привязанности Конфетки и от необходимости платить ей взаимностью. Однако, если это и было так, он не признавался в этом даже самому себе.

Как-то днем, часа в три, Пилон, Пабло и Хесус Мария, за которыми в отдалении плелся Большой Джо, торжествуя, возвращались домой после крайне напряженного утра. Для выполнения их плана потребовалась вся стальная логика Пилона, вся артистическая изобретательность Пабло, вся доброта и человечность Хесуса Марии Коркорана. Большой же Джо не внес в это дело никакой лепты.

И вот теперь, словно четыре охотника после травли, они возвращались тем более довольные, что добыча далась им нелегко. А в Монтерее совсем сбитый с толку бедняга итальянец постепенно приходил к заключению, что его надули.

Пилон тащил бутыль вина, тщательно обернутую плющом. Они радостно прошествовали в дом Дэнни, и Пилон поставил бутыль на стол.

Дэнни, очнувшись от крепкого сна, мягко улыбнулся, встал с постели и расставил на столе банки из-под варенья. Затем он разлил вино. Его четыре друга устало опустились на стулья, утомленные трудным днем.

Они молча и неторопливо потягивали вино, ибо настал тот предвечерний час, когда в жизни Тортилья-Флэт наступает затишье. Почти все ее обитатели отрываются в это время от своих занятий, чтобы обдумать происшествия минувшего дня и прикинуть, что сулит им вечер. И в этот час всегда есть много тем для разговора.

— Корнелия Руис завела себе сегодня нового дружка,— заметил Пилон.— Он совсем лысый. Его зовут Килпатрик. Корнелия говорит, что ее прежний друг на той неделе три дня глаз домой не казал. А она этого не любит.

— Корнелия слишком непостоянна,— сказал Дэнни и со спокойным удовлетворением подумал о своем собственном прочном благополучии, зиждущемся на несокрушимом фундаменте пылесоса.

— Отец Корнелии был еще хуже,— подхватил Пабло.— Он никогда не говорил правды. Один раз он взял у меня взаймы доллар. Я сказал об этом Корнелии, а она хоть бы что.

— Одна кровь. «Скажи мне, какой породы твоя собака, и я скажу тебе, на что она годна»,— назидательно произнес Пилон.

Дэнни снова наполнил банки, и бутыль опустела. Они грустно поглядели на нее.

Хесус Мария, это воплощение человечности, негромко сказал:

— Я встретил Сузи Франсиско, Пилон. Она говорит, что все в порядке. Она уже три раза каталась с Чарли Гусманом на его мотоцикле. Первые два раза, когда она давала ему твое приворотное зелье, ему становилось нехорошо. Она уже думала, что оно не поможет. Но теперь Сузи говорит, чтобы ты приходил за сладкими булочками, когда захочешь.

— А из чего оно, это снадобье? — спросил Пабло.

Пилон ответил сдержанно:

— Всего сказать я не могу. А нехорошо Чарли Гусману было, наверное, от коры ядовитого дуба.

Галлон вина иссяк слишком быстро. Все шестеро испытывали жажду, мучительную, как любовное томление. Пилон мигнул друзьям, они мигнули в ответ. Заговорщики были готовы приступить к действиям. Пилон откашлялся.

— Что ты такого натворил, Дэнни? Почему над тобой смеется весь город?

Дэнни обеспокоился:

— Это ты о чем?

Пилон усмехнулся.

— Поговаривают, будто ты купил для одной дамы подметальную машину и что эта машина не будет работать, пока в дом не протянут провода. А эти провода стоят очень дорого. Вот некоторые и смеются над таким подарком.

Дэнни заволновался.

— Этой даме нравится подметальная машина,— сказал он, оправдываясь.

— Ну конечно,— согласился Пабло.— Она ведь многим говорила, что ты обещал протянуть в ее дом провода, чтобы машина могла работать.

Дэнни совсем встревожился:

— Она это говорила?

— Да, так мне сказали.

— Ничего я ей не обещал! — воскликнул Дэнни.

— Если бы мне самому не было смешно, я бы очень рассердился, слушая, как смеются над моим другом,— заметил Пилон.

— А что ты будешь делать, когда она попросит протянуть к ней провода? — спросил Хесус Мария.

— Скажу ей «нет»,— ответил Дэнни.

Пилон рассмеялся.

— Хотел бы я посмотреть, как ты это сделаешь. Не так-то просто сказать этой даме «нет».

Дэнни почувствовал, что друзья не одобряют его поведения.

— Что же мне делать? — спросил он растерянно.

Пилон подошел к решению этого вопроса с обычным педантизмом.

— Если у этой дамы не будет подметальной машины, ей не нужны будут провода,— сказал он после нескольких минут глубокого размышления.

Остальные согласно закивали.

— Поэтому,— продолжал Пилон,— надо забрать у нее подметальную машину.

— Она мне ее ни за что не отдаст,— возразил Дэнни.

— Ну так мы тебе поможем,— объявил Пилон.— Я заберу машину, а взамен ты сможешь подарить этой даме галлон вина. Она даже не узнает, куда делась подметальная машина.

— Соседи увидят, как ты будешь ее уносить.

— Ну нет,— ответил Пилон.— Ты оставайся дома, Дэнни, а я заберу машину.

Дэнни вздохнул с облегчением, потому что его добрые друзья пришли к нему на помощь.

Пилон был осведомлен обо всем, что происходило в Тортилья-Флэт. Его память регистрировала все, что видели его глаза или слышали его уши. Он знал, что каждый день в половине пятого Конфетка отправляется за покупками. Именно на эту ее привычку он и рассчитывал, составляя свой план.

— Будет лучше, если ты останешься в стороне,— сказал он Дэнни.

Во дворе Пилон взял заранее приготовленный рогожный мешок. Вытащив нож, он срезал с розового куста пышную ветку и засунул ее в мешок.

Как он и рассчитывал, Конфетки дома не было. «А машина эта, собственно говоря, принадлежит Дэнни»,— сказал он себе.

Потребовалась всего одна минута, чтобы войти в дом, положить пылесос в мешок и искусно замаскировать отверстие мешка веткой розы.

Выходя со двора, Пилон столкнулся с Конфеткой. Он вежливо снял шляпу.

— Я заходил на минутку, думал поболтать с тобой,— сказал он.

— Так, может, ты посидишь, Пилон?

— Нет. У меня дело в Монтерее. Уже поздно.

— Куда ты несешь этот розовый куст?

— Один человек в Монтерее хочет его купить. Очень хороший куст. Посмотри, какой он пышный.

— Ну так заходи в другой раз, Пилон.

Неторопливо шагая по улице, Пилон не услышал гневного вопля. «Может, она его не сразу хватится»,— подумал он.

Половина задачи была решена, оставалась вторая половина. «Что будет делать Дэнни с этой машиной? — спросил себя Пилон.— Если он оставит ее у себя, Конфетка узнает, что это он ее взял. Может, выбросить? Нет, это ценная вещь. Значит, надо от нее избавиться и при этом извлечь пользу из ее ценности».

Теперь задача была решена окончательно, и Пилон начал спускаться с холма по улице, ведущей к заведению Торрелли.

Пылесос был большой и сверкающий. Когда Пилон вновь начал подниматься по холму, он в каждой руке нес по бутыли с вином.

Когда он вошел в дом Дэнни, друзья встретили его молчанием. Он поставил одну бутыль на стол, а другую на пол.

— Я принес тебе подарок для твоей дамы,— сказал он Дэнни.— А вот немного винца и для нас.

Они весело придвинули к столу свои стулья, потому что в их глотках бушевал пожар. Когда первая бутыль была почти опорожнена, Пилон поднес свою банку к свече и посмотрел сквозь вино на ее огонек.

— То, что случается, не имеет значения,— произнес он.— Но из всего, что случается, можно извлечь урок. А из этого можно вывести, что подарок, особенно предназначенный для дамы, не должен быть таким, чтобы после него приходилось делать еще один подарок. И еще из этого можно вывести, что грешно делать слишком дорогие подарки, ибо они разжигают алчность.

Первая бутыль опустела. Друзья посмотрели на Дэнни, желая узнать, что он теперь сделает. До сих пор он молчал, но теперь понял, что друзья ждут его решения.

— Это была бойкая дама,— сказал он.— И с очень добрым сердцем. Но, черт побери,— сказал он,— до чего мне все это надоело! — И он откупорил вторую бутыль.

Пират, сидевший в углу среди своих собак, улыбнулся про себя и восхищенно прошептал:

— Черт побери! До чего мне все это надоело!

Эти слова показались Пирату прекрасными.

Они не выпили и половины второго галлона и успели пропеть всего две песни, когда в комнату вошел молодой Джонни Помпом.

— Я был у Торрелли,— сказал Джонни.— Он совсем взбесился. Он вопит как зарезанный. Он стучит кулаками по столу.

Друзья посмотрели на него без особого интереса.

— Если с Торрелли случилась какая-нибудь неприятность, то и поделом ему.

— Сколько раз он отказывал своим постоянным клиентам в стаканчике вина!

— А что случилось с Торрелли? — спросил Пабло.

Джонни Помпом, поблагодарив, взял протянутую ему банку с вином.

— Торрелли говорит, что он купил у Пилона подметальную машину, а когда он прицепил ее к своему проводу, она не стала работать. Тогда он заглянул в ее нутро, и оказалось, что в ней нет мотора. Он говорит, что убьет Пилона.

Пилон был возмущен.

— Я не знал, что у этой машины чего-то не хватает,— сказал он.— Но я ведь сказал — «поделом Торрелли, какая бы неприятность с ним ни случилась». Такая машина стоит не меньше четырех галлонов вина, а этот сквалыга Торрелли поскупился дать больше двух.

Дэнни все еще испытывал к Пилону горячую благодарность. Он отхлебнул вино и почмокал губами.

— Эта бурда, которой торгует Торрелли, с каждым днем становится все хуже,— сказал он.— Она и всегда была свиным пойлом, но теперь уже до того дошло, что даже Чарли Марш не станет ее пить.

Тут все почувствовали, что отчасти свели счеты с Торрелли.

— Пожалуй,— сказал Дэнни,— если Торрелли не образумится, мы будем покупать вино у кого-нибудь другого.

ГЛАВА X

О том, как друзья Дэнни утешали капрала, а взамен получили урок родительской этики

Хесус Мария Коркоран был всегда исполнен человеколюбия. Страдания он стремился облегчать, печаль он старался смягчить, радость он разделял. Никто никогда не видел Хесуса Марию суровым или удрученным своими заботами. Сердце его было в распоряжении любого человека, которому оно могло понадобиться. Его силы и его ум всегда были к услугам тех, у кого их было меньше, чем у Хесуса Марии.

Это он четыре мили нес Хосе де ла Нарис, когда Хосе сломал ногу. Когда миссис Палочико потеряла свою любимую козу и могла остаться без молока и сыра, это Хесус Мария искал козу, нашел ее у Большого Джо Португальца, остановил занесенный нож

убийцы и заставил Большого Джо вернуть ее хозяйке. И это Хесус Мария как-то вытащил Чарли Марша из канавы, где тот лежал в собственных нечистотах,— подвиг, для свершения которого требовалось не только доброе сердце, но и крепкий желудок.

Но Хесус Мария не только умел творить добро, он был также одарен способностью оказываться под рукой, когда требовалось творить это добро.

И о нем шла такая слава, что Пилон однажды заметил:

— Если бы наш Хесус Мария стал священником, у Монтерея появился бы в календаре собственный святой, уж вы мне поверьте.

Из какого-то бездонного кармана своей души Хесус Мария неустанно черпал доброту, но от этого ее не становилось меньше.

Хесус Мария имел обыкновение каждый день ходить к почте, во-первых, потому, что там он встречал очень много знакомых, а во-вторых, потому, что на этом ветреном углу он мог любоваться ножками множества девушек. Не следует полагать, что в этом его увлечении было хоть что-нибудь пошлое или низменное. Ведь не бросаем же мы подобного упрека тем, кто посещает музеи или концерты. Хесусу Марии просто нравилось смотреть на женские ножки.

Однажды, когда он уже два часа напрасно простоял, прислонившись к стене почты, он увидел грустное зрелище.

Полицейский вел по тротуару юношу лет шестнадцати — семнадцати, а юноша нес крохотного младенца, завернутого в лоскут серого одеяла.

Полицейский говорил:

— Ну и что ж, что я тебя не понимаю. Сидеть в канаве весь день не положено. Мы о тебе все узнаем.

А юноша отвечал по-испански с каким-то необычным акцентом:

— Но, сеньор, я ничего плохого не сделал. Почему вы меня арестовали?

Тут полицейский заметил Хесуса Марию.

— Эй, пайсано! — окликнул он его.— Что бормочет этот парень?

Хесус Мария отошел от стенки и обратился к юноше:

— Чем я могу вам служить?

Юноша обрадованно разразился потоком слов:

— Я приехал сюда искать работы. Мне в Мексике говорили, что здесь есть работа, а ее вовсе и нет. Я сидел и отдыхал, а этот человек подошел и забрал меня.

Хесус Мария кивнул и повернулся к полицейскому.

— Этот малыш совершил какое-нибудь преступление?

— Нет, но он часа три просидел на краю канавы на улице Альварадо.

— Это мой друг,— сказал Хесус Мария.— Я позабочусь о нем.

— Ладно, только пусть он больше не сидит по канавам.

Хесус Мария и его новый друг стали подниматься на холм.

— Я отведу вас в дом, где я живу. Там вам дадут поесть. А что это за младенец?

— Это мой сын,— ответил юноша.— Я капрал, а он мой сын. Он сейчас болен, но когда он вырастет, он будет генералом.

— А чем он болен, сеньор капрал?

— Не знаю. Он просто болен, и все.— С этими словами юноша приоткрыл личико младенца, который и в самом деле выглядел очень больным.

Хесус Мария проникся к нему еще большим сочувствием:

— Дом, в котором я живу, принадлежит моему другу Дэнни, и он очень хороший человек, сеньор капрал. Он всегда рад помочь тому, кто попал в беду. Послушайте, мы пойдем туда, и Дэнни приютит вас. У моей доброй знакомой миссис Палочико есть коза. Мы попросим у нее молока для маленького.

На лице капрала впервые появилась улыбка.

— Хорошо иметь друзей,— сказал он.— В Торреоне у меня много друзей, которые согласились бы стать нищими, лишь бы помочь мне.— Он не утерпел, чтобы не похвастаться.— У меня есть богатые друзья, но они, конечно, не знают о моей беде.

Хесус Мария распахнул калитку, и они вошли во двор. Дэнни, Пабло и Большой Джо сидели в большой комнате, ожидая ежедневного чуда ниспослания ужина. Хесус Мария втолкнул юношу в комнату.

— Вот молодой солдат. Он капрал,— объяснил он.— У него с собой младенец, и младенец этот очень болен.

Его друзья вскочили на ноги. Капрал откинул край серого одеяла с лица младенца.

— Он и правда болен,— сказал Дэнни.— Надо бы послать за доктором.

Но солдат покачал головой:

— Не нужно докторов. Я не люблю докторов. Маленький не плачет и почти ничего не ест. Может, когда он отдохнет, он поправится.

Тут в дом вошел Пилон и внимательно оглядел ребенка.

— Этот младенец болен,— сказал он.

Пилон немедленно принялся отдавать распоряжения. Хесуса Марию он послал к миссис Палочико занять козьего молока; Большому Джо и Пабло было приказано раздобыть ящик из-под яблок

и устлать его сухой травой, а на нее положить овчинную куртку. Дэнни предложил свою кровать, но она была отвергнута. Капрал стоял в большой комнате и тихо улыбался, глядя на этих добрых людей. В конце концов младенец был уложен в ящик, но глазки его оставались тусклыми, и он не стал пить молока.

Пришел Пират с сумкой, полной макрели. Друзья изжарили рыбу и поужинали. Но малыш не стал есть даже макрель. То и дело один из друзей вскакивал и бежал посмотреть на него. Поужинав, все уселись возле печки и приготовились провести вечер в спокойной беседе.

Капрал продолжал молчать и ничего не сообщал о себе. Друзей это немного обидело, но они знали, что он им все расскажет в свое время. Пилон, для которого всякое знание было словно скрытое в земле золото, попробовал пробить пару шурфов в сдержанности капрала.

— Не так-то часто случается увидеть молодого солдата с младенцем,— деликатно намекнул он.

Капрал гордо улыбнулся.

Пабло добавил:

— Этот младенец, наверное, был найден в саду любви. А такие младенцы — самые лучшие, потому что в этом саду не может быть ничего плохого.

— Мы тоже были солдатами,— сообщил Дэнни.— Когда мы умрем, нас повезут на кладбище на пушечном лафете, и над нашей могилой дадут залп из винтовок.

Они умолкли, выжидая, поймет ли капрал, зачем все это было сказано. Капрал с уважением посмотрел на них.

— Вы были добры ко мне,— сказал он.— Вы были добры и заботливы, как были бы добры и заботливы мои друзья в Торреоне. Это мой сын и сын моей жены.

— А где твоя жена? — спросил Пабло.

Улыбка исчезла с лица капрала.

— Она в Мексике,— сказал он, но тут же снова оживился.— Я говорил с одним человеком, и он сказал мне очень интересную вещь. Он сказал, что мы можем вырастить из младенцев кого захотим. Он сказал: «Повторяй младенцу почаще, кем ты хочешь, чтобы он стал, и когда он вырастет, так и будет». И вот я все время повторяю моему сыну: «Ты будешь генералом». Как вы думаете, станет он генералом?

Друзья вежливо кивнули.

— Может быть,— сказал Пилон.— Правда, я про такое средство не слыхал.

— Я повторяю двадцать раз в день: «Мануэль, ты станешь генералом. У тебя будут большие эполеты и шарф. У тебя будет

золотая сабля. Ты будешь ездить на красивом коне. Какая у тебя будет хорошая жизнь, Мануэль!» Этот человек сказал, что он наверняка станет генералом, если я буду так говорить.

Дэнни встал и подошел к ящику из-под яблок.

— Ты будешь генералом,— сказал он младенцу.— Когда ты вырастешь, ты будешь великим генералом.

Остальные столпились вокруг и смотрели, не возымело ли уже это заклинание какого-либо действия.

Пират прошептал:

— Ты будешь генералом,— и стал раздумывать, не подействует ли такой метод на собаку.

— Маленький очень болен,— сказал Дэнни.— Надо следить, чтобы ему было тепло.

Они снова уселись.

— Твоя жена в Мексике...— подсказал Пилон.

Капрал нахмурился и немного подумал; потом он ослепительно улыбнулся:

— Я расскажу вам. Таких вещей чужим людям не рассказывают, но вы мои друзья. Я был солдатом в Чиуауа, и я очень старался: всегда чистил свою одежду и хорошо смазывал винтовку, так что меня произвели в капралы. И тогда я женился на красивой девушке. Не знаю, может, она пошла за меня только из-за моих нашивок. Но она была очень красивая и совсем молодая. Глаза у нее были большие, зубы ровные и белые, а волосы длинные и блестящие. И скоро у нас родился вот этот сын.

— Это хорошо,— сказал Дэнни.— Я хотел бы быть на твоем месте. Что может быть лучше младенца?

— Да,— сказал капрал.— Я очень обрадовался. А потом мы пошли крестить его, и я надел шарф, хотя в уставе об этом ничего не говорится. А когда мы вышли из церкви, мою жену увидел капитан с эполетами и серебряной саблей. И скоро моя жена ушла от меня. Тогда я пошел к капитану и сказал: «Отдайте мне мою жену»,— а он сказал: «Видно, тебе жизнь не дорога, что ты осмеливаешься так разговаривать со своим начальником».— Капрал протянул вперед ладони и пожал плечами в бессильной покорности судьбе.

— Подлый вор! — крикнул Хесус Мария.

— Ты собрал своих друзей. Ты убил этого капитана,— с надеждой подсказал Пабло.

Капрал смутился.

— Нет. Ничего нельзя было сделать. В тот же вечер кто-то выстрелил в меня через окно. А на другой день пушка выстрелила по ошибке, и снаряд пролетел так близко, что ветер сбил меня с ног. Поэтому я ушел оттуда и взял маленького с собой.

Лица друзей исказились от гнева, в глазах их горела ярость. Пират в своем углу злобно заворчал, а его собаки принялись рычать.

— Почему нас там не было! — вскричал Пилон.— Мы заставили бы этого капитана пожалеть, что он родился. Один священник причинил зло моему деду, и дед привязал его голым в загоне и пустил туда бычка. Многое можно придумать!

— Я был всего только капралом,— сказал юноша.— Мне пришлось бежать.— На его глаза навернулись слезы стыда.— Капралу негде искать защиты, если его невзлюбил капитан, поэтому я убежал с маленьким Мануэлем. Во Фресно я повстречал того мудрого человека, и он сказал мне, что я могу сделать из Мануэля кого хочу. Я каждый день говорю ему двадцать раз: «Ты будешь генералом. У тебя будут эполеты и золотая сабля».

Перед такой трагедией приключения Корнелии Руис казались скучными и пустыми. Разумеется, в подобном случае настоящим друзьям не полагалось бы сидеть сложа руки. Но все это произошло так далеко, что ничего нельзя было предпринять. Они с восхищением смотрели на капрала: такой молодой, а столько уже пережил!

— Хотел бы я,— мрачно произнес Дэнни,— чтобы мы сейчас оказались в Торреоне. Пилон придумал бы для нас какой-нибудь план. Жаль, что мы не можем поехать туда.

Большой Джо Португалец не задремал ни разу за весь вечер — даже его потряс рассказ капрала. Теперь он подошел к ящику и заглянул в него.

— Ты будешь генералом,— начал он и вдруг воскликнул: — Поглядите-ка, что это с ним?

Его друзья столпились вокруг ящика. Маленькое тельце сводила судорога. Ножки дернулись и согнулись. Ручонки беспомощно хватали воздух, а потом ребенок весь скорчился и забился.

— Доктора! — крикнул Дэнни.— Надо позвать доктора.

Но и он сам, и все остальные знали, что доктор не поможет. Приближающаяся смерть облечена в плащ, который каждый узнает сразу. И пока они смотрели, маленькое тельце застыло и перестало бороться за жизнь. Ротик раскрылся, и ребенок умер. Дэнни сострадательно прикрыл ящик лоскутом одеяла. Капрал стоял, выпрямившись во весь рост, и глядел прямо перед собой — он был словно оглушен и не мог ни говорить, ни думать.

Хесус Мария положил руку ему на плечо и подвел его к стулу.

— Ты еще такой молодой,— сказал он.— У тебя будет еще много детей.

Капрал застонал.

— Он умер. Он никогда не станет генералом с шарфом и саблей.

У друзей в глазах стояли слезы, собаки в своем углу жалобно скулили. Пират уткнул свою большую голову в мех Сеньора Алека Томпсона.

Пилон заговорил мягко, словно благословляя:

— Теперь ты сам должен будешь убить капитана. Мы чтим столь благородный план мести; но он не удался, и ты должен будешь отомстить сам, а мы поможем тебе, если это будет в наших силах.

Капрал поглядел на него безжизненным взглядом.

— Отомстить? — спросил он.— Убить капитана? О чем ты говоришь?

Но ведь твой план было нетрудно разгадать,— сказал Пилон.— Твой сын вырастет и станет генералом, а потом найдет капитана и убьет его медленной смертью. Это был хороший план. Долгое ожидание, а потом — удар. Мы, твои друзья, чтим тебя за такой план.

Капрал с недоумением смотрел на Пилона.

— О чем ты говоришь? — спросил он.— Что я могу сделать этому капитану? Ведь он — капитан.

Все были удивлены.

Пилон воскликнул:

— Так зачем же ты хотел сделать из младенца генерала? Что это был за план?

Тут капрал немного смутился.

— Отец должен заботиться о своем сыне. Я хотел, чтобы Мануэлю жилось лучше, чем мне.

— Только и всего? — воскликнул Дэнни.

— Ну,— сказал капрал,— моя жена была очень красива и вовсе не распутница. Она была хорошей женщиной, но капитан отобрал ее у меня. У него были маленькие эполеты и узенький шарф, а сабля у него была всего только серебряного цвета. Вот подумайте,— капрал развел руками,— если этот капитан с маленькими эполетами и узеньким шарфом мог забрать у меня жену, то чего только не сможет забрать генерал с широким шарфом и золотой саблей!

Наступило долгое молчание. Дэнни, Пилон, Пабло, Хесус Мария, Пират и Большой Джо Португалец старались понять такую точку зрения. А когда поняли, то подождали, чтобы первым заговорил Дэнни.

— Как жаль,— сказал наконец Дэнни,— что немногие родители так заботятся о счастье своих детей. И нам еще грустнее, что

маленький умер, потому что, имея такого отца, он лишился поистине счастливой жизни.

Все его друзья печально закивали.

— Что же ты будешь делать теперь? — спросил Хесус Мария, первооткрыватель.

— Я вернусь в Мексику,— сказал капрал.— Я хочу быть солдатом. Может быть, если я буду хорошо смазывать винтовку, меня самого сделают офицером. Как знать!

Шестеро друзей смотрели на него с восхищением. Они гордились знакомством с таким человеком.

ГЛАВА XI

О том, как на Большого Джо Португальца при самых неблагоприятных обстоятельствах снизошла любовь

Любить для Большого Джо Португальца означало действовать. И это — рассказ об одном из его любовных похождений.

В Монтерее лил дождь; с высоких сосен весь день капала вода. Пайсано Тортилья-Флэт не выходили из дому, но над каждой трубой подымалась спираль голубого дыма, и в воздухе разливался свежий и душистый запах горящих смолистых поленьев.

К пяти часам дождь на несколько минут прекратился, и Большой Джо Португалец, который почти весь день провел на пляже под перевернутой лодкой, выбрался наружу и зашагал вверх по холму к дому Дэнни. Он совсем окоченел и ужасно хотел есть.

Когда он добрался до окраины Тортилья-Флэт, хляби небесные снова разверзлись, и опять хлынул ливень. В одно мгновение Большой Джо вымок до нитки. Он вбежал в ближайший домик, чтобы укрыться от дождя, а в этом домике жила tía [1] Игнасиа.

Этой даме было лет сорок пять, и она уже давно и небезуспешно вдовела. Она всегда была молчаливой и суровой, так как в ее жилах текло больше индейской крови, чем это считалось приличным в Тортилья-Флэт.

Когда вошел Большой Джо, она как раз откупорила бутыль красного вина и готовилась налить себе стаканчик, чтобы полечить желудок. Она попыталась сунуть бутыль под стул, но не успела. Большой Джо уже стоял в дверях, и с его одежды на пол стекала вода.

---

[1] Тетушка *(исп.)*.

— Входи и обсушись,— сказала тиа Игнасиа.

Большой Джо, не сводя глаз с бутыли, словно терьер с жука, переступил порог. По крыше грозно барабанил дождь. Тиа Игнасиа помешала дрова в железной печурке.

— Не выпьешь ли стаканчик вина?

— Выпью,— сказал Большой Джо.

Его глаза снова впились в бутыль, хотя он еще не успел докончить первого стакана. Он выпил их три, прежде чем соблаговолил произнести хоть слово и алчный огонь погас в его глазах.

Тиа Игнасиа смирилась с тем, что ее непочатая бутыль безвозвратно потеряна. И она стала пить с ним, чтобы и самой хоть немножко попользоваться своим вином. Только когда Большой Джо в четвертый раз взял полный стакан, он наконец сел поудобнее и начал пить со вкусом.

— Это вино не от Торрелли,— сказал он.

— Да, я беру его у одной итальянской дамы, моей подруги.

Она снова налила стаканы.

Сгустились ранние сумерки. Тиа Игнасиа зажгла керосиновую лампу и подбросила дров в печурку. Раз уж вино будет выпито, пусть оно будет выпито, подумала она и критически осмотрела дюжую фигуру Большого Джо. В груди у нее потеплело.

— Бедный, ты работал на дожде,— сказала она.— Сними куртку, дай ей просохнуть.

Большой Джо лгал редко. На это у него не хватало сообразительности.

— Я спал на берегу под лодкой,— ответил он.

— Но ты же насквозь промок, бедняга.

Она испытующе посмотрела на него, ожидая, что ее внимание вызовет хоть какой-нибудь отклик; но лицо Большого Джо выражало только удовольствие от того, что он сидит в сухой, теплой комнате и пьет вино. Он протянул ей пустой стакан. Весь день у него во рту не было ни крошки, и вино быстро туманило ему голову.

Тиа Игнасиа сделала новую попытку.

— Вредно сидеть в мокрой куртке. Ты простудишься. Дай я помогу тебе снять куртку.

Большой Джо только плотнее уселся в кресло.

— Мне и так хорошо,— сказал он упрямо.

Тиа Игнасиа подлила себе вина. Дрова в печурке громко потрескивали, и этот уютный звук заглушал стук дождя по крыше.

Большой Джо и не думал вести себя любезно или хотя бы вежливо — он просто не замечал присутствия своей хозяйки. Он большими глотками пил вино. Он глупо улыбался печке. Он легонько покачивался в кресле.

Тиа Игнасиа почувствовала, что ее охватили гнев и отчаяние.

«Свинья,— думала она,— грязная скотина. Да лучше бы я привела в дом с дождя какую-нибудь корову. Другой человек хоть спасибо сказал бы!»

Большой Джо снова протянул ей пустой стакан.

Тиа Игнасиа сделала героическое усилие.

— Хорошо в теплом домике в такую непогожую ночь,— сказала она.— Когда льет дождь, а печка хорошо топится, приятно о чем-нибудь дружески поболтать. Ведь правда?

— Само собой,— отозвался Большой Джо.

— Может, яркий свет тебе глаза режет? — заботливо сказала она.— Хочешь, я задую лампу?

— Он мне не мешает,— ответил Большой Джо.— Но если тебе жалко керосина, валяй задувай.

Тиа Игнасиа задула огонек, и комната погрузилась во мрак. Потом она вернулась на свое кресло и стала ждать, когда в Большом Джо пробудится галантность. Она слышала, как скрипит, покачиваясь, его кресло. Багровели щели печурки, и на углах мебели играли легкие блики. Комната почти светилась теплом. Тиа Игнасиа услышала, что кресло его перестало покачиваться, и подобралась, готовая оттолкнуть его. Но ничего не произошло.

— Подумать только,— сказала она,— что ты мог бы остаться без крова в такую бурную ночь и дрожал бы сейчас в каком-нибудь сарае или лежал бы на холодном песке под лодкой. А ты сидишь в удобном кресле и пьешь вино в обществе дамы, которая к тебе хорошо относится.

Большой Джо молчал. Тиа Игнасиа не видела его и ничего не слышала. Она допила стакан. Приходилось пренебречь этикетом.

— Моя подруга Корнелия Руис рассказывала мне, что некоторые из ее лучших друзей приходили к ней с дождя мокрые и замерзшие. Она привечала их, и они становились ее добрыми друзьями.

Из того угла, где сидел Большой Джо, донесся легкий стук. Тиа Игнасиа поняла, что он уронил свой стакан. Но затем снова наступила полная тишина.

«Может, он заболел? — подумала она.— Может, ему дурно?»

Она вскочила, зажгла спичку и поднесла ее к фитилю лампы. А потом повернулась к своему гостю.

Большой Джо спал богатырским сном. Ноги его были вытянуты. Голова откинулась, рот широко открылся. И пока тиа Игнасиа глядела на него вне себя от изумления и негодования, из его рта вырвался оглушительный храп. Когда Большому Джо бывало уютно и тепло, он просто не мог не заснуть.

Прошло несколько секунд, прежде чем тиа Игнасиа разобралась в охватившей ее буре чувств. В ее жилах текло немало индейской крови, и она не стала кричать. Нет, хотя она дрожала от ярости, она не стала кричать, а подошла к корзине с хворостом, выбрала подходящую палку, взвесила ее в руке, положила обратно и взяла другую. Только тогда она медленно приблизилась к Большому Джо Португальцу. Первый удар пришелся ему в плечо и свалил его с кресла.

— Свинья! — вопила тиа Игнасиа.— Мусорная куча! Убирайся вон!

Джо покатился по полу. Следующий удар оставил грязную полосу на его штанах. Теперь Большой Джо быстро просыпался.

— А? — спросил он.— Что случилось? Что ты делаешь?

— Я тебе покажу,— завизжала она и, распахнув дверь, бросилась назад к нему.

Под градом ударов Большой Джо, шатаясь, поднялся на ноги. Палка молотила его по спине, плечам и голове. Он выбежал за дверь, прикрывая голову руками.

— Брось! — умолял он.— Ну брось же! Что случилось?

Разъяренная фурия преследовала его, как оса, по садовой дорожке и выскочила за ним на раскисшую от дождя улицу. Гнев ее был ужасен. Она бежала за ним по улице, осыпая его ударами.

— Эй! — крикнул он.— Довольно!

Он обхватил ее, не давая поднять рук, а она изо всех сил вырывалась, стараясь еще раз ударить его палкой.

— Подлая свинья! — кричала она.— Скотина!

Он не мог отпустить ее, потому что она снова накинулась бы на него, и поэтому только крепче сжимал руки. И вот, пока он стоял так, на Большого Джо Португальца снизошла любовь. Она звенела в его мозгу, она как бурный поток разливалась по его телу, она сотрясала его, как тропический ураган сотрясает пальмовую рощу. Он так крепко сжал руки, что тиа Игнасиа перестала сердиться.

По ночам в Монтерее полицейский объезжает на мотоцикле улицы, следя за тем, чтобы ни с чем хорошим не приключилось ничего дурного. Джек Лейк ехал по улицам Монтерея, и его мокрый плащ тускло блестел. Настроение у него было очень скверное. На мощеных улицах было еще терпимо, но часть его маршрута пролегала по грязным проулкам Тортилья-Флэт, где из-под колес во все стороны летели комья мокрой глины. Свет его маленькой фары метался из стороны в сторону. Мотор чихал и кашлял от непосильной нагрузки.

Вдруг Джек Лейк вскрикнул от неожиданности и остановил мотоцикл.

— Что за черт? Это еще что такое?

Большой Джо повернул к нему голову.

— А, это ты, Джек? Вот что, Джек, раз уж ты нас все равно заберешь, то погоди минутку.

Полицейский повернул мотоцикл.

— Ушли бы вы с улицы,— сказал он.— А то под машину попадете.

Мотоцикл взревел, выбираясь из вязкой колеи, луч его фары, мигнув, скрылся за поворотом. В деревьях Тортилья-Флэт тихо шуршал дождь.

ГЛАВА XII

О том, как друзья Дэнни помогли Пирату выполнить обет, и о том, как в награду за добродетель собакам Пирата было дано узреть небесное видение

Каждый день Пират поднимался со своей тачкой на холм и вкатывал ее во двор Дэнни. Там он прислонял ее к забору и прикрывал дерюгой; потом он закапывал топор в землю — ведь всем известно, что сталь делается тверже, если ее закапывать в землю. И наконец он входил в дом, запускал пальцы в кисет, висевший у него на шее, доставал заработанную в этот день монету и отдавал ее Дэнни. После чего Дэнни в сопровождении Пирата и тех из друзей, которые были дома, торжественно отправлялся в спальню, переступая через разбросанные на полу постели. И все смотрели, как Дэнни засовывает руку под свою подушку, вытаскивает парусиновый мешочек и опускает в него очередную монету. Эта церемония повторялась изо дня в день в течение долгого времени.

Мешочек с деньгами стал символом их дружбы, осью доверия, на котором держалось их братство. Они гордились этими деньгами, гордились тем, что честно берегут их. Хранение денег Пирата стало фундаментом, на котором выросло здание самоуважения и даже некоторого тщеславия. Человеку нужно знать, что ему доверяют. Для друзей эти монеты давно перестали быть денежными знаками. Правда, вначале они порой прикидывали, сколько вина можно было бы купить на такую сумму, но вскоре отвыкли считать это сокровище деньгами. Оно должно было превратиться в золотой подсвечник, а этот потенциальный подсвечник был собственностью святого Франциска Ассизского. Обмануть же святого куда опаснее, чем позволять себе некоторые вольности с законом.

Как-то вечером таинственный, но быстрый и точный телеграф принес известие, что вблизи Кармела наскочил на риф пограничный катер. Большой Джо Португалец отсутствовал по

каким-то своим делам, но Дэнни, и Пабло, и Пилон, и Хесус Мария, и Пират, и его собаки веселой гурьбой отправились через гряду холмов к месту происшествия, потому что они очень любили подбирать на берегу всякие полезные предметы. Это представлялось им самым увлекательным занятием на свете. Они немного опоздали, но быстро наверстали потерянное время. Всю ночь они рыскали по пляжу и набрали порядочно всякой всячины: пятифунтовую банку сливочного масла, несколько ящиков консервов, пропитанный водой астрономический календарь, две матросские куртки, бочонок пресной воды со шлюпки и пулемет. Когда рассвело, они охраняли весьма внушительную кучу всевозможного добра.

Они продали ее оптом за пять долларов одному из зевак, так как не собирались тащить подобную тяжесть шесть миль по крутым холмам до Тортилья-Флэт.

Пират, разумеется, не успел нарубить ежедневной порции дров; поэтому Дэнни дал ему двадцать пять центов, и он спрятал монету в свой кисет. Затем они побрели по холмам к Монтерею, усталые, но исполненные счастливого предвкушения.

Когда они добрались до дома Дэнни, было уже далеко за полдень. Пират, выполняя обычный обряд, открыл кисет и передал монету Дэнни. Вся компания направилась в соседнюю комнату. Дэнни сунул руку под подушку... и вытащил ее обратно пустой. Он отшвырнул подушку, поднял матрац, а потом повернулся к своим друзьям, и глаза у него стали как глаза тигра. Он переводил взгляд с одного лица на другое, но на каждом видел только ужас и негодование, которые не могли быть притворными.

— Так,— сказал он,— так...

Пират заплакал. Дэнни обнял его за плечи.

— Не плачь, дружок,— сказал он зловеще.— Ты получишь свои деньги обратно.

Все молча вышли из спальни. Дэнни походил по двору, нашел тяжелую сосновую палку длиной фута в три и, примериваясь, взмахнул ею в воздухе. Пабло сбегал на кухню и принес старый консервный нож с грозным лезвием. Хесус Мария вытащил из-под дома рукоятку от лопаты. Пират недоумевающе смотрел на них. Потом все вернулись в дом и безмолвно расселись по углам.

Пират ткнул большим пальцем в сторону Монтерея и спросил:

— Он?

Дэнни медленно кивнул. Глаза у него словно подернулись пленкой, и взгляд их был тяжел и неподвижен. Он выставил вперед подбородок, и тело его слегка изгибалось, как у гремучей змеи, готовой ужалить.

Пират пошел в угол двора и выкопал свой топор.

Они долго сидели так. Не было сказано ни одного слова, но по комнате прокатывались волны холодной ярости. Дом был словно скала в те минуты, когда огонек бикфордова шнура уже подползает к динамиту.

Незаметно подкрадывался вечер. Солнце зашло за холм. Вся Тортилья-Флэт, казалось, чего-то ждала, затаив дыхание.

На улице послышались его шаги, и все крепче сжали свои палки. Большой Джо неуверенно поднялся на крыльцо и вошел. В руке у него была бутыль вина. Его взгляд тревожно скользнул по их лицам, но друзья сидели неподвижно и как будто не смотрели на него.

— Здорово,— сказал Большой Джо.

— Здорово,— сказал Дэнни и, встав, лениво потянулся.

Он не смотрел на Большого Джо и шел не прямо к нему, а немного в сторону, как будто собираясь его обойти. Поравнявшись с ним, он нанес удар с молниеносной быстротой жалящей змеи. Палка опустилась точно на затылок Большого Джо, и Большой Джо без сознания свалился на пол. Дэнни вынул из кармана сыромятный ремешок и аккуратно связал им большие пальцы Джо.

— А теперь воды,— сказал он.

Пабло вылил на лицо Большого Джо ведерко воды. Большой Джо повернул голову и вытянул шею, словно цыпленок, а потом открыл глаза и ошеломленно посмотрел на своих друзей. Они не сказали ему ни слова. Дэнни тщательно примерился, словно игрок в гольф, прицеливающийся по мячу. Его палка опустилась на плечо Большого Джо, и началась хладнокровная и методичная обработка. Хесус Мария занялся ногами, Дэнни — плечами и грудью. Большой Джо вопил и корчился. Палки молотили по всему его телу, и каждый удар находил новое место. От криков Джо можно было оглохнуть. Пират растерянно стоял в стороне, держа топор.

Наконец, когда грудь и живот Джо превратились в один сплошной синяк, они остановились. Пабло опустился на колени около Большого Джо, сжимая свой консервный нож. Пилон снял с Португальца башмаки и взялся за палку.

Большой Джо взвизгнул от страха.

— Они зарыты у калитки,— крикнул он.— Ради бога, не убивайте меня.

Дэнни и Пилон вышли за дверь и через несколько минут вернулись с парусиновым мешком.

— Сколько ты взял? — спросил Дэнни без всякого выражения.

— Только четыре, ей-богу, только четыре. Я буду работать и верну их.

Дэнни нагнулся, взял его за плечи и перевернул на живот. Теперь друзья с той же жестокой точностью начали обрабатывать его спину. Крики слабели, но палки были брошены, только когда Большой Джо снова потерял сознание. Пилон стащил с него синюю рубаху, обнажив распухшую спину, и несколько раз легонько провел по ней консервным ножом, так что из каждой царапины выступила кровь. Пабло принес соли, и они вместе втерли ее в царапины. И только после этого Дэнни накрыл бесчувственное тело одеялом.

— Я думаю, теперь он будет честным,— сказал Дэнни.

— Надо пересчитать деньги,— заметил Пилон.— Мы их уже давно не считали.

Они открыли бутыль, которую принес Большой Джо, и разлили вино по банкам, потому что они устали от своей работы и их душевные силы иссякли. Потом они сложили монеты в столбики по десяти штук каждый и пересчитали их. И тут же в волнении пересчитали их еще раз.

— Пират! — воскликнул Дэнни.— Тут их на семь штук больше тысячи! Ты отработал обещанный срок. Настал день, когда ты купишь подсвечник для святого Франциска!

Пират не выдержал стольких переживаний. Он ушел в угол к своим собакам, спрятал лицо в шерсти Пушка и истерически зарыдал. Собаки тревожно вертелись около, лизали его уши и тыкались мордами в его голову, но Пушок, хорошо понимая, какая ему выпала честь, лежал смирно и только трогал носом густые волосы на затылке Пирата.

Дэнни сложил деньги обратно в мешочек и снова спрятал его под подушку.

Большой Джо пришел в себя и застонал, потому что соль немилосердно жгла его спину. Никто не обращал на него внимания, но вскоре Хесус Мария, вечная жертва человеколюбия, развязал его руки и дал ему банку с вином.

— Даже враги Спасителя нашего не отказали ему в малом утешении,— сказал он, оправдываясь.

Его поступок положил конец наказанию. Друзья принялись хлопотать вокруг Большого Джо. Они заботливо уложили его на кровать Дэнни и промыли ему спину. Они клали на его лоб мокрые холодные тряпки и подливали ему вина. При каждом прикосновении Большой Джо испускал стон. Его нравственные принципы вряд ли изменились, но можно было с уверенностью предсказать, что больше он уже никогда ничего не будет красть у тех, кто живет в доме Дэнни.

Пират тем временем успокоился. Он пил свое вино и, сияя от удовольствия, слушал, как Дэнни объясняет, что он должен делать дальше.

— Если мы отнесем в банк столько одинаковых монет, там подумают, что мы украли их из игрального автомата. Надо отнести их к отцу Рамону и все ему рассказать. Тогда он купит золотой подсвечник и благословит его, и Пират пойдет в церковь. Может, отец Рамон упомянет его в своей воскресной проповеди. Значит, надо, чтобы Пират был там.

Пилон неодобрительно осмотрел грязные лохмотья Пирата.

— Завтра,— сказал он строго,— ты возьмешь семь лишних монет и купишь себе на них приличную одежду. В обычное время можно ходить и так, но нехорошо, если в такой праздник ты явишься в церковь, одетый словно последний нищий. Это не сделает чести твоим друзьям.

Пират ответил ему сияющей улыбкой.

— Завтра я все сделаю,— обещал он.

На следующее утро, выполняя свое обещание, он отправился в Монтерей. Он делал покупки с большим тщанием и торговался так умело, что трудно было поверить, будто в течение двух лет он ничего не покупал. Он с торжеством вернулся в дом Дэнни, неся огромный шейный платок в малиновую и зеленую клетку и широкий пояс, щедро усаженный драгоценными камнями, сделанными из стекла. Друзья одобрили его покупки.

— Но в чем ты туда пойдешь? — растерянно спросил Дэнни.— Через дырки, которые ты прорезал в башмаках, чтобы они не давили на твои мозоли, видно пальцы. У тебя ничего нет, кроме рваного комбинезона. Даже шляпы нет.

— Придется нам одолжить ему одежду,— сказал Хесус Мария.— У меня есть пиджак и жилет. У Пилона — прекрасная шляпа его отца. У тебя, Дэнни, есть рубашка, а у Большого Джо — его замечательные синие штаны.

— Но ведь тогда мы не сможем пойти в церковь,— запротестовал Пилон.

— Это не наш подсвечник,— сказал Хесус Мария.— Отец Рамон навряд ли скажет что-нибудь хорошее о нас.

В тот же день они отнесли сокровище к священнику. Он выслушал рассказ о больной собаке, и взгляд его смягчился.

— ...и вот, святой отец,— говорил Пират,— лежит эта хорошая собачка, а нос у нее совсем сухой, и глаза точно бутылочное стекло, которое выбрасывает море, лежит и стонет, потому что ей больно внутри. И вот, святой отец, я обещал святому Франциску проработать тысячу дней и купить ему золотой подсвечник. Он ведь мой святой. И тут произошло чудо, святой отец! Потому что собач-

ка три раза вильнула хвостом и сразу начала поправляться. Это ведь святой Франциск сотворил чудо, святой отец, ведь правда?

Священник серьезно кивнул.

— Да,— сказал он.— Это чудо сотворил наш добрый святой, Франциск Ассизский. Я куплю за тебя этот подсвечник.

Пират очень обрадовался, потому что не всякому по его молитве ниспосылается истинное чудо. Если бы об этом узнала Тортилья-Флэт, Пирата стали бы уважать там куда больше. Его друзья уже посматривали на него с некоторым почтением. Они по-прежнему невысоко ставили его интеллектуальные способности, но теперь они знали, что за его скудоумием стоят вся мощь небес и все силы святых.

Они шли к дому Дэнни, а следом за ними шли собаки. Пират чувствовал, что он омыт золотой влагой благодати. По телу его пробегала сладостная дрожь. Друзья его тоже радовались при мысли, что сберегли в целости эти деньги, потому что тем самым и они обрели чуточку святости. Пилон испытывал большое облегчение, что не украл тогда клад Пирата. Кто знает, какие страшные беды постигли бы его, если бы он присвоил четвертаки, принадлежавшие святому! Все друзья притихли, словно находились в церкви.

Пять долларов, вырученные за вещи с катера, давно уже жгли карман Дэнни, но теперь он знал, что с ними делать. Они с Пилоном отправились на рынок и купили там семь фунтов жареного мяса, мешочек лука, хлеб и большой кулек сладостей. Пабло и Хесус Мария сходили к Торрелли за двумя галлонами вина и не выпили ни капли на обратном пути домой.

В этот вечер, когда затопили печку, на стол были поставлены две свечи, и друзья принялись пировать. Это был банкет в честь Пирата. Сам Пират держался с большим достоинством. Правда, он все время улыбался, даже когда ему следовало бы сохранять серьезный вид. Но с этим он ничего не мог поделать.

После того как они съели все, что могли съесть, они откинулись на спинки стульев, медленно прихлебывая вино из банок. «Дружочек»,— называли они Пирата.

Хесус Мария спросил:

— А что ты чувствовал, когда это случилось? Когда ты обещал подсвечник и собака начала поправляться, что ты чувствовал? Тебе было ниспослано какое-нибудь видение?

Пират напряг память.

— Да нет, как будто не было... А может, у меня и было маленькое видение... может, я и видел святого Франциска в воздухе, и он сиял, как солнце...

— Ну, этого ты бы не забыл! — заявил Пилон.

— Да... Я, кажется, помню... Святой Франциск посмотрел на меня... и он улыбнулся, потому что он добрый святой. Тогда я понял, что свершилось чудо. Он сказал: «Не обижай собачек, чумазый!»

— Он тебя так назвал?

— Ну, ведь я и был чумазый, а он не из тех святых, которые врут.

— По-моему, ты вовсе ничего этого и не помнишь,— сказал Пабло.

— Может, и не помню... Только мне кажется, что помню...— Пират был пьян от счастья, от гордости и от всеобщего внимания.

— Моя бабушка видела пресвятую деву,— сказал Хесус Мария.— Она была при смерти, и я сам слышал, как она крикнула: «Охей! Я вижу матерь божью! Охей! Благодатная моя Мария!»

— Некоторым дано видеть такие вещи,— заметил Дэнни.— Мой отец был не очень хорошим человеком, но он иногда видел святых, а иногда всякую пакость. Все зависело от того, был ли он в ту минуту хорошим или плохим. А у тебя бывали другие видения, Пират?

— Нет,— сказал Пират.— Я их боюсь.

Друзья долгое время вели себя очень чинно. Они знали, что в этот вечер они не одни. Они чувствовали, что сквозь стены, и окна, и крышу на них устремлены очи святых.

— В воскресенье твой подсвечник будет уже там,— сказал Пилон.— Мы не сможем пойти, потому что наша одежда будет на тебе. Я не говорю, что отец Рамон назовет тебя по имени, но, может, он скажет что-нибудь про подсвечник. Постарайся запомнить, Пират, что он скажет, а потом расскажешь нам.

Затем Пилон добавил строгим голосом:

— Сегодня, дружочек, по всему дому отца Рамона бродили собаки. Сегодня было можно, но в воскресенье не вздумай вести их в церковь. Собакам в церковь ходить не полагается. Оставь собак дома.

Лицо Пирата вытянулось.

— Они хотят пойти туда,— воскликнул он.— Как же я их оставлю? И где я их оставлю?

Пабло был шокирован.

— До сих пор ты вел себя в этом деле достойно, дружок Пират. Так неужто в самом конце ты решил совершить кощунство?

— Нет,— скромно сказал Пират.

— Ну так оставь собак здесь, и мы о них позаботимся. А привести их в церковь было бы кощунством.

До чего же трезво пили они в этот вечер! Прошло три часа, прежде чем они хотя бы спели непристойную песню. А когда их

мысли обратились к женщинам легкого поведения, стояла уже глубокая ночь. Когда же на ум им пришла драка, они уже совсем засыпали, и драки не получилось. Этот вечер отмечен в книге их жизни большим белым крестом.

Утро воскресенья было заполнено бурными приготовлениями. Они умыли Пирата, придирчиво заглядывая ему в ноздри и за уши. Большой Джо, закутавшись в одеяло, смотрел, как Пират облачается в его синие саржевые брюки. Пилон достал шляпу своего отца. Они убедили Пирата не надевать усаженного самоцветами пояса поверх пиджака и показали ему, что если пиджак не застегивать, то будет видно, как сверкают драгоценные камни. Больше всего хлопот доставили башмаки. Только башмаки Большого Джо пришлись бы Пирату впору, но они были хуже даже его собственных башмаков, в которых он прорезал дырки, чтобы они не давили на мозоли. А сквозь эти дырки были видны пальцы. В конце концов Пилон вышел из положения с помощью горсточки сажи. После того как ее хорошенько втерли в кожу, дырок почти совсем не стало видно.

Наконец Пират был готов: лихо сдвинутая на затылок шляпа, принадлежавшая отцу Пилона, рубаха Дэнни, штаны Большого Джо, огромный платок вокруг шеи и время от времени — вспышки драгоценных камней на поясе. Он прохаживался взад и вперед перед своими друзьями, а они придирчиво его осматривали.

— Не волочи ног, Пират.

— Выше поднимай пятки.

— Перестань теребить платок.

— Те, кто тебя увидит, подумают, что ты не привык носить приличную одежду.

Наконец Пират повернулся к своим друзьям.

— Можно, собаки пойдут со мной? — жалобно сказал он.— Я им скажу, чтобы в церковь они не заходили.

Но друзья были неумолимы.

— Нет,— сказал Дэнни.— Вдруг они все-таки туда заберутся? Мы посторожим их тут.

— Им это не понравится,— тоскливо сказал Пират.— Им будет грустно.— Он повернулся к собакам, сидевшим в своем углу.— Вы останетесь здесь,— сказал он.— Вам вредно ходить в церковь. Побудьте с моими друзьями, пока я не вернусь.

Тут он поспешно вышел и закрыл за собой дверь. Немедленно в доме раздался оглушительный лай и вой. Только глубокая вера в непогрешимость его друзей помешала Пирату вернуться.

Шагая по улице, он чувствовал, что без своих собак стал нагим и беззащитным. Словно его лишили зрения или слуха. Ему было страшно идти по улице одному. Кто угодно мог напасть на

него. И все-таки он храбро прошел по городу до церкви Сан-Карлос.

Служба еще не начиналась, и двери были открыты настежь. Пират омочил пальцы в мраморной чаше со святой водой, перекрестился, преклонил колени перед святой девой, вошел в церковь, поклонился алтарю и сел. Внутри было довольно темно, но на высоком алтаре пылали свечи. И в приделах перед статуями святых тоже мерцали огоньки свечек, поставленных прихожанами. Сладко пахло старым ладаном.

Сперва Пират смотрел на алтарь, но он был слишком величествен, слишком свят, чтобы о нем можно было долго думать, слишком недоступен для бедняка. Его глаза искали чего-нибудь потеплее, чего-нибудь не столь пугающего. И вдруг он увидел перед статуей святого Франциска красивый, совсем золотой подсвечник, а в нем — высокую зажженную свечу. Пират взволнованно вздохнул. И хотя церковь наполнилась людьми, хотя двери закрылись, служба началась и Пират делал все, что положено, он ни на минуту не мог отвести взгляда от своего святого и от подсвечника. Подсвечник был такой красивый. Невозможно было поверить, что это он, Пират, подарил его. Он всматривался в лицо святого, стараясь угадать, понравился ли святому Франциску этот подсвечник. И он был уверен, что статуя иногда чуть-чуть улыбается, как улыбаются те, кто думает о чем-нибудь приятном.

Наконец началась проповедь.

— Наша церковь приобрела новое прекрасное украшение,— сказал отец Рамон.— Один из детей ее пожертвовал золотой подсвечник во славу святого Франциска.

Тут он рассказал о больной собаке, и нарочно рассказывал очень сухо. Он оглядывал своих прихожан, пока не заметил, что они начали улыбаться.

— В этом нет ничего смешного,— сказал он тогда.— Святой Франциск так любил животных, что даже проповедовал им.

Тут отец Рамон рассказал о злом волке из Губбио, и о диких голубках, и о сестрах-жаворонках. Пират смотрел на него и удивлялся тому, что слышал.

Внезапно у входа послышалась какая-то возня. Раздался яростный лай и царапанье. Дверь распахнулась, и в церковь ворвались Пушок и Рудольф, Энрике, Пахарито и Сеньор Алек Томпсон. Они повели носами и, пихая и толкая друг друга, кинулись к Пирату. Они прыгнули на него, тявкая и радостно повизгивая. Они накатились на него как волна.

Священник умолк и строго повернулся в их сторону. Пират беспомощно бросил на него взгляд, полный смертельной муки. Значит, все оказалось напрасно и кощунство свершилось.

Тут отец Рамон засмеялся, а за ним засмеялась и его паства.

— Уведи собак,— сказал священник.— Пусть подождут снаружи, пока мы кончим.

Пират смущенно и виновато выпроводил собак из церкви.

— Это нехорошо,— сказал он им.— Я сержусь на вас. Мне стыдно за вас.

Собаки прижимались к земле и жалобно повизгивали.

— Я знаю, что вы сделали,— сказал Пират.— Вы покусали моих друзей, вы разбили окно и вот прибежали сюда. Теперь сидите тут и ждите, грешные собаки, собаки-богохульники.

Он оставил их, полных горя и раскаяния, и вернулся в церковь. Прихожане, все еще смеясь, поворачивали головы и смотрели на него, и, добравшись до своего места, он сжался, стараясь стать совсем незаметным.

— Не огорчайся,— сказал отец Рамон.— Не грешно снискать любовь своих собак и не грешно любить их. Послушай, как любил святой Франциск зверей и птиц.— И он рассказал про доброго святого еще несколько историй.

Пират перестал смущаться. Губы его зашевелились.

«Ах,— подумал он,— если бы собаки могли слышать отца Рамона. Им было бы приятно узнать все это!»

Когда проповедь кончилась, в его ушах по-прежнему звучали рассказы священника. Он машинально крестился и преклонял колени, но не слышал службы. Как только она кончилась, он кинулся к двери и первым вышел из церкви. Собаки подошли к нему, все еще грустные и пристыженные.

— Пошли! — крикнул он.— Я хочу вам кое-что рассказать!

Он побежал вверх по склону к сосновому лесу, а собаки бежали рядом, прыгая и резвясь. Когда Пират наконец добрался до опушки, он не замедлил шага и остановился только на узкой прогалине между соснами, где ветви смыкались над головой, а стволы вздымались рядами, словно колонны. Несколько секунд он растерянно смотрел по сторонам.

— Я хочу, чтобы все было совсем так же,— сказал он.— Вот если бы вы были там и слышали, как говорил отец Рамон! — Он положил один камень на другой.— Вот это статуя,— объяснил он собакам и воткнул в землю прутик.— А прямо вот тут — подсвечник со свечой.

На прогалине царил мягкий полумрак и воздух был напоен сладким запахом смолы. Деревья чуть слышно шептались под легким ветерком. Пират приказал:

— Энрике, садись вот сюда. А ты, Рудольф, сюда. Пушок сядет вот тут, потому что он самый маленький. Пахарито, дурачи-

на, садись вот сюда и веди себя смирно. Сеньор Алек Томпсон, не смей ложиться!

Он усадил собак в два ряда — двух впереди, а трех сзади.

— Сейчас я вам все расскажу. Вас простили, хоть вы и вломились в церковь. Отец Рамон сказал, что на этот раз это не кощунство. А теперь слушайте внимательно. Я буду вам рассказывать.

Собаки смирно сидели на своих местах и не спускали с него глаз. Сеньор Алек Томпсон помахивал хвостом, но Пирату это не понравилось.

— Тут не место для таких вещей,— сказал он.— Святой Франциск не рассердился бы, но я не хочу, чтобы ты вилял хвостом, пока слушаешь. А сейчас я расскажу вам про святого Франциска.

В этот день память его была необыкновенной. Солнце пробиралось в просветы между ветками и ярким узором расписывало ковер из сосновых игл. Собаки терпеливо сидели, глядя на губы Пирата. Он передавал им все, что говорил священник,— все его рассказы, все поучения, не пропуская ни единого слова.

Кончив, он торжественно поглядел на собак.

— Святой Франциск сделал все это,— сказал он.

Сосны перестали шептаться. В лесу стояла зачарованная тишина.

Вдруг позади Пирата раздался чуть слышный звук. Собаки посмотрели вверх. Пират боялся повернуть голову. Прошла долгая секунда.

И вдруг она кончилась. Собаки опустили глаза. Вершины деревьев снова пробудились к жизни, и солнечные узоры опять заплясали в прихотливом танце.

Пират был так счастлив, что у него защемило сердце.

— Вы его видели? — воскликнул он.— Это был святой Франциск? Ах, какие же вы хорошие собаки, если вам было дано узреть видение!

Его тон заставил собак вскочить. Их пасти раскрылись, а хвосты радостно завиляли.

ГЛАВА XIII

О том, как друзья Дэнни поспешили на помощь даме в несчастье

Сеньора Тересина Кортес, ее восемь детей и ее дряхлая мать жили в уютном домике на краю глубокого оврага, который образует южную границу Тортилья-Флэт. Тересина была красивой матроной лет под тридцать. Ее матери, этой дряхлой, высохшей, без-

зубой старухе, обломку ушедшего поколения, было почти пятьдесят лет. Никто уже не помнил, что ее зовут Анхелика.

Все будние дни вьеха работала не покладая рук, ибо ей приходилось кормить, наказывать, уговаривать, одевать и укладывать спать семерых из восьми детей. Тересине хватало хлопот с восьмым и с приготовлениями к появлению девятого.

Но в воскресенье вьеха облачалась в черное атласное платье, еще более древнее, чем она сама, надевала мрачный и очень прочный головной убор из черной соломы, украшенный двумя почти настоящими вишенками из цветной замазки, и, сбросив с плеч бремя долга, решительным шагом направлялась в церковь, где сидела так же неподвижно, как святые в их нишах. Раз в месяц она ходила исповедоваться. Было бы любопытно узнать, в каких грехах она исповедовалась и когда находила время их совершать — ведь дом Тересины был переполнен ползунками, косолапиками, карапузами, плаксами, котоубийцами и мастерами падать с деревьев, и каждый из ее подопечных каждые два часа вопил, требуя еды.

Так стоит ли удивляться, что вьеха обладала безмятежной душой и стальными нервами? Будь они какими-нибудь другими, они давно уже с визгом вырвались бы из ее тела, как фейерверочные шутихи.

Рассудок Тересины был всегда словно подернут легким туманом. Тело же ее было идеальной ретортой для дистилляции детей. Первый младенец появился у нее в пятнадцать лет, и это ошеломило ее — настолько ошеломило, что она разрешилась им ночью в парке возле бейсбольной площадки и, завернув его в газету, оставила там до прихода ночного сторожа. Это была тайна. Даже сейчас ее раскрытие грозило Тересине некоторыми неприятностями.

Когда ей исполнилось шестнадцать лет, на ней женился мистер Альфред Кортес; он подарил ей свое имя и два краеугольных камня ее будущей семьи — Альфредо и Эрни. Мистер Кортес подарил ей это имя весьма охотно. Ведь он сам пользовался им лишь временно. Перед тем, как он приехал в Монтерей, и после того, как он оттуда уехал, его звали Гугльемо. Он уехал после того, как родился Эрни. Быть может, он предвидел, что брак с Тересиной не сулит ему спокойной жизни.

Регулярность, с какой она становилась матерью, всегда удивляла Тересину. Порой она не могла вспомнить, кто же отец будущего ребенка, а иногда почти склонялась к мысли, что отец вовсе и не обязателен. Даже когда она была помещена в карантин, как дифтерийный бациллоноситель, это ей не помогло. Однако, окончательно запутавшись в подобных сложностях, она имела

обыкновение предоставлять решение вопроса богородице, зная, что у той гораздо больше опыта, желания и времени для того, чтобы заниматься подобными вещами.

Тересина часто исповедовалась. Отец Рамон приходил из-за нее в отчаяние. Ведь он прекрасно видел, что в то время как руки, колени и губы Тересины каялись в прошлом грехе, ее томные потупленные глаза, сверкнув из-под опущенных ресниц, обещали свершение нового.

Пока я рассказывал все это, родился девятый ребенок Тересины, и она временно была свободна. Вьеха получила еще одного подопечного, Альфредо перешел в третий класс, Эрни — во второй, а Панчито поступил в первый.

В те дни в Калифорнии среди медицинских сестер стало модным посещать школы и расспрашивать детей о разных интимных подробностях их домашней жизни. Третьеклассник Альфредо был вызван к директору, потому что он показался медицинской сестре чересчур худым.

Сестра, прошедшая специальный курс детской психологии, ласково спросила:

— Фредди, ты кушаешь столько, сколько хочешь?

— Ага,— сказал Альфредо.

— Вот как? Скажи мне, что ты кушаешь на завтрак?

— Тортильи и бобы,— сказал Альфредо.

Сестра посмотрела на директора и скорбно покачала головой.

— А что ты кушаешь, когда приходишь домой обедать?

— Я не хожу домой.

— Разве ты днем ничего не кушаешь?

— Кушаю. Я приношу с собой бобы, завернутые в тортилью.

В глазах сестры мелькнул легкий испуг, но она сдержалась.

— А вечером что ты кушаешь?

— Тортильи и бобы.

Сестра забыла все, что выучила про детскую психологию.

— И ты хочешь, чтобы я поверила, будто ты ничего не ешь, кроме лепешек и бобов?

Альфредо удивился.

— Господи Иисусе,— сказал он.— А этого что, мало?

В положенный срок муниципальный врач выслушал полный ужаса отчет сестры. И в один прекрасный день он подъехал к дому Тересины, чтобы заняться этим вопросом. Пока он шел по двору, вопли ползунков, косолапиков и карапузов сливались в одну душераздирающую симфонию. Доктор остановился на пороге кухни. Своими собственными глазами он увидел, как вьеха подошла к печке, зачерпнула уполовником в кастрюле и рассыпала по полу вареные бобы. Вопли разом стихли. Ползунки, косо-

лашики и карапузы молча и деловито передвигались от боба к бобу, останавливаясь только для того, чтобы прожевать находку. Вьеха вернулась на свое место, пользуясь несколькими минутами покоя. Дети, как жучки, заползали под кровать, под стулья, под печку. Доктор, загоревшись научным интересом, провел там два часа. Он ушел, недоуменно покачивая головой.

Он продолжал недоуменно покачивать головой, пока зачитывал свой доклад.

— Я подверг их всем известным мне проверкам,— сказал он.— Я проверил их зубы, кожу, кровь, кости, глаза и координацию. Господа, они питаются тем, что по сути своей является медленно действующим ядом, и питаются так со дня рождения. Господа, могу сказать только одно: в жизни я не видел более здоровых детей! — Тут выдержка ему изменила.— Поросята! — воскликнул он.— В жизни я не видел таких зубов! Никогда не видел!

Вы, наверное, недоумеваете, как Тересина добывала еду для своей семьи. На полях, в тех местах, где молотили бобы, остаются большие кучи бобовой мякины. Если вы расстелете на земле одеяло и в ветреный день начнете подбрасывать над ним мякину, то убедитесь, что и молотильщики не непогрешимы. Проработав так весь день, вы можете собрать двадцать фунтов бобов, а то и больше.

Осенью вьеха, захватив всех детей, которые уже умели ходить, отправлялась с ними в поля и провеивала мякину. Хозяева полей не гнали ее, потому что от нее не было никакого вреда. Только в самый неурожайный год вьеха собирала меньше четырехсот фунтов бобов.

А когда у вас в доме есть четыреста фунтов бобов, вы можете не бояться голодной смерти. Иногда случается чудо, и вы лакомитесь такими деликатесами, как сахар, помидоры, перец, кофе, рыба или мясо,— порой благодаря заступничеству пресвятой девы, порой благодаря вашей собственной ловкости или трудолюбию. Но как бы то ни было, у вас есть бобы, и вы в безопасности. Бобы — это надежный кров для вашего желудка. Бобы — это теплый плащ, предохраняющий от экономического холода.

Лишь одно могло поставить под угрозу жизнь и счастье семьи сеньоры Тересины Кортес — неурожай бобов.

Когда бобы созревают, все растения выдергиваются с корнем и складываются в кучи, чтобы стебли как следует просохли перед молотьбой. И тут надо молиться, чтобы не начались дожди. Когда на темных полях желтеют кучки бобовых стеблей, фермеры не спускают глаз с неба и хмурым взглядом провожают каждое проползающее в вышине облачко. Ведь если пойдет дождь, придется

заново переворошить все кучки и ждать, пока они опять высохнут. А если снова пойдет дождь, их снова придется переворошить. Если же дождь начинается в третий раз, бобы покрываются плесенью, начинают гнить, и урожай потерян.

Когда подходило время сушки бобов, вьеха имела обыкновение ставить свечку пресвятой деве.

В тот год, о котором я рассказываю, бобовые стебли были уже собраны в кучи и свеча была поставлена. В доме Тересины лежали наготове рогожные мешки.

Молотилки были вычищены и смазаны.

Пошел дождь.

Дополнительно нанятые батраки бросились в поля ворошить слипшиеся груды бобовых стеблей. Вьеха поставила вторую свечку.

Снова пошел дождь.

На маленькую золотую монетку, которую она сберегала многие годы, вьеха купила еще две свечи. Батраки снова переворошили кучи, подставляя бобы солнечным лучам. И тут начался упорный холодный косой дождь. Ни одного фунта бобов не было собрано во всем графстве Монтерей. Плуги запахивали в землю гниющие стебли.

И тогда в дом сеньоры Тересины Кортес вошло отчаяние. Сломалась опора жизни, рухнул спасительный кров. Исчезла вечная истина — бобы. По ночам дети плакали от ужаса перед надвигающимся голодом. Им никто ничего не говорил, но они знали и так. Вьеха сидела в церкви, как обычно, но когда она смотрела на пресвятую деву, ее губы складывались в злобную усмешку. «Свечи-то мои ты забрала,— думала она.— Их-то ты взяла! Одолела тебя жадность к свечам, пустоголовая!» И она в гневе отдалась под покровительство святой Клары. Она рассказала святой Кларе о том, как несправедливо с ней поступили. Она даже позволила себе непочтительно отозваться о непорочном зачатии: «Знаешь, и Тересина иногда вот так же не помнит»,— ядовито сообщила она святой Кларе.

Уже не раз говорилось, что Хесус Мария Коркоран был бесконечно добр. Кроме того, он обладал тем даром, который порой бывает присущ человеколюбцам,— его инстинктивно влекло туда, где была нужна его доброта. Сколько раз встречал он молодых девушек именно тогда, когда они нуждались в утешении! Его неотразимо влекло к любому страданию, к любой печали. Он уже много месяцев не бывал в доме Тересины. И если нет какой-то таинственной симпатии между горем и человеколюбием, то поче-

му же он пришел туда именно в тот самый день, когда в кастрюлю были брошены последние бобы прошлогоднего сбора?

Он сидел на кухне Тересины, ласково стряхивая детей со своих ног. И он смотрел на Тересину внимательными, полными страдания глазами, пока она рассказывала ему о своей ужасной беде. Он как завороженный следил за ней, когда она вывернула наизнанку последний мешок, чтобы показать, что у них не осталось ни единого боба. Он сочувственно кивал, когда она показывала на детей, от которых скоро останутся только кожа да кости, которые скоро умрут от голода.

Затем вьеха с горечью поведала, как ее провела пресвятая дева. Но тут Хесус Мария отказал ей в своем сочувствии.

— Откуда ты знаешь, старая? — спросил он строго.— Может, пречистая была занята в каком-нибудь другом месте.

— А как же мои четыре свечи? — визгливо настаивала вьеха.

Хесус Мария холодно посмотрел на нее.

— Что такое четыре свечи для пресвятой девы? — сказал он.— Я раз был в церкви, где перед ней горели сотни свечей. Ее свечами не удивишь.

Но мысль о беде Тересины жгла его как огонь. В тот же вечер он произнес перед друзьями в доме Дэнни вдохновенную и трогательную речь. Из глубин своего великого сердца он исторг красноречивейший, пламенный призыв помочь этим детям, у которых не осталось бобов. И слова его были исполнены такой силы, что огонь, пылавший в его груди, зажег сердца его друзей. Они вскочили на ноги. Глаза их засверкали.

— Эти дети не будут голодать! — восклицали они.— Мы клянемся в этом!

— Мы живем в роскоши,— сказал Пилон.

— Мы уделим им от нашего достатка,— согласился Дэнни.— А если им нужен дом, пусть живут здесь.

— Завтра мы начнем! — воскликнул Пабло.— Хватит лениться! За работу! Нам нужно многое сделать.

Хесус Мария почувствовал радость пророка, обретшего последователей.

И слова их не были пустой похвальбой. Они собирали рыбу. Они обчистили огород отеля «Дель Монте». Это было чудесно. Воровство, свободное от позорного клейма, преступление, совершаемое во имя благой цели,— что может быть приятнее?

Пират повысил цену своих дров до тридцати центов и каждое утро заходил в три лишних ресторана. Большой Джо снова и снова крал козу миссис Палочико, и каждый раз она благополучно возвращалась домой.

Все больше и больше припасов накапливалось в доме Тересины. На ее крыльце лежали ящики с латуком, подпорченная макрель благоухала на весь квартал. Но пламя милосердия не угасало в груди друзей.

Если бы вы могли заглянуть в протоколы полицейского управления Монтерея, вы заметили бы, что в это время по городу прокатилась волна мелких краж. Полицейская машина металась от дома к дому. Тут украли курицу, там обобрали целую грядку тыкв. Компания Палдини сообщила об исчезновении двух стофунтовых ящиков морского уха.

В доме Тересины становилось тесно. Кухня была завалена всяческой снедью. Заднее крыльцо тонуло в овощах. По всей Тортилья-Флэт стоял запах продуктового склада. Друзья носились по городу, совершая одно тайное похищение чужого имущества за другим, и подолгу беседовали с Тересиной, обсуждая дальнейшие планы.

Сперва Тересина с ума сходила от радости при виде такого количества еды, а кроме того, ей очень льстило подобное внимание. Но через неделю в ее душу закрались некоторые сомнения. У младенца начались желудочные колики, у Эрни болел живот, лицо Альфредо пошло красными пятнами. Ползунки и карапузы хныкали не переставая. Тересине было очень неловко объяснять друзьям то, что объяснить было необходимо. Несколько дней она собиралась с духом, и за это время в дом прибыли пятьдесят фунтов сельдерея и ящик дынь. Дольше откладывать было нельзя. Соседи уже неодобрительно поднимали брови, встречаясь с ней.

Она пригласила всех друзей Дэнни к себе на кухню и сообщила им о своих тревогах с большим тактом и осторожностью, чтобы не обидеть их.

— Зелень и фрукты детям вредны,— объяснила она.— От молока у малышей начинается несварение, когда их отнимают от груди.— Она показала на заплаканных красных детей.— Видите, они все больны. Они едят то, что им вредно.

— А что им полезно? — спросил Пилон.

— Бобы,— ответила она.— На бобы можно положиться, они остаются у человека в животе.

Друзья молча ушли домой. Они притворялись сами перед собой, будто это их огорчило, но они знали, что их энтузиазм уже несколько дней как остыл.

В доме Дэнни они стали держать совет.

О дальнейшем не следует рассказывать в некоторых сферах, ибо обвинение может оказаться серьезным.

Полночь давно миновала, когда четыре темные фигуры, которые останутся безымянными, крадучись пробежали по улицам города. Четыре смутные тени пробрались на железнодорожный склад «Вестерн Уэрхаус компани». Ночной сторож говорил потом, что он слышал какие-то звуки, внимательно все осмотрел, но ничего не обнаружил. Он не мог объяснить, каким образом это случилось,— как был взломан замок и открыта дверь склада. Только четыре человека знают, что сторож в ту почь спал непробудным сном, но они его не выдадут.

Вскоре четыре тени покинули склад, но теперь они сгибались под тяжестью ноши. Было слышно, как тени пыхтят и отдуваются.

В три часа утра Тересину разбудил звук открывшейся задней двери.

— Кто там? — закричала она.

Ответа не было, но она услышала четыре глухих удара, от которых содрогнулся дом. Она зажгла свечу и поспешила босиком на кухню. Там у стены стояли четыре стофунтовых мешка с розовыми бобами.

Тересина кинулась обратно в комнату и разбудила мать.

— Чудо! — кричала она.— Иди на кухню и посмотри!

Вьеха пристыженно смотрела на четыре крутобоких мешка.

— Подлая я грешница! — запричитала она.— О пресвятая матерь, сжалься над старой дурой. Каждый месяц до дня моей смерти ты будешь получать по свече.

В доме Дэнни четверо друзей блаженно вытянулись на своих постелях. Есть ли подушка лучше чистой совести? Они проспали чуть ли не до вечера, ибо долг их был исполнен.

А Тересина по хорошо известным ей признакам поняла, что у нее опять будет ребенок. И, насыпая в кастрюлю повые бобы, она от нечего делать прикинула, кто из друзей Дэнни к этому причастен.

ГЛАВА XIV

О приятной жизни в доме Дэнни, о дареном поросенке, о страданиях Верзилы Боба и об отвергнутой любви вьехо Раванно

Пайсано Тортилья-Флэт не пользовались часами — ни стенными, ни наручными. Порой кто-либо из друзей вдруг становился обладателем часов, но лишь на тот срок, который требовался, чтобы выменять на них что-нибудь по-настоящему полезное. В доме Дэнни часы уважались, но только как средство обмена. А для собственных нужд друзья могли пользоваться огромными золотыми часами — солнцем. Эти часы были куда лучше наручных

или карманных и гораздо надежнее — ведь их никак нельзя было снести к Торрелли.

Летом, когда стрелки механических часов подходят к семи, вставать бывает очень приятно, но что толку, когда они указывают тот же час зимой? Насколько удобнее солнце! И летом и зимой самая пора вставать наступает только тогда, когда оно, выплыв из-за соснового леса, щедрыми лучами заливает крыльцо. Это тот час, когда руки твои уже не дрожат, а в животе еще не щемит от голода.

Пират и его собаки спали в большой комнате, в своем теплом и уютном углу. Пилон, и Пабло, и Хесус Мария, и Дэнни, и Большой Джо Португалец располагались в спальне. Хотя Дэнни был добр и щедр, он никому не позволял спать на своей кровати. Большой Джо раза два пытался улечься на ней, но получил удар палкой по пяткам, так что даже он научился уважать неприкосновенность этой кровати.

Друзья спали на полу, и постели их отличались большим своеобразием. Пабло кутался в три сшитые вместе овчины. Хесус Мария отходил ко сну, засунув руки в рукава одного старого пальто, а ноги — в рукава другого. Пилон заворачивался в обрывок ковра. Большой Джо чаще всего свертывался калачиком, как собака, и спал одетым. Большой Джо был не способен долго владеть каким-либо имуществом, но зато умел поистине гениально обменять любую попавшую ему в руки вещь на вино. Так они и спали, порой довольно звучно, но всегда сладко. Как-то холодной ночью Большой Джо попробовал одолжить одну из собак Пирата, чтобы согреть ноги, но был сильно искусан, ибо собаки Пирата никому не желали одалживаться.

На окнах не было занавесок, но щедрая природа украсила стекла паутиной, пылью и следами дождевых капель.

— Надо бы вымыть окошко водой с мылом,— как-то заметил Дэнни.

Острый ум Пилона немедленно взялся за разрешение этой задачи, но она оказалась слишком легкой для него. Она была недостойна талантов Пилона.

— Тогда в комнате станет светлее,— сказал он.— Если у нас тут будет светло, мы будем меньше времени проводить на свежем воздухе. А ночью, когда свежий воздух вреден, нам свет не нужен.

Дэнни покинул поле боя, ибо если одно только упоминание о его планах вызвало столь быструю и уничтожающую критику, то какими сокрушительно логическими аргументами грозит попытка настаивать на них? Окно осталось в прежнем виде, и по мере того как паутина обогащалась все большим количеством сухих оболочек тех мух, которые напитали семейство паука своей

кровью, а на слой пыли ложился новый слой, спальня погружалась в приятный полумрак, позволявший спокойно спать там даже в самый ясный и солнечный полдень.

Друзья спали сладко, но когда по утрам солнечные лучи ударяли в окошко и, не сумев проникнуть внутрь, превращали пыль в серебро, а мушиные трупы — в маленькие радуги, друзья просыпались, потягивались и начинали искать свои башмаки. Они знали, что на крыльце уже тепло, раз солнце постучалось в окошко.

Просыпались они не сразу и не вскакивали с постелей, не сотрясали свой организм каким-либо резким движением. Нет, они восставали от сна так же мягко и незаметно, как мыльный пузырь отрывается от соломинки. Еще не совсем проснувшись, они брели в овраг. Постепенно их воля выкристаллизовывалась из раствора дремоты. Они затапливали печку, кипятили чай, наливали его в банки из-под варенья, а затем усаживались на залитом солнцем крыльце. Пронизанные солнцем мухи вились над их головами, образуя сияющие нимбы. Жизнь вокруг них постепенно обретала форму, повторяя вчерашний день и предвещая завтрашний.

Беседа завязывалась медленно, ибо каждый бережно лелеял последнюю сладость еще не развеявшегося сна. А потом наступали долгие часы интеллектуального общения. Приподымались крыши, обозревалась внутренность домов, обсуждались мотивы поступков, рассказывались всяческие происшествия. Для начала их мысли обращались обычно к Корнелии Руис, ибо поистине редко выпадали дни или ночи, когда с Корнелией не приключалось чего-нибудь интересного. А ведь почти из всякого происшествия можно извлечь полезное назидание.

Сосновая хвоя поблескивала в солнечных лучах. От земли исходил приятный сухой запах. Кастильская роза овеивала мир ароматом своих цветов. Это были лучшие часы в жизни друзей Дэнни. Борьба за существование отступала куда-то далеко. Они судили своих ближних, но судили их не во имя морали, а просто из любопытства. Узнав какой-нибудь интересный случай, каждый приберегал рассказ о нем до этих часов. Большие шоколадные бабочки кружили над розовым кустом, опускались на цветы и долго сидели, медленно взмахивая крыльями, словно выкачивали нектар с их помощью.

— Я видел Альберта Расмуссена,— сказал Дэнни.— Он выходил из дома Корнелии. У этой Корнелии вечные скандалы. Каждый день какой-нибудь скандал.

— Так уж она живет,— сказал Пабло.— Я не из тех, кто бросит камень, но порой мне кажется, что Корнелия чересчур уж бойка. Она только и знает что любовь и драки.

— Ну,— сказал Пилон,— а чего тебе еще надо?

— Она не знает, что такое покой,— печально сказал Хесус Мария.

— А он ей и не нужен,— ответил Пилон.— Дай Корнелии покой, и она умрет. Любовь и драки. Это ты хорошо сказал, Пабло. Любовь, драки и немножко винца. Тогда человек всегда молод, всегда счастлив. А что вчера случилось с Корнелией?

Дэнни торжествующе посмотрел на Пилона. Пилон редко чего-нибудь не знал. Но на сей раз по его расстроенному виду Дэнни догадался, что это происшествие ему неизвестно.

— Вы все знаете Корнелию,— начал он.— Иногда ее друзья приносят ей подарки — курочку, или кролика, или кочан капусты. Какой-нибудь пустячок, но Корнелии это нравится. Так вот, вчера Эмилио Мурьетта принес Корнелии вот такого малюсенького поросенка — красивого такого розового поросенка. Эмилио нашел его в овраге. Свинья погналась за ним, когда он схватил поросенка, но он побежал очень быстро и принес поросенка Корнелии. У этого Эмилио хорошо привешен язык. Он сказал Корнелии: «Поросенок в доме — сущая благодать. Он ест что угодно. И ласковее всякой кошки. Такого поросенка нельзя не любить. Но потом из него вырастает свинья, и его характер меняется. Он становится злым и подлым, и его уже нельзя больше любить. Потом в один прекрасный день эта свинья тебя кусает, так что на нее нельзя не рассердиться. И тогда ты ее убиваешь и съедаешь».

Друзья одобрительно закивали головами, а Пилон сказал:

— Этот Эмилио не так глуп. Посмотрите, сколько приятного обнаружил он в одном поросенке: привязанность, любовь, месть и сытый желудок. Надо мне как-нибудь потолковать с этим Эмилио.

Однако друзья заметили, что Пилон завидует своему новоявленному сопернику в логических построениях.

— Рассказывай дальше про этого поросенка,— сказал Пабло.

— Ну,— продолжал Дэнни,— Корнелия взяла этого поросенка и поблагодарила Эмилио. Она сказала, что, когда придет время и она рассердится на этого поросенка, она обязательно угостит и Эмилио. Ну, тогда Эмилио ушел, а Корнелия поставила у печки маленький ящик, чтобы поросенку было где спать. Тут к ней в гости пришли знакомые дамы, и Корнелия дала им подержать поросенка на руках и погладить его. А потом Конфетка Рамирес наступила ему на хвост. Он завизжал, как паровозный свисток. А дверь на улицу была открыта. И большая свинья пришла за своим поросенком. Все столы и вся посуда разлетелись вдребезги. Все стулья были переломаны. А большая свинья укусила Конфет-

ку Рамирес и сдернула с Корнелии юбку, а потом, когда все дамы заперлись на кухне, свинья ушла, а с ней ушел и поросенок. Теперь Корнелия ужасно сердится. Она говорит, что изобьет Эмилио.

— То-то и оно,— сказал Пабло.— Вот она, жизнь: всегда все идет не так, как задумаешь. Совсем как в тот раз, когда Верзила Боб задумал покончить с собой.

Друзья обратили к Пабло исполненные ожидания лица.

— Ну, вы знаете Боба Смоука,— начал Пабло.— С виду он замечательный вакеро — ноги длинные, сам худой, только вот ездит верхом он плохо. Когда клеймят скот, он часто летает с лошади. Ну, так этот Боб всегда хочет, чтобы им восхищались. Когда устраивают парад, он хочет нести флаг. Когда устраивают боксерский матч, он хочет быть судьей. На представлении он первый кричит: «Эй, впереди, садитесь!» Да, он хочет стать великим человеком, чтобы все на него смотрели и все им восхищались. И еще — чего вы, наверное, не знаете — он хочет, чтобы все его любили. А он, бедняга, из тех, над кем всегда смеются. Некоторые его жалеют, но большинство просто смеется над ним. А такой смех для Верзилы Боба Смоука хуже ножа. Может, вы помните тот раз, когда он был знаменосцем на параде? Боб ехал на большой белой лошади и держался в седле очень прямо. И вот как раз против того места, где сидят судьи, эта дура лошадь хлопнулась от жары в обморок. Боб перекувыркнулся через ее голову, а флаг пролетел по воздуху, как копье, и воткнулся в землю не тем концом. И так с ним всегда. Чуть он состроит из себя великого человека, как что-нибудь да случится, и все над ним смеются. Помните, как он, когда стал собачником, целый день старался заарканить собаку? Весь город сбежался посмотреть. Он накидывал петлю, а собака прижималась к земле, петля соскальзывала, и собака убегала. Как все смеялись! Бобу было так стыдно, что он подумал: «Я убью себя, и тогда им станет грустно. Они пожалеют, что смеялись». А потом он подумал: «Но я же буду мертвый. Я же не узнаю о том, как они жалеют». И он придумал план. «Я подожду, пока не услышу, что кто-то хочет ко мне войти. Тогда я приставлю пистолет ко лбу. Этот друг станет меня отговаривать. Он заставит меня обещать, что я не застрелю себя. И тогда все пожалеют, что довели меня до самоубийства». Вот что он придумал. Ну, пошел он к себе домой, а все встречные спрашивали: «Поймал ты эту собаку, Боб?» Домой он пришел совсем опечаленный. Взял он пистолет, зарядил его и сел ждать, чтобы кто-нибудь к нему зашел. Он обдумал, как это будет, и стал упражняться с пистолетом. Друг скажет: «Ай, что ты делаешь? Не стреляй в себя, бедный!» А Боб на это ответит, что не хочет больше жить,

потому что все люди такие бессердечные. Он думал и думал об этом, но никто так и не пришел. Он прождал весь следующий день, и опять никто не пришел. Но на следующий вечер пришел Чарли Милер. Боб услышал его шаги на крыльце и приставил пистолет ко лбу. И взвел курок, чтобы все было как следует. «Теперь он станет меня уговаривать,— подумал Боб.— И я поддамся на его уговоры». Чарли Милер открыл дверь. Он увидел, что Боб прижимает ко лбу пистолет. Но он не стал кричать, нет. Чарли Милер подскочил к нему и ухватился за пистолет, а пистолет выстрелил и отстрелил Бобу кончик носа. И все стали смеяться еще больше. Об этом даже в газете писали. Весь город смеялся. Вы все видели нос Боба с отстреленным кончиком. Все смеялись, но это был нехороший смех, и всем стало не по себе. И с тех пор на каждом параде Верзиле Бобу поручают нести флаг. И муниципалитет купил ему сеть, чтобы ловить собак. Но из-за такого носа он все-таки не может быть счастлив.

Пабло умолк и, подняв с крыльца прут, стал похлопывать себя по ногам.

— Я помню, каким был его нос раньше,— сказал Дэнни.— Он неплохой человек, этот Боб. Вот спросите у Пирата, когда он придет. Пират иногда сажает всех своих собак в фургон Боба, и все думают, что Боб их изловил, и все говорят: «Вот собачник так собачник!» Не так-то легко ловить собак, когда ты должен ловить собак.

Хесус Мария о чем-то размышлял, прислонившись затылком к стене. Теперь он сказал:

— Уж лучше быть избитым, чем слушать, как над тобой смеются. Над стариком Томасом, тряпичником, смеялись, пока не свели его в могилу. А потом все жалели, что смеялись над ним. И,— продолжал Хесус Мария,— смех смеху рознь. Этот рассказ о Верзиле Бобе очень смешной, но чуть откроешь рот, чтобы засмеяться, как сердце тебе словно рукой сжимает. Я знаю, почему старый мистер Раванно повесился в прошлом году. Это тоже смешная история, но смеяться над ней почему-то неприятно.

— Я кое-что об этом слышал,— сказал Пилон.— Но всего я не знаю.

— Ладно,— сказал Хесус Мария,— я расскажу вам об этом, и вы увидите, захочется вам смеяться или нет. Когда я был маленьким, я играл с Питом Раванно. Этот Пит был хороший, умный мальчишка, но очень уж озорной. У него было два брата и четыре сестры, и еще отец — старик Пит. Теперь их уже никого тут не осталось. Один брат в Сан-Квентине, другого убил японец-огородник, когда он накладывал в фургон краденые дыни. А девочки... ну, вы знаете, как это бывает с девочками,— они уехали;

Сузи сейчас в Салинасе, в доме Старухи Дженни. Остались тут только Пит и старик. Пит вырос и все продолжал озорничать. Он некоторое время пробыл в исправительном заведении, но потом вернулся. Каждую субботу он напивался, и каждый раз попадал в тюрьму до понедельника. Его отец был человек компанейский. Он каждую неделю напивался вместе с Питом. И в тюрьму они попадали почти всегда вместе. Старик Раванно тосковал, если с ним там не было Пита. Очень он Пита любил. Что бы Пит ни затевал — и старик с ним, даже когда ему стукнуло шестьдесят.

— Может, вы помните Грейси Монтес? — спросил Хесус Мария.— Она была не очень порядочной девушкой. Когда ей минуло двенадцать, в Монтерей пришла на стоянку военная эскадра, и Грейси родила своего первого, хоть сама была совсем еще девчонка. Очень уж она была хорошенькая и резвая и бойкая на язык. Она всегда словно убегала от мужчин, и поэтому мужчины особенно гонялись за ней. И иногда ловили. Но все равно толку было мало. Всегда казалось, что Грейси таит от тебя самое лучшее в себе — то, что пряталось у нее в глазах и говорило: «Если бы я только захотела, ты был бы счастлив со мной, как ни с одной другой женщиной мира».

— Я знаю это,— продолжал Хесус Мария,— потому что я тоже бегал за Грейси. И Пит бегал за ней. Только у Пита это было не так, как у меня.— Хесус Мария по очереди посмотрел на каждого из своих друзей, чтобы придать этим словам особый вес.

— Пит до того тосковал по Грейси, что совсем исхудал, и глаза у него стали большие и грустные, как у тех, кто курит марихуану. Пит не мог есть и совсем заболел. Старик Раванно пошел поговорить с Грейси. Он сказал: «Если ты не пожалеешь Пита, он умрет». Но она только засмеялась. Сердце у нее было не доброе. И тут в комнату вошла ее сестра Тониа. Тонии шел пятнадцатый год. Старик посмотрел на нее, и у него дыхание перехватило. Тониа была очень похожа на Грейси, да только, странное дело, сторонилась мужчин. Старик Раванно ничего не мог с собой поделать. Он сказал: «Подойди ко мне, деточка». Но Тониа не была деточкой. Она все понимала. Поэтому она засмеялась и убежала из комнаты. Тогда старик Раванно пошел домой. Пит сказал: «Что-то с тобой случилось, отец».— «Нет, Пит,— ответил старик.— Только я тревожусь, что ты все болеешь из-за этой Грейси». Горячая была кровь у всех этих Раванно!

— А потом, что бы вы думали? — продолжал Хесус Мария.— Пит пошел потрошить каракатиц для Чин Ки и начал дарить Грейси подарки: бутылки цветочной воды, и ленты, и подвязки. Он заплатил за то, чтобы с нее сняли карточку, да еще раскрашенную. Грейси брала все подарки и убегала от него и смеялась.

Слышали бы вы, как она смеялась! Хотелось сразу и задушить ее и приласкать. Хотелось зарезать ее, чтобы посмотреть, что же такое она в себе прячет. Я это знаю. Я ведь сам бегал за ней, да и Пит мне рассказывал. От ее смеха Пит совсем сошел с ума. Он лишился сна. Он сказал мне: «Если Грейси выйдет за меня замуж в церкви, тогда она больше не посмеет от меня убегать, потому что она станет замужней женщиной и это будет грех». Он сказал ей, чтобы она с ним обвенчалась. А она засмеялась этим своим звонким смехом, от которого хотелось ее задушить. Пит совсем сошел с ума. Он отправился домой, привязал к балке веревку, влез на ящик и накинул себе на шею петлю, а потом оттолкнул ящик. Ну, тут как раз вернулся домой отец Пита. Он перерезал веревку и побежал за доктором. Но Пит открыл глаза только через два часа, а заговорить он смог только через четыре дня.

Хесус Мария умолк. Он с гордостью увидел, что друзья совсем захвачены его рассказом.

— Вот как это было,— сказал он.

— Но ведь Грейси Монтес вышла замуж за этого Пита Раванно! — взволнованно воскликнул Пилон.— Я знаю ее. Это очень порядочная женщина. Она не пропускает ни одной мессы и раз в месяц ходит исповедоваться.

— Теперь это так и есть,— согласился Хесус Мария.— Старик Раванно тогда очень рассердился. Он прибежал к Грейси и крикнул: «Смотри, как твоя глупость убивает моего сына! Он хотел повеситься из-за тебя, курица с навозной кучи, убийца!» Грейси испугалась, но все-таки ей было приятно, потому что не всякая женщина может заставить мужчину зайти так далеко. Она пришла навестить Пита, пока он лежал в постели с вывихнутой шеей. А вскоре они поженились. И все вышло так, как думал Пит. Раз церковь приказала ей стать хорошей женой, она стала хорошей женой. Она больше не пересмеивалась с мужчинами. И не подманивала их, не убегала, чтобы они гнались за ней. Пит продолжал потрошить каракатиц, и Чин Ки скоро поставил его готовить ящики. А потом он стал управляющим у него на фабрике. Так что,— заключил Хесус Мария,— это хорошая история. Такая, что ее мог бы рассказывать священник в церкви, если бы только она на этом кончилась.

— Да,— сказал задумчиво Пилон,— эта история учит многому.

Друзья одобрительно закивали, потому что они любили, чтобы в историях была мораль.

— Я знавал в Техасе такую девушку,— сказал Дэнни.— Только она не переменилась. Ее прозвали женой второго взвода. «Миссис Второй Взвод» — так ее прозвали.

Пабло жестом остановил его.

— Эта история еще не кончена,— сказал он.— Дайте Хесусу Марии досказать ее.

— Да, она еще не кончена. И конец у нее не такой хороший. Старику Раванно было уже за шестьдесят. А Пит и Грейси поселились отдельно. Вьехо Раванно почувствовал себя совсем одиноким, потому что до сих пор он всегда бывал с Питом. Он не знал, чем ему заняться. Он просто сидел и грустил, пока однажды снова не увидел Тониу. Тонии шел уже шестнадцатый год, и она была даже красивей Грейси. Половина солдат из форта ходили за ней по пятам, как щенята. И со стариком случилось то же, что с Питом. Он совсем иссох от любви. Он не мог ни есть, ни спать, щеки у него совсем ввалились, а глаза выпучились, как у курильщика марихуаны. Он принес Тонии конфеты, а она вырвала конфеты из его рук и стала над ним смеяться. Он сказал: «Ты не пойдешь погулять со мной, душечка? Я ведь твой друг!» А она опять засмеялась. Тогда вьехо рассказал обо всем Питу. А Пит тоже засмеялся. «Старый дурень,— сказал Пит.— Ты уже свое отгулял. Нечего тебе бегать за младенцами». Но это не помогло. Старик Раванно совсем извелся. У них горячая кровь, у этих Раванно. Он прятался в траве и смотрел, как она проходит мимо. Сердце его совсем изныло. Ему нужны были деньги, чтобы покупать подарки, и он устроился работать на заправочную станцию. Он разравнивал песок на дорожках и поливал цветы около станции. Он заливал воду в радиаторы и протирал ветровые стекла. И все деньги до последнего цента он тратил на подарки Тонии — на конфеты, ленты и платья. Он заплатил, чтобы с нее сняли цветную карточку. А она только все больше смеялась, и вьехо чуть не помешался. И вот он подумал: «Если венчание в церкви сделало из Грейси хорошую жену, то оно и из Тонии сделает хорошую жену». Он попросил ее выйти за него замуж. Тогда она и вовсе принялась хохотать. И стала вертеться перед ним и дразнить его. Она была настоящим дьяволом, эта Тониа.

— Он вел себя как дурак,— неодобрительно сказал Пилон.— Старикам не следует бегать за молоденькими. Их дело сидеть и греться на солнышке.

Хесус Мария ответил с досадой:

— Эти Раванно не такие, у них очень горячая кровь.

— Ну, он вел себя недостойно,— настаивал Пилон.— Только позорил Пита.

Ему ответил Пабло:

— Не мешай Хесусу Марии рассказывать. Это его история, Пилон, а не твоя. Когда рассказывать будешь ты, тогда мы будем слушать тебя.

Хесус Мария с благодарностью посмотрел на Пабло.

— Ну, как я говорил, вьехо не мог больше этого выносить. Но ему ничего не удавалось придумать. Он не был похож на Пилона. Он не сумел изобрести ничего нового. Вьехо Раванно думал примерно так: «Грейси вышла замуж за Пита потому, что он повесился. Я тоже повешусь, и, может, тогда Тониа выйдет за меня». А потом он подумал: «Если меня сразу не снимут, я умру. Надо, чтобы меня сразу сняли».

— Вам следует знать,— продолжал Хесус Мария,— что на этой заправочной станции есть сарай с инструментами. Рано утром вьехо приходил туда, отпирал сарай, разравнивал песок и поливал цветы, прежде чем станция открывалась. Остальные приходили на работу к восьми часам. И вот как-то утром вьехо вошел в сарай и приладил там веревку. Потом он стал ждать восьми часов. И когда он увидел, что остальные подходят к станции, он надел петлю на шею и спрыгнул с верстака. И как раз в эту минуту ветер захлопнул дверь сарая.

Лица друзей расплылись в улыбках. Порой, думали они, жизнь выкидывает очень, очень смешные штуки.

— Остальные хватились его не сразу,— продолжал Хесус Мария.— Они сказали: «Наверное, этот старик где-нибудь спит пьяный». Прошел час, прежде чем они заглянули в сарай.

Хесус Мария посмотрел на своих друзей.

На их лицах все еще были улыбки, но что-то в них изменилось.

— Вот видите,— сказал Хесус Мария.— Это смешно. Но от этого щемит сердце.

— А что сказала Тониа? — спросил Пилон.— Извлекла ли она из этого урок и стала ли жить по-другому?

— Нет, не стала. Пит рассказал ей, что случилось, а она засмеялась. Пит тоже засмеялся. Но ему было стыдно. Тониа сказала: «Вот был старый дурень!» — и посмотрела на Пита, как она умела смотреть. Тогда Пит сказал: «Хорошо иметь сестренку, такую, как ты. Как-нибудь вечерком мы пойдем с тобой погулять». Тогда Тониа снова засмеялась и отбежала от него. И она сказала: «По-твоему, значит, я такая же красивая, как Грейси?» И Пит пошел за ней в дом.

Пилон сказал с сожалением:

— Это плохая история. В ней слишком много разного смысла и слишком много всяких уроков. И некоторые из этих уроков противоречат друг другу. Такую историю не стоит запоминать. Она ничего не доказывает.

— А мне она нравится,— возразил Пабло.— Потому что в ней нет никакого ясного смысла, и все-таки кажется, что смысл в ней есть. Я только не знаю какой.

Солнце миновало зенит, и было уже очень жарко.

— Интересно, какую еду принесет Пират,— сказал Дэнни.

— В залив пришла макрель,— заметил Пабло.

Глаза Пилона заблестели.

— Я придумал один план,— сказал он.— Когда я был маленьким, мы жили около железной дороги. Каждый день, когда мимо шел поезд, мы с братьями кидали камнями в паровоз, а кочегар кидал в нас куски угля. Иногда мы набирали целое ведро угля, чтобы отнести матери. Так вот, я думаю, может, мы отнесем на пристань камни. Когда рыбачьи лодки подойдут поближе, мы станем ругаться и швырять камни. А что могут кинуть в нас рыбаки? Станут они кидать в нас весла или сети? Нет. Они смогут кидать только макрель.

Дэнни весело вскочил на ноги.

— Вот это план! — воскликнул он.— До чего наш дружочек Пилон о нас заботится! Что бы мы делали без нашего Пилона? Пошли, я знаю, где большая куча камней.

— Макрель — самая моя любимая рыба,— сказал Пабло.

ГЛАВА XV

О том, как Дэнни затосковал и впал в безумие. О том, как дьявол в облике Торрелли покусился на дом Дэнни

В Монтерее есть нечто неизменное. Почти каждый день солнце бьет утром в окна на западной стороне улиц, а к вечеру — в окна на восточной их стороне. Каждый день красный автобус дребезжит между Монтереем и Пасифик-Гров. Каждый день над рыбоконсервными заводами в небо поднимается вонь испорченной рыбы. На исходе каждого дня ветер дует с залива и раскачивает сосны на холмах. Удильщики сидят па скалах, сжимая удочки, и на лицах их написаны терпение и циническое неверие.

И в Тортилья-Флэт над Монтереем течение жизни так же неизменно, ибо количество приключений, которые могут случиться с Корнелией Руис и ее медленно меняющейся чередой женихов, имеет свой предел. Бывали даже случаи, когда она возвращалась к человеку, с которым давным-давно порвала.

В доме Дэнни перемен было еще меньше. Жизнь, которую вели друзья, показалась бы невыносимо однообразной всякому, кроме пайсано: вставать утром, греться на солнце и обсуждать, что принесет Пират. Пират по-прежнему рубил дрова и продавал их на улицах Монтерея, но теперь на заработанные двадцать пять

центов он покупал еду. Иногда друзьям удавалось раздобыть вина, и тогда они пели песни и дрались.

Вблизи моря Время гораздо более сложно, чем в любом другом месте, ибо, кроме круговращения солнца и смены времен года, еще и волны отбивают на скалах ход Времени, а приливы поднимаются и откатываются, как огромная клепсидра.

Дэнни начал ощущать биение Времени. Он смотрел на своих друзей и видел, что для них каждый день похож на предыдущий. Когда он вставал ночью с кровати и перешагивал через спящих, он сердился на них за то, что они лежат здесь. Все чаще, сидя на крыльце и греясь на солнце, Дэнни начинал грезить о днях былой свободы. Тогда летом он спал в лесу, а с наступлением зимних холодов — в теплом сене на сеновале. Тогда бремя собственности не тяготило его. Он помнил, что в те дни имя Дэнни было именем урагана. Какие драки! Бегство по лесу с похищенной курицей под мышкой! Тайник в овраге, когда какой-нибудь оскорбленный муж собирался ему мстить. Борьба и буря, радостная буря! Когда Дэнни вспоминал о былых временах, он словно опять ощущал удивительный вкус ворованной еды и жаждал, чтобы они вернулись. С тех пор как полученное наследство подняло его на такую высоту, он дрался редко. Он напивался, но это не было приключением. И всегда бремя дома давило его, всегда он должен был думать о своих друзьях.

Дэнни погружался на крыльце в такую мрачную задумчивость, что друзья испугались, не болен ли он.

— Тебе надо бы выпить горячую настойку из целебных трав,— сказал Пилон.— Ты бы лег в постель, Дэнни, а мы приложим тебе к ногам горячие камни.

Но Дэнни не был нужен заботливый уход, ему нужна была свобода. Целый месяц он тосковал, упорно смотрел в землю, бросал на своих заботливых друзей угрюмые взгляды, пинками отгонял ластившихся к нему собак.

В конце концов тоска оказалась сильнее его. Как-то ночью он бежал. Он ушел в сосновый лес и не вернулся.

Когда утром друзья проснулись и хватились его, Пилон сказал:

— Это какая-нибудь дама. Он влюбился.

Больше они на эту тему не говорили, потому что каждый человек имеет право любить. Друзья продолжали жить, как раньше. Но когда прошла неделя, а о Дэнни по-прежнему не было ни слуху ни духу, они встревожились. Все вместе они отправились в лес на поиски.

— Любовь — вещь хорошая,— сказал Пилон.— Нельзя ругать человека, если он ухаживает за девушкой, но неделя — это

неделя. Бойкая, должно быть, девушка, раз Дэнни неделю не был дома.

Пабло сказал:

— Немножко любви — это как немножко вина. Но от их избытка человек может заболеть. Может, Дэнни уже заболел? Может, эта девушка чересчур уж бойкая?

Хесус Мария тоже был встревожен:

— Наш Дэнни не мог исчезнуть так надолго. Случилось что-то плохое.

Пират захватил с собой в лес собак. Друзья приказали собакам:

— Найдите Дэнни. Может быть, он болен. Может быть, он лежит где-нибудь мертвый, добрый Дэнни, который позволяет вам спать в его доме.

Пират шептал им:

— Злые, неблагодарные собаки, найдите нашего друга.

Но собаки только весело завиляли хвостами, отыскали кролика и кинулись за ним в погоню.

Друзья весь день бродили по лесу, звали Дэнни, осматривали места, которые они сами выбрали бы для ночлега,— удобные ложбинки между корнями деревьев, полянки среди кустов, устланные густым слоем сосновых игл. Они знали, какое место выбрал бы человек для ночлега, но они нигде не нашли никаких следов Дэнни.

— Может, он сошел с ума? — предположил Пилон.— Может, какая-нибудь тайная тревога лишила его рассудка?

Вечером они вернулись в дом Дэнни, открыли дверь и вошли. И остолбенели. Тут побывал вор. Исчезли одеяла Дэнни. Все припасы были украдены. Пропали две кастрюли.

Пилон посмотрел было на Большого Джо Португальца, но покачал головой:

— Нет, ты был с нами. Это сделал не ты.

— Это сделал Дэнни,— взволнованно крикнул Пабло.— Он и правда сошел с ума! Вон он бежит по лесу, словно какой-нибудь зверь!

Тревога и забота воцарились в доме Дэнни.

— Мы должны найти Дэнни,— твердили его друзья.— Наш друг безумен, и с ним может приключиться беда. Мы должны искать его по всему свету, пока не найдем.

Они забыли про лень. Каждый день они искали его, и до них начали доходить странные слухи: «Да, Дэнни был здесь вчера вечером. Пьяница! Вор! Поглядите — Дэнни ударил деда колом, который выдернул из забора, и украл бутылку граппы. Что это за друзья, которые позволяют своему другу вытворять такое!» — «Да,

мы видели Дэнни. Глаза у него были закрыты, и он пел: «Пойдемте в лес плясать, красавицы»,— но мы не пошли. Мы испугались. У Дэнни был очень буйный вид».

На пристани они получили новые сведения о своем друге: «Он был здесь,— сказали рыбаки.— Он хотел драться со всеми. Бенито сломал весло о его голову. Тогда Дэнни стал бить окна, и полицейский забрал его в тюрьму».

Они поспешили по горячему следу своего легкомысленного друга. «Макнир привел его вчера вечером,— сказал полицейский сержант.— Да только ночью он сбежал. Когда мы его поймаем, мы посадим его на шесть месяцев».

Друзья устали от погони. Они вернулись домой и, к своему ужасу, обнаружили, что исчез полный мешок картофеля, который Пилон нашел только этим утром.

— Ну, это уж слишком! — вскричал Пилон.— Дэнни помешался, и он в опасности. С ним случится что-нибудь ужасное, если мы его не спасем.

— Мы будем искать его,— сказал Хесус Мария.

— Мы заглянем за каждое дерево и в каждый сарай,— поклялся Пабло.

— И под все лодки на берегу,— подсказал Большой Джо.

— Собаки нам помогут,— добавил Пират.

Пилон покачал головой:

— Так ничего не выйдет. Куда бы мы ни пришли, оказывается, что Дэнни оттуда уже ушел. Мы должны ждать его в таком месте, куда он обязательно придет. Мы должны действовать как умные люди, а не как дураки.

— Но куда же он обязательно придет?

И всех разом осенило:

— К Торрелли! Рано или поздно Дэнни придет к Торрелли. Мы должны быть там, чтобы поймать его, чтобы помешать ему безумствовать.

— Да,— согласились они,— мы должны спасти Дэнни.

Все вместе они отправились к Торрелли, но Торрелли не впустил их.

— Вы спрашиваете,— кричал он из-за двери,— видел ли я Дэнни? Дэнни принес три одеяла и две кастрюли, и я дал ему галлон вина. И что же тогда сделал этот дьявол? Мою жену он оскорбил, а меня обругал. Моего малыша он отшлепал, моей собаке дал пинка! Он украл гамак с моего крыльца.— Торрелли задохнулся от ярости.— Я погнался за ним, чтобы отобрать мой гамак, а когда я вернулся, он приставал к моей жене. Соблазнитель, вор, пьяница! Вот что такое ваш друг Дэнни! Я добьюсь, чтобы его упрятали за решетку!

Глаза друзей холодно блеснули.

— Корсиканская свинья,— негромко сказал Пилон.— Ты говоришь о нашем друге. Наш друг нездоров.

Торрелли запер дверь. Они услышали, как лязгнул засов, но Пилон продолжал говорить:

— Кровопийца,— сказал он.— Если бы ты не трясся так над своим вином, ничего бы этого не случилось. Следи, чтобы эта холодная лягушка, которая у тебя вместо языка, не марала нашего друга. Смотри обходись с ним вежливо, потому что у него много друзей. Мы выпустим тебе все кишки, если ты его обидишь.

Торрелли, стоя у запертой двери, молчал, но эта угроза заставила его задрожать от ярости и страха. Он с облегчением услышал, что шаги друзей затихают на дорожке, ведущей к воротам.

В эту ночь, когда друзья уже легли спать, они услышали, что кто-то тихо шарит на кухне. Они знали, что это Дэнни, но он убежал прежде, чем они успели схватить его. Они бродили по темному двору и грустно звали:

— Вернись, Дэнни, наш милый дружок Дэнни! Мы скучаем без тебя!

Ответа не было, но метко брошенный камень попал Большому Джо в живот, и он, скорчившись, повалился на землю.

В какое отчаяние пришли друзья, как тяжело было у них на сердце!

— Дэнни себя погубит,— грустно говорили они.— Наш любимый друг попал в беду, а мы не можем ему помочь.

Вести хозяйство теперь стало труднее, так как Дэнни украл почти все, что было в доме. Один из стульев они обнаружили у бутлегера. Дэнни забрал все припасы, а как-то раз, когда они искали его в лесу, он украл даже железную печку, но она оказалась такой тяжелой, что он бросил ее в овраге. Денег тоже не было, потому что Дэнни украл тачку Пирата и выменял на нее у Джо Ортиса бутылку виски. Мир и покой исчезли из дома Дэнни, их сменили тревога и печаль.

— Куда делось наше счастье? — жалобно вопрошал Пабло.— Значит, мы согрешили, сами того не ведая. А это — воздаяние. Нам надо бы пойти исповедаться.

Они больше уже не обсуждали брачные дела Корнелии Руис. Больше не рассказывали назидательных историй. Позабыты были добрые дела. Поистине прежняя счастливая жизнь лежала в развалинах. И развалины эти были окутаны черным туманом слухов:

«Дэнни покусился вчера на какую-то женщину».

«Дэнни выдоил козу миссис Палочико».

«Дэнни позапрошлой ночью дрался с какими-то солдатами».

Как ни печалило друзей нравственное падение Дэнни, они очень завидовали его веселому времяпрепровождению.

— Если он не сошел с ума, это ему даром не пройдет,— сказал Пилон.— Можете не сомневаться. Дэнни грешит так, что это бьет все известные мне рекорды. Сумеет ли он искупить все эти грехи, когда захочет снова стать порядочным человеком? За несколько недель Дэнни нагрешил больше, чем старик Руис за всю свою жизнь.

В эту ночь Дэнни, воспользовавшись тем, что собаки хорошо его знали, пробрался в дом, двигаясь бесшумно, как тень от ветки под уличным фонарем, и бессовестно украл башмаки Пилона. Утром Пилон сразу сообразил, что произошло. Твердым шагом он вышел на крыльцо, сел на солнцепеке и начал рассматривать свои ноги.

— Он зашел слишком далеко,— сказал Пилон.— Мы терпеливо сносили все его проказы, но он не остановился даже перед преступлением. Это не тот Дэнни, которого мы знали. Это другой человек, и плохой человек. Мы должны схватить этого плохого человека.

Пабло ласково посмотрел на свои башмаки.

— А может, это тоже только проказа? — заметил он.

— Нет,— строго сказал Пилон,— это преступление. Башмаки были не очень крепкие, но взять их — значило совершить преступление против дружбы. А хуже этого преступления нет ничего. Раз Дэнни начинает красть башмаки своих друзей, значит, он уже способен на любое злодеяние.

Друзья кивнули в знак согласия.

— Да, мы должны поймать его,— сказал Хесус Мария, человеколюбец.— Мы знаем, что он болен. Мы привяжем его к кровати и попробуем вылечить его болезнь. Мы попробуем развеять тьму, окутавшую его мозг.

— А пока мы его еще не поймали,— сказал Пабло,— мы должны помнить, что, ложась спать, надо прятать башмаки под подушку.

Дом оказался в осаде. Повсюду вокруг него бушевал Дэнни, и Дэнни наслаждался жизнью.

Лицо Торрелли очень редко выражало что-нибудь, кроме подозрительности и злобы. Будучи бутлегером и имея дело с обитателями Тортилья-Флэт, он постоянно испытывал эти два чувства, и они наложили свою печать на его лицо. Кроме того, Торрелли

никогда никого не навещал. Ведь ему нужно было только не выходить из дому, и он мог увидеться с кем угодно. Вот почему, когда Торрелли как-то утром, улыбаясь зловещей улыбкой, словно предвкушая что-то приятное, поднимался по улице, ведущей к дому Дэнни, дети убегали к себе во двор и робко следили за ним сквозь щели в заборах, собаки мчались прочь, щекоча хвостом брюхо и со страхом оглядываясь, а встречные сторонились и на всякий случай сжимали кулаки, опасаясь, как бы этот сумасшедший не бросился на них.

В это утро небо было затянуто туманом. Солнце после нескольких безуспешных авангардных боев сдалось и скрылось за серым занавесом. С сосен на землю падали мутные капли росы, а лица немногих прохожих были угрюмы и серы в тон этому дню. Не было слышно веселых приветствий. Не было и следа того вечного человеческого оптимизма, который дарит светлую надежду, что наступающий день будет лучше всех прежних.

Старый Рока, увидев улыбку Торрелли, пошел домой и сказал жене:

— Он только что убил и съел своих детей. Помяни мое слово!

Торрелли был счастлив. В его кармане, сложенная вчетверо, лежала драгоценная бумага. Он то и дело прижимал руку к пиджаку, и легкое шуршание убеждало его, что бумага цела. Он шел сквозь серый утренний туман и бормотал себе под нос:

— Змеиное гнездо! Я уничтожу эту чумную язву — друзей Дэнни. Больше я не буду давать вино за вещи, которые у меня тут же снова крадут. Каждый из них сам по себе еще ничего, но когда они вместе!.. Мадонна, посмотри только, как я вышвырну их на улицу. Жабы, вши, жалящие блохи. Когда им снова придется спать в лесу, у них поубавится гордости. Они узнают, что победа осталась за Торрелли. Они думали обмануть меня, лишить мой дом мебели, а мою жену чести. Но они узнают, что Торрелли, великий страдалец Торрелли, может нанести ответный удар. Они это скоро узнают!

Так он шел и бормотал, а бумага в кармане шуршала под его пальцами. Деревья тоскливо роняли в пыль капли росы. В вышине с хриплым, полным отчаяния криком кружили чайки. Торрелли, как серая тень Судьбы, приближался к дому Дэнни.

В доме Дэнни царило уныние. Друзья не могли сидеть на крыльце, греясь на солнце, потому что солнца не было. А есть ли лучшая причина для уныния? Они давно водворили на место украденную печку. Теперь они подсели поближе к ней, а пришедший в гости Джонни Помпом рассказывал новости.

— Тито Ральф,— говорил он,— больше уже не надзиратель в городской тюрьме. Сегодня утром полицейский судья прогнал его.

— Мне нравился Тито Ральф,— сказал Пилон.— Когда человек попадал в тюрьму, Тито Ральф приносил ему вина. И он знал больше интересных историй, чем сто рассказчиков, вместе взятых. А почему его прогнали, Джонни Помпом?

— Об этом я и говорю. Как вы знаете, Тито Ральф часто попадал в тюрьму и считался образцовым заключенным. Он знал, как нужно управлять тюрьмой, а вскоре он уже знал о тюрьме больше всех. Тут умер папаша Меркс, прежний надзиратель, и Тито Ральф поступил на его место. Никогда еще не бывало такого хорошего надзирателя, как Тито Ральф. Все, что он делал, было очень хорошо. Но у него есть одна скверная привычка. Стоит ему выпить вина, как он забывает, что он тюремный надзиратель. Он устраивает побег из тюрьмы, и его приходится ловить.

Друзья кивнули.

— Я знаю,— сказал Пабло.— Я еще слышал, что его не так-то легко поймать. Он прячется.

— Да,— продолжал Джонни Помпом.— Если бы не это, он был бы лучшим тюремным надзирателем, какого только видела наша тюрьма. Ну, а рассказать я хотел вот о чем. Вчера вечером у Дэнни было столько вина, что хватило бы на десятерых, а он его выпил один. Тогда он стал рисовать всякие картинки на окнах. У него было очень много денег, и он купил яиц, чтобы кидать их в китайца. А одно из этих яиц не попало в китайца, а попало в полицейского. Поэтому Дэнни посадили в тюрьму. Но у него было очень много денег. Он послал Тито Ральфа купить вина, а потом еще вина. В тюрьме сидело четыре человека. Все они пили вино. И тут сказалась скверная привычка Тито Ральфа. Он устроил побег из тюрьмы, и все остальные бежали вместе с ним. Тито Ральфа сегодня утром поймали, и ему сказали, что он больше не надзиратель. Он так огорчился, что разбил окно, и теперь снова сидит в тюрьме.

— А Дэнни? — вскричал Пилон.— Что с Дэнни?

— Дэнни? — сказал Джонни Помпом.— Он тоже бежал, но его не поймали.

Друзья тревожно вздохнули.

— Дэнни совсем сбился с пути,— мрачно сказал Пилон.— Он плохо кончит. Интересно, где он достал денег?

Именно в эту минуту торжествующий Торрелли распахнул калитку и зашагал по дорожке к дому. Собаки Пирата встревожились и, рыча, подошли к двери. Друзья выглянули наружу и

обменялись недоуменными взглядами. Большой Джо подобрал рукоятку лопаты, с которой недавно так основательно познакомился. Тяжелые уверенные шаги Торрелли прогремели по крыльцу. Дверь распахнулась, и Торрелли, улыбаясь, вошел. О, он не стал кричать на них и грозить им. Нет, он взялся за дело деликатно, как домашняя кошка. Он ласково гладил их, как кошка поглаживает таракана.

— Ах, друзья мои,— мягко сказал он, встретив их встревоженные взгляды.— Дорогие мои друзья и клиенты, сердце мое разрывается, потому что мне суждено принести дурные вести тем, кого я люблю.

Пилон вскочил.

— Что-то случилось с Дэнни! Он болен? Он ранен? Говори же!

Торрелли изящно покачал головой.

— Нет, мои крошки. Дело не в Дэнни. Сердце мое обливается кровью, но я принужден сказать вам, что вы здесь больше не живете.

Со злорадным удовольствием он наблюдал за действием своих слов. Все рты раскрылись, все глаза выпучились от удивления.

— Глупость какая! — воскликнул Пабло.— Почему это мы здесь больше не живем?

Рука Торрелли нежно нырнула в грудной карман, его пальцы извлекли оттуда драгоценную бумагу и помахали ею в воздухе.

— Вообразите мои страдания! — продолжал Торрелли.— Этот дом больше не принадлежит Дэнни.

— Что? — вскричали они.— Что ты говоришь? Почему этот дом больше не принадлежит Дэнни? Говори же, корсиканская свинья!

Торрелли захихикал, и это было так страшно, что пайсано попятились.

— Потому что,— сказал он,— этот дом принадлежит мне. Дэнни пришел ко мне вчера вечером и продал мне свой дом за двадцать пять долларов.

С дьявольской радостью он следил за мыслями, отражавшимися на их лицах.

«Это ложь! — говорили их лица.— Дэнни не способен на такую подлость». А потом: «Но ведь Дэнни за последнее время делал много дурного. Он крал у нас. Кто знает, может, он и продал этот дом за нашей спиной?»

— Это ложь,— сказал Пилон вслух,— грязная корсиканская ложь.

Торрелли продолжал улыбаться и размахивать бумагой.

— Вот доказательство,— сказал он.— Вот бумага, которую подписал Дэнни. Это то, что мы, деловые люди, называем купчей.

Пабло в ярости подскочил к нему.

— Ты напоил его! Он не знал, что делает!

Торрелли чуть-чуть приоткрыл сложенный документ.

— Закон это не интересует,— возразил он.— И поэтому, мои дорогие друзья, неумолимый долг приказывает мне объявить вам, что вы должны покинуть мой дом. Я собираюсь распорядиться им по-другому.— Тут улыбка сбежала с его лица, и оно приняло обычное жестокое выражение.— Если вы не уберетесь к полудню, я пришлю полицейского.

Пилон с кротким видом подошел к нему. Берегись, Торрелли, если к тебе, улыбаясь, приближается Пилон! Беги, спрячься в каком-нибудь сейфе и захлопни за собой дверцу!

— Я этих вещей не понимаю,— мягко сказал Пилон.— Мне, конечно, очень грустно, что Дэнни так поступил.

Торрелли опять захихикал.

— Я ведь никогда не продавал домов,— продолжал Пилон.— Дэнни подписал эту бумагу, так?

— Да,— передразнил его Торрелли,— Дэнни подписал эту бумагу, именно так.

Пилон тупо продолжал расспрашивать:

— Значит, вот эта бумага доказывает, что дом принадлежит тебе?

— Вот именно, дурачок. Эта бумага это и доказывает.

Лицо Пилона выразило недоумение.

— А я думал, что ее надо отнести в город и зарегистрировать.

Торрелли презрительно рассмеялся. Берегись, Торрелли! Разве ты не замечаешь, как бесшумно движутся эти змеи? Вон Хесус Мария стоит у входной двери. Вон Пабло заслоняет дверь на кухню. Посмотри, как побелели пальцы Большого Джо, сжимающие рукоятку лопаты.

Торрелли сказал:

— Вы ничего не понимаете в делах, бродяжки и попрошайки. Когда я уйду отсюда, я отнесу эту бумагу в город и...

Это случилось так быстро, что последними словами он подавился. Его ноги мелькнули в воздухе. Он грохнулся об пол, хватаясь жирными руками за воздух. Он услышал, как звякнула дверца печи.

— Воры! — взвизгнул он. Шея и лицо его побагровели.— Воры, крысы, собаки, отдайте мою бумагу!

Пилон, стоявший перед ним, удивился.

— Бумагу? — спросил он вежливо.— О какой бумаге ты говоришь с таким жаром?

— О моей купчей, о запродажной! Полиция узнает об этом!

— Я не помню никакой бумаги,— сказал Пилон.— Пабло, ты не знаешь, о какой бумаге он говорит?

— Бумага? — сказал Пабло.— Он о газетной бумаге говорит или о папиросной?

Пилон продолжал перекличку:

— Джонни Помпом?

— Ему, наверное, что-нибудь померещилось,— сказал Джонни Помпом.

— Хесус Мария, ты что-нибудь знаешь о какой-нибудь бумаге?

— По-моему, он пьян,— возмущенно сказал Хесус Мария.— Стыдно напиваться с утра пораньше.

— Джо Португалец?

— Меня здесь не было,— отрезал Джо.— Я только что вошел.

— Пират?

— У него не было никакой бумаги.— Пират повернулся к своим собакам.— Была у него бумага?

Пилон снова обратился к посиневшему от злости Торрелли.

— Ты что-то путаешь, мой друг. Я, конечно, мог и ошибиться насчет этой бумаги, но ведь ты сам убедился, что никто, кроме тебя, этой бумаги не видел. И ты не упрекнешь меня, если я скажу, что никакой бумаги вовсе не было. Наверное, тебе лучше пойти домой и лечь.

Торрелли был слишком оглушен, чтобы настаивать дальше. Они повернули его, помогли ему выйти за дверь, и он побрел домой, ошеломленный столь ужасным поражением.

Тут они взглянули на небо и обрадовались, потому что солнце снова вступило в бой и на этот раз пробило лазейку в тумане. Друзья не стали возвращаться в дом. Они со счастливыми улыбками расположились на крыльце.

— Двадцать пять долларов! — сказал Пилон.— И что только он сделал с этими деньгами?

Солнце, выиграв первую схватку, обратило туман в паническое бегство, и небо быстро светлело. Половицы крыльца нагрелись, и в солнечных лучах зажужжали мухи. Возбуждение покинуло друзей.

— Еле спаслись,— устало сказал Пабло.— Дэнни не следовало бы так поступать.

— Мы будем покупать все вино только у Торрелли, чтобы возместить ему убытки,— сказал Хесус Мария.

Пичужка опустилась на розовый куст и задергала хвостиком. Новые петухи миссис Моралес воспользовались случаем и в неположенный час спели гимн солнцу. Собаки во дворе задумчиво чесались и грызли свои хвосты.

Услышав шаги на улице, друзья подняли головы и тут же вскочили на ноги, радостно улыбаясь. В калитку вошли Дэнни и Тито Ральф, и каждый нес два тяжелых мешка. Хесус Мария кинулся в дом и принес банки из-под варенья. Когда Дэнни поставил бутыли на крыльцо, друзья заметили, что у него очень утомленный вид.

— Пока влезешь на этот холм, совсем изжаришься,— сказал Дэнни.

— Тито Ральф! — вскричал Джонни Помпом.— А я слышал, что тебя посадили в тюрьму.

— Я снова бежал,— вяло ответил Тито Ральф.— Ведь ключи-то остались у меня.

Вино забулькало, и банки наполнились до краев. Друзья громко вздохнули — от облегчения, что все осталось позади.

Пилон отпил полбанки.

— Дэнни,— сказал он,— эта свинья Торрелли приходил сюда утром и без конца врал. У него была бумага, которую ты будто бы подписал.

Дэнни не то испугался, не то растерялся.

— Где эта бумага? — спросил он.

— Ну,— продолжал Пилон,— мы знали, что он врет, и поэтому мы сожгли эту бумагу. Ты же ее не подписывал, правда?

— Нет,— сказал Дэнни и осушил банку до дна.

— Хорошо бы чего-нибудь поесть,— заметил Хесус Мария.

Дэнни ласково улыбнулся:

— А я и забыл. В одном из этих мешков есть три курицы и хлеб.

Радость и облегчение Пилона были так велики, что он встал и произнес небольшую речь.

— Где еще найдется друг, подобный нашему другу? — почти пел он.— Он привечает нас в своем доме, спасая от холода, он делится с нами своей вкусной едой и своим вином. Охей! Какой хороший человек наш дорогой друг!

Дэнни смутился. Он уставился в пол.

— Это пустяки,— пробормотал он.— Что тут такого?

Но ликование Пилона было так велико, что он готов был прижать к сердцу весь мир и даже всех злодеев мира.

— Мы как-нибудь должны сделать что-нибудь приятное Торрелли.

ГЛАВА XVI

О тоске Дэнни. О том, как ценой самопожертвования друзья Дэнни устроили вечеринку. О преображении Дэнни

Когда Дэнни вернулся в свой дом и к своим друзьям после долгих безумств, он не испытывал угрызений совести, но его томила усталость. Грубые пальцы бурно прожитых дней истерзали его душу. Он погрузился в апатию и вставал с постели только для того, чтобы посидеть на крыльце под кастильской розой, вставал с крыльца только для того, чтобы поесть, вставал из-за стола только для того, чтобы лечь в постель. Вокруг него лилась беседа, и он слушал, но ничто его не интересовало. Корнелия Руис блистательно сменила нескольких мужей, но Дэнни это нисколько не тронуло. Как-то вечером Джо Португалец забрался на его кровать, но Дэнни остался равнодушен даже к этому, так что Пилону и Пабло самим пришлось избить за него Большого Джо. Когда Сэмми Распер, с запозданием празднуя Новый год при помощи дробовика и бутылки виски, убил корову и угодил в тюрьму, Дэнни так и не удалось втянуть в обсуждение этической стороны этого происшествия, хотя вокруг него бушевал горячий спор и все то и дело взывали к нему.

И вскоре друзья начали беспокоиться о Дэнни.

— Он изменился,— сказал Пилон.— Он стал стариком.

Хесус Мария высказал предположение:

— Дэнни уложил в три коротенькие недели столько радостей, сколько отведено на целую человеческую жизнь. Ему надоели все удовольствия.

Тщетно пытались друзья извлечь Дэнни из пучины его равнодушия. По утрам на крыльце они рассказывали самые смешные истории, какие только знали. И сообщали такие подробности любовной хроники квартала, что они проняли бы даже прозектора. Пилон просеивал сквозь сито всю Тортилья-Флэт и приносил Дэнни каждое зернышко интересных новостей, но глаза Дэнни оставались бесконечно старыми и усталыми.

— Ты нездоров,— тщетно убеждал его Хесус Мария.— Тебя мучит какая-то тяжелая тайна.

— Нет,— отвечал Дэнни.

Друзья заметили, что он позволяет мухам ползать по своим босым ногам, а если и отгоняет их, то лишь ленивым взмахом руки, в котором ничего не осталось от былого искусства. Постепенно веселье и смех покинули дом Дэнни, утонули в темном пруду тихого равнодушия Дэнни. Грустно было смотреть на него — на Дэнни, который готов был драться во имя самого без-

надежного дела, да и по любому другому поводу; на Дэнни, который мог перепить любого человека в мире; на Дэнни, который откликался на взгляд любви, как разбуженный тигр. Теперь он сидел на своем крыльце под солнечными лучами, подняв обтянутые синей материей колени к самой груди, бессильно свесив руки, так что пальцы болтались, будто неживые, и склонив голову, словно под гнетом черных мыслей. В его тусклых глазах не было ни желания, ни гнева, ни радости, ни горя.

Бедный Дэнни, жизнь рассталась с тобой! Вот ты сидишь, как первый человек, когда мир еще не возник вокруг него, и как последний человек, когда мир уже рассыпался в прах. Но посмотри, Дэнни! Ты же не один. Ты вовлекаешь в это и своих друзей. Они поглядывают на тебя уголком глаза. Они ждут, как ждут полные надежды щенки первого движения своего проснувшегося хозяина. Одно твое веселое слово, Дэнни, один веселый взгляд — и они залают и примутся ловить свои хвосты. Ты не можешь распоряжаться своей жизнью, Дэнни, потому что от нее зависят другие жизни. Посмотри, как страдают твои друзья! Воскресни, Дэнни, чтобы твои друзья снова могли жить!

Вот что примерно сказал Пилон, хотя и не такими красивыми словами. Он протянул Дэнни банку с вином и сказал:

— Да ну же,— сказал он,— хватит просиживать задницу.

Дэнни взял банку и осушил ее до дна. А потом он откинулся на спинку стула и попробовал снова погрузиться в свое бесчувственное забытье.

— У тебя что-нибудь болит? — спросил Пилон.

— Нет,— сказал Дэнни.

Пилон налил ему еще банку вина и следил за выражением его лица, пока он пил. Тусклая пелена на миг исчезла из глаз Дэнни. Где-то в самой их глубине мелькнул прежний Дэнни. Он убил муху ударом, который не посрамил бы и величайшего мастера этого дела.

Губы Пилона медленно расползлись в улыбке. А потом он собрал всех друзей — Пабло, и Хесуса Марию, и Большого Джо, и Пирата, и Джонни Помпома, и Тито Ральфа.

Пилон отвел их в овраг позади дома.

— Я отдал Дэнни последнее вино, и оно пошло ему на пользу. Дэнни поможет вино и, может быть, вечеринка. Где мы можем достать вина?

Их мысли обрыскали Монтерей, как фокстерьеры обрыскивают амбар в поисках крыс, но крыс не оказалось. Этими друзьями двигал альтруизм такой чистый, о каком многие люди не имеют даже представления. Они любили Дэнни.

Хесус Мария сказал наконец:

— Чин Ки консервирует каракатиц.

Их мысли рванулись в сторону, с любопытством обернулись и взглянули на *это*. Тихонько прокрались назад и обнюхали *это*. Прошло несколько секунд, прежде чем их возмущенное воображение смирилось с *этим*. «Но в конце концов почему бы и нет? — безмолвно убеждали они себя.— Один день — это не так страшно. Всего один день».

По их лицам можно было ясно проследить, как развертывалось сражение и как во имя блага Дэнни они победили свои страхи.

— Мы это сделаем,— сказал Пилон.— Завтра мы все пойдем в город и будем потрошить каракатиц, а послезавтра мы устроим для Дэнни вечеринку.

Когда Дэнни проснулся на следующее утро, дом был пуст. Он встал с постели и оглядел безмолвные комнаты. Но Дэнни несвойственно было предаваться бесплодным размышлениям. Сперва он перестал искать разгадку случившегося, а потом и думать о нем. Он вышел на крыльцо и вяло опустился на стул.

Или это предчувствие, Дэнни? Боишься ли ты судьбы, которая неумолимо надвигается на тебя? Неужели для тебя не осталось никаких удовольствий? Нет. Дэнни так же погружен в себя, как всю последнюю неделю.

Чего нельзя сказать о Тортилья-Флэт. Рано утром по кварталу пробежал слух: «Друзья Дэнни потрошат каракатиц для Чин Ки». Это было знаменательнейшее событие, подобное падению правительства или даже гибели всей солнечной системы. О нем говорили на улицах, о нем сообщали через задние заборы дамам, которые как раз бежали к соседке, чтобы рассказать о нем же. «Все друзья Дэнни ушли в город потрошить каракатиц!»

Утро было наэлектризовано этой новостью. Должна же быть какая-нибудь причина! В чем разгадка этой тайны? Матери инструктировали своих детей и посылали их к фабрике Чин Ки. Юные матроны с нетерпением ждали за занавесками последних сообщений. И сообщения поступали:

«Пабло порезал руку ножом для потрошения каракатиц».

«Чин Ки выгнал собак Пирата».

Сенсация.

«Собаки вернулись».

«Пилон хмурится».

Заключались пари. Уже много месяцев в Тортилья-Флэт не происходило ничего столь интересного. В течение целого утра никто ни разу не упомянул о Корнелии Руис. И только в полдень разгадка наконец была найдена. Но зато о ней мгновенно узнали все:

«Они собираются устроить большую вечеринку для Дэнни».
«На нее приглашаются все».

С фабрики Чин Ки начали поступать распоряжения. Миссис Моралес стерла пыль со своего граммофона и отобрала самые громкие свои пластинки. Кремень выбил искру, а Тортилья-Флэт оказалась хорошим трутом. Семь друзей задумали устроить вечеринку для Дэнни! Тоже мне! Как будто у Дэнни всего только семь друзей! Миссис Сото ворвалась в свой птичник, вооруженная кухонным ножом. Миссис Палочико высыпала мешочек сахару в самую большую свою кастрюлю и принялась варить леденцы. Делегация девушек отправилась в Монтерей и купила полный комплект цветной бумаги. По всему кварталу, пробуя голоса, взвизгивали гитары и аккордеоны.

Сообщение! Новое сообщение с фабрики Чин Ки! Они не отступят. Они тверды в своем решении. Они заработают не меньше четырнадцати долларов. Приглядите, чтобы были готовы четырнадцать галлонов вина.

Торрелли был завален заказами. Каждому хотелось купить бутыль вина, чтобы отнести ее в дом Дэнни. Да и сам Торрелли, захваченный общим ажиотажем, сказал жене:

— Может, мы пойдем в дом Дэнни. Я прихвачу несколько бутылей для своих друзей.

С приближением вечера волны возбуждения совсем захлестнули вершину холма. Доставались из сундуков и вывешивались проветриться платья, которые в последний раз надевала еще бабушка. С перил веранд, благоухая нафталином, свисали шали, по которым моль томилась более двухсот лет.

А Дэнни? Он сидел, словно наполовину растопленный. Он менял позу, только когда солнце меняло место на небосклоне. Если он и заметил, что все до одного обитатели Тортилья-Флэт прошли в этот день мимо его калитки, он ничем этого не выдал. Бедный Дэнни! Не меньше четырех десятков глаз следили за его калиткой. В четыре часа он встал, потянулся и, выйдя на улицу, побрел в Монтерей.

Они еле дождались, чтобы он скрылся из виду. И пошли сплетаться гирлянды из зеленой, желтой и красной бумаги! И пошли крошиться на пол свечи! И пошли носиться дети, ровно втирая воск в половицы! Появилось угощение: миски с рисом, кастрюли с горячей курятиной, клецки, от которых можно было только ахнуть. Появилось и вино — не сосчитать, сколько бутылей. Мартинес выкопал из своей навозной кучи бочонок картофельной водки и отнес его в дом Дэнни.

В половине шестого друзья подымались вверх по холму усталые, окровавленные, но торжествующие. Так, наверное, выглядела

старая гвардия, возвращающаяся в Париж после Аустерлица. Они увидели дом, пылающий красками. Они засмеялись, и усталость их как рукой сняло. Они были так счастливы, что на глазах у них показались слезы.

Мамаша Чипо вошла во двор в сопровождении двух сыновей, которые тащили лохань, полную подливки. Паулито, этот богатый бездельник, раздувал огонь под большим котлом бобов и красного перца. Крики, обрывки песен, визгливые выкрики женщин, вопли и смех взбудораженных детей.

Из Монтерея прибыла машина, полная встревоженных полицейских. «А, всего только вечеринка! Ну конечно, мы выпьем по стаканчику вина. Смотрите только никого не убивайте».

Где же Дэнни? Одинокий, как дымок в холодную ясную ночь, он бредет по вечернему Монтерею. Он заходит на почту, на вокзал, в бильярдную на улице Альварадо, на пристань, где черная вода грустно вздыхает между сваями. В чем дело, Дэнни? Отчего ты такой? Дэнни не знал. В его сердце была щемящая боль, словно от прощания с любимой; его томила смутная печаль, подобная осеннему отчаянию. Он прошел мимо ресторанов, где прежде с таким интересом нюхал воздух,— и в нем не проснулся голод. Он прошел мимо шикарного заведения мадам Зуки — и не обменялся непристойными шуточками с девицами, выглядывающими из окон. Он вернулся назад, на пристань. Он облокотился о перила и стал смотреть в глубокую, глубокую воду. Знаешь ли ты, Дэнни, что боги разливают вино твоей жизни по своим банкам из-под варенья? Видишь ли ты вереницу своих дней в маслянистой воде между сваями? Он не шевелился и смотрел вниз неподвижным взглядом.

Когда стемнело, о нем начали беспокоиться в доме Дэнни. Друзья оставили гостей и бегом спустились с холма в город. Они спрашивали: «Вы не видели Дэнни?»

«Да, Дэнни прошел здесь час назад, он шел медленно».

Пилон и Пабло искали его вдвоем. Они проследили весь путь своего друга и наконец увидели его на краю темного причала. На него падал тусклый свет электрического фонаря. Они бросились к нему.

Пабло тогда об этом не упомянул, но потом, едва кто-нибудь заводил речь о Дэнни, он всегда принимался описывать, что он увидел, когда они с Пилоном пошли по причалу к Дэнни.

«Так он и стоял,— говорил Пабло.— Я только-только мог разглядеть, что он опирается на перила. Я посмотрел на него и тут увидел кое-что еще. Сперва мне показалось, что над головой Дэнни висит черное облако. А потом я рассмотрел, что это большая черная птица, величиной с человека. Она висела в воздухе, как

коршун над кроличьей норой. Я перекрестился и прочел две «Богородицы». Когда мы подошли к Дэнни, птицы уже не было».

Пилон не видел птицы. Пилон не помнил, чтобы Пабло крестился или читал «Богородиц». Но он никогда не вмешивался, потому что это была история Пабло.

Они быстро шли к Дэнни. Доски причала глухо постукивали у них под ногами. Дэнни не повернулся. Они взяли его за плечи и повернули к себе.

— Дэнни, что случилось?

— Ничего. Ничего со мной не случилось.

— Может, ты болен, Дэнни?

— Нет.

— Так отчего же ты такой печальный?

— Не знаю,— сказал Дэнни.— Я так чувствую, и все. Я ничего не хочу делать.

— Может, тебе сходить к доктору, Дэнни?

— Я же говорю вам, что я не болен.

— Ну так слушай! — воскликнул Пилон.— Мы устроили в твою честь вечеринку у тебя в доме. Там вся Тортилья-Флэт, и музыка, и вино, и курятина. Вина, наверное, двадцать, а то и тридцать бутылей. И дом украшен цветной бумагой. Разве ты не хочешь пойти туда?

Дэнни глубоко вздохнул. На мгновение он снова повернулся к черной, глубокой воде. Быть может, он шепотом произнес обет богам или бросил им вызов. Он снова поглядел на своих друзей. Глаза его горели лихорадочным огнем.

— Да, черт побери, я хочу пойти туда. Побыстрей. Я хочу пить. Девочки там есть?

— Много. Они все пришли.

— Ну, так пошли. И побыстрей.

Он первый взбежал по холму. Задолго до того, как они добрались до дома, они уже слышали за соснами сладкую музыку и возбужденные счастливые голоса. Трое запоздавших явились совсем запыхавшись. Дэнни задрал голову и завыл, подражая койоту. Со всех сторон ему протянули банки с вином, и он отхлебнул из каждой.

Вот это была вечеринка! С тех пор, стоило кому-нибудь похвалить вечеринку, кто-нибудь другой непременно спрашивал с благоговением: «А ты был на той вечеринке в доме Дэнни?» И первый говоривший, разумеется, был там, если только он не оказывался приезжим. Вот это была вечеринка! Никто потом и не пытался устроить вечеринку лучше. Об этом не приходилось и мечтать, ибо уже через два дня вечеринка Дэнни вознеслась на такую высоту, что никакое сравнение с ней было невозможно.

Какой мужчина не мог похвастаться после этой ночи великолепнейшими синяками и ссадинами? Никогда еще не бывало столько драк — и не схваток между двумя противниками, а шумных битв, в которых принимали участие десятки людей, и каждый дрался сам за себя.

А этот женский смех! Звонкий, переливчатый и хрупкий, как стеклянная канитель. Какие чопорные возгласы протеста доносились из оврага! Отец Рамон отказывался верить своим ушам во время исповедей на следующей неделе. Вся счастливая душа Тортилья-Флэт сбросила оковы сдержанности и взмыла в воздух одним блаженным целым. Они плясали так бурно, что пол в одном углу провалился. Аккордеоны играли так громко, что после этой ночи всегда хрипели, как загнанные лошади.

А Дэнни... Как ничто не может сравниться с этой вечеринкой, так никто не может сравниться с Дэнни. Пусть в будущем какой-нибудь выскочка начнет хвастать: «Вы меня видели? Вы видели, как я плясал с этими черномазыми девчонками? Вы видели, как мы носились по кругу, точно коты?» И на него тотчас обратится взгляд каких-нибудь старых, мудрых и негодующих глаз. И голос, насыщенный сознанием того, что ему известны пределы всех возможностей, спросит негромко: «А ты видел Дэнни на той вечеринке?»

Когда-нибудь какой-нибудь историк, возможно, напишет холодную, сухую, отдающую плесенью историю вечеринки. Он, возможно, сошлется на ту минуту, когда Дэнни, размахивая ножкой от стола, готов был наброситься на всех гостей — на всех мужчин, женщин и детей. И, возможно, он сделает такой вывод: «Замечено, что умирающий организм нередко оказывается способным к проявлению величайшей выносливости и силы». Коснувшись сверхчеловеческих любовных подвигов Дэнни в ту ночь, тот же историк может написать бестрепетной рукой: «Когда любой живой организм оказывается в опасности, вся его деятельность, насколько можно судить, обращается на воспроизведение».

Но я говорю — и то же скажут все обитатели Тортилья-Флэт: «К черту эту ерунду! Дэнни был настоящий мужчина!» Счета, разумеется, никто не вел, а впоследствии ни одна из дам, естественно, не желала по доброй воле объявить себя обойденной, так что доблесть Дэнни, возможно, несколько преувеличена. Даже одна десятая того, что ему приписывается,— уже невероятное преувеличение.

Дэнни был окружен ореолом великолепного безумия. И в Тортилья-Флэт с пеной у рта утверждают, что Дэнни в одиночку выпил три галлона вина. Однако не следует забывать, что Дэнни теперь причислен к богам. Через несколько лет эти три галлона,

возможно, превратятся в тридцать. Через двадцать лет будут ясно помнить, что облака запылали и сложились в гигантское слово ДЭННИ, что луна источала кровь, что вселенский волк пророчески выл на горах Млечного Пути.

Постепенно те, кто был скроен из менее крепкого материала, начали скисать, слабеть, потихоньку выбираться из-под танцующих ног. Оставшиеся, стараясь возместить потери, вопили громче, дрались упорнее, плясали все более лихо. В Монтерее пожарные машины стояли с работающими моторами, и пожарные в красных касках и плащах молча сидели на своих местах и ждали.

Ночь быстро подходила к концу, но буйное веселье Дэнни не шло на убыль.

То, что произошло, подтверждается многими свидетелями, как мужчинами, так и женщинами. И хотя ценность их показаний иногда подвергается сомнению на том основании, что они перед этим выпили тридцать галлонов вина и бочонок картофельной водки, в главном они с угрюмым упорством стоят на своем. Потребовалось несколько недель, чтобы разобраться, как все произошло: один сообщал одно обстоятельство, другой — другое. Но постепенно рассказ о случившемся обрел свою нынешнюю логическую форму и сохранит ее навсегда.

Облик Дэнни, говорят обитатели Тортилья-Флэт, быстро менялся. Дэнни стал огромным и страшным. Глаза его пылали, как автомобильные фары. В нем было что-то жуткое. Он стоял посреди большой комнаты своего дома. Он сжимал в руке сосновую ножку от стола, и даже она стала больше. И, стоя так, Дэнни бросил вызов всему миру.

— Кто будет драться? — вскричал он.— Неужто в мире остались только трусы?

Все вокруг трепетали от страха: ножка от стола, такая чудовищная, такая живая, внушала им ужас. Дэнни грозно размахивал ею. Аккордеоны умолкли с хриплым вздохом. Танцоры остановились. В комнате стало холодно, и тишина гремела в воздухе, как океан.

— Никто? — снова вскричал Дэнни.— Или я остался один во всем мире? Никто не будет драться со мной?

Мужчины содрогались, встречая его страшные глаза, и как завороженные следили за зигзагами, которые выписывала ножка от стола. И никто не откликнулся на вызов.

— Ну, так я пойду к тому, кто будет драться. Я найду врага, достойного Дэнни!

Чуть пошатываясь, он двинулся к двери. Все в ужасе расступались перед ним. Он нагнулся, чтобы не задеть за притолоку. Все замерли, прислушиваясь.

Они слышали, как во дворе он громовым голосом повторил свой вызов. Они слышали, как, подобно метеору, свистела в воздухе ножка от стола. Они слышали, как он бросился вперед по двору. И тут из оврага за домом донесся ответный вызов, такой ужасный и леденящий, что их позвоночники ссохлись, как стебли настурции от мороза. Даже теперь, говоря о противнике Дэнни, люди понижают голос и пугливо оглядываются. Они слышали, как Дэнни ринулся в бой. Они слышали его последний пронзительный вызов, а потом глухой удар. А потом — тишина.

Долгую секунду все ждали, затаив дыхание, чтобы шелест воздуха, вырывающегося из их легких, не заглушил какого-либо звука. Но они прислушивались тщетно. Ночь безмолвствовала, и приближался серый рассвет.

Молчание нарушил Пилон.

— Что-то случилось,— сказал он.

И первым к двери бросился тоже Пилон. Храбрец, он превозмог свой ужас. Остальные последовали за ним. Они обошли дом, направляясь туда, где затихли шаги Дэнни,— но Дэнни там не было. Они подошли к краю оврага, откуда крутая тропа сбегала на дно этого древнего ложа ручья, который пересох еще в незапамятные времена. Те, кто следовал за Пилоном, увидели, что он бросился вниз по тропе. Они медленно спустились за ним в овраг. И на дне его нашли Пилона, склонившегося над изломанным телом Дэнни. Дэнни упал с высоты в сорок футов. Пилон зажег спичку.

— Кажется, он жив! — вскрикнул он.— Бегите за доктором. Бегите за отцом Рамоном.

Все бросились кто куда. Не прошло и пятнадцати минут, как обезумевшие от горя пайсано разбудили и вытащили из постелей четверых докторов. Им не дали собраться с той размеренной неторопливостью, при помощи которой доктора любят показывать, что волнение и тревога не имеют над ними никакой власти. О нет! Их торопили, подгоняли, совали им в руки чемоданчики с инструментами люди, не умевшие толком объяснить, что им, собственно, нужно. Отец Рамон, извлеченный из объятий сна, пыхтя, взбирался на холм, так и не разобравшись, предстоит ли ему изгонять дьявола, крестить умирающего новорожденного или помешать самосуду. Тем временем Пилон, Пабло и Хесус Мария отнесли Дэнни домой и уложили его на кровать. Они поставили вокруг него свечи. Дэнни дышал хрипло и тяжело.

Первыми явились доктора. Они подозрительно посмотрели друг на друга, взвешивая, кому принадлежит первенство, но и эта минутная задержка заставила вспыхнуть гневом глаза окруживших их людей. Осмотр Дэнни не занял много времени. Они все успели осмотреть его еще до прихода отца Рамона.

Я не пойду в спальню за отцом Рамоном, ибо там были Пилон, и Пабло, и Хесус Мария, и Большой Джо, и Джонни Помпом, и Тито Ральф, и Пират, и собаки Пирата — вся семья Дэнни. Дверь за священником закрылась, и закрытой она останется. Ведь людям все-таки присуща гордость, и есть вещи, не предназначенные для любопытных глаз.

Но в большой комнате, где толпились обитатели Тортилья-Флэт, стояла напряженная, исполненная ожидания тишина. Священники и врачи за много веков научились особому способу общения с людьми. Когда отец Рамон вышел из спальни, его лицо было таким же, как всегда, но женщины принялись громко и жалобно причитать. Мужчины начали переминаться с ноги на ногу, как лошади в стойле, а потом медленно вышли на улицу, в занимающийся рассвет. Но дверь спальни оставалась закрытой.

ГЛАВА XVII

О том, как горюющие друзья Дэнни пошли наперекор условностям. О том, как были сожжены Магические Узы. О том, как каждый друг удалился своим путем

Смерть — это личное дело каждого, и она порождает печаль, отчаяние, жгучие муки или холодную философию. Похороны, с другой стороны,— это момент социальный. Вообразите, что вы поехали на похороны, не отполировав предварительно свой автомобиль. Вообразите, что вы стоите у могилы не в лучшем своем черном костюме и не в лучших своих черных ботинках, сверкающих как зеркало. Вообразите, что вы послали на похороны цветы, не снабдив их карточкой, доказывающей, что вы исполнили долг приличия. Похороны, как никакая другая социальная функция, подчинены точному и строгому ритуалу, определяющему каждый шаг человека. Вообразите, какое поднимется негодование, если священник попробует изменить свою проповедь или хотя бы придать своему лицу иной оттенок грусти. Подумайте, как были бы все шокированы, если бы в зале, где происходит отпевание, были поставлены какие-нибудь другие стулья, а не эти желтые складные пыточные аппараты с узкими и жесткими сиденьями. Нет, пока человек умирает, его могут любить, ненавидеть, оплакивать,

«Квартал Тортилья-Флэт»

но стоит ему умереть, и он превращается в главное украшение официального общественного празднества, исполненного всяческих сложных формальностей.

Дэнни умер всего два дня назад, но он уже перестал быть Дэнни. Хотя лица людей были омрачены благопристойной печалью, в их сердцах царило радостное возбуждение. Правительство обещало военные похороны всем своим бывшим солдатам, буде они того пожелают. Дэнни был первым скончавшимся экс-солдатом Тортилья-Флэт, и Тортилья-Флэт приготовилась критически наблюдать, как правительство выполняет свои обещания. О смерти Дэнни уже сообщили в форт, и его тело было набальзамировано за счет правительства. Свежеокрашенный орудийный лафет уже дожидался на артиллерийском складе, а на нем лежал аккуратно сложенный новый флаг. В приказе на пятницу уже говорилось:

«С десяти до одиннадцати утра — похороны. В эскорт назначаются эскадрон А одиннадцатого кавалерийского полка, оркестр одиннадцатого кавалерийского полка и стрелковый взвод».

Разве этого было недостаточно для того, чтобы все женщины Тортилья-Флэт бросились в Монтерей глазеть на витрины универмага? Весь день по улицам Монтерея бродили смуглые ребятишки, выпрашивая в садах цветы для похорон Дэнни. А ночью те же самые дети посетили те же самые сады, чтобы пополнить свои букеты.

Гости явились на вечеринку в своих лучших нарядах, и теперь за два дня нужно было почистить эти наряды, выстирать их, накрахмалить, починить и выгладить. Всюду царила суматоха. Возбуждение не выходило за рамки приличий, но все-таки было скорее радостным.

Вечером второго дня друзья Дэнни собрались в доме Дэнни. Туман первого потрясения и похмелья рассеялся, и теперь они были в ужасе: из всех жителей Тортилья-Флэт только они, больше всех любившие Дэнни, больше всех от него получившие,— только они не могли пойти на похороны Дэнни. Сквозь мутные потемки головной боли они и раньше осознавали эту страшную трагедию, но теперь она стала конкретной реальностью, и надо было искать выход. Их одежда и вообще никуда не годилась. Вечеринка же состарила их штаны и рубахи на много лет. Чьи штаны не порвались на коленях? Чья рубаха была без прорех? Умри кто-нибудь другой, они могли бы занять приличные костюмы, но все до одного обитатели Тортилья-Флэт собирались теперь на похороны, и, разумеется, в лучшей своей одежде. Только Коки Риордан не мог пойти, но Коки находился в карантине из-за оспы, а с ним в карантине была и его одежда. Можно было бы выпро-

сить или украсть денег на один хороший костюм, но о том, чтобы раздобыть деньги на шесть костюмов, не приходилось и мечтать.

Вы скажете: неужели они так мало любили Дэнни, что не могли пойти на его похороны в лохмотьях? А вы пошли бы в лохмотьях, когда все остальные блистают роскошью нарядов? И разве пойти на похороны Дэнни в лохмотьях не значило бы проявить к нему даже больше неуважения, чем вовсе на них не пойти?

Отчаяние, сжимавшее их сердца, не поддается измерению. Они кляли свою судьбу. Сквозь открытую дверь они увидели, как мимо прошествовал Гальвес. Гальвес купил новую одежду для похорон и надел ее за сутки вперед. Друзья сидели, подперев головы кулаками, сломленные своим несчастьем. Они уже обсудили все возможности.

Пилон впервые в жизни пал до того, что начал говорить ерунду.

— Каждый может, конечно, попробовать ночью украсть себе костюм,— сказал он.

Но он знал, что сказал глупость, так как в эту ночь все костюмы будут лежать на стульях рядом с постелями своих хозяев. Пойти красть костюм значило бы пойти на смерть.

— Армия спасения иногда выдает одежду,— заметил Хесус Мария.

— Я был там,— отозвался Пабло.— У них на этот раз было четырнадцать платьев, и ни одного костюма.

Судьба была против них. Вошел Тито Ральф — из его грудного кармана торчал кончик нового зеленого платка. Но его встретили так враждебно, что он удалился, виновато пятясь.

— Будь у нас неделя, мы могли бы потрошить каракатиц,— героически сказал Пилон.— Но похороны завтра. Мы должны смотреть правде в глаза. И на похороны мы пойти можем.

— Каким образом? — спросили друзья.

— Оркестр и провожающие пойдут по мостовой, а мы пойдем по тротуару. Вокруг кладбищенской ограды растет высокая трава. Мы спрячемся там и все увидим.

Друзья посмотрели на Пилона с благодарностью. Они знали, что его острый ум без устали взвешивал каждую возможность. Но посмотреть на похороны — еще не самое главное. Куда важней самим показаться на похоронах. Однако другого выхода не было.

— Из этого мы должны извлечь урок,— сказал Пилон.— Нам следует позаботиться, чтобы у нас про запас всегда имелся хороший костюм. Никогда нельзя знать заранее, что может случиться.

Больше они об этом не говорили, но чувствовали, что потерпели поражение. Всю ночь они бродили по городу. Какой палисадник в ту ночь не лишился лучших своих цветов? Какое цвету-

щее дерево осталось нетронутым? Утром яма на кладбище, готовая принять тело Дэнни, совсем исчезла под грудой лучших цветов из лучших садов Монтерея.

Готовя свои эффекты, Природа не всегда проявляет тонкий вкус. Правда, накануне Ватерлоо шел дождь; сорок футов снега отрезало путь отряду Доннера. Но в пятницу погода была чудесная. Солнце светило так, словно на этот день был назначен веселый пикник. Чайки летели через улыбающийся залив к рыбоконсервным заводам. Удильщики заняли свои места на скалах, ожидая отлива. Аптека «Палас» опустила маркизы, чтобы защитить красные грелки в витринах от химического воздействия солнечных лучей. Мистер Мачадо, портной, повесил на окно своей мастерской записку: «Вернусь через десять минут»,— и ушел переодеваться к похоронам. Три сейнера подошли к пристани с большим уловом сардин. Луи Дуарте покрасил свою лодку и изменил ее название «Лолита» на «Три кузины». Джек Лейк, полицейский, остановил отъехавший от отеля «Дель Монте» двухместный автомобиль, но отпустил его с миром и купил себе сигару.

Неразрешимая загадка. Как могла жизнь идти своим глупым путем в такой день? Как могла Мейми Джексон поливать тротуар перед своим домом? Как мог Джордж У. Мерк писать свое четвертое и самое возмущенное письмо водопроводной компании? Как мог Чарли Марш, по обыкновению, напиться мертвецки пьяным? Это кощунство. Это попрание всего, что должно быть свято.

Друзья Дэнни проснулись в тоске и поднялись с пола. Кровать Дэнни была пуста. Она походила на боевого коня, который без седока идет за гробом своего хозяина-офицера. Даже Большой Джо Португалец не покусился на кровать Дэнни. Солнце радостно било в окно, отбрасывая на пол изящные тени паутины.

— В такое утро Дэнни бывал веселым,— сказал Пилон.

После обычной прогулки в овраг друзья некоторое время просидели на крыльце, отдавая положенную дань памяти друга. Они преданно перечисляли и восхваляли его добродетели. И преданно забывали его недостатки.

— И какой сильный,— сказал Пабло.— Он был силен, как мул! Он мог один поднять тюк сена.

Они рассказывали случаи, подтверждавшие доброту Дэнни, его храбрость, его благочестие.

Но слишком скоро настал час идти к церкви и стоять в лохмотьях на противоположном тротуаре. Они краснели в душе, когда к церкви потянулась вереница счастливчиков, великолепно одетых, отчаянно благоухающих цветочной водой. До друзей доносились музыка и визгливые отголоски заупокойных молитв.

Со своего наблюдательного пункта они видели, как прибыл кавалерийский эскадрон, и оркестр с барабанами и обернутыми войлоком палочками, и стрелковый взвод, и орудийный лафет, запряженный тремя парами лошадей с ездовыми на каждой правой лошади. Печальное цоканье лошадиных подков по асфальту наполняло сердца друзей отчаянием. Тоскливо смотрели они, как гроб вынесли из церкви, поставили на орудийный лафет и прикрыли флагом. Офицер свистнул в свой свисток, поднял руку и опустил ее. Эскадрон тронулся, стрелки взяли винтовки наперевес. Барабаны глухо загремели траурный марш. Орудийный лафет двинулся с места. Провожающие торжественно зашагали позади: мужчины держались прямо и сурово, женщины изящно приподымали юбки, оберегая их от неизгладимых следов, оставляемых кавалерией. Тут были все: Корнелия Руис, миссис Моралес, Гальвес, Торрелли и его пухленькая жена, миссис Палочико, предатель Тито Ральф, Конфетка Рамирес, мистер Мачадо — короче говоря, все, кто хоть что-нибудь значил в Тортилья-Флэт, а также все остальные.

Так можно ли удивляться, что друзья не выдержали горького позора? Правда, поддерживаемые героической решимостью, они несколько минут все же брели по тротуару.

Первым сдался Хесус Мария. Он зарыдал от стыда, потому что его отец был богатым и всеми уважаемым боксером. Хесус Мария понурил голову и бросился бежать, пятеро друзей последовали за ним, а позади, прыгая и резвясь, бежали пять собак.

Когда процессия приблизилась к кладбищу, друзья Дэнни уже лежали в высокой траве у ограды. Погребение было по-военному кратким. Гроб опустили в могилу, грянул винтовочный залп, труба пропела отбой, и, услышав ее, Энрике и Пушок, Пахарито, Рудольф и Сеньор Алек Томпсон задрали морды и завыли. Как гордился ими в эту минуту Пират!

Все кончилось слишком быстро. Друзья поспешно ушли, чтобы никто их не увидел.

На обратном пути они неминуемо должны были пройти мимо пустого дома Торрелли. Пилон влез в окно и вынес две бутыли вина. И тогда они медленно пошли к затихшему дому Дэнни. Они чинно разлили вино по банкам и стали пить.

— Дэнни любил вино,— говорили они.— Дэнни бывал счастлив, когда ему удавалось достать немного винца.

День кончился. Наступил вечер. И каждый, прихлебывая свое вино, мысленно бродил в прошлом. В семь часов пришел пристыженный Тито Ральф и принес коробку сигар, которую он выиграл в лотерею. Друзья закурили сигары, сплюнули и откупорили вто-

рую бутыль. Пабло запел начало песни «Тюли Пан»,— просто чтобы проверить, не пропал ли у него голос.

— Корнелия Руис шла сегодня одна,— заметил Пилон.

— Может, не будет ничего дурного, если мы споем несколько грустных песен? — сказал Хесус Мария.

— Но Дэнни не любил грустных песен,— возразил Пабло.— Он любил забористые песни о бойких женщинах.

Все согласно закивали.

— Да, Дэнни знал толк в женщинах.

Пабло начал вторую строфу «Тюли Пан», Пилон стал потихоньку подтягивать, а под конец к ним присоединились и все остальные.

Когда песня была допета, Пилон затянулся, но оказалось, что сигара его погасла.

— Тито Ральф,— сказал он,— сходил бы ты за своей гитарой, чтобы нам лучше пелось.

Он закурил сигару и отбросил спичку. Маленькая горящая палочка упала на старую газету у стены. Все, как один, вскочили, чтобы затоптать ее, и на каждого снизошло одно и то же озарение, и они вернулись на свои места. Они поглядели друг другу в глаза и улыбнулись мудрой улыбкой бессмертных, лишенных надежды. Словно во сне смотрели они, как пламя замигало и чуть не погасло, а потом воспрянуло, вновь ожив. Они увидели, как оно расцвело на газете. Так в ничтожных пустяках слышен голос богов. И люди с улыбкой смотрели, как догорает газета и как занимается сухая деревянная стена.

Так и должно быть, о мудрые друзья Дэнни. Узы, соединявшие вас, рассечены. Магнит, собравший вас, утратил силу. Дом этот перейдет к новому владельцу, к какому-нибудь унылому родственнику Дэнни. Так пусть же этот символ святой дружбы, этот добрый дом веселых вечеринок и драк, любви и покоя погибнет, как погиб Дэнни в последнем великолепном и тщетном восстании против богов.

Они сидели и улыбались. А огонь, как змея, вполз к потолку, пробил крышу и заревел. Только тогда друзья встали со своих стульев и словно во сне вышли на улицу.

Пилон, извлекавший пользу из каждого урока, захватил с собой остатки вина.

Из Монтерея донесся вой сирен. Заревели пожарные машины, взбираясь вверх по холму на второй передаче. Лучи прожекторов заметались среди сосен. Когда пожарные прибыли, дом уже превратился в тупой конус огня. Насосы поливали деревья и траву, чтобы пожар не перекинулся на соседние дома.

В толпе сбежавшихся обитателей Тортилья-Флэт словно зачарованные стояли друзья Дэнни и смотрели, не отводя глаз, пока от дома не осталась только черная куча золы, над которой клубился пар. Тогда пожарные машины развернулись и с выключенной передачей покатили вниз по склону.

Обитатели квартала исчезли во тьме. Друзья Дэнни все еще стояли и смотрели на дымящееся пожарище. Порой они обменивались странными взглядами, и глаза их снова обращались к сожженному дому. А потом они повернулись и медленно пошли прочь. И каждый шел один.

ГРОЗДЬЯ ГНЕВА

Кэрол, которая подвигла меня на это. Тому, который испытал все это на себе.

ПЕРЕВОД Н. ВОЛЖИНОЙ

ГЛАВА I

Красные поля и часть серых полей Оклахомы только сбрызнуло последними дождями, и этого было слишком мало, чтобы размягчить запекшуюся землю. Плуги прошлись по полям, исчерченным струйками не впитавшейся в почву воды. После дождей кукуруза быстро дала ростки, по обочинам дорог зазеленели травы и бурьян,— и серые поля и темно-красные поля начали исчезать под зеленым покровом. В конце мая небо выцвело, и облака, всю весну державшиеся кучками высоко в небе, мало-помалу растаяли. Горячее солнце день за днем пекло подрастающую кукурузу, и вот по краям зеленых побегов уже начала проступать коричневая полоска. Тучи появлялись ненадолго и исчезали, а потом и вовсе перестали собираться. Зеленый бурьян потемнел, защищаясь от солнца, и уже не захватывал новых участков. На поверхности земли образовалась тонкая спекшаяся корка, и по мере того как выцветало небо, выцветала и земля: красные поля становились жухло-розовыми, серые выгорали до белизны.

По канавкам, размытым прошлогодними дождями, земля струилась сухими струйками. Пробегая по ним, суслики и муравьиные львы ссыпали вниз маленькие лавины пыли. Солнце палило изо дня в день, и листья молодой кукурузы становились уже не такими упругими и прямыми: сначала они чуть прогнулись посередине, потом жилки потеряли свою крепость, и лист поник к земле. Пришел июнь, и солнце стало печь еще свирепее. Коричневая полоска по краям кукурузных листьев ширилась, подбираясь к центральной жилке. Бурьян сморщился, и стебли его повисли вниз, касаясь корней. Воздух был прозрачный, небо — совсем выцветшее, и земля тоже выцветала день ото дня.

На дорогах, там, где землю дробили колеса и рассекали лошадиные копыта, корка подсохшей грязи превратилась в пыль. Все движущееся по этим дорогам поднимало ее за собой: пешеход шел по пояс в тонкой пыли, фургон взметал ее вровень с изгородью, за автомобилем она клубилась облаком. Пыль долго стояла в воздухе, прежде чем снова осесть на землю.

Когда июнь уже близился к концу, из Техаса и Мексиканского залива надвинулись тучи — тяжелые грозовые тучи. Люди в полях смотрели на них, втягивали ноздрями воздух, поднимали руку, послюнив палец,— проверяли, есть ли ветер. И лошади беспокоились, не стояли на месте. Грозовые тучи окропили землю дождем и быстро ушли дальше, в другие страны. Небо после их ухода было такое же выцветшее, солнце палило по-прежнему. Дождевые капли, упав на землю, пробуравили в пыли маленькие воронки, немного промыли кукурузные листья, и это было все.

Вслед тучам повеял мягкий ветер, он гнал их к северу и легко покачивал увядающую кукурузу. Прошел день, и ветер окреп, но дул он ровно, без порывов. Дорожная пыль поднялась в воздух, ее относило на бурьян, росший по обочинам дорог, и на поля. Теперь ветер дул сильно и резко, он старался раскрошить подсохшую корку на кукурузных грядах. Мало-помалу небо потемнело, а ветер все шарил по земле, вздымая пыль и унося ее с собой. Ветер крепчал. Зепекшаяся корка не устояла перед ним, над полями поднялась пыль, тянувшаяся серыми, похожими на дым космами. Кукуруза с сухим шуршанием хлестала налетавший на нее ветер. Тончайшая пыль уже не оседала на землю, а шла вверх, в потемневшее небо.

Ветер крепчал, он забирался под камни, уносил за собой солому, листья и даже небольшие комья земли и отмечал ими свой путь, проносясь по полям. Воздух и небо потемнели, солнце отсвечивало красным, от пыли першило в горле. За ночь ветер усилился; он ловко пробирался между корнями кукурузы, и она отбивалась от него ослабевшими листьями до тех пор, пока он не вырывал ее из земли, и тогда стебли устало валились набок, верхушками указывая направление ветра.

Наступило время рассвета, но день не пришел. В сером небе появилось солнце — мутно-красный круг, излучающий слабый, похожий на сумерки свет; к вечеру сумерки снова слились с темнотой, и в темноте над повалившейся кукурузой завывал и плакал ветер.

Люди сидели по домам, а если им случалось выходить, они завязывали нос платком и надевали очки, чтобы защитить глаза от пыли.

Снова наступила ночь — кромешно черная, потому что звезды не могли проникнуть сквозь мглу, а света из окон хватало только на то, чтобы разогнать темноту во дворе около жилья. Пыль смешалась с воздухом, слилась с ним воедино, точно эмульсия из пыли и воздуха. Дома были закрыты наглухо, дверные и оконные щели забиты тряпками, но пыль незаметно проникала внутрь и тончайшим слоем ложилась на стулья и столы, на посуду. Люди стряхивали ее у себя с плеч. Еле заметные полоски пыли наметало к дверным порогам.

Среди ночи ветер смолк, и наступила тишина. Пропитанный пылью воздух приглушал звуки, как не приглушает их даже туман. Лежа в постелях, люди услышали, что ветер утих. Они проснулись в ту минуту, когда свист его замер вдали. Они лежали и напряженно вслушивались в тишину. Вот закукарекали петухи, но их голоса звучали приглушенно, и люди беспокойно заворочались в постелях, думая: скорей бы утро. Они знали: такая пыль уляжется не скоро. Утром она стояла в воздухе, точно туман, а солнце было ярко-красное, как свежая кровь. И этот день, и весь следующий небо сеяло пыль на землю. Земля покрылась ровным мягким слоем. Пыль оседала на кукурузу, скапливалась кучками на столбах изгородей, на проводах; она оседала на крыши, покрывала траву и деревья.

Люди выходили из домов и, потянув ноздрями опаляющий жаром воздух, прикрывали ладонью нос. И дети тоже вышли из домов, но они не стали носиться с криками по двору, как это бывает с ними после дождя. Мужчины стояли у изгородей и смотрели на погибшую кукурузу, которая быстро увядала теперь и только кое-где проглядывала зеленью сквозь слой пыли. Мужчины молчали и не отходили от изгородей. И женщины тоже вышли из домов и стали рядом с мужьями, спрашивая себя, хватит ли у мужчин сил выдержать это. Женщины украдкой приглядывались к лицам мужей,— кукурузы не жалко, пусть пропадает, лишь бы сохранить другое, главное. Дети стояли рядом, выводя босыми ногами узоры на пыли, и дети тоже старались проведать чутьем, выдержат ли мужчины и женщины. Дети поглядывали на лица мужчин и женщин и осторожно чертили по пыли босыми ногами. Лошади подходили к водопою и, мотая мордами, разгоняли налет пыли на поверхности воды. И вот выражение растерянности покинуло лица мужчин, уступило место злобе, ожесточению и упорству. Тогда женщины поняли, что все обошлось, что на этот раз мужчины выдержат. И они спросили: что же теперь делать? И мужчины ответили: не знаем. Но это было не страшно, женщины поняли, что это не страшно, и дети тоже поняли, что это не страшно. Женщины и дети знали твердо: нет такой беды,

которую нельзя было бы стерпеть, лишь бы она не сломила мужчин. Женщины вернулись к домашним делам, дети занялись игрой, но игра не сразу пошла на лад. К середине дня солнце было уже не такое красное. Оно заливало зноем укрытую пылью землю. Мужчины сели на крылечки; в руках они вертели кто прутик, кто камешек. Они сидели молча... прикидывали... думали.

ГЛАВА II

У небольшого придорожного бара стоял громадный красный грузовик. Вертикальная выхлопная труба глухо пофыркивала, и над ней стлался почти невидимый глазу серо-голубой дымок. Грузовик поблескивал свежей красной краской, а по борту у него шла надпись огромными буквами: *Транспортная компания Оклахома-Сити*. Двойные шины на скатах были новые, на засове широкой задней дверцы стоял торчком медный замок. Из бара доносилась спокойная танцевальная музыка; радио было пущено совсем тихо, очевидно, его никто не слушал. Маленький вентилятор бесшумно вертелся в круглом отверстии над входом, и мухи взволнованно жужжали у двери и окон, ударяясь о металлическую сетку. В баре был только один посетитель — шофер грузовика; он сидел на табурете, поставив локти на стойку, и смотрел поверх чашки кофе на скучающую худую официантку. Между ними шел пустой, ни к чему не обязывающий разговор, какие часто ведутся в придорожных барах:

— Я его видел месяца три назад, после операции. Вырезали ему что-то. Только не помню что.

И она:

— Да я сама его видела на прошлой неделе. Здоровый был, ни на что не жаловался. Он ничего малый, пока не напьется.

Мухи то и дело с жужжаньем налетали на металлическую дверную сетку. Из электрического кофейника пошел пар, официантка, не глядя, протянула назад руку и выключила его.

На шоссе появился прохожий. Увидев грузовик, он медленно подошел к нему, тронул рукой блестящее крыло и посмотрел на бумажку, приклеенную к ветровому стеклу: «Брать пассажиров воспрещается». Он хотел было идти дальше своей дорогой, но раздумал и сел на подножку грузовика с той стороны, которая была дальше от бара. Человек этот выглядел лет на тридцать, не больше. Глаза у него были темно-карие, с желтоватыми белками, скулы широкие, по обе стороны рта залегли две глубокие морщины. Зубы выдавались вперед, но их не было видно, потому что он держал губы сомкнутыми; руки были огрубевшие, ногти толстые

и твердые, как ракушки. В выемке между большим и указательным пальцами и на мясистой части ладоней поблескивали мозоли.

Человек был одет во все новое — недорогое и новое. Козырек его серой кепки даже не успел погнуться, и пуговка на нем еще сидела на месте. Кепка не потеряла формы, не обвисла, как это бывает, когда головной убор служит одновременно и сумкой, и полотенцем, и носовым платком. Серый костюм из дешевой грубой материи тоже был настолько новый, что на брюках еще сохранилась складка. Нестираная синяя рубашка торчала колом. Пиджак был ему слишком широк, а брюки коротки, не по росту. Проймы шли ниже, чем следует, но рукава все равно не доходили до запястий, полы пиджака болтались спереди. На ногах у него были новые коричневые башмаки армейского образца, подбитые гвоздями и с железными пластинками, вроде маленьких подковок, чтобы не сбивать каблуков. Человек сел на подножку грузовика, снял кепку, вытер ею лицо, снова надел ее и потянул за козырек, тем самым положив начало его гибели. Потом он нагнулся, ослабил шнурки на башмаках — и так и оставил концы незавязанными. У него над головой из выхлопной трубы дизель-мотора быстро один за другим вырывались легкие облачка голубого дыма.

Музыка в баре смолкла, из репродуктора послышался мужской голос, но официантка не выключила радио, потому что она даже не заметила этой перемены. Ее пальцы нащупали за ухом прыщик. Она пыталась разглядеть его в зеркале, висевшем над стойкой, но так, чтобы шофер ничего не заметил, и поэтому притворялась, будто поправляет прядь волос. Шофер сказал:

— В Шоуни на днях публика собралась потанцевать. Говорят, убили кого-то. Ничего не слыхала?

— Нет,— ответила официантка и осторожно потрогала пальцем прыщик за ухом.

Человек, сидевший на подножке грузовика, встал и посмотрел через капот на бар. Потом снова сел и вынул из кармана пиджака кисет с табаком и книжечку курительной бумаги. Медленно и с большим искусством он свернул самокрутку, осмотрел ее со всех сторон, выровнял пальцами, закурил и ткнул горящую спичку под ноги, в пыль. Полдень был уже близок, и солнце понемногу съедало тень, падавшую от грузовика.

В баре шофер заплатил за кофе и сунул сдачу — две монеты по пяти центов — в автомат. Вращающиеся цилиндры не дали нужной комбинации.

— Эти штуки так устроены, что никогда не выиграешь,— сказал он официантке.

Она ответила:

— А одному повезло, большой выигрыш сорвал. Совсем недавно, часа три назад. Три доллара восемьдесят. Когда будешь обратно?

Шофер приостановился на пороге.

— Через неделю, а то дней через десять,— ответил он.— В Талсу еду, а там всегда задерживаешься.

Она сердито сказала:

— Мух напустишь. Или уходи, или закрой дверь.

— Ладно, до свиданья,— сказал шофер и вышел.

Дверь за ним захлопнулась. Он стал на солнцепеке, срывая обертку с жевательной резины,— грузный, широкоплечий, с уже заметным брюшком. Лицо у него было красное, глаза голубые и узкие, как щелочки, от привычки щуриться на ярком свету. На нем были брюки защитного цвета и высокие зашнурованные башмаки. Поднеся жевательную резину ко рту, он крикнул официантке:

— Ну, будь умницей, чтобы мне на тебя не жаловались.

Официантка стояла повернувшись лицом к зеркалу. Она буркнула что-то в ответ. Шофер медленно жевал резину, широко открывая рот. Потом пошел к своему красному грузовику, на ходу примял зубами резиновую жвачку и забрал ее под язык.

Пешеход встал и посмотрел на шофера сквозь окна кабины.

— Не подвезете меня, мистер?

Шофер бросил быстрый взгляд на бар.

— Не видишь разве, что у меня на ветровом стекле?

— Как не видеть — вижу. А все-таки порядочный человек — он всегда порядочный, даже если какая-нибудь богатая сволочь заставляет его ездить с такой наклейкой.

Шофер медленно полез в машину, раздумывая над этим ответом. Если отказать, значит, не только опорочить самого себя, но и признаться в том, что тебя заставляют разъезжать с такой наклейкой и лишают компании в пути. А если взять пассажира, значит, причислить себя к разряду людей порядочных, которые к тому же не позволяют всякой богатой сволочи распоряжаться тобой как угодно. Он чувствовал, что попался в ловушку, но выхода из нее найти не мог. А ему очень хотелось быть порядочным. Он снова взглянул на бар.

— Примостись как-нибудь на подножке вон до того поворота,— сказал он.

Человек нырнул вниз и ухватился за дверную ручку. Шофер включил зажигание, мотор взревел, и громадный грузовик тронулся с места,— первая скорость, вторая, третья, машина пронзительно взвыла и перешла на четвертую скорость. Сливаясь в мутное пятно, дорога с головокружительной быстротой проносилась

перед глазами человека, прильнувшего к подножке. Первый поворот был за милю от бара, и, обогнув его, грузовик поехал медленнее. Человек выпрямился, приоткрыл дверцу и пробрался в кабину. Шофер взглянул на него прищуренными глазами, продолжая жевать, словно его мысли и впечатления приводились в надлежащий порядок с помощью челюстей и только потом проникали в мозг. Его взгляд задержался сначала на новой кепке, потом на новом костюме и наконец скользнул к новым башмакам пассажира. Тот уселся поудобнее, снял кепку и вытер ею взмокший лоб и подбородок.

— Спасибо, приятель,— сказал он.— А то мои ходули совсем отказываются служить.

— Новые башмаки,— сказал шофер. В его голосе была та же вкрадчивость и хитрость, что и во взгляде.— Разве можно пускаться в дорогу в новых башмаках, да еще по такой жарище!

Человек взглянул на свои покрытые пылью желтые башмаки.

— Других не было,— сказал он.— Что есть, то и носишь.

Шофер внимательно посмотрел на дорогу и немного увеличил скорость.

— Далеко идешь?

— Угу. Я расстояния не боюсь, да вот только ходули мои совсем отказываются служить.

Шофер так выспрашивал его, будто производил осторожный допрос. Он будто раскидывал перед ним сети, ставил ловушки.

— Ищешь работу?

— Нет, у моего старика тут участок. Арендует. Мы уже давно в этих местах.

Шофер многозначительно посмотрел на поля вдоль дороги, на полегшую, занесенную пылью кукурузу. Из-под слоя пыли кое-где проглядывали мелкие камни. Шофер проговорил будто самому себе:

— Что ж, так он и сидит на своем участке? И пыль ему нипочем, и тракторы ему нипочем?

— Не знаю. Мне последнее время из дому не писали,— ответил пассажир.

— Значит, давненько не писали,— сказал шофер. В кабину залетела пчела и с жужжанием стала биться о ветровое стекло. Шофер протянул руку и осторожно подвинул пчелу к окну кабины, где ее подхватило ветром.— Арендаторам сейчас крышка,— сказал он.— Одним трактором сразу десять семей с места сгоняют. Эти тракторы таких дел наделали! Запахивают участок, а арендатора долой. Как это твой старик удержался? — Его язык и челюсти снова занялись резиной, стали жевать ее и перекладывать со стороны на сторону. Каждый раз, как он открывал рот, между

губами у него виднелся язык, гоняющий с места на место резиновую жвачку.

— Да я давно ничего не получал из дому. Сам писать не люблю, отец тоже на эти дела не мастер.— Пассажир быстро добавил: — Но писать мы умеем, была бы только охота.

— Работал где-нибудь? — Снова тот же пытливый, вкрадчивый и как бы небрежный тон. Шофер взглянул на поля, на дрожащий от зноя воздух и, засунув резину за щеку, чтобы не мешала, сплюнул в окно.

— А как же, конечно, работал,— ответил пассажир.

— Так я и думал. По рукам сразу видно — мозолистые. Топор, а то кирка или молот. Я такие вещи всегда замечаю. Не могу не похвалиться.

Пассажир пристально посмотрел на него. Колеса грузовика с монотонным шуршаньем скользили по шоссе.

— Еще что-нибудь хочешь узнать? Я сам расскажу. Зачем тебе голову зря ломать?

— Брось ты. Вот — рассердился. Я в твои дела не суюсь.

— Я сам все расскажу. Мне скрывать нечего.

— Да брось, не сердись. Я люблю ко всему приглядываться. Время незаметно проходит.

— Я тебе все расскажу. Фамилия Джоуд. Том Джоуд. Отец тоже Том Джоуд.— Глаза его сумрачно смотрели на шофера.

— Брось сердиться. Это я просто так.

— Я тоже просто так,— сказал Джоуд.— Я живу тихо и зря никого не обижаю.— Он замолчал и взглянул на сухие поля, на истощенные зноем деревья, видневшиеся вдали сквозь раскаленный воздух. Потом достал из бокового кармана кисет и бумагу и свернул самокрутку, опустив руки между коленями, чтобы табак не унесло ветром.

Шофер двигал челюстями размеренно и задумчиво, точно корова. Он молчал, выжидая, когда впечатление от предыдущего разговора изгладится, и лишь только чувство неловкости рассеялось, сказал:

— Кто не сидел целыми днями за рулем, тот не знает, что это такое. Хозяева не позволяют нам брать попутчиков. Вот и гоняй из конца в конец один, как проклятый, если не хочешь нарваться на расчет. А я с тобой, того и гляди, нарвусь.

— Ценю,— сказал Джоуд.

— Некоторые шоферы черт-те что выделывают. Один, например, стихи сочинял, чтобы время проходило быстрее.— Он взглянул украдкой на Джоуда, не заинтересуется ли тот таким поразительным сообщением. Джоуд молчал, глядя прямо перед собой, глядя на дорогу, на белую дорогу, которая уходила вдаль мягкой

волнистой линией, повторяющей линию холмов. Так и не дождавшись ответа, шофер продолжил свой рассказ: — Одни его стихи я помню. Там так было: будто он и еще двое его приятелей разъезжают по всему свету, пьянствуют, дебоширят. Эх, жалость, всего не могу повторить! Он там таких длинных слов наворочал, сам черт не разберет. Помню только одно место: «Повстречался нам голландец, у него протуберанец ни в один не лезет ранец». Протуберанец — это выступ. Он мне в словаре сам показывал. Ни на минуту со своим словарем не расставался. Подъедет к закусочной, закажет себе кофе с пирогом, а сам уткнется носом в словарь.— Шофер замолчал. Говорить одному, да еще так долго, было неприятно. Его пытливый взгляд снова остановился на пассажире. Джоуд сидел молча. Шоферу стало не по себе, и он сделал еще одну попытку втянуть Джоуда в разговор.— Слыхал, чтобы такие словеса выворачивали?

— Слыхал — проповедника,— сказал Джоуд.

— Проповедник это дело другое, с ним лясы точить не станешь. Вообще-то зло берет, когда так говорят, но тот малый был весельчак. Все знали, что он это на смех делает, а не так, чтобы похвалиться: вот я какой ученый! — Шофер успокоился. Теперь он, по крайней мере, знал: его слушают. Он сделал такой крутой поворот, что шины взвизгнули.— Вот я и говорю,— продолжал он,— некоторые ребята черт-те что вытворяют. Приходится. Сидишь-сидишь за рулем, ничего, кроме дороги, не видишь — поневоле ум за разум зайдет. Про шоферов болтают, будто они только и делают, что жрут,— ездят из одного бара в другой и жрут.

— Правильно. И днюют и ночуют в барах,— сказал Джоуд.

— Конечно, остановки мы делаем, но это не ради еды. Нам и есть-то редко когда хочется. Едешь-едешь — осточертеет вконец. Останавливаться можно только около баров, а если остановился, надо что-нибудь заказать. Перекинешься словечком с официанткой, закажешь стакан кофе, кусок пирога. Отдохнешь малость.— Он медленно жевал резину, подправляя ее языком.

— Туго вам приходится,— равнодушно сказал Джоуд.

Шофер быстро взглянул на своего пассажира, заподозрив в его словах насмешку.

— Да, нелегко,— раздраженно сказал он.— Будто и плевое дело: отсидел за рулем свои восемь, а то и десять и четырнадцать часов в день — и все. А дорога тебе в душу въедается. Вот и придумываешь, чем бы поразвлечься. Кто поет, кто посвистывает. Радиоприемники компания не позволяет ставить. Некоторые ездят с бутылочкой, но таких ненадолго хватает.— Он добавил самодовольным тоном: — Я в дороге никогда не пью.

— Будто и не пьешь? — спросил Джоуд.

— Нет. Надо в люди выбиться. Хочу поступить на заочные курсы. Изучу механику. Это нетрудно. Уроки задают легкие. Я серьезно об этом подумываю. Тогда прощай грузовик. Пусть другие поездят.

Джоуд достал из бокового кармана бутылку виски.

— Неужто не хочешь? — Он точно поддразнивал шофера.

— Нет, ну ее! И не притронусь. Что-нибудь одно: или пить, или учиться.

Джоуд откупорил виски, быстро один за другим сделал два глотка, снова закрыл бутылку металлическим колпачком и сунул ее в карман. По кабине разнесся резкий, пряный запах виски.

— Ты какой-то беспокойный,— сказал Джоуд.— Что тебя ест? Девочку, что ли, завел?

— А то как же? Да не в том дело, надо в люди выбиться. Я свои мозги уже давно тренирую.

Виски, по-видимому, развязало Джоуду язык. Он свернул еще одну самокрутку и закурил.

— Теперь уж мне недалеко,— сказал он.

Шофер торопливо заговорил:

— Мне напиваться незачем. Я тренируюсь, развиваю в себе наблюдательность. Два года назад прошел специальный курс.— Он погладил правой рукой штурвал руля.— Предположим, идет мне навстречу пешеход. Я на него посмотрю и стараюсь все запомнить — как он одет, какие на нем башмаки, что на голове, и походку примечу, а иногда и рост, и есть ли шрамы на лице, да еще прикинешь, какой у него вес. Ничего, получается. Будто перед собой этого человека видишь. Думаю, не изучить ли мне дактилоскопию. Есть и такой курс. Иной раз сам себе удивляешься, сколько всего можно запомнить.

Джоуд быстро отхлебнул виски. Он поднес расползшуюся самокрутку ко рту, затянулся последний раз и притушил горящий конец заскорузлыми пальцами. Потом смял окурок, протянул руку в окно, и ветер сдул табак у него с ладони. Толстые шины ровно напевали, скользя по шоссе. В спокойных темных глазах Джоуда, смотревших на дорогу, появилось насмешливое выражение. Шофер замолчал и встревоженно покосился на своего пассажира. Наконец длинная верхняя губа Джоуда дрогнула, обнажив зубы, и его плечи затряслись от беззвучного смеха:

— Долго же ты к этому подбирался, приятель.

Шофер сидел, глядя прямо перед собой.

— Подбирался? К чему? О чем это ты?

Джоуд плотно сжал губы, потом лизнул их, точно собака — в два приема, от середины к уголкам рта. В его голосе появились резкие нотки.

— Сам знаешь о чем. Ты и меня с ног до головы оглядел. Думаешь, я не заметил?

Не поворачивая головы, шофер стиснул штурвал руля, руки у него побелели, под кожей вздулись мускулы.

Джоуд продолжал:

— Ты же знаешь, откуда я иду.

Шофер молчал.

— Ведь знаешь? — повторил Джоуд.

— Ну, знаю... То есть догадываюсь. Только меня это не касается. Мое дело сторона. Мне то что? — Он говорил быстро.— Я в чужие дела не суюсь.— И вдруг выжидающе замолчал. Побелевшие руки все еще сжимали штурвал руля.

В окно кабины влетел кузнечик; он уселся на щитке контрольных приборов и начал чистить крылышки своими коленчатыми, пружинящими ножками. Джоуд протянул руку, раздавил пальцами твердую, похожую на череп головку насекомого и выкинул его за окно, на ветер. С тем же беззвучным смешком он посучил пальцами, только что державшими раздавленного кузнечика.

— Ошиблись, мистер. Я ничего замалчивать не собираюсь. Ну, сидел я в Мак-Алестере. Четыре года отбарабанил. И одежку мне там дали перед выходом. Пусть все знают, плевал я на это. Вот иду теперь домой к отцу, потому что без вранья работы не найдешь, а врать я не собираюсь.

Шофер сказал:

— Это меня не касается. Я в чужие дела носа не сую.

— Это ты не суешь? — сказал Джоуд.— Да у тебя нос на восемь миль вперед вытянулся. Ты своим носом меня обнюхал, точно овца капусту.

Шофер насупился.

— Зря ты так говоришь...— вяло начал он.

Джоуд рассмеялся.

— Ты малый неплохой — подвез меня. Ну, сидел я в тюрьме. Дальше что? Хочешь знать, как я туда попал?

— Это меня не касается.

— Тебя ничего не касается. Ты будто и вправду — гоняешь свой рыдван и больше ничего знать не знаешь. А на поверку выходит другое. Ну да ладно. Видишь проселочную дорогу?

— Вижу.

— Я там слезу. Ты, верно, в штаны напустил от любопытства, очень уж тебе хочется узнать, за что меня посадили. Ну, не буду тебя мучить.— Рокот мотора стал глуше, песенка шин начала понемногу затихать. Джоуд вынул бутылку и отхлебнул от нее. Грузовик подъехал к проселочной дороге, под прямым углом пересекавшей шоссе. Джоуд вылез и стал у окна кабины. Выхлопная

труба лениво подавала еле видный голубоватый дымок. Джоуд наклонился к шоферу.— Человекоубийство,— быстро проговорил он.— Вот тебе еще одно длинное слово. А попросту говоря, убил я одного молодчика. Заработал семь лет. Отделался четырьмя годами, потому что знал, как себя там вести.

Шофер скользнул глазами по лицу Джоуда, стараясь запомнить его.

— Я тебя ни о чем таком не спрашивал,— сказал он.— Мое дело сторона.

— Можешь доложить об этом во всех барах, отсюда до Тексолы.— Джоуд улыбнулся.— Ну, прощай, приятель. Ты малый неплохой. Только запомни: кто побывал в тюрьме, тот издали почует, куда ты гнешь. Тебе только стоило рот открыть — и готово дело, все ясно.— Джоуд хлопнул ладонью по металлической дверце.— Спасибо, что подвез. Прощай.— Он повернулся и вышел на проселочную дорогу.

Минуту шофер молча смотрел ему вслед, потом крикнул:

— Счастливо!

Джоуд, не оборачиваясь, помахал рукой. Мотор взревел, заскрежетала передача, и громадный красный грузовик тяжело тронулся с места.

ГЛАВА III

Вдоль бетонированного шоссе тянулась кромка густой высохшей травы, и стебельки ее клонились к земле,— овсюг поджидал первую пробегающую мимо собаку, чтобы зацепиться усиками за ее шерсть, лисохвост — первую лошадь, чтобы стряхнуть свои семена ей на щетку, клевер — первую овцу, чтобы она унесла его щетинки на своей шубе. Спящая жизнь ждала, когда ее развеют, разнесут во все стороны, и каждое семечко было вооружено особым приспособлением для такого путешествия: ножкой, похожей на изогнутый дротик, парашютом, маленьким копьем или крохотной колючкой,— и все это поджидало животных или ветра, отворота на мужских брюках или подола женской юбки — поджидало терпеливо, но настороженно, поджидало спокойно, тихо, но в полной готовности к передвижению.

Лучи солнца падали на траву и грели ее, а в тени между стебельками сновали насекомые — муравьи и подстерегающие их муравьиные львы, суетливые, похожие на маленьких армадилл, сороконожки, кузнечики, которые то и дело взвивались в воздух, сверкая желтоватыми крылышками. А вдоль дороги, поворачивая голову то вправо, то влево, волочила по траве свой выпуклый панцирь черепаха. Ее жесткие лапы с желтоватыми когтями мед-

ленно ступали по траве, вернее — продирались сквозь траву, таща на себе тяжелый панцирь. Ячменные семена скользили по нему, ворсинки клевера падали на него и скатывались на землю. Роговой клюв у черепахи был чуть приоткрыт, глаза пронзительным, насмешливым взглядом смотрели на дорогу из-под жестких надбровных дуг. Позади нее оставалась полоса примятой травы, впереди вставала дорожная насыпь, казавшаяся ей высоким холмом. Она остановилась, подняв голову, прищурилась, посмотрела вверх, потом вниз и двинулась дальше. Передние когтистые лапы вытянулись одна за другой, но черепаха тотчас же убрала их. Заработали задние, и панцирь подался вверх, с травы на гравий. Чем круче насыпь, тем резче становились движения черепахи. Задние лапы скользили, обрывались, подталкивая панцирь, длинная шея с чешуйчатой головой была вытянута до предела. Мало-помалу панцирь одолел дорожную насыпь и подобрался вплотную к бетонному борту вышиной в четыре дюйма, который пересекал ему путь. Задние лапы, словно действуя независимо от всего тела, двинули его выше. Шея вытянулась, и черепаха заглянула через борт на широкую гладь шоссе. Потом на борт легли передние лапы, они напряглись, и панцирь медленно подтянулся кверху. Черепаха отдыхала. Рыжий муравей пробрался между панцирем и нижним щитком, щекотнул нежную кожу, и вдруг голова и ноги черепахи спрятались, чешуйчатый хвост ушел вбок, под панцирь. Рыжий муравей лежал, раздавленный, между лапой и брюшком. А колос овсюга, приставший к передней лапе, тоже очутился под панцирем. Долгое время черепаха лежала неподвижно, потом из-под верхнего щитка показалась длинная шея, насмешливые старческие глаза посмотрели по сторонам, а вслед за этим выглянули наружу ноги и хвост. Задние ноги пришли в движение, напружились, как у слона, и вот панцирь подался кверху, так что передние ноги оторвались от борта шоссе. Но задние подталкивали панцирь все выше и выше, центр тяжести переместился, передняя часть туловища скользнула вниз, когти царапнули по бетону, и черепаха стала на шоссе. А колос овсюга, обвившийся вокруг ее передних лап, так и застрял там.

Теперь идти было легче, и за работу принялись все четыре ноги; панцирь двигался вперед, покачиваясь из стороны в сторону. На шоссе показалась машина, за рулем которой сидела пожилая женщина. Она заметила черепаху и круто свернула вправо. Шины взвизгнули, подняв облако пыли. Два колеса на секунду оторвались от земли и тут же стали обратно. Машина пошла дальше, но уже гораздо медленнее. Черепаха, спрятавшая было голову и ноги, теперь заторопилась, потому что раскаленный бетон обжигал ее, точно огнем.

Через минуту-другую впереди показался небольшой грузовик, и когда он подъехал ближе, шофер увидел черепаху и свернул прямо на нее. Переднее колесо чиркнуло по краю панциря, подкинуло черепаху вверх, точно костяную фишку, завертело, точно монету, и сбросило с шоссе. А грузовик опять выехал на правую сторону дороги. Черепаха долго лежала на спине, не высовывая наружу ни головы, ни ног. Наконец ноги вытянулись в воздух, ища опоры. Передняя нащупала кусок кварца, и мало-помалу черепаха перевернулась спиной кверху. Колос овсюга отцепился от лап, и из него выпали три остроконечных семечка. А брюшной щит черепахи, спускавшейся теперь вниз по насыпи, прикрыл их слоем земли. Черепаха выбралась на проселочную дорогу и заковыляла по мягкому слою пыли, оставляя за собой волнистый след. Насмешливые старческие глаза смотрели прямо вперед, роговой клюв был полуоткрыт. Лапы с желтоватыми когтями чуть разъезжались в пыли.

ГЛАВА IV

Услышав, что грузовик тронулся с места и, набирая скорость, покатил по шоссе, глухо откликавшемуся на шлепки резиновых шин, Джоуд остановился и проводил его взглядом. Машина исчезла, а Джоуд все стоял, глядя вдаль, на дрожащий от зноя голубоватый воздух. Потом, словно в раздумье, достал из кармана бутылку виски, отвернул металлический колпачок, осторожно потянул из горлышка и, чтобы получить полное удовольствие, просунул туда язык и облизал губы. Он попробовал вспомнить: «Повстречался нам голландец...», но дальше этого дело не пошло. Тогда он повернулся спиной к шоссе и посмотрел на проселочную дорогу, уходившую под прямым углом в поля. Солнце пекло вовсю, пыль лежала ровным слоем, не потревоженная ветром. Дорога была изрезана колеями, до краев наполненными пылью, Джоуд сделал несколько шагов, и легкая, как мука, пыль, поднимающаяся перед его новыми башмаками, сейчас же запорошила их, превратив из желтых в серые.

Он нагнулся, развязал шнурки и сбросил сначала правый, а вслед за ним и левый башмак. Потом размял потные ноги, притопывая ими по горячей пыли и пропуская струйки ее между пальцами до тех пор, пока подсохшую кожу не стянуло. Он снял пиджак, завернул в него башмаки и сунул сверток под мышку. И наконец зашагал дальше, взметая перед собой пыль, оставляя ее облачком, низко стелющимся по его следам.

Дорога была обнесена изгородью — ракитовые колья, между ними два ряда колючей проволоки. Колья были кривые, плохо об-

тесанные. Если развилины приходились на должной высоте, колючая проволока была положена на них; если же нет — просто прикручена обрывком обыкновенной проволоки. За изгородью лежала кукуруза, поваленная ветром, засухой, жарой, и пазухи ее листьев, в тех местах, где они отделялись от стебля, были до краев наполнены пылью.

Джоуд шел по дороге, а облачко пыли так и стлалось по его следам. Он увидел впереди выпуклый панцирь черепахи, медленно и как бы рывками передвигавшей свои неуклюжие ноги. Джоуд остановился, глядя на черепаху, и заслонил ее своей тенью. Голова и ноги сейчас же спрятались, короткий толстый хвост ушел вбок, под панцирь. Джоуд поднял черепаху и перевернул ее брюшком кверху. Спинка у нее была бурая, под цвет пыли, а нижний щиток молочно-желтый, чистый и гладкий. Джоуд прихватил поудобнее свой сверток и провел пальцем по нижнему щитку, потом нажал сильнее. Нижний щиток был мягче верхнего. Чешуйчатая голова вылезла наружу, черепаха старалась заглянуть вверх, на палец Джоуда, ноги у нее судорожно дергались. Она намочила Джоуду на ладонь, продолжая беспомощно биться. Джоуд перевернул ее вниз брюшком и закутал в пиджак вместе с башмаками. Он чувствовал, как она возится там, тычется из стороны в сторону, сучит ногами. Он прибавил шагу и пошел, вдавливая пятки в мягкую пыль.

Впереди, у самой дороги, тощая запыленная ива бросала на землю пеструю тень. Ее жалкие ветки протянулись над дорогой, верхушка с редкой вялой листвой была похожа на линяющую курицу. Джоуд весь взмок от пота. Его синяя рубашка потемнела на спине и под мышками. Он надвинул кепку на лоб и перегнул козырек посередине, сломав картонную прокладку и тем самым окончательно лишив свой головной убор права называться новым. Ноги несли его все быстрее к тени от ивы. Он знал, что там будет тень, если не от листьев, то от ствола уж наверное, так как солнце было не в зените. Горячие лучи обжигали ему затылок, в голове слегка шумело. Джоуд не видел основания дерева, потому что оно стояло в маленькой ложбинке, где влага сохранялась дольше, чем на ровных местах. Он шагал все быстрее, торопясь спрятаться от солнца, и стал уже спускаться вниз, под откос, но вдруг осторожно замедлил шаги, увидев, что место, куда падала густая полоса тени от ствола, уже занято. Прислонившись спиной к иве, на земле сидел человек. Согнутые в коленях ноги были сложены у него крест-накрест, и босая правая ступня приходилась чуть ли не на одном уровне с головой. Человек насвистывал фокстротную мелодию и не слышал шагов Джоуда. Задранная кверху ступня

мерно отбивала такт. Темп фокстрота был замедленный, не танцевальный. Человек перестал свистеть и запел жидким тенорком:

Да, сэр, он спаситель,
Хри-стос мой спаситель,
Хри-стос мой спаситель — да!
До-лой преисподню,
Пой сла-ву господню,
Хри-стос мой спаситель — да!

Человек услышал шаги Джоуда, только когда тот ступил в пеструю тень, падавшую на землю от реденькой листвы; он перестал петь и обернулся. Его длинная, туго обтянутая кожей голова сидела на мускулистой и жилистой, точно сельдерей, шее. Глаза были большие, выпуклые, с воспаленными красными веками. Лицо смуглое, лоснящееся, без малейших признаков растительности, полные губы — то ли насмешливые, то ли чувственные. Кожа так плотно облегала его острый костлявый нос, что на переносице виднелось белое пятнышко. Ни на щеках, ни даже на высоком бледном лбу не было ни единой капельки пота. Лоб у него был несуразно большой, с тонкими голубыми жилками на висках. Глаза делили это лицо ровно пополам. Жесткие седые волосы распались неровными прядями,— видимо, он отбросил их назад, прочесав всей пятерней. На нем были брюки-комбинезон и синяя рубашка. Куртка с медными пуговицами и коричневая, вся в грязных пятнах, шляпа с круглой, как пирог, тульей лежали на земле рядом с ним. Серые от пыли парусиновые туфли были сброшены с ног и валялись тут же.

Человек долго смотрел на Джоуда. Солнечный свет глубоко проникал в его карие глаза и зажигал в зрачках золотые искорки. Когда он поднял голову, мускулы у него на шее обозначились еще сильнее.

Джоуд молча стоял в пятнистой тени. Он снял кепку, вытер ею потное лицо и бросил ее вместе со свернутым пиджаком на землю.

Человек, сидевший у дерева, вытянул ноги и зарыл пальцы в пыль.

Джоуд сказал:

— Ф-фу! Ну и жарища.

Человек вопросительно смотрел на него.

— А ведь, никак, это Том Джоуд, сын старого Тома!

— Да,— сказал Джоуд.— Он самый. Домой иду.

— Ты меня, верно, не помнишь? — Человек улыбнулся, показав в улыбке длинные лошадиные зубы.— Да где тебе помнить! Ты на молениях только тем и занимался, что дергал девчонок за

косы. Бывало, ничего не слушает, знай себе девчонке косу обрывает. Забыл, верно; а я все помню. Пришлось мне и тебя и ту девчонку сподобить благодати. Обоих окрестил в оросительной канаве. А уж отбивались-то, орали, как кошки!

Джоуд долго смотрел на него сверху вниз и вдруг рассмеялся.

— Да ведь ты проповедник! Ну конечно, наш проповедник. А знаешь, я какой-нибудь час назад тебя вспоминал.

— Бывший проповедник,— серьезно проговорил человек, сидевший под деревом.— Его преподобие Джим Кэйси. Из секты «Неопалимая купина». Было дело — завывал во славу господню. И кающихся грешников, чуть что, так в канаву — набьешь ее до отказу, того и гляди, половина перетонет. А теперь я не тот.— Он вздохнул.— Теперь я просто Джим Кэйси. Нет во мне прежней благодати. Грешные мысли одолели... Грешные, но, на мой взгляд, здравые.

Джоуд сказал:

— Если уж начал задумываться о том о сем, тут и до грешных мыслей недалеко. Я тебя не забыл. Ты у нас хорошие моления устраивал. Помню, как-то раз сделал стойку и целую проповедь прочел, расхаживая на руках, и выл как оглашенный. Матери ты больше всех был по душе. А бабка, та говорила, что благодать из тебя так и прет.— Джоуд запустил руку в сверток, нащупал карман пиджака и вынул оттуда бутылку. Черепаха высунула наружу одну ногу, но Джоуд запихал ее обратно и свернул пиджак потуже. Потом открутил металлический колпачок и протянул бутылку проповеднику.— Хочешь хлебнуть?

Кэйси взял бутылку и хмуро уставился на нее.

— Я больше не проповедую. Народ теперь пошел другой, нет в нем благодати. А хуже всего то, что и во мне ее ни на грош не осталось. Конечно, иной раз бывает возликуешь — созовешь людей на моление. Или прочитаешь молитву, когда к столу позовут. Просят люди — отказывать не хочется. Но душу в это я теперь не вкладываю.

Джоуд снова утер лицо кепкой.

— Неужто ты такой уж святоша, что и от виски откажешься? — спросил он.

Кэйси взглянул на бутылку, точно впервые видя ее. Потом приложился губами к горлышку и сделал три больших глотка.

— Хорошее виски,— сказал он.

— Еще бы,— сказал Джоуд.— На заводе гнали. Ему доллар цена.

Кэйси сделал еще один глоток, прежде чем отдать бутылку.

— Да, сэр! — сказал он.— Вот так-то.

Джоуд взял у него бутылку и поднес ее ко рту, из вежливости не обтерев горлышка рукавом. Потом опустился на корточки, приставил бутылку к свернутому пиджаку и, подобрав с земли ветку, принялся вырисовывать свои мысли в пыли. Он смел листья в сторону, разровнял пыль ладонью и стал выводить по ней квадраты и круги.

— Давно я тебя не видел,— сказал он.

— Меня давно никто не видел,— ответил проповедник.— Я взял да ушел, теперь все больше один сижу и раздумываю. Благодать я не потерял, только она какая-то другая стала. Сомнения меня одолели.

Он выпрямился. Его костлявая рука нырнула в карман комбинезона, пошарила там, точно белка, вытащила черную, обкусанную со всех сторон плитку табака. Он тщательно очистил с нее мусор, потом откусил кусок и засунул его за щеку. Джоуд помахал веточкой, отказываясь от угощения. Черепаха, закутанная в пиджак, снова завозилась. Кэйси посмотрел на сверток.

— Что это у тебя там — курица? Как бы не задохнулась.

Джоуд свернул пиджак потуже.

— Черепаха,— сказал он.— Подобрал на дороге. Большая, как бульдозер. Братишке хочу отнести. Ребята любят черепах.

Проповедник медленно закивал головой.

— Черепахами они рано или поздно все обзаводятся. Только черепаху около себя не удержишь. Ищет-ищет, а под конец найдет лаз, выберется на волю, только ее и видели. Вот и я так. Нет того, чтобы проповедовать слово божие,— начал его вертеть по-всякому, вот ничего и не осталось. Бывает, возликую духом, а слов для проповеди не нахожу. Мой долг указывать людям путь, но куда их вести, я и сам не знаю.

— А ты води их вокруг да около,— сказал Джоуд.— Попадется оросительная канава, толкай туда. А если не пойдут за тобой, говори, что не миновать им адского пекла. Зачем тебе знать, куда их вести? Веди, и дело с концом.

Тень от ствола протянулась дальше. Джоуд с чувством облегчения передвинулся туда и снова разровнял пыль, чтобы вырисовывать на ней свои мысли. На дороге показалась лохматая овчарка. Она бежала, повесив голову, высунув язык, с которого капала слюна. Хвост у нее был поджат, она громко, прерывисто дышала. Джоуд свистнул, но овчарка опустила голову еще ниже и припустилась рысью, торопясь по своим собачьим делам.

— Бежит куда-то,— пояснил несколько уязвленный Джоуд.— Наверно, домой.

Проповедника ничем нельзя было отвлечь от его мыслей.

— Бежит куда-то,— повторил он.— Правильно. Куда-нибудь да бежит. А вот я про себя этого не могу сказать. У меня люди, бывало, до того доходили на молениях, что и прыгают, и говорят на разные голоса, и кричат во славу божию, пока замертво не грохнутся. Приходилось крестить их в канаве, чтобы в чувство привести. А после моления, знаешь, что я делал? Уведу какую-нибудь девчонку в густую траву и лягу там с ней. И так каждый раз. А потом начинаешь каяться, молишься-молишься, а толку никакого. Соберу народ на моление, возликуем духом, и опять то же самое. Под конец я решил: кончено мое дело. Лицемерю я перед господом, и больше ничего. Сам этого не хочу, а так получается.

Джоуд улыбнулся, высунул кончик языка между длинными зубами и лизнул губы.

— Такие моления самое разлюбезное дело. После них девчонки податливее становятся,— сказал он.— Я это по опыту знаю.

Кэйси взволнованно подался вперед.

— Вот видишь! — воскликнул он.— Я сам это понял и призадумался.— Он мерно помахивал своей костлявой рукой вверх и вниз в такт словам.— Вот какие ко мне мысли пришли: наделен я благодатью, и на мою паству тоже такая благодать сходит, что люди и скачут и кричат. Теперь дальше: говорят, кто путается с женщиной, это все дьявольское наваждение. Но ведь чем больше в женщине благодати, тем охотнее она с тобой пойдет в густую траву. Какого же черта!.. Виноват, сорвалось. Разве тут дьявол подберется, если она так духом ликует, что благодать из нее просто так и лезет? Уж, кажется, дьяволу к ней ни с какого боку не подступиться! А на деле выходит другое.— Глаза его блестели от волнения. Он задвигал губами и сплюнул, плевок скользнул по земле, обволакиваясь пылью, и превратился в круглый катышек, похожий на пилюлю. Проповедник вытянул руку и уставился глазами в ладонь, точно это была книга, которую он читал.— Вот так и получается,— негромко продолжал он.— Так и получается: у меня в руках человеческие души, я за них отвечаю и чувствую, какая это ответственность, а сам после каждого моления ложусь с женщиной.— Он растерянно посмотрел на Джоуда. Его глаза взывали о помощи.

Джоуд старательно нарисовал в пыли женский торс — груди, бедра, таз.

— Я проповедником никогда не был,— сказал он,— и потому не зевал, если что в руки шло. И всякими мыслями на этот счет тоже зря не мучился: подвернулась девчонка — и слава богу.

— В том-то и дело, что ты не проповедник,— стоял на своем Кэйси.— Для тебя женщина — это женщина, и больше ничего.

А для меня она — священный сосуд. Я спасал их души. Я за них отвечал. А что получалось? Возликуют они у меня духом, а я их в густую траву.

— Тогда не мешало бы и мне стать проповедником,— сказал Джоуд. Он достал из кармана табак, бумагу и свернул самокрутку. Потом закурил и покосился сквозь дым на Кэйси.— Я уж давно без женщины. Надо наверстывать.

Кэйси продолжал:

— Я себя до того довел, что сна лишился. Идешь на молитвенное собрание и клянешься: воздержусь! Видит бог, сегодня воздержусь! Да какое там!

— Тебе жениться надо,— сказал Джоуд.— У нас жил один проповедник с женой. Иеговиты. Спали наверху. Молиться народ сходился к нам в сарай. Мы, ребята, по ночам подслушивали, как жене доставалось от него после каждого моления.

— Хорошо, что ты мне это сказал,— обрадовался Кэйси.— Я боялся, я один такой. Под конец не вытерпел, бросил все и ушел. С той поры только об этом и думаю.— Он подтянул колени к подбородку и стал выковыривать грязь между пальцами ног.— Спрашиваю самого себя: «И что ты мучаешься? Похоть тебе покоя не дает? Нет, не в похоти дело, а в том, что это грех». Как же так? Благочестия в человеке хоть отбавляй, уж, кажется, греху тут и не подступиться, а ему только и заботы, поскорее бы с себя штаны спустить.— Он мерно похлопывал двумя пальцами по ладони, словно укладывая на нее слова рядышком, одно к другому.— Говорю сам себе: «Может, тут нет никакого греха? Может, все люди такие? Может, зря мы себя хлещем, изгоняем дьявола?» Были у нас такие сестры — возьмут кусок проволоки и нахлестывают себя во всю мочь. И я подумал: может, им это приятно; может, и мне приятно себя мучить? Я лежал тогда под деревом, думал, думал и заснул. Проснулся, смотрю — темно кругом, ночь. Где-то невдалеке завывает койот. И вдруг — как это у меня вырвалось, и сам не знаю: «К чертям собачьим! — говорю. Греха никакого на свете нет, и добродетели тоже нет. А есть только то, что люди делают. Тут одно от другого не оторвешь. Некоторые их дела хорошие, некоторые плохие, вот и все, а об остальном никто судить не смеет».— Кэйси замолчал и поднял глаза от ладони, куда он укладывал свои слова.

Джоуд слушал проповедника с усмешкой, но взгляд у Джоуда был острый, внимательный.

— Дотошный ты человек,— сказал он.— Додумался.

Кэйси заговорил снова, и в голосе его звучала боль и растерянность:

— Я себя спрашиваю: «А что такое благодать, ликование духом?» И отвечаю: «Это любовь. Я людей так люблю, что бывает сердце кровью исходит». И опять спрашиваю: «А Иисуса ты разве не любишь?» Думаю, думаю... «Нет, я такого не знаю. Историй всяких про него слышал много, а люблю только людей. Сердце исходит кровью от такой любви; хочется мне, чтобы они были счастливые, потому и учу их: может, думаю, у них от этого жизнь станет лучше». А потом... Наговорил я тебе чертову пропасть. Ты, может, удивляешься: проповедник, а сквернословит. Никакого тут сквернословия нет. Так все говорят, и ничего плохого я в этих словах теперь не вижу. Ну да ладно. Мне только еще одну вещь хочется тебе сказать, а то, что я скажу, проповеднику говорить грешно,— значит, я не могу больше проповедовать.

— О чем ты? — спросил Джоуд.

Кэйси несмело взглянул на него.

— Если тебе что не так покажется, ты уж не обижайся, ладно?

— Я обижаюсь, только когда мне нос расквасят,— сказал Джоуд.— Ну, что ты там надумал?

— Думал я про духа святого и про Иисуса: «Зачем нам нужно сваливать все на бога и на Иисуса? Может, это мы людей любим? Может, дух святой — это человеческая душа и есть? Может, все люди вкупе и составляют одну великую душу и части-

цу ее найдешь в каждом человеке?» Долго я сидел, думал и вдруг сразу все понял. Всем сердцем понял, и так это во мне и осталось.

Джоуд потупился, точно ему было не под силу вынести обнаженную правду в глазах проповедника.

— Да, с такими мыслями ни в какой церкви не удержишься,— сказал он.— За такие мысли тебя выгонят из наших мест. Людям что надо? Попрыгать да повыть. Это для них самое большое удовольствие. Наша бабка начнет выкрикивать на разные голоса, так никакого сладу с ней нет. Здоровенного причетника кулаком с ног сшибала.

Кэйси в раздумье смотрел на него.

— Хочется мпе тебя спросить кое о чем,— сказал он.— Покоя мне это не дает.

— Давай спрашивай. Я люблю изредка поговорить.

— Так вот...— медленно начал проповедник.— Я тебя крестил. На меня в тот день благодать сошла. Вещал во славу господа. Ты, верно, ничего не помнишь, тебе не до того было — девчонку за косы дергал.

— Нет, помню,— ответил Джоуд.— Это была Сузи Литл. Через год она мне палец вывихнула.

— Так вот... Пошло оно тебе на пользу, это крещение? Лучше ты стал — или нет?

Джоуд подумал и сказал:

— Н-нет, я даже ничего не почувствовал.

— Ну а может, тебе это вред принесло? Подумай хорошенько.

Джоуд взял бутылку и отпил из нее.

— Ничего я не почувствовал — ни пользы, ни вреда. Мне тогда весело было, только и всего.— Он протянул бутылку проповеднику.

Кэйси вздохнул, поднес ее ко рту, потом посмотрел на оставшееся на самом дне виски и сделал еще один маленький глоток.

— Это хорошо,— сказал он.— А то мне все думалось: а вдруг я причинил кому-нибудь вред.

Джоуд взглянул на свой пиджак и увидел, что черепаха выбралась на волю и уже ковыляет в том направлении, в каком ковыляла раньше, когда он подобрал ее. Минуту Джоуд следил за ней, потом медленно встал, поднял ее с земли и снова закутал в пиджак.

— Никаких подарков ребятам не припас,— сказал он.— Хоть вот эту старую черепаху принесу.

— А смешно,— сказал проповедник,— ведь когда ты подошел, я как раз вспоминал старого Тома Джоуда. Думал, уж не зайти ли к нему? Старый Том был богохульник. Как он там поживает?

— Не знаю. Я уж четыре года дома не был.

— А разве он не писал тебе?

Джоуд смутился.

— Отец у нас писать не мастер, да и не любит он этим делом заниматься. Фамилию свою подмахнуть может и карандаш помусолит, все честь честью. А писем не пишет. Он всегда говорил: «Если мне что надо сказать, так я на словах скажу, а нет — значит, нечего и за карандаш браться».

— Бродил все это время? — спросил Кэйси.

Джоуд бросил на него недоверчивый взгляд.

— А ты разве ничего не знаешь? Обо мне писали во всех газетах.

— Ничего не знаю. А что? — Проповедник закинул ногу за ногу и, упершись спиной в ствол ивы, сел ниже. Время уже перешло за полдень, и солнце наливалось золотом.

Джоуд сказал добродушно:

— Говорить, так сразу, чтобы покончить с этим. Но будь ты настоящим проповедником, я бы остерегся рассказывать, чтобы тебе не вздумалось молиться надо мной.— Он допил остатки виски и швырнул плоскую темную бутылку в сторону; она легко скользнула по пыли.— Я четыре года просидел в Мак-Алестере.

Кэйси круто повернулся к нему и так насупил брови, что его высокий лоб стал еще выше.

— Тебе неохота об этом говорить? Я не буду расспрашивать, что ты такое сделал.

— Понадобится, опять то же самое сделаю,— сказал Джоуд.— Убил одного молодчика в драке. Дело было на танцах, а мы подвыпили. Он пырнул меня ножом, а я схватил лопату и убил его. Размозжил ему голову.

Брови Кэйси заняли свое обычное положение.

— Значит, тебе стыдиться нечего?

— Нечего,— сказал Джоуд.— Я получил только семь лет, потому что он первый пырнул меня ножом. Через четыре года освободили — условно.

— Значит, родные тебе ничего не писали все четыре года?

— Ну как, писали! В позапрошлом году мать прислала открытку, а этим рождеством — бабка. И хохот же стоял у нас в камере! Открытка с картинкой. На картинке елка вся в блестках, будто на ней снег. Да еще стихи:

Вот пришло к нам рождество,
И у деток торжество.
Глянь под елку — дед-мороз
Нам подарки всем принес.

Бабка, верно, и не видала, что там написано. Купила у разносчика да постаралась выбрать какую понаряднее. Ребята в камере чуть не умерли со смеху. С тех пор так и прозвали меня «деточкой». А бабка прислала не для смеха. Видит — нарядная, ну и ладно, зачем же еще читать. В тот год, когда меня посадили, она потеряла очки. Может, и по сию пору их не нашла.

— А как там с вами обращались, в Мак-Алестере? — спросил Кэйси.

— Да ничего. Кормят по часам, одевают чисто, и помыться есть где. Грех жаловаться. Только без женщин трудно.— Он вдруг рассмеялся.— Одного молодца тоже так освободили, условно. Не прошло и месяца, как он проштрафился и опять попал к нам. Кто-то его спросил, зачем он нарушил обязательство. А он говорит: «Да кой черт! У моего старика дома никаких удобств. Ни электричества, ни душа. Почитать тоже нечего. Еда невкусная. Вернулся, говорит, потому, что здесь как-никак и удобства, и кормят по часам. На воле, говорит, неуютно, приходится думать, что с собой дальше делать. Ну увел машину и опять сел в тюрьму».— Джоуд достал из кармана табак, отделил один листок, дунув на книжечку папиросной бумаги, и свернул самокрутку.— Да и правильно,— сказал он.— Я вчера как подумал, где ночь буду спать,

так меня даже страх взял. Вспомнил свою койку да одного слабоумного у нас в камере — что-то он сейчас поделывает... Я там играл в оркестре. Хороший был оркестр. Многие говорили, что нам надо выступать по радио. А сегодня утром проснулся и не знаю, вставать или еще рано? Лежу и дожидаюсь, когда дадут побудку.

Кэйси хмыкнул.

— К лесопилке и то привыкают. Не слышишь, как пилы визжат, и все будто недостает чего-то.

На пыльно-желтом свету земля отливала золотом. Кукуруза тоже казалась совсем золотой. Стайка ласточек пронеслась в небе, должно быть, к какому-нибудь ручейку поблизости. Черепаха предприняла еще одну попытку совершить побег. Джоуд перегнул посередине козырек кепки. Продольное ребро на козырьке напоминало теперь вороний клюв.

— Ну, надо двигаться,— сказал он.— По жаре идти не очень приятно, да сейчас не так уж печет.

Кэйси выпрямился.

— Я у старого Тома целый век не был,— сказал он.— Давно хочу с ним повидаться. Я ведь сколько времени к вам ходил со словом божьим. Денег никогда не брал, только кормили меня.

— Пошли,— сказал Джоуд.— Отец будет рад. Он всегда говорил: куда такому ернику проповедовать! — Джоуд поднял с земли пиджак и подоткнул его со всех сторон вокруг башмаков и черепахи.

Кэйси пододвинул к себе парусиновые туфли и сунул в них босые ноги.

— Я не такой смелый, как ты,— сказал он.— В пыли не разберешь, того и гляди, напорешься на колючую проволоку или на стекло. Ногу порезать — хуже ничего быть не может.

Они помедлили, прежде чем переступить линию тени, и потом подались вперед, под желтые солнечные лучи, точно два пловца, которые спешат переплыть реку. Сделав несколько быстрых шагов, они убавили ходу и пошли медленно, как бы в раздумье. Кукурузные стебли отбрасывали косые серые тени, в воздухе стоял душный запах нагретой пыли. Кукурузное поле кончилось, уступив место темно-зеленому хлопчатнику. Темно-зеленые листья, покрытые слоем пыли, маленькие, только начинающие формироваться коробочки. Всходы хлопчатника были неровные; в ложбинах, где вода задерживалась дольше, кусты росли густо, на высоких местах поле было совсем плешивое. Хлопчатник отстаивал свою жизнь в борьбе с солнцем. А горизонт затягивало рыжеватой мглой, сквозь которую ничего не было видно. Пыльная дорога стлалась впереди волнистой линией. Ивы, стоявшие по бере-

«Квартал Тортилья-Флэт»

гам ручья, сворачивали вслед за ним па запад, а северо-западнее, вплотную к редкому кустарнику, подходил участок невозделанной земли. Пахло раскаленной пылью, и воздух был такой сухой, что слизь в носу подсыхала коркой, а из глаз текли спасительные для роговицы слезы.

Кэйси сказал:

— Смотри, ведь кукуруза хорошо поднималась, пока ее не забило пылью. Богатый урожай бы сняли.

— Каждый год одно и то же,— сказал Джоуд.— Я как себя помню, каждый год ждали урожая — и ни разу не дождались. Дед говорил, что земля только первые пять лет хорошо родила, пока в ней еще оставался перегной от сорняка.

Дорога сбежала вниз по холму и поднялась на следующий.

Кэйси сказал:

— Отсюда до старого Тома не больше мили. По-моему, еще два подъема, а за третьим будет ваш дом.

— Правильно,— сказал Джоуд.— Если только его не украли, как в свое время отец украл.

— Дом украл?

— Да. Приволокли его мили за полторы отсюда. Хозяева, те, что там жили, переехали на другое место. Дед, отец и Ной, мой брат, хотели перетащить весь дом, да не удалось. Только половиной и завладели. Потому он у нас и чудной такой с одного боку. Они распилили его на две части, впрягли двенадцать лошадей и пару мулов и одну половину приволокли на наш участок. Вернулись за второй, чтобы пристроить ее к первой, да Уинк Мэнли их опередил, явился туда со своими ребятами и спер, что осталось. Отец с дедом первое время из себя выходили, а потом как-то выпили вместе с Уинком и ну хохотать. Уинк говорит, его дом сейчас в охоте, приводите, говорит, ваш, случим их, может, нужников нам наплодят. Уинк, когда выпьет, боевой старик. После этого отец и дед с ним подружились. Чуть что, так и выпивать вместе.

— Том молодчина,— подтвердил Кэйси. Они спустились под уклон, вздымая пыль ногами, и на подъеме замедлили шаги. Кэйси вытер лоб рукавом и снова надел шляпу.— Да, Том молодчина,— повторил он.— Богохульник, а все-таки молодчина. Помню, на молениях возликует духом самую малость, а прыгает чуть не до потолка. Уж если на старого Тома накатило, так не зевай, того и гляди, ногами затопчет. Что твой жеребец в стойле.

Они одолели еще один подъем, и дальше дорога пошла вниз к извилистому руслу ручья, исполосованному по краям вливавшимися в него когда-то струйками воды. Переход был сложен из камней. Осторожно ступая босыми ногами, Джоуд перебрался на другую сторону.

— Отец это что! — сказал он.— Ты бы видел дядю Джопа, когда его крестили на молении у Поулков. Прыгает, скачет из стороны в сторону. Перемахнул через куст высотой с пианино. Разбежался — и еще раз, и завывает, как собака на луну. Отец увидел это,— а ведь он считал себя лучшим прыгуном во всей округе,— облюбовал куст еще выше, взвыл не своим голосом, будто свинья, которая битым стеклом опоросилась, перескочил с разбегу через этот куст, да правую ногу и вывихнул. Тут с него благодать как рукой сняло. Проповедник хочет помолиться, чтобы нога зажила, а отец говорит: нет, к черту, подавай доктора! Ну, доктора не было, привели проезжего зубодера, он ему и вправил кость. А проповедник так и не отстал, помолился, взял свое.

По ту сторону ручья начинался небольшой подъем. Теперь, когда солнце клонилось к западу, жара начала спадать, и хотя воздух был все еще раскаленный, солнечные лучи немного умерили свою силу. По краям дороги стояли все такие же кривые колья с протянутой между ними проволокой. Справа изгородь делила поле на две части, но хлопчатник был одинаковый как по ту, так и по другую ее сторону — сухой, темно-зеленый, запорошенный пылью.

Джоуд показал на изгородь:

— Вот это наше. По сути дела, изгородь здесь ни к чему, но проволока у нас была, и отцу захотелось огородить поле. Говорит: по крайней мере, чувствуешь — что мое, то мое. Этой проволоке у нас бы и взяться неоткуда, да как-то ночью дядя Джон привез целых шесть мотков. Выменял у отца на свинью. Где он эту проволоку раздобыл, бог его знает.

Они убавили шаг на подъеме и шли, волоча ноги по глубокой мягкой пыли и чувствуя, как подошвы ступают по твердой земле. Глаза у Джоуда стали задумчивые. Он точно посмеивался про себя, вспоминая что-то.

— Чудак у нас дядя,— сказал он.— Вот взять хотя бы эту свинью,— и, фыркнув, замолчал.

Кэйси ждал, еле сдерживая нетерпение. Рассказа не последовало. Кэйси дал Джоуду достаточно времени на то, чтобы собраться с мыслями, и наконец, не выдержав, раздраженно спросил:

— Ну, так что же твой дядя сделал с этой свиньей?

— Что? А, да! Он ее прирезал тут же и велел матери затопить плиту. Потом вырезал отбивных, положил их на сковороду и поставил на огонь, а ребра и окорок — в духовку. Отбивные съел, а тем временем ребра были готовы; ребра съел — окорок поджарился. Принялся он за этот окорок: отхватит кусище — и в рот. Мы, ребята, от него не отходим, клянчим,— ну он угостит нас; а отцу не дал ни кусочка. Наконец так объелся, что стошнило; делать

нечего — завалился спать. Пока спал, мы с отцом окорок прикончили. Утром дядя Джон встает и второй окорок в духовку. Отец его спрашивает: «Джон, неужто ты всю тушу собираешься съесть?» А он говорит: «Собираюсь, Том, только боюсь, как бы она не протухла, прежде чем я ее одолею. Возьми немного себе, а мне верни два мотка проволоки». Ну, отец не дурак был. Пусть, мол, обжирается. Дяде Джону уезжать пора, а свинина только наполовину съедена. Отец говорит: «Ты бы ее засолил». Но дядя Джон, он такой: захочет свинины, так подавай ему целую свинью, а наелся — глаза бы на нее не глядели. Уехал, а что осталось, отец засолил.

Кэйси сказал:

— Если бы я по-прежнему был проповедником, сейчас бы вывел из этого урок и прочел бы тебе проповедь. Но больше проповедей от меня никто не услышит. Как ты думаешь, почему он так сделал?

— Не знаю,— ответил Джоуд.— Жаден был до свинины. А я сейчас вспомнил и сам разохотился. За все четыре года только четыре куска жареной свинины и съел — по одному на рождество.

Кэйси сказал напыщенным тоном:

— Может быть, Том зарежет откормленного тельца для своего блудного сына, как в Писании?

Джоуд презрительно рассмеялся:

— Ты отца не знаешь. Когда он режет курицу, так от нее не столько крику, сколько от него самого. Не может он этого делать. Свинью всегда бережет к рождеству, а она в сентябре сдохнет от какой-нибудь болезни, и есть нельзя. Зато дядя Джон захочет свинины, так наестся до отвала, можете не сомневаться.

Они поднялись на гребень холма и увидели внизу ферму Джоудов. И Том Джоуд остановился.

— Тут что-то не то,— сказал он.— Посмотри-ка на дом. Неладно дело. И не видать никого.

Они стояли, глядя вниз, на небольшую кучку строений.

ГЛАВА V

Хозяева земли приезжали на свою землю, но чаще всего они присылали вместо себя посредников. Посредники являлись в закрытых машинах, они перетирали пальцами щепотки сухой земли, а иногда загоняли в почву земляной бур и брали пробу. Сидя в спаленных солнцем палисадниках, арендаторы тревожно следили за машинами, снующими по полям. А потом посредник въезжал во двор фермы и, не выходя из автомобиля, заводил раз-

говор через окно кабины. Первые несколько минут арендаторы стояли рядом с машиной; потом присаживались на корточки и, подобрав с земли прутик, выводили им узоры в пыли.

В открытые двери выглядывали женщины, а из-за их спин — дети. Светлоголовые дети стояли, широко открыв глаза, потирая одну босую ногу о другую, шевеля пальцами. Женщины и дети присматривались к мужчинам, которые разговаривали с посредниками. Они стояли молча.

Хозяева и их агенты бывали разные; некоторые говорили мягко, потому что им было тяжело делать то, что они делали; другие сердились, потому что им было тяжело проявлять жестокость; третьи держались холодно, потому что они давно уже поняли: хозяин должен держаться холодно, иначе ты не настоящий хозяин. И все они подчинялись силе, превосходящей силу каждого из них в отдельности. Некоторые ненавидели математику, которая заставляла их прийти сюда, другие боялись ее; а были и такие, кто преклонялся перед этой математикой, потому что, положась на нее, можно было не думать, можно было заглушить в себе всякое чувство. Если землей владел банк или трест, посредник говорил: банку, тресту нужно то-то и то-то; банк, трест настаивает, требует...— словно банк или трест были какие-то чудовища, наделенные способностью мыслить и чувствовать, чудовища, поймавшие их в свою ловушку. Они, агенты, не отвечали за действия банков и трестов,— они были всего лишь люди, рабы, а банк — он и машина, он и повелитель. Кое-кто из агентов даже гордился тем, что они в рабстве у таких холодных и могучих повелителей. Агенты сидели в машинах и разъясняли людям: вы же знаете, земля истощена. Сколько лет вы здесь копаетесь, и не запомнишь.

Арендаторы, присевшие на корточки, кивали головой, думали, выводили узоры в пыли,— да, знаем, да... Если б только поля не заносило пылью, если б только почва не выветривалась, тогда еще можно было бы терпеть.

Агенты гнули свое: вы же знаете, земля истощается год от года. Вы же знасте, что делает с ней хлопок,— губит ее, высасывает из нее все соки.

Арендаторы кивали головой: они знают, они всё знают. Если бы применять севооборот, тогда земля снова напиталась бы соками.

Да, но теперь уж поздно. И агенты разъясняли махинации и расчеты чудовища, которое было сильнее их самих. Арендатор может продержаться на земле, даже если ему хватает только на прокорм и на уплату налогов.

Да, правильно. Но если выпадет неурожайный год, он должен будет взять ссуду в банке.

А банку или тресту нужно другое, ведь они дышат не воздухом, они едят не мясо. Они дышат прибылью; они едят проценты с капитала. Если им не дать этого, они умрут, так же как умрем мы с вами, если нас лишат воздуха, лишат пищи. Грустно, но что поделаешь. Поделать ничего нельзя.

Люди, присевшие на корточки, поднимали глаза, силясь понять, в чем тут дело. Дайте нам время. Может, следующий год будет урожайный. Разве сейчас угадаешь, какой родится хлопок? А войны? Разве сейчас угадаешь, какие будут цены на хлопок? Ведь из него делают взрывчатые вещества. И обмундирование. Будут войны — и цены на хлопок подскочат. Может, в следующем же году. Они вопросительно поглядывали на своих собеседников.

На это нельзя рассчитывать. Банк — чудовище — должен получать прибыль все время. Чудовище не может ждать. Оно умрет. Нет, уплату налогов задерживать нельзя. Если чудовище хоть на минуту остановится в своем росте, оно умрет. Оно не может не расти.

Холеные пальцы начинали постукивать по оконной раме кабины, заскорузлые пальцы крепче сжимали спующие в пыли прутики. Женщины в дверях спалепных солнцем домишек вздыхали, переступали с ноги на ногу, и та ступня, что была внизу, теперь потирала другую ступню, а пальцы шевелились по-прежнему. Собаки подходили к машине, обнюхивали ее и одно за другим поливали все четыре колеса. Куры лежали в нагретой солнцем пыли, распушив перья, чтобы сухая пыль проникла до самой кожи. А в хлеву, над мутной жижей в кормушках, недоуменно похрюкивали свиньи.

Люди, сидевшие на корточках, снова опускали глаза. Чего вы от нас хотите? Нельзя же уменьшить пашу долю с урожая, мы и так голодаем. Дети никогда не наедаются досыта. Нечего надеть — ходим в лохмотьях. Не будь и у соседей так же плохо с одеждой, мы бы постыдились показываться на молитвенных собраниях.

И наконец агенты выкладывали все начистоту. Аренда больше не оправдывает себя. Один тракторист может заменить двенадцать — четырнадцать фермерских семей. Плати ему жалованье — и забирай себе весь урожай. Нам приходится так делать. Мы идем на это неохотно. Но чудовище занемогло. С чудовищем творится что-то неладное.

Вы же загубите землю хлопком.

Мы это знаем. Мы снимем несколько урожаев, пока земля еще не погибла. Потом мы продадим ее. В восточных штатах найдется немало людей, которые захотят купить здесь участок.

Арендаторы поднимали глаза, во взгляде у них была тревога. А что будет с нами? Как же мы прокормим и себя и семью?

Вам придется уехать отсюда. Плуг пройдет прямо по двору.

И тогда арендаторы, разгневанные, выпрямлялись во весь рост. Мой дед первый пришел на эту землю, он воевал с индейцами, он прогнал их отсюда. А отец здесь родился, и он тоже воевал — с сорняками и со змеями. Потом, в неурожайный год, ему пришлось сделать небольшой заем. И мы тоже родились здесь. Вот в этом доме родились и наши дети. Отец взял ссуду. Тогда земля перешла к банку, но мы остались и получали часть урожая, хоть и небольшую.

Нам это хорошо известно — нам все известно. Мы тут ни при чем, это все банк. Ведь банк не человек. И хозяин, у которого пятьдесят тысяч акров земли,— он тоже не человек. Он чудовище.

Правильно! — говорили арендаторы. Но земля-то наша. Мы обмерили ее и подняли целину. Мы родились на ней, нас здесь убивали, мы умирали здесь. Пусть земля оскудела — она все еще наша. Она наша потому, что мы на ней родились, мы ее обрабатывали, мы здесь умирали. Это и дает нам право собственности на землю, а не какие-то там бумажки, исписанные цифрами.

Жаль, но что поделаешь. Мы тут ни при чем. Это все оно — чудовище. Ведь это банк, а не человек.

Да, но в банке сидят люди.

Вот тут вы неправы, совершенно неправы. Банк — это нечто другое. Бывает так: людям, каждому порознь, не по душе то, что делает банк, и все-таки банк делает свое дело. Поверьте мне, банк — это нечто большее, чем люди. Банк — чудовище. Сотворили его люди, но управлять им они не могут.

Арендаторы негодовали: дед воевал с индейцами, отец воевал со змеями из-за этой земли. Может, нам надо убить банки — они хуже индейцев и змей. Может, нам надо воевать за эту землю, как воевали за нее отец и дед?

После таких слов приходилось негодовать агентам. Вам придется уехать отсюда.

Но ведь земля наша,— кричали арендаторы. Мы...

— Нет. Хозяин земли — банк, чудовище. Вам придется уехать.

Мы выйдем с ружьями, как выходил дед навстречу индейцам. Тогда что?

Ну что ж, сначала шериф, потом войска. Если вы останетесь здесь, вас обвинят в захвате чужой земли, если бы будете стрелять, вас обвинят в убийстве. Банк — чудовище, не человек, но он может заставить людей делать все, что ему угодно.

А если уходить, то куда? Как мы уйдем? У нас нет денег.

Очень жаль, но что же поделаешь, говорили агенты. Банк, владелец пятидесяти тысяч акров, тут ни при чем. Вы сидите на земле, которая вам не принадлежит. Поезжайте в другой штат, может, осенью устроитесь на сбор хлопка. Может, станете на пособие. А почему бы вам не податься в Калифорнию? Там всегда есть работа, там не бывает холодов. Да в Калифорнии стоит только протянуть руку — и рви апельсины. Там урожаи собирают круглый год. Почему бы вам не переселиться туда? Машины трогались с места, и агенты уезжали.

Арендаторы снова присаживались на корточки и водили прутиками по пыли, прикидывали, думали. Лица у них были темные от загара, глаза выцветшие на ярком свету. Женщины осторожно спускались с крылечка и шли к мужьям, а позади женщин крались дети, готовые чуть что пуститься наутек. Мальчики постарше присаживались на корточки рядом с отцами — так солиднее, чувствуешь себя взрослым мужчиной. Подождав немного, женщины спрашивали: зачем он приезжал?

Мужчины поднимали глаза, и в глазах у них была боль. Придется уезжать отсюда. Трактор, управляющий. Как на фабрике.

— Куда же мы поедем? — спрашивали женщины.

Не знаем. Не знаем.

И женщины быстро и молча шли назад к дому, гоня перед собой детей. Они знали: когда мужчина так обижен, так растерян, он может сорвать злобу даже на тех, кто ему дорог. Они уходили, оставляя мужчин одних,— пусть думают, пусть вырисовывают свои мысли в пыли.

И через минуту-другую арендатор оглядывался вокруг себя — смотрел на поставленную еще десять лет назад водокачку с длинным, точно гусиная шея, насосом и узорчатой насечкой на рыльце, на колоду, где сложила голову не одна сотня кур, на плуг под навесом и на подвешенное к стропилам корыто.

А дома женщин окружали дети. Что же мы будем делать, мама? Куда мы теперь поедем?

Женщины отвечали: мы еще ничего не знаем. Идите играть. Только держитесь подальше от отца. Не то он побьет. И женщины снова принимались за работу, но и работая, не переставали следить за мужьями, которые сидели на корточках в пыли, тревожно думали, прикидывали, как быть.

Тракторы двигались по дорогам и сворачивали в поля — громадные гусеничные тракторы ползли, как насекомые, и они обладали невероятной прожорливостью насекомых. Тракторы ползли по полям, уминали гусеницами землю и взрывали большие ее пла-

сты дисками. Дизельные тракторы останавливались, но мотор не переставал фыркать; они трогались с места и поднимали рев, который постепенно переходил в однотонный гул. Тупоносые громадины обволакивались пылью, они шли напрямик из одного конца поля в другой, сквозь изгороди, через дворы, ныряли в овраги, не отклоняясь от своего пути. Там, где они идут, там и есть для них дорога. Им все пипочем — холмы и рытвины, канавы, изгороди, дома.

Человек на железном сиденье не был похож на человека: перчатки, очки, резиновая маска, защищающая от пыли рот и нос,— он казался придатком этой громадины, роботом. Рев цилиндров разносился по всей округе; он пропизывал воздух и землю, они отвечали ему гулом и сотрясались с ним в лад. Тракторист не был властен над своей машиной — она шла напрямик, шла по участкам, поворачивала и так же прямиком возвращалась обратно. Легкое движение рычага — и гусеничный трактор отклонился бы от своего пути, но рука тракториста не могла сделать это движение, потому что чудовище, создавшее трактор, чудовище, пославшее его сюда, владело руками тракториста, его мозгом, его мускулами; оно обрядило тракториста в наглазники, в намордник, затемнило наглазниками его разум, приглушило намордником его речь, затемнило его сознание, приглушило слова протеста. Он видел землю не такой, какой она была на самом деле, он не мог вдохнуть в себя ее запах; его ноги не разминали комьев этой земли, он не чувствовал ее тепла, ее силы. Он сидел на железном сиденье, его ноги стояли на железных педалях. Он не мог ни подбадривать, ни бить, ни осыпать бранью, ни подгонять это существо, увеличивающее его силу, и поэтому он не мог ни подбодрить, ни подстегнуть, ни осыпать бранью, ни подогнать самого себя. Он не знал этой земли, не владел ею, он не верил в нее, не вымаливал у нее милостей. Если брошенное семя не давало ростков, его это не касалось. Если молодые побеги вяли в засуху или гибли от проливных дождей, трактористу до этого было столько же дела, сколько и самому трактору.

Он любил эту землю не больше, чем ее любили банки. Он мог восхищаться трактором — его отработанными плоскостями, его мощью, ревом его цилиндров; но этот трактор не принадлежал ему. Позади трактора шли сверкающие диски, они вспарывали землю острыми краями,— не вспашка, а хирургия. Поднятый пласт падал направо, а второй ряд дисков резал его и отваливал налево; лезвия сверкали, отполированные до блеска свежевзрезанной землей. А следом за диском шли бороны, они разбивали железными зубьями небольшие комья, прочесывали землю, разравнивали ее. За бороной сеялка — двенадцать железных детородных членов, выкованных на сталелитейном заводе, совокупляющихся с землей по велению механизмов, без любви, без страсти. Тракторист сидел

на железном сиденье и гордился проложенными не по его воле прямыми бороздами, гордился чужим, не дорогим ему трактором, гордился силой, над которой он не был властен. А когда урожай созревал и его собирали, никто не разминал горячих комьев, никто не пересыпал землю между пальцами. Ничьи руки не касались этих семян, никто с трепетом не поджидал всходов. Люди ели то, что они не выращивали, между ними и хлебом не стало связующей нити. Земля рожала под железом — и под железом медленно умирала; ибо ее не любили, не ненавидели, не обращались к ней с молитвой, не слали ей проклятий.

В полдень тракторист останавливался у фермерского домика и доставал завтрак: сандвич, завернутый в вощеную бумагу,— белый хлеб с маринованным огурцом, сыром и колбасой, кусок пирога, отштампованный, как машинная деталь. Он ел без удовольствия. А не выселенные еще арендаторы подходили посмотреть на него, с любопытством следили, как он снимает очки и резиновую маску, под которыми остались белые круги около глаз и большой белый круг около носа и рта. Выхлопная труба продолжала пофыркивать, потому что горючее стоило гроши,— какой смысл выключать мотор и каждый раз прогревать дизель? Любопытные дети толпились вокруг — оборванные дети, сжимающие в кулачках лепешки. Они следили голодными глазами, как тракторист разворачивает сандвич, принюхивались заострившимися от голода носиками к запаху огурцов, сыра, колбасы. Они не заговаривали с трактористом. Они провожали глазами его руку, подносившую пищу ко рту. Они не смотрели, как он жует; их глаза не отрывались от руки с сандвичем. А вскоре и арендатор, который не хотел покидать свой участок, подходил сюда и присаживался на корточки в тени трактора.

— Да ведь ты сын Джо Дэвиса?

— Он самый,— отвечал тракторист.

— Зачем же ты пошел на такую работу — против своих же?

— Три доллара в день. Надоело пресмыкаться из-за куска хлеба и жить впроголодь. У меня жена, дети. Есть-то надо. Три доллара в день, и работа постоянная.

— Это все верно,— говорил арендатор.— Но из-за твоих трех долларов пятнадцать, двадцать семейств сидят совсем голодные. Чуть ли не сотня людей снялась с места и мыкается по дорогам. Все из-за твоих трех долларов в день. Разве это справедливо?

И тракторист отвечал:

— Это не мое дело. Мое дело думать о своих ребятишках. Три доллара в день, и работа постоянная. Теперь другие времена,

пора бы тебе это знать. Если у тебя нет двух, пяти, десяти тысяч акров и трактора, на земле не продержишься. Такой мелкоте, как мы с тобой, нечего и думать о своем участке. Ты ведь не станешь ворчать, что тебе нельзя выпускать «форды» или заправлять телефонной компанией. То же и с землей. Ничего не поделаешь. Подыскивай лучше где-нибудь работу на три доллара в день. Больше нам ничего не остается.

Арендатор задумчиво говорил:

— Чудно́ как-то! Есть у человека небольшой участок, и он с этим участком одно целое, их не отделишь один от другого. Если ты ходишь по своему участку, трудишься на нем, горюешь, когда урожай плохой, радуешься, что дождь выпал вовремя, тогда ты со своей землей одно целое и ты сам становишься сильнее, потому что у тебя есть земля. Пусть удача к тебе не идет, все равно ты становишься сильнее. Это всегда так.

И арендатор продолжал думать вслух:

— А если участок большой, и глаза твои никогда его не видели, пальцы никогда не разминали комьев, если ты не ступал по нему ногами, тогда хозяином становится не человек, а земля. Человек больше сам в себе не волен и в мыслях своих не волен. Земля сильнее, она хозяин. А человек становится маленьким. Владения его велики, а сам он маленький и только прислуживает им. Это всегда так.

Тракторист дожевывал отштампованный кусок и швырял корку в сторону.

— Времена другие, пора бы тебе понять это. С такими мыслями ребят не прокормишь. Зарабатывай три доллара в день, корми семью. Печалиться о чужих детишках не твое дело. А если узнают, что ты тут болтаешь, не видать тебе этих трех долларов. Надо думать только о трех долларах в день и ни о чем другом, иначе хозяева не дадут тебе их.

— Из-за твоих трех долларов чуть не сотня людей мыкается по дорогам. Куда нам деваться?

— Ты кстати об этом вспомнил. Съезжайте-ка вы поскорее. После обеда я начну запахивать ваш двор.

— Колодец ты уже завалил сегодня утром.

— Знаю. Борозду надо держать прямо. Пообедаю и запахаю двор. Борозда должна быть прямая. И вот еще что... Раз уж ты знаешь моего старика, Джо Дэвиса, я, так и быть, скажу. Если арендатор еще не выехал, у меня есть на этот счет особое распоряжение... Мало ли что случается... сам знаешь: подъехал к дому слишком близко, задел его трактором самую малость... Получу за это лишние два-три доллара. Мой младший сынишка еще в жизни своей не носил башмаков.

— Я собственными руками построил этот дом. Выпрямлял старые гвозди для обшивки, прикручивал проволокой стропила. Дом мой. Я сам его строил. Только попробуй его зацепить. Я стану у окна с ружьем. Только попробуй подъехать поближе, я тебя пристрелю, как кролика.

— Я тут ни при чем. От меня ничего не зависит. Не выполню распоряжения — выгонят с работы. А ты... ну, положим, ты меня убьешь. Тебя повесят, а до того как ты будешь болтаться на виселице, сюда придет другой тракторист и свалит твой дом. Не того ты собираешься убивать, кого нужно.

— Это правильно,— говорил арендатор.— А кто так распорядился? Я до него доберусь... Вот кого надо убить.

— Опять ошибаешься. Он сам получил такой приказ от банка. Банк сказал ему: «Всех выселить, не то слетишь с работы».

— Значит, директор банка... Или правление. Заряжу ружье и пойду в банк.

Тракторист говорил:

— Мне один рассказывал — банк получил распоряжения с востока. Распоряжения были такие: «Добейтесь доходов с земли, иначе мы вас прихлопнем».

— Где же конец? В кого тогда стрелять? Прежде чем подохнуть с голоду, я еще убью того человека, который довел меня до голодной смерти.

— Не знаю. Может, стрелять и не в кого. Может, люди тут не виноваты. Может, верно ты говоришь, что земля сама ими распоряжается. Во всяком случае, я тебя предупредил.

— Надо подумать,— говорил арендатор.— Нам всем надо подумать, как быть дальше. Должен же быть способ положить этому конец. Это ведь не молния, не землетрясение. Кто творит нехорошие дела? Люди. Значит, это можно изменить.

Арендатор уходил на крыльцо, а тракторист запускал мотор и ехал дальше. За трактором тянулись борозды, железные зубья прочесывали землю, детородные члены сеялки роняли в нее семена. Трактор пересекал двор, и твердая, утоптанная земля становилась засеянным полем. Трактор поворачивал. Невспаханная полоса сужалась до десяти футов. Он снова шел назад. Железное крыло касалось угла дома, крушило стену, срывало дом с фундамента, и он валился набок, раздавленный, точно букашка. Тракторист был в очках, резиновая маска закрывала ему нос и рот. Трактор шел напрямик, земля и воздух дрожали, откликаясь на рокот его мотора. Арендатор смотрел ему вслед с ружьем в руках. Рядом с ним стояла жена, а позади них — притихшие дети. И все они смотрели вслед трактору.

ГЛАВА VI

Проповедник Кэйси и Том стояли на холме и глядели вниз, на ферму Джоудов. Маленький неоштукатуренный домишко был проломлен с одного угла и сдвинут с фундамента; он завалился набок и смотрел слепыми окнами в небо — много выше линии горизонта. Изгородь была снесена, и хлопчатник рос на самом дворе, хлопчатник подходил вплотную к дому, окружал сарай. Уборная тоже лежала на боку, хлопчатник рос и возле нее. Двор, утоптанный босыми ногами ребятишек, лошадиными копытами и широкими колесами фургона, был вспахан, засеян, и на нем поднимались теперь темно-зеленые пыльные кусты хлопчатника. Том Джоуд долго смотрел на кряжистую иву рядом с рассохшейся водопойной колодой, на бетонное основание для колодезного насоса...

— Господи! — сказал он наконец.— Что тут стряслось? Будто нежилое место.

Он быстро зашагал под откос, и Кэйси последовал за ним. Он заглянул в сарай,— там было пусто, осталась только соломенная подстилка на полу; заглянул в стойло для мулов. И пока он стоял там, на полу что-то зашуршало — мышиный выводок бросился врассыпную, прячась от него под солому. Джоуд остановился у входа в пристройку для инвентаря и увидел там только сломанный лемех, клубок спутанной проволоки в углу, железное колесо от сеноворошилки, изъеденный мышами хомут, плоскую жестянку из-под машинного масла, покрытую слоем маслянистой грязи, и рваный комбинезон на гвозде.

— Ничего не осталось,— сказал Джоуд.— А инвентарь был хороший. Ничего не осталось.

Кэйси сказал:

— Будь я и по сию пору проповедником, я бы рассудил так: это десница божия вас покарала. А сейчас просто не знаю, что и подумать. Я здесь давно не был. Ничего такого не слышал.

Они пошли к колодцу, пошли к нему по вспаханной и засеянной земле, пробираясь сквозь кусты хлопчатника, на которых уже завязывались коробочки.

— Мы здесь никогда не сеяли,— сказал Джоуд.— У нас во дворе грядок не было. А сейчас тут с лошадью и не повернешься, сразу все затопчет.

Они остановились у старой, рассохшейся колоды. Травы, которая всегда растет в таких местах, под ней уже не было, и сама колода рассохлась и дала трещину. Болты, на которых раньше держался насос, торчали наружу, резьба их покрылась ржавчиной, гайки были отвинчены. Джоуд заглянул в колодец, плю-

нул и прислушался. Бросил туда комок земли и снова прислушался.

— Хороший колодец был,— сказал он.— А сейчас без воды.— Ему, видимо, не хотелось заходить в дом. Он стоял у колодца и бросал туда комок за комком.— Может, все умерли? — сказал он.— Да я бы услышал об этом. Уж как-нибудь да услышал.

— Может, в доме оставлено письмо или еще что-нибудь? Они ждали тебя?

— Не знаю,— ответил Джоуд.— Навряд ли. Я сам только за несколько дней до выхода узнал, что меня отпускают.

— Пойдем в дом, посмотрим. Вон он как покосился. Будто кто своротил его.— Они медленно пошли к осевшему дому. Два столбика, поддерживавшие слева навес над крыльцом, были выворочены, и навес касался одним краем земли. Угол дома был проломлен. Сквозь расщепленные доски можно было заглянуть в угловую комнату. Входная дверь стояла открытой внутрь, низкая дверца перед ней, едва державшаяся на кожаных петлях, была распахнута наружу.

Джоуд стал на нижнюю приступку крыльца — толстый брус, двенадцать на двенадцать дюймов.

— Приступка на месте,— сказал он.— Уехали или мать умерла.— Он протянул руку к низкой дверце.— Будь здесь мать, так бы не болталась. Что другое, а это мать всегда помнила — следила, чтобы дверца была на запоре.— Взгляд у него потеплел.— Все с тех пор, как у Джейкобсов свинья сожрала ребенка. Милли Джейкобс ушла зачем-то в сарай. Вернулась домой, а свинья ребенка уже доедает. Милли тогда была беременная; что с ней делалось — просто себя не помнила. Так с тех пор тронутая и осталась. А мать это на всю жизнь запомнила — чуть из дому, так дверцу сейчас же на крючок. Никогда не забывала. Да... или уехали... или умерли.— Он поднялся на развороченное крыльцо и заглянул в кухню. Окна там были все перебиты, на полу валялись камни, стены и пол прогнулись, повсюду тонким слоем лежала пыль. Джоуд показал на разбитые стекла и камни.— Это ребята,— сказал он.— Они двадцать миль пробегут, только бы швырнуть камнем в окно. Я сам такой был. Ребята всегда пронюхают, где есть нежилой дом. Стоит только людям выехать, они уж тут как тут.

В кухне было пусто, плита вынесена, в круглую дыру дымохода проникал дневной свет. На полочке над умывальником лежали штопор и сломанная вилка без черенка. Осторожно ступая, Джоуд прошел в комнату, и половицы застонали под его тяжестью. На полу около самой стены валялся старый номер филадельфийской газеты «Леджер» с пожелтевшими, загнувшимися по углам

страницами. Джоуд заглянул в спальню: ни кровати, ни стульев — пусто. На стене — цветная иллюстрация: девушка-индианка, подпись: «Алое Крыло». В одном углу железная перекладина от кровати, в другом — высокий женский башмак на пуговицах, с задранным кверху носком и с дырой на подъеме. Джоуд поднял его и осмотрел со всех сторон.

— Это я помню,— сказал он.— Мать сколько лет их носила. Ее любимые башмаки... Совсем развалились. Да, ясно — уехали и все с собой забрали.

Солнце садилось, и теперь его лучи падали прямо в окна и поблескивали на битом стекле. Джоуд повернулся и вышел из комнаты на крыльцо. Он сел, поставив босые ноги на широкую приступку. Вечернее солнце освещало поля, кусты хлопчатника отбрасывали на землю длинные тени, и около старой ивы тоже протянулась длинная тень.

Кэйси присел рядом с Джоудом.

— Неужели они тебе ничего не писали? — спросил он.

— Нет. Я же говорил, не мастера они писать. Отец умеет, да не любит. Письмо — это для него хуже нет, мурашки, говорит, по телу бегают. Заказ выписать по прейскуранту — выпишет, а письмо написать — ни за что.

Они сидели, глядя вдаль, на поля. Джоуд положил пиджак рядом с собой. Его освободившиеся руки свернули самокрутку, разгладили ее; он закурил, глубоко затянулся и выпустил дым через нос.

— Тут что-то неладно,— сказал он.— А в чем дело, не пойму. Чудится мне, что неладно. Дом на боку, все уехали.

Кэйси сказал:

— Вон там подальше канава, в которой я вас крестил. Ты мальчишка неплохой был, только с норовом. Вцепился девчонке в косы, как бульдог. Мы вас крестить во имя духа святого, а ты косу держишь и не выпускаешь. Том говорит: «Окуни его с головой». Я толкаю тебя под воду, а ты разжал руки, когда уж пузыри начал пускать. Неплохой был, только с норовом. А из таких вот норовистых часто хорошие, смелые люди вырастают.

Тощая серая кошка, крадучись, вышла из сарая, пробралась сквозь кусты хлопчатника и подошла к дому. Она бесшумно вспрыгнула на крыльцо и на согнутых лапах подкралась к людям. Потом обошла их, села между ними, чуть позади, и вытянула вздрагивающий кончиком хвост. Кошка сидела, глядя вдаль, туда же, куда глядели и люди.

Джоуд обернулся.

— Э-э! Смотри! Кто-то все-таки остался.— Он протянул руку, но кошка метнулась от него, села подальше и, подняв лапку, ста-

ла лизать подушечки. Джоуд удивленно смотрел на нее.— Теперь знаю, какая здесь беда приключилась! — вдруг крикнул он.— Это кошка меня надоумила.

— Приключилась беда, да не одна,— сказал Кэйси.

— Да! Значит, это не только у нас на ферме. Почему кошка не ушла к соседям — к Рэнсам? И почему обшивку с дома не содрали? Дом пустует месяца три-четыре, а все в целости. Сарай из хороших досок, на доме тес тоже неплохой, оконные рамы целы — и никто на это не позарился. Так не бывает. Вот над этим я и ломал голову, никак не мог понять, в чем тут дело.

— И что же ты надумал? — Кэйси нагнулся, снял туфли и ношевелил длинными босыми пальцами.

— Сам толком не знаю. Похоже, тут и соседей никого не осталось. Иначе бы доски не уцелели. Помню, как-то на рождество Альберт Рэнс уехал в Оклахому — собрался всем домом, с ребятишками, с собаками. Поехали погостить к его двоюродному брату. А соседи решили, что Альберт совсем удрал и никому не сказался,— может, от кредиторов или женщина какая его донимала. Через неделю приезжает он обратно, а в доме чисто: ни плиты, ни кроватей, ни оконных рам, обшивку и то ободрали с южной стороны, в комнату хоть со двора заглядывай — прореха в восемь футов. Он подъехал к дому, а Мьюли Грейвс в это время двери и колодезный насос вывозит. Альберт потом недели две ходил по соседям, собирал свое добро.

Кэйси с наслаждением почесывал босые ступни.

— И никто не стал спорить? Так все и отдали?

— Конечно, отдали. Воровать никто не хотел. Думали, он уехал совсем, ну и взяли, кому что надо. Он все получил, кроме диванной подушки — бархатной, на ней индеец был вышит. Альберт требовал ее с нашего деда. В нем, говорит, индейская кровь, вот подушка ему и приглянулась. Что верно, то верно, подушку забрал наш дед, но не потому, что там индеец. Понравилась, и все тут. Везде ее таскал за собой, где сядет, под себя подсовывает. Так и не отдал Альберту. Говорил: «Если уж он без этой подушки не может жить, пусть приходит. Только без ружья чтобы не являлся, я стрелять буду, башку ему снесу, если он попробует сунуться ко мне за моей подушкой». В конце концов Альберт сдался и подарил деду подушку. А у деда из-за нее ум за разум зашел. Начал собирать куриные перья. Задумал целую перину себе сделать. Только ничего из этого не вышло. Завелась у нас под домом вонючка. Отец прихлопнул ее доской, а мать сожгла все перья, чтобы вонь отбить. Не то просто хоть беги из дому.— Джоуд рассмеялся.— Дед у нас крутой старикан. Сидит себе на

подушке,— пусть, говорит, Альберт приходит за ней. Я, говорит, этого болвана наизнанку вывёрну, как штаны.

Кошка снова подкралась поближе к людям. Она сидела, вытянув хвост, усы у нее вздрагивали. Солнце едва отделялось от линии горизонта, пыльный воздух казался золотисто-красным. Кошка протянула серую лапку и осторожно тронула сверток Джоуда. Джоуд оглянулся.

— Эх! Про черепаху-то я и забыл. Нечего ее больше держать.

Он раскутал черепаху и сунул ее под дом. Но она сейчас же вылезла оттуда и опять заковыляла все в том же, раз взятом ею направлении, на юго-запад. Кошка прыгнула и ударила лапкой по вытянутой черепашьей голове, царапнула когтями по ногам. Чешуйчатая голова спряталась, толстый хвост ушел вбок под панцирь, и когда кошка, паскучив ожиданием, отошла прочь, черепаха снова двинулась в путь, на юго-запад.

Том Джоуд и проповедник смотрели, как черепаха уходит все дальше и дальше, широко расставляя ноги, волоча в пыли тяжелый выпуклый панцирь. Кошка некоторое время кралась за ней, но потом выгнула тугим луком спину, зевнула и, осторожно ступая, вернулась к людям, сидевшим на крыльце.

— И куда ее понесло! — сказал Джоуд.— Сколько я этих черепах перевидал на своем веку. Всегда они куда-то ползут. Всегда им куда-то надо.

Серая кошка снова уселась между ними, чуть позади. Веки у нее слипались. Шкурка на спине дернулась к шее от блошиного укуса и медленно поползла назад. Кошка подняла лапу, обнюхала ее, выпустила когти, потом спрятала их и лизнула подушечки розовым языком. Красное солнце коснулось горизонта и расползлось, как медуза, и небо над ним посветлело и точно ожило. Джоуд вынул из свертка новые желтые башмаки и, прежде чем надеть их, смахнул рукой пыль со ступней.

Проповедник, смотревший через поля вдаль, сказал:

— Кто-то идет. Погляди. Вон правее, по грядкам.

Джоуд повернул голову туда, куда показывал Кэйси.

— Да, кто-то идет,— сказал он.— Такую пылищу поднял, что и не разглядишь. Кто бы это мог быть? — Они следили за человеком, приближавшимся к ним, и пыль, которую он поднимал ногами, казалась красной в лучах заходящего солнца.— Мужчина,— сказал Джоуд. Человек подошел еще ближе, и когда он поравнялся с сараем, Джоуд сказал: — Да я его знаю. И ты знаешь. Это Мьюли Грейвс.— И он крикнул: — Эй, Мьюли! Здравствуй!

Человек остановился, испуганный окриком, но потом зашагал быстрее. Он был худой, небольшого роста. Движения у него

были резкие и быстрые. В руке он держал мешок. Его синие брюки совсем вылиняли на коленях и на заду, старый черный пиджак был весь в пятнах, рукава в проймах рваные, локти протертые до дыр. Черная шляпа тоже вся пестрела пятнами, лента на ней держалась только одним концом, а другой болтался сбоку. Лицо у Мьюли было без единой морщинки, но злое, как у капризного ребенка. Губы узкие, плотно сжатые, взгляд маленьких глазок не то хмурый, не то раздраженный.

— Ты помнишь Мьюли? — тихо спросил Джоуд проповедника.

— Вы кто такие? — окликнул их приближающийся человек. Джоуд молчал. Мьюли подошел ближе и только тогда разглядел их лица.— Пропади ты пропадом! — крикнул он.— Да ведь это Томми Джоуд. Когда же ты вышел, Томми?

— Сегодня третий день,— ответил Джоуд.— Путь не близкий, шел пешком. Пришел — и вот что увидел. Где же все мои, Мьюли? Почему дом разворочен и весь двор хлопком засеяли?

— Кстати я сюда заглянул,— сказал Мьюли.— Старый Том очень беспокоился о тебе. Когда они выезжали, я сидел у них на кухне. Говорю Тому: «Никуда отсюда не двинусь». А он говорит: «Беспокоюсь очень из-за Тома. Придет домой, а дома никого нет. Что он подумает?» Я говорю: «Ты бы ему написал». А Том говорит: «Может, и напишу. Может, и соберусь. А ты все-таки поглядывай, если останешься, не придет ли Том».— «Я-то останусь, говорю, меня отсюда до самого светопреставления не выживешь. Нет таких людей, которые сгонят с места нас, Грейвсов». И пока, как видишь, не согнали.

Джоуд нетерпеливо перебил его:

— Где же мои? О себе потом расскажешь. Куда мои делись?

— Когда банки начали запахивать тут все тракторами, они тоже решили не сдаваться. Ваш дед вышел с ружьем, стал стрелять, попал трактору в фару, а трактор все равно идет. Тракториста, Уилла Фили, он не хотел убивать. Уилл и сам знал, что бояться ему нечего,— держит прямо на дом и как двинет его! Будто собака крысу тряхнула! Тому это всю душу вывернуло наизнанку. Он с тех пор сам не свой стал.

— Куда они уехали? — со злобой проговорил Джоуд.

— Так я же тебе рассказываю. Три раза гоняли фургон твоего дяди Джона. Вывезли плиту, колодезный насос, кровати. Ты бы видел, как это все было! Взгромоздили кровати на фургон, ребятишки, дед твой, бабка примостились у передка, а твой брат Ной сидит, покуривает, сплевывает через борт, будто его это не касается.— Джоуд только открыл рот, как Мьюли быстро проговорил: — Они у дяди Джона.

— У Джона? А что им там делать? Мьюли, не отвлекайся, потерпи хоть минуту. Ответишь, а дальше валяй, как тебе угодно. Что они там делают?

— Окучивают хлопок — все от мала до велика. Копят деньги, хотят податься на Запад. Купят машину и поедут туда, где полегче живется. Здесь совсем плохо. Пятьдесят центов с акра — вот как за окучивание платят, да работу приходится вымаливать.

— И они еще там, не уехали?

— Нет,— ответил Мьюли.— По-моему, нет. Дня четыре назад я видел Ноя на охоте за кроликами, он говорил, что недели через две соберутся, не раньше. Джона тоже предупредили, чтобы выезжал. Иди к Джону, это всего миль восемь отсюда. Они все там, набились у него в доме, как суслики в норе.

— Ну, ладно,— сказал Джоуд.— Теперь валяй свое. Ты все такой же, Мьюли. Хочешь что-нибудь рассказать, а колесишь вокруг да около, и заносит тебя бог знает куда.

Мьюли сердито проговорил:

— И ты тоже ни капельки не изменился. Как раньше задирал нос, так и теперь задираешь. Учить меня вздумал?

Джоуд усмехнулся.

— Нет, не собираюсь. Тебе если что втемяшится в голову, ну хоть носом в битое стекло сунуться, так ты свое сделаешь, несмотря ни на какие уговоры. Мьюли, а нашего проповедника ты узнал? Его преподобие Кэйси.

— Как же, как же. Я на него просто не посмотрел.

Кэйси встал, и они пожали друг другу руку.

— Рад тебя видеть,— сказал Мьюли.— Ты давно в наших краях не показывался.

— Да, давно. Я ушел отсюда, чтобы разобраться в своих мыслях,— ответил Кэйси.— А что тут у вас делается? Почему народ с земли гонят?

Мьюли так плотно сжал губы, что верхняя, выступающая вперед клювиком, опустилась на нижнюю. Он нахмурился и сказал:

— Мерзавцы! Сукины дети! Я отсюда с места не двинусь. От меня так просто не отделаешься. Прогонят — опять вернусь, а если им думается, что меня только могила исправит, так я кое-кого из этих сволочей с собой прихвачу на тот свет за компанию.— Он похлопал рукой по оттопыренному карману куртки.— Никуда отсюда не уйду. Мой отец пятьдесят лет назад здесь поселился. Никуда не уйду.

Джоуд сказал:

— Да зачем это понадобилось — сгонять народ с места?

— Ха! Мы тут всяких речей наслушались. Ты ведь помнишь, как было последние годы. Пылью так все заносило, что от урожая оставалась самая малость — ослу задницу нечем заткнуть. Бакалейщику все задолжали. Сам знаешь. Тогда хозяева наши стали говорить: «Арендаторы нам больше не по средствам. Их доля лишает нас минимальных прибылей. Даже если мы не будем больше разбивать землю на мелкие участки, то и тогда она еле-еле себя окупит». И тракторами согнали отсюда всех арендаторов. Всех, кроме меня, а я нипочем не уйду. Ты меня знаешь, Томми. Ты меня с малых лет знаешь.

— Что верно, то верно,— сказал Джоуд,— с малых лет тебя знаю.

— Так вот, я ведь не дурак. Я знаю, земля здесь не бог весть какая. И никогда она хорошей не была, на ней только скот пасти. Целину здесь зря поднимали. А под хлопком она стала совсем мертвая. Если бы меня никто не гнал отсюда, я, может, давно бы перебрался в Калифорнию — ел бы там виноград да апельсины сколько душе угодно. Но когда эти сукины дети велят тебе убираться с твоего участка... ну нипочем не уеду, что хочешь со мной делай!

— Правильно,— сказал Джоуд.— Не пойму, как это отец так сразу покорился. И почему дед никого не убил, тоже не пойму. Дед не позволял собой вертеть. И мать не робкого десятка. Я раз видел, как она разносчика живой курицей била, потому что он, видите ли, ей слово поперек сказал. В одной руке топор, в другой курица — вышла ей голову отрубить. Хотела ударить разносчика топором, да перепутала, что в какой руке, и ну его курицей. Курицу эту мы так и не съели. Ничего от нее не осталось — одни ноги. Дед, глядя на них обоих, чуть не лопнул с хохоту. Что же это они так сразу покорились?

— Да, знаешь, приехал к нам сюда один человек, начал нас уговаривать, и так это у него гладко получалось: «На меня не сетуйте, я тут ни при чем». А я спрашиваю: «На кого же нам сетовать? Скажите — я пойду уложу его на месте».— «Это все Земельно-скотоводческая компания Шоуни. Я выполняю, что мне приказано».— «А кто он такой, этот Шоуни?» — «Да такого нет. Это компания». Просто до белого каления довел. Выходит, что и к ответу некого притянуть. Кое-кому надоело попусту из себя выходить да выискивать обидчиков, собрались и уехали. А мне все это покоя не дает. Я на своем стою и никуда отсюда не уеду.

Огромная красная капля солнца помедлила над горизонтом, потом просочилась вниз и исчезла, и небо в этом месте засверкало, рваное облачко окровавленной тряпкой повисло там, где только что было солнце. Восточную часть неба затянуло прозрачной

мглой, на землю с востока поползла тьма. Сквозь прозрачную мглу, дрожа, поблескивала первая звездочка. Серая кошка прокралась к сараю и тенью шмыгнула в открытую дверь.

Джоуд сказал:

— Ну, восемь миль сегодня не отмахаешь. Мои ходули горят как в огне. Может, к тебе пойдем? Ведь до твоей фермы не больше мили.

— Смысла нет.— Вид у Мьюли Грейвса был смущенный.— Мои все уехали в Калифорнию — и жена, и ребята, и брат ее. Есть нечего было. Они не так озлились, как я. Собрались и уехали. Здесь есть совсем нечего.

Проповедник беспокойно заерзал на месте.

— Тебе тоже надо было уехать. Семью нельзя разбивать.

— Не могу я,— сказал Мьюли Грейвс.— Ну вот будто не пускает меня что-то.

— Эх, черт! А я проголодался,— сказал Джоуд.— Четыре года ел по часам. А сейчас брюхо караул кричит. Мьюли, ты что будешь есть? Как ты теперь кормишься?

Мьюли сказал стыдливо:

— Первое время ел лягушек, белок, а то сурков. Что поделаешь. А теперь завел проволочные силки, раскинул их в кустарнике у ручья. Иногда заяц попадется, иногда куропатка. Бывает, что и енотов ловлю и скунсов.— Он нагнулся, поднял свой мешок и опростал его. Два кролика и заяц шлепнулись на крыльцо мягкими, пушистыми комками.

— Ох, чтоб тебе! — сказал Джоуд.— Я уж пятый год свежебитой дичи не ел.

Кэйси поднял одного кролика.

— Поделишься с нами, Мьюли Грейвс? — спросил он.

Мьюли неловко переступил с ноги на ногу.

— Выбирать не приходится.— Он замолчал, смущенный неделикатностью своего ответа.— Да я не то хотел сказать. Не то. Я...— он запнулся,— я вот как рассуждаю: если у тебя найдется, что поесть, а рядом стоит голодный... так тут выбирать не приходится. Положим, заберу я своих кроликов, уйду и съем их в одиночку... Понимаешь?

— Понимаю,— сказал Кэйси.— Это я понимаю, Том. Мьюли — он чувствует. Чувствует, а выразить не может, и я тоже выразить не могу.

Том потер руки.

— У кого есть нож? Сейчас мы этих зверушек разделаем. Уж мы их разделаем.

Мьюли сунул руку в карман брюк и вынул большой складной нож с роговым черенком. Том Джоуд взял его, раскрыл и

понюхал лезвие. Он несколько раз ткнул лезвием в землю, снова понюхал его, вытер о штанину и попробовал большим пальцем.

Мьюли вытащил из заднего кармана бутылку и поставил ее на крыльцо.

— На воду не очень налегайте,— сказал он.— Больше нет, а колодец здесь завалили.

Том взял кролика.

— Сходите кто-нибудь в сарай, там должна быть проволока. Костер разожжем из поломанных досок.— Он осмотрел мертвого зверька.— Кролика освежевать проще простого.— Он оттянул шкурку на спине, надрезал ее, сунул в надрез пальцы и рванул книзу. Кожа снялась, как чулок,— с хвоста к шее, с ног к лапкам. Джоуд опять взял нож и отрезал кролику голову и лапы. Потом положил шкурку на землю, разрезал кролику живот, вывалил на шкурку внутренности и бросил все это в хлопчатник. Маленькое тельце лежало с обнаженными мышцами. Джоуд отсек все четыре ноги и разрезал мясистую спинку вдоль. Он уже принялся за второго кролика, когда Кэйси подошел к крыльцу со спутанным мотком проволоки.— Теперь надо развести костер, да воткните колышки,— сказал Джоуд.— Ух, и аппетит у меня разыгрался! — Он выпотрошил второго кролика и зайца, разрезал их и надел куски мяса на проволоку. Мьюли и Кэйси оторвали несколько досок с развороченного угла дома, разожгли костер и по обе его стороны воткнули в землю по колышку.

Мьюли подошел к Джоуду.

— Посмотри, нет ли на зайце чирьев,— сказал он.— Я с чирьями не стану есть.— Он вынул из кармана маленький матерчатый мешочек и положил его на крыльцо.

Джоуд сказал:

— Он чистенький, как огурчик. Мьюли, да ты и солью запасся! Пошарь в карманах, может, у тебя там тарелки найдутся и палатка? — Он отсыпал на ладонь соли и посолил куски мяса, нанизанные на проволоку.

Языки огня тянулись кверху, отбрасывали тени на дом, сухие доски потрескивали, стреляли. Небо теперь стало темное, и звезды горели ярко. Серая кошка вышла из сарая и с мяуканьем побежала к костру, но, не добежав, вдруг повернула в сторону, прямо к кучке внутренностей, брошенных в грядки хлопчатника. Она принялась за еду, подбирая с земли длинные заячьи кишки.

Кэйси сидел у костра, бросал в огонь щепки, подсовывал длинные доски по мере того, как они обгорали с концов. Летучие мыши стремительно проносились взад и вперед в столбе света над костром. Кошка подкралась к огню и, облизываясь, села в сторонке, потом принялась умывать мордочку и усы.

Джоуд взял обеими руками проволоку, продернутую сквозь куски мяса, и подошел с ней к костру.

— Ну-ка, Мьюли, держи один конец, наматывай на колышек. Вот так. Теперь давай подтянем. Надо бы подождать, пока доски не прогорят, да мне уж невмоготу.— Он натянул проволоку, потом поднял с земли щепку и передвинул куски мяса так, чтобы они приходились над самым огнем. Огонь лизнул их, кусочки затвердели и покрылись глянцевитой корочкой. Джоуд сел у костра и стал поворачивать мясо щепкой, чтобы оно не припеклось к проволоке.— Сейчас закатим пир горой,— сказал он.— Мьюли всем богат — и крольчатиной, и солью, и водичкой. Жаль только, что у него в кармане горшочка маисовой каши не нашлось. Больше мне ничего не надо.

Мьюли, сидевший по другую сторону костра, сказал:

— Вы, наверно, думаете, что я тронулся, что так жить нельзя?

— Еще чего — тронулся! — сказал Джоуд.— Хорошо бы все такие тронутые были, как ты.

Мьюли продолжал:

— А ведь чудно́! Как сказали мне — съезжай, так со мной будто сделалось что-то. Сначала решил: пойду и перебью всех, кто попадется под руку. Потом мои все уехали на Запад. Стал я бродить с места на место. Далеко не уходил. Все тут слонялся. Спал где придется. Сегодня хотел здесь заночевать. За этим и пришел сюда. Слоняюсь с места на место, а сам себе говорю: «Надо приглядывать за чужим добром, чтобы все было в порядке, когда люди вернутся». И ведь знаю, что обманываю сам себя. Не за чем здесь приглядывать. Никто сюда не вернется. А я брожу здесь, точно призрак на погосте.

— С привычным местом трудно расстаться,— сказал Кэйси.— И к мыслям своим тоже привыкаешь, никак от них не отделаешься. Я уж больше не проповедник, а нет-нет да словлю себя на том, что читаю молитвы.

Джоуд перевернул кусочки мяса на проволоке. С них уже капал сок, и в том месте, куда падали капли, огонь вспыхивал ярче. Гладкая поверхность мяса начинала темнеть и покрываться морщинками.

— Понюхайте,— сказал Джоуд.— Нет, вы только понюхайте, как пахнет!

Мьюли продолжал свое:

— Точно призрак на погосте. Обошел все памятные места. Вот, скажем, есть за нашим участком кустарник в ложбинке. Я там первый раз с девчонкой лег. Мне было тогда четырнадцать лет. Распалился, как олень, ерзал, сопел, что твой козел. Пришел

я туда, лег на землю — и будто опять со мной это случилось. А еще есть место около сарая, где отца бык забодал насмерть. Там его кровь в земле. И по сию пору, наверно, осталась. Мы не смывали. Я пришел туда и положил руку на землю, которая впитала отцовскую кровь.— Он запнулся.— Вы думаете, я тронутый?

Джоуд все поворачивал куски мяса, и взгляд у него был глубокий, сосредоточенный. Кэйси подтянул колени к подбородку и смотрел в огонь. Шагах в пятнадцати от людей, аккуратно обвив хвостом передние лапки, сидела насытившаяся кошка. Большая сова с криком пролетела над костром, и огонь осветил снизу ее белые перья и размах крыльев.

— Нет,— сказал Кэйси.— Жизнь у тебя сейчас бесприютная, но ты не тронутый.

Маленькое, туго обтянутое кожей лицо Мьюли словно окаменело.

— Я положил руку на ту самую землю, где и по сию пору есть отцовская кровь. Вижу, он будто рядом со мной, и дыру у него в груди вижу, и чувствую, как он дрожит, а потом повалился и руки и ноги вытянул. В глазах муть от боли, потом затих, и глаза стали ясные... и вверх смотрят. Я был еще совсем мальчишкой, сижу рядом с ним и не плачу, не кричу, сижу молча.— Он дернул головой. Джоуд медленно поворачивал кусочки мяса.— Потом зашел в комнату, где родился наш Джо. Кровати уж нет, а комната как была, так и стоит. Да, того, что случалось в этих памятных местах, никуда не денешь, оно там и останется. Здесь родился наш Джо. Открыл рот, ловит воздух, а потом как закричит — за милю было слышно, а бабка стоит рядом и приговаривает: «Ах ты мой красавчик!» Так внуку радовалась, что за один вечер три чашки разбила.

Джоуд откашлялся.

— Ну, давайте есть, что ли.

— Пусть прожарится как следует, дай ему подрумяниться до черноты,— сердито сказал Мьюли.— Мне поговорить охота. Я уж давно ни с кем не говорил. Тронутый я, ну и пусть тронутый, и дело с концом. Слоняюсь по ночам с фермы на ферму, точно призрак на погосте. К Питерсам, от них к Джейкобсам, к Рэнсам, к Джоудам. Дома стоят темные, точно крысиные норы, а ведь было время — гости съезжались, танцевали. Моления, крик, шум во славу божию, свадьбы играли — и все здесь, в этих самых домах. Оглядываюсь вокруг себя, и хочется мне пойти в город и перебить там кого следует. Прогнали отсюда людей, запахали землю тракторами, а что они с нее получат? Что они такое возьмут, чтобы сохранить свои «минимальные прибыли»? Они возь-

мут землю, на которой истек кровью мой отец. Здесь родился Джо, и я здесь ночью под кустами сопел, как козел. Что они еще получат? Земля истощенная. У нас уже сколько лет плохие урожаи. А эти сволочи в конторах — они взяли и ради своих «минимальных прибылей» разрубили людей на две половины. Человек сливается воедино с тем местом, где живет. А когда мыкаешься по дорогам в забитой всяким скарбом машине, тогда ты не полный человек. Ты мертвец. Тебя убили эти сволочи.— Мьюли замолчал, но его тонкие губы все еще шевелились, грудь тяжело вздымалась. Он сидел, глядя на свои освещенные огнем руки.— Я... я уж давно ни с кем не говорил,— тихим, извиняющимся голосом сказал он.— Все слонялся с места на место, точно призрак на погосте.

Кэйси подсунул длинные доски в костер, огонь лизнул их и снова взметнулся вверх, к подвешенному на проволоке мясу. Стены дома громко потрескивали, остывая в ночном воздухе. Кэйси спокойно проговорил:

— Надо повидать людей, тех, что снялись с места. Чувствую, что мне надо повидать их. Им нужна помощь,— не проповеди, а помощь. Какое уж тут царство божие, когда на земле нельзя жить? Какой уж тут дух святой, когда людские души поверглись в уныние и печаль? Им нужна помощь. А жить они должны, потому что умирать им еще нельзя.

Джоуд крикнул:

— Да что в самом деле! Давайте есть, а то ссохнутся, будут величиной с мышь. Вы посмотрите. Понюхайте, пахнет-то как! — Он вскочил с места и передвинул кусочки мяса подальше от огня. Потом взял нож Мьюли и, надрезав один кусок, снял его с проволоки.— Это проповеднику,— сказал он.

— Говорю тебе — я больше не проповедник.

— Ну ладно, не проповеднику, так просто человеку.— Джоуд надрезал еще один кусок.— А это Мьюли, если у него еще аппетит не пропал от огорчения. Зайчатина. Жесткая, точно камень.— Он сел и запустил свои длинные зубы в зайчатину, рванул большой кусок и принялся пережевывать его.— Ой! Ну и похрустывает! — и с жадностью откусил еще один кусок.

Мьюли сидел, глядя на свою порцию.

— Может, не следовало мне так говорить? — сказал он.— Может, это лучше держать про себя?

Кэйси, набивший полный рот мясом, взглянул на Мьюли. Мускулы у него на шее ходили ходуном.

— Нет, говорить следовало,— сказал он.— Иногда человек изливает все свое горе в словах. Иногда человек замыслит убить кого-нибудь, поговорит, изольет свою злобу, тем дело и кончит-

ся. Ты правильно поступил. Никого не надо убивать. Совладай с собой.— И он снова поднес зайчатину ко рту. Джоуд бросил кости в огонь, вскочил с места и снял с проволоки еще один кусок. Мьюли принялся за свою порцию, и жевал он медленно, а его маленькие беспокойные глазки перебегали с Джоуда на проповедника. Джоуд ел с остервенением, по-звериному, и вокруг его рта поблескивали сальные разводы.

Мьюли смотрел на него долго и чуть ли не с робостью. Потом опустил руку с куском мяса и сказал:

— Томми.

Джоуд поднял глаза, не переставая жевать.

— А? — спросил он с полным ртом.

— Ты не сердишься, что я говорю про убийство? Тебе не обидно меня слушать?

— Нет,— сказал Том.— Не обидно. Что было, то было.

— Ты не виноват, это мы все знали,— сказал Мьюли.— Старик Тернбулл грозился отомстить тебе после тюрьмы. Он, говорит, убил моего сына, и я ему этого не спущу. Но потом соседи успокоили его, образумили.

— Мы были пьяные,— тихо сказал Джоуд.— Подвыпили на вечеринке. Сам не знаю, с чего все началось. Почувствовал вдруг, что меня пырнули ножом, и протрезвел. Вижу, Херб опять замахивается. А тут у стены, у школы, стояла лопата. Я схватил ее и ударил Херба по голове. У меня с ним никаких счетов не было. Он был хороший. Еще мальчишкой увивался около моей сестры Розы. Мне этот Херб даже нравился.

— Старику все так и говорили. Наконец кое-как утихомирился. Мне кто-то рассказывал, будто у него родство с Хэтфилдом со стороны матери, вот он и пыжится изо всех сил. Не знаю, верно это или нет. Они всей семьей уехали в Калифорнию полгода назад.

Джоуд снял с проволоки оставшиеся куски, роздал их сотрапезникам и опять уселся у костра. Теперь он ел уже не так быстро, разжевывал мясо как следует и вытирал рукавом жир с губ. А его темные полузакрытые глаза задумчиво смотрели на потухающий костер.

— Все уезжают на Запад,— сказал он.— А я подписку дал, надо выполнять обязательство. Мне в другой штат нельзя.

— Подписку? — спросил Мьюли.— Да, я про них слыхал. А как с ними выпускают?

— Я вышел раньше срока. На три года раньше. Ставят кое-какие условия, которые нужно выполнять, а не выполнишь, опять засадят. Являться надо время от времени.

— Как там с вами обращались? У моей жены двоюродный брат побывал в Мак-Алестере, так ему там спуску не давали.

— Обращаются неплохо,— сказал Джоуд.— Не хуже, чем в других тюрьмах. Но будёшь буянить, тогда спуску не дадут, это верно. Нет, в тюрьме жить можно, если только надзиратель не придирается. А тогда дело дрянь. Я ничего жил. Держался смирно. Писать выучился, да еще как красиво. И птичек умею рисовать. Мой старик увидит, как я птичку с одного росчерка рисую, пожалуй, разозлится, а то и вовсе взбесится. Не любит он таких фокусов. Когда обыкновенно пишут, и то ему не по душе. Боится, что ли? Наверно, привык: раз перо и чернила — значит, что-нибудь взыскивают.

— И не били тебя?

— Нет, я смирный был. Конечно, когда тянешь такую лямку изо дня в день все четыре года, это кого хочешь до одури доведет. Если натворил такого, что вспоминать стыдно,— ну, сиди и кайся. А я — вот честное слово! — если бы Херб Тернбулл полез на меня с ножом, я бы опять пристукнул его лопатой.

— На твоем месте каждый бы так сделал,— сказал Мьюли.

Проповедник не отводил глаз от костра, и в сгущавшейся темноте его высокий лоб казался совсем белым. Огненные блики играли на его жилистой шее. Он сидел, обняв колени, и похрустывал костяшками пальцев.

Джоуд бросил в огонь объедки, облизал пальцы и вытер их о брюки. Он поднялся, взял с крыльца бутылку с водой, сделал маленький глоток и, прежде чем сесть, передал бутылку проповеднику. Потом снова заговорил:

— Что меня больше всего мучило? То, что во всем этом нет никакого смысла. Когда корову убьет молнией или поля зальет разливом — тут особого смысла искать не станешь. Случилась беда, ну и случилась. Но когда тебя сажают под замок на четыре года, в этом должен быть какой-то резон. Человеку положено до всего добираться своим умом. Так вот, посадили меня в тюрьму, держали там четыре года, кормили. Как будто это должно или исправить меня, чтобы я не пошел во второй раз на преступление, или припугнуть так, чтобы впредь неповадно было...— Он помолчал.— Но если Херб или кто другой опять на меня полезет, я то же самое сделаю. Особенно если в пьяном виде. Вот над этой бессмыслицей и ломаешь себе голову.

Мьюли заметил:

— Судья говорил, ты потому так легко отделался, что Херб тоже был виноват.

Джоуд продолжал:

— В Мак-Алестере сидел один — бессрочник. Учился все время. Работал секретарем у надзирателя, переписку вел и все такое прочее. Умница, в законах смыслил. Я с ним однажды разговорил-

ся обо всем этом,— человек он был образованный, много книг прочел. Так он мне сказал: книги тут не помогут. Я, говорит, о тюрьмах все перечитал, и о прежних и о нынешних, и теперь еще меньше понимаю, чем раньше. Тут, говорит, такая неразбериха, что сам черт ногу сломит, и ничего с этим не могут поделать; а чтобы ввести какие-нибудь изменения, так на это ни у кого ума не хватает. Не вздумай, говорит, за книги засесть: во-первых, запутаешься еще больше, а во-вторых, перестанешь уважать правительство.

— Я и так его не уважаю,— сказал Мьюли.— Мы знаем только одно правительство — это те самые, кто на нас налегает и печется о своей «минимальной прибыли». Но я вот чего не мог понять: как это Уилл Фили согласился сесть на трактор да еще хочет здесь и дальше работать, на той самой земле, которую пахал его отец. Покоя мне это не давало. Если б из других мест кого прислали, дело другое, а ведь Уилл здешний. Наконец решил: пойду спрошу его самого. Он прямо взбеленился. «У меня двое ребят, говорит. У меня жена и теща. Им есть надо». Себя от злости не помнит. «Я в первую голову о них думаю, говорит. А другие пусть сами о себе позаботятся». Ему, верно, стыдно было, вот он и обозлился.

Джим Кэйси смотрел на потухающий костер, и глаза у него были широко открыты, мускулы на шее вздулись. Вдруг он крикнул:

— Теперь знаю! Если есть во мне хоть капля разума, значит, я все понял. Прозрел! — Он вскочил и стал расхаживать взад и вперед, крутя головой.— Была у меня палатка. Народу по вечерам сходилось человек пятьсот. Давно это было, вы меня в те годы еще не знали.— Он остановился и посмотрел на них.— Помните? Я никогда не собирал деньги после проповеди, где бы ни проповедовал — в сарае, в поле.

— Никогда, что правда, то правда,— сказал Мьюли.— Наши так к этому привыкли, что их зло брало, когда другие проповедники ходили по рядам со шляпой. Что правда, то правда.

— Если предлагали покормить, я не отказывался,— продолжал Кэйси.— Брюки брал, когда от своих собственных оставались одни лохмотья, или пару старых башмаков, когда подошвы начисто сносишь. А в палатке было по-другому. Иной раз собирал долларов десять, а то и двадцать. Только радости это мне не приносило. Тогда я бросил собирать, и как будто стало полегче. Теперь я все знаю. А вот словами это выразить, пожалуй, не смогу. Пожалуй, и пробовать не стану... Но, кажется мне, теперь проповедник найдет свое место. Может, я опять смогу проповедовать. Люди мыкаются по дорогам, одинокие, без земли, без крова.

А если нет крова, надо дать им что-то взамен. Может быть...— Он стоял, глядя на костёр. Мускулы у него на шее вздулись еще больше, отблески огня играли в глазах, зажигая там красные искорки. Кэйси стоял, глядя на костер, и взгляд у него был настороженный, словно он прислушивался к чему-то, а руки, всегда такие беспокойные, деятельные, сейчас медленно тянулись к карманам. Летучие мыши кружили в свете затухающего костра, и далеко в полях слышалось хлипкое курлыканье ночной птицы.

Том неторопливо полез в карман, вынул оттуда кисет и стал свертывать самокрутку, не отводя глаз от углей. Он никак не откликнулся на слова проповедника, словно считая, что это личное дело Кэйси и вмешиваться в него не следует. Он сказал:

— По ночам лежишь у себя на койке и думаешь: вот вернусь домой — как это все будет? Дед и бабка, может, умрут к тому времени, может, еще ребятишки народятся. Может, нрав у отца будет не такой крутой. И мать отдых себе даст, работа по дому перейдет к Розе. Я знал, что перемены должны быть... Ну что ж, давайте устраиваться на ночевку, а завтра чуть свет пойдем к дяде Джону. По крайней мере, я пойду. А ты, Кэйси, как решишь?

Проповедник все еще стоял, глядя на угли. Он медленно проговорил:

— Пойду с тобой. А когда твои тронутся в путь, поеду с ними. Кто на дороге, с теми я и буду.

— Милости просим,— сказал Джоуд.— Мать всегда тебя почитала. Говорила: такому проповеднику можно довериться. Роза тогда была еще совсем маленькая.— Он повернулся к Мьюли: — А ты как? Пойдешь с нами? — Мьюли смотрел на дорогу, по которой они пришли.— Пойдешь, Мьюли? — повторил Джоуд.

— А? Нет. Мне идти некуда. Видишь, вон там свет прыгает вверх и вниз? Это, наверно, управляющий здешним участком едет. Значит, заметил наш костер.

Том посмотрел в ту сторону. Светлое пятно ползло вверх по дороге.

— А кому мы мешаем? — сказал он.— Посидели здесь, только и всего. Мы ничего плохого не сделали.

Мьюли хмыкнул:

— Как бы не так! Раз пришел сюда, значит, уже плохо. Нарушаешь чужие владения. Здесь оставаться никому нельзя. Меня уж два месяца ловят. Вот что: если это машина, пойдем в хлопок и там заляжем. Далеко можно не забираться. Пусть ищут! Пусть каждую грядку обшаривают. А ты лежи и не поднимай головы.

— Что это с тобой, Мьюли? — удивился Джоуд.— Ты раньше не любил в прятки играть. Злой был.

Мьюли не сводил глаз с приближающегося светового пятна.

— Да,— сказал он.— Был злой, как волк. А теперь злой, как ласка. Если ты охотишься за дичью, значит, ты охотник,— а охотники сильные. Такого не одолеешь. А когда охотятся за тобой самим — это дело другое. Ты уж не тот, не прежний. И силы в тебе нет. Злость, может быть, есть, а силы нет. За мной давно охотятся. Я теперь дичью стал. Подвернется случай, может, и подстрелю кого-нибудь из темноты, а чтобы кол выдернуть да замахнуться — этого больше не бывает. И нечего нам с тобой обманывать самих себя. Вот так-то.

— Что ж, иди прячься,— сказал Джоуд.— А мы с Кэйси перекинемся парой словечек с этой сволочью.

Полоска света была уже близко, она взметнулась в небо, исчезла и снова взметнулась. Все трое стояли и следили за ней.

Мьюли сказал:

— Когда за тобой охотятся, ты вот еще о чем думаешь — об опасности. Когда сам охотишься, этого и в мыслях нет, ничего не боишься. Ты ведь сам говорил: стоит только тебе в чем-нибудь провиниться — и крышка, отсидишь свой срок в Мак-Алестере до конца.

— Правильно,— согласился Джоуд.— Так мне было сказано. Но если остановишься здесь отдохнуть, переспишь ночь прямо на земле — разве в этом есть какая-нибудь провинность? Тут ничего плохого нет. Это не то же самое, что пьянствовать или дебоширить.

Мьюли рассмеялся:

— Вот увидишь. Посиди здесь, дождись машины. Может, это Уилл Фили, он теперь шерифский понятой. Он тебя спросит: «Ты зачем сюда пришел?» Ну, Уилл всегда был дурак дураком, значит, ты ему скажешь: «А тебе какое дело?» Он разозлится, заорет: «Проваливай отсюда, не то арестую». А ты не позволишь всякому Фили тобой командовать да покрикивать на тебя с перепугу. Он уже влип, надо как-то выпутываться, а ты тоже удила закусил, отступать и тебе не резон... А черт, залечь между грядок куда проще, пусть разыскивает. И веселее, потому что они злятся, ничего не могут поделать, а ты лежишь себе да посмеиваешься. Попробуй поговорить с Уиллом или с другим начальником, они тебе покажут! Арестуют и вернут в Мак-Алестер еще на три года.

— Ты дело говоришь,— сказал Джоуд.— Что верно, то верно. Да уж больно не хочется плясать под их дудку. Пошел бы да и всыпал этому Уиллу.

— Он с винтовкой,— сказал Мьюли,— будет стрелять — шерифскому понятому можно. Значит, или он тебя убьет, или ты его, если отнимешь винтовку. Пойдем, Томми. Ты так рассуждай:

я спрячусь, они же в дураках останутся. Тут все дело в том, как это повернуть.— Яркие полосы света уткнулись теперь прямо в небо, и на дороге послышался ровный гул мотора.— Пойдем, Томми. Далеко не надо забираться, грядок за четырнадцать, за пятнадцать. Оттуда все будет видно.

Том встал.

— Правильно говоришь, что с тобой спорить. Этим ничего не выиграешь.

— Пошли. Вот сюда.— Мьюли обогнул дом и вывел их шагов на пятьдесят в поле.— Вот и достаточно,— сказал он.— Теперь ложитесь. Если свет направят сюда, опустите голову, только и всего. Мы еще посмеемся над ними.— Все трое растянулись на земле и оперлись на локти. Вдруг Мьюли вскочил, побежал к дому и, вернувшись через несколько минут, бросил на грядку пиджак и обувь.— Не то возьмут, чтобы в долгу не оставаться,— сказал он.

Полосы света поднялись по откосу и уткнулись прямо в дом.

Джоуд спросил:

— Может, они с карманными фонарями пойдут искать? Эх, палку бы!

Мьюли хихикнул:

— Не пойдут. Говорю, я злой стал, как ласка. Уилл раз попробовал сунуться, а я его так огрел сзади! Свалился как подкошенный. Потом всем рассказывал, что на него пятеро насело.

Машина подъехала к дому, на ней вспыхнул прожектор.

— Головы ниже,— сказал Мьюли. Полоса холодного белого света протянулась над ними и стала шарить по полю. Им не было видно, что происходит около дома, но они услышали, как хлопнула дверца машины, услышали голоса.— На свет боятся выходить,— прошептал Мьюли.— Я раза два стрелял по фарам. Уилл теперь ученый. Сегодня не один приехал.— Они услышали скрип половиц, потом увидели свет в доме.— Стрельнуть? — шепнул Мьюли.— Не увидят откуда. Пусть призадумаются.

— Стреляй,— сказал Джоуд.

— Не надо,— шепнул Кэйси.— Что это даст? Пустая затея. Надо так делать, чтобы во всем смысл был.

Где-то возле дома послышалось шарканье подошв по земле.

— Костер тушат,— прошептал Мьюли.— Засыпают его пылью.— Дверца машины хлопнула, фары снова осветили дорогу.— Головы ниже! — скомандовал Мьюли. Они уткнулись в землю, и луч прожектора лег у них над головой, метнулся по полю, потом машина тронулась с места, поднялась на холм и исчезла.

Мьюли сел среди грядок.

— Уилл всегда так делает напоследок. Я уж привык к этому. А ему кажется, он невесть какой хитрец.

Кэйси сказал:

— Может, в доме кто-нибудь остался? Мы выйдем, а нас схватят.

— Все может быть. Вы подождите здесь. Я все их штучки знаю.— Осторожно ступая, Мьюли пошел к дому, и только легкое похрустыванье сухих комьев земли отмечало его путь. Джоуд и проповедник напряженно вслушивались, но Мьюли был уже далеко. Через несколько минут он крикнул с крыльца: — Никого нет. Идите сюда.

Они поднялись и пошли к темневшему впереди дому. Мьюли стоял у кучки земли, сквозь которую пробивался дым,— это было все, что осталось от их костра.

— Никого нет, я так и знал,— с гордостью проговорил Мьюли.— Уилла сбил с ног, по фарам раза два стрелял. Они теперь ученые. Откуда им знать, кто здесь прячется? А я в руки не дамся. Я около жилья никогда не сплю. Хотите, покажу место, где можно устроиться на ночлег? Там никто о вас не споткнется.

— Веди,— сказал Джоуд.— Что ж делать, пойдем. Вот не думал, что буду прятаться на отцовской ферме.

Мьюли вышел в поле, и Джоуд с проповедником последовали за ним. Они шагали прямо по кустам хлопчатника.

— Тебе еще сколько раз надо будет прятаться,— сказал Мьюли. Они шли гуськом. Вскоре перед ними протянулась глубокая рытвина, и, скользя подошвами по откосу, они легко соскользнули на самое ее дно.

— А я знаю, куда ты ведешь! — крикнул Джоуд.— В пещеру?

— Верно. Почему ты догадался?

— Я сам ее рыл,— сказал Джоуд.— Вместе с братом Ноем. Говорили, будто ищем золото, а на самом деле просто, как все ребята, копали пещеру.— Откосы рытвины приходились им теперь выше головы.— Где-то тут, совсем близко,— сказал Джоуд.— Помнится мне, что совсем близко.

Мьюли сказал:

— Я ее прикрыл хворостом, чтобы никто не нашел.— Дно рытвины выровнялось, их ноги ступали теперь по песку.

Джоуд сел на чистый песок.

— Я там спать не стану. Лягу вот здесь.— Он свернул пиджак и сунул его под голову.

Мьюли раздвинул руками хворост и забрался в свою пещеру.

— А мне и тут хорошо,— крикнул он.— По крайней мере, знаешь, что тут никто до тебя не доберется.

Джим Кэйси сел на песок рядом с Джоудом.

— Ложись спи,— сказал Джоуд.— Чуть рассветет, двинемся в путь к дяде Джону.

— Мне спать не хочется,— ответил Кэйси.— Уж очень много всяких мыслей в голове.— Он согнул ноги в коленях и обнял их руками. Потом поднял голову и уставился на яркие звезды. Джоуд зевнул и закинул руку за голову. Они молчали, и мало-помалу суетливая жизнь земли, норок, кустарника пошла своим чередом: шуршали суслики, кролики осторожно подбирались к зеленой листве, мыши сновали между сухими комьями, а крылатые хищники бесшумно проносились в небе.

ГЛАВА VII

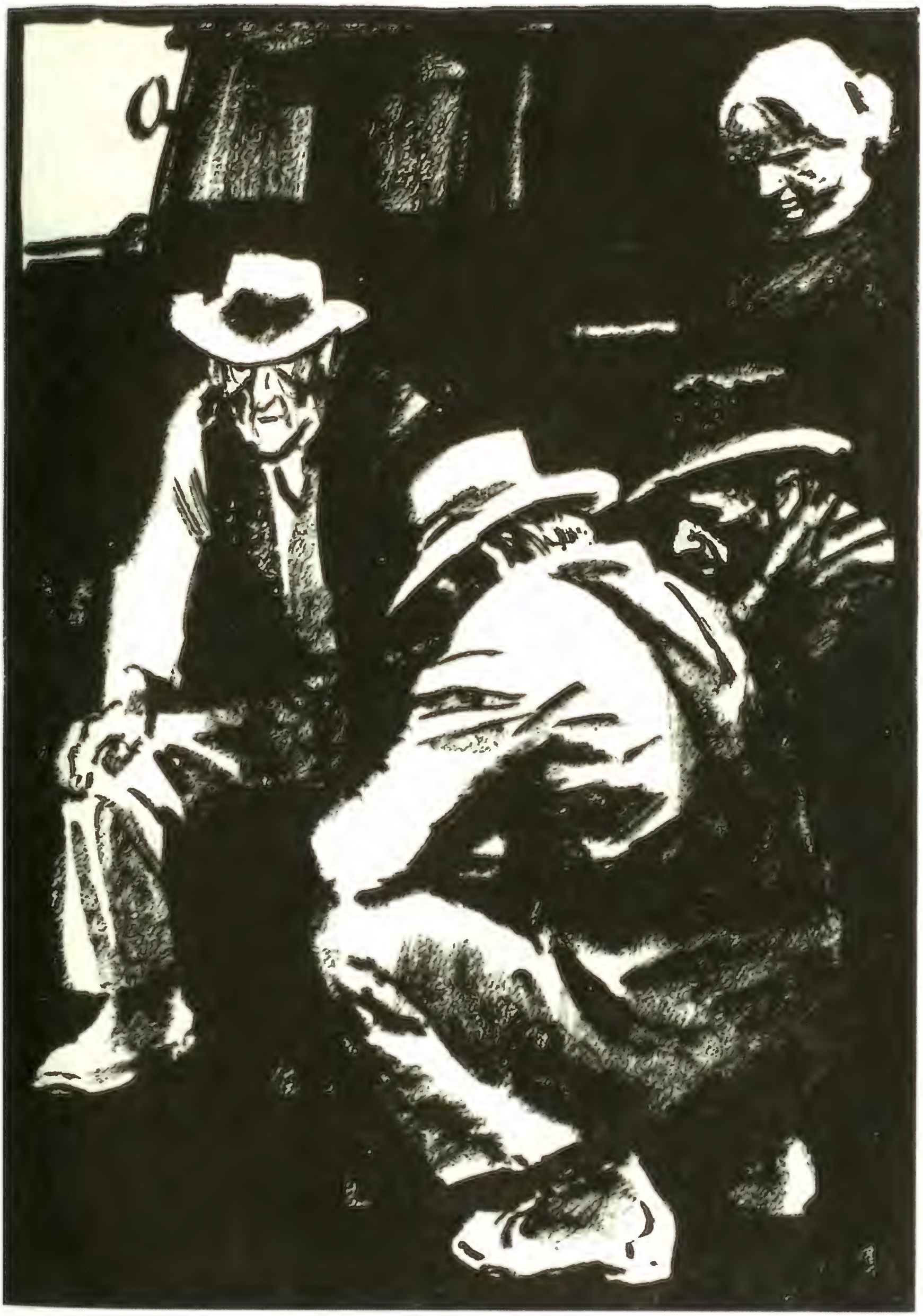
В городах, на городских окраинах, посреди полей, на пустырях — всюду парки подержанных машин, автомобильный лом, гаражи с неоновыми рекламами. Подержанные машины. Хорошие подержанные машины. Дешевый вид транспорта, три прицепа. «Форд» 27-го года, мотор в порядке. Проверенные машины, качество гарантировано. Бесплатное радио. Машины, и к ним сто галлонов бензина в придачу. Зайдите и убедитесь сами. Подержанные машины. Никаких расходов.

Небольшой участок и контора, в которой едва хватает места для стола, стула и синей конторской книги. Пачка захватанных по уголкам, пестрящих скрепками бланков, рядом — аккуратная стопочка чистых, незаполненных. Вечное перо — следите, чтобы в нем всегда были чернила, держите его в порядке. Сделка не состоялась только потому, что вечное перо было не в порядке.

Вон те сукины дети ничего не купят. Такие шляются по всем гаражам. Им бы только глазеть с утра до вечера. Таким машины не нужны; крадут у тебя время, не считаются с тобой. А вон там парочка — нет, не та, с ребятами. Посади их в машину. Начинай с двухсот, постепенно сбавишь. По виду, сто двадцать пять наскребут. Пусть покатаются. Пусть попробуют вон тот примус на колесах. Прижимай их. Они крадут у нас время.

Хозяева с засученными рукавами. Продавцы — чистенькие, бесстрастные, взгляд маленьких глаз внимательный. Знатоки человеческих слабостей.

Следи за лицом той женщины. Если женщине понравится, муженька мы обломаем. Начни с «кадиллака». Потом всучишь вон тот «бьюик» 26-го года. Если начать с «бьюика», под конец они потребуют себе «форд». Живей, живей поворачивайся. Надо спе-



«Гроздья гнева»

нить,— не век же так будет. Покажи им вон тот «нэш», а я пока подкачаю дырявую камеру на «додже» 25-го года. Когда будет готов — кликну.

Машина вам нужна для езды, не так ли? За финтифлюшками вы не гонитесь? Да, обивка потерлась. Но ведь колеса приходят в движение не от подушек.

Ряды машин стоят нос к носу — капоты ржавые, камеры спущены. Стоят тесно одна к другой.

Хотите посмотреть? Ну какое же тут беспокойство? Сейчас я ее выведу.

Пусть чувствуют себя обязанными. Пусть отнимают у тебя время. Не давай им забывать это. Покупатели — народ большей частью вежливый. Им неприятно утруждать людей. А ты заставь их утруждать себя, а потом прижмешь.

Ряды машин модели «Т» — высокие, тупоносые, баранка поворачивается со скрипом, тормозные ленты изношены. «Бьюики», «нэши», «де-сото»...

Да, сэр, «додж» 22-го года. Лучшая модель, выпущенная Доджем. Вечная. Низкая компрессия. С высокой компрессией первое время прыти хоть отбавляй, но в конце концов двигатель выходит из строя. «Плимуты», «рокнисы», «стары»...

О господи! Откуда взялся этот «апперсон» — из Ноева ковчега? А «чалмерс», «чандлер», их уж сколько лет не выпускают. Мы продаем не машины, а рухлядь. Эх! Побольше бы таких примусов на колесах! Дороже двадцати пяти — тридцати долларов мне ничего не надо. Пойдет за пятьдесят, за семьдесят пять. Уже неплохо. А много ли заработаешь на новой машине? Побольше примусов на колесах. Они у меня не застоятся. Все что угодно, но не дороже двухсот пятидесяти долларов. Джим, задержи вон того старикашку. Он ни бельмеса не смыслит. Попробуй всучить ему «апперсон». А куда он делся, этот «апперсон»? Продан? Если мы не раздобудем побольше таких примусов на колесах, тогда хоть бросай торговлю.

Флажки — красные и белые, белые и синие — развеваются у обочины дороги. Подержанные машины. Хорошие подержанные машины.

На помосте — гвоздь сегодняшнего дня. Не вздумайте продавать. Это приманка для публики. Если продать за такую цену, ни черта на нем не заработаешь. Говорите, что продано. Прежде чем отдашь машину, вынь аккумулятор. Поставь пустой бачок. Пошли они к черту! Что им еще нужно за их гроши? Поворачивайся — живее, живее! Надо спешить — не век же так будет. Побольше бы раздобыть таких примусов на колесах, тогда через полгода можно свернуть дело — и на покой.

Эй, Джим, у этого «шевроле» такой шум в заднем мосту, будто там битое стекло. Всыпь-ка туда кварты две опилок. И в коробку скоростей тоже. Этот огурчик должен пройти за тридцать пять долларов. Меня надули на нем. Я дал десять, в конце концов этот прохвост всучил его мне за пятнадцать да еще ухитрился, сукин сын, припрятать все инструменты. Эх! Штук бы пятьсот таких примусов на колесах! Не век же так будет. Что, ему шины не нравятся? Скажи, такие шины пройдут еще десять тысяч миль, и скинь доллара полтора.

Груды ржавого лома вдоль забора, в самом конце двора никуда не годная, перепачканная маслом рухлядь, крылья, блоки моторов, валяющиеся прямо на земле, сквозь цилиндры прорастает трава. Тормозные тяги, выхлопные трубы свалены в кучу, похожую на клубок змей. Масло, бензин.

Посмотри, нет ли где целой запальной свечи? Эх! Раздобыть бы прицепы, штук эдак пятьдесят, и чтобы не дороже сотни, тогда можно будет заработать. Что он там скандалит? Наше дело продать машину, а толкать вручную домой пусть сам толкает. Пусть сам толкает? Здорово сказано! Хоть в юмористический журнал. Думаешь, этот не клюнет? Так гони его отсюда. С такими, которые сами не знают, что им нужно, возиться некогда. Сними правую переднюю покрышку с «грэхема». Поставь заплатой внутрь. Ну вот, теперь прямо шик. И протектор еще не стерся.

Ну еще бы! Она пятьдесят тысяч миль пробежит. Не жалейте масла. До свидания. Счастливо. Подыскиваете себе машину? А что бы вам хотелось? Нашли что-нибудь подходящее? Надо бы выпить. Как вы на этот счет? Давайте пойдем, а ваша жена пусть пока посмотрит «ла-салль». Вы не хотите «ла-салль»? Подшипники износились. Берет слишком много масла. Могу предложить «линкольн» 24-го года. Вот это машина! На всю жизнь. Переделайте ее в грузовик.

Горячее солнце на проржавевшем металле. На земле масляные пятна. Люди бродят растерянные в поисках машин.

Вытри ноги. Не прислоняйся к этой машине, она грязная. Какую же выбрать? Сколько они стоят? Последи за детьми. Интересно, сколько они хотят вот за эту? Сейчас спросим. За спрос денег не платят. Ведь спросить можно? Сверх семидесяти пяти ни единого цента — это самое большее, что я могу дать, иначе не доберемся до Калифорнии.

Только бы раздобыть сотню таких примусов на колесах! Ходят — не ходят, все равно.

Покрышки — старые, стертые покрышки, сложенные штабелями; камеры — красные, серые — висят, точно колбасы.

Заплаты для шин? Порошок для чистки радиатора? Конденсатор? Бросьте вот эту пилюльку в бензобак и получите лишних десять миль с каждого галлона. Попробуйте нашу политуру — всего пятьдесят центов, а кузов будет как новый. Щетки, ремень вентилятора, прокладки? Может быть, все дело в клапане? Смените поршень. Ну что для вас значит один цент!

Ладно, Джо. Ты повозись с ними еще немного и веди ко мне. Я их обработаю, я их облапошу или укокошу. Веди! Только чтобы были настоящие покупатели. Я хочу делом заниматься.

Пожалуйста, сэр, садитесь. Для вас это просто находка. Да, сэр. Всего восемьдесят долларов, просто находка.

Больше пятидесяти я не могу дать. Мне там сказали, что пятьдесят.

Пятьдесят? Пятьдесят! Он обалдел! Я сам за нее дал семьдесят восемь долларов пятьдесят центов. Джо! Ты что, разорить нас хочешь? Придется уволить этого болвана. Может, сойдемся на шестидесяти? Вот что, мистер, время дорого. Я человек деловой, а не какой-нибудь жулик. Может, у вас есть что-нибудь в обмен?

Есть — пара мулов.

Пара мулов? Джо, ты слышал? Он предлагает в придачу пару мулов. А вы разве не знаете, что мы живем в век машин? Мулы сейчас идут только на клей.

Хорошие крупные мулы — одному пять, другому семь лет. Ну что ж, пойдем посмотрим где-нибудь еще.

Где-нибудь еще? Являются к занятым людям, крадут у них время и уходят ни с чем! Джо, ты разве не разобрал, с кем имеешь дело? Это же настоящий выжига!

Я не выжига. Мне нужна машина. Мы уезжаем в Калифорнию. Мне нужна машина.

Ну, хорошо! Я известная тряпка. Джо считает меня тряпкой. Говорит, если будете отдавать с себя последнюю рубаху, так подохнете с голоду. Вот мы как сделаем: я спущу ваших мулов по пяти долларов, на корм собакам.

Нет, зачем же собакам?

Ну, может быть, за семь долларов или за десять. Хорошо! Беру мулов за двадцать долларов. Тележка в придачу, так? Пятьдесят вы заплатите наличными, а на остальные дадите вексель, будете погашать долг по десяти долларов в месяц.

Но вы сказали — восемьдесят?

А вы разве никогда не слыхали, что существуют накладные расходы и страховка? Это повышает цену. За каких-нибудь четыре-пять месяцев вы все выплатите. Подпишитесь вот здесь. Мы обо всем позаботимся.

Просто и не знаю...

Слушайте. Я с себя последнюю рубаху готов отдать, а вы отнимаете у меня столько времени. Я бы за это время трех покупателей отпустил. Просто зло берет. Да, расписывайтесь вот здесь. Хорошо, сэр. Джо, заправь бак. Дадим этому джентльмену бензин.

Ну, Джо, досталось нам с тобой! Сколько мы дали за этот примус на колесах? Тридцать или тридцать пять? Если я не загоню упряжку мулов за семьдесят пять долларов, грош мне цена! Да еще пятьдесят наличными и вексель на сорок. Конечно, не все люди честные, но иной раз просто диву даешься, как они ухитряются погашать долг. Один выплатил сотню долларов через два года после того, как я списал их в расход. Спорю на что угодно — этот все выплатит. Эх, раздобыть бы еще пятьсот таких примусов на колесах! Поворачивайся, Джо. Завлекай их, а потом веди ко мне. С этой сделки получишь двадцать долларов. Молодец, стараешься.

Флаги, повисшие тряпочками на ярком дневном солнце. Гвоздь сегодняшнего дня «форд» 23-го года — «пикап», в полной исправности.

Что вы хотите за пятьдесят долларов — «зефир»?

Конский волос клочьями торчит из подушек, помятые, облупившиеся крылья. Сорванные, висящие на одном болте буфера. Элегантный двухместный «форд» с маленькой цветной лампочкой на радиаторе, с подфарниками на крыльях и тремя стоп-сигналами сзади. Брызговики и рычаг переключения скоростей с большим штампом фирмы. На кожухе для запасной шины нарисована яркой краской хорошенькая девушка, внизу подпись: «Кора». Дневное солнце на запыленных ветровых стеклах.

Вот дела! Поесть некогда. Джо, пошли мальчишку за сандвичами.

Прерывистый рев дряхлых моторов.

Вон какой-то простофиля загляделся на «крейслер». Пойди выведай, с деньгой или нет. Среди этих фермеров попадаются такие пройдохи, только держись. Завлекай их, Джо, и тащи ко мне. Ты молодец.

Да, машина куплена у нас. Гарантия? Мы гарантировали, что это автомобиль, но кормилицу к нему приставлять не обещали. Слушайте. Вы купили машину и теперь поднимаете крик. Будете вы погашать долг или нет — мне наплевать. Ваш вексель передан в банк. Взыскивать будет он. Мы у себя векселей не держим. Ах, вот как! Только попробуйте затеять скандал — сейчас же позовем полисмена. Ничего подобного, покрышек мы не подменили. Гони его отсюда, Джо. Купил машину, а теперь привередничает. А что, если я куплю кусок мяса, съем половину, а остальное попытаюсь

всучить обратно? Мы деловые люди, а не филантропы. Как тебе это нравится, Джо? Смотри-ка, смотри! Брелок — лосиный зуб. Беги к нему. Пусть посмотрит «понтиак» 36-го года.

Квадратные носы, округлые носы, ржавые носы, носы лопатой, обтекаемой формы, угловатые высокие коробки радиаторов «дообтекаемой эры». Сегодня много дешевых машин. Допотопные чудовища с мягкой обивкой — легко можно переделать в грузовик. Двухколесные прицепные вагончики — ржавые оси тускло поблескивают на жарком дневном солнце. Подержанные машины. Хорошие подержанные машины. Проверенные, в полной исправности. Мотор в порядке. Масло не течет.

Полюбуйтесь-ка. Ну и ну! До какого состояния довели машину!

«Кадиллаки», «ла-салли», «бьюики», «плимуты», «паккарды», «шевроле», «форды», «понтиаки». Ряд за рядом фары поблескивают на дневном солнце. Хорошие подержанные машины.

Завлекай их, Джо. Эх, раздобыть бы тысячу таких примусов на колесах! Ты обработай покупателя как следует, а остальное предоставь мне.

Уезжаете в Калифорнию? Это как раз то, что вам нужно. На вид старовата, но ее хватит на тысячи миль.

Тесно одна к другой. Хорошие подержанные машины. Дешевка. Мотор в полной исправности.

ГЛАВА VIII

Небо посерело в промежутках между звездами, и бледный ущербный месяц стал прозрачным и хилым. Том Джоуд и проповедник быстро шли по дороге, проложенной гусеничными тракторами в хлопковых полях.

Только небо выдавало, что рассвет близок,— на западе оно сливалось с горизонтом, на востоке его отделяла от земли еле заметная линия. Джоуд и проповедник шли молча и вдыхали пыль, которая стояла в воздухе от их шагов.

— Ты хорошо знаешь дорогу? — спросил Джим Кэйси.— А то рассветет — и окажется, что мы забрели черт знает куда.— Хлопковые поля оживали вместе с пробуждающейся жизнью: ранние птицы перепархивали с места на место в поисках корма, потревоженные кролики удирали прочь, прыгая по комьям земли. Приглушенные пылью звуки шагов и похрустыванье сухих комьев под ногами путников сливались с таинственными шорохами приближающегося рассвета.

Том сказал:

— Я с закрытыми глазами дойду до дяди Джона. Вся штука в том, чтобы не думать о дороге. Иди себе и иди. Ведь я здесь родился. Мальчишкой бегал по этим местам. Вон видишь дерево? На нем отец дохлого койота повесил. Долго он там висел, шерсть вся облезла, наконец упал. Ссохся, стал точно каменный. Эх, хорошо бы мать там чего-нибудь наварила. У меня брюхо подводит.

— У меня тоже,— сказал Кэйси.— Хочешь пожевать табак? Помогает, голод не так чувствуется. Зря мы вышли в такую рань. При свете лучше идти.— Он замолчал и откусил кусок жевательного табака.— Уж очень я крепко спал, не хотелось вставать.

— Это сумасшедший Мьюли меня поднял,— сказал Том.— Разбудил и говорит: «Прощай, Том. Я пойду. Мне пора. А вы, говорит, тоже собирайтесь, чтобы к рассвету вас здесь не было». Пугливый стал, как суслик, от такой жизни. Будто за ним индейцы гоняются. По-твоему, он рехнулся?

— Да кто его знает. Ты же видел, как машина вчера приехала на наш огонь? Видел развороченный дом? Тут нехорошие дела творятся. Конечно, Мьюли малость рехнулся. Все крадучись, как шакал,— поневоле рехнешься. Он еще убьет кого-нибудь и дождется, что его затравят собаками. Я это наперед вижу. Чем дальше, тем он все хуже и хуже будет. Говоришь, отказался с нами идти?

— Да,— сказал Джоуд.— По-моему, он людей боится. Удивительно, как еще к нам подошел. К рассвету будем у дяди Джона.

Некоторое время они шли молча, и запоздалые совы пролетали у них над головой, возвращаясь в свои гнезда под крышами сараев, в дуплах, на цистернах, чтобы схорониться от дневного света. Небо на востоке побелело, и в сумерках уже можно было разглядеть кусты хлопчатника и серую землю.

— Как они там разместились у дяди Джона, просто не понимаю. У него всего одна комната с кухонной пристройкой да сарайчик. Там теперь, наверно, не повернешься.

Проповедник сказал:

— Ведь Джон не семейный? По-моему, он жил один. Я его плохо помню.

— Один как перст,— сказал Джоуд.— Сумасшедшая башка, вроде Мьюли, только, пожалуй, еще хуже. Мыкается с места на место: то придет в Шоуни напьется, то к одной вдове за двадцать миль удерет, а то вдруг начнет копаться у себя на участке при фонаре. Очумелый какой-то. Никто не думал, что он так долго проживет. У таких одиночек век короткий. А ведь дядя Джон

старше отца. Год от году только жилистее да норовистей становится. Норовистей деда.

— Смотри, уже светает,— сказал проповедник.— Будто серебро льется. Разве у Джона никогда не было семьи?

— В том-то и дело, что была; и вот посмотри, до чего упрямство его довело. Нам отец про это рассказывал. Взял он себе молодую жену. Пожил с ней четыре месяца. Она забеременела. Как-то ночью заболело у нее что-то внутри. Она просит Джона: «Приведи доктора». А он и в ус не дует. «У тебя, говорит, живот болит. Объелась, наверно. Прими пилюлю. Съела лишнее, а теперь жалуешься». Наутро она уж заговариваться стала, а часам к четырем дня умерла.

— Что же с ней было? — спросил Кэйси.— Отравилась?

— Нет, у нее что-то лопнуло внутри. Какой-то... аппендик, что ли. Дядя Джон, в общем-то, человек добрый и никак не мог простить себе такой грех. Долго ни с кем слова не хотел сказать. Мыкается с места на место, никого вокруг не видит и молитвы про себя бормочет. Года два сам не свой был. С тех пор стал совсем другим человеком. Сумасбродный. Покоя от него не было. Стоит только кому-нибудь из нас, ребят, заболеть — ну там глисты заведутся или резь в животе,— сейчас тащит доктора. Наконец отцу надоело. Говорит дяде Джону: «Чтобы этого больше не было, ведь ребята постоянно животом маются». Дядя Джон считал, что жена по его вине умерла. Чудной старик. Искупал свой грех — то несет подарки ребятишкам, то кому-нибудь мешок муки на крыльцо подкинет. Почти все свое добро роздал, а не успокоился. Бывало, по ночам ходит и ходит один-одинешенек. А хозяин он неплохой. За землей хорошо ухаживает.

— Бедняга,— сказал Кэйси.— Один как перст. А в церкви он часто бывал после смерти жены?

— Нет. Он сторонился людей. Хотел один быть. А ребятишки в нем просто души не чаяли. Бывало, придет к нам ночью, и мы утром сразу догадываемся: дядя Джон был,— потому что он каждому сунет в кровать пакетик жевательной резинки. Мы его как господа бога почитали.

Проповедник шагал по дороге молча, опустив голову. В первых лучах наступающего дня его лоб словно сиял, а руки, помахивающие в такт шагам, то попадали на свет, то уходили в темноту.

Том Джоуд тоже замолчал, будто устыдившись своей откровенности. Он пошел быстрее, и проповедник тоже прибавил шагу. Теперь они уже видели перед собой дорогу в серых сумерках. Из рядов хлопчатника, медленно извиваясь, выползла змея. Том остановился, приглядываясь к ней.

— Такие на сусликов охотятся,— сказал он.— Пусть себе ползет.

Они обошли змею и зашагали дальше. Небо на востоке чуть порозовело, и почти сейчас же вслед за этим над землей разостлался унылый утренний свет. Кусты хлопчатника зазеленели, и земля стала бурой. Лица обоих путников потеряли свой серовато-тый оттенок. Лицо Джоуда потемнело на свету.

— Хорошая пора,— сказал он.— Я мальчишкой, бывало, встану пораньше и брожу один на рассвете.

На дороге в честь суки собралось собачье общество. Пять псов — помесь с овчаркой, помесь с колли и другие, порода которых не поддавалась определению вследствие свободы нравов, царящей в собачьем племени,— были поглощены ухаживанием. Каждый пес деликатно обнюхивал суку, потом деревянной походкой отходил к кусту хлопчатника, поднимал заднюю ногу, орошал его и снова шел назад. Джоуд и проповедник остановились посмотреть на них, и Джоуд вдруг весело рассмеялся.

— Вот потеха! — сказал он.— Ну и потеха!

Псы сошлись в кучку, шерсть у них на загривках встала дыбом, они рычали, не двигаясь с места, и дожидались, кто первый начнет грызню. Но вот один пес оседлал суку, и остальные, отступив перед свершившимся фактом, стали с любопытством наблюдать за происходящим. С языка у них капала слюна. Путники пошли дальше.

— Ну и потеха! — повторил Джоуд.— По-моему, это наш Бой так словчился. А я думал, его давно в живых нет! Бой! Бой! — Он снова рассмеялся.— Если бы меня позвали в такую минуту, я бы тоже не услышал. Вспомнился мне случай с Уиллом Фили — он был тогда еще совсем мальчишка, робкий, застенчивый. Однажды велели ему отвести телку к быку Грейвсов. У них дома никого не было, кроме Элси, а Элси застенчивостью не отличалась. Уилл стоит красный и будто воды в рот набрал. Элси ему говорит: «Я знаю, зачем ты пришел. Бык в сарае, на заднем дворе». Отвели они туда телку, сами влезли на забор и смотрят. Уилла так разобрало, что ему на месте не сидится. А Элси его спрашивает: «Что это с тобой?» Будто ей самой невдомек. Уилл света божьего невзвидел. «Эх, говорит, эх, кабы мне так!» А Элси ему: «Зачем же дело стало? Ведь телка-то твоя».

Небо на востоке заалело, и птицы с громким чириканьем запрыгали по земле.

— Смотри,— сказал Джоуд.— Вон цистерна. Это на участке у дяди Джона. Ветряка еще не видно, а цистерна — вон она. Видишь, темнеет? — Он прибавил шагу.— Все ли сейчас дома?

Над холмом поднималась водяная цистерна. Джоуд быстро шел в клубах пыли, встававших ему по колено.

— Там ли мать?..

Им уже были видны распорки цистерны, дом — маленький, похожий на ящик, убогий, неоштукатуренный, и покосившийся низкий сарай. Из жестяной трубы шел дымок. Двор был загроможден: сваленная в кучу мебель, лопасти и механизм ветряка, кровати, столы, стулья.

— Да они готовятся к отъезду! — воскликнул Джоуд.

Посреди двора стоял грузовик с высокими бортами — грузовик весьма странного вида: передняя часть у него была как у легковой машины, а посредине верх был снят, и кузов приспособлен под грузовую. Подойдя ближе, Том и проповедник услышали стук, а когда над горизонтом показался ослепительный ободок солнца и лучи его упали на машину, они увидели человека и поблескивавший у него в руке молоток. Солнце зажгло окна дома. Обшарпанные стены посветлели. Две рыжих курицы точно загорелись на ярком свету.

— Не подавай голоса,— сказал Джоуд.— Подкрадемся незаметно.— И он зашагал так быстро, что клубы пыли достигали ему теперь до пояса.

Они поравнялись с грядками хлопчатника. Потом вошли во двор; земля во дворе была утоптана до блеска, и только кое-где на ней пробивалась трава. И Джоуд замедлил шаги, точно боясь идти дальше. Глядя на него, убавил ходу и проповедник. Потом Джоуд медленно двинулся вперед и со смущенным видом свернул к машине. Это был шестицилиндровый легковой «гудзон», верх у него, по-видимому, розняли на две части вручную, стамеской. Старый Том Джоуд стоял в кузове и приколачивал верхние планки бортов. Он работал, низко опустив свое бородатое лицо, а изо рта у него торчали гвозди. Он наставил гвоздь, и молоток с грохотом вогнал его в доску. В доме звякнули конфоркой на плите, послышался детский плач. Джоуд подошел к машине и прислонился к борту. Отец посмотрел на него невидящими глазами. Потом наставил еще один гвоздь и вбил его в доску. Голуби стайкой вспорхнули с цистерны, облетели ее по кругу, вернулись на прежнее место, важно ступая, подошли к самому выступу и заглянули вниз; голуби были сизые, белые и серые с радужными разводами на крыльях.

Джоуд взялся за нижнюю планку борта. Он смотрел на постаревшего, седеющего человека, который стоял на грузовике. Он лизнул губы и тихо проговорил:

— Па...

— Ну что там? — буркнул старый Том, не вынимая гвоздей изо рта. На нем была грязная черная шляпа и синяя рубаха, поверх нее жилет без пуговиц; брюки были стянуты широким ремнем с большой медной пряжкой,— и кожа и металл блестящие от бесконечной носки; башмаки были потрескавшиеся, бесформенные, подошвы у них расслепались от бесконечного хождения по слякоти и пыли. Рукава рубахи туго обтягивали руки, обрисовывая могучие мускулы. Живот у него был подтянутый, бедра худые, а ноги короткие, плотные и сильные. Лицо, обросшее седеющей щетиной, сужалось к упрямому, выступающему вперед подбородку, колючая поросль на котором еще не успела поседеть, что придавало ему еще большую внушительность. Скулы у старого Тома были темные, как пенковая трубка, кожа вокруг прищуренных глаз стягивалась лучистыми морщинками, глаза карие, как кофейная гуща. Приглядываясь к чему-нибудь, старый Том вытягивал шею, потому что эти зоркие когда-то карие глаза начинали сдавать. Губы, сжимавшие длинные гвозди, были тонкие и красные.

Он занес руку с молотком, собираясь вбить гвоздь, и посмотрел через борт грузовика на Тома, посмотрел сердито, недовольный, что ему помешали. И вдруг подбородок выпятился еще больше, глаза впились в лицо Тома — и мало-помалу мозг старика освоил то, что предстало глазам. Правая рука с молотком опустилась, левая вынула гвозди изо рта. И он сказал изумленно, словно сообщая самому себе о неоспоримом факте:

— Это наш Томми...— И повторил: — Это наш Томми вернулся домой.— Нижняя челюсть у него отвисла, в глазах появился испуг.— Ты не сбежал? Ты не скрываешься? — Он напряженно ждал ответа.

— Нет,— сказал Том.— Я дал подписку. Меня выпустили. Документы при мне.— Он взялся за нижнюю планку борта и посмотрел вверх.

Старый Том медленно положил молоток на платформу и сунул гвозди в карман. Он занес ногу за борт машины и ловко спрыгнул вниз, но, очутившись рядом с сыном, смущенно замялся.

— Томми,— сказал он,— мы уезжаем в Калифорнию. Но мы собирались написать тебе письмо.— И добавил, точно не веря самому себе: — Ты вернулся! Теперь поедешь с нами. С нами поедешь! — В доме звякнули кофейной крышкой. Старый Том оглянулся через плечо.— Устроим им сюрприз! — сказал он, и глаза у него заблестели от восторга.— Мать все мучается предчувствием, будто ей тебя больше не видать. Глаза у нее стали тихие, точно в доме покойник. И в Калифорнию сначала не хотела ехать: «То-

гда, говорит, я его больше не увижу».— В доме снова громыхнули конфоркой.— Устроим им сюрприз! — повторил Том.— Войдем как ни в чем не бывало, будто ты все время с нами. Посмотрим, что мать скажет! — Наконец он дотронулся до сына, но дотронулся до его плеча, робко, и сейчас же отдернул руку. Он взглянул на Джима Кэйси.

Том сказал:

— Па, ты помнишь проповедника? Мы с ним вместе пришли.

— Он тоже из тюрьмы?

— Нет, мы встретились по дороге. Он давно здесь не был.

Отец степенно протянул проповеднику руку.

— Рад вас видеть в наших краях, сэр.

Кэйси сказал:

— Я сам этому радуюсь. Я рад присутствовать при возвращении вашего сына домой. Очень рад.

— Домой? — сказал отец.

— К родным,— быстро поправился Кэйси.— Мы переночевали на старом месте.

Отец выпятил подбородок и минуту смотрел на дорогу. Потом повернулся к Тому.

— Ну, так как же мы сделаем? — взволнованно заговорил он.— Может, так? Я войду и скажу: вот тут пришли двое, просят их накормить. Или ты один войдешь и будешь стоять молча, пока она тебя не увидит. Как лучше? — Лицо у него так и сияло.

— Еще напугаем,— сказал Том.— Не надо ее пугать.

Две овчарки с благодушным видом вбежали во двор, но стоило им только учуять незнакомых людей, как они попятились назад, медленно и нерешительно помахивая хвостами, напрягая зрение и нюх в ожидании враждебных действий со стороны чужаков. Одна из них вытянула шею, подкралась к Тому и, громко втягивая ноздрями воздух, обнюхала ему ноги, готовясь в любую минуту удрать. Потом отошла в сторону, выжидательно поглядывая на старого Тома. Другая была потрусливее. Она огляделась вокруг себя, подыскивая что-нибудь такое, чем можно было бы заняться, не теряя достоинства, увидела семенившего по двору рыжего цыпленка и кинулась к нему. Раздалось отчаянное кудахтанье разъяренной клушки, в воздух полетели рыжие перья, и клушка бросилась наутек, взмахивая короткими крыльями. Овчарка с гордостью посмотрела на людей и растянулась в пыли, удовлетворенно постукивая хвостом по земле.

— Ну, пойдем,— сказал отец,— пойдем. Пусть она на тебя посмотрит. А я на нее посмотрю. Пойдем. Сейчас будет скликать к завтраку. Я уже слышал, как она шлепнула солонину на сковородку.

Он зашагал к дому по мягкой пыли. Крыльца у этого дома не было — приступка, и сразу дверь; у двери лежала колода, рыхлая, расщепленная от долголетней службы. Деревянная обшивка дома крошилась, высушенная пылью. В воздухе стоял запах горящих ивовых веток, а подойдя к самым дверям, трое мужчин учуяли и запах жареного мяса, запах лепешек, острый запах кофе, клокотавшего в кофейнике. Отец стал на пороге, загородив своими широкими плечами вход. Он сказал:

— Ма, тут двое прохожих спрашивают, не найдется ли у тебя чем покормить их.

Том услышал голос матери, памятный ему, спокойный, сдержанный голос, звучавший дружелюбно и скромно.

— Пусть зайдут,— сказала она.— Еды много. Скажи, чтобы вымыли руки. Лепешки готовы. Сейчас и мясо сниму.— И на плите послышалось сердитое шипение сала.

Отец вошел в кухню, и Том заглянул через дверь на мать. Она снимала со сковороды загибающиеся по краям куски солонины. Духовка была открыта, и там виднелась большая сковорода с пышными лепешками. Мать посмотрела во двор, но солнце освещало Тома сзади, и она увидела только темную фигуру, обведенную по контурам ярким солнечным светом. Она приветливо крикнула:

— Заходите. Хорошо, что я сегодня спекла много хлеба.

Том стоял, глядя в кухню. Тело у матери было грузное, отяжелевшее от родов и работы, но не тучное. Он увидел ее широкое платье — когда-то в цветочках по серому полю, но теперь цветочки слиняли, и от них остались только более светлые пятнышки. Платье доходило ей до щиколоток, и ее крепкие босые ноги легко ступали по полу. Редкие седеющие волосы были собраны на затылке в маленький пучок. Засученные по локоть рукава открывали крепкие, покрытые веснушками руки, кисти были пухлые и маленькие, как у девочки-толстушки. Она смотрела на залитый солнцем двор. В выражении лица у нее была не мягкость, а скорее спокойная доброжелательность. Темные глаза словно изведали все горе, выпадающее на долю человека, и, одолев страдание и боль, поднялись по ним, как по ступенькам, к спокойствию и пониманию. Она чувствовала и сознавала и принимала как должное свое положение в семье: она была ее оплотом, ее твердыней, которую никто не мог взять силой. И поскольку старый Том и дети чувствовали страх и горе только тогда, когда их чувствовала мать, она закрыла доступ в свое сердце и горю и страху. И поскольку они ждали ее радости, когда случалось что-нибудь радостное, она привыкла находить повод для веселого смеха даже там, где найти его иной раз было трудно. Но спокойствие лучше, чем

радость. Оно надежнее. И ее высокое и вместе с тем скромное положение в семье придавало ей достоинство и чистую душевную красоту. Ее руки, врачующие все раны, обрели уверенность и твердость; сама она — примирительница всех споров — была беспристрастна и безошибочна в своих приговорах, точно богиня. Она знала: стоит ей пошатнуться, и семья примет это на себя как удар; стоит ей поддаться отчаянию, и семья рухнет, семья потеряет волю к жизни.

Она смотрела на залитый солнцем двор, на темневшую за порогом мужскую фигуру. Отец, стоявший рядом, весь трясся от волнения.

— Входите! — крикнул он.— Входите, мистер! — И Том смущенно переступил порог.

Она приветливо посмотрела на него, подняв голову от плиты. И вдруг ее рука медленно опустилась, и вилка со стуком упала на дощатый пол. Зрачки темных глаз расширились. Она тяжело дышала. Она закрыла глаза.

— Слава богу,— сказала она.— Слава богу.— И вдруг на лице у нее мелькнула тревога.— Томми, тебя не разыскивают? Ты не убежал?

— Нет, ма. Я дал подписку. Документы при мне.— Он дотронулся до груди.

Она подошла к нему, легко и бесшумно ступая босыми ногами, и лицо у нее было изумленное. Маленькие руки коснулись его плеча, коснулись его крепких мускулов. Потом она, как слепая, дотронулась пальцами до его щеки. И радость ее граничила с горем. Том больно прикусил нижнюю губу. Ее изумленные глаза увидели кровь, проступившую сквозь его зубы и сбежавшую капелькой на подбородок. И она поняла все, и самообладание снова вернулось к ней. Она отняла руку от его лица. Дыхание с хрипом вырывалось у нее из груди.

— А мы-то! — крикнула она.— Мы-то чуть без тебя не уехали! Всё думали, как же ты нас разыщешь? — Она подняла с полу вилку и, помешав кипящее сало, подхватила со сковородки кусок подгоревшей свинины. Потом отставила на край плиты бурлящий кофейник.

Старый Том сказал со смешком:

— Провели тебя, мать? Так мы и задумали. А она стоит, как овца, которую обухом огрели. Жалко, деда при этом не было! Тебя будто по лбу молотком кто съездил. Эх, дед надорвался бы с хохоту, опять бы себе бедро вывихнул. С ним это уже было, когда Эл выпалил в аэроплан. Знаешь, Томми, пролетал тут как-то аэроплан, громадный, чуть не с милю длиной, а Эл схватил ружье да как стрельнет. Дед кричит: «Не стреляй по птенцам, подожди,

покрупнее полетят, по ним будешь палить!» Так с хохоту надсаживался, что бедро себе вывихнул.

Мать негромко засмеялась и сняла с полки горку оловянных тарелок.

Том спросил:

— А дед где? Я этого старого чертяку еще не видел.

Мать поставила тарелки на стол и около каждой чашку. Она сказала вполголоса:

— Они с бабкой спят в сарае. Уж очень часто им приходится вставать по ночам. То и дело о ребят спотыкались.

В их разговор вмешался отец:

— Дед раньше каждую ночь бушевал. Наткнется в темноте на Уинфилда, Уинфилд поднимет крик, а дед разозлится, напустит в штаны и еще злее станет; а там, глядишь, все начнут переругиваться,— прямо стон стоит в доме.— Он говорил, посмеиваясь.— Да, у нас тут весело было. Как-то ночью раскричались все, подняли ругань, а Эл — он теперь за словом в карман не лезет,— Эл и говорит: «Эх, дед, из тебя лихой пират бы вышел». Ну, дед совсем озверел, побежал за ружьем. Пришлось Элу ту ночь спать в поле. А теперь мы стариков в сарае устроили.

Мать сказала:

— Теперь они если за нуждой, так встанут и выйдут во двор. Па, скажи им, что Томми вернулся. Томми дедушку всегда любил.

— Сейчас,— сказал отец.— Как это я раньше не догадался! — Он вышел из кухни и зашагал по двору, помахивая руками на ходу. Том долго смотрел ему вслед и вдруг услышал голос матери. Она разливала кофе. Она не смотрела на Тома.

— Томми,— сказала она нерешительно и робко.

— Да? — Робость матери только увеличивала его собственную робость, вызывала в нем какое-то непонятное смущение. Каждый из них знал, что другой смущается, и еще больше робел от этого.

— Томми, я хочу тебя спросить... Ты не озлобился?

— Озлобился, ма?

— Тебе злоба не затуманила голову? Может, тебе теперь все ненавистно? Может, в тюрьме тебя до того довели, что ты сам не свой стал?

Он посмотрел на нее искоса, посмотрел пристально, и глаза его словно спрашивали, откуда она знает все это.

— Н-нет,— ответил он.— Может, только на первых порах. Да я ведь не такой гордый, как другие. С меня как с гуся вода. А почему ты спрашиваешь, ма?

Теперь мать смотрела на него, приоткрыв рот, стараясь не пропустить ни единого слова; она впивалась глазами ему в лицо, стараясь выведать все до конца. Мать искала того ответа, который слова всегда утаивают. Она заговорила смущенно и сбивчиво:

— Я знала Боя Флойда. Я знала его мать. Они хорошие люди. Бой Флойд был озорной, но в этом ничего плохого нет.— Она замолчала на минутку, потом слова полились потоком.— Может, не со всеми так бывает, но как с ним было, я знаю. Он в чем-то провинился, его избили за это, поймали и избили, и он озлобился. Потом он опять что-то натворил, уже со зла, и его опять избили. До того довели, что мальчишка совсем разум потерял. В него стреляли, как в зверя, а он отстреливался. Погнали его с собаками, точно койота, а он скалит зубы, огрызается. Совсем потерял разум. И не мальчишка, и взрослым его не назовешь. Волк, настоящий волк. Кто его знал, те его не обижали. У него против них злобы не было. Наконец затравили мальчишку собаками и убили. В газетах бог знает что было написано, а я помню, как это случилось на самом-то деле.— Она замолчала, облизнула языком пересохшие губы, и ее глаза спрашивали, с мучительной тревогой глядя на Тома: — Я хочу знать, Томми. Тебя били? Ты тоже озлобился?

Полные губы Тома были плотно сжаты. Он взглянул на свои большие, сильные руки.

— Нет,— сказал он.— Я не из таких.— Он помолчал, продолжая рассматривать пальцы с обломанными, твердыми, как ракушки, ногтями.— Я в тюрьме жил тихо, старался, чтобы ничего такого не было. Во мне злобы нет.

Она вздохнула и проговорила вполголоса:

— Слава богу!

Он быстро взглянул на нее.

— Ма, когда я увидел, что сделали с нашим домом...

Она подошла к нему совсем близко и заговорила горячо, взволнованно:

— Томми! В одиночку нельзя драться. Затравят тебя, как зверя. Я, Томми, все думала, гадала, прикидывала. Говорят, таких вот, согнанных с места, вроде нас, сто тысяч. Если бы мы все озлобились, Томми, да показали свою злобу... тогда нас не затравить...— Она замолчала.

Том медленно опустил веки, и теперь его глаза только чуть поблескивали сквозь ресницы.

— И многие так думают?— спросил он.

— Не знаю. Люди сейчас какие-то пришибленные. Ходят как во сне.

В дальнем конце двора послышался скрипучий старческий голос:

— Сла-ава господу богу! Сла-ава господу богу!

Том взглянул в ту сторону и усмехнулся.

— Вот и бабка обо мне прослышала. Ма,— сказал он,— я тебя раньше такой не видел.

Ее лицо помрачнело, глаза стали холодные.

— А мне раньше не приходилось видеть, как у меня дом ломают,— сказала она.— Мне не приходилось видеть, как всю мою семью выгоняют на дорогу. Мне никогда не приходилось продавать все до последней тряпки... Вот и они.— Она подошла к плите и переложила пышные лепешки со сковороды на две оловянные тарелки. Потом подбила мукой густое сало для подливки, и руки у нее побелели от муки. Минуту Том смотрел на мать, потом подошел к двери.

Они шли по двору вчетвером. Впереди, припадая на правую вывихнутую ногу, быстро ковылял дед, худощавый, неряшливо одетый, живой старикашка. Он застегивал на ходу брюки, и его старческие пальцы никак не могли разобраться в пуговицах, потому что он застегнул верхнюю на вторую петлю и тем самым нарушил весь порядок сверху донизу. На нем были потрепанные темные брюки и рваная, расстегнутая сверху донизу синяя рубашка, под которой трепыхалась длинная серая фуфайка. Под фуфайкой, тоже сверху расстегнутой, виднелась костлявая бледная грудь, заросшая седой шерстью. Дед оставил брюки незастегнутыми и занялся пуговицами фуфайки, потом бросил, не доведя дело до конца, и стал подтягивать коричневые помочи. Лицо у него было худое, с маленькими карими глазками, бедовыми, как у непоседливого ребенка. Сварливое, капризное, озорное, смеющееся лицо. Дед с молодых ногтей был забияка, спорщик, любитель соленых шуток и по сию пору остался все таким же старым греховодником. Злой, жестокий и нетерпеливый, как ребенок, и вдобавок ко всему весельчак. Он слишком много пил, когда дорывался до спиртного, слишком много ел, если было что поесть, и любил поболтать.

За дедом ковыляла бабка, ухитрившаяся прожить до глубокой старости только потому, что она была такая же злющая, как и ее старик. Бабка отстаивала свою независимость с яростью фанатика, не уступая деду в буйстве и греховности. Однажды после моления, еще не придя в себя как следует и разговаривая на разные голоса, она разрядила в мужа двустволку и почти начисто снесла ему одну ягодицу. Это так восхитило деда, что он, мучивший ее раньше, как дети мучают букашек, в дальнейшем прекратил озорство. Подобрав до колен широкое платье, бабка шла и повторяла пронзительно блеющим голосом свой боевой клич:

— Сла-ава господу богу!

Дед и бабка ковыляли по двору наперегонки. Они воевали друг с другом всю жизнь и любили эту войну, не могли существовать без нее.

Позади них, не отставая, ровным неторопливым шагом шли отец и Ной. Ной — первенец, высокий, какой-то странный на вид, с недоуменно-задумчивым и в то же время спокойным выражением лица. Ной никогда в жизни не выходил из себя. Он смотрел на горячившихся людей с удивлением — с удивлением и с чувством неловкости, как смотрит на сумасшедших здоровый человек. Движения у Ноя были размеренные, говорил он редко, а если говорил, то так медленно, что его часто принимали за дурачка. Но он был не глупый, только со странностями. Он не знал, что такое гордость, не испытывал влечения к женщинам. Он работал и спал, и это раз и навсегда заведенное чередование работы и сна удовлетворяло его. Ной любил семью, но никак не проявлял своей любви. Со стороны трудно было сказать, в чем тут дело, но он производил впечатление человека, в котором что-то неладно: то ли в форме головы, то ли в туловище, то ли в ногах, а может быть, и в мозгу. Но придраться к чему-нибудь определенному было трудно. Отец знал, почему старший сын у него не такой, как все, но стыдился говорить об этом. Потому что в ту ночь, когда Ной должен был появиться на свет, отец, оставшись один с роженицей, с этим несчастным, исходившим криками существом, обезумел от страха. Руки отца, его сильные пальцы, словно клещами, вытащили ребенка из чрева матери и помяли его. Запоздавшая повивальная бабка увидела, что головка у новорожденного бесформенная, шея вытянута, тельце покалечено. И она вправила ему шею и словно вылепила руками его тело. Отец не забыл этого случая и стыдился говорить о нем. И он был мягче с Ноем, чем с остальными детьми. В скуластом лице старшего сына, в его широко расставленных глазах, узком подбородке отец узнавал помятую, изуродованную головку ребенка. Ной делал все, что от него требовалось: он умел читать, писать, считать, толково работал, но все это выполнялось без интереса; то, к чему люди обычно стремятся и чего добиваются, оставляло его совершенно равнодушным. Он словно жил в каком-то странном затихшем доме и спокойными глазами смотрел оттуда на мир. Ной был чужой в этом мире, но чувства одиночества он не знал.

Все четверо шли через двор, и дед кричал:

— Где он? Где он, черт вас побери! — И его пальцы снова принялись теребить пуговицы на брюках, потом в забывчивости потянулись к карману. И тут он увидел Тома, стоявшего в дверях. Он остановился сам и остановил тех, кто шел за ним. Его

глазки злобно засверкали.— Вот, полюбуйтесь,—сказал он.— Арестант! Джоуды никогда по тюрьмам не сидели.— Мысль его работала бессвязно.— Какое они имели право сажать его в тюрьму! Я бы на его месте то же самое сделал. Какое они, сукины дети, имели право! — И тут же перескочил на другое: — Терн-булл, старый хрыч, хвалился: застрелю его, как только выйдет. Говорит, кровь во мне такая, не позволяет стерпеть. А я велел ему передать: «С Джоудами не связывайся. Может, во мне кровь еще почище твоей». Я ему пригрозил: «Ты только покажись с ружьем, я разряжу его тебе в задницу — будешь помнить!» Напугал дурака до полусмерти.

Бабка, не слушавшая, что говорит дед, тянула скрипучим голосом:

— Сла-ава господу богу!

Дед подошел к двери, хлопнул Тома по груди, и его глаза засверкали любовью и гордостью.

— Ну как, Томми?

— Ничего,— сказал Том.— А ты как?

— Молодого за пояс заткну,— ответил дед. Его мысль опять скакнула в сторону.— Говорил я — Джоуда в тюрьме не удержишь! Я еще тогда сказал: «Томми удерет, пробьется, как бык через забор». Вот ты и удрал! Дай дорогу, я есть хочу.— Он протиснулся в дверь, сел за стол, навалил себе на тарелку свинины и две больших лепешки, залил все это густой подливкой, и не успели остальные войти в кухню, как дед уже набил себе рот едой.

Томми с любовью смотрел на него и усмехался.

— Вот отчаянный! — сказал он. А дед так набил себе рот, что не мог вымолвить ни слова, но его свирепые маленькие глазки улыбнулись, и он яростно закивал головой.

Бабка сказала с гордостью:

— Второго такого брехуна, разбойника ищи — не найдешь! В пекло прямо на кочерге въедет, слава господу. Вздумал тоже — будет править грузовиком,— злобно добавила она.— Так вот, не выйдет!

Дед поперхнулся, выплюнул прямо на колени кусок непрожеванной лепешки и слабо закашлялся.

Бабка, улыбаясь, посмотрела на Тома.

— Вот неряха-то! — сказала она.

Ной поднялся на приступку, и его широко расставленные глаза словно смотрели мимо Тома. Лицо у Ноя было спокойное. Том сказал:

— Ну, как живешь, Ной?

— Хорошо,— ответил Ной.— А ты как? — И все. Но услышать это Тому было приятно.

Мать согнала мух с подливки.

— За столом всем места не хватит,— сказала она.— Берите тарелки и рассаживайтесь где как придется. Или на дворе, или здесь.

И Том вдруг спохватился.

— Э-э! А где же проповедник? Только что был здесь. Куда он делся?

Отец сказал:

— Я видел, он ушел куда-то.

Послышался скрипучий голос бабки:

— Проповедник? Ты привел проповедника? Давай его сюда. Пусть прочтет молитву.— Она показала пальцем на деда.— Поторопился, ест уже. Давайте сюда проповедника.

Том вышел за дверь.

— Эй, Джим! Джим Кэйси! — крикнул он и спустился во двор.

— А, Кэйси! Вот ты где.— Проповедник вылез из-под цистерны, сел на землю, потом встал и подошел к дому. Том спросил: — Ты что, прячешься?

— Да нет. Зачем чужому соваться в семейные дела. Я просто сидел и думал.

— Пойдем, поешь с нами,— сказал Том.— Бабка хочет, чтобы ты прочел молитву.

— Ведь я больше не проповедник,— запротестовал Кэйси.

— Брось, пойдем. Прочти молитву. Тебя от этого не убудет, а она любит помолиться.— Они вошли на кухню вместе.

Мать спокойно сказала:

— Добро пожаловать.

И отец тоже сказал:

— Добро пожаловать. Садись, позавтракаем.

— Молитву,— требовала бабка.— Пусть сначала прочтет молитву.

Дед свирепо уставился на Кэйси и наконец узнал его.

— Ах, этот? — сказал он.— Ну, этот ничего. Он мне еще с тех пор понравился, как я увидел раз..— Дед похабно подмигнул, и бабка, решив, что он сказал какую-нибудь непристойность, прикрикнула на него:

— Замолчи, греховодник! Старый козел!

Кэйси, взволнованный, прочесал пальцами волосы.

— Должен вам сказать... я уже больше не проповедник. Если достаточно того, что мне приятно быть здесь, среди простых, добрых людей... если этого достаточно, тогда я помолюсь, как сумею. Но я уже больше не проповедник.

— Молись,— сказала бабка.— И не забудь вставить словечко о том, что мы уезжаем в Калифорнию.

Проповедник, а вслед за ним и остальные склонили голову. Мать склонила голову и скрестила руки на коленях. Бабка нагнулась так низко, что еще немного и клюнула бы носом в подливку. Том, стоявший у стены с тарелкой в руках, опустил голову чуть-чуть, а дед вывернулся боком, чтобы послеживать злющим и веселым глазом за проповедником. Лицо у проповедника было не набожное, а задумчивое, и в словах его звучала не мольба, а размышление.

— Я все думал,— начал он.— Я бродил среди холмов и думал, почти как Иисус, когда он удалился в пустыню, чтобы разобраться во всех своих заботах и горестях.

— Сла-ава господу богу! — сказала бабка, и проповедник с удивлением взглянул на нее.

— Иисуса так одолели заботы и горести, что он не мог решить, как ему быть дальше. И взяло его сомнение: какого черта! Зачем бороться с самим собой и ломать себе голову? Устал он, очень устал и пал духом. Еще немного, и так бы и порешил: к черту все это! И тогда удалился он в пустыню.

— Ами-инь! — проскрипела бабка. Столько лет она приурочивала свое «аминь» к паузам в молитвах, и ей уж столько лет не приходилось слушать слово божие и дивиться ему.

— Я не хочу равнять себя с Иисусом,— продолжал проповедник.— Но я устал, так же как он, и запутался в своих мыслях, так же как он, и ушел в пустыню, так же как он, не взяв с собой ни палатки, ни вещей. По ночам я лежал на спине и глядел на звезды; утром сяду и смотрю, как всходит солнце; днем вижу с холма сухую землю внизу; вечером провожаю солнце. Иногда начну молиться, как и раньше. Только кому молюсь, за кого молюсь, сам не знаю. Вокруг меня холмы, и я брожу среди этих холмов, и я с ними теперь одно целое. Мы едины. И это единство свято.

— Аллилуйя,— сказала бабка и начала покачиваться взад и вперед, стараясь вызвать в себе молитвенный восторг.

— И я призадумался, только думы у меня были не такие, как всегда, а глубже. Я думал о том, что во всех нас была святость, когда мы жили одной семьей, и все человечество было свято, пока оно было едино. Но святость эта покинула нас, лишь только какой-то один дрянной человек ухватил зубами кусок побольше и убежал с ним, отбиваясь от остальных. Вот такой человек и убил нашу святость. А когда мы все трудились вместе, не один на другого, а все вместе, в одной упряжке, тогда было хорошо, в таком труде была святость. Додумался я до этого и, гляжу, сам не знаю: что же такое святость? — Он замолчал, но его слушатели не поднимали головы, потому что они, как натас-

канные собаки, дожидались команды — слова «аминь».— Я теперь не могу читать прежние молитвы. Я радуюсь святости вашей трапезы. Радуюсь, что среди вас есть любовь. Вот и все.— Склоненные головы не поднялись. Проповедник посмотрел по сторонам.— Из-за меня ваш завтрак остынет,— сказал он; потом вспомнил: — Аминь.— И головы поднялись.

— Ами-инь,— протянула бабка и принялась за еду, жуя беззубыми старческими деснами пропитавшиеся подливкой лепешки. Том ел быстро, отец откусывал большими кусками. Пока все не было съедено и выпито, на кухне царило молчание; слышалось только, как похрустывает пища на зубах и как прихлебывают горячий кофе. Мать не отрывала глаз от проповедника, и взгляд у нее был пытливый, пристальный, понимающий. Она смотрела на него, словно это был не человек, а дух, голос которого донесся до нее откуда-то из-под земли.

Кончив есть, мужчины поставили тарелки на стол, допили остатки кофе. Потом вышли во двор — отец, проповедник, Ной, дед, Том — и зашагали к грузовику, обходя сваленную в кучу мебель, деревянные кровати, механизм ветряка, старый плуг. Они подошли к машине и остановились возле нее. Потрогали новые борта из сосновых досок.

Том открыл капот и стал разглядывать большой, измазанный маслом мотор. Отец подошел к нему.

— Когда мы ее покупали, Эл все проверил. Говорит, в порядке.

— А что Эл смыслит? Он же щенок.

— Эл в прошлом году работал в одной фирме. Водил грузовик. Кое-что в них смыслит. К нему теперь не подступись, важный стал. Мотор собрать для него плевое дело.

Том спросил:

— А где он сейчас?

— Где? — сказал отец.— Шляется. Блудит, как мартовский кот. Дорос до шестнадцати лет и заважничал. Он теперь сам себе голова. Только и думает что о девчонках да о машинах. Дома уж с неделю не ночевал.

Дед, теребивший пальцами ворот, ухитрился наконец продеть пуговицы синей рубахи в петли фуфайки. Пальцы чувствовали, что получилось неладно, но не стали доискиваться причины. Рука потянулась вниз, сделав еще одну попытку разобраться в сложной застежке брюк.

— Я был хуже,— радостно проговорил дед.— Куда хуже. Я отчаянный был! Помню, в Саллисо собрались на моление, а я тогда был постарше Эла. Эл щенок, а я тогда был постарше. Вот

пошли мы на моление. Там собралось человек пятьсот, девчонок — пропасть...

— А ты, дед, и сейчас все такой же отчаянный,— сказал Том.

— Держусь понемножку. Только до прежнего далеко. Вот подождите, приеду в Калифорнию, буду там есть апельсины. И виноград. Никогда винограду всласть не ел. Сорву с куста целую кисть, вопьюсь в нее, только сок брызнет.

Том спросил:

— А где дядя Джон? Где Роза? Где Руфь и Уинфилд? Про них никто и словом не обмолвился.

Отец сказал:

— Про них никто и не спрашивал. Джон уехал в Саллисо продавать кое-какой скарб: насос, инструменты, кур — все, что мы захватили с фермы. Взял с собой Руфь и Уинфилда. Они еще до рассвета уехали.

— Как же это я с ними не повстречался? — сказал Том.

— Так ведь ты шел по шоссе, а они поехали прямиком, через Каулингтон. Роза и Конни у его родителей. Эх! Да ведь ты еще не знаешь, что Роза вышла за Конни Риверса! Помнишь Конни? Хороший малый. Розе уж рожать месяца через три, через четыре. Пухнет день ото дня. Цветет.

— Вот так так! — сказал Том.— Роза при мне была еще девчонкой. А теперь собралась рожать. Да-а, не живешь дома, и чего только не случится за четыре года. Когда же ты думаешь выехать, па?

— Да вот надо распродать добро. Я думал, Эл вернется, погрузит все на машину, свезет в город на продажу, тогда завтра или послезавтра выедем. С деньгами у нас плоховато, а тут один говорил, что до Калифорнии все две тысячи миль наберется. Чем раньше выехать, тем лучше. Деньги так и текут. У тебя есть что с собой?

— Два доллара. А ты откуда наскреб?

— Что было на ферме, все продали,— ответил отец,— а потом пошли всем скопом окучивать хлопок. Дед и тот окучивал.

— Окучивал,— подтвердил дед.

— Подсчитали — оказалось двести долларов. Семьдесят пять ушло на машину. Верх мы с Элом розняли, приспособили платформу. Эл собирался притереть клапаны, да вот шляется черт его знает где, никак не может взяться за дело. К отъезду останется долларов полтораста. Уж очень покрышки старые, на них далеко не уедешь. Взяли еще пару запасных, да тоже подержанные. Придется, верно, по дороге кое-что прикупать.

Солнце, стоявшее прямо над головой, обжигало лучами. Грузовик отбрасывал на землю темные полосы тени; от него пахло нагретым маслом, клеенкой и краской. Куры ушли со двора и спрятались от зноя в сарайчике для инвентаря. Свиньи, лежавшие в хлеву у самой перегородки, где была еле заметная тень, дышали тяжело и время от времени жалобно похрюкивали. Обе собаки растянулись в красноватой пыли под грузовиком, высунув покрытые пылью языки, с которых капала слюна. Отец надвинул шляпу на глаза и присел на корточки. В этой привычной для него позе, видимо, способствующей размышлениям и повышающей наблюдательность, он смерил Тома критическим взглядом, посмотрел на его новую, но уже стареющую кепку, на костюм, на новые башмаки.

— Сам на это потратился? — спросил он.— Замучаешься в таком наряде.

— Это мне выдали,— сказал Том.— Перед выходом.— Он снял кепку и посмотрел на нее с восхищением, потом вытер ею лоб и, лихо надвинув набекрень, потянул за козырек.

Отец заметил:

— Башмаки дали хорошие.

— Да,— согласился Джоуд.— Башмаки хорошие, только по такой жаре в них далеко не уйдешь.— Он присел на корточки рядом с отцом.

Ной медленно проговорил:

— Может, приладим борта, тогда и грузить начнем? Погрузим, может, Эл подойдет, тогда...

— Я умею водить машину, если только за этим дело,— сказал Том.— Я водил грузовик в Мак-Алестере.

— Вот и ладно,— сказал отец и перевел взгляд на дорогу.— Если не ошибаюсь, это он, прохвост, домой тащится. Еле ноги волочит.

Том и проповедник посмотрели в ту сторону, и шкодливый Эл, заметив, что за ним наблюдают, расправил плечи и горделивой походкой зашагал по двору, точно петух, собирающийся закукарекать. Он подошел к ним совсем близко и только тогда узнал Тома. Хвастливая мина сразу исчезла с лица Эла, глаза засветились восторгом и благоговением, и весь его задор как рукой сняло. Ни жесткие брюки-комбинезон, подвернутые снизу на восемь дюймов, чтобы было видно сапоги на высоких каблуках, ни пояс в три дюйма шириной, с медными бляхами, ни даже красные резинки на рукавах синей рубашки и залихватски сдвинутая на ухо широкополая шляпа не могли сравнять его с братом,— потому что его брат убил человека, а этого забыть нельзя. Эл знал, что даже он сам вызывает восхищение среди своих сверст-

ников, только потому, что его брат убил человека. Он слышал раз в Саллисо: «Это Эл Джоуд. Его брат уложил одного лопатой».

И теперь, смиренно подходя к брату, Эл увидел, что тот, сверх ожидания, совсем не чванливый. Эл увидел темные хмурые глаза и тюремное спокойствие худого бритого лица, которое привыкло ничем не выдавать тюремщикам своих истинных чувств, не выказывать ни сопротивления, ни рабской покорности. И Эл сразу стал другим. Бессознательно он подделался под брата, и его красивое лицо нахмурилось, плечи слегка сгорбились. Он не помнил, какой Том был раньше.

Том сказал:

— Здравствуй, Эл! Ну и вытянулся — орясина! Я бы тебя не узнал.

Держа руку наготове, на тот случай если Том захочет поздороваться, Эл смущенно улыбнулся. Том протянул ему руку, рука Эла дернулась навстречу. И оба они понравились друг другу.

— Говорят, ты машиной здорово управляешь?

Но Эл сразу почувствовал, что хвастовством брату не угодишь, и ответил:

— Да нет, не очень.

Отец сказал:

— Шляешься все. Без задних ног пришел. Надо отвезти в Саллисо кое-какие вещи на продажу.

Эл взглянул на брата.

— Поедем? — спросил он как можно небрежнее.

— Нет, не могу,— ответил Том.— Надо здесь помочь. Еще будем вместе... в дороге.

Эл старался сдержать себя изо всех сил:

— Ты... ты убежал?.. Из тюрьмы?

— Нет,— ответил Том.— Дал подписку.

— А...— В голосе Эла прозвучало легкое разочарование.

ГЛАВА IX

В маленьких домишках арендаторы перебирали свое добро, добро своих отцов, добро своих дедов. Ворошили свой скарб, готовясь к путешествию на Запад. Мужчины действовали без всяких сожалений,— ведь вся прошлая жизнь пошла насмарку; но женщины знали, что прошлое еще не раз подаст им свой голос. Мужчины шли в сараи, в чуланы.

Вот плуг, вот борона — помнишь, как сеяли горчицу во время войны? Помнишь, приезжал какой-то, все уговаривал нас разводить каучуковый кустарник — гвайюлу? Говорил: разбогатеете.

Давай-ка сюда вон те инструменты,— как-никак, а пару долларов за них получим. За плуг было заплачено восемнадцать долларов плюс перевозка,— выслано по прейскуранту «Сирс Роубак».

Упряжь, двуколки, сеялки, мотыги. Давай их сюда. Все в одну кучу. Грузи на фургон. Свезешь в город. Сколько ни дадут — продавай. Лошадей и фургон тоже продашь. Больше не понадобятся.

Пятьдесят центов за хороший плуг — это мало. Сеялка стоила тридцать восемь долларов. Два доллара мало. Не тащить же назад... Ладно, бери все, забирай и мою злобу в придачу. Бери насос и сбрую. Бери уздечки, хомуты, постромки. Бери красные стеклянные розочки — подвески к налобнику. Были куплены для гнедого мерина. Помнишь, как он поднимал ноги на рыси?

Рухлядь, сваленная посреди двора.

Ручной плуг теперь не продашь. Пойдет на лом, потянет самое большее на пятьдесят центов. Теперь только дисковые плуги да тракторы.

Ладно, забирайте все, что есть, всю рухлядь, и платите пять долларов. Вы покупаете не только эту рухлядь, но и жизнь, которая стала рухлядью. Мало того, в придачу к этому пойдет и моя злоба. Вы покупаете плуг, который подрежет почву под ногами ваших детей, вы покупаете оружие и волю, которые могли бы спасти вас. Нет, не четыре, а пять долларов. Не тащить же мне все назад. Ладно, берите за четыре. Только не забудьте, вы покупаете то, что подрежет почву под ногами ваших детей. Вы не заметите, как это случится. Не успеете заметить. Берите за четыре. Ну а сколько за лошадей и фургон? Смотрите, какие красавцы! Оба гнедые, подобраны под масть, и шаг у них одинаковый, нога в ногу. Натянут постромки — задние ноги и круп напружатся, шагают ровно, ни на секунду не отстанут друг от друга. А по утрам, на солнце, прямо золотые. Поглядывают через загородку, принюхиваются, не идет ли хозяин, уши в струнку, слушают, а челки совсем черные! У меня есть дочка. Любит заплетать им гриву и челку. Заплетет, да еще завяжет красной ленточкой. Нравится ей это. А теперь кончено. Забавную историю мог бы я вам рассказать про дочку и вон про того гнедого. Вы бы посмеялись. Левый мерин — восьмилетка, правому — десять, а ведь как дружно сработались, будто близнецы. Теперь смотрите зубы. Ни одного порченого. Легкие глубокие. Копыта ровные, чистые. Сколько? Десять долларов? За пару? Да еще тележка?.. О господи! Да я лучше пристрелю их, пойдут собакам на корм. А, берите! Берите их поскорей, мистер! Вы покупаете заодно и маленькую девочку, которая плела лошадям косички на лбу, снимала у себя с головы ленточку и завязывала им косички бантиками; отойдет назад, голову набок,—

любуется, потом потрется щекой о мягкие, теплые ноздри. Вы покупаете долгие трудовые годы на палящем солнце, вы покупаете горе, которое не выскажешь никакими словами. Но не забывайте одного, мистер. Вы получите премию за эту рухлядь и за гнедых коней, за моих красавцев; эта премия — комок злобы, которая будет расти и расти в вашем доме и когда-нибудь принесет плоды. Мы могли бы стать вашими спасителями, но вы подсекли нас; наступит день, когда подсекут и вашу жизнь, а нас уже не будет, и на помощь к вам не придет никто.

И арендаторы возвращались домой, засунув руки в карманы, надвинув шляпу на глаза. Некоторые покупали пинту виски и быстро опоражнивали ее, чтобы оглушить себя сразу. Но, выпив, они не смеялись, не пускались в пляс. Они не пели, не пощипывали струны гитар. Они возвращались на свои фермы, засунув руки в карманы, низко опустив голову, вздымая ногами красную пыль.

Может быть, начнем жизнь заново, в новой, богатой стране — в Калифорнии, где растут фрукты. Начнем с самого начала.

Разве мы сможем начать новую жизнь? Жизнь начинает только ребенок. А мы с тобой... у нас все позади. Минутные вспышки гнева, тысячи картин, встающих из прошлого — это мы. Поля, красные поля — это мы; проливные дожди, пыль, засуха — это мы. Нам уже не начать жизнь заново. Злоба, которую мы продали скупщику вместе с рухлядью,— она будет с ним, но не уйдет и от нас. И то, как хозяева велели нам убираться с земли,— это тоже останется с нами; и то, как трактор своротил дом,— это останется с нами, останется до самой смерти. В Калифорнию или еще куда-нибудь — мы, как барабанщики на параде, поведем за собой наши обиды, нашу злобу. И настанет день, когда все армии озлобленных пойдут по одному пути. И они будут шагать в ногу, и поступь их будет грозной.

Арендаторы возвращались домой, волоча ноги в красной пыли.

Когда все, что можно продать, было продано — печки и кровати, столы и стулья, маленькие угловые буфеты, лоханки и баки,— скарб все еще оставался; и женщины сидели среди груды вещей, перебирали их, оглядывались назад, в прошлое. Картинки, зеркальце, а вот ваза...

Ты прекрасно знаешь, что можно взять, а что нельзя. Мы будем делать остановки среди полей,— понадобится посуда для стряпни и стирки, матрацы и теплые одеяла, и ведра, и кусок брезента: из него сделаем навес. Вот бидон для керосина. Знаешь, на что пригодится? Смастерим из него печку. Одежда? Бери все, что есть. А ружье?.. Без ружья, как без рук. Когда не будет ни баш-

маков, ни платья, ни еды, ни даже надежды — ружье все-таки останется при нас. Когда дед пришел в эти места — помнишь, рассказывал,— у него только и было с собой что перец, соль и ружье. Больше ничего. Это пойдет. И еще бутылку для воды. Ну, теперь, кажется, полно. Прицеп набит доверху. Ребята поедут в прицепе, бабку усадим на матрац. Инструменты — лопата, пила, гаечный ключ, плоскозубцы. Еще топор. Этот топор служит лет сорок. Видишь, как лезвие стерлось? Не забудь веревки. Остальное? Брось так... или сожги.

Подходили дети.

Если Мэри возьмет куклу, рваную тряпичную куклу, тогда я возьму мой индейский лук. Как я без него буду? И еще палку — она длинная, мне по самую макушку. Вдруг понадобится? Она у меня уже давно, целый месяц или целый год. Как я без нее буду? А какая она, Калифорния?

Женщины сидели среди обреченных на гибель вещей, перебирали их, оглядывались в прошлое. Вот книжка. Отцовская. Отец любил книги. «Странствия пилигрима». Часто читал ее. С его надписью. А вот отцовская трубка — все еще пахнет табаком. А вот картинка — ангел. Я все на нее смотрела перед первыми тремя родами, да что-то не помогло. Как, по-твоему, взять эту фарфоровую собачку? Тетя Сэди привезла ее с выставки в Сент-Луисе. Видишь? Так и написано. Да нет, не стоит. Письмо от брата, писал за день до смерти. Шляпа — старомодная, с перьями, никогда ее не носила. Нет, некуда сунуть.

Как же мы будем жить, когда у нас отняли жизнь? Как мы узнаем самих себя, когда у нас отняли прошлое? Нет. Брось. Сожги.

Они сидели, глядя на эти вещи, и старались выжечь их, как клеймо, у себя в памяти. Как же дальше, когда не будешь знать землю за порогом своего дома? Или проснешься среди ночи и знаешь — знаешь, что ивы нет. Разве ты можешь жить без ивы? Нет, не можешь. Ива — это ты. Боль, которая терзала тебя вон на том матраце,— мучительная, нестерпимая боль — это ты.

Опять дети... Если Сэм возьмет индейский лук и длинную палку, тогда мне тоже можно взять две вещи. Тогда я возьму еще пуховую подушку. Это моя подушка.

И вдруг их охватывало беспокойство. Надо поскорее трогаться. Ждать нельзя. Ждать больше нельзя. И они сваливали посреди двора оставшийся скарб и поджигали его. Они стояли и смотрели на огонь, потом с лихорадочной быстротой принимались грузить вещи на машину и уезжали, скрывались в пыли. И пыль долго стояла в воздухе, поднятая перегруженными машинами.

ГЛАВА X

Когда грузовик уехал, набитый доверху тяжелым инвентарем, инструментами, кроватями, матрацами — всей движимостью, которую только можно было продать, Том пошел бродить по участку. Он постоял в сарае, заглянул в опустевшее стойло, в пристройку для инвентаря, разгреб ногой оставшийся там мусор, отшвырнул в сторону сломанный зубец косилки. Он обошел все памятные места — красный береговой откос, где были гнезда ласточек, иву около свиного хлева. Две свиньи с хрюканьем потянулись к нему через загородку; свиньи были черные, разомлевшие на солнце, благодушные. И тут его паломничество закончилось, и он вернулся к дому и сел на приступку, куда только что передвинулась тень. Позади в кухне возилась мать, она стирала детское платье в ведре; ее веснушчатые руки были все в мыльной пене, пена капала с локтей. Как только Том сел на приступку, она выпрямилась и долго смотрела на него, сначала в лицо, сбоку, а когда он перевел глаза на залитый солнцем двор,— в затылок. Потом снова принялась за стирку.

Она сказала:

— Том, надо думать, что в Калифорнии будет не так уж плохо.

Он повернулся и взглянул на нее.

— А кто говорит, что там будет плохо?

— Да никто. Только уж очень все это хорошо. Тут раздавали листки. Чего только там не написано — и работы сколько угодно, и плата высокая, и все такое прочее! Потом в газете писали, сколько там народу требуется на сбор винограда, апельсинов и персиков. А ведь это приятная работа — собирать персики. Даже если не позволят есть, все равно какую-нибудь гнилушку ухитришься стащить. И под деревьями хорошо работать — тень. Очень уж заманчиво, даже страшно становится. Не верю я. Боюсь, что на деле окажется совсем не так хорошо.

Том сказал:

— Не заносись верою выше орла, не будешь ползать вместе с червями.

— Правильно, правильно. Это ведь из Священного писания.

— Кажется, оттуда,— сказал Том.— Я как прочел книжку «Победа Барбары Ворт», так у меня Священное писание из головы вышибло.

Мать негромко засмеялась и снова принялась за стирку. Потом она стала отжимать штаны, рубашки, и мускулы у нее на руках натянулись, как веревки.

— Твой дед, с отцовской стороны, раньше тоже чуть что, так вспоминает Писание. Путал, ужас как. Все сбивался на Альманах доктора Майлса. Он его от корки до корки читал нам вслух. Там было много писем — от тех, кто мучился бессонницей или ломотой в пояснице. Начнет другим пересказывать — учить их уму-разуму, да прибавляет: «Это притча из Священного писания». Твой отец и дядя Джон смеются над ним, а он сердится.— Она сложила отжатое белье, точно охапку дров, на стол.— Том! Говорят, нам две тысячи миль ехать. Ведь это очень далеко? Я видела карту: высокие горы, точно на цветных открытках, и нам прямо через них надо перебираться. Сколько же уйдет на дорогу? Как ты думаешь, Томми?

— Не знаю,— ответил он.— Две недели, а если повезет, так дней десять. Слушай, ма, ты зря беспокоишься. Я тебе расскажу, как люди живут в тюрьме. О том, когда тебя выпустят на волю, думать нельзя. Рехнешься. Думать надо о сегодняшнем дне, о завтрашнем, о бейсболе в субботу. Так и надо жить. Так живут все бессрочники. Новички — те лбом о дверь бьются. Всё считают, сколько им еще сидеть. Зачем тебе это? Живи со дня на день.

— Да, так лучше,— сказала она, налила в ведро горячей воды, бросила туда грязное белье и принялась месить его в мыльной пене.— Так лучше. А все-таки приятно думать: может, в Калифорнии будет хорошо. Холодов там нет. Повсюду фрукты. Люди живут привольно, в беленьких домиках, среди апельсиновых деревьев. Может, и мы,— конечно, если всем найдется работа, если у всех будет заработок,— может, и мы устроимся жить в белом домике. Малыши будут рвать апельсины прямо с дерева. Попробуй удержи их — слез не оберешься.

Том смотрел, как она возится с бельем, и глаза его улыбались.

— Тебе, я вижу, от одних таких мыслей легче становится. Я знал одного из Калифорнии. У него и речь была другая, не как у нас. Послушаешь — и сразу ясно: это не здешний. Так вот он рассказывал, что там сейчас очень много народу набралось, все ищут работу. Сборщики фруктов, говорит, живут в лагерях, в грязище, с едой тоже плохо. Платят мало, работу найти трудно.

По ее лицу пробежала тень.

— Это неверно,— сказала она.— У отца есть листок, желтый такой,— там написано, что в рабочих нужда. Разве станут всё это заводить, если работы нет? Такие листки стоят больших денег. Кому это нужно — рассказывать небылицы, да еще платить деньги за свое вранье.

Том покачал головой.

— Не знаю, мать. Объяснить трудно, зачем это делается.

Может быть...— Он посмотрел во двор на красную землю, залитую горячим солнцем.

— Ну?

— Может, все будет хорошо, как ты говоришь. А куда дед ушел? Где проповедник?

Мать стала с охапкой белья на пороге. Том подвинулся, давая ей дорогу.

— Проповедник пошел побродить. Дед спит дома. Он иногда среди дня заходит в комнаты поспать немножко.— Она вышла во двор и стала развешивать на веревке выцветшие синие комбинезоны, синие рубашки и длинные серые фуфайки.

Том услышал у себя за спиной шаркающие шаги и обернулся. В дверях стоял дед, так же как и утром, теребивший пальцами застежку брюк.

— Слышу, тут разговоры,— сказал он.— Сукины дети, поспать старику не дадут. Молоко еще на губах не обсохло, не понимаете, что старику нужен покой.— Его пальцы, теребившие клапан брюк, ухитрились справиться с двумя застегнутыми пуговицами, забрались внутрь и с наслаждением почесали в паху. Мать подошла к нему с мокрыми руками; ладони у нее были размякшие, сморщенные от горячей воды и мыла.

— Я думала, ты спишь. Дай застегну.— И хотя дед отбивался, она все-таки удержала его и застегнула ему фуфайку, рубашку и брюки.— А то ходишь распустехой,— сказала она и отошла.

Дед злобно забормотал:

— Вот... вот до чего дошел — штаны застегивают. Оставьте вы меня в покое, я сам сумею застегнуться.

Мать сказала шутливо:

— В Калифорнии не позволят в таком виде ходить.

— Не позволят? Ха! Я им покажу! Они еще меня учить станут! Да я захочу — и совсем без штанов буду бегать, если уж на то пошло.

Мать сказала:

— Такой стал несдержанный на язык! Год от году все хуже. Перед тобой хорохорится, что ли?

Старик выпятил щетинистый подбородок и воззрился на мать хитрыми, злющими, веселыми глазами.

— Вот так-то,— сказал он,— скоро и в путь отправляемся. А виноград там растет прямо у дороги! Знаете, что я сделаю? Нарву полный таз и плюхнусь туда прямо задом, да еще поерзаю, пусть штаны соком пропитаются.

Том засмеялся.

— Да такой хоть до двухсот лет доживет, его все равно не обуздаешь,— сказал он.— Значит, в путь-дорогу, дед?

Старик выдвинул ящик и тяжело опустился на него.

— Да, сэр,— сказал он.— Давно пора. Мой брат сорок лет назад туда уехал. Так с тех пор ничего о нем и не слышно. Хитрюга был, сукин сын. Его никто не любил. Удрал с моим кольтом. Вот встречусь с ним или с его детьми, если он ими обзавелся в Калифорнии, потребую с них свой кольт. Да ведь я эту кукушку знаю: дети если и были, так, наверно, не при нем живут, а по чужим гнездам. Да! В Калифорнию хорошо съездить. Я там помолодею. Как приеду, так сразу пойду на сбор фруктов.

Мать кивнула:

— Ты не думай, дед не шутит,— сказала она.— Он только последние три месяца не работает, с тех пор как опять вывихнул бедро.

— Правильно,— подтвердил дед.

Том посмотрел во двор.

— Вон и проповедник идет, откуда-то из-за сарая.

Мать сказала:

— Непривычно мне было слушать такую молитву, как сегодня утром. Да это и не молитва. Он просто говорил, рассказывал, а получилось вроде молитвы.

— Он чудной,— сказал Том.— И говорит по-чудному. Будто сам с собой. Но ломанья и притворства в этом нет.

— А ты посмотри, какие у него глаза,— сказала мать.— Будто его только что крестили. Прямо в душу проникают. А ходит как: голову повесит и смотрит себе под ноги. Будто только что окрестили человека.— И она замолчала, потому что Кэйси подходил к дому.

— Тебя солнечный удар хватит, расхаживаешь по такой жаре,— сказал Том.

Кэйси ответил:

— Да... может, и хватит.— Потом вдруг заговорил, обращаясь сразу ко всем — к матери, к деду, к Тому: — Мне тоже надо на Запад. Мне обязательно туда надо. Может, вы возьмете меня с собой? — И он смущенно замолчал.

Мать выжидающе посмотрела на Тома, потому что ему — мужчине — полагалось говорить первому, но Том ничего не ответил проповеднику. Дав Тому достаточно времени, чтобы воспользоваться своим правом, она сказала:

— Для нас это большая честь. Конечно, сейчас я ничего не могу обещать. Отец сказал, что сегодня вечером мужчины соберутся, все обсудят и назначат день отъезда. Давайте лучше подождем. Джон, отец, Ной, Том, Эл, Конни — вот кому решать. Они скоро вернутся. Но если место будет, для нас это большая честь.

Проповедник вздохнул.

— Я все равно пойду,—сказал он.—Что здесь делается? Я походил, посмотрел — дома пустые, и земля пустая... везде пусто. Я тут больше не останусь. Пойду туда, куда все идут. Буду работать в полях, может, успокоюсь.

— А проповедовать не будешь? — спросил Том.

— Проповедовать не буду.

— И крестить не будешь? — спросила мать.

— И крестить не буду. Я буду работать в полях, в зеленых полях, буду все время с людьми. Учить их я больше не хочу. Лучше сам поучусь. Узнаю, как они любят, прислушаюсь к их словам, шагам, к их разговорам, к песням. К тому, как ребятишки уплетают маисовую кашу. Как муж с женой возятся по ночам. Буду есть вместе с людьми, буду учиться у них.— Глаза у него были влажные, блестящие.— И сам буду валяться в траве с той, кто пожелает со мной лечь, и не стану скрывать это. И сквернословить буду, и божиться, и слушать музыку, которая есть в людской речи. Теперь я понял, что все это свято, и теперь все это будет со мной.

Мать сказала:

— Аминь.

Проповедник скромно сел в холодке у двери.

— Не знаю, что еще делать одинокому человеку.

Том вежливо кашлянул.

— Если человек решил больше не проповедовать...— начал он.

— Э-э! Я просто болтун,— сказал Кэйси.— От этого никуда не денешься. Но проповедовать я больше не буду. Проповедовать — это значит что-то втолковывать людям. А я жду, что они сами ответят на мои вопросы. Разве так проповедуют?

— Не знаю,— сказал Том.— Тут и голос имеет значение, и то, к чему ты клонишь в своей проповеди. Проповедь дело хорошее, если только после нее людям не захочется убить тебя. Прошлым рождеством пришли к нам в Мак-Алестер из Армии спасения. Три часа битых играли на корнетах, а мы сидим, слушаем. Обращались с нами ласково. А попробуй кто-нибудь встать и уйти, рассадили бы всех по одиночкам. Вот тебе и проповедь! Ублажали людей, которые связаны по рукам и по ногам и не могут им всыпать как следует за их проповедь. Нет, какой же ты проповедник. Смотри только, не вздумай тут на корнете играть.

Мать подбросила хворосту в огонь.

— Сейчас дам вам закусить, только не очень у меня богато.

Дед вытащил свой ящик во двор, сел на него и прислонился к стене, Том с проповедником устроились у стены. И тень, падающая от дома, протянулась дальше во двор.

Грузовик вернулся к концу дня, подскакивая и громыхая по пыльной дороге; на платформе густым слоем лежала пыль, и капот

«Гроздья гнева»

был покрыт пылью, а фары точно запорошило красной мукой. Когда он подъезжал к ферме, солнце уже садилось, и в его лучах земля была красная, как кровь. Эл сидел за рулем, гордый, серьезный и деловитый, а отец и дядя Джон, как и подобало вожакам клана, занимали почетные места рядом с водителем. Стоя на платформе и держась за борта, ехали остальные: двенадцатилетняя Руфь и десятилетний Уинфилд — чумазые, дикие. Глаза у них, хоть и усталые, горели восторгом, губы и пальцы были черные и клейкие от лакричных леденцов, которые удалось выклянчить в городе у отца. Руфь, в розовом кисейном платье ниже колен, держалась с достоинством, как барышня. Но Уинфилд все еще не вышел из того возраста, когда мальчишки бегают сопливые, подолгу пропадают где-нибудь позади сарая и не пропустят ни одного окурка. И тогда как Руфь с полным сознанием ответственности, налагаемой на нее полом, гордилась своей развивающейся грудью, Уинфилд все еще был маленьким сорванцом, смахивавшим на глуповатого щенка. Рядом с ними, легко опираясь о борт машины, стояла Роза Сарона. Она приподнималась на носках, стараясь принимать толчки грузовика коленями и бедрами. Ибо Роза Сарона была беременна и считала нужным соблюдать осторожность. Ее пепельные волосы, заплетенные в косы, короной лежали вокруг головы. На округлом мягком лице, таком чувственном и влекущем каких-нибудь несколько месяцев назад, уже появилась печать беременности: самодовольная улыбка и взгляд уверенный и гордый; и ее полное тело — высокая мягкая грудь и живот, зад и крутые бедра, которые раньше так соблазнительно покачивались, словно напрашиваясь на шлепки и поглаживание,— все ее тело обрело сдержанность и достоинство. Каждый помысел Розы Сарона, каждое движение были устремлены внутрь, на благо ребенка. Сейчас она привставала на носки, заботясь о ребенке. И весь мир казался ей материнским чревом, и мыслила она в терминах продолжения рода и материнства. Ее девятнадцатилетний муж, Конни, взявший в жены пухленькую, горячую девчонку, все еще с испугом и недоумением присматривался к происшедшей в ней перемене, потому что теперь уже не было ни кошачьей возни в постели, ни кусанья, ни царапанья, ни приглушенных смешков, ни заключительных слез. Он видел перед собой уравновешенное, заботливое и мудрое существо, улыбавшееся ему застенчиво, но отнюдь не робко. Конни гордился Розой Сарона и побаивался ее. Он ловил малейшую возможность, чтобы дотронуться до ее тела, стать рядом и коснуться ее бедра, плеча, и это поддерживало в нем чувство близости, которое, быть может, уже начинало исчезать. Конни был техасской крови — худощавый, с резкими чертами лица, и его голубые глаза смотрели то угрожающе, то ласково, то испуганно.

Он был хороший, добросовестный работник и мог бы стать впоследствии хорошим мужем. Он выпивал, но не слишком много; пускал в дело кулаки, если это было нужно, но сам никого не задирал. На людях он держался тихо, тем не менее его присутствие чувствовалось, и с ним считались.

Дядя Джон — не будь ему пятидесяти лет и не занимай он положения главы семьи наравне с другими мужчинами — предпочел бы отказаться от почетного места рядом с шофером. Он с удовольствием уступил бы его Розе Сарона. Но это исключалось, потому что Роза Сарона была женщина, к тому же молодая. И дяде Джону было не по себе, его глаза тоскливо смотрели по сторонам, в сильном худом теле чувствовалось напряжение. Одиночество стеной отгораживало его от людей, от нормальных людских потребностей. Ел он мало, не пил, жил вдовцом. Но неутоленные страсти зрели, накапливались в глубине и наконец прорывались наружу. Тогда он с жадностью накидывался на еду и обжирался до рвоты; или глушил виски, превращаясь в расслабленного паралитика с красными слезящимися глазами; или путался с какой-нибудь шлюхой в Саллисо. Про него рассказывали, будто он однажды дошел до самого Шоуни, уложил сразу трех проституток в одну постель и в течение часа возился с этими тремя равнодушными телами. Но, насытившись, дядя Джон ходил грустный, пристыженный и по-прежнему одинокий. Он прятался от людей и пытался искупить свою вину хотя бы подарками. Тогда он заходил украдкой в дома и совал детям под подушки пакетики жевательной резинки. Тогда он рубил хворост и не брал за это денег. Тогда он раздавал другим все, что у него было: седло, лошадь, пару новых башмаков. Поговорить с ним в эти дни никому не удавалось, потому что он убегал, а если волей-неволей и сталкивался с людьми, то замыкался в себе и смотрел на них испуганными глазами. Смерть жены и последовавшие за этим долгие месяцы затворничества наложили на него свою печать: дядю Джона мучили угрызения совести, стыд, и одиночества его ничто не могло нарушить.

Но кое с чем ему все же приходилось мириться. Хотя бы с тем, что он наравне с остальными мужчинами считался главой семьи, а семьей надо править; и вот сейчас надо сидеть на почетном месте рядом с шофером.

Все трое мужчин, возвращавшиеся домой по пыльной дороге, сидели угрюмые. Эл, склонившись над рулем, посматривал то на дорогу, то на щиток приборов, следя за подозрительно вздрагивающей стрелкой амперметра, за указателем уровня горючего и за контрольной лампочкой. И он отмечал мысленно слабые места машины, отмечал некоторые подозрительные признаки в ее поведении. Прислушивался к скрипам — может быть, в заднем мосту не хватает

масла; прислушивался к работе клапанов. Он держал руку на рычаге переключения скоростей, чувствуя ладонью работу шестеренок, нажимал педаль, проверяя тормоза. Может быть, иной раз Эл и блудил, как мартовский кот, но сейчас он чувствовал на себе большую ответственность — ответственность за машину, за ее ход, за ее состояние. Если что-нибудь развалится, это будет его вина, и хотя никто не скажет ему ни слова в упрек, все, и в первую голову сам Эл, будут знать, что это его вина. И он проверял машину, следил за ней, прислушивался к ней. Лицо у него было серьезное, полное чувства ответственности. И все уважали Эла, уважали его ответственность за машину. Даже глава семьи — отец — не гнушался подержать гаечный ключ для Эла и выполнял его распоряжения.

Они возвращались домой усталые. Руфь и Уинфилд устали от уличного шума, от людской толпы, от выклянчивания у отца лакричных леденцов; они устали от того восторга, который вызвал у них дядя Джон, сунувший им тайком в карман жевательную резинку.

И мужчины, занимавшие переднее сиденье, были усталые, обозленные и грустные, потому что им удалось выручить только восемнадцать долларов за всю движимость с фермы: за лошадей, фургон, инвентарь и за всю домашнюю обстановку. Восемнадцать долларов. Они ругались с покупателем, спорили, но весь их пыл сняло как рукой, когда скупщик вдруг потерял интерес к торгу и заявил, что ему ничего не нужно ни за какую цену. Тогда они почувствовали себя побежденными, сдались и получили на два доллара меньше того, что предлагалось вначале. И теперь они ехали усталые и испуганные, потому что им пришлось столкнуться с порядком вещей, который никак не укладывался у них в голове, и этот порядок вещей победил их. Они знали, что упряжка и фургон стоят гораздо дороже. Они знали, что скупщик выручит за них гораздо больше,— но как сделать это самим, оставалось загадкой. Таинства торговли были выше их разумения.

Эл, переводивший глаза с дороги на щиток приборов, сказал:

— Этот молодчик не здешний. Говорит не по-нашему. И одет тоже не так, как у нас одеваются.

Отец пояснил:

— Я в скобяной лавке повстречал кое-кого из знакомых. Говорят, сюда много таких понаехало, скупают у нас все, что идет на продажу перед отъездом. Хорошо себе руки нагрели. А что с ними поделаешь? Надо бы Томми съездить. Может, он сумел бы продать подороже.

Джон сказал:

— Да ведь этот и брать ничего не хотел. Не назад же тащить?

— Мне и это растолковали,— сказал отец.— Говорят, скупщики всегда так делают. Запугивают нас. Мы просто не знали, как с ним надо дело вести. Эх, матери только одно огорчение. Обозлится и расстроится.

Эл сказал:

— Па, а когда ты думаешь выезжать?

— Не знаю. Поговорим сегодня вечером, обсудим. Хорошо, что Том вернулся. Я все радуюсь. Том у нас молодец.

Эл сказал:

— Па, тут один говорил, что Том дал подписку. И будто из-за этого ему нельзя выезжать из нашего штата. А если уедет и попадется, тогда его посадят на три года.

Отец оторопел:

— Так и сказали? Наверно, знают, если так говорят. А может, просто болтовня?

— Кто их разберет,— ответил Эл.— Они разговаривали между собой, а я не признался, что он мой брат. Стоял рядом и слушал.

Отец сказал:

— Неужто это правда? Как же мы без Тома? Надо его самого спросить. И так забот немало — не хватает еще, чтобы за нами гонялись! Неужто правда? Надо об этом поговорить начистоту.

Дядя Джон сказал:

— Том сам знает, как ему быть.

Они замолчали. Грузовик с грохотом бежал по дороге. Мотор стучал, работал с перебоями, тормозные тяги дребезжали. Колеса поскрипывали, точно деревянные, из щели в крышке радиатора тонкой струйкой выбивался пар. Грузовик вздымал за собой крутящийся столб красной пыли. Он одолел последний подъем, когда солнце только наполовину ушло за линию горизонта, и подкатил к дому вместе с заходом. Тормоза взвизгнули, и этот звук запечатлелся в мозгу Эла: фрикционная накладка к черту!

Руфь и Уинфилд с воплями перелезли через борта машины и спрыгнули на землю. Они кричали:

— Где он? Где Том? — И вдруг увидели брата и остановились в смущении, потом медленно подошли и робко взглянули на него.

И когда он сказал:

— Здравствуйте, ребятки. Ну, как дела? — они тихо ответили:

— Здравствуй. Ничего.— И стали в сторонке, поглядывая украдкой на своего большого брата, который убил человека и сидел в тюрьме. Они вспомнили, как у них была тюрьма в курятнике и как они дрались и спорили, кому быть арестантом.

Конни Риверс снял поперечную доску в хвосте грузовика, спрыгнул и помог слезть Розе Сарона; и она с достоинством при-

няла его помощь и улыбнулась своей знающей, самодовольной улыбкой, смешно поджав уголки губ.

Том сказал:

— Да это Роза! А я не знал, что ты вместе с ними приедешь.

— Мы шли пешком,— ответила она.— Грузовик нас нагнал и подвез.— И потом добавила: — А вот Конни, мой муж.— И, говоря это, она была просто великолепна.

Том и Конни поздоровались, смерив друг друга взглядом, внимательно присмотревшись друг к другу, и остались довольны этим осмотром. Том сказал:

— Я вижу, ты времени даром не теряла.

Она посмотрела на свой живот.

— Ничего ты не видишь, рано еще.

— Мне мать сказала. Когда же надо ждать?

— Ну-у, еще не скоро! К зиме, не раньше.

Том засмеялся.

— Значит, родишь в апельсиновой роще? В беленьком домике посреди апельсиновых деревьев?

Роза Сарона потрогала живот обеими руками.

— Ничего ты не видишь,— сказала она, самодовольно улыбнулась и ушла в дом. Вечер был жаркий, с запада все еще струился свет. И, не дожидаясь зова, вся семья собралась у грузовика,— семейное заседание, семейный совет объявил свою сессию открытой.

В вечернем свете красная земля казалась прозрачной, казалось, что она раздалась вширь и вдаль, и каждый камень, столб, строение обрели глубину, плотность, невидимые глазу днем; и все предметы стали заметнее. Столб стоял точно сам по себе, отделяясь от земли, отделяясь от расстилавшихся за ним кукурузных полей. И каждый кукурузный стебель поднимался сам по себе, не сливаясь с остальными. И кряжистая ива стояла сама по себе, особняком от других деревьев. Земля точно подсвечивала вечерние сумерки. Западная стена серого неоштукатуренного дома светилась, как диск луны. Серый, запыленный грузовик выступал из сумерек, словно в далекой перспективе стереоскопа.

Вечер изменил и людей, они притихли. Они словно слились с бессознательной жизнью природы. Они повиновались импульсам, оставлявшим лишь легкий след у них в мозгу. Глаза их смотрели сосредоточенно и спокойно, и эти глаза тоже казались прозрачными в вечерних сумерках — прозрачными и светлыми по сравнению с запыленными лицами.

Семья собралась в самом главном месте — около грузовика. Дом был мертв, поля были мертвы, но в грузовике они чувствовали что-то живое, он был для них символом самой жизни. Допотоп-

ный «гудзон» с помятым, поцарапанным кожухом радиатора, с изношенным, забитым маслянистой пылью мотором, с нашлепками красной пыли на месте отсутствующих колпаков ступиц — эта полулегковая, полугрузовая машина, неуклюжая, с высокими бортами, была для них новым домом, местом сбора всей семьи.

Отец обошел грузовик, оглядел его со всех сторон, потом опустился на корточки и поднял с пыльной земли прутик. Правая его нога стояла на земле всей ступней, левая, отставленная чуть подальше, опиралась на пальцы, так что одно колено было выше другого. Левая рука лежала на левом колене; локоть правой упирался в правое колено, в то, которое было выше, а ладонь поддерживала подбородок. Отец сидел на корточках, подперев подбородок ладонью, и поглядывал на грузовик. Дядя Джон подошел к нему и тоже присел на корточки. Глаза у отца и у дяди Джона были задумчивые. Дед вышел из дому, увидел их, заковылял к грузовику и сел на подножку, лицом к ним. Это было ядро семьи. Том, Конни и Ной медленно подошли к этой группе и тоже опустились на корточки, и теперь все они сидели полукругом, центром которого был дед. Потом в дверях показались мать и бабка, а за ними, осторожно ступая, вышла и Роза Сарона. Они заняли места позади сидевших на корточках мужчин; они стали там, подперев бока руками. А дети — Руфь и Уинфилд — прыгали с ноги на ногу позади женщин; дети ковыряли босыми пальцами красную пыль, но их голосов не было слышно. Не хватало только проповедника. Он деликатно удалился за дом. Он был хороший проповедник, он знал свою паству.

Вечерние сумерки мало-помалу становились все мягче; первые минуты члены семьи, сидевшие и стоявшие у грузовика, молчали. Потом отец, обращаясь не к кому-нибудь в отдельности, а ко всем сразу, начал свой отчет:

— Ободрали нас как липку. Скупщик знал, что ждать нам нельзя. Выручили всего восемнадцать долларов.

Мать беспокойно переступила с ноги на ногу, но смолчала.

Ной, старший, спросил:

— Сколько же у нас всего денег?

Отец начал выводить цифры в пыли, бормоча что-то себе под нос.

— Сто пятьдесят четыре,— сказал он.— Но Эл говорит, что надо сменить шины. Говорит, на этих далеко не уедешь.

Эл впервые принимал участие в семейном совете. До сих пор он стоял позади вместе с женщинами. И он тоже солидно начал свой отчет:

— Машина старая. Я ее всю осмотрел, прежде чем покупать. Хозяин мне зубы заговаривал, но я его не слушал. Запустил паль-

цы в дифференциал — опилок нет. Открыл коробку скоростей — тоже нет. Проверил сцепление, проверил скаты, нет ли восьмерки. Подлез под кузов — рама не сломана. Аварий с ней как будто не случалось. Заметил, что один аккумулятор с трещиной — велел заменить целым. Покрышки ни к черту не годятся, но размер ходовой. Такие всегда достанешь. Особенной прыти от нее ждать нечего, но утечки масла нет. Почему я сказал, покупайте эту,— потому что машина самая что ни на есть ходовая. Этих подержанных «гудзонов» сколько угодно продают, и части дешевые. Можно было бы выбрать за те же деньги какую-нибудь побольше да понаряднее, но у них части дорогие и не всегда их найдешь. По-моему, так правильно.— Последняя фраза должна была выражать его покорность семье. Он замолчал, дожидаясь, что скажут другие.

Дед был теперь только номинально главой семьи, власть уже ушла из его рук. Положение, которое занимал дед, было почетно и освящено обычаем. Но право на первое слово, независимо от того, что он мог сболтнуть глупость, все еще оставалось за ним. Поэтому мужчины, сидевшие на корточках, и женщины, стоявшие позади, ждали, что скажет дед.

— Правильно, Эл,— начал он.— Я был такой же щенок, как ты, бегал задрав хвост, но от дела никогда не отвиливал. Ты молодец, Эл.— Заключительная фраза прозвучала как благословение, и Эл чуть покраснел от удовольствия.

Отец сказал:

— Как будто все правильно. Будь это лошадь, мы с Эла не стали бы спрашивать. Но в машинах он только один и разбирается.

Том сказал:

— Я тоже кое-что смыслю. Мне приходилось водить грузовик в Мак-Алестере. Эл правильно сделал. Все как надо.— Этой похвалы было достаточно, чтобы окончательно вогнать Эла в краску. Том продолжал: — Вот еще что... проповедник... просится с нами.— Он замолчал. Его слова были услышаны, но семья приняла их молча.— Он человек не плохой,— добавил Том.— Мы его давно знаем. Иной раз заговаривается, но глупостей от него не услышишь.— И Том предоставил решать этот вопрос семье.

Свет постепенно убывал. Мать отделилась от группы и ушла в дом, и через минуту оттуда донеслось звяканье печной дверцы. Потом она снова вернулась к погруженному в размышления совету.

Дед сказал:

— Тут по-разному можно решить. Говорят, будто проповедники приносят несчастье.

Том сказал:

— Он уже больше не проповедник.

Дед помахал рукой:

— Кто был проповедником, тот проповедником и останется. От этого никуда не уйдешь. Некоторые считают за честь держать при себе проповедника. Кто умрет — он похоронит. Свадьба — особенно если с ней надо поторапливаться — тоже без него не обойдешься. Родится ребенок, надо крестить,— а проповедник под рукой. Я всегда говорил: проповедник проповеднику рознь. К ним с разбором надо подходить. Этот мне нравится. Он простой.

Отец ткнул прутиком в пыль и, посучив его между пальцами, вырыл в пыли ямку.

— Тут не в том дело, хороший он или плохой, принесет он удачу или несчастье. Надо все рассчитать. Невесело это, да что поделаешь. Сейчас посмотрим. Дед и бабка — двое. Я, Джон и мать — пятеро. Ной, Томми и Эл — восемь. Роза и Конни — десять. Руфь и Уинфилд — двенадцать. Еще собаки — ведь их здесь не бросишь. Собаки хорошие, пристрелить рука не поднимется, а отдать некому. Итого четырнадцать.

— Это не считая кур, которые еще остались, и двух свиней,— вставил Ной.

Отец сказал:

— Свиней я хочу засолить на дорогу. Ведь мясо понадобится. Повезем солонину в бочонках. Вот я и не знаю, куда же мы его поместим? И сможем ли мы прокормить лишний рот? — Он спросил, не поворачивая головы: — Как думаешь, ма,— сможем?

Мать откашлялась:

— Не в том дело — сможем или нет. А вот захотим ли? — твердо сказала она.— Смочь мы ничего не сможем. Если полагаться только на это, так нам и в Калифорнию не доехать. А что захотим, то сделаем. И если уж на то пошло, так наши семьи давно живут в здешних местах, и я еще не слышала, чтобы кто-нибудь из Джоудов или Хэзлитов отказывался накормить, приютить или подвезти человека, когда он просит об этом. Джоуды бывали всякие, но таких сквалыг еще не попадалось.

Отец вставил:

— А если места не хватит? — Он взглянул на нее, повернув голову набок, и устыдился собственных слов.

— Места и так не хватает,— ответила мать.— Места есть только на шестерых, а нас двенадцать. Одним больше, одним меньше — не все ли равно? Разве здоровый, сильный мужчина может быть в тягость? И в следующий раз, когда у нас опять будет больше ста долларов да две свиньи, и мы призадумаемся, сможем ли прокормить человека... — Она не договорила, и отец отвернулся от нее, обиженный такой проборкой.

Бабка сказала:

— С проповедником будет хорошо. Он сегодня утром хорошую молитву прочел.

Отец переводил глаза с одного лица на другое, ища признаков раскола, и наконец сказал:

— Позови его, Томми. Если уж он едет с нами, его место здесь.

Том встал и пошел к дому, окликая проповедника:

— Кэйси! Эй, Кэйси!

Из-за дома донесся приглушенный голос. Том зашел за угол и увидел проповедника: он сидел, прислонившись к стене, и смотрел на вечернюю звезду, мерцавшую в светлом небе.

— Ты звал меня? — спросил Кэйси.

— Да. Мы решили: если уж ты едешь с нами, так пойдем туда, поможешь нам все обдумать.

Кэйси поднялся с земли. Он знал, что такое семейный совет, он знал, что его приняли в семью. И положение, которое он сразу занял, было высокое, ибо дядя Джон, подвинувшись, освободил ему место между собой и отцом. Кэйси присел на корточки лицом к деду, восседавшему на подножке грузовика.

Мать снова ушла в дом. Послышалось лязганье железной створки фонаря, и в темной кухне вспыхнул желтоватый свет. Она сняла крышку с большой кастрюли, и из дома потянуло запахом вареного мяса и свекольной ботвы. Все ждали, когда мать выйдет на темный двор, потому что ее голос на семейном совете решал многое.

Отец сказал:

— Надо подумать, когда нам выезжать. Чем скорее, тем лучше. Осталось прирезать свиней, засолить мясо и уложиться. Чем быстрее все это сделаем, тем лучше.

Ной поддержал его:

— Если взяться за дело как следует, так завтра все будет готово. Послезавтра и поедем.

Им возразил дядя Джон:

— Днем, в жару, мясо не остынет. Неподходящее время для убоя. Что с парным мясом будем делать?

— Давайте прирежем сегодня. За ночь все-таки немного остынет. Поужинаем и прирежем. Соль есть?

Мать сказала:

— Да. Соли много. И два хороших бочонка есть.

— Так вот, так и сделаем,— сказал Том.

Дед заерзал на месте, стараясь встать.

— Темнеет,— сказал он.— Есть хочется. Вот приедем в Калифорнию, я там с виноградом не расстанусь, так и буду ходить с

кистью: чуть что — и в рот. Ей-богу! — Он встал, и остальные мужчины тоже поднялись.

Руфь и Уинфилд как одержимые скакали в пыли. Руфь сдавленным голосом прошептала Уинфилду:

— Резать свипей, и в Калифорпию. Резать свиней, п в Калифорнию — все сразу.

И Уинфилд окончательно обезумел. Он приставил палец к горлу, сделал страшное лицо и, слабо вскрикивая, закружился волчком.

— Вот старая свинья. Смотри! Вот старая свинья. Руфь! Смотри, сколько крови! — Он пошатнулся, рухнул на землю и задрыгал руками и ногами.

Но Руфь была постарше, и она чувствовала, что в эти дни творится что-то необычайное.

— В Калифорнию! — снова повторила она. Таких великих событий в жизни у нее еще не было.

Старшие пошли сквозь густые сумерки к освещенной кухне, и мать подала им мясо и свекольную ботву в оловянных тарелках. Но прежде чем приняться за еду самой, она поставила на плиту большую круглую лохань и развела жаркий огонь в топке. Потом принесла несколько ведер воды, налила лохань до краев и поставила вокруг нее еще несколько полных ведер. Кухню заволокло паром. Все наспех поели и вышли за дверь, чтобы посидеть там, пока вода не закипит. Они сидели, глядя в темноту, глядя на падавший на землю светлый квадрат от фонаря, в котором двигалась бесформенная тень деда. Ной старательно ковырял в зубах соломинкой. Мать и Роза Сарона мыли тарелки и ставили их горкой на стол.

И вдруг все, как по команде, принялись за дело. Отец поднялся и зажег второй фонарь. Ной достал из ящика на кухне кривой нож и подточил его на маленьком стертом точильном камне. Потом положил нож и скребок на колоду у дверей. Отец принес две толстых палки, заострил их с обоих концов топором и обвязал посредине крепкой веревкой.

Он ворчал:

— Зря распорки продали, ни одной не осталось.

Вода на плите клокотала, от нее валил пар.

Ной спросил:

— Как сделаем? Туда воду понесем или сюда свиней?

— Сюда свиней,— ответил отец.— Свинья не кипяток, ее не расплещешь, не ошпаришься. Вода закипела?

— Сейчас будет крутой кипяток,— ответила мать.

— Ладно. Ной, Том, Эл, пойдемте в хлев. Я понесу фонарь. Зарежем их там и притащим сюда.

Ной взял нож, Эл — топор, и все четверо пошли к хлеву; фонарь, которым отец освещал дорогу, бросал желтые блики им на ноги. Руфь и Уинфилд побежали вприпрыжку за ними. Пройдя в хлев, отец наклонился над загородкой и поднял фонарь. Разбуженные молодые свиньи завозились, настороженно хрюкая. Дядя Джон и проповедник подошли помочь.

— Ладно,— сказал отец.— Бейте. Подтащим их к дому, там спустим кровь и ошпарим.— Ной и Том перешагнули через загородку. Они сделали свое дело быстро и ловко. Том ударил по разу обухом, а Ной наклонился над повалившимися свиньями, нащупал артерию и, вспоров ее своим кривым ножом, спустил пульсирующую кровь. Потом отчаянно визжащих свиней перетащили через загородку. Проповедник и дядя Джон поволокли за задние ноги одну свинью, Том и Ной — другую. Отец шел за ними с фонарем, и в пыли, пропитавшейся черной кровью, протянулись от хлева две дорожки.

Когда свиней подтащили к дому, Ной отделил ножом сухожилия на задних ногах и вставил распорки; свиные туши повесили на балки, выступавшие из-под навеса крыши. Потом мужчины принесли кипяток и ошпарили черные свиные туши. Ной взрезал их и выпотрошил внутренности прямо на землю. Отец заострил еще две распорки, чтобы как следует провялить убоину, а Том и мать счищали тем временем щетину скребком и тупой стороной ножа. Эл принес ведро, сложил туда внутренности и пошел выкинуть их подальше от дома; за ним с громким мяуканьем побежали две кошки, и собаки тоже кинулись туда, рыча на кошек.

Отец сел в дверях, глядя на освещенные фонарем свиные туши. Щетину всю соскребли, и теперь кровь медленно капала в черную лужу на земле. Отец встал, подошел к подвешенным тушам, потрогал их рукой и снова сел на порог. Бабка и дед отправились спать в сарай, и дед нес фонарь с зажженной свечой. Остальные молча сидели у дома. Конни, Эл и Том прямо в пыли, прислонившись к стене, дядя Джон на ящике, отец на пороге. Только мать и Роза Сарона продолжали убираться на кухне. Руфь и Уинфилд клевали носом, но старались побороть дремоту. Они сонно переругивались в темноте. Ной и проповедник присели рядом на корточки, лицом к дому. Отец беспокойно почесался, снял шляпу и запустил пальцы в волосы.

— Завтра с самого утра засолим свинину, потом надо все погрузить, кроме кроватей, а послезавтра двинемся. Работы всего на каких-нибудь несколько часов,— неуверенно проговорил он.

Том перебил его:

— Вот и будем слоняться весь день, выискивать, что бы такое сделать.— Остальные беспокойно шевельнулись.— Закончить

бы сборы к рассвету да выехать,— заключил Том. Отец потер ладонью колено. И тревога охватила их всех.

Ной сказал:

— Может, мясу ничего не сделается, если его сейчас засолить? Разрежем на куски, так еще скорее остынет.

Дядя Джон первый заговорил напрямик, не выдержав напряжения.

— Чего мы ждем? Поскорее бы покончить со всем этим. Ехать так ехать.

Его поддержали остальные.

— Поедем, что в самом деле? Отоспимся дорогой.— Им уже не сиделось на месте.

Отец сказал:

— Говорят, туда две тысячи миль! Надо выезжать. Ной, давай разрежем туши, а потом будем грузить вещи на машину.

Мать выглянула из-за двери.

— А вдруг забудем что-нибудь, ведь в темноте не видно.

— Рассветет, тогда проверим, все ли взято,— сказал Ной. Несколько минут они сидели молча и думали. Потом Ной встал и начал точить нож на маленьком стертом точиле.— Ма,— сказал он,— убери со стола.— Потом подошел к свиной туше, провел ножом вдоль хребта и стал снимать мясо с ребер.

Отец быстро встал с порога.

— Надо собираться,— сказал он.— Пойдемте, ребята.

Теперь, когда время отъезда было назначено, загорелась спешка. Ной отнес куски свинины на кухню и стал нарезать их квадратами для солки, а мать натирала каждый крупной солью и складывала в бочонок, следя за тем, чтобы куски не прикасались один к другому. Она клала их, точно кирпичи, и засыпала промежутки солью. Пока Ной отсекал боковину и ножки, мать все время поддерживала огонь в плите, когда Ной срезал мясо с ребер, с хребта и ножек, она сунула кости в духовку, чтобы их можно было поглодать потом.

Во дворе и в сарае двигалось пятно света от фонаря — мужчины собирали все, что было решено взять с собой, и складывали это у грузовика. Роза Сарона принесла всю одежду: комбинезоны, башмаки на толстых подошвах, резиновые сапоги, старенькие праздничные костюмы, свитеры и куртки на меху. Она уложила все это в деревянный ящик, стала сверху и примяла ногами. Потом принесла из дому платья и шали, черные бумажные чулки и детские вещи: маленькие комбинезоны и дешевые ситцевые платьица — и, уложив их в ящик, тоже примяла ногами.

Том сходил в сарай и собрал там инструменты, которые было решено взять с собой,— ручную пилу, гаечные ключи, молоток и ящик с набором гвоздей, плоскогубцы, напильник и рашпиль.

Роза Сарона принесла большой кусок брезента и расстелила его на земле позади грузовика. Она еле пролезла в дверь, нагрузившись тремя двуспальными и одним узким матрацем, свалила все это на брезент, потом принесла целую охапку рваных одеял и бросила их на матрацы.

Мать и Ной все еще возились на кухне; из печки тянуло запахом печеных свиных косточек. Детей, засидевшихся допоздна, сморил сон. Уинфилд прикорнул прямо в пыли, у двери, а Руфь, смотревшая, как разделывают свиные туши, так и заснула, сидя на ящике. Прислонившись головой к стене, она дышала легко и ровно, и рот у нее был чуть приоткрыт.

Том вместе с проповедником вошел на кухню, держа фонарь в руке.

— Ух, мать честная! — сказал он.— Вкусно пахнет! А слышишь, как косточки потрескивают?

Мать складывала куски свинины в бочонок, посыпала их солью и сверху и в промежутках и приминала каждый ряд руками. Она посмотрела на Тома и чуть улыбнулась ему, но взгляд у нее был серьезный, усталый.

— На завтрак поглодаем свиные косточки. Вкусно! — сказала она.

Проповедник подошел к ней.

— Дай я буду солить,— сказал он.— У тебя много других дел.

Мать оторвалась от работы и недоверчиво посмотрела на него, будто он предложил что-то несуразное. Соль коркой покрывала ее руки, они были розовые от свежего мясного сока.

— Это женская работа,— наконец ответила она.

— Работа есть работа,— сказал проповедник. —Ее много, зачем считаться, где мужская, где женская. У тебя есть другие дела. Дай, я буду солить.

Она пристально посмотрела на него, а потом налила в оловянный таз воды из ведра и вымыла руки. Проповедник взял кусок свинины и натер его солью. Мать наблюдала за ним. Он стал укладывать куски в бочонок так же, как это делала она сама. Но мать удовлетворилась только тогда, когда проповедник уложил целый ряд, аккуратно засыпал его и примял ладонями. Она вытерла свои вспухшие, разъеденные солью руки.

Том спросил:

— Ма, а что отсюда пойдет?

Мать быстро оглядела кухню.

— Ведра,— сказала она,— вся посуда: тарелки, чашки, ножи,

ложки, вилки. Сложи все в ящик и вынеси его отсюда. Еще пойдет большая сковорода, жаровня, кофейник. Когда духовка остынет, вынешь оттуда решетку. На ней удобно жарить на костре. Хорошо бы взять лохань, да сунуть, наверно, некуда. Придется стирать в ведре. Мелочь брать не стоит. В большом котле все сваришь, а горшочка на нас не хватит. Противни берп все. Они вкладываются один в другой.— Она оглядела кухню еще раз.— Ты все это собери, Том, а об остальном я сама позабочусь. Надо еще захватить коробку с перцем, соль, мускатный орех, терку. Это я напоследок возьму.— Она взяла фонарь и усталыми шагами пошла в спальню, но ее босые ноги ступали по полу бесшумно.

Проповедник сказал:

— Уморилась она.

— Женщине недолго умориться,— сказал Том.— Такая уж у них природа, они только на молениях и расходятся.

— Нет, это не то. Она на самом деле устала, будто заболела от усталости.

Мать, успевшая только переступить порог, слышала его слова. И мускулы на ее усталом лице словно подобрались, морщины исчезли, взгляд стал тверже, плечи расправились. Она обвела взглядом голые стены. Из вещей в комнате осталась только кое-какая рухлядь. Матрацы, еще днем лежавшие на полу, были вынесены. Комод продан. Посреди пола валялась сломанная гребенка, коробочка из-под талька, в углу — пыль. Мать поставила фонарь на пол. Она просунула руку за один из ящиков, заменявших стулья, и вынула оттуда коробку, старую, грязную, потрескавшуюся по углам. Она села на ящик и открыла ее. Там лежали письма, газетные вырезки, фотографии, пара сережек, золотое колечко с печаткой, сплетенная из волос цепочка для часов с золотым кантом. Она потрогала связку писем — потрогала ее кончиками пальцев — и разгладила газетные вырезки с отчетом о процессе Тома. Она долго держала коробку на коленях, и ее пальцы перебрали письма одно за другим и снова сложили их пачкой. Она сидела, закусив нижнюю губу, погруженная в думы, воспоминания. И наконец решилась: вынула из коробки кольцо, цепочку, серьги, засунула руку на самое дно и достала оттуда золотую запонку. Сняла конверт с одного письма, ссыпала туда всю эту мелочь, сложила его пополам и сунула в карман. Потом бережно и с нежностью закрыла коробку и провела по ней пальцами. Губы у нее чуть приоткрылись. Она встала, взяла фонарь и вернулась на кухню. Подняла конфорку на плите и осторожно положила коробку на угли. Картон сразу потемнел от жара. Огонь лизнул его язычком. Мать опустила руку с конфоркой, в печке словно кто-то протяжно охнул, и пламя жарко дохнуло на коробку.

На темном дворе отец и Эл грузили вещи при свете фонаря. Инструменты на самый низ, но так, чтобы сразу можно было достать в случае аварии. На них ящик с одеждой и мешок с кухонной посудой; ножи, вилки и тарелки отдельно, тоже в ящике. Большое ведро привязали сзади. Нижний ряд постарались уложить как можно ровнее и в промежутки между ящиками засунули скатанные одеяла. Сверху положили матрацы и затянули всю поклажу брезентом. Эл прорезал по краям дыры, на расстоянии двух футов одна от другой, и привязал брезент веревками к средним планкам борта.

— Если пойдет дождь,— сказал он,— подвяжем его к верхней планке, пусть лезут внутрь, там не промокнут. Нам в кабине дождь не страшен.

И отец хлопнул в ладоши.

— Вот это хорошо придумано!

— Подожди,— сказал Эл.— Дай срок, найду длинную жердь и подопру ею брезент. Получится вроде палатки, тогда им и жара будет нипочем.

И отец повторил:

— Хорошо придумано! Почему ты раньше об этом не догадался?

— Некогда было,— сказал Эл.

— Некогда? А шляться было время? Черт тебя знает, Эл, где ты пропадал последние две недели!

— Ничего не поделаешь, перед отъездом всегда так бывает,— ответил Эл. И потом спросил, но уже без прежней удали: — Па, а ты рад, что мы уезжаем?

— А? Да ничего, рад... По крайней мере... Здесь нам трудно жилось. Там все будет по-другому — работы вдоволь, места красивые, везде зелень, дома беленькие, куда ни глянь — апельсиновые деревья.

— Что же, там апельсины везде растут?

— Ну, может, и не везде, а все-таки их много.

Небо посерело на утреннем свету. И сборы были закончены: бочонки со свининой стояли наготове, плетушку с курами оставалось только поставить на самый верх. Мать открыла духовку и вынула оттуда зарумянившиеся, хрусткие кости, на которых было еще много мяса. Руфь, не проснувшись как следует, сползла с ящика на пол и опять заснула крепким сном. Но старшие стояли у дверей и, поеживаясь, глодали вкусные свиные кости.

— Пожалуй, пора будить деда и бабку,— сказал Том.— Светает.

Мать сказала:

— Не хочется их поднимать, разбудим перед самым отъездом. Пусть поспят. Руфь и Уинфилд тоже совсем не выспались.

— Отоспятся дорогой,— сказал отец.— Там наверху хорошо, удобно.

Собаки вдруг побежали к дому и остановились, прислушиваясь. Потом с отчаянным лаем скрылись в темноте.

— Что такое? — удивился отец. Но вдали послышался голос, успокаивающий собак. Собаки продолжали лаять, но уже не так свирепо. Шаги приближались, и они увидели подходившего к дому человека. Это был Мьюли Грейвс в надвинутой на самые глаза шляпе.

Мьюли застенчиво подошел к ним.

— С добрым утром,— сказал он.

— А, Мьюли! — Отец помахал рукой со свиным мослом.— Заходи, Мьюли, поешь свининки.

— Нет,— сказал Мьюли.— Я есть не хочу.

— Брось, Мьюли, чего там! — Отец прошел на кухню и, вернувшись, протянул ему несколько ребрышек.

— Я не за тем сюда пожаловал,— сказал Мьюли.— Шел мимо, вспомнил, что вы уезжаете, дай, думаю, зайду, попрощаюсь.

— Скоро двинемся,— сказал отец.— Часом позже — и ты не застал бы нас. Видишь — все уложено.

— Все уложено.— Мьюли посмотрел на грузовик.— Иной раз и мне хочется поехать, разыскать своих.

Мать спросила:

— А они писали тебе из Калифорнии?

— Нет,— ответил он.— Ничего не писали. Правда, я не справлялся. Надо будет как-нибудь зайти на почту.

Отец сказал:

— Эл, разбуди деда с бабкой. Пусть поедят. Скоро выезжать.— И когда Эл зашагал к сараю, отец обратился к Мьюли: — Ну, Мьюли, хочешь с нами? Мы ради тебя потеснимся.

Мьюли откусил мясо с ребра и стал разжевывать его.

— Иной раз мне самому кажется, что можно бы уехать. Да нет, где там,— сказал он.— Я уж себя знаю: сбегу в последнюю минуту и затаюсь, как призрак на погосте.

Ной сказал:

— Ты дождешься, Мьюли Грейвс, помрешь где-нибудь в поле.

— Я сам знаю. Я уж об этом думал. Бывает тоскливо одному, бывает ничего, а то и совсем хорошо. Да не о том речь. Вот если вы повстречаете кого-нибудь из моих,— я за этим и пришел,— если повстречаете их в Калифорнии, скажите, я живу хорошо. Скажите, мне здесь неплохо. Не надо им знать, как я живу. Скажите, вот заработает денег и приедет.

Мать спросила:

— На самом деле приедешь?

— Нет,— тихо ответил Мьюли.— Нет, не приеду. Не могу. Теперь уж никуда отсюда не двинусь. Если б пораньше — уехал. А теперь — нет. Я много что передумал, много что понял. Теперь уж никуда не уеду.

На дворе стало светлее. Огоньки фонарей побледнели. Эл вернулся, ведя под руку с трудом ковыляющего деда.

— Он и не думал спать,— сказал Эл.— Я его за сараем нашел — сидит там один. С ним что-то неладное случилось.

Глаза у деда были тусклые, их злобный огонек исчез без следа.

— Ничего со мной не случилось,— сказал он.— Не поеду, и все тут.

— Не поедешь? — спросил отец.— То есть как так не поедешь? У нас все собрано, все готово. Надо ехать. Здесь оставаться нельзя.

— Кто говорит, чтобы вы оставались? — сказал дед.— Поезжайте. А я с вами не поеду. Я чуть не всю ночь думал. Я здешний, я здесь всю жизнь прожил. И плевать мне на виноград и апельсины, пусть там хоть завались ими. Никуда не поеду. Хорошего здесь мало, но я здешний. Вы поезжайте, а я останусь. Где жил, там и буду жить.

Они столпились вокруг него. Отец сказал:

— Так нельзя, дед. Здесь скоро все запашут тракторами. Кто тебе будет стряпать? Как ты будешь жить? Кто о тебе позаботится? Ведь с голоду умрешь!

Дед закричал:

— Да ну вас всех! Я хоть и старик, а сумею сам о себе позаботиться. Вот Мьюли живет, и ничего. И я так буду жить. Сказал — не поеду, и дело с концом. Берите с собой бабку, а от меня отвяжитесь,— и довольно об этом.

Отец растерянно проговорил:

— Слушай, дед! Ну послушай минутку!

— Ничего не желаю слушать! Я свое сказал.

Том тронул отца за плечо.

— Па, зайдем в комнаты. Я тебе кое-что скажу.— И по дороге к дому крикнул: — Ма, пойди на минутку!

В кухне горел фонарь, на столе стояла полная тарелка свиных костей. Том сказал:

— Слушайте! Я знаю, старик имеет право решать — ехать ему или не ехать, но ведь его одного нельзя оставить.

— Конечно, нельзя,— сказал отец.

— Так вот. Если связать его, взять силой — как бы не покалечить. Да он озлится, сам себя изуродует. Спорить с ним нечего. Хорошо бы его напоить, тогда все уладим. Виски есть?

— Нет,— ответил отец.— Ни капли. И у Джона тоже нет. Он когда не пьет, ничего такого не держит в доме.

Мать сказала:

— Том, у меня осталось полбутылки снотворного, еще с тех пор, как у Уинфилда болели уши. Как, по-твоему, подействует? Уинфилд сразу засыпал.

— Что ж, может быть,— сказал Том.— Давай ее сюда. Во всяком случае, надо попробовать.

— Я выкинула ее на помойку,— сказала мать. Она взяла фонарь, вышла и вскоре вернулась с бутылкой, в которой была налита до половины какая-то темная жидкость.

Том взял у нее лекарство и попробовал его на вкус.

— Не противное,— сказал он.— Налей ему чашку черного кофе покрепче. Сколько же дать — чайную ложку? Нет, лучше две столовых, чтобы наверняка.

Мать открыла плиту, поставила кофейник поближе к углям, налила в него воды и всыпала кофе.

— Придется в банке дать,— сказала она.— Чашки все уложены.

Том и отец вышли во двор.

— Имею я право собой распоряжаться? Кто здесь ел свиные ребра? — бушевал дед.

— Мы ели,— ответил Том.— Мать сейчас нальет тебе кофе и тоже даст поесть.

Дед прошел на кухню, выпил кофе и съел кусок свинины. Все молча стояли во дворе и смотрели на деда в открытую дверь. Они увидели, как он зевнул и покачнулся, потом положил руки на стол, опустил на них голову и заснул.

— Он и так был усталый,— сказал Том.— Не трогайте его раньше времени.

Теперь все было готово. Бабка, вялая и еще не проснувшаяся как следует, спрашивала:

— Что тут у вас делается? Что вы вскочили в такую рань? — Но она оделась и вела себя мирно. Уинфилда и Руфь разбудили; они сидели притихшие и все еще клевали носом. Утренний свет быстро растекался над землей. И перед отъездом суета вдруг стихла. Они стояли посреди двора, и никому не хотелось первому сделать решительный шаг. Теперь, когда пришло время трогаться в путь, им стало страшно не меньше, чем деду. Они видели, как мало-помалу обрисовываются стены сарая, как бледнеют огоньки фонарей, уже не отбрасывающих на землю пятен желтого света. В во-

сточной части неба одна за другой гасли звезды. А они все еще не могли двинуться с места, оцепенев, точно лунатики, и глаза их смотрели вдаль, не замечая того, что было вблизи, и видели сразу всю ширь рассветного неба, всю ширь полей, всю землю до самого горизонта.

Только Мьюли Грейвс беспокойно бродил с места на место, заглядывал сквозь бортовые планки в грузовик, ударял кулаком по запасным баллонам, привязанным сзади. Наконец Мьюли подошел к Тому.

— Перейдешь границу штата? — спросил он.— Нарушишь подписку?

И Том стряхнул с себя оцепенение.

— Фу ты черт! Скоро солнце взойдет,— громко сказал он.— Надо ехать.— И остальные тоже очнулись и зашагали к грузовику.

— Пойдемте,— сказал Том,— принесем деда.

Отец, дядя Джон, Том и Эл вошли на кухню, где, уткнувшись лбом в руки, сложенные на столе, рядом с лужицей пролитого кофе, спал дед. Они взяли его под локти и поставили на ноги, а он ворчал и ругался хриплым голосом, точно пьяный. Во дворе деда подняли и понесли. Том и Эл взобрались на грузовик и, подхватив старика под мышки, осторожно втащили наверх. Эл отвязал брезентовый полог с одного конца, и они накрыли им деда, подставив ящик, чтобы он не чувствовал на себе тяжести брезента.

— Обязательно поставлю жердь,— сказал Эл.— Сегодня же вечером, на первой остановке.

Дед ворчал, не желая просыпаться, и как только его уложили, он снова заснул крепким сном.

Отец сказал:

— Ма, ты и бабка сядете рядом с Элом. Потом будем меняться, а начнем с вас.

Они залезли в кабину, а остальные — Конни и Роза Сарона, отец и дядя Джон, Уинфилд и Руфь, Том и проповедник — взобрались наверх. Ной стоял внизу, глядя, как они устраиваются там на высокой клади.

Эл обошел грузовик, заглядывая под низ, на рессоры.

— Ах черт! — сказал он.— Рессоры совсем просели. Хорошо, что я клинья вогнал.

Ной спросил:

— Па, а собаки?

— Я и забыл про них,— сказал отец. Он пронзительно свистнул, но на его свист прибежала только одна собака. Ной поймал ее и подсадил на грузовик, и она словно окостенела там, испугавшись высоты.— Остальных двух придется бросить,— крикнул

отец.— Мьюли, ты, может, присмотришь за ними? Чтобы с голоду не подохли.

— Ладно,— сказал Мьюли.— От собак я не откажусь. Ладно! Я их возьму.

— И кур тоже бери,— сказал отец.

Эл уселся за руль, нажал кнопку стартера, мотор сделал несколько оборотов, но не завелся... Еще раз... И вот послышался рев шести цилиндров, сзади встало облачко синего дыма.

— До свиданья, Мьюли! — крикнул Эл.

И остальные крикнули хором:

— Прощай, Мьюли!

Эл отпустил ручной тормоз и включил первую скорость. Грузовик дрогнул и тяжело пошел по двору. Вторая скорость. Они медленно одолели небольшой подъем, и машину заволокло красной пылью.

— Ой-ой, ну и нагрузились,— сказал Эл.— Это вам не скоростной пробег.

Мать хотела посмотреть назад, но из-за высокой поклажи ей ничего не было видно. Она выпрямилась и перевела взгляд на уходившую вдаль проселочную дорогу. И в глазах у нее была большая усталость.

Тем, кто сидел наверху, ничто не мешало смотреть назад. Они видели дом, сарай и легкий дымок, все еще поднимающийся из трубы. Видели, как зажигаются окна, принимая на себя красные лучи солнца. Видели Мьюли, который одиноко стоял посреди двора, глядя им вслед. А потом все это ушло за холм. Вдоль дороги потянулись хлопковые поля. И грузовик, медленно пробираясь сквозь пыль к шоссе, пошел на Запад.

ГЛАВА XI

Домишки в полях стояли опустевшие, а если опустели домишки, значит, опустели и поля. Не пустовали только сараи для тракторов, и эти сараи из рифленого железа поблескивали на солнце серебром; там пахло бензином и маслом, там сверкали диски плугов. Тракторы были с фарами, потому что для трактора не существует ни дня, ни ночи, диски режут землю в темноте, режут и днем, сверкая на солнце. Когда лошадь возвращается с поля в стойло, жизнь в стойле не угасает, там слышно дыхание, там тепло, под ногами ее шуршит солома, на зубах похрустывает сено, лошадь поводит ушами, смотрит. В стойло возвращается жизнь, там пахнет ее теплом. Но когда мотор трактора прекращает работу, трактор становится мертвым, как тот металл, из которого он

сделан. Тепло покидает его, как покидает оно труп. Двери из рифленого железа закрываются, и тракторист уезжает домой в город, иной раз миль за двадцать отсюда, и он может не возвращаться недели, месяцы, потому что трактор мертв. Это просто и удобно. Настолько просто, что чудо, которое есть в труде, исчезает; настолько удобно, что и жизнь земли перестает казаться чудом, а если нет чуда — нет и близости к земле, нет родственного понимания земли. И тракторист относится к ней пренебрежительно, точно чужак, которому мало что понятно здесь и ничто не близко. Ибо селитра и фосфаты — это еще не вся земля; и длина хлопкового волокна — это тоже не вся земля. Углерод, соли, вода и кальций не составляют человека. Все это есть в нем, но он нечто большее, гораздо большее, и земля — это гораздо больше, чем химический состав почвы. Человек, который есть нечто гораздо большее, чем химические вещества, входящие в его организм, человек, который ступает по земле, направляет плуг, чтобы не сломать лемех о камень, приподнимает его над кремнистой плешью, садится на грядку, чтобы позавтракать,— этот человек знает землю, которая есть нечто большее, чем химический состав почвы. Но тот, кто ведет мертвый трактор по чужой, нелюбимой земле, тот понимает только химию; он не уважает ни эту землю, ни самого себя. Когда двери из рифленого железа закрываются, он идет домой, но земля и дом — это для него разные понятия.

Двери пустых домов были распахнуты настежь и скрипели петлями на ветру. Оравы мальчишек сбегались из ближних городков покидать камнями в окна, поворошить мусор в поисках сокровищ. А вот нож с обломанным лезвием. Хорошая вещь. Вонища какая — наверно, где-нибудь дохлая крыса. Посмотри, что Уайти написал на стене. Он и в школьной уборной то же самое написал, а учительница заставила его смыть.

Люди уехали днем. Наступил вечер, и кошки вернулись с полей и, мяукая, вспрыгнули на крыльцо. Но там их никто не встретил, и они украдкой шмыгнули в открытую дверь и с громким мяуканьем стали ходить по опустевшим комнатам. А потом кошки убежали в поля и с тех пор стали дикими кошками — охотились на полевых мышей, сусликов, днем спали в канавах. Наступила ночь, и летучие мыши, не смевшие раньше сунуться дальше освещенной двери, влетели в дома и стали кружить по опустевшим комнатам, а через несколько дней они уже забирались на день в угол, где потемнее, складывали крылья, повисали вниз головой, зацепившись за стропила, и в опустевших домах стоял смрад от их помета.

И мыши наводнили опустевшие дома и устроили склады семян по углам, за ящиками, в кухонных шкафах. А вслед за ними на мышиную охоту пришли ласки, и коричневые совы с уханьем то влетали в окна, то вылетали на волю.

Легкий дождь окропил землю. Возле ступенек, там, где раньше расти ей было не положено, зазеленела трава, зеленые былинки прорастали сквозь щели в крыльце. Дома стояли опустевшие, а опустевший дом разрушается быстро. От ржавых гвоздей обшивка пошла трещинами. На полу густым слоем лежала пыль, и на ней виднелись только следы кошек, ласок и мышей.

Однажды ночью ветер сдвинул с места кусок черепицы и швырнул его на землю. В следующий раз ветер пробрался в эту дыру и отодрал еще три куска, а потом сразу целый десяток. Горячее полуденное солнце заглядывало сквозь дырявую крышу и бросало яркий блик на пол. Одичавшие кошки сходились по ночам к дому, но они уже не мяукали у крыльца. Они, точно тени облачка, на миг затуманившего луну, крадучись, шли в комнаты на охоту за мышами. И по ночам, когда в полях гулял ветер, двери домов хлопали и в окнах с разбитыми стеклами полоскались рваные занавески.

ГЛАВА XII

Федеральная дорога № 66 — главная трасса, по которой движутся переселенцы. 66 — это длинное бетонированное шоссе, опоясывающее всю страну, мягко вьющееся на карте от Миссисипи до Бейкерсфилда; оно идет через красные и серые поля, вгрызается в горы, пересекает водораздел, сбегает вниз, в страшную многоцветную пустыню, тянется по ней снова к горам и наконец выходит к пышным калифорнийским долинам.

66 — это путь беглецов, путь тех, кто спасается от пыли и обнищавшей земли, от грохота тракторов и собственного обнищания, от медленного наступления пустыни на север, от сокрушительных ветров, дующих из Техаса, от наводнений, которые не только не обогащают землю, но крадут у нее последние силы. От всего этого люди бегут, и на магистраль № 66 их выносят притоки боковых шоссе, узкие проселки, изрезанные колеями дороги в полях. 66 — это главная трасса, это путь беглецов.

Кларксвилл, и Озарк, и Ван-Бьюрен, и Форт-Смит — это все на шоссе № 66, и тут кончается Арканзас. Дороги сходятся к Оклахома-Сити — 66 из Толса, 270 из Мак-Алестера. 81 идет с юга, из Уичито-Фолс и с севера — из Энида. Эдмонд, Мак-Лауд, Перселл. 66 выходит из Оклахома-Сити. Эль-Рено и Клиптон остаются западнее. Хайдро, Элк-Сити и Тексола, и тут кончается

Оклахома. 66 пересекает техасский выступ. Шэмрок и Мак-Лин, Конуэй и желтый Амарильо, Уилдорадо, и Вега, и Бойз — и тут кончается Техас. Тукемкэри и Санта-Роса, и потом из Санта-Фе вниз, через горный хребет Нью-Мексико до Альбукерка. Потом дальше, к ущельям Рио-Гранде и в Лос-Лунас, и опять на запад по 66 — к Галлопу, и тут проходит граница Нью-Мексико.

Теперь начинаются горы. Холбрук, и Уинслоу, и Флэгстафф среди высоких аризонских гор. Потом широкое плато с волнистой линией холмов. Аш-форк, Кингмен, и опять скалистые отроги гор, куда воду завозят из других мест и торгуют ею. Потом, после зубчатых, иссушенных солнцем аризонских гор, Колорадо с зелеными зарослями тростника по берегам, и тут кончается Аризона. Калифорния совсем близко, по ту сторону реки, и первый калифорнийский городок очень красив. Это Нидлс, он стоит на самом берегу. Но река словно чужестранка в здешних местах. От Нидлса кверху, потом через спаленный солнцем горный хребет, и тут начинается пустыня. 66 бежит по страшной пустыне, где воздух дрожит от зноя, где высокие черные скалы вдали доводят до исступления. Но вот Барстоу, а за ним все та же пустыня; и наконец впереди опять встают горы, красивые горы, и 66 петляет среди них. Потом вдруг узкий проход, и внизу — прекрасная долина, внизу сады, виноградники, маленькие коттеджи, а вдали город. О господи! Приехали! Наконец-то!

Беглецы со всех концов стекались на шоссе № 66, машины шли то в одиночку, то целыми караванами. Они медленно катились по дороге с раннего утра и до позднего вечера, а ночью делали остановку у воды. Из допотопных прохудившихся радиаторов бил пар, тормозные тяги дребезжали. И люди, сидевшие за рулем грузовиков и перегруженных легковых машин, настороженно прислушивались. Сколько же еще до города? Пока едешь от одного до другого, натерпишься страху. Если какая-нибудь поломка... ну что ж, если поломка, остановимся здесь, а Джим пойдет в город, достанет нужную часть и вернется назад... А сколько у нас осталось провизии?

Прислушивайся к мотору. Прислушивайся к колесам. Вслушивайся и ухом и рукой в повороты руля; вслушивайся ладонью в рычаг коробки скоростей; вслушивайся в доски у тебя под ногами. Всеми пятью чувствами вслушивайся в тарахтенье этого примуса на колесах, потому что изменившийся тон, перебои ритма могут значить... лишнюю неделю в пути. Слышишь, стучит? Это клапаны. Это не страшно. Пусть стучат хоть до второго пришествия — не страшно. Но вот этот глухой шум — его не слышишь, его скорей чувствуешь. Неужели где-нибудь не хватает масла? Неуже-

ли расплавился подшипник? Господи, если это подшипник, что мы будем делать? Деньги так и текут.

И как назло, вода в радиаторе прямо бурлит. И ведь не на подъеме. Сейчас посмотрим. А черт! Ремень лопнул у вентилятора! Возьми веревку, привяжи как-нибудь. Хватит — концы я свяжу. Теперь медленно, совсем медленно, пока не доберемся до города. Веревка долго не продержится.

Только бы этот гроб не рассыпался по дороге, довез бы нас до Калифорнии, где растут апельсины. Только бы добраться туда.

А покрышки — протектор совсем износился. Не налети мы на камень, можно было бы выжать еще сто миль. Лишняя сотня миль или спущенная камера — что лучше? Что? Конечно, лишняя сотня миль. Ну, не знаю, это еще неизвестно. Заплаты у нас есть. Может, совсем немножко спустит? А что, если сделать манжету? Еще миль пятьсот выжмем. Поехали; когда лопнет, тогда и лопнет.

Надо бы купить покрышку, да ведь сколько они запрашивают, даже за старую. Оглядывают с головы до ног. Знают, что человеку нельзя задерживаться. Знают, что ждать он не может. И цена ползет вверх.

Не хотите, не надо. Я здесь не здоровье поправляю, а торгую покрышками. Дарить ничего не собираюсь. Ваши дела меня не касаются. Своих забот много.

А далеко до следующего города?

Я вчера насчитал сорок две машины вот с такими же пассажирами. Откуда вы все взялись? Куда вы едете?

Калифорния штат большой.

Не такой уж большой, как тебе кажется. И вся Америка не такая уж большая. Совсем не большая. Мне, тебе, таким, как я, как ты, богатым, бедным, жулику и порядочному человеку — всем вместе нам тесно в одной стране. Голодным и сытым тесно вместе. Ехал бы ты лучше назад.

Мы живем в свободной стране. Человек волен ехать, куда ему вздумается.

Это только ты так считаешь. Слыхал про патрули на калифорнийской границе? Полисмены из Лос-Анджелеса останавливают вот таких прощелыг, велят поворачивать назад. Говорят, кто не может приобрести недвижимость, нам таких не надо. Спрашивают: шоферские права имеешь? А ну покажи. Я их разорвал. Без шоферских прав въезд запрещен.

Мы живем в свободной стране.

Пойди поищи ее, свободу. Мне один говорил: сколько у тебя есть в кармане, на столько у тебя и свободы.

В Калифорнии хорошо платят. Вот в этом листке так и сказано.

Враки! Оттуда бегут — я сам таких видел. Вас надули. Ну что ж, берешь покрышку или нет?

Придется взять, но уж очень это бьет нас по карману. Денег осталось совсем немного.

Я благотворительностью не занимаюсь. Бери.

Что же делать, возьму. Давай посмотрим... Проверь ее. Ах ты сволочь, а говорил, покрышка хорошая! Какая это покрышка, это решето!

Что врешь! Н-да!.. Как же это я не заметил?

Ты, сволочь, все заметил. За рваную покрышку четыре доллара! В морду тебе за это дать!

А ты потише, потише! Говорю, я не видел. Ладно, три пятьдесят.

На-кось выкуси! Как-нибудь доберемся до города.

Думаешь, доберемся с такой покрышкой?

Надо добраться. Я лучше на ободе поеду, только бы эта сволочь не поживилась ни одним моим центом.

А как ты думаешь, для чего он занялся коммерцией? Ведь и вправду, не для того, чтобы поправить здоровье. Такое уж это дело — коммерция. Что с него спросишь? Человек хочет... Видишь, вывеска у дороги? «Обслуживание путешественников. По вторникам сервируется завтрак. Отель Колмадо». А-а, наше вам с кисточкой! Это обслуживание путешественников! Знаешь, мне один рассказывал. Пришел он на собрание, где заседают разные дельцы, и преподнес им всем такую историю: я, говорит, был тогда еще мальчишкой, вот отец как-то вывел телку и говорит мне: отведи к быку, ее надо обслужить. Я отвел. И с тех пор как услышу про обслуживание, так думаю — кто же тут кого?.. У торгашей одна забота: обставить да надуть, а называется это у них по-другому. В том-то все и дело. Укради покрышку — и ты вор, а он хотел украсть твои четыре доллара — и это ничего. Это коммерция.

Дэнни просит воды.

Потерпит. Откуда здесь вода?

Послушай... где это стучит — задний мост?

Не разберешь.

Рама передает подозрительные звуки.

Амортизация к чертовой матери. Останавливаться нельзя. Слышишь — повизгивает? Вот найдем местечко получше, сделаем привал, тогда проверю. Но ведь провизия на исходе, деньги на исходе. А если не на что будет купить бензину, тогда как?

Дэнни просит воды. Малыш хочет пить.

Слышишь, что делается? Это прокладка.

А, дьявол! Лопнула! Камера, покрышка — все к черту! Надо чинить. Не выбрасывай камеру — годится для манжеты. Разрежем ее и будем накладывать на слабые места.

Машины останавливались у обочины дороги — капоты открыты, идет ремонт, латаются камеры. Машины тащились по № 66, точно подраненные животные, выбиваясь из сил, хрипло дыша. Мотор перегрет, тяги ослабли, все части разболтаны, громыхают.

Дэнни просит пить.

Беглецы выезжали на № 66. Бетонированное шоссе блестело на солнце, как зеркало, а воздух дрожал от зноя, и казалось, что впереди на дороге вода.

Дэнни просит пить.

Придется потерпеть малышу. Ему жарко. Скоро заправочная станция. Там *обслуживают*.

На дороге двести пятьдесят тысяч человек. Пятьдесят тысяч старых машин — израненных, с клубами пара над радиатором. Развалины, брошенные хозяевами. А что случилось с ними? Что случилось с людьми, которые ехали вот в этой машине? Пошли пешком? Где они? Откуда берется столько мужества? Откуда берется эта страшная своей силой вера?

А вот послушайте: эта история может показаться неправдоподобной, но в ней нет ни слова лжи, она немножко смешна и в то же время прекрасна. Одну семью, состоявшую из двенадцати человек, согнали с земли. Машины у них не было. Они смастерили прицеп из всякой рухляди и погрузили на него все свои пожитки. Потом подтащили это сооружение к шоссе № 66 и стали ждать. И вскоре их взяла на буксир легковая машина. Пятеро ехали в машине, а семеро в прицепе, и собака тоже в прицепе. Оглянуться не успели — уже Калифорния. Хозяин легковой машины и вез и кормил их. И это все правда. Но откуда берется такое мужество и такая вера в людей — в себе подобных? Не многое на свете может научить такой вере.

Люди бегут от того ужаса, который остался позади, и жизнь обходится с ними странно — иной раз с жестокостью, а иногда так хорошо, что вера в сердцах загорается снова и не угаснет никогда.

ГЛАВА XIII

Допотопный, перегруженный «гудзон», поскрипывая и кряхтя, добрался до федеральной дороги у Саллисо и под слепящим солнцем свернул на запад. Но на бетонированном шоссе Эл увеличил скорость, потому что ослабшим рессорам теперь ничто не грозило.

От Саллисо до Гоура двадцать одна миля, а «гудзон» делал в час тридцать пять. От Гоура до Уорнера тринадцать миль, от Уорнера до Чекоты четырнадцать; потом большой перегон до Генриетты — тридцать четыре мили, но Генриетта настоящий город. От нее до Касла было девятнадцать миль, а солнце стояло прямо над головой, и воздух над красными, накалившимися на солнце полями дрожал от зноя.

Эл вел грузовик сосредоточенно и всем своим существом вслушивался в его ход, то и дело тревожно переводя взгляд с дороги на щиток приборов. Он был одно целое с машиной, его ухо улавливало глухие стуки, визг, покашливанье, дребезг — все то, что грозило поломкой. Эл стал душой грузовика.

Бабка, сидевшая рядом с ним, спала, жалобно хныча во сне, потом вдруг открыла глаза, посмотрела вперед на дорогу и снова погрузилась в сон. А рядом с бабкой сидела мать, и ее рука, согнутая в локте и высунутая в окно кабины, покрывалась красноватым загаром на свирепом солнце. Мать тоже смотрела вперед, но глаза у нее были тусклые, и они не видели ни дороги, ни полей, ни заправочных станций, ни маленьких придорожных баров. Она не смотрела на то, мимо чего проезжал их «гудзон».

Эл поерзал на рваном сиденье и ослабил пальцы, лежавшие на штурвале руля. Он вздохнул.

— Тарахтит здорово, да, я думаю, ничего — не сдаст. А вот если придется брать подъемы с таким грузом, тогда просто и не знаю, что будет. Ма, а холмы нам повстречаются?

Мать медленно повернулась к нему, и взгляд у нее ожил.

— По-моему, должны повстречаться,— ответила она.— Я хоть и не знаю наверное, но как будто говорили, что и холмы есть и горы. Высокие горы.

Бабка протяжно застонала во сне.

Эл сказал:

— На первом же подъеме расплавим подшипники. Надо бы кое-что сбросить. Может, не стоило нам брать этого проповедника?

— Ты еще не раз порадуешься, что мы его взяли,— сказала мать.— Этот проповедник поможет нам.— Она снова перевела глаза на поблескивающую дорогу.

Эл правил одной рукой, другая лежала на вздрагивающем рычаге переключения скоростей. Он хотел сказать что-то и, не решаясь, пошевелил губами, прежде чем выговорить вслух.

— Ма...— Она медленно повернула к нему голову, чуть покачиваясь в такт движения машины.— Ма, а ты не боишься? Тебе не страшно ехать на новое место?

Глаза у нее стали задумчивые и мягкие.

— Немножко страшно,— ответила она.— Только это даже не страх. Я жду. Когда стрясется беда и надо будет что-нибудь делать,— я все сделаю.

— А таких мыслей у тебя нет: вот приедем мы, как там все окажется? Может, гораздо хуже, чем мы думаем?

— Нет,— быстро ответила она.— Нет. Так не годится. Мне нельзя так думать. Это не по силам — будто не одной жизнью живешь, а сразу несколькими. Смолоду кажется, что тебя хватит на тысячу жизней, а на самом-то деле дай бог одну прожить. Мне это не по силам. Ты молодой, ты смотри вперед, а я... у меня сейчас только дорога перед глазами. Да вот еще думаю, скоро ли проголодаются, скоро ли спросят свиных костей.— Лицо у нее словно окаменело.— Хватит с меня. Больше я ничего не могу. А задумаюсь, вам от этого хуже будет. Вы все тем и держитесь, что я о своем деле пекусь.

Бабка громко зевнула, открыла глаза и с оторопелым видом оглянулась по сторонам.

— Мне слезть надо, слава господу,— сказала она.

— Сейчас подъедем к кустикам,— сказал Эл.— Вон уж недалеко.

— Какие там кустики. Говорю, мне надо слезть.— И она захныкала.— Слезть хочу, слезть.

Эл прибавил газу и, подъехав к низкому кустарнику, резко затормозил. Мать открыла дверцу, помогла беспомощно засуетившейся старухе вылезти из машины и провела ее за куст. И когда бабка присела на корточки, мать стала рядом, поддерживая ее, чтобы она не упала.

Наверху тоже зашевелились. Лица у них были красные, обожженные солнцем, от которого некуда было спрятаться. Том, Кэйси, Ной и дядя Джон с трудом спрыгнули вниз. Руфь и Уинфилд перелезли через борта и кинулись в кусты. Конни осторожно снял с машины Розу Сарона. Дед проснулся и высунул голову из-под брезента, но глаза у него были пьяные, слезящиеся, взгляд все еще бессмысленный. Он смотрел по сторонам, вряд ли узнавая окружающих.

Том крикнул ему:

— Дед, хочешь слезть?

Старческие глаза равнодушно остановились на его лице.

— Нет,— сказал он. На миг в этих глазах вспыхнула злоба.— Говорю, не поеду. Останусь, как Мьюли.— И он снова потерял всякий интерес к происходящему. Мать помогла бабке одолеть дорожную насыпь и подвела ее к грузовику.

— Том,— сказала она.— Под брезентом, в самом заду, сковорода с костями. Достань ее. Надо закусить.— Том достал сковороду и обнес всех по очереди. И семья, стоя у дороги, принялась обкусывать с костей поджаристое мясо.

— Хорошо, что хоть это с собой взяли,— сказал отец.— У меня ноги как деревянные, ступить трудно. А где вода?

— Разве не у вас там? — спросила мать.— Я целый кувшин налила.

Отец стал на нижнюю планку и заглянул под брезент.

— Здесь нет. Должно быть, забыли.

Всех немедленно обуяла жажда. Уинфилд захныкал:

— Пить хочу. Я хочу пить.

Мужчины облизнули губы, почувствовав вдруг, что им тоже захотелось пить. Всем стало не по себе.

Эл сказал, чтобы как-то рассеять тревогу:

— Воду достанем на первой же станции. Кстати и горючее надо пополнить.

Верхние пассажиры взобрались по бортам на свои места; мать помогла бабке влезть в кабину и села рядом с ней. Эл включил зажигание, и машина тронулась.

Двадцать пять миль от Касла до Падена, а солнце уже клонилось к западу. Пробка радиатора начинала подскакивать, из-под нее струйками выбивался пар. Не доезжая нескольких миль до Падена, остановились у заправочной станции с двумя бензиновыми колонками; перед изгородью был водопроводный кран с длинным шлангом. Эл подвел туда грузовик. Со стула позади колонок поднялся толстяк с красным от загара лицом и такими же красными руками и пошел к ним навстречу. На нем были вельветовые брюки, рубашка с короткими рукавами, поверх нее помочи; на голове — серебристого цвета картонный шлем, защищающий от солнца. Пот мелким бисером выступал у него на носу и под глазами и стекал по складкам шеи. Он шел, воинственно и строго поглядывая на грузовик.

— Хотите купить что-нибудь? Бензин, части?

Эл уже вылез из кабины и кончиками пальцев отвинчивал пробку радиатора, то и дело отдергивая руку, чтобы не обжечься паром.

— Мы возьмем бензину, мистер.

— Платить есть чем?

— А как же. Вы что думаете, мы попрошайничаем?

Толстяк сразу смягчился.

— Ну, тогда все в порядке. Наливайте воду.— И поспешил объяснить: — Сейчас столько всякого народу проезжает,— остановятся, нальют воды, напачкают в уборной да еще украдут что-

нибудь, а купить ничего не купят. Не на что — денег нет. Клянчат, дай им хоть галлон бензина, чтобы с места сдвинуться.

Том, рассерженный, спрыгнул на землю и подошел к толстяку.

— Мы на даровщинку не рассчитываем,— злобно сказал он.— Ты что это нас обнюхиваешь? Мы у тебя клянчить не собираемся.

— Да нет, я ничего,— заторопился толстяк. Рубашка у него взмокла от пота.— Наливайте воду, а если уборная понадобится, вон она.

Уинфилд схватил шланг. Он сделал несколько глотков, потом подставил под струю голову и лицо и отскочил в сторону весь мокрый.

— Совсем теплая,— сказал он.

— Что у нас в стране делается, просто не знаю,— продолжал толстяк. Он уже нашел другую тему для жалоб и оставил Джоудов в покое.— Каждый день проходит машин пятьдесят — шестьдесят, народ подается на Запад, с ребятишками едут, со всем своим скарбом. И куда их несет? Что они там будут делать?

— Туда же, куда и нас,— сказал Том.— Едут на новые места. Ведь где-то надо жить. Вот и все.

— Не знаю, что у нас в стране делается, просто не знаю. Вот я стараюсь держаться кое-как. А думаешь, большие новые машины здесь останавливаются? Держи карман шире! Они идут дальше, в город, к желтым заправочным станциям, которые все принадлежат одной компании. Хорошим машинам у таких лачуг, как моя, делать нечего. Сюда подъезжает большей частью безденежная публика.

Эл отвинтил пробку, и струя пара поддала ее кверху, а в радиаторе послышалось негромкое бульканье. Истомившаяся собака робко подползла к самому борту машины и заскулила, глядя вниз на воду. Дядя Джон стал на нижнюю планку и снял ее оттуда за шиворот. Собака сделала задеревеневшими ногами несколько неуверенных шагов, потом подбежала к водопроводному крану и стала лакать из лужи. По шоссе, поблескивая на слепящем солнце, вихрем проносились машины, и поднятый ими горячий ветер долетал до заправочной станции. Эл налил воды в радиатор.

— Будто мне непременно подавай богатых клиентов! — продолжал толстяк.— Я всякому рад. Но те, что заезжают, горючее либо клянчат, либо выменивают. Хотите, покажу, сколько у меня накопилось всякого хлама? Все выменял на бензин и на масло. Кровати, детские коляски, кастрюли, сковороды. Одно семейство дало куклу за галлон бензина. А что я со всем этим буду

делать, лавочку, что ли, открывать, торговать старьем? Один за галлон бензина башмаки с себя снимал. Да стоит захотеть, и не то получишь, только я...— Он не договорил, взглянув на мать.

Джим Кэйси смочил себе волосы, и по его высокому лбу все еще бежали капельки воды, его жилистая шея была мокрая, рубашка мокрая. Он подошел и стал рядом с Томом.

— Люди не виноваты,— сказал он.— Тебе самому было бы приятно выменять собственную кровать на бензин?

— Я знаю, что не виноваты. С кем ни поговоришь, зря с места никто не снимается. Но что такое происходит у нас в стране? Я вот о чем спрашиваю. Что происходит? Сейчас, как ни старайся, себя не прокормишь. Земля людей тоже не кормит. Я вас спрашиваю, что такое происходит? Ничего не понимаю. И кого ни спросишь, никто ничего не понимает. Человек готов башмаки с себя снять, лишь бы проехать еще сотню миль. Ничего не понимаю! — Он снял свой серебристый шлем и вытер лоб ладонью. И Том снял кепку и вытер ею лоб, потом подошел к водопроводу, намочил кепку, отжал ее и снова надел. Мать просунула руку между планками борта, вытащила оловянную кружку и сходила за водой — напоить бабку и деда. Она стала на нижнюю планку и протянула кружку сначала деду, но он только пригубил и замотал головой — и не стал больше пить. Старческие глаза смотрели на мать с мучительной растерянностью и не сразу узнали ее.

Эл включил мотор и, дав задний ход, подъехал к бензиновой колонке.

— Наливай. В него идет около семи галлонов,— сказал Эл.— Да больше шести не надо, а то будет плескать.

Толстяк вставил в отверстие бака резиновый шланг.

— Да, сэр,— сказал он.— Куда наша страна катится, просто не знаю. Безработица, пособия эти...

Кэйси сказал:

— Я много мест исходил. Все так спрашивают. Куда мы катимся? А по-моему, никуда. Катимся и катимся. Остановиться не можем. Почему бы людям не подумать над этим как следует? Сколько народу сдвинулось с места! Едут, едут. Мы знаем, почему они едут и как едут. Приходится ехать. Так всегда бывает, когда люди ищут лучшего. А сидя на месте, ничего не добьешься. Люди тянутся к лучшей жизни, ищут ее — и найдут. Обида многое может сделать, обиженный человек — горячий, он за свои права готов биться. Я много мест исходил, мне часто доводилось слышать такие слова.

Толстяк качал бензин, и стрелка на счетчике вздрагивала, показывая количество отпущенных галлонов.

— Куда же мы все-таки катимся? Вот я что хочу знать.

Том сердито перебил его:

— И никогда не узнаешь. Кэйси тебе втолковывает, а ты твердишь свое. Я таких не первый раз встречаю. Ничего вы знать не хотите. Заладят и тянут одну и ту же песенку. «Куда мы катимся?» Тебе и знать-то не хочется. Люди снялись с мест, едут куда-то. А сколько их мрет кругом? Может, и ты скоро умрешь, а ничего толком не узнаешь. Много мне таких попадалось. Ничего вы знать не хотите. Убаюкиваете себя песенкой: «Куда мы катимся?» — Он посмотрел на бензиновую колонку, старую, ржавую, и на лачугу позади, сколоченную из ветхих досок с дырками от прежних гвоздей, видневшимися сквозь желтую краску — отважную желтую краску, которая старалась изо всех сил подражать желтым заправочным станциям в городе. Краска не могла скрыть ни эти дыры, ни трещины, а красить лачугу заново уже не придется. Подделка не удалась, и хозяин прекрасно знал это. И в открытую дверь лачуги Том увидел жестянки с маслом — всего две — и лоток с залежалыми конфетами и потемневшими от времени лакричными леденцами и пачками сигарет. Он увидел поломанный стул и ржавую сетку от мух с дырой посредине. И грязный дворик, который следовало бы посыпать гравием, а позади — кукурузное поле, сохнущее, умирающее под солнцем. Возле лачуги — горка подержанных и подновленных шин. И он только сейчас обратил внимание на дешевые, застиранные брюки толстяка, на его дешевую рубашку и картонный шлем. Он сказал: — Я не хотел вас обидеть, мистер. Это все жара. У вас тоже хозяйство не богатое. Скоро и вы очутитесь на дороге. Только выгонят вас не тракторы, а те нарядные желтые станции в городе. Люди снимаются с мест,— сконфуженно добавил он.— И вы скоро тоже двинетесь вслед за другими.

Рука, качавшая насос, ходила все медленнее и медленнее и наконец остановилась. Толстяк с тревогой смотрел на Тома.

— Откуда ты знаешь? — растерянно спросил он.— Откуда ты знаешь, что мы уже поговариваем об этом — хотим собрать все пожитки и податься на Запад?

Ему ответил Кэйси.

— Так все делают,— сказал он.— Я все силы отдал на борьбу с дьяволом, потому что в дьяволе мне чудился самый страшный враг. А сейчас нашей страной завладел враг посильнее, и он не отступится до тех пор, пока его не изрубят на куски. Видал, как ящерица хила держит добычу? Вцепится — разрубишь ее пополам, а она челюстей не разжимает. Отрубишь голову — все еще держит. Приходится орудовать стамеской: раскроишь череп — тогда отпустит. А пока держит, яд просачивается в ранку капля за каплей.— Он замолчал и взглянул искоса на Тома.

«Гроздья гнева»

Толстяк с растерянным видом уставился куда-то вдаль. Его рука медленно качала насос.

— Куда мы катимся, просто ума не приложу,— тихо проговорил он.

Конни и Роза Сарона стояли у водопроводного крана и таинственно переговаривались друг с другом. Конни сполоснул оловянную кружку и, прежде чем налить в нее воды, попробовал струю пальцем. Роза Сарона смотрела на машины, пролетавшие по шоссе. Конни протянул ей кружку.

— Хоть и теплая, а все-таки вода,— сказал он.

Она взглянула на него и улыбнулась таинственной улыбкой. С тех пор как Роза Сарона забеременела, таинственность сопутствовала каждому ее движению — таинственность и недомолвки, полные для них обоих какого-то особого смысла. Роза Сарона была очень довольна собой и привередничала по пустякам. Она требовала от Конни тысячи ненужных услуг, и они оба знали, что без этих услуг можно прекрасно обойтись. Конни тоже был доволен Розой Сарона и все еще дивился ее беременности. Он был причастен ко всем ее тайнам, и это льстило ему. Когда она хитро улыбалась, он отвечал ей такой же хитрой улыбкой, и они перешептывались между собой. Мир сомкнулся вокруг них тесным кольцом, и они были его центром, вернее — Роза Сарона была центром, а Конни вращался вокруг нее по маленькой орбите. Все, о чем они говорили, было окутано таинственностью.

Роза Сарона отвела глаза от шоссе.

— Я пить не хочу,— жеманно сказала она.— Но, может быть, мне *надо* пить?

И Конни утвердительно кивнул,— он понял, что под этим подразумевалось. Роза Сарона взяла у него кружку, прополоскала рот, сплюнула и выпила тепловатой воды.

— Хочешь еще? — спросил он.

— Половинку.— И Конни налил кружку только до половины и подал ей. Линкольновский «зефир» — серебристый, низкий — вихрем промчался по шоссе. Роза Сарона оглянулась и, убедившись, что остальные члены семьи стоят далеко, у грузовика, сказала: — А хорошо было бы нам с тобой такую машину?

Конни вздохнул:

— Потом... может быть.— И они оба поняли, что под этим подразумевалось.— Если будем хорошо зарабатывать в Калифорнии, купим машину. Но эти,— он показал на исчезающий вдали «зефир»,— эти стоят не меньше, чем дом. Я бы все-таки выбрал дом.

— А я бы хотела и дом, и такую машину,— сказала она.— Но дом, конечно, нужнее, ведь...— И они оба поняли, что под

этим подразумевалось. Они все еще никак не могли свыкнуться с ее беременностью.

— Как ты себя чувствуешь — ничего? — спросил Конни.

— Устала. Трудно ехать по такой жаре.

— Что ж поделаешь? Иначе не доберемся до Калифорнии.

— Я знаю,— сказала она.

Собака, принюхиваясь, обогнула грузовик, опять подбежала к луже под краном и стала лакать мутную воду. Потом отошла в сторону, опустила нос к земле, повесила уши. Она обнюхивала пыльную траву вдоль дороги и, очутившись наконец на самом шоссе, подняла голову. Роза Сарона пронзительно вскрикнула. Огромная машина, взвизгнув шинами, пронеслась мимо. Собака шарахнулась назад и очутилась под колесами, не успев даже тявкнуть. В заднем окне машины появились лица, она сбавила ходу, потом перешла на прежнюю скорость и быстро скрылась вдали. А собака с вывалившимися наружу внутренностями лежала в луже крови посреди шоссе, слабо подергивая ногами.

Роза Сарона смотрела на нее, широко открыв глаза.

— Мне это не повредит? — проговорила она.— Как ты думаешь, мне это не повредит?

Конни обнял ее.

— Пойди сядь,— сказал он.— Ничего с тобой не будет.

— Я закричала и почувствовала, будто у меня там что-то оборвалось.

— Пойди сядь. Ничего с тобой не будет. Не бойся.— Он подвел ее к грузовику, подальше от издыхающей собаки, и усадил на подножку.

Том и дядя Джон вышли на шоссе. Искалеченное тело чуть подергивалось. Том взял собаку за задние лапы и оттащил к кювету. Дядя Джон стоял растерянный, точно это случилось по его вине.

— Мне бы надо привязать ее,— сказал он.

Отец посмотрел на собаку и отвернулся.

— Поехали дальше,— сказал он.— Все равно мы бы ее не прокормили. Может, это к лучшему.

Из-за грузовика появился толстяк.

— Вот жалость-то,— сказал он.— У автострады собачья жизнь короткая. У меня за год трех задавило. Я их больше не держу.— И добавил: — Вы не беспокойтесь. Я оттащу ее в поле и там закопаю.

Мать подошла к Розе Сарона, которая все еще дрожала от испуга, сидя на подножке грузовика.

— Ты что, Роза? — спросила она.— Тебе нехорошо?

— Я все видела. Испугалась очень.

— Я слышала, как ты закричала,— сказала мать.— Ну, теперь уж пора успокоиться.

— Ты думаешь, мне это не повредит?

— Нет,— ответила мать.— Если будешь кукситься, да ступать на цыпочках, да нянчиться сама с собой, вот тогда будет плохо. А сейчас вставай, пойдем усаживать бабку. И брось ты думать о своем ребенке. Он сам о себе позаботится.

— А где бабка? — спросила Роза Сарона.

— Не знаю. Где-нибудь здесь. Может, в отхожем месте.

Роза Сарона пошла к уборной и вскоре вернулась, ведя бабку.

— Она там задремала,— сказала Роза.

Бабка улыбалась:

— Там славно. Унитаз и вода сверху льется.— И добавила: — Мне очень понравилось. Я бы там заснула, да вот разбудили.

— В таких местах не годится спать,— сказала Роза Сарона и помогла бабке залезть в кабину. Бабка, довольная, опустилась на сиденье.— Годится — не годится, а все-таки хорошо,— ответила она.

Том сказал:

— Поехали. Путь у нас долгий.

Отец пронзительно свистнул.

— Вот теперь ребята запропали.— Он свистнул еще раз, сунув два пальца в рот.

И ребята тут же появились на его зов. Они бежали с поля — впереди Руфь, за ней Уинфилд.

— Яички! — крикнула Руфь.— Я нашла яички! Скорлупка совсем мягкая! — Она подбежала к грузовику, Уинфилд не отставал от нее.— Смотрите! — На грязной ладошке лежало несколько светло-серых хрупких яичек. И как только она протянула руку, на глаза ей попалась лежавшая у края дороги дохлая собака.

— Ой! — вскрикнула она и вместе с Уинфилдом медленно подошла к ней. Они стали рассматривать ее.

Отец позвал их:

— Ну, живо, не то без вас уедем.

Они молча повернулись и пошли к грузовику. Руфь взглянула еще раз на серые яички, бросила их и вслед за братом взобралась по борту на грузовик.

— У нее еще глаза открытые,— прошептала она.

Но Уинфилд решил покрасоваться. Он храбро сказал:

— Все кишки наружу так и вывалились...— помолчал немного.— Все кишки — наружу...— и вдруг, быстро перевернувшись на живот, лег у самого борта. Его стошнило. Он поднял голову, в

глазах у него стояли слезы, из носу текло.— Когда свиней режут, это совсем по-другому,— пояснил он.

Эл стоял у поднятого капота и проверял уровень масла в моторе. Он достал из кабины жестянку вместимостью в галлон, подлил в картер масла и снова смерил уровень.

Том подошел к нему.

— Хочешь, теперь я поведу?

— Я не устал,— ответил Эл.

— Ты же всю ночь глаз не сомкнул. Я хоть немного поспал утром. Залезай наверх, а я поведу.

— Ладно,— нехотя согласился Эл.— Только следи за маслом. И не гони. Как бы еще замыкания не было. Поглядывай на амперметр. Если показывает ноль, значит, замыкание. И не гони, Том. Ведь нагрузились-то как.

Том засмеялся.

— Ладно, ладно,— сказал он.— Можешь спать спокойно.

Верхние пассажиры заняли свои места. Мать опять устроилась рядом с бабкой в кабине. Том сел за руль и включил зажигание.

— Н-да,— сказал он, дал полную скорость и выехал на шоссе.

Мотор гудел ровно, солнце, светившее Тому прямо в лицо, клонилось к западу. Бабка спала, и даже мать вздремнула, опустив голову на грудь. Том надвинул кепку пониже, чтобы защитить глаза от слепящих лучей.

От Падена до Микера — тринадцать миль; от Микера до Хара — четырнадцать, а потом большой город — Оклахома-Сити. Том вел машину через центр. Мать проснулась и стала смотреть на улицы, по которым они проезжали. И те, кто сидел наверху, тоже глядели во все глаза на магазины, на высокие дома, на здания деловых кварталов. А потом дома пошли поменьше, и магазины пошли меньше. Потянулись дворы с автомобильным ломом, закусочные, торгующие сосисками, загородные дансинги.

Руфь и Уинфилд смотрели на все это, и их поражало — какой город большой, как здесь все странно и сколько на улицах красиво одетых людей! Они сидели испуганные, не обмениваясь друг с другом ни единым словом. Потом они наговорятся, а сейчас лучше помолчать. Нефтяные вышки и в городе и на окраинах. Нефтяные вышки были темные, пахло нефтью, бензином. Но Руфь и Уинфилд не разражались криками восторга, они молчали. Все это было такое огромное, такое необычное, что их пробирал страх.

На одной из улиц Роза Сарона увидела человека в светлом костюме. На нем были белые башмаки и жесткая соломенная

шляпа. Роза Сарона подтолкнула Конни и показала ему глазами на этого человека, и они начали пересмеиваться между собой, сначала тихо, а потом все громче и громче. Они зажимали себе рот ладонью, не в силах удержаться от смеха. Это им так понравилось, что они стали выискивать, над кем бы посмеяться еще. Глядя на них, Руфь и Уинфилд тоже начали хихикать, но скоро замолчали, потому что им было не смешно. А Конни и Роза Сарона сидели красные и еле переводили дух, стараясь удержаться от хохота. Под конец стоило им только взглянуть друг на друга, и они опять прыскали.

Пригород раскинулся широко. Том осторожно вел грузовик сквозь потоки машин и пешеходов и наконец выехал на великий западный путь — шоссе № 66, к которому медленно клонилось солнце. Ветровое стекло запорошило пылью. Том надвинул кепку еще ниже, и теперь ему приходилось задирать голову, чтобы смотреть на дорогу. Бабка спала, хотя солнце било ей прямо в закрытые веки; на висках у нее голубели жилки; тонкая сетка вен, покрывавшая щеки, была красная, как вино, а застарелые коричневые пятна на лице потемнели.

Том сказал:

— По этой дороге так до самого конца и поедем.

Мать долго молчала.

— Может, подыщем место для остановки, пока солнце еще не зашло,— сказала она наконец.— Надо сварить свинину, спечь хлеб. На это уйдет много времени.

— Что ж, ладно,— согласился Том.— Нас никто не гонит. Поразмяться тоже не мешает.

От Оклахома-Сити до Бетени четырнадцать миль.

Том сказал:

— В самом деле, пока солнце не зашло, надо остановиться. Эл собирался пристроить навес. Не то они там наверху совсем изжарятся.

Мать опять задремала. Но, услышав его слова, она вскинула голову.

— Надо приготовить ужин.— И добавила: — Том, отец говорил, что тебе нельзя в другой штат...

Он долго не отвечал ей.

— Да? Ну и что же?

— Я боюсь. Выходит, будто ты сбежал. Как бы тебя не поймали.

Том поднял руку к глазам, заслоняясь от заходящего солнца.

— А ты не беспокойся, ма,— сказал он.— Таких, как я, много ходит, а в тюрьму садится еще больше. Если проштрафлюсь там, на Западе, тогда затребуют из Вашингтона мой снимок и

отпечатки. Пошлют назад в тюрьму. А если никаких провинностей за мной не будет, так им наплевать на меня.

— А я все-таки боюсь. Иной раз сделаешь что-нибудь, а оказывается — это против закона. Может, в Калифорнии многое такое считается преступлением, о чем мы даже не знаем. Скажем, ты хочешь что-нибудь сделать, думаешь — ничего плохого тут нет, а в Калифорнии это преступление.

— Тогда все равно, что с подпиской, что без подписки,— сказал Том.— Правда, таким, как я, попадает сильнее, чем другим. Но ты брось беспокоиться. У нас и без того много забот, зачем еще придумывать лишние.

— Как же мне не беспокоиться,— сказала мать.— Перешел границу — вот тебе и преступление.

— Все лучше, чем слоняться около Саллисо да подыхать с голоду,— сказал Том.— Давай-ка подыскивать место для ночевки.

Они проехали Бетени из конца в конец. За городом, в том месте, где под насыпью проходила дренажная труба, стояла старая легковая машина, а возле нее была разбита небольшая палатка, над которой вился дымок из продетой сквозь брезент трубы. Том показал на палатку.

— Вон там кто-то остановился. Место как будто подходящее.

Он сбавил газу и затормозил. Капот старенькой машины был открыт, ее хозяин — пожилой человек — разглядывал мотор. На нем была дешевая соломенная шляпа с широкими полями, синяя рубашка и черный, в крапинку, жилет; замасленные, заскорузлые брюки поблескивали и торчали колом. Глубокие морщины на щеках только сильнее подчеркивали скулы и подбородок на этом худом лице. Он посмотрел на грузовик Джоудов; взгляд у него был озабоченный и сердитый.

Том высунулся из кабины.

— Тут останавливаться на ночь не запрещается?

До сих пор человек видел только грузовик. Теперь его взгляд перешел на Тома.

— Не знаю,— сказал он.— Мы остановились, потому что машина не идет.

— А вода здесь есть?

Человек показал на заправочную станцию, видневшуюся впереди на дороге.

— Вон там вода. Ведро налить позволят.

Том колебался.

— А ничего, если мы тоже здесь остановимся?

Человек удивленно посмотрел на него.

— Я тут не хозяин,— сказал он.— Мы только потому остановились, что вот эта старая калоша не желает идти дальше.

Том на этом не успокоился:

— Все-таки вы уже здесь, а мы только приехали. Ваше право решать — помешают вам соседи или нет.

Призыв к радушию возымел немедленное действие. Худое лицо человека осветилось улыбкой.

— Да что там! Ставьте машину вот сюда. Очень будем рады.— И он крикнул: — Сэйри! Тут люди приехали. Выходи поздоровайся. Сэйри у меня болеет,— добавил он.

Полы брезентовой палатки распахнулись, и оттуда вышла худая, как скелет, женщина. Лицо у нее было сморщенное, точно увядший лист, и на нем горели черные глаза, в которых сквозил глубокий, затаенный страх. Ее всю трясло. Она стояла, держась за откинутую полу, и рука ее была похожа на руку мумии, обтянутую иссохшей кожей.

Она заговорила низким, удивительно мягким и певучим голосом:

— Скажи им: мы очень рады. Скажи им: добро пожаловать.

Том съехал с дороги и поставил свой «гудзон» рядом с легковой машиной. Пассажиры, как горох, посыпались с грузовика вниз; Руфь и Уинфилд, второпях спрыгнув на землю, подняли визг — затекшие ноги покалывало мурашками. Мать сразу принялась за дело. Она отвязала большое ведро, подвешенное к грузовику сзади, и подошла с ним ко все еще повизгивающим детям.

— Ступайте за водой — вон туда. Попросите повежливее: «Нельзя ли нам налить ведро воды?» — и не забудьте поблагодарить. Назад понесете вдвоем, только так, чтобы не расплескать. А если попадется хворост, захватите с собой.

Дети, притопывая ногами, пошли к заправочной станции.

В группе у палатки смущенно молчали, разговор завязался не сразу. Отец начал первый:

— Вы, наверно, не из Оклахомы?

Эл, стоявший рядом с машиной, посмотрел на номерной знак.

— Канзас,— сказал он.

Худощавый человек пояснил:

— Мы из-под Галены. Уилсон, Айви Уилсон.

— А мы Джоуды,— сказал отец.— Мы жили около Саллисо.

— Что ж, будем знакомы, для нас это большая честь,— сказал Айви Уилсон,— Сэйри, это Джоуды.

— Я сразу догадался, что вы не оклахомцы. У вас выговор какой-то странный,— это я не в обиду вам, а просто так.

— Говорят все по-разному,— сказал Айви.— Арканзасцы по-своему, оклахомцы по-своему. А раз мы повстречались с одной

женщиной из Массачусетса, так она совсем чудно говорила. Еле-еле ее поняли.

Ной, дядя Джон и проповедник начали разгружать машину. Они помогли слезть деду и усадили его на землю. Он сидел сгорбившись и смотрел в одну точку.

— Ты что, дед, захворал? — спросил Ной.

— Совсем расхворался,— еле слышно ответил дед.— Никуда не гожусь.

Ступая медленно, осторожно, к нему подошла Сэйри Уилсон.

— А может, вам лучше пройти в палатку? — спросила она.— Полежите там на матраце, отдохнете.

Он поднял голову, услышав ее мягкий голос.

— Пойдемте,— говорила она.— Вам надо отдохнуть. Мы доведем вас.

Дед вдруг расплакался. Подбородок у него дрожал, губы дергались, он прерывисто всхлипывал. Мать кинулась к нему и обняла его за плечи. Она помогла ему встать, напрягая свою широкую спину, и почти волоком потащила его к палатке.

Дядя Джон сказал:

— Видно, на самом деле расхворался. С ним раньше этого не бывало. В жизни не видел, чтобы наш дед вдруг слезу пустил.— Он залез на грузовик и сбросил оттуда матрац.

Мать вышла из палатки и подошла к Кэйси.

— Тебе приходилось ухаживать за больными,— сказала она.— Дед заболел. Пойди взгляни на него.

Кэйси быстро зашагал к палатке и, откинув полы, прошел внутрь. Прямо на земле лежал двуспальный матрац, аккуратно застеленный одеялом, в маленькой железной печке горел слабый огонь. Ведро воды, деревянный ящик с провизией, еще один ящик, заменяющий стол,— и все. Заходящее солнце просвечивало розовым сквозь стены палатки. Сэйри Уилсон стояла на коленях рядом с матрацем, на котором, вытянувшись, лежал дед. Глаза у него были широко открыты и смотрели вверх, на щеках выступила краснота. Он тяжело дышал.

Кэйси взял его костлявую руку.

— Устал, дед? — спросил он.

Широко открытые глаза покосились на голос и не нашли того, кто говорил. Губы шевельнулись, беззвучно складывая какие-то слова. Кэйси пощупал деду пульс, отпустил его руку и потрогал ему лоб ладонью. Тело старика не сдавалось, в нем шла борьба — ноги беспокойно двигались, руки шарили по одеялу. С губ срывалось невнятное бормотанье, кожа под белой щетиной пошла пятнами.

Сэйри Уилсон тихо спросила Кэйси:

— Ты знаешь, что с ним?

Он посмотрел на ее морщинистое лицо и горящие глаза.

— А ты?

— Кажется, знаю.

— Что? — спросил Кэйси.

— Может, я ошибаюсь. Не хочется зря говорить.

Кэйси перевел глаза на подергивающееся красное лицо старика.

— Ты думаешь... у него удар?

— Да,— сказала Сэйри.— Мне уже приходилось это видеть. Три раза.

За стенками палатки шла работа — рубили хворост, гремели посудой. Мать подняла полу и заглянула внутрь.

— Бабка хочет зайти. Можно?

Проповедник сказал:

— Не пустишь, она будет требовать.

— Как он — ничего? — спросила мать.

Кэйси медленно покачал головой. Мать метнула взгляд на судорожно кривившееся, багровое лицо деда. Она опустила полу, и снаружи донесся ее голос:

— Ему лучше, бабка. Он лежит, отдыхает.

Но бабка заворчала:

— Я все равно войду. Он хитрый, черт. От него правды никогда не дознаешься,— и быстро шмыгнула в палатку. Она остановилась у матраца и посмотрела вниз на деда.— Что с тобой? — И дед опять повел глазами на голос, и губы его судорожно дернулись.— Он злится,— сказала бабка.— И хитрит. Сегодня утром не захотел ехать и собирался удрать. А потом вдруг бедро разболелось,— с отвращением добавила она.— Он злится. С ним это и раньше бывало — надуется и ни с кем не разговаривает.

Кэйси мягко сказал:

— Он не злится, бабка. Он заболел.

— А! — Она снова посмотрела вниз на старика.— Тяжело заболел?

— Очень тяжело, бабка.

Минуту бабка стояла в нерешительности. Потом быстро сказала:

— Что же ты не молишься? Проповедник ты или не проповедник?

Сильные пальцы Кэйси потянулись к руке деда и взяли ее за кисть.

— Я уж говорил, бабка. Я больше не проповедник.

— Все равно молись,— скомандовала она.— Ты все молитвы назубок знаешь.

— Не могу,— сказал Кэйси.— Я не знаю, о чем молиться, кому молиться.

Бабка повела глазами и остановила свой взгляд на Сэйри.

— Не хочет молиться! — сказала она.— А я вам не говорила, как наша Руфь молилась, когда была еще совсем маленькая? «Глазки крепко я смыкаю, душу господу вручаю. Подходит к буфету — буфет приоткрыт, а песик-воришка в сторонке сидит. Аминь». Вот она как молилась.

Мимо палатки кто-то прошел, заслонив собой солнце и отбросив тень на брезент.

Старческое тело продолжало борьбу, подергиваясь каждым мускулом. И вдруг дед скорчился, словно его ударили. Потом затих и перестал дышать. Кэйси взглянул старику в лицо и увидел, что по нему разливается багровая чернота. Сэйри тронула проповедника за плечо. Она прошептала:

— Язык! Язык!

Кэйси кивнул.

— Встань так, чтобы бабка не видела.

Он разжал деду стиснутые челюсти и просунул пальцы в самое горло, стараясь достать язык. И когда он высвободил его, из горла старика вырвался хрип и он прерывисто вздохнул, втянув ртом воздух. Кэйси поднял с земли палочку и прижал ею язык, вслушиваясь в неровное, хриплое дыхание.

Бабка металась по палатке, точно курица.

— Молись! — твердила она.— Молись! Тебе говорят, молись! — Сэйри старалась удержать ее.— Молись, черт! — крикнула бабка.

Кэйси взглянул на нее. Хриплое дыхание становилось все громче, все прерывистее.

— Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое...

— Слава господу богу! — подхватила бабка.

— ...да приидет царствие твое, да будет воля твоя... яко на небеси... так и на земли.

— Аминь.

Из открытого рта вырвался протяжный, судорожный хрип, точно старик выдохнул весь воздух из легких.

— Хлеб наш насущный... даждь нам днесь... и прости нам...— Дыхания не стало слышно. Кэйси посмотрел деду в глаза — они были ясные, глубокие и безмятежно мудрые.

— Аллилуйя! — крикнула бабка.— Читай дальше.

— Аминь,— сказал Кэйси.

Бабка замолчала. И за стенками палатки сразу все стихло. По шоссе пролетела машина. Кэйси стоял на коленях возле матраца. Люди, собравшиеся у палатки, в напряженном молчании

вслушивались в звуки — предвестники смерти. Сэйри взяла бабку под руку и вывела ее наружу, и бабка шла, высоко подняв голову, полная достоинства. Она шла так напоказ всей семье, она высоко держала голову напоказ всей семье. Сэйри подвела ее к матрацу, брошенному прямо на землю, и помогла ей сесть. Бабка сидела, глядя прямо перед собой,— сидела гордая, так как она знала, что взоры всех устремлены сейчас на нее. Из палатки не доносилось ни звука. И наконец Кэйси откинул ее полы и вышел наружу.

Отец тихо спросил его:

— Что с ним было?

— Удар,— сказал Кэйси.— Удар, и сразу конец.

Жизнь вокруг палатки снова вошла в свои права. Солнце коснулось линии горизонта, и шар его сплющился. А на шоссе показалась длинная колонна закрытых красных грузовиков. Они шли, сотрясая землю грохотом, а их выхлопные трубы пофыркивали синим дымком. За рулем каждого грузовика сидел шофер, а его сменный спал на койке, подвешенной под самой крышей. Грузовики шли не останавливаясь; они громыхали весь день и всю ночь, и земля дрожала под их тяжкой поступью.

Семья сплотилась в одно целое. Отец опустился на корточки, рядом с ним присел дядя Джон. Отец был теперь главой семьи. Мать стояла позади него. Ной, Том и Эл тоже опустились на корточки, а проповедник сел на землю и потом лег, опершись на локоть. Конни и Роза Сарона прохаживались невдалеке. Руфь и Уинфилд, появившиеся с ведром в руках, сразу почувствовали недоброе, замедлили шаги и, поставив ведро на землю, тихо подошли к матери.

Бабка сидела гордая, бесстрастная, но когда семья собралась воедино, когда на нее перестали смотреть, она легла и закрыла лицо рукой. Красное солнце спряталось, и над землей остался мерцающий сумрак, и лица людей казались совсем светлыми, а глаза их поблескивали, отражая закатное небо. Вечер старался как можно дольше сохранить свет и ловил его всюду.

Отец сказал:

— Это случилось в палатке мистера Уилсона.

Дядя Джон кивнул, подтверждая его слова:

— Да, он уступил нам свою палатку.

— Хорошие, сердечные люди,— тихо проговорил отец.

Уилсон стоял у своей испортившейся машины, а Сэйри сидела рядом с бабкой на матраце, стараясь не касаться ее.

Отец окликнул мистера Уилсона. Тот медленно подошел к ним и опустился на корточки, и Сэйри тоже подошла и стала рядом с мужем. Отец сказал:

— Примите нашу благодарность.

— Мы гордимся тем, что смогли помочь,— сказал Уилсон.

— Мы обязаны вам,— сказал отец.

— Когда приходит смерть, стоит ли считаться,— сказал Уилсон. И Сэйри подхватила:

— Стоит ли считаться.

Эл сказал:

— Я отремонтирую вам машину... мы с Томом отремонтируем.— И Эл был горд тем, что может уплатить долг, лежавший на всей семье.

— От помощи мы не откажемся.— Уилсон соглашался принять такую уплату.

Отец сказал:

— Надо решить, как быть дальше. Есть закон: о покойниках надо сообщать властям, а они возьмут сорок долларов за гроб или похоронят как нищего.

Вставил свое слово и дядя Джон:

— У нас в семье нищих не было.

Том сказал:

— Может, еще и не то будет. С земли нас раньше тоже не сгоняли.

— Мы плохого ничего не делали,— сказал отец.— Нас нечем попрекнуть. Без денег ничего не брали, чужой милостью не пользовались. Когда у Тома случилась беда, мы голову держали высоко. На его месте каждый бы так поступил.

— Что же нам делать? — спросил дядя Джон.

— Если поступать по закону, тело заберут. У нас всего полтораста долларов. Сорок уйдет на похороны, и тогда нам не доехать до Калифорнии. Или его похоронят, как нищего.— Мужчины беспокойно задвигались и, опустив глаза, уставились в землю, темневшую у них под ногами.

Отец сказал вполголоса:

— Дед сам похоронил своего отца, сделал все честь честью и сам насыпал могильный холмик. В те времена человек имел право лечь в могилу, вырытую его сыном, а сын имел право похоронить отца.

— Теперь законы другие,— сказал дядя Джон.

— Иной раз трудно соблюсти закон,— сказал отец.— Особенно если хочешь, чтобы все было по-честному. Мало ли таких случаев? Когда Флойд скрывался, прятался, как дикий зверь, нам велели выдать его, а никто не выдал. Иной раз приходится поступаться законом. Вот я и говорю: я имею право похоронить собственного отца. Кто хочет сказать что-нибудь?

Проповедник приподнялся на локте.

— Закон меняется,— сказал он,— а людские нужды остаются прежними. Ты имеешь право делать то, что тебе нужно делать.

Отец повернулся к дяде Джону.

— Это и твое право, Джон. Что ты скажешь?

— Ничего не скажу,— ответил дядя Джон.— Только выходит так, будто мы хотим тайком все это сделать. Дед при жизни заявлял о себе во весь голос.

Отец сказал пристыженно:

— Так, как он делал, нам нельзя. Надо доехать до Калифорнии, пока есть деньги.

Заговорил Том:

— Бывают такие случаи: копают где-нибудь землю, наткнутся на покойника и поднимут крик — убили человека. Наши власти мертвыми больше интересуются, чем живыми. Пойдут допытываться, кто он такой да как он умер. Я вот что хочу предложить: давайте положим записку в бутылку и закопаем вместе с ним. Там все будет сказано, кто он, как умер, почему его здесь похоронили.

Отец кивнул:

— Правильно. Только надо покрасивее написать. И деду не так одиноко будет, если напишем его имя, а то зарыли — и лежи, старик, один под землей. Ну, кто еще будет говорить? — Все молчали.

Отец повернулся к матери:

— Ты уберешь его?

— Уберу,— сказала мать.— А кто ужин будет готовить?

Сэйри Уилсон сказала:

— Я приготовлю. Вы идите. Мы с вашей старшей дочкой все сделаем.

— Вот спасибо,— сказала мать.— Ной, открой бочонок, достань оттуда свинины да выбери кусок получше. Она еще не просолилась, но есть можно.

— У нас есть полмешка картошки,— сказала Сэйри.

Мать подошла к отцу:

— Дай мне две монеты по пятьдесят центов.

Отец пошарил в кармане и протянул ей серебро. Она разыскала таз, налила в него воды и ушла в палатку. Там было темно. Сэйри вошла следом за ней, зажгла свечу, приткнула ее на ящик и оставила мать одну. Мать посмотрела на мертвеца, и сердце ее сжалось. Она оторвала кромку от передника и подвязала деду челюсть. Выпрямила его ноги, скрестила ему руки на груди. Потом опустила его веки, положила на них по серебряной монете, застегнула ему рубашку и обмыла лицо.

Сэйри заглянула в палатку:

— Может, помочь вам?

Мать медленно подняла голову.

— Зайдите,— сказала она.— Давайте поговорим.

— Старшая дочка у вас хорошая,— сказала Сэйри.— Уж сколько картошки начистила. Ну, говорите, что надо делать?

— Я хотела обмыть его,— сказала мать,— да переодеть не во что. А одеяло ваше испорчено. Мертвый дух ничем не выгонишь. У нас собака понюхала матрац, на котором умерла моя мать, так даже затряслась вся, зарычала, а это было два года спустя после смерти. Мы завернем его в ваше одеяло, а вам дадим другое.

Сэйри сказала:

— Зачем вы так говорите? У меня... У меня давно не было так спокойно на душе. Мы гордимся тем, что могли помочь. Людям совесть велит помогать друг другу.

Мать кивнула:

— Верно.— Она долго смотрела в заросшее щетиной лицо с подвязанной челюстью, с серебряными глазницами, поблескивающими при свете свечи.— Он так сам на себя не похож. Надо закутать его с головой.

— А старушка ваша хорошо держалась.

— Да ведь она совсем старенькая,— сказала мать,— может, и не понимает как следует, что случилось, и не скоро поймет. А кроме того, нам гордость не позволяет отчаиваться. Мой отец говорил: «Отчаяться каждый может. А вот чтобы совладать с собой, нужно быть человеком». Мы все крепимся.— Мать аккуратно закутала ноги и плечи деда. Потом натянула один конец одеяла капюшоном ему на голову и закрыла им лицо. Сэйри подала ей несколько больших английских булавок, и, подоткнув одеяло со всех сторон, она зашпилила этот длинный сверток. И наконец поднялась с колен.— Похороны будут неплохие,— сказала она.— С нами проповедник, он проводит его в могилу, и вся семья в сборе.— Ее качнуло, но Сэйри не дала ей упасть.— Недоспала...— сконфуженно проговорила мать.— Ничего, пройдет. Нам пришлось много повозиться перед отъездом.

— Выйдем на воздух,— сказала Сэйри.

— Да, я все сделала, что надо.

Сэйри задула свечу, и они вышли из палатки.

На дне маленькой ложбинки жарко горел костер. Том вбил в землю колышки, подвесил на проволоку два котелка, и теперь вода в них била ключом, а из-под крышек рвался пар. Роза Сарона стояла на коленях в стороне от огня, с длинной ложкой в руках. Увидев мать, она встала и подошла к ней.

— Ма,— сказала она,— я хочу спросить тебя кое о чем.

— Опять напугалась? — сказала мать.— Девять месяцев без горя не проживешь.

— А ему это не повредит?

Мать сказала:

— Есть такая поговорка: кто в горе родится, у того счастливая жизнь. Правильно, миссис Уилсон?

— Да, есть такая,— сказала Сэйри.— А я еще другую знаю: кто в радости родится, тот всю жизнь казнится.

— У меня внутри будто все подскочило от страха,— сказала Роза Сарона.

— От веселья у нас никто не скачет,— сказала мать.— Ты лучше следи за котелками.

Мужчины собрались на краю светлого круга, падавшего от костра. Из инструментов у них были лопата и кирка. Отец отмерил восемь футов в длину, три в ширину. Работали по очереди. Отец взрывал землю киркой, а дядя Джон откидывал ее в сторону лопатой. Кирка переходила к Элу, лопата к Тому. Потом за кирку брался Ной, за лопату Конни. Работа шла без перерыва, и могила становилась все глубже и глубже. Стоя по плечи в прямоугольной яме, Том спросил:

— Па, еще рыть или довольно?

— Нет, надо еще фута на два. Ты вылезай, Том. Тебе надо писать записку.

Том вылез, и его место занял Ной. Том подошел к матери, сидевшей у костра.

— Ма, а бумага и чернила у нас найдутся?

Мать медленно покачала головой.

— Н-нет. Что другое, а этого не захватили.— Она взглянула на Сэйри. И маленькая женщина быстро зашагала к палатке. Она вернулась оттуда с Библией и огрызком карандаша.

— Вот. Тут есть чистая страница. Напиши на ней и вырви.— Она протянула Библию и карандаш Тому.

Том сел у костра. Он сосредоточенно прищурил глаза и наконец вывел крупными буквами на белой странице: «Здесь похоронен Уильям Джеймс Джоуд, он умер от удара старым стариком. Родня зарыла его здесь, потому что денег на похороны не было. Его никто не убил. С ним случился удар, вот он и умер».

— Ма, послушай.— И он медленно прочел ей написанное.

— Что ж, складно,— сказала мать.— А ты бы еще что-нибудь божественное подобрал из Писания. Полистай Библию.

— Надо покороче,— сказал Том.— У меня места почти не осталось.

Сэйри сказала:

— А что, если написать: «Упокой, господи, душу его».

— Нет,— сказал Том.— Получается, будто он висельник. Сейчас я что-нибудь подберу.— Он переворачивал страницы и читал про себя, шевеля губами.— Вот, и хорошо и коротко: «Но Лот сказал им: нет, Владыка!»

— А в чем тут смысл? — спросила мать.— Уж если писать, так чтобы со смыслом.

Сэйри сказала:

— Поищи дальше, в псалмах. Оттуда легко выбрать.

Том перелистал страницы и пробежал глазами несколько псалмов.

— Вот,— сказал он.— И красиво и божественно, уж божественнее некуда: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Ну как?

— Вот это хорошо,— сказала мать.— Это и спиши.

Том старательно переписал стих на бумагу. Мать сполоснула и вытерла банку из-под фруктовых консервов, и Том плотно завинтил на ней крышку.

— Может, проповеднику надо было писать, а не мне? — спросил он.

Мать ответила:

— Нет, проповедник нам не родственник,— и, взяв банку с запиской, ушла в темную палатку. Она расстегнула несколько булавок, сунула банку под холодные тонкие руки и снова заколола одеяло. И потом вернулась к костру.

Мужчины отошли от вырытой могилы, вытирая потные лица.

— Готово,— сказал отец. И все они — отец, дядя Джон, Ной и Эл — прошли в палатку, вынесли оттуда длинный, заколотый со всех сторон сверток и понесли к могиле. Отец спрыгнул вниз, принял тело и бережно опустил его на землю. Дядя Джон протянул ему руку и помог вылезти. Отец спросил: — А как быть с бабкой?

— Я схожу за ней,— ответила мать. Она подошла к матрацу и с минуту молча смотрела на старуху. Потом вернулась к могиле.— Спит,— сказала она.— Может, бабка будет в обиде на меня, но я не стану ее будить. Ей нужен покой.

Отец спросил:

— А где проповедник? Надо прочесть молитву.

Том ответил:

— Я видел, как он шел по дороге. Он не хочет больше молиться.

— Не хочет молиться?

— Да,— сказал Том,— он больше не проповедует. «Зачем, говорит, дурачить людей и выдавать себя за проповедника, когда на самом деле я не проповедник». Потому, наверно, и сбежал, чтобы не просили помолиться.

Кэйси, незаметно подошедший к ним, слышал слова Тома.

— Никуда я не сбежал,— сказал он.— Я не отказываюсь от помощи, но дурачить вас не буду.

Отец спросил:

— Может, все-таки скажешь несколько слов? У нас в семье никого не хоронили без молитвы.

— Скажу,— согласился проповедник.

Конни подвел к могиле Розу Сарона. Она шла неохотно.

— Нельзя,— говорил Конни.— Нехорошо будет. Ведь это недолго.

Свет костра падал на людей, окруживших могилу, озарял их лица, глаза, меркнул на темной одежде. Мужчины стояли обнажив головы. Блики огня метались вверх и вниз.

Кэйси сказал:

— Я долго не буду говорить.— Он склонил голову, и остальные последовали его примеру. Кэйси торжественно начал: — Старик, который здесь лежит, прожил свою жизнь и кончил свою жизнь. Я не знаю, какой он был — хороший или плохой,— но это не важно. Важно то, что он был живой человек. А теперь он умер, и это тоже не важно. Я раз слышал, как читали стихи. Там было сказано: «Все живое — свято». Я думал, думал над этим и понял: тут смысла больше, чем кажется на первый взгляд. Я не стану молиться за этого старика. Мертвому хорошо. Он должен сделать свое дело, но как его сделать — ему задумываться не придется. У нас у всех тоже есть свое дело, но путей перед нами много, и мы не знаем, какой из них выбрать. И если б мне надо было молиться, я помолился бы за тех, кто не знает, на какой путь им ступить. У деда дорога прямая. А теперь прикройте его землей, и пусть он делает свое дело.— Проповедник поднял голову.

Отец сказал:

— Аминь.

И остальные пробормотали хором:

— Аминь.

Тогда отец взял лопату, подобрал ею несколько комьев земли и осторожно сбросил их в черную яму. Он передал лопату дяде Джону, и тот сбросил побольше. Лопата стала переходить из рук в руки. Когда все мужчины выполнили свой долг и сделали то, что полагалось им по праву, отец торопливо сгреб в могилу землю, кучкой лежавшую на краю. Женщины отошли к костру, готовить ужин. Руфь и Уинфилд как зачарованные стояли у могилы.

Руфь торжественно проговорила:

— Дед теперь лежит под землей.

И Уинфилд испуганными глазами посмотрел на нее, потом отбежал к костру, сел в сторонке и тихо заплакал.

Отец зарыл могилу до половины и остановился, тяжело переводя дух, а оставшуюся землю скинул дядя Джон. Когда Джон стал насыпать холмик, Том придержал его за руку.

— Слушай,— сказал Том.— Ведь так ее мигом обнаружат. Надо, чтобы было незаметно. Сровняй с землей, а сверху набросаем травы. Приходится, иначе нельзя.

Отец сказал:

— Я об этом и не подумал. А ведь без холмика не годится оставлять.

— Ничего не поделаешь,— сказал Том.— Его отроют, и нас обвинят в нарушении закона. Знаешь, что мне за это будет?

— Верно,— сказал отец.— Я забыл.— Он взял у Джона лопату и сровнял холмик с землей.— Чуть зима, так и провалится,— сказал он.

— Ничего не поделаешь,— повторил Том.— К зиме мы будем далеко. Утопчи как следует, а сверху надо чего-нибудь набросать.

Когда свинина и картошка были готовы, обе семьи собрались ужинать у костра, и все сидели тихо и смотрели в огонь. Уилсон запустил зубы в кусок мяса и удовлетворенно вздохнул.

— Хорошая свинина,— сказал он.

Отец пояснил:

— У нас было две свиньи. Думали, думали — решили зарезать. За них ничего не давали. Вот пообвыкнем в дороге, мать спечет хлеб, а тогда одно удовольствие: места все новые, едешь, посматриваешь по сторонам, а в грузовике у тебя два бочонка со свининой. Вы сколько времени в пути?

Уилсон провел языком по зубам, вытаскивая застрявшее мясо, и глотнул слюну.

— Нам не повезло,— сказал он.— Мы уж третью неделю едем.

— Господи помилуй! А мы рассчитываем дней в десять добраться до Калифорнии, а то и быстрее.

Эл перебил его:

— Нет, па, на это не рассчитывай. С таким грузом, может, и никогда не доберемся. Особенно если придется ехать по горам.

Наступило молчание. Они сидели опустив голову, и отблески костра освещали им только волосы и лоб. Над невысоким куполом огня жидко поблескивали летние звезды, дневная жара постепенно спадала. Бабка, лежавшая на матраце, в стороне от костра, тихо захныкала, точно заскулил щенок. Все посмотрели туда.

Мать сказала:

— Роза, будь умницей, поди полежи с бабкой. Ее нельзя оставлять одну. Она теперь все поняла.

Роза Сарона встала, подошла к матрацу и легла рядом со старухой, и до костра донеслись неясные звуки их голосов. Роза Сарона и бабка лежали рядом на матраце и перешептывались.

Ной сказал:

— Чудно́ как-то — дед умер, а будто ничего не случилось. Я и горя не чувствую.

— Это все одно,— сказал Кэйси.— Земля ваша и дед — это одно, неделимое.

Эл сказал:

— Жалко деда. Помните, он говорил, как там все будет да как он виноград себе о голову станет давить, чтобы всю бороду соком залило...

Кэйси сказал:

— Это он так — шутил, посмеивался. Ваш дед умер не сегодня. Он умер, как только его с места сняли.

— Ты это наверное знаешь? — воскликнул отец.

— Да нет, не то. Дышать он дышал, но жизни в нем уже не было,— продолжал Кэйси.— Дед и земля ваша — одно целое, он и сам это понимал.

Дядя Джон спросил:

— А ты знал, что он умирает?

— Да,— сказал Кэйси.— Знал.

Джон смотрел на проповедника, и в глазах у него рос ужас.

— И ты никому ничего не сказал?

— Зачем? — спросил Кэйси.

— Мы... мы бы что-нибудь сделали.

— Что?

— Не знаю, но...

— Нет,— сказал Кэйси,— сделать вы ничего бы не смогли. Ваш путь определился, а деду с вами было не по дороге. Он и не мучился. Разве только утром, в первые минуты. Дед остался с землей. Он не мог ее бросить.

Дядя Джон глубоко вздохнул.

Уилсон сказал:

— А нам пришлось бросить моего брата, Уилла.— Все повернулись к нему.— У нас фермы были рядом. Он старше меня. Иметь дело с машиной не приходилось ни ему, ни мне. Продали мы весь свой скарб, Уилл купил машину, к нему приставили какого-то мальчишку, чтобы научил, как ею управлять. Накануне отъезда Уилл и тетка Минни решили попрактиковаться. Едут по дороге и вдруг видят — рытвина. Уилл как гаркнет — тпру! — да как даст задний ход — и врезался прямо в изгородь. Еще раз гаркнул, дал газ и — в канаву. Вот и остался ни с чем. Продавать

больше было нечего, а машина вдребезги. Но, слава господу богу, кроме самого себя, ему винить некого. И так он обозлился после этого, что и с нами не захотел ехать. Ругался последними словами, когда мы уезжали.

— Что же он будет делать?

— Не знаю. Совсем человек рехнулся от злости. А у нас в кармане всего-навсего восемьдесят пять долларов. Сидеть и ждать, пока они утекут, мы не могли. Поехали — и в дороге совсем потратились. На первой же сотне миль выкрошило зуб в заднем мосту. Починка обошлась в тридцать долларов. А потом понадобилась покрышка, и запальная свеча треснула, а теперь Сэйри захворала. Пришлось сделать остановку на десять дней. Машина стоит, будь она проклята, а деньги так и текут. Когда доберемся до Калифорнии, просто не знаю. Надо ремонтировать, а я в этих машинах ничего не смыслю.

Эл деловито осведомился:

— А что с ней такое?

— Да не едет, и все тут. Сделает несколько оборотов, чихнет — и заглохнет. Потом рванет — и опять станет.

— Значит, берет с места и тут же глохнет?

— Вот-вот. Прибавлю газ, и все равно ничего не выходит. Чем дальше, тем хуже, а теперь уж я ничего с ней не могу поделать.

Эл сидел горделивый, солидный.

— Наверно, у нее бензопровод засорился. Я его продую насосом.

И отец тоже гордился сыном.

— Эл в этом деле понимает,— вставил он.

— Вот за помощь я скажу спасибо. Большое спасибо. Не умеешь починить, и просто... просто мальчишкой себя чувствуешь. Когда доберемся до Калифорнии, куплю там хорошую машину. Может, хорошая не будет портиться.

Отец сказал:

— Когда доберемся... Уж очень трудно туда добираться.

— Это ничего, лишь бы добраться,— сказал Уилсон.— Я видел листки, там все написано: и про то, сколько народу нужно на сбор фруктов, и про заработки. Вы только подумайте! Фрукты будем собирать в тени, под деревьями,— нет-нет и съешь что-нибудь повкуснее. Да там столько этого добра, что хоть объедайся, никто тебе ничего не скажет. А если будут хорошо платить, может, купим небольшой участок, сами станем хозяевами, а подрабатывать — на стороне. Да я на что угодно спорю, не пройдет и двух лет, как можно будет обзавестись собственным участком.

Отец сказал:

— Мы видели эти листки. У меня даже один с собой есть.— Он вынул кошелек и достал оттуда сложенный пополам оранжевый листок. На нем было напечатано жирными буквами: «В Калифорнии Требуются Рабочие на Сбор Гороха. Хорошие Заработки Круглый Год. Требуется 800 человек».

Уилсон с удивлением посмотрел на листок.

— Да, да! Я видел точно такой же. А как вы думаете... может, восемьсот человек уже набралось?

Отец сказал:

— Да ведь это не по всей Калифорнии, а только в одном месте. Калифорния по величине второй штат. Допустим, восемьсот человек набралось. А другие места? Я на сбор фруктов пойду куда угодно. Вы сами говорите, работать будем в тени, под деревьями. Такая работа и ребятишкам понравится.

Эл вдруг встал и подошел к машине Уилсонов. Он посмотрел на открытый мотор, потом вернулся и сел у костра.

— За сегодняшний вечер не починишь,— сказал Уилсон.

— Я знаю. Завтра возьмусь с утра.

Том пристально посмотрел на младшего брата.

— Я тоже об этом подумал,— сказал он.

Ной спросил:

— О чем это вы?

Том и Эл молчали, дожидаясь, кто начнет первый.

— Говори ты,— сказал наконец Эл.

— Не знаю, может, из этого ничего не выйдет, может, Эл совсем о другом думает. Но дело вот в чем. У нас перегрузка, а мистер и миссис Уилсон едут налегке. Если кто-нибудь из наших пересядет к ним, а на грузовик переложить их вещи, которые полегче, тогда у нас и рессоры будут целы, и подъемы нам не страшны. Машиной мы оба умеем править — и я и Эл; значит, один поведет легковую. А вместе нам лучше будет.

Уилсон быстро поднялся с земли.

— Конечно, конечно. Для нас это большая честь. Так и сделаем. Сэйри, слышишь?

— Что ж, очень хорошо,— сказала Сэйри.— Но не будем ли мы в тягость?

— Да бросьте вы,— сказал отец.— Какое там «в тягость». Вы нас выручите.

Уилсон нахмурился и снова сел у костра.

— Не знаю, как и быть.

— Что? Раздумали?

— Сэйри права... Ведь у меня всего тридцать долларов.

Мать сказала:

— Вы не будете в тягость. Станем помогать друг другу и как-нибудь доберемся до Калифорнии. Сэйри Уилсон помогла мне убрать деда...— И она замолчала. Связь между тем и другим была ясна.

Эл сказал:

— В легковой шестеро свободно поместятся. Я за рулем, еще посадим Розу, Конни и бабку. Громоздкие вещи — что полегче — переложим на грузовик. В дороге будем меняться местами.— Он говорил громко, радуясь, что с плеч свалилась такая забота.

Остальные смущенно улыбались и не поднимали глаз. Отец провел кончиками пальцев по пыли. Он сказал:

— Ма у нас размечталась о беленьком домике в апельсиновой роще. Видела такую картинку в календаре.

Сэйри сказала:

— Если я опять расхвораюсь, вы нас не ждите, поезжайте одни. Мы не хотим быть в тягость.

Мать пристально посмотрела на Сэйри и словно впервые увидела ее страдальческие глаза и осунувшееся, измученное болью лицо. И мать сказала:

— Ничего, доедете, мы о вас позаботимся. Вы же сами говорили, что от помощи нельзя отказываться...

Сэйри взглянула на свои морщинистые руки, освещенные огнем.

— Надо ложиться спать.— Она встала.

— А дед... как будто целый год прошел с его смерти,— сказала мать.

Громко зевая, все лениво разбрелись в разные стороны устраиваться на ночь. Мать сполоснула тарелки и стерла с них сало мешком из-под муки. Костер потух, звезды словно опустились ниже. Легковые машины только изредка пробегали теперь по шоссе, но грузовики то и дело сотрясали землю грохотом. Обе машины, стоявшие у дороги, еле виднелись при свете звезд. У заправочной станции выла привязанная на ночь собака. Люди заснули мирным сном, и осмелевшие полевые мыши сновали возле матрацев. Не спала одна Сэйри Уилсон. Она смотрела в небо и стойко боролась с болью.

ГЛАВА XIV

Запад беспокоится—близки какие-то перемены. Западные штаты беспокоятся, как лошади перед грозой. Крупные собственники беспокоятся, чуя грядущие перемены и не понимая их смысла. Крупные собственники бьют по тому, что ближе всего в их поле зрения: по расширенному составу правительства, по растущей со-

лидарности в рабочем движении; бьют по новым налогам, по новым экономическим планам, не понимая, что все это следствия, а не причины. Следствия, а не причины. Следствия, а не причины. Причины коренятся глубоко, и в них нет ничего сложного. Причины — это физический голод, возведенный в миллионную степень; это духовный голод — тяга к счастью, к чувству уверенности в завтрашнем дне, возведенная в миллионную степень; это тяга мускулов и мозга к росту, к работе, к созиданию, возведенная в миллионную степень. Конечная, ясная функция человека — работать, созидать, и не только себе одному на пользу,— это и есть человек. Построить стену, построить дом, плотину и вложить частицу своего человеческого «я» в эту стену, в этот дом, в эту плотину, и взять кое-что и от них — от этой стены, этого дома, этой плотины; укрепить мускулы тяжелой работой, приобщиться к ясности линий и форм, возникающих на чертеже. Ибо человек — единственное существо во всей органической жизни природы, которое перерастает пределы созданного им, поднимается вверх по ступенькам своих замыслов, рвется вперед, оставляя достигнутое позади. Вот что следует сказать о человеке: когда теории меняются или терпят крах, когда школы, философские учения, национальные, религиозные, экономические предрассудки возникают, а потом рассыпаются прахом, человек хоть и спотыкаясь, а тянется вперед, идет дальше и иной раз ошибается, получает жестокие удары. Сделав шаг вперед, он может податься назад, но только на полшага — полного шага назад он никогда не сделает. Вот что следует сказать о человеке; и это следует понимать, понимать. Это следует понимать, когда бомбы падают с вражеских самолетов на людные рынки, когда пленных прирезывают, точно свиней, когда искалеченные тела валяются в пропитанной кровью пыли.

Западные штаты беспокоятся — близки какие-то перемены. Техас и Оклахома, Канзас и Арканзас, Нью-Мексико, Аризона, Калифорния. Семья съезжает со своего участка. Отец взял ссуду в банке, а теперь банк хочет завладеть землей. Земельная компания — другими словами банк, если владельцем земли является он,— хочет, чтобы на этой земле хозяйничали тракторы, а не арендатор. А разве трактор — это плохо? Разве в той силе, которая проводит длинные борозды по земле, есть что-нибудь дурное? Если б этот трактор принадлежал нам, тогда было бы хорошо,— не мне, а нам. Если б наши тракторы проводили длинные борозды по нашей земле, тогда было бы хорошо. Не по моей земле, а по нашей. Мы любили бы этот трактор, как мы любили эту землю, когда она была наша. Но трактор делает сразу два дела: он вспахи-

вает землю и выкорчевывает с этой земли нас. Между таким трактором и танком разница небольшая. И тот и другой гонят перед собой людей, охваченных страхом, горем. Тут есть над чем призадуматься.

С земли согнали одного фермера, одну семью; вот его дряхлая машина со скрипом ползет по шоссе на Запад. Я лишился земли, моей землей завладел трактор. Я один, я не знаю, что делать. А ночью эта семья останавливается у придорожной канавы, и к ее становищу подъезжает другая семья, и палаток уже не одна, а две. Двое мужчин присаживаются на корточки поговорить, а женщины и дети стоят и слушают. Вы, кому ненавистны перемены, кто страшится революций, смотрите: вот точка, в которой пересекаются человеческие жизни. Разъедините этих двоих мужчин; заставьте их ненавидеть, бояться друг друга, не доверять друг другу. Ведь здесь начинается то, что внушает вам страх. Здесь это в зародыше. Ибо в формулу «я лишился своей земли» вносится поправка; клетка делится, и из этого деления возникает то, что вам ненавистно: «Мы лишились нашей земли». Вот где таится опасность, ибо двое уже не так одиноки, как один. И из этого первого «мы» возникает нечто еще более опасное: «У меня есть немного хлеба» плюс «у меня его совсем нет». И если в сумме получается «у нас есть немного хлеба», значит, все стало на свое место и движение получило направленность. Теперь остается сделать несложное умножение, и эта земля, этот трактор — наши. Двое мужчин, присевших на корточки у маленького костра, мясо в котелке, молчаливые женщины с застывшим взглядом; позади них ребятишки, жадно вслушивающиеся в непонятные речи. Надвигается ночь. Малыш простудился. Вот, возьми одеяло. Оно шерстяное. Осталось еще от матери. Возьми, накрой им ребенка. Вот что надо бомбить. Вот где начинается переход от «я» к «мы».

Если б вам, владельцам жизненных благ, удалось понять это, вы смогли бы удержаться на поверхности. Если б вам удалось отделить причины от следствий, если б вам удалось понять, что Пейн, Маркс, Джефферсон, Ленин были следствием, а не причиной, вы смогли бы уцелеть. Но вы не понимаете этого. Ибо собственничество сковывает ваше «я» и навсегда отгораживает его от «мы».

Западные штаты беспокоятся — близки какие-то перемены. Потребность рождает идею, идея рождает действие. Полмиллиона людей движется по дорогам; еще один миллион охвачен тревогой, готов в любую минуту сняться с места; еще десять миллионов только проявляют признаки беспокойства.

А тракторы проводят борозду за бороздой по опустевшей земле.

ГЛАВА XV

Вдоль шоссе № 66 стоят придорожные бары: «Эл и Сузи», «Позавтракайте у Карла», «Джо и Минни», «Закусочная Уилла». Лачуги, сколоченные из тонких досок. Две бензиновые колонки у входа, дверь, загороженная проволочной сеткой, длинная стойка с рейкой для ног, табуретки. Возле двери три автомата, показывающие сквозь стекла несметные богатства — кучку пятицентовых монет, которые можно выиграть, если выйдут три полоски. А рядом с ними патефон, играющий за пять центов, и навален-ные горкой, как блины, пластинки, готовые в любую минуту скользнуть на диск и заиграть фокстроты «Ти-пи-ти-пи-тин», «Ты — золотой загар», песенки Бинга Кросби, джаз Бенни Гудмена. На правом конце стойки под стеклянным колпаком конфеты от кашля, кофеиновые таблетки под названием «Долой сонливость» и «Не клюй носом», леденцы, сигареты, бритвенные лезвия, аспирин, кристаллики «Бромо», «Алька» для шипучки. По стенам плакаты: купальщицы — пышногрудые, узкобедрые блондинки с восковыми лицами, в белых купальных костюмах, в руках бутылка кока-колы, улыбаются: вот оно магическое действие кока-колы. Длинная стойка — на ней солонки, перечницы, баночки с горчицей и бумажные салфетки. За стойкой пивные краны, а у самой стены сверкающие, окутанные паром кофейники с застекленными окошечками, которые показывают уровень кофе. Торты под проволочными колпаками, апельсины — горками по четыре штуки. И коробки крекеров и корнфлекса, выложенные узором.

Плакаты с заглавными буквами из блестящей слюды: Такие Пироги Пекла Твоя Мама. Кредит Ссорит. Давайте Останемся Друзьями. Дамам Курить Не Возбраняется, Но Пусть Не Суют Окурки Куда Попало. Обедайте Здесь, Не Утруждайте Жену Стряпней. У НАС ЛУЧШЕ.

На левом конце стойки — жаровня с тушеным мясом, картофелем, жареное мясо, ростбиф, серая буженина. И все эти соблазны ждут, когда их нарежут ломтиками.

Минни, или Сузи, или Мэй, увядающая за стойкой,— волосы завиты, на потном лице слой пудры и румян,— принимая заказы, говорит тихо, мягко; повторяет их повару скрипучим, как у павлина, голосом. Вытирает стойку, водя тряпкой кругами, начищает большие блестящие кофейники. Повара зовут Джо, или Карл, или Эл. Ему жарко в белом кителе и фартуке, пот бисером выступает у него на белом лбу под белым колпаком. Он хмурый, говорит мало, взглядывает мельком на каждого нового посетителя. Вытирает противень, шлепает на него котлету. Вполголоса повторяет

заказы Мэй, скребет противень, протирает тряпкой. Хмурый и молчаливый.

Мэй — живая связь с посетителями — улыбается, а внутри вся кипит и еле сдерживает раздражение. Улыбается, а глаза смотрят мимо вас, если вы это вы, а не шофер с грузовика. На шоферах все и держится. Там, где останавливаются грузовики, там и клиенты. Шоферов не надуешь, они народ понимающий. Шоферы надежная клиентура. Они понимают, что к чему. Попробуй подать им спитой кофе — больше не заедут. Их надо обслуживать как следует, тогда заглянут не один раз. Шоферам Мэй улыбается по-настоящему. Она выгибает спину, поправляет волосы на затылке, поднимая руки так, чтобы платье обрисовало грудь, кивает, всем своим видом сулит веселую минутку, веселый разговор, веселые шуточки. Эл никогда не вступает в беседу с посетителями. Связь идет не через него. Иной раз он улыбнется, услышав какой-нибудь анекдот, но смеющимся его никто не видел. Иной раз он взглянет на Мэй, услышав игривые нотки в ее голосе, и тут же принимается скрести противень лопаткой и перекладывать застывшее сало в желобок вокруг судка. Он прижимает лопаткой шипящую котлету, кладет разрезанные пополам булки на сковороду, подогревает, поджаривает их. Сгребает со сковороды кружочки лука, шлепает его на котлету и приминает лопаткой; потом кладет на котлету полбулки, смачивает другую половину растопленным маслом и острой приправой. Придерживая булку, поддевает лопаткой плоскую котлету, переворачивает ее, накрывает ломтем, пропитавшимся маслом, и кладет сандвич на маленькую тарелку. К сандвичу полагаются пикули и две черных маслины. Эл пускает тарелку по стойке, точно метательный диск. Потом снова принимается скрести противень лопаткой и хмуро поглядывает на жаровню с тушеным мясом.

Машины вихрем проносятся по шоссе № 66. Номерные знаки. Выданы в Массачусетсе, Теннесси, Род-Айленде, Нью-Йорке, Вермонте, Охайо. Идут на запад. Элегантные машины мчатся со скоростью шестьдесят миль в час.

Смотри — «корд». Точно гроб на колесах.

Ой, мама! Ну и ход у них!

А вот «ла-салль», видишь? Я за «ла-салль». Я не гордый. Меня он устраивает.

Если уж ты так разошелся, то чем тебе плох «кадиллак»? Чуть больше, чуть быстрее.

А я бы взял «зефир». Цена не бог весть какая, зато — шик, быстрота. Подать мне «зефир».

Хотите смейтесь, хотите нет, сэр, а я стою за «бьюик-пьюик». Дай бог каждому такую машину.

Выдумает тоже! «Бьюик» не дешевле «зефира», а какая от него радость? Слабенький.

Ну и пусть! Глаза бы мои не глядели на фордовские машины. Не люблю я этого Генри Форда. Просто терпеть не могу. У меня брат работал на его заводе. Послушал бы ты, что он рассказывал.

Да, но «зефир» — это зверь, а не машина.

Большие машины проносятся по шоссе. Томные, разомлевшие от жары дамы — маленькие планеты, вокруг которых вращаются их неизменные спутники: кремы, лосьоны, флакончики с красками — черной, розовой, красной, белой, зеленой, серебряной,— с их помощью меняется цвет волос, глаз, губ, ногтей, бровей, ресниц, век. Пилюли, травы, порошки,— с их помощью улучшается действие желудка. Полная сумка пузырьков, шприцев, пилюль, присыпок, жидкостей, мазей,— с их помощью из половых сношений устраняется всякий риск, запах и возможность последствий. И все это помимо чемоданов с одеждой. Вот тоска собачья!

Усталые морщинки вокруг глаз, недовольные складки у рта; груди, тяжело отвисшие в бюстгальтерах, похожих на маленькие гамаки, живот и бедра, стянутые резиной. И губы полуоткрыты от жары, хмурым глазам не любо ни солнце, ни ветер, ни земля, в них сквозит отвращение к пище, к чувству усталости — и ненависть ко времени, которое мало кого красит, а старит всех.

Рядом с ними пузатенькие мужчины в светлых костюмах и панамах; чистенькие розовые мужчины с недоуменными, неспокойными глазами — с глазами, полными тревоги. Они неспокойны потому, что формулы подводят, лгут; они жаждут ощущения покоя, но чувствуют, что оно уходит из мира. На лацканах пиджаков у них значки организаций, клубов — тех мест, куда можно пойти и, смешавшись с толпой таких же обеспокоенных людишек, убедить себя в том, что коммерция — это благородное занятие, а не освященное ритуалом воровство; что коммерсанты — разумные существа, вопреки бесчисленным доказательствам их глупости; что они великодушны и щедры, даже вопреки принципам здравого ведения дел; что их жизнь — полноценная жизнь, а не жалкая, утомительная рутина; и что близко то время, когда они забудут, что такое страх.

И эта супружеская чета тоже едет в Калифорнию; они будут сидеть в холле отеля «Беверли Уилтшир», будут смотреть на людей, которые вызывают у них чувство зависти, будут смотреть на горы — не на что другое, а на горы! — и на высокие деревья; он — все с тем же беспокойством во взгляде, она — думая о том, что

солнце опалит ей кожу. Они будут смотреть на Тихий океан, и я готов побиться об заклад на тысячу долларов против цента, что он скажет: «И это океан? Совсем не такой большой, как я думал». А она будет завистливо поглядывать на округлые юные тела на пляже. Они едут в Калифорнию только для того, чтобы потом вернуться домой и сказать: «Такая-то сидела в Трокадеро рядом с нами, за соседним столиком. Вот страшилище! Но одевается со вкусом». А он скажет: «Я разговаривал там с солидными деловыми людьми. Все считают, что, пока мы не отделаемся от этого субъекта из Белого дома, надеяться не на что». Или: «Я слышал от одного человека, который все знает: у нее сифилис. Она снималась у Уорнеров. Говорят, спала буквально со всеми, лишь бы получать роли. Ну что ж, сифилису удивляться не приходится, она на это шла». Но встревоженные глаза все равно не знают покоя, надутые губы все равно не знают радости. Большая машина мчится со скоростью шестьдесят миль в час.

Хочется пить. Хорошо бы чего-нибудь похолоднее.

Вон там впереди что-то виднеется. Остановимся?

Ты думаешь, у них чисто?

Если в этом захолустье вообще можно говорить о чистоте.

Хорошо. Возьмем бутылку содовой,— я думаю, не страшно.

Тормоза взвизгивают, и машина останавливается. Толстяк с беспокойными глазами помогает жене вылезти.

Когда они входят, Мэй смотрит сначала на них, потом мимо них. Эл только на секунду поднимает глаза от плиты. Мэй знает все заранее. Эти возьмут бутылку содовой за пять центов и будут ворчать, что она теплая. Женщина использует шесть бумажных салфеток и побросает их все на пол. Мужчина поперхнется и свалит вину на Мэй. Женщина начнет принюхиваться, точно здесь где-то завалялось тухлое мясо, а потом они уйдут и до конца дней своих будут говорить всем, что народ на Западе угрюмый. А Мэй, оставшись наедине с Элом, подберет для них подходящее словечко. Она обзовет их дерьмом.

Шоферы — вот это люди!

Вон идет большой грузовик. Хорошо бы, остановился; отобьют вкус этого дерьма. Знаешь, Эл, когда я работала в том большом отеле в Альбукерке,— как они воруют! Все, что плохо лежит. И чем шикарнее машина, тем хуже; всё тащат: полотенца, серебро, мыльницы. Просто не понимаю, зачем им это?

И Эл мрачно: «А как по-твоему, откуда у них такие машины, откуда у них столько добра? Родились, что ли, они с этим? Вот ты небось никогда не разбогатеешь».

Большой грузовик, на нем шофер и сменный. Может, остановимся? Выпьем по чашке кофе. Я эту хибарку знаю.

А как у нас с расписанием?

Время есть, про запас хватит.

Ладно, подъезжай. Тут девчонка с огоньком. И кофе хороший.

Грузовик останавливается. Двое шоферов в бриджах защитного цвета, в высоких зашнурованных башмаках, в коротких куртках и фуражках с блестящими козырьками. Зарешеченная дверь — хлоп!

Здравствуй, Мэй.

Неужели ты, Биг Билл! Когда же тебя перевели на этот маршрут?

Неделю назад.

Второй шофер опускает пять центов в патефон, смотрит, как мембрана спускается на крутящийся диск. Голос Бинга Кросби — медовый: «Ты золотой загар, ты как стрела из лука — ты боль в висках, но ты не скука...» А Биг Билл напевает Мэй на ушко: ты боль в кишках, но ты не сука...

Мэй смеется. А кто это с тобой, Билл? Он первый раз по этому маршруту?

Второй шофер опускает пять центов в автомат, выигрывает четыре жетона и кладет их обратно. Подходит к стойке.

Ну, что вам подать?

Давай по чашке кофе. А торты какие?

Банановый торт, ананасный торт, шоколадный и яблочный.

Давай яблочный. Постой... а вот этот пухлый с чем?

Мэй поднимает торт и нюхает его. Банановый.

Отрежь кусок, да побольше.

Второй шофер говорит ей: два куска.

Есть — два. Новые анекдоты слышал, Билл?

Слышал. Сейчас расскажу.

Ты поосторожнее при даме.

Ничего, это безобидно. Мальчишка опоздал в школу. Учительница его спрашивает: «Ты почему опоздал?» А тот: «Я водил телку к быку». Учительница говорит: «Неужели отец сам не мог этого сделать?» А мальчишка отвечает: «Конечно, мог, только бык все-таки лучше».

Мэй заливается смехом, пронзительным, визгливым смехом. Эл аккуратно режет луковицу на доске, он смотрит на них, улыбается, потом снова опускает глаза. Шоферы — вот это люди! Оставят Мэй каждый по двадцать пять центов. Пятнадцать центов за торт и кофе, а десять — чаевые. И не заигрывают с ней.

Сидят рядом на табуретках, из кофейных чашек торчат ложки. Время проходит незаметно. А Эл скоблит противень, слушает

их разговор, но не вмешивается. Голос Бинга Кросби смолкает. Диск останавливается, и пластинка ложится на место. Лиловый свет тухнет. Монетка, которая привела в движение механизм патефона, заставила Кросби петь, а оркестр аккомпанировать ему,— эта монетка падает в ящик с выручкой. Пять центов, в отличие от многих других монет, проделали настоящую работу, вызвали нужную реакцию у машины.

Из кофейника бьет пар. Компрессор холодильника начинает тихо гудеть, потом замолкает. Вентилятор в углу медленно крутится из стороны в сторону, нагоняя в комнату теплый ветерок. По шоссе № 66 вихрем пролетают машины.

— А у нас недавно остановилась машина из Массачусетса,— сказала Мэй.

Биг Билл сидел, обхватив сверху чашку рукой, так что ложечка торчала у него между большим и указательным пальцем. Он громко потянул горячий кофе, стараясь остудить его.

— Ты бы поездила сейчас по шестьдесят шестому. Машин полно — изо всех мест. И все идут на Запад. Никогда такого движения не видел. Иной раз попадется красавица, просто глаз не отведешь.

— А мы сегодня видели аварию,— сказал его товарищ.— «Кадиллак» — громадный, наверно, сделан по специальному заказу. Красавец. Низкий, кремового цвета. И налетел на грузовик. Радиатор вмяло прямо в водителя. Девяносто миль делал, не меньше. Рулевой колонкой пропороло его насквозь, корчился, как лягушка на крючке. Красавица машина! Просто загляденье. А сейчас хоть задаром ее бери. Он один ехал, без шофера.

Эл поднимает глаза от плиты.

— А грузовик?

— Да это, собственно, и не грузовик был. Рыдван с отпиленным верхом. Набит посудой, матрацами, ребятишками, курами. Таких сейчас много, все идут на Запад. «Кадиллак» промчался мимо нас — обогнул на двух колесах,— а навстречу машина. Он — в сторону, а тут этот грузовик. Врезался в него на всем ходу. Пьяный, что ли, был? Одеяла, куры, ребятишки так и взлетели на воздух. Одного мальчонку убило. Просто в лепешку. Мы подъехали, а мужчина, который сидел за рулем, стоит и смотрит на мертвого мальчонку. Мы так ни слова от него и не добились. Молчит, будто немой. Сколько сейчас народу едет на Запад. Целыми семьями. Никогда такого не видал. И день ото дня все больше и больше. И откуда они только берутся?

— Не «откуда берутся», а куда едут? — сказала Мэй.— Иной раз и к нам сворачивают за бензином. Но, кроме бензина, редко

что покупают. Говорят, будто они воруют. Да у нас плохо ничего не лежит. Мы воровства не замечали.

Биг Билл, набивший рот тортом, взглянул в загороженное сеткой окно.— Ну, привязывай все свое добро на веревочки. Вот они, едут.

«Нэш» выпуска 1925 года устало свернул с шоссе. Заднее сиденье у него было завалено мешками, сковородками, кастрюлями, а на этой поклаже, задевая головами о крышу, сидели двое мальчиков. На крыше лежал матрац и свернутая палатка; шесты от нее были привязаны к подножке. Машина остановилась у бензиновой колонки. Из нее медленно вышел темноволосый мужчина с длинным худым лицом. Оба мальчика, соскользнув с поклажи, спрыгнули на землю.

Мэй обогнула стойку и остановилась в дверях. Человек был одет в серые шерстяные брюки и синюю рубашку, потемневшую от пота на спине и под мышками. На мальчиках одни комбинезоны, потрепанные, заплатанные. Волосы у них были светлые, подстриженные ежиком, и торчали, как щетина, лица в грязных подтеках. Они подбежали прямо к мутной луже под водопроводным краном и стали ковырять босыми пальцами грязь.

Человек спросил:

— Вы разрешите нам налить воды, мэм?

Мэй досадливо поморщилась.

— Да наливайте,— и тихо бросила через плечо: — Я послежу за шлангом.— Она смотрела, как он медленно отвинчивал головку радиатора и, отвинтив, вставил туда резиновый шланг.

Светловолосая женщина, сидевшая в машине, сказала ему:

— Спроси, может, здесь дадут.

Человек вынул шланг из радиатора и снова завинтил головку. Мальчики взяли шланг у отца, поставили его торчком и стали пить с жадностью. Человек снял свою темную, грязную шляпу и с какой-то странной приниженностью остановился перед загороженной сеткой дверью.

— Нельзя ли купить у вас хлеба, мэм?

Мэй ответила:

— Здесь не бакалейная лавочка. У нас хлеб идет на сандвичи.

— Я знаю, мэм.— В его приниженности чувствовалось упорство.— Нам нужен хлеб, а до магазинов, говорят, еще далеко.

— Продашь, а сама ни с чем останешься.— Ответ Мэй звучал нерешительно.

— Мы голодные,— сказал человек.

— Так купите сандвичи. У нас хорошие сандвичи, с котлетами.

— Мы бы рады купить, мэм. Да не можем. Надо обойтись десятью центами.— И добавил сконфуженно: — Деньги совсем на исходе.

Мэй сказала:

— Какого же вам хлеба за десять центов? У нас дешевле пятнадцати нет.

Эл буркнул:

— Да перестань, Мэй. Дай им хлеба.

— Сами не обойдемся. Когда еще привезут.

— Не обойдемся, и ладно,— сказал Эл и, нахмурившись, стал помешивать ложкой картофельный салат.

Мэй передернула полными плечиками и покосилась на шоферов: ну что, мол, с ним поделаешь!

Она открыла дверь, и человек вошел, внося с собой запах пота. Мальчуганы, протиснувшись следом за ним, пошли прямо к прилавку с конфетами и уставились на него во все глаза. Но во взгляде у них горела не жадность, не надежда, даже не желание отведать этих лакомств, а изумление: ведь существуют же такие чудеса на свете! Они были одного роста и на одно лицо. Один стоял, почесывая большим пальцем ноги грязную щиколотку. Другой тихо шепнул что-то ему на ухо, и оба вдруг сунули руки в карманы тонких синих штанишек, оттопырив их стиснутыми кулаками.

Мэй выдвинула ящик и достала оттуда длинный кирпичик хлеба, завернутый в вощеную бумагу.

— Вот пятнадцатицентовый.

Человек сдвинул шляпу на затылок и сказал все с той же приниженностью:

— А нельзя ли... может, вы отрежете на десять центов?

Эл рявкнул:

— Да брось ты, Мэй! Отдай все.

Человек повернулся к Элу.

— Нет, мы хотим только на десять центов. Приходится все точно рассчитывать, мистер, иначе не доберешься до Калифорнии.

Мэй покорно проговорила:

— Берите весь за десять центов.

— Зачем же вас грабить, мэм?

— Берите. Раз Эл позволяет, значит, берите.— Она двинула по стойке завернутый в вощеную бумагу хлеб. Человек достал из заднего кармана кожаный кисет, развязал шнурки и открыл его. Кисет был набит серебряной мелочью и засаленными бумажками.

— Может, вам чудно, что приходится вот так жаться,— извиняющимся тоном проговорил он.— Но у нас впереди тысяча миль,

«Гроздья гнева»

еще не знаю, доберемся ли.— Он порылся в кисете указательным пальцем, нащупал десятицентовую монету и вытащил ее. Положив монету на стойку, он увидел, что случайно прихватил еще один цент. Хотел сунуть цент обратно в кисет, но в эту минуту глаза его остановились на мальчуганах, застывших перед прилавком с конфетами. Он медленно подошел к ним. Показал на длинные полосатые леденцы.— Эти по центу штука, мэм?

Мэй посмотрела сквозь стекло.

— Которые?

— Вот эти, полосатые.

Мальчики подняли на нее глаза и перестали дышать; они стояли с открытыми ртами, их голые спины напряженно выпрямились.

— Эти?.. Нет... на цент пара.

— Тогда дайте мне две штучки, мэм.— Человек бережно положил медную монетку на прилавок. Мальчики чуть слышно перевели дух. Мэй достала два длинных леденца.

— Берите,— сказал человек.

Мальчики робко потянулись за конфетами, взяли по одной и, не глядя на нее, опустили руки вниз. Но они взглянули друг на друга, и уголки губ у них дрогнули в смущенной улыбке.

— Благодарю вас, мэм.— Человек взял хлеб со стойки и вышел за дверь, и мальчики напряженной походкой шагали за ним следом, каждый крепко прижимая к ноге кулак с полосатым леденцом. Они, как белки, прыгнули с переднего сиденья на высокую поклажу и, как белки, спрятались среди узлов.

Человек сел в машину, дал газ; дряхлый «нэш», пофыркивая и выпуская клубы голубого маслянистого дыма, выбрался на шоссе и снова пошел на Запад.

Шоферы, Мэй и Эл смотрели ему вслед.

И вдруг Биг Билл круто повернулся.

— Такие леденцы стоят не цент,— сказал он.

— А тебе какое дело? — огрызнулась Мэй.

— Им цена каждому пять центов,— продолжал Билл.

— Ну, поехали дальше,— сказал второй шофер.— Запаздываем.— Оба сунули руки в карман. Билл бросил на стойку монету; второй, увидев ее, снова полез в карман и положил свою монету рядом. Они повернулись на каблуках и зашагали к двери.

— Ну, всего,— сказал Билл.

Мэй остановила их:

— Подождите. А сдачу?

— Иди ты к черту! — крикнул Билл, и дверь за ними захлопнулась.

Мэй смотрела, как они садятся в большую грузовую машину, как она тяжело трогается с места на малом газе, потом, взвыв, переходит на обычную рейсовую скорость.

— Эл...— тихо проговорила она.

Эл поднял глаза от котлеты, которую он пришлепывал лопаткой, прежде чем завернуть в вощеную бумагу.

— Что тебе?

— Посмотри,— она показала на деньги, лежащие рядом с чашками,— две монеты по полдоллара.— Эл подошел к стойке, посмотрел на них и вернулся обратно.

— Шоферы,— благоговейно проговорила Мэй,— это вам не то дерьмо!

Мухи натыкались на проволочную сетку и с жужжанием улетали прочь. Компрессор снова загудел и умолк. По шоссе № 66 одна за другой проходили машины — грузовики, и обтекаемые красавицы легковые, и примусы на колесах; они злобно взвизгивали, проносясь мимо придорожного бара. Мэй собрала тарелки и счистила с них в ведро оставшиеся от торта кропки. Потом взяла мокрую тряпку и стала водить ею кругами по стойке. А глаза ее были прикованы к шоссе, по которому вихрем мчалась жизнь.

Эл вытер руки о передник. Посмотрел на бумажку, приколотую к стене над плитой. Там были какие-то отметки в три столбика. Эл подсчитал самый длинный. Потом, обогнув стойку, подошел к кассе, нажал регистр «О-О» и взял из ящика пригоршню монет.

— Ты что там делаешь? — спросила Мэй.

— Третий должен скоро выплатить,— ответил Эл. Он подошел к третьему автомату и опустил в него одну за другой несколько пятицентовых монет. После пятого раза в окошечке появились три полоски, и в чашку высыпался главный выигрыш. Эл забрал монеты горстью, вернулся к стойке, положил их в кассу и захлопнул ящик. Потом ушел на кухню и зачеркнул на бумажке самый длинный столбик.— К третьему чаще всего подходят,— сказал Эл.— Может, поменять их местами? — Он поднял крышку на кастрюле и стал мешать поставленное на медленный огонь тушеное мясо.

— И что они будут делать в Калифорнии? — сказала Мэй.

— Кто?

— Да вот эти, что только что заезжали.

— Это одному богу известно,— ответил Эл.

— Может, найдут там работу?

— А я почем знаю?

Мэй посмотрела на шоссе.

— Грузовик с прицепом. Остановится или нет? Хорошо бы

остановился.— И когда громадный грузовик тяжело свернул с шоссе и подъехал к бару, Мэй схватилась за свою тряпку и протерла всю стойку. Она не забыла почистить и блестящий кофейник и прибавила газу в горелке. Эл положил перед собой несколько маленьких репок и стал чистить их. В бар вошли двое шоферов, одетых в одинаковую форму, и Мэй сразу повеселела.

— А, сестричка!

— У меня братцев нет,— ответила Мэй. Они засмеялись, и Мэй тоже засмеялась.— Что вам подать, молодые люди?

— Давай кофе. А торты какие?

— Ананасный торт, банановый торт, шоколадный и яблочный.

— Давай яблочный. Или нет, подожди. А вот этот, пухлый?

Мэй взяла торт и понюхала его.

— Ананасный.

— Ладно, отрежь кусок.

Машины, злобно взвизгивая, вихрем проносились по шоссе № 66.

ГЛАВА XVI

Джоуды и Уилсоны пробирались на Запад одной семьей. Эл-Рено и Бриджпорт, Клинтон, Элк-Сити, Сэйр и Тексола. Тут проходила граница, и Оклахома осталась позади. И в этот день, как и в предыдущие, обе машины пробирались все дальше и дальше через Техас, Шемрок и Элленрид, Грум и Ярнелл. К вечеру проехали Амарильо — на дорогу ушел весь день — и в сумерках сделали привал. Все устали, пропылились насквозь, изнемогли на солнцепеке. У бабки начались судороги от жары, и она совсем ослабела.

Как только наступила темнота, Эл выломал где-то кол из ограды и сделал на грузовике перекладину для брезента. В этот вечер на ужин у них были только лепешки, оставшиеся от завтрака, сухие и холодные. Они повалились на матрацы и заснули, не раздеваясь. Уилсоны даже не стали разбивать палатку.

Спасаясь бегством, Джоуды и Уилсоны проезжали по техасскому выступу — по холмистой серой земле, испещренной рубцами прежних наводнений. Спасаясь бегством из Оклахомы, они попали в Техас. Черепахи пробирались сквозь пыль, солнце палило землю, и по вечерам небо остывало, но зной исходил от самой земли.

Это бегство продолжалось два дня, и на третий день дорога победила — обе семьи начали приспосабливаться к ней; шоссе стало их домом, движение — средством, которым они выражали себя вовне. Мало-помалу появилась привычка к этой новой жизни.

Первыми приспособились Руфь и Уинфилд, потом Эл, потом Конни и Роза Сарона и наконец — взрослые. Земля, по которой они ехали, вздымалась холмами, похожими на застывшие волны. Уилдорадо, и Вега, и Бойси, и Гленрио. Тут кончался Техас. Нью-Мексико и горы. Впереди, высоко взмыв в небо, стояли горы. Колеса обеих машин поскрипывали, двигатели были перегреты, из радиаторов бил пар. Они добрались до Пекос-Ривер и пересекли ее у Санта-Росы. И проехали еще двадцать миль.

Эл Джоуд вел легковую машину, рядом с ним сидела мать, а возле нее Роза Сарона. Впереди тащился грузовик. Раскаленный воздух ходил волнами над землей, и горы вдали дрожали от зноя. Эл сидел сгорбившись и правил машиной, свободно держа руку на штурвале руля; его серая шляпа была лихо сдвинута набекрень и почти прикрывала ему один глаз; время от времени он поворачивал голову влево и сплевывал на дорогу.

Мать рядом с ним всеми способами старалась противостоять усталости. Она сидела откинувшись назад, сложив руки на коленях, и ее тело и голова покачивались в такт движению машины. Она щурила глаза, всматриваясь в горы. Роза Сарона сопротивлялась толчкам, упираясь ногами в пол, положив правый локоть на оконную раму кабины. В ее круглом лице чувствовалось напряжение, а голова резко подергивалась, потому что шейные мускулы тоже были напряжены. Она старалась сидеть так, чтобы ее тело, как непроницаемый сосуд, охраняло плод от толчков. Она посмотрела на мать.

— Ма...

Взгляд у матери ожил, и она сосредоточила внимание на Розе Сарона. Ее глаза скользнули по напряженному, усталому лицу дочери, и она улыбнулась.

— Ма,— повторила Роза Сарона,— когда мы туда приедем, вы все пойдете на сбор фруктов и будете жить там?

Мать улыбнулась чуть иронически.

— Мы еще туда не приехали,— сказала она.— Кто знает, как там будет? Поживем — увидим.

— Мы с Конни больше не хотим жить на ферме,— сказала Роза Сарона.— У нас уже все решено.

По лицу матери пробежало беспокойство.

— Разве вы не хотите остаться с нами... в семье? — спросила она.

— Мы с Конни все обсудили. Ма, мы хотим жить в городе! — Роза Сарона говорила взволнованно.— Конни подыщет себе работу в мастерской или на фабрике. А дома он будет учиться, пройдет

какой-нибудь курс, радио например, а когда выучится, может, откроет свою мастерскую. Мы будем ходить в кино. И Конни говорит, что позовет доктора, когда мне придет время рожать, говорит: смотря по обстоятельствам, может, и в больницу тебя положим. И у нас будет своя машина, маленькая, недорогая. А когда он кончит учиться... знаешь, он уже вырезал бланк из журнала «Любовные приключения» и выпишет программу, потому что это высылается бесплатно. Там так и сказано. Я сама видела. А если пройдешь весь курс радио, так тебя даже на место устраивают. Хорошая, чистая работа, и есть на что надеяться впереди. И мы будем жить в городе, будем часто ходить в кино, а я... а я куплю электрический утюг и новое приданое для ребенка. Конни говорит — приданое купим все новое, беленькое... Ты видела в прейскурантах, какое есть детское приданое? Может, первое время, пока Конни будет учиться дома, нам будет нелегко, но... но когда я рожу, тогда, может, он уже кончит, и мы подыщем себе квартирку... совсем маленькую. Нам ничего особенного не нужно; только бы ребенку было хорошо...— Лицо у нее разгорелось от волнения.— Знаешь, о чем я еще думала? Может... может, нам всем лучше устроиться в городе? Конни откроет свою мастерскую... Эл будет у него работать.

Мать не отрывала глаз от ее раскрасневшегося лица. Мать следила, как растет этот воздушный замок.

— Нам бы не хотелось отпускать вас,— сказала она.— Нехорошо ломать семью.

Эл фыркнул:

— Чтоб я работал на Конни? Может, Конни на меня поработает? Дурак. Думает, кроме него, никто не может учиться по вечерам.

И мать вдруг поняла, что все это мечты. Она снова перевела взгляд на дорогу и села посвободнее, но усмешка так и осталась у нее в глазах.

— Как там бабка себя чувствует сегодня? — сказала она.

Руки Эла крепче сжали штурвал. В двигателе послышались стуки. Он прибавил газа, и стуки усилились. Он переставил зажигание на более позднее и прислушался, потом снова прибавил газа и снова прислушался. Стук перешел в металлическое лязганье. Эл дал гудок и съехал на край шоссе. Грузовик впереди остановился и, не разворачиваясь, медленно пошел назад. Мимо них на Запад промчались три машины, и каждая дала сигнал, а шофер последней высунулся из окна и крикнул:

— Где останавливаешься, дьявол!

Том подвел грузовик совсем близко, вылез и пошел к легковой машине. Сидевшие на верху грузовика смотрели на них вниз. Эл

опять переставил зажигание и прислушался к работавшему вхолостую мотору. Том спросил:

— Ну, что у тебя случилось?

Эл дал газ.

— Послушай.— Лязганье стало еще сильнее.

Том прислушался.

— Поставь раннее.— Он открыл капот и заглянул внутрь.— Теперь дай газ.— Он снова прислушался, потом закрыл капот.— Да, кажется, так и есть, Эл.

— Шатунный подшипник?

— По звуку похоже.

— Я масла не жалею,— уныло сказал Эл.

— Значит, не доходило. Пересохло все к чертовой матери. Ничего не поделаешь, надо менять. Ладно, я проеду немного вперед, подыщу ровное место для стоянки. А ты потише трогай. Как бы совсем не исковеркать.

Уилсон спросил:

— Плохо дело?

— Да, неважно,— ответил Том и, вернувшись к грузовику, медленно повел его вперед.

Эл продолжал свое:

— Не знаю, что такое приключилось. Я масла не жалел.— Вина была его, он знал это. Он сам чувствовал, что опростоволосился.

Мать сказала:

— Ты не виноват. Ты все делал, как нужно.— И потом робко спросила: — Трудно будет починить?

— Да ведь пока до него доберешься. Надо менять или заливать баббитом.— Он глубоко вздохнул.— Хорошо, Том здесь. Мне не приходилось менять подшипники. Может, Том умеет.

Впереди у дороги стоял громадный рекламный щит, отбрасывающий длинную тень. Том свернул с шоссе, переехал неглубокую придорожную канавку и остановил грузовик в тени. Он вылез из кабины, дожидаясь, когда подъедет Эл.

— Легче, легче,— крикнул он.— Не гони, а то еще рессору поломаешь.

Эл покраснел от злости и заглушил мотор.

— Иди ты к черту! — крикнул он.— Я, что ли, пережег подшипник? Тоже — говорит: «Еще рессору поломаешь!»

Том усмехнулся.

— А ты не кипятись. Я не в укор тебе. Только через канаву полегче.

Эл ворчал, осторожно переезжая канаву.

— Еще вобьешь кому-нибудь в голову, что это я виноват.— Двигатель грохотал вовсю. Эл въехал в тень и выключил его.

Том откинул капот.

— Пока не остынет, нельзя начинать.

Остальные вылезли из машин и сбились в кучку около «доджа».

Отец спросил:

— Серьезная поломка? — и присел на корточки.

Том повернулся к Элу.

— Тебе приходилось менять подшипники?

— Нет,— ответил Эл.— Никогда не приходилось. Картер снимал.

— Надо снять картер, раздобыть новый подшипник, расточить его, вставить и подтянуть. Целый день провозимся. Придется съездить назад в Санта-Росу, там купим. До Альбукерка миль семьдесят пять, не меньше... А черт! Завтра воскресенье. Завтра ничего не достанешь.

Все стояли молча. Руфь протиснулась к самой машине и заглянула внутрь, надеясь увидеть сломанную часть. Том продолжал вполголоса:

— Завтра воскресенье. В понедельник купим, а починку закончим, пожалуй, не раньше вторника. Без инструментов будет трудновато. Н-да, повозимся.

По земле пронеслась тень коршуна, и все подняли голову, глядя на паривщую в небе темную птицу.

Отец сказал:

— Чего я больше всего боюсь — это как бы нам не застрять посреди дороги без денег. И есть всем надо, и бензин надо покупать, и масло. Деньги выйдут, тогда просто не знаю, что и делать.

Уилсон сказал:

— Моя вина. Мало я возился с этой рухлядью? Вы уж и так для нас много сделали. Перекладывайте свои вещи и поезжайте дальше. Мы с Сэйри останемся, что-нибудь придумаем. Мы не хотим вас задерживать.

Отец медленно проговорил:

— Нет, так не годится. Мы с вами почти породнились. Дед умер в вашей палатке.

Сэйри устало ответила:

— Вам с нами одно беспокойство, одно беспокойство.

Том неторопливо свернул самокрутку, осмотрел ее со всех сторон и закурил. Потом снял свою потрепанную кепку и вытер ею лоб.

— Я вот что придумал,— сказал он.— Может, это вам не понравится, но дело вот какое: чем скорее вы доберетесь до Кали-

форнии, тем скорее и деньги будут. У этой машины ход раза в два лучше, чем у грузовика. Я предлагаю переложить часть вещей на грузовик, вы все в нем разместитесь, кроме меня и проповедника, и поедете дальше. А мы с Кэйси останемся здесь, починим машину и догоним вас, будем ехать день и ночь. А не догоним, не страшно, по крайней мере, вы уж станете на работу. В случае приключится что-нибудь, сворачивайте с дороги и ждите, а если все обойдется — доедете до места, найдете работу и с деньгами обернетесь. Кэйси мне поможет, мы живо вас догоним.

Все призадумались. Дядя Джон опустился на корточки рядом с отцом.

Эл спросил:

— А моя помощь тебе не нужна?

— Ты же сам говоришь, что никогда не менял подшипников.

— Это верно,— согласился Эл.— Тут надо крепкую спину иметь, больше ничего. А может, проповедник не захочет остаться.

— Ну, не он, так кто-нибудь другой. Мне все равно,— сказал Том.

Отец поскреб сухую землю указательным пальцем.

— По-моему, Том правильно говорит,— сказал он.— Всем здесь оставаться нет никакого смысла. До темноты можно сделать еще миль пятьдесят, а то и все сто.

Мать спросила встревоженным голосом:

— А как вы нас разыщете?

— Дорога-то одна,— ответил Том.— Шестьдесят шестым до самого конца — до Бейкерсфилда. Я смотрел по карте. Прямо туда и приедете.

— А если свернем в сторону — в самой Калифорнии?

— Ты не беспокойся,— сказал Том.— Разыщем как-нибудь. Калифорния — это тебе не весь белый свет.

— На карте она большая,— сказала мать.

Отец обратился за советом к дяде Джону:

— По-твоему — сто́ит?

— Сто́ит,— ответил Джон.

— Мистер Уилсон, машина ваша. Вы не будете противиться, если сын починит ее, а потом догонит нас?

— Конечно, не буду,— ответил Уилсон.— Вы нам стольким помогли. Пожалуйста! Пусть он так и делает, как решил.

— Если мы вас не скоро догоним, вы успеете устроиться на работу и денег немного скопите,— сказал Том.— А что будет, если все останутся здесь? Воды поблизости нет, машину вашу с места не сдвинешь. Теперь прикинем по-другому: вы все доедете до места и получите работу. Значит, деньги будут, а может, и домик себе подыщете. Кэйси, ты как? Останешься со мной, поможешь?

— Как вам лучше, так я и сделаю,— ответил Кэйси.— Вы взяли меня с собой, везете в своей машине. Решайте сами, я на все согласен.

— Если останешься, так будешь у меня валяться на спине, все лицо перемажешь маслом,— сказал Том.

— Что ж, пожалуйста.

Отец сказал:

— Ну, если решили, так давайте двигаться. До привала, может, еще сотню миль выжмем.

Мать стала перед ними.

— Я не поеду.

— То есть как так не поедешь? Тебе нельзя оставаться. У тебя вся семья на руках.— Отец не ожидал такого бунта.

Мать подошла к легковой машине и, просунув руку в дверцу заднего сиденья, пошарила по полу. Она вытащила оттуда домкрат и выпрямилась, легко раскачивая его из стороны в сторону.

— Я не поеду,— сказала она.

— Нет, поедешь. Мы так решили.

Но губы матери были твердо сжаты. Она тихо проговорила:

— Меня только силой отсюда увезешь.— Она медленно раскачивала домкрат.— Смотри, отец, сраму не оберешься. Бить себя я не позволю, плакать, молить не стану. Я тебе сдачи дам. Сладишь ли ты со мной? А если сладишь, вот клянусь тебе богом, я свое выжду. Повернешься ко мне спиной или сядешь на землю, а я тебя сзади ведром. Клянусь господом богом, не вру!

Отец беспомощно огляделся по сторонам.

— Вот расхрабрилась! — сказал он.— Никогда с ней этого раньше не было.

Руфь визгливо захохотала.

Домкрат кровожадно покачивался в руке матери.

— Ну, подходи,— сказала она.— Ты уж все решил. Подходи, бей. Попробуй, что получится. Я не поеду, а если увезешь силой, так не знать тебе больше покоя. Я долго буду ждать, но своего дождусь: ты уснешь, закроешь глаза, а я тебя поленом.

— Вот расхрабрилась-то! — пробормотал отец.— И уж годы как будто не те.

Остальные следили со стороны за этим бунтом. Они следили за отцом, ожидая, что он вот-вот придет в ярость. Они следили за его руками, которые должны были вот-вот сжаться в кулаки. Но отец не рассердился, его руки висели вдоль туловища. И тогда все поняли, что мать победила. И мать сама поняла это.

Том сказал:

— Ма! И какая тебя муха укусила? Для чего ты все это затеяла? Что с тобой такое? Испугалась, что ли?

Лицо матери смягчилось, но глаза у нее все еще сверкали гневом.

— Решить-то вы решили, а как следует не подумали,— сказала она.— Что у нас осталось в жизни? Только мы сами, больше ничего. Только семья и осталась. Не успели сдвинуться с места, дед первый ноги протянул. А теперь вы же сами хотите разбить семью...

Том воскликнул:

— Ма! Да мы вас догоним. Мы не долго здесь задержимся.

Мать мотнула домкратом.

— А что, если мы сделаем привал, а вы проедете мимо? Что, если мы доберемся туда и не будем знать, где оставить о себе весточку, и вы не будете знать, где о нас спрашивать? — Она помолчала.— Мы еще хватим горя в дороге. Бабка совсем плохая. Того и гляди, пойдет за дедом. Она устала, сил у нее больше нет. Дорога у нас длинная, мы еще хватим горя.

Дядя Джон сказал:

— Да ведь там можно заработать. Успели бы скопить немного, пока другие не приехали.

Взгляды всех снова устремились к матери. Теперь она была главарем. Она взяла власть в свои руки.

— Эти деньги добра не принесут,— сказала она.— У нас только и осталось что семья. Когда волки нападают на стадо, коровы держатся кучкой. Мне ничего не страшно, пока мы все вместе,— все, кто еще жив, а разбивать семью я не позволю. С нами Уилсоны и проповедник. Если они захотят уехать, я ничего не скажу, а если мои отобьются друг от друга, тогда... вот он, домкрат, меня не удержите.— Тон у нее был холодный и решительный.

Том сказал умиротворяюще:

— Здесь нам нельзя оставаться, ма. Воды нет. И тени нет. Бабку надо положить в тени.

— Хорошо,— сказала мать.— Мы поедем дальше. Остановимся там, где будет тень и вода. Грузовик вернется и отвезет тебя в город. Купишь там все, что нужно, и приедешь обратно. Не плестись же пешком по такой жаре. Да я тебя одного и не пущу — вдруг арестуют, а заступиться будет некому.

Том втянул губы и громко причмокнул. Потом беспомощно развел руками и уронил их вдоль бедер.

— Па,— сказал он,— если б ты подхватил ее с одной стороны, я с другой, остальные навалились бы всей кучей да бабка села бы сверху, тогда, может, мы бы с ней и справились. Ну, там двоих-троих она уложила бы домкратом, не больше. Но тебе, наверно, неохота лишаться головы, а у матери все козыри на руках. Вот что один решительный человек может сделать. Вертит другими,

как ему вздумается. Ну, победила, ма. Только убери ты эту штуку подальше от греха.

Мать с удивлением посмотрела на домкрат. Рука ее дрогнула. Она бросила свое оружие на землю, а Том с подчеркнутой осторожностью поднял его и положил на прежнее место, в машину. Он сказал:

— Ну, па, теперь можешь быть спокоен. Эл, забирай всех на грузовик, найдешь место для привала и возвращайся обратно. А мы с проповедником снимем картер. Посмотрим, как дело пойдет, может, еще успеем съездить в Санта-Росу. Может, и достанем, что нужно, ведь сегодня суббóта. Только поторапливайтесь, чтобы не задерживать нас. В грузовике есть французский ключ и плоскогубцы, дай-ка их сюда.— Он просунул руку под низ машины и пощупал испачканный маслом картер.— Да, вот еще что. Принеси мне какую-нибудь жестянку, старое ведро, что ли. Я масло спущу. Зачем добру зря пропадать.

Эл подал ему ведро, Том подставил его под картер мотора и ослабил плоскогубцами пробку. Пока он отвинчивал ее пальцами, черное масло заливало ему руку, а затем бесшумной струей хлынуло в ведро. Эл усадил всех на грузовик. Том выглянул из-за колеса; лицо у него было перепачкано маслом.

— Поскорее возвращайся! — И когда грузовик осторожно переехал неглубокую канаву и двинулся по шоссе, он уже отвинчивал болты картера — понемножку, один за другим, чтобы не испортить прокладку.

Проповедник стал сбоку на колени.

— Ну, говори, что делать?

— Пока ничего не надо. Вот масло вытечет, я отвинчу болты, тогда вместе опустим картер.— Он совсем уполз под машину, ослабляя болты ключом и поворачивая их пальцами. Наконец все было отвинчено, и он оставил болты только на последней нитке резьбы, чтобы не уронить картер.— Земля все еще горячая,— сказал Том. И потом спросил: — Слушай, Кэйси, ты что-то все помалкиваешь последние дни. Почему? Когда мы с тобой повстречались, ты чуть не каждые полчаса речь держал. А за эти два дня и десяти слов не вымолвил. Приуныл, что ли?

Кэйси лежал на животе, заглядывая под машину. Он подпирал рукой подбородок, заросший редкой щетиной. Шляпа у него была сдвинута на затылок и прикрывала ему шею полями.

— Я, когда был проповедником, на всю жизнь наговорился,— ответил он.

— Да, но ведь ты иной раз и дело говоришь.

— Неспокойно мне,— сказал Кэйси.— Сейчас, как вспомню, так, выходит, я здорово блудил, когда был проповедником. Если

не буду больше проповедовать, надо жениться. Знаешь, Томми, уж очень охота разбирает.

— Меня тоже,— сказал Том.— Когда я вышел из Мак-Алестера, так прямо сам не свой был. Подцепил какую-то шлюху. Что потом было, этого я тебе не скажу. Этого я никому не скажу.

Кэйси засмеялся.

— Я знаю, что потом было. Я раз ушел в пустыню, постился там, а когда вышел, со мной то же самое было.

— Ври больше,— сказал Том.— Денег на это я не потратил, но девочке здорово досталось. Думала, я рехнулся. Заплатить-то следовало, да у меня было при себе всего пять долларов. Она сказала, ей никаких денег не нужно. Ну, залезай сюда, держи. Сейчас я его освобожу. Ты отверни вот этот болт, а я свой, тогда легко пойдет. Осторожнее с прокладкой. Весь целиком выйдет. Старый «додж» — всего четыре цилиндра. Мне приходилось такой разбирать. Коренные подшипники громадные, как дыня. Ну... спускай... подхватывай. Просунь руку, там сальник держит... легче. Есть! — Картер лежал между ними на земле, и в корытцах у него все еще поблескивало масло. Том вынул из одного корытца кусок баббита.— Вот,— сказал он и повертел его пальцами.— Вал стоит коленом кверху. Принеси-ка ручку, она там, сзади. Проверни немного, пока я не крикну.

Кэйси поднялся, нашел заводную ручку и приладил ее.

— Можно?

— Давай... легче... еще немного... еще... так.

Кэйси опустился на колени и заглянул под машину. Том покачал шатунный подшипник на коленчатом валу.

— Вот в чем все дело,— сказал он.

— А почему так получилось? — спросил Кэйси.

— Да черт его знает. Этот рыдван лет тридцать бегает по дорогам. Спидометр показывает шестьдесят тысяч миль. Значит, на самом деле сто шестьдесят тысяч, а сколько раз стрелку переводили назад, одному богу известно. Перегрев сильный, может, когда-нибудь масла не хватило, вот и расплавился.— Он вынул шплинты, захватил ключом головку болта и сделал крутой поворот. Но ключ соскользнул. На руке осталась глубокая ссадина. Том посмотрел на нее,— кровь сразу выступила из раны и, смешиваясь с маслом, потекла в картер.

— Дело дрянь,— сказал Кэйси.— Дай я отверну, а ты завяжи руку.

— Вот еще! Да у меня никогда так не бывало, чтобы возиться с машиной и не порезаться. Порезал, значит, все в порядке, беспокоиться нечего.— Он снова взял ключ.— Жаль, гаечного нет,— и, ударяя ладонью по рукоятке ключа, мало-помалу отвер-

нул все болты. Потом вынул их и положил в картер, туда же, где лежали картерные болты и шплинты. Вынул шатун с поршнем и тоже положил их в картер.— Ну, слава богу, сделано! — Он вылез из-под машины, вытащил за собой картер, обтер руку тряпкой и осмотрел рану.— Хлещет, черт ее подери! Сейчас остановим.— Он помочился, подобрал с земли пригоршню грязи и приложил ее к ране. Кровь почти сразу остановилась.— Лучше этого средства нет,— сказал он.

— Паутина тоже помогает,— сказал Кэйси.

— Да. Только паутину не всегда достанешь; а мочу — пожалуйста, когда угодно.— Он сел на подножку и стал рассматривать расплавленный подшипник.— Найти бы где-нибудь «додж» двадцать пятого года. Сдерем с него все, что нужно,— может, наладим. И куда это Эл заехал к чертям на кулички?

Тень от плаката протянулась теперь футов на шестьдесят. Время шло. Кэйси сел на подножку и посмотрел на запад.

— Скоро поедем через высокие горы,— сказал он и, помолчав, окликнул: — Том!

— Да?

— Том, я присматривался к машинам, которые проезжали мимо нас и мимо которых мы сами проезжали. И все одно и то же.

— Что одно и то же?

— Том, на Запад едем не мы одни, таких семей сотни. Я все присматривался. На Восток никто не едет. Ты разве сам не заметил?

— Заметил.

— Да ведь они... будто от войска какого бегут. Будто вся страна снялась с места.

— Да,— сказал Том.— Вся страна снялась с места. Мы тоже снялись.

— А что, если... если ни мы, ни другие не найдем там работы?

— Иди ты к черту! — крикнул Том.— Откуда я знаю, что будет? Я шагаю левой ногой, шагаю правой, только и всего. Так и в Мак-Алестере было четыре года подряд: войдешь в камеру, выйдешь из камеры, в столовую — из столовой. Я надеялся, на воле будет по-другому. И в тюрьме старался ни о чем не думать, чтобы не рехнуться, и сейчас то же самое.— Он повернулся к Кэйси.— Вот расплавили подшипник. Заранее этого никто не знал, никто и не беспокоился. Сейчас поломка налицо — будем чинить. Так и во всем остальном надо поступать. Я зря беспокоиться не намерен. Не хочу зря беспокоиться. Вот кусочек железа и баббит. Видишь их? Видишь? Вот вся моя забота, больше у меня никаких забот нет. Куда это Эл запропастился?

Кэйси сказал:

— Нет, ты послушай, Том... А черт! И слов не подберешь, какие нужно.

Том снял нашлепку грязи с руки и отшвырнул ее в сторону. По краям рану окаймляла темная полоска. Он взглянул на проповедника.

— Я вижу, ты настроился разглагольствовать. Ну что ж, валяй. Я люблю послушать. У нас надзиратель то и дело произносил речи. Вреда нам от этого никакого не было, а ему одно удовольствие. Ну, что там у тебя накопилось?

Кэйси пощипывал ногтями длинные узловатые пальцы левой руки.

— Сейчас всякие дела творятся, и многих людей это коснулось. Люди шагают левой ногой, шагают правой, как ты говоришь, и не задумываются над тем, куда идут, но путь у них одинаковый, у всех одинаковый. Ты прислушайся, как все движется, ползет потихоньку, шуршит... прислушайся, какое во всем этом беспокойство. Сейчас всякие дела творятся, а люди, которых это коснулось, ничего еще не знают... до поры до времени. Люди сдвинулись с места, едут на Запад, дома у них стоят пустые. И все это должно привести к чему-то. К чему-то такому, что перевернет всю страну.

Том сказал:

— А я знаю одно: шагнул левой, шагнул правой.

— Да, но если тебе встретится изгородь, ты и через изгородь полезешь?

— Надо будет, полезу,— сказал Том.

Кэйси вздохнул:

— Пожалуй, так лучше. Я с тобой согласен. Но ведь изгороди бывают разные. И люди разные. Есть вот вроде меня: изгородь еще не поставлена, а они уж лезут, не дожидаются.

— Это не Эл там едет? — спросил Том.

— Да. Похоже — он.

Том встал и завернул шатун и нижнюю крышку подшипника в кусок дерюги.

— Надо взять на образец, чтобы не ошибиться,— сказал он.

Грузовик остановился у края шоссе, и Эл выглянул из кабины.

Том сказал:

— Где тебя черти носили? Далеко уехали?

Эл вздохнул.

— Вынул шатун?

— Вынул.— Том протянул ему сверток.— Баббит сработался.

— Я тут ни при чем,— сказал Эл.

— Конечно, ни при чем. Куда ты их отвез?

— У нас там дела! — сказал Эл.— Бабка вдруг начала выть, а глядя на нее, и Роза заплакала. Сунула голову под матрац и плачет. Бабка лежит и воет, как собака на луну. Она, похоже, совсем разум потеряла. Как маленькая. Ее спрашивают, а она не отвечает и никого не узнает. Говорит, говорит — и все будто к деду обращается.

— Где ты их оставил? — допытывался Том.

— Мы подъехали к лагерю. Там и тень есть и водопровод. За стоянку берут полдоллара; да все так устали, вымотались,— решили там остаться. Мать говорит: ничего не поделаешь, уж очень бабка измучилась. Раскинули уилсоновскую палатку, и наш брезент тоже в дело пошел. Бабка, видно, совсем стала полоумная.

Том посмотрел на заходящее солнце.

— Кэйси,— сказал он,— кому-то надо остаться при машине, а то с нее все сдерут. Ты как?

— Ладно. Останусь.

Эл взял бумажный мешок, лежащий рядом с ним на сиденье.

— Вот тут мать прислала хлеба с мясом, и вода у меня есть.

— Она никого не забудет,— сказал Кэйси.

Том сел в кабину рядом с Элом.

— Значит, так,— сказал он.— Мы постараемся поскорее вернуться. Но сколько у нас на это времени уйдет, заранее не угадаешь.

— Я буду здесь.

— Ладно. Не разглагольствуй тут сам с собой. Поехали, Эл.— Грузовик двинулся по шоссе в свете убывающего дня.— Он хороший малый,— сказал Том.— Все думает, думает.

— Проповеднику так и полагается. Эх, отец обозлился, что с нас взяли пятьдесят центов! И за что? За то, что машину остановили под деревом. Никак он этого не поймет. Ругается на чем свет стоит. Скоро, говорит, будут воздухом торговать. А матери хочется, чтобы бабка полежала в тени и чтобы вода была под руками.

Грузовик грохотал на ходу: теперь, когда тяжелая поклажа была снята, все в нем гремело и лязгало — борта, платформа. Он шел легко, вздрагивая всем кузовом на неровностях дороги. Эл дал скорость тридцать восемь миль в час, двигатель стучал, сквозь щели в полу пробивался голубой дымок.

— Сбавь немного,— сказал Том.— Пережжешь к чертовой матери. Что же это с бабкой стряслось?

— Да не знаю. Она последние два дня дулась, слова ни с кем не хотела сказать, помнишь? А сейчас болтает без умолку, все будто с дедом. Кричит на него. Слушать страшно. Будто он и на самом деле сидит и ухмыляется, глядя на нее, как раньше,— поче-

сывается да ухмыляется. Она точно видит его. Отчитывает на все корки. Да! Отец велел дать тебе на всякий случай двадцать долларов. Неизвестно, сколько понадобится. Ты раньше видел, чтобы мать так бунтовала?

— Нет, не припомню. Нечего сказать, угадал я, когда выйти из тюрьмы. Думал, вернусь домой, пошатаюсь на свободе, вставать буду поздно, есть сколько влезет. Думал, гулять буду, на вечеринках танцевать, блудить вволю. А вышло так, что и минутки свободной на это нет.

Эл сказал:

— Я и забыл. Ма много чего наговорила; велела тебе передать, чтобы ты не пил, и ни с кем не связывался, и драки не затевал. Боится, как бы тебя опять не упекли.

— У нее и так много забот, я подбавлять не стану,— сказал Том.

— Ну, по кружке пива мы все-таки выпьем. Уж очень хочется.

— Не стоит,— сказал Том.— Па узнает, что мы потратились на пиво, рассвирепеет.

— Да нет, слушай. У меня есть свои шесть долларов. Выпьем по кружке и сходим к девочкам. Про эти деньги никто не знает. Эх, и погуляем мы с тобой!

— А ты их прибереги,— сказал Том.— Вот приедем в Калифорнию, такое поднимем веселье, что небу жарко станет. Может, когда будем работать...— Он повернулся к Элу.— А я и не знал, что ты на девочек тратишься. Я думал, ты их уговором берешь.

— Да ведь я здесь никого не знаю. Если будем вот так мотаться по дорогам, возьму и женюсь. Вот только в Калифорнию приехать, я там покажу.

— Дай бог,— сказал Том.

— Ты уж, кажется, во всем разуверился.

— Да, разуверился.

— А когда ты убил того парня, тебе... тебе потом это не снилось? Мучился ты?

— Нет.

— И никогда об этом не вспоминал?

— Ну как не вспоминать — вспоминал. Мне его жалко было.

— А ты не каялся?

— Нет. В тюрьме-то ведь я сидел, не кто другой.

— Очень там... плохо было?

Том резко проговорил:

— Слушай, Эл. Я свое отсидел, и кончено. Нечего вспять обращаться. Вон там река, а за ней город. Давай поищем шатун, а на остальное плюнем.

— Ма в тебе души не чает,— сказал Эл.— Так горевала, когда тебя засадили! И все втихомолку. Слезы у нее будто в горле стоят, а наружу не прорываются. Но мы все равно понимали, каково ей.

Том надвинул кепку на глаза.

— Слушай, Эл, давай о чем-нибудь другом поговорим.

— Да я только про ма рассказываю.

— Знаю, знаю. А все-таки не надо. Все-таки лучше так: шагнул левой, шагнул правой и ни о чем другом не задумывайся.

Эл обиженно замолчал.

— Да я просто так, рассказываю,— проговорил он через минуту.

Том взглянул на него, но Эл смотрел прямо перед собой. Без поклажи грузовик грохотал на каждой выбоине. Том открыл в улыбке свои длинные зубы и негромко засмеялся.

— Ладно, Эл. Я, наверно, еще не могу забыть тюрьму. Может, когда-нибудь потом, попозже все расскажу. Тебе просто любопытно узнать, вот ты и спрашиваешь. А я решил выбросить это из головы. Может, дальше будет по-другому. А сейчас стоит только вспомнить, и будто все переворачивается внутри. Я тебе, Эл, только одно скажу: тюрьма свое дело делает медленно, да верно,— она сводит человека с ума. Понял? Там все тронутые; ты их видишь, слышишь, а под конец и сам в себе начинаешь сомневаться — тронутый ты или нет. Иной раз поднимут крик ночью, а тебе кажется, это ты кричишь... бывает, что и на самом деле кричишь.

Эл сказал:

— Я больше не буду, Том.

— Месяц — ничего,— продолжал Том.— И полгода тоже ничего. А когда перевалит за год, ну тогда... Это ни с чем не сравнишь. Нельзя людей сажать под замок, не годится так делать! Да ну, к черту! И говорить об этом не хочу. Посмотри, как солнце в окнах играет.

Грузовик подъехал к тянувшимся одна за другой заправочным станциям; по правую сторону дороги был склад автомобильного лома — участок в акр величиной, обнесенный высокой проволочной изгородью. Ближе к дороге стоял сарай из рифленого железа с грудой подержанных шин у входа, на которых были проставлены цены. Позади сарая виднелась лачуга, сколоченная из старья — из старых досок и жести. Вместо окон — автомобильные ветровые стекла. В траве — лом: машины с покореженными, продавленными радиаторами, израненные машины, валяющиеся на боку без колес. Посреди двора и у стены сарая — покрытые ржавчиной двигатели. Груда хлама — крылья, борта с грузовиков, колеса, оси; и надо всем этим витал дух тления, плесени, ржавчины; покореженное железо, выпотрошенные моторы, кучи обломков.

Эл подъехал по блестящей от масла дороге к сараю. Том вылез и заглянул в темный квадрат двери.

— Никого не видно,— сказал он.— Есть тут кто-нибудь?

— Неужели у них не найдется «доджа» двадцать пятого года?

В глубине сарая хлопнула дверь. Из темноты вышел человек, похожий на призрак. Тощий, грязный, с испачканным маслом, туго обтянутым кожей, исхудалым лицом. Одного глаза у него не было, и когда он поводил другим, здоровым, мускулы пустой глазницы подергивались; брюки и рубашка на нем лоснились от масла, руки были все в ссадинах и рубцах, кожа на них потрескалась; толстая нижняя губа брюзгливо выступала вперед.

Том спросил:

— Ты здесь хозяин?

Глаз сверкнул в его сторону.

— Я работаю на хозяина,— последовал брюзгливый ответ.— А что надо?

— Старый «додж» двадцать пятого года не найдется? Нам нужен шатун.

— Не знаю. Хозяин сказал бы, да его нет. Домой уехал.

— А самим нельзя посмотреть?

Одноглазый высморкался в ладонь и вытер ее о брюки.

— Вы здешние?

— Нет, с Востока, едем на Запад.

— Ищите сами. Можете хоть весь двор спалить, мне все равно.

— А ты, верно, своего хозяина не очень обожаешь?

Человек подошел ближе, волоча ноги, и сверкнул на Тома глазом.

— Видеть его не могу,— тихо проговорил он.— Не могу видеть этого сукина сына. Уехал. Домой к себе покатил.— Он уже не мог остановиться.— Сукин сын! Такую привычку себе завел... цепляется, дразнит. У него дочь — девушка лет девятнадцати, красивая. Так он спрашивает: «Хотел бы ты на ней жениться?» Это он меня спрашивает! А сегодня говорит: «Вечером будут танцы. Может, пойдешь?» Это он мне говорит — мне! — Слезы выступили у него на глазах, покатились из красной глазницы по щеке.— Я не я буду, а приберегу для него гаечный ключ! Он, когда заводит такие разговоры, смотрит на мой больной глаз. Я... я этим ключом ему голову сверну, завинчу покрепче и начну полегоньку поворачивать.— Он задыхался от ярости.— Полегоньку буду поворачивать — вот так, вот так...

Солнце спряталось за горами. Эл посмотрел во двор на поломанные машины.

— Том, гляди: по-моему, это двадцать пять или двадцать шесть.

Том повернулся к одноглазому:

— Можно взглянуть?

— Да смотрите. Берите все что нужно.

Пробираясь между мертвыми автомобилями, они направились к дряхлой закрытой машине, стоявшей на спущенных камерах.

— Так и есть, двадцать пятого года! — крикнул Эл.— Картер можно отвернуть?

Том опустился на колени и заглянул под машину.

— Уже отвернут. И одного шатуна не видно.— Он заполз дальше.— Эл, возьми ручку, поверни разок.— Он покачал шатун на валу.— Все залеплено маслом.

Эл медленно поворачивал заводную ручку.

— Легче! — крикнул Том. Он поднял с земли щепку и соскреб с подшипника застывшее масло.

— Не разболтан?

— Самую малость, это ничего.

— Очень изношен?

— Прокладки есть, целы еще. Хорош будет. Крутни еще разок, только полегче. Легче, легче. Ну вот, теперь сбегай за инструментами.

Одноглазый сказал:

— Инструменты я вам дам.— Он заковылял между дряхлыми машинами к сараю и вскоре вернулся с жестяным ящиком. Том нашел среди инструментов торцовый ключ и протянул его Элу.

— Отверни. Только осторожнее с прокладками и с пальцем, да не сверни болты. Не копайся, скоро совсем стемнеет.

Эл залез под машину.

— А не мешало бы обзавестись торцовым ключом,— крикнул он.— С одним французским плохо.

— Скажи, если один не справишься.

Одноглазый с беспомощным видом стоял рядом с машиной.

— Я помогу, если нужно,— сказал он.— А знаете, что этот сукин сын еще придумал? Приходит как-то в белых брюках и говорит: «Пойдем покатаю тебя на своей яхте». Я не я буду, если не сверну ему шею.— Он дышал тяжело.— Я как окривел, так с тех пор с женщиной не был. А он мне такие вещи говорит! — И крупные слезы, промывая бороздки в грязи, покатились по его лицу.

Том нетерпеливо сказал:

— Что же ты здесь торчишь? Ведь тебя не под стражей держат?

— Тебе легко говорить. Найти работу, да кривому — это не так просто.

Том круто повернулся к нему.

— Слушай, друг. Ты на себя погляди хоть одним глазом. Грязный весь, разит от тебя. Ты сам во всем виноват. Тебе нравится причитать над собой. Где уж тут думать о женщинах с таким глазом. Надень повязку да умойся. И никого ты не убьешь, что зря-то болтать.

— Попробовал бы ты пожить с одним глазом! И видишь не так, как другие. С расстоянием никак не сообразуешься. Все кажется плоским.

Том сказал:

— Чепуха! Я знал одну шлюху, у нее ноги не было. Думаешь, она по дешевке брала, где-нибудь в подворотнях? Нет, брат! Ей сверх положенного еще полдоллара приплачивали. Она говорила: «Много ли ты раз с безногой спал? Да ни разу! Получишь, говорит, особое удовольствие, а за это гони еще полдоллара». И платили, честное слово. Да считали за счастье. Она уверяла, что приносит удачу. А еще я знал горбуна в Мак... в одном месте. Он тем и жил, что давал другим потрогать свой горб за деньги. Это тоже удачу приносило. А ты жалуешься!

Одноглазый проговорил, запинаясь:

— Все тебя сторонятся, поневоле таким станешь.

— Да надень ты повязку на свой глаз. Нечего его выставлять, как корова задницу. Тебе нравится над собой ныть. А ноешь зря. Купи себе белые брюки. Ты, наверно, все больше пьяный валяешься да плачешь. Помочь тебе, Эл?

— Нет,— ответил Эл.— С подшипником я уже справился. Хочу поршень осадить.

— Голову не ушиби,— сказал Том.

Одноглазый тихо спросил:

— Думаешь... я еще могу понравиться кому-нибудь?

— А то как же,— сказал Том.— Говори всем, что у тебя кое-что другое выросло с тех пор, как ты окривел.

— А вы куда едете?

— В Калифорнию. Всей семьей. Думаем работу там поискать.

— А как по-твоему, для такого, как я, там работа найдется? Ничего, что у меня будет черная повязка?

— Конечно, найдется. Ты же не калека.

— А вы меня не подвезете?

— Где там! Мы сами еле ползем — так нагрузились. Ты как-нибудь по-другому устраивайся. У тебя тут много всякого старья, собери машину да поезжай.

— Может, и на самом деле? — сказал одноглазый.

Под машиной что-то звякнуло.

— Готово,— сказал Эл.

— Ну, вылезай, посмотрим.

Эл протянул ему поршень с шатуном и половинку нижней головки подшипника.

Том протер залитый баббитом подшипник и осмотрел его.

— Как будто в порядке,— сказал он.— Эх, черт! Будь бы фонарь, сегодня бы кончили.

— Слушай, Том,— сказал Эл.— Я вот о чем думаю. Обжимки-то у нас нет. Знаешь, какая будет возня с кольцами?

Том сказал:

— Мне как-то посоветовали обкрутить кольца тонкой латунной проволокой, она зажмет.

— А как ты ее потом снимешь?

— Снимать не надо. Сама расплавится.

— Тогда лучше медную.

— Латунь крепче,— сказал Том.— Он повернулся к одноглазому: — Найдется у тебя латунная проволока?

— Кто ее знает. Кажется, одна катушка есть. А где можно достать такую повязку на глаз?

— Я не знаю,— сказал Том.— Пойдем поищем проволоку.

Катушку они нашли в сарае, среди ящиков. Том зажал шатун в тиски и тщательно обмотал проволокой поршневые кольца, плотно натягивая ее на них и постукивая кое-где молотком. Потом насадил кольца на поршень и вставил их в поршневые канавки. Провел по поршню пальцами, проверяя, легло ли заподлицо. В сарае быстро темнело. Одноглазый принес карманный фонарь и направил его луч на поршень.

— Ну, готово,— сказал Том.— Слушай, сколько возьмешь за фонарь?

— Да он плохой. За новую батарейку я заплатил пятнадцать центов. Ладно, давай тридцать пять.

— Есть. А сколько за шатун и поршень?

Одноглазый потер лоб костлявыми пальцами и соскреб с него слой грязи.

— Просто и не знаю. Если бы хозяин был здесь, он проверил бы по прейскуранту, что сто́ит такая новая часть, и, пока ты тут возишься, успел бы разнюхать, серьезная ли поломка и сколько у тебя денег, и за то, за что по прейскуранту следует восемь долларов, запросил бы пять. Начнешь торговаться, сбавит до трех. Вот ты во всем винишь меня, а ведь он, ей-богу, сукин сын. Видит, что не обойтись, и прижимает. Иной раз за шестерню больше сдерет, чем сам за всю машину заплатил.

— Ну а все-таки, сколько я тебе должен?

— Давай доллар, что ли.

— Ладно. И еще за ключ получай двадцать пять центов. Нам с ним куда легче будет.— Том протянул ему деньги.— Спасибо. И послушай меня, надень повязку на свой глаз.

Том и Эл сели в машину. Было уже совсем темно. Эл включил зажигание и дал свет в фары.

— Ну, прощай,— крикнул Том,— может, увидимся в Калифорнии.— Они развернулись на шоссе и поехали в обратный путь.

Одноглазый стоял, глядя им вслед, потом пошел через сарай к себе в лачугу. Там было темно. Он ощупью пробрался к матрацу на полу, лег и заплакал, а машины, вихрем проносившиеся по шоссе, все плотнее и плотнее окружали его стеной одиночества.

Том сказал:

— Если бы ты только заикнулся вначале, что мы сделаем все за один вечер, я бы тебя сумасшедшим обозвал.

— Сегодня обязательно кончим,— сказал Эл.— Только ты сам все делай. Я боюсь, затянешь подшипник посильнее — расплавится, недотянешь — стучать будет.

— Ладно,— сказал Том.— Расплавится так расплавится. Ничего не попишешь.

Эл вглядывался в темноту. Света фар было недостаточно, чтобы разогнать ее, но впереди на дороге, попав на минуту в их лучи, зеленым огнем блеснули глаза кошки.

— А здорово ты его отчитал,— сказал Эл.— Поучил уму-разуму.

— Да он, дурак, сам на это напрашивался. Ноет, все свои беды сваливает на глаз. А сам обленился, ходит грязный. Может, возьмется за ум, когда будет знать, что люди его насквозь видят.

Эл сказал:

— Том, я не виноват, что подшипник пережгли.

Том помолчал минуту.

— Я тебя вздую, Эл. Заладил одно и то же,— боишься, что на тебя всю вину свалят. Я-то понимаю, в чем дело. Молодой ты еще, мальчишка, всех хочешь за пояс заткнуть. Хочешь, чтобы ни сучка ни задоринки не было. Да не лезь ты на рожон, когда тебя не трогают. Вот и хорошо будет.

Эл ничего не ответил. Он смотрел прямо перед собой. Грузовик с грохотом и лязганьем катил по дороге. Сбоку на шоссе метнулась кошка, Эл круто свернул на нее, но колеса пронеслись мимо, и кошка отпрыгнула назад, в траву.

— Самую малость промахнулся,— сказал Эл.— Том! Ты слышал, Конни все говорит, как он будет учиться по вечерам? Я думаю, может, мне тоже стоит? Ну там радио, телевидение или дизель-моторы. Начнешь с этого, а дальше, глядишь, пристроишься куда-нибудь.

— Может, и пристроишься,— сказал Том.— Только ты сначала узнай, сколько с тебя сдерут за обучение. И подумай, сможешь учиться или нет. У нас в Мак-Алестере были такие, учились. Да я не припомню, чтобы кто-нибудь до конца все одолел. Надоест, и бросают.

— Эх! А поесть-то мы ничего не купили.

— Ма и так много прислала. Проповедник всего не съест. Оставит.

— Сколько нам еще ехать в эту Калифорнию?

— Ей-богу, не знаю. Доползем как-нибудь.

Они замолчали, темнота сгустилась, и звезды на небе горели ярким белым светом.

Кэйси поднялся с заднего сиденья «доджа» и подошел к краю дороги, куда подъехал грузовик.

— Я не ждал вас так скоро,— сказал он.

Том сложил части на кусок дерюги.

— Нам повезло. И фонарь раздобыли. Сейчас примемся за дело.

— Вы забыли еду с собой взять,— сказал Кэйси.

— Вот кончим, тогда поедим. Эл, съезжай с дороги да иди посвети мне.— Он подошел к «доджу», лег на спину и подлез под него. Эл лег на живот и протянул под машину руку с фонарем.— В глаза светишь, подними выше.— Том всунул поршень в цилиндр. Проволочная обмотка задела за стенку цилиндра. Быстрым движением он протолкнул поршень дальше.— Хорошо, что свободно идет.

— Только бы кольца не завальцевались,— сказал Эл.

— Поэтому я ее молотком и расплющил. Ничего, не съедет. Расплавится и, может, еще стенки покроет.

— А царапин не останется?

Том рассмеялся.

— Эти стенки видали виды. Вон они как масло пропускают. Одной царапиной больше, одной меньше — это ерунда.— Он надел на вал шатун и потрогал его нижнюю головку.— Еще можно подтянуть. Эй, Кэйси!

— Ну?

— Я сейчас поставлю нижнюю крышку. Пойди поверни ручку, только помедленнее. Я тебе крикну.— Он подвинтил болты.— Ну, давай. Легче, легче.— Вал повернулся. Прокладок многовато,— сказал Том.— Стой, Кэйси.— Он вывинтил болты, снял несколько прокладок и опять привернул болты.— Ну, Кэйси, поверни еще разок.— Он попробовал шатун.— Немного болтается.

А если еще вынуть прокладку, как бы не заело. Сейчас посмотрим.— Он снова отвернул болты и снял два слоя тонкой фольги.— Ну, Кэйси, давай!

— Сейчас, кажется, хорошо,— сказал Эл.

Том крикнул:

— Как у тебя, Кэйси, туже идет?

— Да нет.

— Ну ладно. Надо думать, приработается. Баббит не пришабришь без инструмента. А с торцовым ключом куда легче!

Эл сказал:

— Хозяин хватится — где ключ, а его нет. Вот обозлится-то.

— Это не наше дело,— сказал Том.— Мы его не украли. Ну, кажется, все в порядке. Кэйси, ты посвети, а мы с Элом поставим картер.

Кэйси опустился на колени и взял фонарь. Он направил свет на их руки, осторожно вставлявшие на место болты и прокладку. Том и Эл с трудом держали тяжелый картер, и Том один за другим привернул болты.

— Ну, готово дело.— Он завинтил масляную пробку, внимательно оглядел картер, потом взял у Кэйси фонарь и посветил вокруг себя.— Кажется, все. Теперь давайте нальем масло.

Они вылезли из-под машины и влили масло через сапун. Том проверил, нет ли утечки.

— Ну так, Эл. Садись попробуй.

Эл залез в машину и нажал кнопку стартера. Мотор работал с ревом. Из выхлопной трубы повалил синий дым.

— Заглуши! — крикнул Том.— Масло будет гореть, пока проволока не расплавится.— Он внимательно вслушался в обороты двигателя.— Включи зажигание, дай холостой.— Он снова прислушался.— Ладно, Эл, выключи. Как будто все в порядке. Теперь дайте мне поесть.

— А ты механик хоть куда,— сказал Эл.

— Ну еще бы. Я целый год работал в мастерской. Первые двести миль поедем на малом газе. Пусть приработается.

Они вытерли вымазанные маслом руки сначала о траву, потом о штаны. И с жадностью накинулись на вареную свинину, запивая ее водой из бутылки.

— Ух! И проголодался я! — сказал Эл.— Что же мы теперь будем делать — поедем в лагерь?

— Не знаю,— сказал Том.— В этом лагере, пожалуй, сдерут с нас еще полдоллара. Поедем поговорим с нашими. Надо им сказать, что машина в порядке. А если потребуют за стоянку, двинемся дальше. Им, поди, хочется знать, как тут у нас. А хорошо,

что ма настояла на своем. Эл, посвети мне. Ничего не забыли? Возьми ключ. Он еще понадобится.

Эл осветил фонарем землю.

— Как будто ничего.

— Ладно. «Додж» поведу я. Ты садись в грузовик.— Том завел мотор. Проповедник сел к нему. Том вел машину медленно, а Эл следовал за ним в грузовике. Том осторожно перебрался через неглубокую канаву. Он сказал: — Эти «доджи» могут целый дом свезти на малом газе. Теперь туже идет. Нам это на руку — приработается.

«Додж» медленно шел по шоссе. Двенадцативольтовые фары бросали на бетон блики желтоватого света.

Кэйси повернулся к Тому.

— Удивляюсь вашему уменью. Раз-два — и готово. Я хоть и видел сейчас, как это делается, а сам в жизни бы не починил.

— К машине надо привыкать с детских лет,— сказал Том.— Тут дело не в знаниях. Этого одного мало. Теперь мальчишки шутя мотор разбирают.

Заяц, попавший в свет фар, легко несся впереди «доджа», и его длинные уши взлетали кверху при каждом прыжке. Он нет-нет да и делал попытку свернуть с дороги в сторону, но плотная стена темноты словно отталкивала его от себя. Далеко впереди блеснули автомобильные фары, и свет их дотянулся до машины Тома. Заяц остановился в нерешительности, потом повернул и прянул к тусклым фарам «доджа». Колеса прошли по нему, мягко подкинув машину. Встречный автомобиль промчался мимо.

— Раздавили,— сказал Кэйси.

Том ответил:

— Некоторые любят их давить. А у меня каждый раз мороз по коже. На слух двигатель работает хорошо. Проволока, наверно, расплавилась. Не так дымит.

— Вы здорово все починили,— сказал Кэйси.

В центре лагеря стоял маленький деревянный дом, а на крыльце этого дома с шипением горел газолиновый фонарь, отбрасывавший широкий круг белого света. Неподалеку от дома было разбито несколько палаток, возле палаток стояли машины. Вечерняя стряпня была закончена, но в кострах около стоянок все еще тлели угли. У крыльца, где горел фонарь, собралась небольшая кучка мужчин, их лица казались резкими и изможденными в ярком белом свете, подбородки — массивными, широкие поля шляп отбрасывали густые тени на лбы и глаза. Кто сидел на сту-

пеньках, кто стоял возле, опираясь локтями о настил крыльца. Хозяин — поджарый, угрюмый человек — сидел на стуле, откинувшись вместе с ним к стене. Он барабанил пальцами по колену. В комнате горела керосиновая лампа, но ее тусклый огонек не мог спорить с ярким светом шипевшего на крыльце фонаря. Хозяин был центром всей группы.

Том подвел свой «додж» к краю дороги и остановился. Эл проехал на грузовике в ворота.

— Я не буду въезжать,— сказал Том. Он вылез из машины и пошел прямо на яркий свет фонаря.

Хозяин опустил передние ножки стула на пол и наклонился вперед.

— Хотите остановку сделать?

— Нет,— ответил Том.— Своих ищу. Па, ты здесь?

Отец, сидевший на нижней ступеньке, сказал:

— Я думал, вы там на целую неделю застрянете. Ну как, починили?

— Нам здорово повезло,— сказал Том.— Все, что нужно, купили еще до темноты. Завтра чуть свет можно двинуться.

— Вот и хорошо,— сказал отец.— Ма беспокоится: бабка у нас совсем рехнулась.

— Мне уж Эл рассказывал. Ну как, ей не лучше?

— Хоть заснула, и то слава богу.

Хозяин сказал:

— Если остановитесь на ночь, платите пятьдесят центов. За эти деньги получите место, воду и хворост. Никто вас не потревожит.

— Это еще зачем? — сказал Том.— Проспим ночь в канаве у дороги. За это платить не надо.

Хозяин забарабанил пальцами по колену.

— По ночам тут ходит шерифский понятой. Может придраться. В нашем штате под открытым небом ночевать не разрешается — такой закон. И насчет бродяжничества тоже есть законы.

— А если я заплачу вам полдоллара, значит, я уже не бродяга, так?

— Правильно.

Том злобно сверкнул на него глазами.

— А шерифский понятой вам случайно не зять?

Хозяин подался вперед.

— Нет, не зять. И не пришло еще то время, когда всякие пришлые, всякие бродяги нас тут учить будут.

— Брать с нас по полдоллара вы сами умеете, этому вас учить не надо. Но с каких это пор мы попали в бродяги? Здесь

никто ничего не клянчит. Выходит, мы все тут бродяги? Разве у вас кто клянчит денег?

Люди на крыльце слушали этот разговор в напряженном молчании. Их лица ничего не выражали, а глаза, скрытые полями шляп, украдкой поглядывали на хозяина.

Отец буркнул:

— Перестань, Том.

— Ладно, перестану.

Люди, сидевшие на ступеньках, стоявшие у высокого крыльца, молчали. Их глаза поблескивали, отражая яркий свет газолинового фонаря, черты казались резкими в резком свете. Они сидели неподвижно и только поводили глазами, посматривая то на хозяина, то на Джоуда, но лица их были непроницаемы и спокойны. Ночная бабочка со всего размаха налетела на фонарь, разбилась и упала в темноту.

В одной из палаток жалобно заплакал ребенок, мягкий женский голос утешал его, потом тихо затянул песенку: «Спи, господь тебя лелеет. Баю-бай, баю-бай. Спи, господь тебя хранит. Баю-бай, баю-бай».

Фонарь на крыльце шипел. Хозяин запустил руку в вырез рубашки и почесал заросшую седыми волосами грудь. Он сидел настороженный, готовый к ссоре. Он присматривался к окружающим его людям, присматривался к их лицам. Но люди сидели неподвижно.

Том долго молчал. Потом медленно поднял свои темные глаза на хозяина.

— Я скандалить не собираюсь,— сказал он.— Когда тебя обзывают бродягой, это нелегко стерпеть.— И тихо добавил: — Я не боюсь. Кулаков не пожалею ни на вас, ни на шерифского понятого. Только какой от этого будет прок?

Люди зашевелились, переменили позы, их поблескивающие глаза медленно поднялись, глядя на рот хозяина, их глаза следили за его губами. Хозяин осмелел. Он чувствовал, что победа за ним, но этого было недостаточно, чтобы перейти в наступление.

— Неужели у тебя нет пятидесяти центов?

— Есть. Но они мне понадобятся. Я не стану тратить их на ночевку.

— На хлеб надо всем зарабатывать.

— Правильно,— сказал Том.— Только лучше так зарабатывать, чтобы не отнимать хлеб у других.

Люди снова зашевелились. Отец сказал:

— Мы завтра чуть свет выедем. Послушайте, мистер, ведь мы заплатили. Он с нами вместе. Разрешите ему остаться. Ведь мы заплатили.

— Полдоллара с машины,— сказал хозяин.

— Да он без машины. Машина стоит на дороге.

— Он приехал на машине,— сказал хозяин.— Так каждый сделает — оставит машину за воротами, а сам будет здесь торчать бесплатно.

Том сказал:

— Ладно. Мы поедем дальше. Утром встретимся. Будем вас поджидать. Эл пусть останется, возьмем дядю Джона.— Он взглянул на хозяина: — Так согласны?

Хозяин принял решение быстро, пойдя на уступку:

— Если останется столько человек, за сколько заплачено, тогда согласен.

Том вынул из кармана кисет, успевший превратиться в затасканный грязный мешочек с отсыревшей табачной пылью на дне. Он свернул тонкую самокрутку и швырнул кисет в сторону.

— Мы скоро двинемся,— сказал он.

Отец заговорил, обращаясь ко всем вообще.

— Нелегко вот так бросить все и сняться с места. А место у нас было обжитое. Мы не голь какая-нибудь. Мы жили на своей ферме, пока нас не выгнали оттуда трактором.

Худощавый молодой человек с выгоревшими до желтизны бровями медленно повернул к нему голову.

— Издольщики? — спросил он.

— Да, издольщики. Раньше сами были хозяевами.

Молодой человек отвернулся от него.

— Мы тоже,— сказал он.

— Хорошо, что хоть недолго осталось мыкаться,— сказал отец.— Мы едем на Запад, будем работать, подыщем участок с водой.

Около самого крыльца стоял человек в брюках, протертых на коленях до дыр. На лице у него, там, где пыль смешалась с потом, были грязные разводы. Он мотнул головой в сторону отца.

— У вас, должно быть, денег много.

— Денег у нас мало,— сказал отец.— А народу много, и все работящие. Что заработаем, пойдет в общий котел. Как-нибудь выкарабкаемся.

Оборванец выслушал отца с широко раскрытыми глазами и вдруг рассмеялся, и смех его перешел в визгливое хихиканье. Все повернулись к нему. Хихиканье перешло в кашель. Когда он совладал наконец с приступом смеха и кашля, глаза у него были красные, слезящиеся.

— Ты думаешь, там... Ой, не могу! — Он снова захихикал.— Ты думаешь, тебе там... хорошие деньги будут платить?..— И, пе-

рестав смеяться, насмешливо проговорил: — Может, пойдешь на сбор апельсинов? Или на сбор груш?

Отец ответил с достоинством:

— Какую работу предложат, такую и возьмем. Там всего много.

Оборванец слабо захихикал.

Том повернулся к нему и сердито сказал:

— А что тут смешного?

Оборванец сжал губы и хмуро уставился в дощатый пол крыльца.

— Вы, наверно, едете в Калифорнию?

— Я тебе сам это сказал,— ответил отец.— Подумаешь, какой догадливый!

Оборванец медленно проговорил:

— А я... я оттуда возвращаюсь. Я уж там побывал.

Лица быстро повернулись к нему. Все напряженно ждали. Фонарь перестал шипеть, и в нем что-то протяжно охнуло. Хозяин опустил передние ножки стула на пол, встал, подлил газолина в резервуар, и в фонаре зашипело по-прежнему. Хозяин сел на место, но не откинулся к стене. Оборванец оглядел повернувшиеся к нему лица.

— Еду обратно на голодовку. Лучше уж голодать, чем там быть.

Отец сказал:

— Что ты выдумываешь? Про хорошие заработки написано в листках, а недавно я и в газете читал: там нужны люди на сбор фруктов.

Оборванец посмотрел на отца.

— А тебе есть куда вернуться?

— Нет,— ответил отец.— Нас согнали. Трактор прошел возле самого дома.

— Значит, назад не вернетесь?

— Конечно, нет.

— Тогда я не буду тебя расстраивать,— сказал оборванец.

— Да я и не собираюсь расстраиваться. У меня есть листок, там сказано, что люди нужны. Какой им смысл зря писать? Такие листки стоят денег. Не будь нужды в людях, их не стали бы печатать.

— Не стану тебя расстраивать.

Отец сердито сказал:

— Сболтнул черт-те что, а на попятный идти не хочешь. У меня в листке написано: люди нужны. А ты подымаешь меня на смех и говоришь, что нет, не нужны. Кто же из нас врет?

Оборванец посмотрел в сердитые глаза отца. Взгляд у него был грустный.

— В листке написано правильно,— сказал он.— Люди нужны.

— Чего же ты смеешься, только людей мутишь?

— Потому что ты не знаешь, какой там нужен народ.

— То есть как так?

Оборванец собрался с духом.

— Слушай,— сказал он.— Сколько им человек надо?

— Восемьсот, и это только в одном месте.

— Оранжевый листок?

— Д-да...

— Там и фамилия стоит... такой-то — агент по найму?

Отец полез в карман и вытащил оттуда сложенный пополам листок.

— Правильно. Откуда ты знаешь?

— Слушай,— продолжал оборванец.— Это все чепуха. Ему нужно восемьсот рабочих. Он печатает пять тысяч таких листков, а прочитывают их, может, двадцать тысяч человек. Тысячи две-три двинутся с места — из тех, у кого уж голова кругом пошла от горя.

— Да смысл-то какой во всем этом? — крикнул отец.

— А ты сначала повидай человека, который выпускает такие листки. Повидай его или того, кого он там поставил распоряжаться всеми делами. Поживи в палатке у дороги, где по соседству будет еще семей пятьдесят таких же, как твоя. Этот человек заглянет к тебе, посмотрит, осталась ли у вас еда. Если увидит, что пусто, тогда спросит: «Хочешь получить работу?» Ты скажешь: «Конечно, хочу, мистер. Спасибо вам». А он скажет: «Ладно, я тебя возьму». Ты спросишь: «Когда выходить?» Он тебе все объяснит: и куда прийти, и к какому часу — и уйдет. Ему, может, нужно всего двести рабочих, а он поговорит с пятьюстами, а эти еще другим расскажут. Вот ты приходишь туда, а там дожидается тысяча человек. Тогда он объявит: «Плачу двадцать центов в час». Половина, может, уйдет. А те, кто останется, они уж так наголодались, что и за корку хлеба готовы работать. У этого агента контракт на сбор персиков или, скажем, на сбор хлопка. Теперь понимаешь, в чем дело? Чем больше набежит народу да чем они голоднее, тем меньше он будет платить. А когда ему попадаются многосемейные, с малыми ребятами... э-э, да ладно! Я же сказал, что не буду тебя расстраивать.

Лица у слушателей были холодные. Глаза оценивали каждое слово оборванца. Он смутился.

— Сказал, что не буду расстраивать, а сам... Ведь ты все равно поедешь. Назад не вернешься.

На крыльце наступила тишина. Фонарь шипел, вокруг него ореолом носились ночные бабочки. Оборванец торопливо заговорил:

— Я посоветую тебе, что делать, когда вот такой агент будет звать вас на работу. Слушай! Ты его спроси, сколько он платит. Пусть он тебе напишет это на бумаге. Пусть напишет. Я вам всем говорю, вас одурачат, если вы этого не сделаете.

Хозяин наклонился вперед, чтобы лучше видеть этого оборванного, грязного человека. Он сказал холодно:

— А ты не из бунтовщиков? Ты не из тех, кто всякую агитацию разводит?

Оборванец крикнул:

— Нет! Ей-богу, нет!

— Их тут много шляется,— продолжал хозяин.— Только народ мутят. Головы всем задуряют. Пройдохи — их тут много шляется. Дайте только срок, мы этих бунтовщиков приберем к рукам. Выгоним отсюда. Хочешь работать — пожалуйста. Не хочешь — проваливай к дьяволу. Подстрекать не позволим.

Оборванец выпрямился.

— Я хотел предостеречь вас,— снова заговорил он.— У меня целый год ушел, пока я не разобрался во всем этом. Сначала двоих ребят схоронил, жену схоронил. Да ведь вам не втолкуешь, я знаю. Мне тоже не втолковали. Да разве расскажешь про то, как ребятишки лежат в палатке со вздутыми животами, а сами кожа да кости, дрожат мелкой дрожью, скулят, что твои щенята, а я бегаю, ищу работы... хоть какой-нибудь, не за деньги! — крикнул он.— Да хоть за чашку муки, за ложку сала. А потом является следователь. «Причина смерти — недостаток сердечной деятельности». Так и записал. Да... дрожат мелкой дрожью, а животы вздутые...

Слушатели совсем притихли. Рты у них были полуоткрыты, они дышали часто, прерывисто и не сводили с оборванца глаз.

Оборванец оглядел всех, повернулся и быстрыми шагами отошел от крыльца. Темнота сразу поглотила его, он исчез, но шаги, шаркающие шаги, слышались долго. По шоссе промчалась машина, и ее фары на миг осветили его: он шел, низко опустив голову, засунув руки в карманы черного пиджака.

Люди, собравшиеся у крыльца, беспокойно задвигались. Кто-то сказал:

— Ну что ж... время позднее. Надо спать.

Заговорил хозяин:

— Бездельник какой-нибудь. Таких сейчас много шатается.— И замолчал. Потом откинулся вместе со стулом к стене и почесал шею.

Том сказал:

— Я пойду повидаюсь с матерью, а потом мы поедем дальше.

Джоуды отошли от крыльца.

Отец сказал:

— А что, если он говорил правду?

Ему ответил проповедник:

— Конечно, правду. Свою правду. Он ничего не выдумывал.

— А мы как же? — спросил Том.— Для нас это тоже правда?

— Не знаю,— сказал Кэйси.

— Не знаю,— сказал отец.

Они подошли к палатке — к переброшенному через веревку брезенту. Внутри было темно и тихо. При их приближении на земле у входа что-то зашевелилось и поднялось на уровень человеческого роста. Это мать встала им навстречу.

— Все спят,— сказала она.— Бабка тоже уснула.— И, увидев Тома, спросила испуганно: — Как ты сюда попал? Все благополучно?

— Починили,— ответил Том.— Можем ехать дальше вместе с вами.

— Слава господу богу,— сказала мать.— Мне уж здесь не сидится. Поскорее бы туда, где зелень кругом, где приволье. Поскорее бы доехать.

Отец откашлялся.

— А там один рассказывал...

Том дернул его за руку.

— Да, интересно было послушать,— сказал Том.— Народу, говорит, туда едет видимо-невидимо.

Мать приглядывалась к ним в темноте. Под брезентовым навесом кашлянула и засопела во сне Руфь.

— Я их помыла,— сказала мать.— За всю дорогу первый раз хватило воды на купанье. И для вас осталось два ведра. В дороге одна пачкотня.

— Все здесь? — спросил отец.

— Все, кроме Конни и Розы. Они решили спать на воле. Говорят, жарко под одеялом.

Отец проворчал:

— Все ей плохо, этой Розе. Уж очень стала привередливая.

— Первый ребенок,— сказала мать.— Они оба прямо трясутся над ним. Ты сам такой же был.

— Ну, мы поехали,— сказал Том.— Свернем с дороги где-нибудь неподалеку. Может, мы вас не заметим, так вы сами посматривайте. Будем с правой стороны.

— Эл остается?

— Да. Вместо него поедет дядя Джон. Прощай, ма.

Они пошли через спящий лагерь. Возле одной из палаток ровным огнем горел маленький костер; женщина следила за котелком, в котором варился ранний завтрак. Вкусно запахло фасолью.

— Вот бы съесть тарелочку,— вежливо сказал Том, проходя мимо.

Женщина улыбнулась.

— Еще не готово, а то я бы угостила,— сказала она.— Приходите утром пораньше.

— Благодарю вас, мэм,— ответил Том.

Он, Кэйси и дядя Джон прошли мимо крыльца. Хозяин все еще сидел на стуле, фонарь горел ярко и шипел. Хозяин поглядел на них.

— Газолину в фонаре мало,— сказал Том.

— Да уж закрывать пора.

— Денежки по шоссе больше не катятся? — спросил Том.

Передние ножки стула опустились на пол.

— Ты брось задирать. Я тебя запомнил. Ты тоже из бунтовщиков.

— Правильно,— сказал Том.— Я большевик.

— Слишком много вас развелось за последнее время.

Том засмеялся и, выйдя из ворот, сел в машину. Садясь, он прихватил ком земли и швырнул его в шипящий фонарь. Они услышали, как стукнуло об стену, увидели, что хозяин вскочил со стула и стал вглядываться в темноту. Том включил зажигание и выехал на дорогу. Он внимательно прислушивался к работе мотора, прислушивался, не стучит ли. Шоссе уходило вдаль, еле виднеясь в слабом свете фар.

ГЛАВА XVII

Машины кочевников сползались с боковых дорог на шоссе, пересекающее всю страну, и шли к Западу. Днем они, как букашки, бежали на Запад, а когда в пути их заставала темнота, сбивались, как букашки, в кучу, поближе к жилью и к воде. Люди жались друг к другу, потому что их мучало чувство одиночества и растерянности, потому что все они бежали из тех мест, где их настигло горе, поражение, бежали на новое место — незнакомое, таинственное для них. Они говорили друг с другом, они делились и пережитым, и хлебом, и надеждами на будущее в новой стране. И бывало так, что какая-нибудь одна семья делала привал у воды, а вслед за ней здесь же делала привал и другая, соблазнившись и водой и компанией, и третья, которая видела, что первые посе-

лонцы довольны своей стоянкой. И глядишь, к заходу солнца там остановится двадцать семей — двадцать машин.

Вечером происходили странные вещи: двадцать семей становились одной семьей, дети — общими детьми. Потеря родного угла становилась общей потерей, счастливая жизнь там, на Западе,— общей мечтой. И бывало так, что из-за болезни одного ребенка отчаянье охватывало двадцать семей или сто человек. И сто человек соблюдали тишину всю ночь и благоговели, зная, что вон в той палатке рожает женщина, а утром сто человек радовались появлению новой человеческой жизни. Семья, которую еще накануне мучило чувство одиночества и страха, ворошила свой скарб в поисках подарка для новорожденного. Вечером у костра двадцать семей сливались в одну. И эта одна семья была ячейкой, которая существовала один вечер, одну ночь. Из свертка одеял извлекалась гитара, ее настраивали, и ночью звучали песни — песни о народе. Мужчины пели их со словами, а женщины подтягивали одну мелодию.

Каждую ночь этот мир строился заново, и в нем было все — и дружба и вражда: в нем были хвастуны и трусы, были тихие люди, скромные люди, добрые люди. Каждой ночью в нем завязывались отношения между людьми, без чего не может существовать ни один мир, и каждым утром он снимался с места, словно бродячий цирк.

Попадая в эти миры, которые возникали и рушились у них на глазах, люди сначала робели, но мало-помалу такое строительство становилось для них привычным делом. Тогда вперед выходили вожаки, тогда устанавливались правила, рождались законы. И по мере того как эти миры подвигались к Западу, они становились все более совершенными и благоустроенными, потому что строители их имели теперь опыт за плечами.

Семьи узнавали, что существуют права, которые следует отстаивать: право побыть одному в собственной палатке; право хранить в сердце память о черных днях; право поговорить, послушать; право отклонить или принять помощь, предложить ее самому или отказать в ней; право сына ухаживать за девушкой, дочери — принимать ухаживания; право голодного на кусок хлеба; права беременных и больных, которые превыше всех других прав.

И семьи узнавали, хотя никто их этому не учил, что некоторые права несут с собой зло и их надо искоренять: право нарушить чье-нибудь уединение, нарушить тишину, когда весь лагерь спит, право совратить, изнасиловать, право на разврат, воровство и убийство. Эти права уничтожались, потому что маленькие мирки не могли бы просуществовать и одну ночь, не оградив себя от них.

И по мере того как миры подвигались к Западу, правила становились законами, хотя людей никто этому не учил. Незаконно пачкать вблизи лагеря; незаконно загрязнять воду где бы то ни было; незаконно есть сытную вкусную пищу на виду у голодных и не делиться с ними.

А там, где существовали законы, там существовали и наказания — наказания всего двух степеней: короткая жестокая драка или остракизм; остракизм был хуже. Ибо если ты нарушил закон, твое имя и твое лицо всегда с тобой, и тебе нет места ни в одном мире, где бы этот мир ни создавался.

Общественные устои здесь были четко определены и жестки: человек должен был сказать «здравствуйте» при встрече, человек мог жить с женщиной, если уж он сошелся с ней, стал отцом и защитником ее детей. Но он не мог спать сегодня с одной, а завтра с другой, потому что это угрожало благополучию всех.

Семьи продвигались на Запад, и техника строительства этих миров совершенствовалась, и обитатели их чувствовали себя в безопасности; формы общежития были выработаны твердо, и семья знала, что соблюдение всех правил обеспечивает ей покой и безопасность.

Сами собой возникали органы власти, с вожаками, со старейшинами. Умный видел, что его ум нужен на каждой стоянке: глупый так и оставался со своей глупостью. И эта ночная жизнь рождала нечто вроде страховки. Человек, у которого была еда, кормил голодного и тем самым страховал самого себя от голода. И когда умирал ребенок, у входа в палатку появлялась кучка монет, потому что ребенка надо хотя бы похоронить как следует, если он не взял от жизни ничего другого. Где-нибудь на пустыре можно зарыть старика, но не ребенка.

Для постройки таких миров требовались данные физического порядка: в первую очередь вода — речка, ручей или даже оставленный без призора водопроводный кран. Кроме того, был нужен ровный участок, где разбить палатки, немного дров или хвороста, чтобы развести костер. Если поблизости была свалка мусора — тем лучше: там можно найти нужные в обиходе вещи — печную трубу, погнутое автомобильное крыло — им загораживают костер от ветра, консервные банки — в них варят, из них едят.

По ночам вдоль шоссе возводились миры. Люди сворачивали с дороги и отдавали строительству то, что у них было: палатку, сердце, мозг.

Утром палатки убирали, брезент свертывали, шесты привязывали к подножке, постели клали в одно место, посуду в другое. И по мере продвижения на Запад семьи постепенно осваивали технику постройки жилья по вечерам и разрушения его с первы-

ми утренними лучами; свернутые палатки клались на свое место, кухонная посуда — счетом — на свое, в ящик. И по мере продвижения машин на Запад каждый член семьи свыкался со своим местом, со своими обязанностями; каждый член семьи — и старый и малый — знал свое место в машине; а поздними душными вечерами, когда машины подъезжали к лагерю, каждый член семьи знал свои обязанности и выполнял их, не дожидаясь чьих-нибудь указаний; ребятишки собирали хворост, приносили воду; мужчины разбивали палатки, раскладывали матрацы; женщины стряпали ужин, кормили семью. И все это делалось сразу, без понукания. Семьи, жизнь которых была раньше ограничена стенами дома — ночью, и полями — днем, привыкли теперь к другим границам. И в жаркие дневные часы они молча сидели в машинах, которые медленно шли на Запад, а по ночам сливались на стоянках с окружающими их людьми.

Они изменили свою жизнь так, как во всей вселенной может изменить ее только человек. Они уже больше не фермеры, они кочевники. И думы, расчеты, сосредоточенное молчание, посвящавшиеся раньше полям, теперь посвящались дороге, долгому пути, Западу. Человек, мысль которого работала раньше в пределах акров, теперь считал мили узкой ленты бетона. И в его думах, в его заботах уже не было места дождю, ветру, пыли и всходам. Глаза следили за шинами, уши прислушивались к стукам мотора, внимание было занято маслом, горючим, тонким слоем резины между воздухом и асфальтом. И сломанная шестерня была трагедией. Вода вечером — мечтой... Вода и ужин на костре. Здоровье — это значило, что путь не будет прерван посредине; здоровье — это была тяга, желание ехать все дальше и дальше. Воля, устремленная вперед, обгоняла их самих, страхи, которые рождала раньше угроза наводнения или засухи, теперь могло вызвать только то, что приостанавливало медленное движение на Запад.

Места привалов уже не менялись — их отделял один от другого день пути.

В дороге некоторые семьи охватывала паника, они ехали днем и ночью, спали в машинах, они спешили на Запад, спасаясь бегством от дороги, от самого движения. Им так хотелось поскорее осесть, устроиться, что они не сводили глаз с дороги и ехали, не давая отдыха дребезжащим машинам.

Но большинство семей быстро приспособилось и вошло в ритм новой жизни. И на закате...

Пора подыскивать место для привала.

А вон впереди палатки.

Машина сворачивала с дороги и останавливалась; и так как другие семьи обосновались здесь первыми, надо было держаться

как можно учтивее. Мужчина, глава семьи, выглядывал из кабины.

Можно здесь остановиться — переспать ночь?

Пожалуйста. Для нас такое соседство большая честь. Вы из какого штата?

Издалека, из Арканзаса.

Вон в той палатке тоже арканзасцы — четвертая с краю.

Да не может быть!

И самый важный вопрос: как с водой?

На вкус, правда, неважная, но ее сколько хочешь.

Спасибо вам.

Не за что.

Но учтивость ценилась. Машина подъезжала к крайней палатке и останавливалась. Усталые пассажиры выходили из нее, расправляли онемевшие члены. Появлялась новая палатка; малыши бежали за водой, мальчики постарше рубили хворост или дрова. Вспыхивал костер, варился или жарился ужин. Подходили «старожилы», спрашивали, кто из какого штата, иной раз оказывалось, что есть общие знакомые, родственники.

Оклахома? Какой округ?

Чероки.

Вот оно что! У меня там много родни. Элленов знаете? В Чероки Элленов полным-полно. А Уиллисов знаете?

Ну еще бы!

Образовывалось ядро. Сумерки сгущались, но вновь прибывшие еще до темноты успевали войти в жизнь лагеря, перекинуться двумя-тремя словами с каждой семьей. Это свои люди, хорошие люди.

Я Элленов знаю с детства. Саймон Эллен, старик Саймон, не ладил с первой женой. В ней была индейская кровь. Красивая, как... как вороной жеребенок.

А сын, младший Саймон, женился на дочке Рудольфов? Да, да! Они уехали в Энид, хорошо там устроились — живут-поживают.

Он один такой удачник из всей семьи. Держал гараж.

Когда ведра были налиты водой и хворост нарублен, дети начинали несмело, робко бродить между палатками. Способы, с помощью которых они завязывали новые знакомства, были весьма сложны. Мальчуган останавливался около другого мальчугана, разглядывал камешек, поднимал его с земли, снова разглядывал, плевал на него, начищал до блеска, и наконец другой, не вытерпев, спрашивал: что это у тебя?

И с деланной небрежностью: так, ничего особенного. Камень.

Тогда чего же ты его разглядываешь?

А мпе показалось, в нем золото.

Как это ты увидел? В камнях золото не золотое, а черное.

Подумаешь! Это все знают.

Наверно, обманка, а ты обрадовался — золото!

Вот и нет. Мой отец столько золота находил. Он и меня выучил, как искать.

Вот бы найти целый слиток! Хотел бы?

Спра-ашиваешь, так тебя и так! Я бы купил конфетину — вот какую!

Мне не позволяют ругаться, а я все равно ругаюсь.

И я ругаюсь. Пошли к ручью.

Девушки тоже находили сверстниц и, смущаясь, рассказывали о своих успехах, о своих видах на будущее. Женщины хлопотали у костров, торопились накормить голодную семью — свининой, если были деньги,— свининой с поджаренным луком и картошкой; лепешками и к ним побольше приправы; свиными ребрышками или отбивными и черным горьковатым чаем, налитым в консервную банку. Если с деньгами было туго — то маисовыми лепешками на говяжьем жиру, румяными, похрустывающими на зубах.

Семьи, которые не стеснялись в средствах или просто пускали деньги на ветер, ели консервированные бобы, консервированные персики, покупной хлеб и печенье. Но им приходилось прятаться со всем этим по палаткам, потому что есть такие вкусные вещи на людях было нехорошо. Впрочем, дети, уплетавшие маисовые лепешки, все равно чуяли запах горячих бобов и горько вздыхали.

К тому времени, когда с ужином было покончено, посуда вымыта и вытерта, наступала темнота, и мужчины присаживались на корточки поговорить. Они говорили о земле, оставшейся позади. Что дальше будет, одному богу известно. Испортилась наша страна.

Со временем все наладится, только нас на прежнем месте не будет.

Может быть, думали они, может быть, мы грешили, сами того не зная.

Мне один говорил — знающий человек, к правительству имеет касательство... Так вот, он говорил, что нас задушили размывы. Если бы вы, говорит, пахали не вдоль контура, а поперек, тогда бы размывов не было. Кто его знает — проверить так и не пришлось. А трактористы тоже запахивают вдоль. Ведет и ведет борозду мили на четыре и не свернет ни разу ни вправо, ни влево.

Они тихо рассказывали о родном доме. Я устроил у себя погреб под ветряком. Держали там дыни, ставили молоко, сливки

с него снимали. Залезешь туда в полдень, в самую жарищу,— прохладно! Дыню взрежешь — такая холодная, что зубы ломит. А из цистерны вода капает.

Они рассказывали о своих трагедиях. Был у меня брат, Чарли. Волосы желтые, прямо кукуруза. Взрослый уж был. На аккордеоне играл так, что заслушаешься. И вот, боронил он как-то в поле, нагнулся высвободить постромку, и вдруг — гремучая змея, да как зашипит! Лошади понесли, борона прошла по нему. Пропороло зубьями живот, кишки наружу, от лица ничего не осталось... Эх, господи!

Они говорили о будущем. Как там, в Калифорнии?

На картинках — глаз не отведешь. Я видел одну — солнце, красота кругом, ореховые деревья, всякие ягоды; а позади, совсем близко — доплюнуть можно,— высокие горы, покрытые снегом. Просто загляденье!

Только бы найти работу, тогда все будет хорошо. Холодов зимой нет. Ребята не замерзнут, пока добегут до школы. Я своих обязательно пошлю учиться. Сам-то я умею читать, да ни охоты, ни привычки у меня к этому нет.

А иной раз кто-нибудь выходил из палатки с гитарой. Садился на ящик у входа, и люди со всего лагеря медленно брели к этому месту, словно их сюда что-то притягивало. Мало ли кто бренчит на гитаре, но этот, кажется, и мелодию умеет подбирать. Вот, слушайте! Аккорды густые, мерные, а мелодия легкими шажками бежит по струнам. Тяжелые заскорузлые пальцы ступали по ладам. Человек наигрывал, и люди медленно брели к нему со всего лагеря. Наконец кольцо вокруг него смыкалось, и он запевал: «Хлопок дешевый, а мясо в цене». Слушатели, окружавшие его кольцом, тихо вторили. Он пел: «Ах, девушки, не надо косы стричь». И слушатели вторили. Он затягивал: «Покидаю я старый Техас» — мрачную песню, которую пели еще до прихода испанцев, только слова тогда были индейские.

И это объединяло людей, они становились одним целым, и в темноте их взгляд был устремлен внутрь, мысли уносились назад, и их печаль была как отдых, как сон. Он пел «Блюзы Мак-Алестера», а потом — в угоду старикам — гимн «Господь призвал меня к себе». Музыка навевала сон на детей, они расходились по палаткам, но пение проникало и в их сны.

Под конец гитарист вставал, позевывая. «Спокойной ночи, друзья»,— говорил он.

И ему отвечали негромко: «Спокойной ночи».

И каждому хотелось самому играть на гитаре, ведь это так приятно! Люди расходились спать, и лагерь затихал. И над палатками носились совы, вдали тявкали койоты, а вонючки — злые,

наглые вонючки — пробирались в самый лагерь и рыскали всюду в поисках съестного.

Ночь близилась к концу, и на рассвете женщины выходили из палаток, разжигали костры и варили кофе. Вслед за ними появлялись мужчины и тихо переговаривались друг с другом в предрассветных сумерках.

Переедешь Колорадо-Ривер, а дальше, говорят, начинается пустыня. С пустыней шутки плохи. Как бы не застрять там. На всякий случай захвати побольше воды.

Я поеду через пустыню ночью.

Я тоже. Она кого хочешь уморит.

С едой кончали быстро, мыли посуду, разбирали палатки. Все торопились поскорее двинуться в путь. И когда солнце поднималось над горизонтом, на том месте, где стоял лагерь, было пусто, только кое-где валялся мусор, оставленный людьми. Но участок был готов к тому, что следующей ночью здесь возведут новый мир.

А машины кочевников, точно букашки, ползли по дороге, и узкая лента бетона убегала перед ними на многие мили вперед.

ГЛАВА XVIII

Семья Джоудов медленно двигалась на запад, по горам Нью-Мексико, мимо пиков и пирамидальных вершин скалистой страны. Они поднялись на горный кряж Аризоны и сквозь просвет между утесами заглянули вниз, увидели внизу Многоцветную Пустыню. Их остановил пограничный инспектор.

— Куда едете?

— В Калифорнию,— ответил Том.

— Сколько пробудете в Аризоне?

— Только проездом.

— Растения везете с собой?

— Нет.

— Надо все-таки посмотреть.

— Да я вам говорю, никаких растений у нас нет.

Инспектор наклеивал на ветровое стекло грузовика маленький ярлык.

— Ладно. Поезжайте, да не задерживайтесь в дороге.

— А мы и не собираемся.

Они поднимались с одного откоса на другой, а по этим откосам росли низенькие искривленные деревья. Холбрук, Джозеф-Сити, Уинслоу. Тут деревья пошли высокие, и, одолевая подъемы, обе машины оставляли за собой клубы дыма. И вот уже Флаг-

стаф — высшая точка. От Флагстафа дорога побежала вниз, исчезая вдали, спускаясь с одного плато на другое. Воды не хватало, воду приходилось покупать по десяти, по пятнадцати центов за галлон. Солнце высосало всю влагу из сухой скалистой страны. Впереди виднелись неровные зубцы гор — западный вал Аризоны. Теперь они спасались бегством от солнца и суши. Они не спали всю ночь и ночью въехали в горы. Они поднимались ночью среди зубчатых скал, и тусклые фары обеих машин бросали блики на стены из серого камня, встававшие по обе стороны дороги. Перевал одолели в темноте и глубокой ночью начали медленный спуск по скалистым дебрям в районе Оутмена; а на рассвете увидели перед собой Колорадо-Ривер. Они выехали к Топоку и постояли у моста, пока инспектор смывал ярлыки с ветровых стекол. Потом переехали мост и сразу очутились среди нагромождений каменистой пустыни. И, несмотря на смертельную усталость, на жару, Том и Эл остановили машины.

Отец крикнул:

— Приехали... Вот она, Калифорния!

Они тупо смотрели на камни, скалы, блестевшие в солнечных лучах, и на страшные горные валы Аризоны за рекой.

— Впереди пустыня,— сказал Том.— Надо сделать остановку поближе к воде и отдохнуть.

Дорога шла вдоль самой реки, и поздним утром машины с перегретыми моторами вышли к Нидлсу, мимо которого река пробегает быстро среди зарослей камыша.

Джоуды и Уилсоны подъехали к берегу и, не выходя из машин, стали смотреть на струившуюся мимо прозрачную воду и на зеленый камыш, который медленно покачивался в ней. У реки был разбит небольшой лагерь — всего одиннадцать палаток, на берегу росла густая, сочная трава. Том высунулся из машины.

— Ничего, если мы здесь остановимся?

Полная женщина, стиравшая белье в ведре, подняла голову.

— Мы здесь не хозяева, мистер. Останавливайтесь, если хотите. Потом полисмен к вам наведается.— И она снова принялась за стирку на самом солнцепеке.

Обе машины свернули с дороги на траву. Первым делом занялись палатками; разбили палатку Уилсонов, перебросили джоудовский брезент через веревку.

Уинфилд и Руфь медленными шагами пошли через ивняк к камышовым зарослям. Руфь сказала тихо, но отчеканивая каждое слово:

— Калифорния. Вот мы и приехали в самую что ни на есть Калифорнию!

Уинфилд перегнул пополам камышинку, сломал ее и, сунув в рот, стал пожевывать белую мякоть ствола. Они вошли в реку и остановились, когда вода достигла им до икр.

— Теперь поедем в пустыню,— сказала Руфь.

— А какая она?

— Не знаю. Я раз видела на картинке. Везде кости валяются.

— Человечьи?

— Наверно, и человечьи есть, а больше коровьи.

— А мы их увидим?

— Может, и увидим. Не знаю. Ведь поедем ночью. Так Том сказал. Том говорит, она нас уморит, если ехать днем.

— Прохладно как,— сказал Уинфилд и копнул пальцами песок на дне.

Вдали послышался голос матери:

— Руфь, Уинфилд! Идите сюда!

Они повернулись и медленно пошли назад, пробираясь между камышом и кустами.

В лагере было тихо. Когда машины подъехали, кое-где из палаток высунулись головы и тут же спрятались. Разбив палатку и повесив брезент, мужчины вернулись к грузовику.

Том сказал:

— Я пойду искупаюсь. Прежде всего искупаться, а потом спать. Ну, бабка теперь под навесом. Как она там?

— Не знаю,— сказал отец.— Спала, так и не проснулась.— Он наклонил голову набок, прислушиваясь. Из-под брезентового навеса донеслось жалобное бормотанье. Мать быстро прошла туда.

— Проснулась,— сказал Ной.— А на грузовике всю ночь бредила. Должно быть, повредилась в уме.

Том сказал:

— Еще бы! Поди, устала-то как. Если ей не дать сейчас отдыха, она недолго протянет. Ну, кто со мной? Искупаюсь и лягу спать в тени... весь день буду спать.

Он пошел к берегу, и остальные двинулись следом за ним. Они разделись в ивняке, сошли в воду и сели на дно. Они долго сидели там, упираясь пятками в песок, чтобы не снесло течением, и только головы торчали у них над водой.

— Ух, хорошо! — сказал Эл. Он зачерпнул горсть песка со дна и принялся натирать себе тело. Они сидели в воде, глядя на остроконечные вершины гор и на белые скалы Аризоны.

— Ведь мы ехали через них,— точно не веря самому себе, сказал отец.

Дядя Джон окунулся с головой.

— Ехали, ехали и приехали. Вот она, Калифорния, а что-то особенной благодати здесь не видно.

— Еще пустыня впереди,— сказал Том.— Страшная, говорят, штука, черт бы ее подрал.

Ной спросил:

— Сегодня в ночь поедем?

— Па, ты как думаешь? — спросил Том.

— Да не знаю. Отдохнуть всем не мешает, особенно бабке. А с другой стороны, хорошо бы поскорее ее проехать, эту пустыню, и устроиться на работу. Денег осталось всего сорок долларов. Мне спокойнее будет, когда мы все пристроимся и начнем зарабатывать хоть самую малость.

Они сидели в реке, чувствуя быстрый напор течения. Проповедник протянул руки над водой. Тело у всех было белое по шею и по кисти рук, лица и треугольник ворота — коричневые от загара. Они старательно натирались песком.

Ной лениво проговорил:

— Остаться бы здесь навсегда. Лежать бы вот так и не знать ни голода, ни горя. Лежать весь свой век в воде и нежиться, как свинья в грязи.

А Том, глядевший на зубчатые пики по ту сторону реки, сказал:

— Я таких гор еще не видывал. Страшные места. На скелет похоже. Доедем ли мы когда-нибудь туда, где люди живут по-настоящему, а не воюют с камнями и со скалами? На картинках страна ровная, зеленая, повсюду стоят домики белые, как ма говорит. Ма спит и видит такой белый домик. А я уж думаю, что этой страны вовсе нет. Она только на картинках.

Отец сказал:

— Подожди! Приедем в Калифорнию, вот тогда увидишь красивую страну.

— Чудак ты, па! Это и есть Калифорния.

Пожилой мужчина и мальчик — оба в комбинезонах и синих пропотевших рубашках — вышли из ивняка и остановились, глядя на них. Старший крикнул:

— Плавать можно?

— Не знаю,— сказал Том.— Мы еще не пробовали. А посидеть приятно.

— Нас к себе пустите?

— Река не наша. Но так и быть, уступим вам кусочек.

Те двое сняли комбинезоны, стащили через голову рубашки и вошли в воду. Пыль покрывала им ноги до колен, ступни у них были бледные и размякшие от пота. Они не спеша опустились в воду, устало потирая ладонями бедра. Это были отец и сын, оба загорелые до красноты. Они фыркали и стонали, полощась в воде.

Отец вежливо спросил:

— На Запад едете?

— Нет. Возвращаемся оттуда. Едем домой. Там не проживешь.

— А домой — это куда? — спросил Том.

— В Техас, недалеко от Пампы.

Отец спросил:

— Значит, дома можно прожить?

— Нет. Но там если и умирать с голоду, так среди своих. А голодать да чувствовать, что тебя все ненавидят,— так мы не хотим.

Отец сказал:

— Я уж от второго человека это слышу. За что же вас ненавидели?

— Кто их знает.— Он зачерпнул ладонями воды и стал мыть голову, кряхтя и пофыркивая. Струи грязной воды побежали у него с волос на шею.

— А все-таки любопытно бы послушать,— сказал отец.

— Мне тоже любопытно,— поддержал его Том.— Почему там, на Западе, все такие ненавистники?

Пожилой мужчина пристально посмотрел на Тома.

— А вы едете на Запад?

— На Запад.

— И в Калифорнии еще никогда не бывали?

— Нет.

— Тогда нечего меня спрашивать. Поезжайте, сами увидите.

— Это верно,— сказал Том,— а все-таки любопытно, на что едешь.

— Ну, если вы непременно хотите знать, так я расскажу. Я и других расспрашивал, и сам об этом думал. Страна хорошая. Только ее давно всю разворовали по частям. Поедете сначала через пустыню, а за ней будет Бейкерсфилд. И вокруг него такая красота, просто глаз не оторвешь — сады, виноградники. Во всем мире нет другой такой страны. Поедете дальше — места ровные, красивые, вода не глубже чем на тридцать футов. И вся эта земля лежит невозделанная, а тебе там ни кусочка не получить, потому что у нее свой хозяин — Земельноскотоводческая компания. Не захотят они обрабатывать эту землю, так она и останется необработанной. А ты попробуй засей там небольшой участок кукурузой — и угодишь за это в тюрьму.

— Хорошая земля, говоришь? И ничего на ней не сеют?

— Да, да! Хорошая земля, и не сеют! Ну, тебя, конечно, зло возьмет, на нее глядя. Но подожди, ты еще толком ничего не видел. Ты понаблюдай, какими глазами там люди смотрят. Взглянут, а на лице будто написано: «Видеть тебя не могу, сукин сын».

Столкнетесь с шерифами, они вас погоняют с места на место. Сделал остановку у дороги — нет, поезжай дальше. Там у каждого на лице написано, как он тебя ненавидит. А догадываетесь — почему? Потому что боятся. Они ведь знают: если у голодного человека нет хлеба, он и на воровство пойдет. Они знают: грех держать землю пустой, ее за это могут отнять. Да что там рассказывать! Вас еще никто не обзывал «Оки»?

Том спросил:

— Оки? А что это значит?

— Раньше значило — «оклахомец». А теперь — просто сукин сын. Что Оки, что бродяга — все равно. Само по себе это слово ничего не значит, вся суть в том, как они его выговаривают. Да разве все расскажешь! Надо самим там побывать. Говорят, таких, как мы, туда понаехало триста тысяч... и живут, как свиньи, потому что в Калифорнии на все есть хозяева. Без хозяев ничего не осталось. А они так держатся за свое добро, что убить за него готовы. Трясутся от страха, потому и злые. Это вам самим надо повидать. Самим все услышать. Страна — просто загляденье, а люди неприветливые, злые. Они со страху и друг друга готовы съесть.

Том сидел, глядя на воду, и рыл пятками песок.

— Ну а если подработаешь, скопишь немного денег, можно все-таки купить небольшой участок?

Пожилой мужчина засмеялся и взглянул на мальчика, а у того лицо расплылось чуть ли не в торжествующей улыбке. Тогда старший сказал:

— Вы и не надейтесь на постоянную работу. Будете перебиваться со дня на день. И работать будете с людьми, которые на вас косо смотрят. Пойдете на сбор хлопка, вам покажется, что весы неправильные. Весы бывают разные — и правильные и неправильные. А вам будет думаться, что они везде жульнические. И ничего с этим не поделаешь.

Отец медленно проговорил:

— Значит... значит, не так уж там хорошо?

— Нет, почему, хорошо... глаз радуется. А проку от всей этой красоты мало. Скажем, стоя́т апельсиновые деревья — целая роща, а в ней похаживает человек с ружьем. Если ты тронешь хоть один апельсин, он тебя пристрелит,— такое ему дано право. А на побережье есть один хозяин, у которого этой земли миллион акров. Он газеты, что ли, печатает.

Кэйси быстро повернулся к нему.

— Миллион акров? Что же он делает с миллионом акров?

— Кто его знает. Владеет ими, больше ничего. Держит скот. Повсюду расставлена охрана, никого не пускают. Сам ездит в бронированной машине. Я видел его портреты. Жирный такой,

квелый, глаза щелочками, остервенелые, а рот дырой. Боится, как бы не убили. У самого миллион акров, а он смерти боится.

Кэйси опять спросил:

— На кой ему черт миллион акров? Что он с ними будет делать?

Пожилой мужчина протянул перед собой побелевшие, набрякшие в воде руки, прикусил нижнюю губу и нагнул голову набок.

— Кто его знает. Наверно, сумасшедший. Это по всему видно. И на портрете такой. Глаза остервенелые, как у сумасшедшего.

— Говоришь, смерти боится? — спросил Кэйси.

— Так рассказывают.

— Боится, как бы до него бог не добрался?

— Не знаю. Боится, и все тут.

— Что же это за жизнь? — сказал отец.— Невесело, наверно, так жить.

— А вот дед ничего не боялся,— сказал Том.— Для него самое веселье было, когда, того и гляди, ухлопают. Как-то ночью вдвоем с приятелем пошел на индейцев. Чудом живы остались, зато повеселились вволю.

Кэйси сказал:

— Так, наверно, всегда. Если человек живет весело, радуется своей жизни, плевать ему на все остальное. А вот такие — остервенелые, одинокие — доживут до старости, разуверятся во всем и боятся смерти.

Отец спросил:

— Как это можно во всем разувериться, если у тебя земли миллион акров?

Проповедник улыбнулся, но улыбка у него была неуверенная. Он ударил ладонью по воде, отгоняя водяного жука.

— Если миллион акров нужен ему, чтобы почувствовать свое богатство, значит, душа у него нищая, а с такой душой никакие миллионы не помогут. Потому, может, он во всем и разуверился — чувствует, что нет у него богатства... того богатства, какое было у миссис Уилсон, когда дед умирал в ее палатке. Вы не думайте, я не проповедь вам читаю, но если человек только и делает, что тащит себе всякое добро в нору, точно суслик, так в конце концов он во всем разуверится.— Кэйси усмехнулся.— А все-таки получилось вроде проповеди.

Солнце начинало палить. Отец сказал:

— Лучше совсем спрятаться под воду. Такое пекло — того и гляди, сгоришь.— Он опустился по самый подбородок в мягко струившуюся воду.— А если не боишься работы, тогда как?

Пожилой мужчина выпрямился и повернулся к нему лицом.

— Я говорю только о том, что знаю, друг. Может, приедете туда и сразу найдете постоянную работу, тогда я окажусь вралем. А может, никакой не найдете и скажете, что я вас не предупредил. Одно могу сказать: народ там большей частью бедствует.— Он лег в воду и добавил: — А всего нельзя знать.

Отец посмотрел на дядю Джона.

— Ты у нас всегда был молчальником, а как уехали из дому, я от тебя и двух слов не слышал. Ну, говори, что ты об этом думаешь?

Дядя Джон нахмурился.

— Ничего не думаю. Мы туда едем, так? И никакими рассказами нас не удержишь. Приедем — посмотрим. Найдется работа — будем работать, а нет — положим зубы на полку. От таких разговоров проку мало.

Том откинулся назад, набрал в рот воды, выпустил ее фонтаном и засмеялся.

— Дядя Джон говорит редко, да метко. Правильно, дядя Джон. Ночью поедем дальше, па?

— Что ж, поедем. Ехать так ехать.

— Тогда я пошел вон в те кустики, посплю хоть часок.— Том встал и зашагал по воде к песчаному берегу. Он натянул на мокрое тело брюки и рубашку, морщась от прикосновения нагревшейся на солнце одежды. Остальные побрели за ним.

Отец и сын, сидя в воде, смотрели Джоудам вслед. Мальчик сказал:

— Повидать бы их через полгода, какие они тогда будут.

Его отец протер уголки глаз пальцами.

— Напрасно я им столько всего наговорил,— сказал он.— Такая уж у человека природа — любит других учить.

— Вот еще, па! Да они сами тебя за язык тянули.

— Так-то оно так. Да вот ты слышал, что тот сказал? Все равно поедем. Мои слова дела не изменят, а им от них только лишнее огорчение раньше времени.

Том зашел в ивняк и, выбрав тенистое место, лег под кусты. Ной не отставал от него.

— Вот здесь и посплю,— сказал Том.

— Том!

— Ну?

— Том, я дальше не поеду.

Том приподнялся.

— Что это с тобой?

— Я около этой реки так и останусь. Пойду вниз по течению.

— Ты что, с ума сошел? — сказал Том.

— Заведу себе удочку. Буду удить рыбу. Около такой реки с голоду не умрешь.

Том сказал:

— А семья? А мать?

— Что ж поделаешь? Я не могу уйти от этой реки.— Широко расставленные глаза Ноя были полузакрыты.— Ты знаешь, Том, я ни на кого не жалуюсь,— ко мне относятся хорошо. Но любви-то настоящей нет.

— Совсем рехнулся.

— Я не рехнулся. Я все понимаю. Я понимаю, что меня пожалеют. Только... Нет, не поеду. Ты скажи матери, Том.

— Слушай...— начал Том.

— Нет. Ты меня не отговоришь. Я посидел в этой воде... Теперь уж мне от нее не уйти. Пойду вниз по берегу. Рыбой или чем другим как-нибудь прокормлюсь, а реки не брошу. Никогда не брошу.— Ной выбрался из-под тенистых кустов.— Ты скажи матери, Том.— Он зашагал прочь.

Том проводил его до берега.

— Слушай, дурень...

— Не надо,— сказал Ной.— Мне самому горько, да ничего не поделаешь. Уйду.

Он круто повернулся и зашагал вдоль берега. Том пошел было за ним и остановился. Он видел, как Ной исчез в кустарнике, потом снова вышел из него, огибая излучину реки. Ной становился все меньше и меньше, и наконец ивняк скрыл его из виду. Том снял кепку и почесал в затылке. Потом вернулся назад в тень и лег спать.

На матраце под брезентом, перекинутым через веревку, лежала бабка, а рядом с ней сидела мать. Воздух там был удушливо жаркий, жужжали мухи. Бабка лежала голая, прикрытая легкой розовой занавеской. Она беспокойно поводила головой, бормотала что-то, дышала трудно. Мать сидела прямо на земле рядом с ней и, отгоняя мух куском картона, овевала горячим воздухом сморщенное старческое лицо. Роза Сарона сидела напротив и не сводила глаз с матери.

Бабка повелительно крикнула:

— Уилл! Уилл! Поди сюда, Уилл.— Ее глаза приоткрылись и злобно сверкнули по сторонам.— Пусть сюда идет. Я до него доберусь. Я ему все волосы повыдеру.— Она закрыла глаза, откинула назад голову и хрипло забормотала. Мать все помахивала и помахивала картонкой.

Роза Сарона растерянно посмотрела на старуху.

— Совсем расхворалась,— сказала она.

Мать подняла на нее глаза. Взгляд у матери был терпеливый, но лоб ее бороздили морщины. Она помахивала картонкой, отгоняя мух.

— Когда человек молод, Роза, все, что ни случится, для него как-то особняком стоит, отдельно от всего остального. Я это знаю, Роза, я помню.— Ее губы любовно произносили имя дочери.— Придет тебе время рожать, и ты будешь думать, что весь мир где-то далеко, а ты одна. Тебе будет больно, Роза, и эта боль будет только твоя; и вот эта палатка, Роза, она тоже стоит особняком от всего мира.— Мать резко махнула картонкой, и большая синяя муха описала два круга под брезентом и с громким жужжаньем вылетела на слепящий солнечный свет. Мать продолжала: — Наступает такое время у женщины в пожилые годы, когда смерть одного человека она свяжет с другими смертями и рождение ребенка свяжет с рождением других ребят. А рождение и смерть — это как половинки одной вещи. И тогда тебе уж не кажется, что твои беды и радости стоят особняком. Тогда не так уж больно терпеть боль, Роза, потому что болит не только у тебя, а и у других... Хочется рассказать тебе об этом как следует, а не умею.— И голос у нее был такой мягкий, и в нем было столько любви, что на глаза у Розы Сарона навернулись слепящие слезы.— Возьми помахай,— сказала мать и протянула дочери картонку.— Ей от этого легче. Да... хочется все тебе объяснить, а не умею.

Бабка сдвинула брови над закрытыми глазами и пронзительно закричала:

— Уилл! Опять весь измазался! И когда я его чистым увижу? — Ее рука со скрюченными пальцами дернулась кверху и почесала щеку. Рыжий муравей перебежал с занавески на дряблую, морщинистую шею. Мать быстро протянула руку, сняла его, раздавила и вытерла пальцы о платье.

Не переставая помахивать картонкой, Роза Сарона подняла глаза на мать.

— Она...— И не договорила, точно обжегшись словом.

— Уилл, вытри ноги. Свинья грязная! — крикнула бабка.

Мать сказала:

— Не знаю. Может быть, и нет, если довезем ее до тех мест, где не так жарко... Ты не тревожься, Роза. Ты знай одно — дыши свободно, вольно.

Высокая грузная женщина в рваном черном платье заглянула к ним под навес. Глаза у нее были мутные, взгляд блуждающий, дряблая кожа на щеках свисала складками. Верхняя губа

точно занавеской прикрывала зубы, а из-под отвисшей нижней виднелись десны.

— Здравствуйте, мэм,— сказала она.— С добрым утром, слава господу богу.

Мать обернулась.

— С добрым утром,— сказала она.

Женщина пролезла под брезент и нагнулась над бабкой.

— Мы слышали, что в вашей семье есть душа, готовая вознестись к господу. Да святится имя его!

Лицо у матери стало суровое, взгляд напряженный.

— Она устала, только и всего. Дорогой было жарко. Она просто измучилась. Отдохнет, и все будет хорошо.

Женщина нагнулась к самому лицу бабки, чуть ли не понюхала его. Потом посмотрела на мать и быстро закивала головой, так что щеки и губы у нее затряслись.

— Душа просится к господу,— сказала она.

Мать крикнула:

— Неправда!

Женщина снова закивала, но медленнее и положила руку бабке на лоб. Мать потянулась, чтобы оттолкнуть эту руку, но овладела собой.

— Правда, сестра, правда,— сказала женщина.— У нас в палатке шестеро, и на всех почиет благодать божия. Сейчас я их позову, мы устроим молитвенное собрание — помолимся, обратимся к господу. Все иеговиты. Со мной вместе шестеро. Сейчас я их позову.

Мать выпрямилась.

— Нет... нет,— сказала она.— Не надо, бабка устала. Она не сможет молиться.

— Не сможет молиться? Не сможет вдохнуть в себя сладкое дыхание господа? Зачем ты так говоришь, сестра?

Мать сказала:

— Нет. Здесь нельзя. Она очень устала.

Женщина с укоризной посмотрела на мать.

— Вы неверующая, мэм?

— Нет, мы люди набожные,— ответила мать.— Но бабка устала. Мы ехали всю ночь. Мы не хотим вас беспокоить.

— Какое же тут беспокойство? А если даже так, мы все сделаем для души, стремящейся к непорочному агнцу.

Мать приподнялась и стала на колени.

— Спасибо,— холодно сказала она.— Мы не хотим, чтобы молитвенное собрание было у нас в палатке.

Женщина долго смотрела на нее.

— А мы не отпустим сестру во Христе без молитвы. Молитвенное собрание будет в нашей палатке, мэм. И да простится вам такое жестокосердие.

Снова опустившись на землю, мать посмотрела на бабку, и лицо у нее было напряженное, суровое.

— Она измучилась,— сказала мать.— Она просто измучилась.

Бабка металась головой по подушке и невнятно бормотала что-то.

Женщина с надменным видом вышла из-под навеса. Мать не отрывала глаз от старческого лица.

Роза Сарона махала картонкой, разгоняя струи горячего воздуха. Она сказала:

— Ма!

— Что?

— Почему ты не позволила им помолиться?

— Сама не знаю,— ответила мать.— Иеговиты хорошие люди. Завывают и скачут во славу господню. Не знаю... Так, нашло на меня что-то. Я бы сейчас этого не вынесла. Сил не хватило бы.

Где-то неподалеку послышались монотонные распевы. Слов молитвы нельзя было различить. Голос то затихал, то становился громче и начинал распев на более высокой ноте. Вот в паузу вступили ответные голоса, и тогда первый зазвучал торжественно и властно. Снова пауза, и снова протяжный подхват. Фразы молитвы становились все короче, отрывистее, точно приказания, а в ответных голосах слышались жалобные нотки. Ритм распева стал напряженнее. Голоса — мужские и женские — звучали в унисон, но вот один женский голос взлетел в истошном крике, диком и яростном, точно крик животного; его подхватили контральто, отрывистое, лающее, и тенор, по-волчьи забирающий вверх. Слова молитвы оборвались, уступив место реву и притоптыванию ног по земле. Мать обдало дрожью. Роза Сарона дышала тяжело и прерывисто, а рев не смолкал, и казалось, что еще секунда, и людские легкие не выдержат такого напряжения.

Мать сказала:

— Не могу слушать. Что это со мной стало?

Высокий голос перешел с крика на истерический визг, шакалье тявканье. Топот стал громче. Голоса срывались один за другим, и наконец весь хор разразился рыданиями, хриплыми стонами; к топоту примешались звуки ударов по телу, а потом стоны перешли в тихое поскуливание, точно щенята скулили у миски с едой.

Роза Сарона приглушенно всхлипывала. Бабка сбила занавеску с ног, похожих на серые узловатые палки, и тоже заскулила

по-щенячьи. Мать снова прикрыла ей ноги занавеской. И тогда бабка глубоко вздохнула, дыхание у нее стало ровнее и свободнее, опущенные веки больше не вздрагивали. Она крепко уснула, открыв рот и всхрапывая. Жалобное поскуливание невдалеке становилось все тише и тише и наконец совсем смолкло.

Роза Сарона подняла на мать полные слез глаза.

— Помогло,— сказала она.— Бабке это помогло. Она заснула.

Мать сидела опустив голову. Ей было стыдно.

— Может, зря я обидела хороших людей? Бабка спит.

— Сходи к нашему проповеднику, он отпустит тебе твой грех,— сказала Роза Сарона.

— Я пойду... только он не такой, как все. Может, это его вина, что я не позволила тем людям помолиться здесь. Наш проповедник думает так: все, что люди ни сделают, все хорошо.— Мать взглянула на свои руки и сказала: — Надо спать, Роза. Если поедем ночью, надо выспаться.— Она легла на землю рядом с матрацем.

Роза Сарона спросила:

— А как же бабка? Ведь ее надо обмахивать.

— Она спит. Ложись, отдохни.

— Куда это Конни ушел? — жалобно протянула Роза Сарона.— Я уж сколько времени его не вижу.

Мать шепнула:

— Ш-ш. Спи, спи.

— Ма, Конни будет учиться по вечерам, в люди выйдет.

— Да, да. Ты уж мне об этом рассказывала. Спи.

Роза Сарона прилегла с краешка на матрац.

— Конни теперь новое задумал. Он все время думает. Вот выучит все про электричество и откроет мастерскую, а тогда — знаешь, что у нас будет?

— Что?

— Лед... много льда. Купим ледник. И набьем его льдом, и ничего портиться не будет.

— Конни только и дела, что выдумывать разные разности,— сказала мать со смешком.— Ну а теперь спи.

Роза Сарона закрыла глаза. Мать легла на спину и закинула руки за голову. Она прислушалась к дыханию бабки и дыханию дочери. Она махнула рукой, отгоняя муху со лба. Лагерь затих под палящим солнцем, и звуки, доносившиеся из нагретой травы — стрекотанье кузнечиков, жужжанье пчел,— сливались с этой тишиной, не нарушая ее. Мать глубоко перевела дыхание, зевнула и закрыла глаза. Сквозь сон ей послышались чьи-то шаги, но проснулась она, когда у палатки раздался мужской голос:

— Здесь есть кто-нибудь?

Мать быстро приподнялась с земли. Мужчина, рослый, загорелый, нагнулся и заглянул под брезент. На нем были высокие зашнурованные башмаки, брюки защитного цвета и такая же куртка с погонами. На широком кожаном поясе висела револьверная кобура, а на левой стороне груди была приколота большая серебряная звезда. Форменная фуражка с мягкой тульей сидела у него на затылке. Он похлопал по туго натянутому брезенту, и брезент отозвался на эти похлопыванья, как барабан.

— Здесь есть кто-нибудь? — снова крикнул он.

Мать спросила:

— Что вам надо, мистер?

— Что надо? Хочу знать, кто здесь есть.

— Мы трое. Я, бабка и моя дочь.

— А мужчины где?

— Они пошли искупаться. Мы всю ночь были в дороге.

— Из каких мест?

— Из Оклахомы, около Саллисо.

— Здесь вам оставаться нельзя.

— Мы хотим вечером ехать дальше, мистер, через пустыню.

— И хорошо сделаете. Если завтра к этому времени не уберетесь, отправлю в тюрьму. Мы таким не позволяем здесь задерживаться.

Лицо матери потемнело от гнева. Она медленно поднялась с земли, подошла к ящику с посудой и вытащила оттуда чугунную сковороду.

— Мистер,— сказала она,— у вас форменная фуражка и револьвер. Такие в наших местах кричать не смеют.— Она надвигалась на него, держа в руке сковороду. Он расстегнул кобуру.— Стреляй,— сказала мать.— Женщину запугиваешь? Слава богу, мужчин моих нет. Они бы тебя на клочки разорвали. В наших местах такие, как ты, язык за зубами держат.

Человек отступил на два шага назад.

— Ваши места остались позади. Вы теперь в Калифорнии, а мы всяким Оки не позволим тут задерживаться.

Мать остановилась. Она растерянно посмотрела на него.

— Оки? — тихо переспросила она.— Оки?..

— Да, Оки! И если я завтра вас увижу — сидеть вам в тюрьме.— Он круто повернулся, подошел к соседней палатке и хлопнул по брезенту рукой.— Здесь есть кто-нибудь?

Мать медленно отступила под навес. Она положила сковороду в ящик. Потом медленно опустилась на землю. Роза Сарона украдкой следила за ней, и, увидев, что лицо у матери судорожно подергивается, она закрыла глаза и притворилась спящей.

Солнце уже клонилось к западу, но жара не спадала. Том проснулся под ивой и почувствовал, что во рту у него пересохло, тело все в поту, голова тяжелая. Он медленно встал и пошел к берегу. Там он сбросил с себя брюки и рубашку и влез в реку. Как только вода сомкнулась вокруг него, жажда исчезла. Он лег на мелком месте. Течение чуть покачивало его. Он уперся локтями в песчаное дно, глядя на пальцы ног, торчавшие из воды.

Бледный худенький мальчик выполз, точно зверек, из камышей и быстро разделся. Он юркнул в реку, как водяная крыса, и поплыл, как водяная крыса, оставив на поверхности только нос да глаза. И вдруг увидел голову Тома, увидел, что Том смотрит на него. Он бросил свою игру и сел на дно.

Том сказал:

— Хэлло!

— Хэлло!

— Водяную крысу изображаешь?

— Да.— Мальчик подбирался все ближе и ближе к берегу, как будто так, между прочим, и вдруг вскочил, сгреб в охапку свою одежду и удрал в кусты.

Том негромко засмеялся и тут же услышал крики:

— Том! Том!

Он сел на дно и свистнул сквозь зубы, пронзительно и с лихим присвистом в конце. Кусты дрогнули, и из них выскочила Руфь.

— Тебя мама зовет,— сказала она.— Иди скорее.

— Сейчас.— Он встал и пошел по воде к берегу, а Руфь с удивлением и любопытством уставилась на его голое тело.

Заметив на себе ее взгляд, Том сказал:

— Ну, беги. Брысь отсюда!

И Руфь убежала. Том слышал, как она взволнованным голосом окликает на берегу Уинфилда. Он натянул горячую одежду на свое остывшее мокрое тело и медленно пошел через кустарник к палатке.

Мать разожгла костер из сухих ивовых веток и кипятила на нем воду в котелке. Она увидела Тома и сразу почувствовала облегчение.

— Ну, ма, что тут у вас? — спросил он.

— Я за тебя боялась,— ответила она.— Приходил полисмен. Говорит, нам нельзя здесь оставаться. Я боялась, как бы он с тобой не встретился. Боялась, как бы ты его не избил.

Том сказал:

— Чего ради мне полисменов бить?

Мать улыбнулась:

— Да он тут такого наговорил... я сама его чуть не побила.

Том размашисто и грубовато ухватил ее за плечо, тряхнул и рассмеялся. И сел на землю, все еще посмеиваясь.

— Я тебя такой не знал, ма, ты раньше была добрая. Что это с тобой стало?

Она серьезно взглянула на него.

— Не знаю, Том.

— Сначала замахивалась на нас домкратом, теперь полисмена чуть не избила.— Он тихо рассмеялся, протянул руку и ласково похлопал мать по голой ступне.— Сущая ведьма,— сказал он.

— Том...

— Ну?

Она долго не решалась начать.

— Том, этот полисмен... он обозвал нас... Оки. Говорит: «Мы не позволим тут всяким Оки задерживаться».

Том смотрел на мать, а его рука все еще ласково поглаживала ее босую ступню.

— Нам тоже про это рассказывали. Мы уж об этом слышали.— Он помолчал.— Ма, как по-твоему, я отпетый? Где мое место — в тюрьме?

— Нет,— ответила она.— Тебя довели до убийства, но... Нет. А почему ты спрашиваешь?

— Да так просто. Я бы этого полисмена вздул как следует.

Мать улыбнулась:

— Кто из нас отпетый, не знаю. Ведь я его чуть сковородой не огрела.

— А что он говорил? Почему нам нельзя здесь оставаться?

— Сказал, не позволим тут всяким Оки задерживаться. Если, говорит, завтра вас здесь увижу, упрячу в тюрьму.

— Мы не привыкли под их дудку плясать.

— Я ему так и сказала. А он говорит, вы не у себя дома. Вы в Калифорнии. А тут они, видно, что хотят, то и делают.

Том нехотя проговорил:

— Ма, вот еще что... Ной ушел вниз по реке. Он с нами больше не поедет.

Мать не сразу поняла его.

— Почему? — тихо спросила она.

— Да кто его знает. Говорит, так лучше. Решил остаться у этой реки. Просил тебе сказать.

— А как он кормиться будет? — спросила она.

— Не знаю. Сказал, будет рыбу ловить.

Мать долго молчала.

— Распадается наша семья,— наконец проговорила она.— Не знаю... не придумаю, что делать. Сил моих больше нет.

Том неуверенно сказал:

— Он ведь у нас чудной... Да ничего ему не сделается.

Мать бросила растерянный взгляд в сторону реки.

— Не придумаю, что делать.

Том посмотрел на ряды палаток и около одной из них увидел Руфь и Уинфилда, благовоспитанно разговаривающих с кем-то. Руфь стояла, теребя пальцами платье, а Уинфилд ковырял босой ногой землю. Том крикнул:

— Эй, Руфь! — Она подняла голову, увидела его и побежала к своей палатке, Уинфилд — следом за ней. Том сказал: — Сбегай позови наших. Они спят в ивняке. Пусть идут сюда. А ты, Уинфилд, сходи к Уилсонам, скажи, что скоро поедем.— Дети мигом разбежались в разные стороны.

Том спросил:

— А как бабка?

— Сегодня спала. По-моему, ей легче. Она и сейчас спит.

— Что ж, хорошо. А сколько у нас осталось свинины?

— Немного. Только в маленьком бочонке.

— Тогда в другой надо налить воды. Воду с собой повезем.

Они услышали в ивняке пронзительные крики Руфи, созывающей мужчин.

Мать подложила хвороста в костер, и огонь поднялся к самому котелку. Она сказала:

— Дай нам бог отдохнуть поскорее. Дай нам, господь, скорее подыскать себе хорошее местечко.

Солнце коснулось неровной линии холмов на западе. Вода в котелке яростно бурлила. Мать прошла под брезентовый навес и появилась оттуда с полным передником картошки. Она всыпала ее в кипяток.

— Дай бог поскорее белье постирать. Мы еще никогда такими грязными не ходили. Картошку и то немытую варю. А почему — сама не знаю. Точно нутро из нас вынули.

Мужчины показались из-за кустов. Глаза у них были сонные, лица красные и опухшие от неурочного сна.

Отец спросил:

— Ну, что случилось?

— Надо ехать,— сказал Том.— Приходил полисмен, гонит дальше. Чего же задерживаться? Выедем пораньше, может, и одолеем эту пустыню сразу. У нас еще почти триста миль впереди.

Отец сказал:

— Я думал, отдохнем здесь как следует.

— Нельзя, па. Надо двигаться дальше,— сказал Том.— Ной с нами не поедет. Он ушел вниз по реке.

— Не поедет? Что он, дурак, выдумал? — И отец осекся.— Мой грех,— уныло проговорил он.— Ной — это на моей совести грех.

— Да брось ты.

— Довольно об этом,— сказал отец.— Мой грех.

— Надо собираться,— сказал Том.

Уилсон, подходя, услышал последние слова Тома.

— Мы не можем ехать,— сказал он.— Сэйри у меня совсем сдала. Ей надо отдохнуть. Она из этой пустыни живой не выберется.

Его выслушали молча; первым заговорил Том:

— Полисмен грозится всех запрятать в тюрьму, если мы останемся здесь до завтра.

Уилсон покачал головой. Глаза у него были точно стеклянные, сквозь смуглую кожу проступала бледность.

— Что ж поделаешь! Сэйри не может ехать. В тюрьму так в тюрьму. Сэйри надо отдохнуть, набраться сил.

Отец сказал:

— Может, нам подождать вас?

— Нет,— ответил Уилсон.— Вы и так много для нас сделали. А оставаться вам нельзя. Поезжайте дальше, там получите работу. Мы не хотим вас задерживать.

Отец взволнованно проговорил:

— Да у вас ничего нет!

Уилсон улыбнулся:

— Когда мы с вами повстречались, у нас тоже ничего не было. Это вас не касается. И не спорьте со мной, ведь я и разозлиться могу. Собирайтесь и уезжайте, не то я разозлюсь.

Мать поманила отца под брезентовый навес и тихо сказала ему что-то.

Уилсон повернулся к Кэйси.

— Сэйри просит тебя зайти к ней.

— Хорошо,— сказал проповедник. Он подошел к маленькой серой палатке Уилсонов, откинул полы и ступил внутрь. В палатке было темно и душно. В углу он увидел матрац, остальные вещи, сброшенные утром с грузовика, валялись как попало. Сэйри лежала на матраце с широко открытыми, блестящими глазами. Кэйси остановился и опустил голову, глядя на нее. Мускулы на его жилистой шее напряглись. Он снял шляпу и стоял, держа ее в руках.

Сэйри спросила:

— Муж сказал, что мы не поедем?

— Да, сказал.

Снова послышался ее низкий, звучный голос:

— А я настаивала, чтобы ехать дальше. Мне из этой пустыни живой не выбраться, зато у него она была бы уже за плечами. А он не хочет. Он не знает. Думает, я поправлюсь. Он не знает.

— Он говорит: не поедем.

— Да,— сказала она.— Он упрямый. Я тебя позвала, чтобы ты прочел молитву.

— Я больше не проповедник,— тихо проговорил Кэйси.— Мои молитвы не помогут.

Она провела языком по пересохшим губам.

— Я была в палатке, когда умирал старик. Тогда ты прочел молитву.

— Это была не молитва.

— Молитва,— сказала она.

— Проповедники таких не читают.

— Молитва была хорошая. Прочти такую и для меня.

— Я не знаю, что говорить.

Она закрыла глаза и через минуту снова посмотрела на него.

— Тогда помолись про себя. Вслух не надо. Помолись без слов.

— У меня нет бога,— сказал он.

— У тебя есть бог. Ты не знаешь, какой он, но это неважно.— Проповедник склонил голову. Она боязливо следила за ним. И когда он поднял голову, напряжение исчезло у нее из глаз.— Вот и хорошо,— сказала она.— Мне это и нужно было. Почувствовать, что есть кто-то рядом... почувствовать молитву.

Он мотнул головой, точно прогоняя от себя сонливость.

— Не пойму я.

А она сказала:

— Но ты... ты знаешь?

— Знаю,— сказал он,— знаю, а не пойму. Может, пройдет несколько дней — ты отдохнешь, и тогда вы поедете дальше.

Она медленно покачала головой.

— Во мне уж ничего не осталось, кроме боли. Я это знаю, только ему говорить не хочу. Он будет горевать. А сделать все равно ничего нельзя. Может, ночью, когда он заснет... Проснется, все-таки легче.

— Хочешь, я не поеду, останусь с тобой?

— Нет,— ответила она.— Нет... Знаешь, в детские годы я хорошо пела. В наших местах все говорили, что я пою не хуже самой Дженни Линд. Бывало, придут послушать меня. Поёшь, а люди стоят рядом, и кажется, будто ты от них неотделима. Так мне становилось хорошо тогда. Не каждому дано это почувствовать. И полноту такую в сердце, и близость к людям. Я тогда все надеялась, что буду петь в театрах, да нет, не сбылось. И хорошо, что не сбылось. Когда я пела для них, никто между нами не вставал. Вот поэтому я и попросила тебя помолиться. Захотелось мне еще раз почувствовать такую близость. Песня, молитва — это одно и то же. Жаль, ты не слышал, как я пела.

Проповедник посмотрел на нее, заглянул ей в самые глаза.

— Прощай,— сказал он.

Она кивнула ему и плотно сжала губы. И проповедник вышел из темной палатки на слепящий солнечный свет.

Мужчины были заняты погрузкой. Дядя Джон стоял на платформе, а остальные подавали ему вещи. Он аккуратно рассовал их по местам, стараясь, чтобы получилось как можно ровнее. Мать выложила свинину на сковородку, а Том с Элом сходили к реке и отмыли оба бочонка. Они привязали их к подножкам грузовика, налили водой и прикрыли парусиной, чтобы не расплескать в дороге. Все было уложено, кроме брезентового навеса и матраца, на котором спала бабка.

Том сказал:

— С таким грузом наш рыдван обязательно перегреется. Нам без запаса воды нельзя выезжать.

Мать раздала всем вареную картошку, вынесла из-под навеса небольшой мешок сырой — все, что осталось,— и поставила его рядом со сковородкой, куда была выложена свинина. Все ели стоя, переминаясь с ноги на ногу и остужая на ладонях горячие картофелины.

Мать ушла в палатку Уилсонов, пробыла там минут десять и вернулась.

— Пора ехать,— тихо сказала она.

Мужчины зашли под брезентовый павес. Бабка спала с широко открытым ртом. Они осторожно подняли матрац и положили его на самый верх грузовика. Бабка подобрала свои костлявые ноги, но не проснулась.

Дядя Джон и отец перебросили брезент через верхнюю перекладину, так что получилось нечто вроде небольшого навеса, и привязали его к боковым планкам. Теперь все было готово. Отец достал кошелек из кармана и вынул из него две помятых бумажки. Он подошел к Уилсону и протянул ему деньги.

— Вот, примите от нас это и...— он показал на свинину и мешок с картошкой,— и это.

Уилсон потупился и дернул головой.

— И не подумаю,— сказал он.— У вас у самих мало.

— На дорогу нам хватит,— сказал отец.— Мы не все отдаем. А приедем на место, там будет работа.

— И не подумаю брать,— повторил Уилсон.— Лучше не уговаривайте — разозлюсь.

Мать взяла у отца обе бумажки. Она аккуратно перегнула их пополам, положила на землю, а сверху поставила сковороду со свининой.

— Вот они где будут,— сказала она.— Если вы не возьмете, возьмут другие.

Уилсон повернулся, не поднимая головы, и зашагал к своей палатке. Он прошел внутрь, и полы за ним захлопнулись.

Они подождали еще несколько минут.

— Надо ехать,— сказал Том.— Сейчас, верно, уже около четырех.

Все взобрались на грузовик, мать наверх — поближе к бабке. Том, Эл и отец сели в кабину, Уинфилд — на колени к отцу. Конни и Роза Сарона примостились у передней стенки. Проповедник, дядя Джон и Руфь устроились кто где, посреди вещей.

Отец крикнул:

— Миссис Уилсон, мистер Уилсон, прощайте!

Из палатки не ответили. Том включил зажигание, и грузовик тяжело сдвинулся с места. И когда они поползли по разбитой дороге, которая вела к Нидлсу и к шоссе, мать оглянулась. Уилсон, сняв шляпу, стоял у палатки и смотрел им вслед. Солнце било ему прямо в лицо. Мать помахала рукой, но он не ответил ей.

Том вел грузовик на второй скорости, чтобы не испортить рессоры на тряской дороге. Подъехав к Нидлсу, он остановился у заправочной станции, проверил, не пропускают ли изношенные камеры воздуха и крепко ли привязаны запасные баллоны. Заправил бак, взял еще две канистры бензина, по пяти галлонов каждая, и одну двухгаллоновую масла. Потом налил воды в радиатор, попросил дать ему карту и стал изучать ее.

Молодой человек в белой форме, видимо, нервничал, обслуживая Тома, и успокоился только тогда, когда счет был оплачен. Он сказал:

— Храбрый вы народ.

Том поднял голову от карты.

— Это почему же?

— Через пустыню в таком примусе на колесах!..

— А ты сам туда ездил?

— Сколько раз, только не в таком гробу.

Том сказал:

— Если застрянем, неужели ни от кого помощи не дождемся?

— Может, дождетесь. Хотя среди ночи боятся останавливаться. Я бы ни за что не остановился. Я не такой храбрец.

Том усмехнулся.

— Думаешь, мы храбрецы? Просто нам ничего другого не остается, а храбрость тут ни при чем. Ну, спасибо. Как-нибудь доберемся.— Он сел в кабину и отъехал от станции.

Молодой человек в белом вошел в домик из рифленого железа, где его помощник просматривал папку со счетами.

— Ну и народ! Оголтелые какие-то.

— Кто — Оки? Они все такие.

— А машина! Я бы на этом примусе побоялся с места сдвинуться.

— Ты! Мы с тобой люди как люди, а у этих Оки никакого понятия нет. Они и на людей не похожи. Настоящий человек не станет так жить, как они живут. Настоящий человек не помирится с такой грязью, убожеством. Этих Оки от гориллы не сразу отличишь.

— А все-таки хорошо, что не мне надо ехать через пустыню на таком «гудзоне». Стучит, как молотилка.

Его помощник посмотрел на лежавшую перед ним папку. Крупная капля пота скатилась у него с пальца и упала на розовые листки.

— Их ничем не испугаешь. Такие тупицы даже не представляют себе, как это опасно. И вообще они дальше своего носа ничего не видят. Есть о ком беспокоиться!

— Я не беспокоюсь. Просто подумал, каково бы мне было на их месте.

— Да ведь ты понимаешь, что к чему. А они ни черта не понимают.— И он вытер рукавом каплю с розового листа.

Грузовик выехал на шоссе и пошел между громоздившимися с обеих сторон камнями. Вода в радиаторе вскоре закипела, и Тому пришлось сбавить скорость. Выше и выше по отлогой дороге, которая извивалась и петляла по мертвой стране, спаленной, обесцвеченной солнцем, уничтожившим здесь все живое. Том сделал короткую остановку, чтобы охладить мотор, и снова двинулся дальше. Они подъехали к перевалу до заката и заглянули вниз на пустыню — черные горы вдали, желтые блики солнца на серой земле. Трава и жалкие, чахлые кустики бросали резкие тени на песок и на обломки скал. Палящее солнце светило прямо в лоб. Том заслонил глаза рукой, глядя на дорогу. Они перевалили через гребень и, чтобы охладить мотор, пошли под уклон, пользуясь только тормозами. Они спускались вниз к пустыне; вентилятор крутился, охлаждая воду в радиаторе. Том, Эл, отец и Уинфилд, сидевший на коленях у отца, смотрели на яркое заходящее солнце, и глаза у них были как стеклянные, загорелые лица блестели от пота. Плеши спаленной земли и черные горы нарушали ровный разбег пустыни и делали ее еще более страшной в красных закатных лучах.

Эл сказал:

— Ну и места! А что, если бы пришлось идти пешком?

— Ходили и пешком. Много народу ходило; а если другие могли, значит, и мы сможем,— ответил Том.

— А сколько перемерло, должно быть,— сказал Эл.

— У нас тоже не без потерь.

Эл замолчал. Залитая красным светом пустыня пролетала мимо.

— Как думаешь, увидимся мы с этими Уилсонами? — спросил Эл.

Том покосился на указатель уровня масла.

— Чудится мне, что миссис Уилсон ни мы, ни кто другой больше не увидит. Чудится, и все тут.

Уинфилд сказал:

— Па, я хочу слезть.

Том взглянул на него.

— Не мешало бы всех спустить до темноты.— Он сбавил скорость и остановил машину. Уинфилд соскочил на землю и помочился у края шоссе. Том высунулся из кабины.— Еще кому-нибудь нужно?

— Мы потерпим,— крикнул дядя Джон.

Отец сказал:

— Уинфилд, лезь-ка ты наверх. У меня ноги затекли тебя держать.— Мальчик застегнул комбинезон, послушно вскарабкался на грузовик по заднему борту и перелез на четвереньках через бабкин матрац поближе к Руфи.

Грузовик шел навстречу закату, и солнце уже коснулось краешком неровной линии горизонта, залив пустыню красным огнем.

Руфь сказала:

— Что — прогнали?

— Я сам ушел. Тут лучше. Там лечь нельзя.

— Только, пожалуйста, не болтай и не приставай ко мне,— сказала Руфь,— потому что я хочу спать. Засну, утром проснусь — и уже приехали. Так Том сказал. А интересно будет посмотреть, как там, в Калифорнии. Говорят, красиво.

Солнце зашло, оставив на небе большой сияющий круг. Под брезентом стало темно, как в туннеле с просветами по обоим концам — с просветами в форме треугольника.

Конни и Роза Сарона сидели, прислонившись к кабине, и ветер, залетавший под навес, бил жаром им в затылок, а брезент хлопал и гудел у них над головой. Они тихо переговаривались, приноравливаясь к хлопанью брезента, чтобы другие ничего не слышали. Конни поворачивался и шептал ей на ухо, и, отвечая, Роза Сарона делала то же самое. Она сказала:

— Едем, едем без конца, кажется, что никогда больше ничего не будет. Мне надоело.

Он повернулся и шепнул:

— Может быть, утром... Ты бы хотела, чтобы мы сейчас были одни? — В темноте Конни коснулся ладонью ее бедра.

Она сказала:

— Не надо. У меня голова кругом идет. Перестань.— И подставила Конни ухо, чтобы расслышать его ответ.

— Может быть... когда все заснут.

— Да,— сказала она.— А сейчас не надо. У меня голова идет кругом, а они, может, и не заснут.

— Я больше не могу,— сказал он.

— Я знаю. Я тоже. Давай говорить, как там все будет, и отодвинься, пока у меня голова не закружилась.

Конни пересел чуть подальше.

— Значит, как приедем, я сейчас же начну учиться по вечерам,— начал он. Роза Сарона глубоко вздохнула.— Достану книжку, в которой про это сказано, и вырежу оттуда подписной бланк.

— А ждать придется долго? — спросила она.

— Чего ждать?

— Когда ты начнешь зарабатывать много денег и у нас будет лед.

— Это трудно сказать,— солидно ответил Конни.— Как это можно знать заранее? К рождеству, надо думать, кончу, а может, гораздо раньше.

— Вот кончишь, тогда мы и лед купим, и все остальное.

Он хмыкнул:

— Это у тебя от жары. Зачем тебе лед на рождество?

Она фыркнула:

— И в самом деле! А все-таки пусть он всегда у нас будет. Ну, перестань! У меня голова кругом пойдет.

Сумерки перешли в темноту, и на бледном небе над пустыней показались звезды — колючие, яркие, с редкими лучиками,— и небо стало как бархатное. И жара стала иная. До заката зной словно хлестал, заливал огнем, а теперь он поднимался снизу, от земли, плотной, душной волной. Зажгли фары, и впереди в их тусклом свете виднелось шоссе, а по правую и по левую руку — узкая лента пустыни. Иногда вдали поблескивали чьи-то глаза, но звери не выбегали на свет. Под брезентом теперь стало совсем темно. Дядя Джон и проповедник лежали посредине, опираясь на локти, и глядели на дорогу, в задний треугольник навеса. Они видели у самого борта две бесформенные в темноте фигуры — это были бабка и мать,— видели, как мать привстает время от времени, меняет позу.

— Кэйси,— сказал дядя Джон,— ты должен знать, что людям делать.

— С чем?

— Сам не знаю,— ответил дядя Джон.

Кэйси сказал:

— Нелегкую задачу ты мне задал.

— Ты же был проповедником.

— Слушай, Джон! Что вы все говорите: проповедник, проповедник. Разве проповедник не такой же человек, как все?

— Да, но он... он особенный человек... иначе какой же он проповедник. Я вот о чем... Может быть так, что приносишь людям несчастье?

— Не знаю,— сказал Кэйси.— Не знаю.

— Вот я... у меня была жена... красивая, хорошая. Как-то ночью у нее заболел живот. Она попросила меня: «Позови доктора». А я говорю: «Вот еще. Объелась, наверно, только и всего».— Дядя Джон положил проповеднику руку на колено и пригляделся к нему в темноте.— Ты бы видел, как она на меня посмотрела. Всю ночь стонала, а на следующий день умерла.— Кэйси пробормотал что-то.— Понимаешь? — продолжал дядя Джон.— Я ее убил. И с тех пор я старался искупить свою вину... старался делать добро... все больше ребятишкам. И жить хотел по-хорошему... и не могу. Напиваюсь, предаюсь блуду...

— Все блудят,— сказал Кэйси.— Я тоже.

— Да, но у тебя нет греха на душе.

Кэйси мягко проговорил:

— Как нет — есть. Грехи есть у всех. Что кажется нам грехом? То, в чем мы не чувствуем уверенности. А тех, кто во всем уверен и не знает за собой никаких грехов,— тех сволочей я, на месте бога, гнал бы пинком в зад из царства небесного. Видеть их не могу.

Дядя Джон сказал:

— У меня такое чувство, будто я своим же родным приношу несчастье. Думаю, уж не уйти ли от них? Так мне не житье.

Кэйси быстро проговорил:

— Что человеку надо делать, пусть он то и делает. Ничего тебе не могу посоветовать. Ничего. Я не знаю, бывает ли так, чтобы приносить счастье или несчастье. А доподлинно мне известно только одно: никто не смеет соваться в чужую жизнь. Пусть человек решает сам за себя. Помочь ему можно, а указывать — нет.

Дядя Джон разочарованно сказал:

— Так ты не знаешь?

— Нет, не знаю.

«Гроздья гнева»

— А как по-твоему, грех это, что я жену не спас от смерти?

— У другого это было бы просто ошибка,— сказал Кэйси,— а если ты думаешь, что это грех, значит, грех. Человек сам создает свои грехи.

— Надо это обдумать как следует,— сказал дядя Джон, перевернулся на спину и лег, подняв колени.

Грузовик оставлял позади милю за милей. Время шло. Руфь и Уинфилд заснули. Конни вытащил откуда-то одеяло, накрыл себя и Розу Сарона, и, сдерживая дыхание, они обнялись под ним в темноте. Потом Конни откинул одеяло в сторону, и горячий воздух овеял прохладой их взмокшие тела.

Мать лежала на матраце возле бабки, и, хотя глаза ее ничего не видели в темноте, она чувствовала рядом с собой судорожно подергивающееся тело, судорожно бьющееся сердце, слышала прерывистое дыхание. И мать повторяла:

— Успокойся, успокойся. Все будет хорошо, все будет хорошо.— И потом добавила срывающимся голосом: — Ты же знаешь, нам надо переехать пустыню. Ты же знаешь это.

Дядя Джон окликнул ее:

— Ты что?

Прошла минута, прежде чем она ответила:

— Да нет, это я так. Должно быть, во сне.

А потом бабка затихла, и мать, не двигаясь, лежала рядом с ней.

Часы шли, темнота плотной стеной вставала перед грузовиком. Иногда их обгоняли машины, бежавшие на запад; иногда навстречу попадался грузовик и с грохотом пролетал мимо, на восток. Звезды медленным каскадом струились к западу. Было уже около полуночи, когда они подъехали к инспекторской станции около Деггета. Шоссе в этом месте было залито электричеством, а у инспекторского домика стоял ярко освещенный щит с надписью: *Держи право. Стоп.* Том остановил машину, и инспекторы, слонявшиеся без дела по конторе, сейчас же вышли и стали под длинным деревянным навесом. Один записал их номер и открыл капот.

Том спросил:

— Это зачем?

— Агрономическая инспекция. Сейчас осмотрим всю машину. Растения, семена есть?

— Нет,— ответил Том.

— Посмотреть все-таки надо. Разгружайтесь.

Мать с трудом слезла с грузовика. Лицо у нее было опухшее, глаза смотрели сурово.

— Послушайте, мистер, у нас больная. Старуха. Мы повезем ее к доктору. Нам нельзя ждать.— Она, видимо, еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Отпустите нас.

— Нет. Без осмотра никак нельзя.

— Богом клянусь, ничего у нас нет! — крикнула мать.— Богом клянусь. Бабке совсем плохо.

— Вы сами, наверно, заболели,— сказал инспектор.

Мать взялась за планку заднего борта и подтянулась всем телом, вложив в это движение всю свою силу.

— Смотрите,— сказала она.

Инспектор направил луч карманного фонаря на сморщенное старческое лицо.

— И в самом деле,— сказал он.— Так, говорите, ничего нет — ни семян, ни фруктов, ни овощей, ни кукурузы, ни апельсинов?

— Ничего нет. Богом клянусь!

— Ладно, поезжайте. Доктор есть в Барстоу. Это всего восемь миль отсюда. Поезжайте.

Том залез в кабину и тронул грузовик с места.

Инспектор повернулся к своему товарищу.

— Чего их задерживать?

— Может, врут все,— сказал тот.

— Какое там! Ты бы видел эту старуху. Нет, не врут.

Том прибавил газа, торопясь поскорее добраться до Барстоу, и когда они подъехали к этому маленькому городку, он остановил машину, вылез из нее и подошел к заднему борту. Мать выглянула ему навстречу.

— Ничего,— сказала она.— Я просто не хотела задерживаться, боялась, как бы не застрять в пустыне.

— А что с бабкой?

— Ничего... ничего. Поезжай дальше. Надо поскорее одолеть пустыню.

Том покачал головой и отошел.

— Эл,— сказал он,— сейчас заправимся, а дальше ты поведешь.

Он подъехал к заправочной станции, работающей круглые сутки, наполнил бак и радиатор и подлил масла в картер. Эл передвинулся к рулю, Том сел с краю, отец — посредине. Они снова въехали в темноту, и вскоре невысокие холмы, окружавшие Барстоу, остались позади.

Том сказал:

— Не знаю, что это с матерью. Какая ее муха укусила? Разве долго посмотреть вещи? Сказала, что бабка совсем плоха, а сейчас говорит — ничего. Не пойму. Что-то с ней неладное. Может, помешалась в дороге?

Отец сказал:

— Она сейчас как в молодости — такая же отчаянная. Молодая была — ничего не боялась. Уж, кажется, пора бы ей присмиреть, ведь столько детей нарожала, работа какая тяжелая. Да где там! Помните, как она домкратом размахивала? Попробуй отними — да я бы ни за что не согласился.

— Не пойму, что с ней такое,— сказал Том.— Может, просто устала?

Эл сказал:

— Вот уж не буду жалеть, когда наше путешествие кончится! Покоя мне не дает эта проклятая машина.

Том сказал:

— Ты молодец — хорошую выбрал. Без сучка, без задоринки едем.

Всю ночь «гудзон» вгрызался в душную темноту, и зайцы сбегались на свет его фар и удирали прочь, меряя землю длинными, размашистыми прыжками. И когда впереди блеснули огоньки Мохаве, позади уже начинало светать. В рассветных сумерках на западе показались горы. В Мохаве взяли воды и масла и поехали дальше, к горам, и теперь рассвет окружал их со всех сторон.

Том крикнул:

— Проехали пустыню! Па, Эл, да посмотрите! Ведь проехали!

— Я так устал, что мне все равно,— сказал Эл.

— Дай я поведу.

— Нет, подожди.

Техачапи проехали при свете. Позади вставало солнце. И вдруг внизу глазам их открылась широкая долина. Эл резко затормозил посреди дороги и крикнул:

— Ой! Смотрите! — Виноградники, фруктовые сады, широкая ровная долина — зеленая, прекрасная. Деревья, посаженные рядами, фермерские домики.

И отец сказал:

— Мать честная!

Городки вдали, поселки среди фруктовых садов, и утреннее солнце, заливающее золотом долину. Позади дали сигнал. Эл свернул к краю шоссе и остановился там.

— Надо посмотреть как следует.

Золотые поутру поля, ивы, ряды эвкалиптов.

Отец вздохнул.

— Вот не думал, что такое бывает на свете.

Персиковые деревья, ореховые рощи и пятна темной зелени апельсинов. И красные крыши среди деревьев, и сараи — большие сараи. Эл вылез из машины и сделал несколько шагов, разминая ноги.

Он крикнул:

— Ма, посмотри! Приехали!

Руфь и Уинфилд сползли с грузовика на землю и замерли на месте, благоговейно и робко глядя на широкую долину. Даль застилало легкой дымкой, и казалось, что земля в этой дали, уходя к горизонту, становится все мягче и мягче. Ветряная мельница поблескивала крыльями, точно маленький гелиограф. Руфь и Уинфилд смотрели не отрываясь, и Руфь прошептала:

— Вот она — Калифорния.

Уинфилд повторил это слово по складам, беззвучно шевеля губами.

— Тут фрукты,— сказал он вслух.

Кэйси и дядя Джон, Конни и Роза Сарона спустились вниз. И они тоже стояли молча. Роза Сарона подняла руку — пригладить волосы, увидела долину, и рука ее медленно опустилась.

Том сказал:

— А где ма? Я хочу, чтобы ма посмотрела. Ма, смотри! Иди сюда.

Мать медленно, с трудом перелезла через задний борт. Том взглянул на нее:

— Господи! Ты заболела, что ли?

Лицо у матери было одутловатое, серое, глаза глубоко запали, веки покраснели от бессонницы. Ее ноги коснулись земли, и она ухватилась за борт грузовика, чтобы не упасть.

Она проговорила хрипло:

— Значит, пустыню проехали?

Том показал на широкую долину:

— Смотри!

Она взглянула в ту сторону, и рот у нее чуть приоткрылся. Пальцы потянулись к горлу, захватили складочку мягкой кожи и чуть стиснули ее.

— Слава богу! — сказала она.— Приехала наша семья.— Колени у нее подогнулись, и она села на подножку.

— Заболела, ма?

— Нет, устала.

— Ты не спала ночь?

— Нет.

— Бабке было плохо?

Мать посмотрела на свои руки, лежащие у нее на коленях, как усталые любовники.

— Я хотела подождать, не говорить сразу. Чтобы не портить вам...

Отец сказал:

— Значит, бабка совсем плоха.

Мать подняла глаза и долгим взглядом обвела долину.

— Бабка умерла.

Они молча смотрели на нее, и наконец отец спросил:

— Когда?

— Еще до того, как нас остановили.

— Потому ты и не позволила осмотреть вещи?

— Я боялась, что мы застрянем в пустыне,— ответила мать.— Я сказала бабке, что поделать ничего нельзя. Семье надо проехать пустыню. Я сказала, я все ей сказала, когда она была уже при смерти. Нам нельзя было останавливаться посреди пустыни. У нас маленькие дети... Роза беременная. Я ей все сказала.— Она подняла руки с колен, на секунду закрыла лицо, потом тихо проговорила: — Ее надо похоронить там, где зелено, красиво. Чтобы кругом были деревья. Пусть хоть ляжет в землю в Калифорнии.

Все испуганно смотрели на мать, поражаясь ее силе.

Том сказал:

— Господи боже! И ты всю ночь лежала с ней рядом?

— Нам надо было переехать пустыню,— жалобно проговорила она.

Том шагнул к матери и хотел положить ей руку на плечо.

— Не трогай меня,— сказала она.— Я совладаю с собой, только не трогай. А то не выдержу.

Отец сказал:

— Надо ехать. Надо туда, вниз ехать.

Мать взглянула на него.

— Можно... можно я сяду в кабину? Я больше не могу там... я устала. Сил у меня нет.

Они снова взобрались на грузовик, отводя глаза от неподвижной длинной фигуры, закрытой, укутанной со всех сторон — укутанной даже с головой — одеялом. Они сели по местам, стараясь не смотреть на нее, не смотреть на приподнявшееся бугорком одеяло — это нос, на острый угол — это подбородок. Они старались не смотреть туда — и не могли. Руфь и Уинфилд, забравшиеся в передний угол, как можно дальше от мертвой, не сводили с нее глаз.

И Руфь сказала шепотом:

— Это бабка. Она теперь мертвая.

Уинфилд медленно кивнул.

— Она больше не дышит. Она совсем, совсем мертвая.

А Роза Сарона шепнула Конни:

— Она умирала... как раз когда мы...

— Кто же знал? — успокаивающе сказал Конни.

Эл залез наверх, уступив матери место в кабине. И Эл решил немного похорохориться, потому что ему было грустно. Он бухнулся рядом с Кэйси и дядей Джоном.

— Ну что ж, она уж старая была. Пора и на тот свет,— сказал Эл.— Помирать всем придется.— Кэйси и дядя Джон посмотрели на Эла пустыми глазами, точно это был куст, обретший вдруг дар слова.— Ведь правда? — не сдавался Эл. Но те двое отвели от него глаза, и он насупился и замолчал.

Кэйси проговорил изумленно, точно не веря самому себе:

— Всю ночь... одна.— И добавил: — Джон! Такое у нее сердце, у этой женщины, что мне страшно становится. И страшно, и каким-то подлецом себе кажешься.

Джон спросил:

— А это не грех? Как по-твоему, тут нет греха?

Кэйси удивленно взглянул на него.

— Грех? Никакого греха тут нет.

— А я что ни сделаю, так хоть немножко, а согрешу,— сказал Джон и посмотрел на длинное, закутанное с головой тело.

Том, мать и отец сели в кабину. Том отпустил тормоза и включил мотор. Тяжелая машина пошла под уклон, пофыркивая, подскакивая, сотрясаясь всем кузовом на ходу. Позади них было солнце, впереди — золотая и зеленая долина. Мать медленно повела головой.

— Красота какая! — сказала она.— Вот бы им посмотреть!

— Да, правда,— сказал отец.

Том похлопал ладонью по штурвалу.

— Уж очень они были старые,— сказал он.— Они бы ничего такого здесь не увидели. Дед стал бы вспоминать свою молодость, индейцев и прерии. А бабка — свой первый домик. Уж очень они были старые. Кто по-настоящему все увидит, так это Руфь и Уинфилд.

Отец сказал:

— Смотри, как наш Томми разговаривает, как большой, будто проповедь читает.

А мать грустно улыбнулась:

— Да... Томми стал большой, вырос... так вырос, что до него и не дотянешься.

Они спускались вниз, круто поворачивая, петляя вместе с шоссе, и то теряли долину из виду, то находили снова. Снизу до них долетало ее горячее дыхание с горячим запахом зелени, смолистым запахом гринделий. Вдоль шоссе трещали цикады. Том увидел впереди гремучую змею, наехал на нее, раздавил колесами и так и оставил корчиться посреди дороги.

Он сказал:

— Надо разыскать, где тут есть следователь. Надо, чтобы у бабки были приличные похороны. Па, сколько у нас осталось денег?

— Около сорока долларов,— ответил отец.

Том засмеялся.

— Здорово! Это для начала-то! Ни с чем приехали.— Он хмыкнул, и тут же лицо у него стало суровое. Он натянул козырек кепки на самые глаза. А грузовик спускался вниз под уклон, к широкой долине.

ГЛАВА XIX

Когда-то давно Калифорния принадлежала Мексике, а ее земли —мексиканцам; а потом в страну хлынула орда оборванных, не знающих покоя американцев. И так сильна была в них жажда земли, что они захватили эту землю — завладели землей Саттера, землей Герреро, захватили большие поместья, искромсали их, дрались каждый за свой кусок, рыча, как осатанепевшие, изголодавшиеся звери, и охраняли захваченное с оружием в руках. Они построили там дома и сараи, они вспахали землю и засеяли ее. И стали считать себя хозяевами этой земли.

Мексиканцы были народ слабый и сытый. Они не могли отстаивать свои права, потому что не было для них в мире ничего такого, к чему можно тянуться с той жадностью, с какой тянулись к земле американцы.

И с годами скваттеры стали уже не скваттерами, а собственниками; и дети их выросли и народили детей на этой земле. И они утолили свой голод, звериный голод, сосущий, терзающий внутренности голод, утолить который могли только земля, вода, благодатное небо над этой землей, зеленые всходы, набухающие соками корни. Они владели всем этим в столь полной мере, что перестали что-либо видеть вокруг себя. Их уже не терзала тоска по акру плодородной земли и по блестящему на солнце плугу, по семенам и по ветряной мельнице, помахивающей крыльями. Они уже не вставали до зари, прислушиваясь к первому чириканью сонных птиц, не чувствовали на лице утреннего ветерка, не дожидались первых лучей, чтобы выйти на милое их сердцу поле. Все это отошло в прошлое; урожай исчислялся теперь долларами, земля оценивалась как основной капитал плюс проценты, урожаи покупались и продавались еще до посева. И теперь неурожайный год, засуха и наводнение стали для них не смертью, на какой-то срок обрывающей течение жизни, а всего лишь убытком. И деньги измельчили их любовь к земле, и их страсть каплю за каплей высушили проценты, и они стали теперь не фермерами, а мелки-

ми лавочниками, торгующими урожаем, мелкими фабрикантами, которые продают прежде, чем производят. А потом неудачливым лавочникам пришлось распроститься со своей землей и уступить ее лавочникам более деловым. Как бы человек ни был разумен, как бы он ни любил землю и зеленые всходы, это не помогало ему уцелеть, если из него не получалось лавочника. И с годами землей завладели крупные дельцы; и участки становились все крупнее, но число их уменьшалось.

Теперь земледелие стало промышленностью, и собственники пошли по пути древнего Рима, хотя сами они не подозревали этого. Они ввозили рабов, хотя и не называли этих людей рабами: китайцев, японцев, мексиканцев, филиппинцев. Эти люди могут прожить на одном рисе и бобах, говорили крупные дельцы. Много ли таким надо? Платить им как следует? Да они не будут знать, на что тратить деньги. Вы посмотрите, как они живут. Вы посмотрите, что они едят. А если начнут привередничать — высылайте их отсюда немедленно.

Земельные участки росли и росли, число владельцев уменьшалось. А число фермеров, оставшихся на земле, стало просто жалким. Побои, страх и голод довели ввезенных рабов до того, что многие из них вернулись к себе на родину, другие отбились от рук, и их перестреляли или выгнали из страны.

И с этой земли стали собирать совсем другие урожаи: фруктовые деревья заняли место зерновых полей, и в низинах теперь росли овощи на потребу всему миру — салат, цветная капуста, артишоки, картофель,— все низкорослое, приземистое. С косой, с плугом, с вилами человек работает стоя, но ему приходится ползать, как букашке, между грядками салата, ему приходится гнуть спину и тащить за собой длинный мешок между грядками хлопчатника, ему приходится, точно кающемуся грешнику, становиться на колени перед цветной капустой.

И теперь хозяева уже не работали на своих фермах. Хозяйство велось на бумаге; хозяева забыли землю — забыли, как она пахнет, какая она на ощупь — и помнили только то, что они владеют ею, помнили только доходы и убытки, которые она приносит им. И некоторые фермы разрослись до таких размеров, что один человек уже не мог держать в голове все хозяйство; они разрослись до таких размеров, что здесь уже была нужна целая армия бухгалтеров, которые подсчитывали проценты, прибыли и убытки; химиков, которые исследовали почву и обогащали ее; управляющих, которые наблюдали за тем, чтобы люди, согнувшиеся в три погибели, двигались вдоль грядок так быстро, как только позволяли силы. И такой фермер на самом деле становился лавочником и открывал лавку. Он платил людям деньги и продавал им

продукты — и получал свои деньги обратно. А в дальнейшем он уже переставал платить и тем самым экономил на ведении конторских книг. На этих фермах продукты отпускались в кредит. Человек работал и кормился; а когда работа кончалась, он обнаруживал, что задолжал компании. И владельцы не только перестали трудиться на своих фермах — многие из них даже никогда не видели, какие они, эти фермы.

А потом на Запад потянулся разоренный люд — из Канзаса, Оклахомы, Техаса, Нью-Мексико, из Невады и Арканзаса. Потянулись семьями, кланами, согнанные с мест пылью, трактором. Ехали в набитых битком машинах, целыми караванами — бездомные, голодные. Двадцать тысяч, и пятьдесят тысяч, и сто тысяч, и двести тысяч. Они двигались потоком через горы, голодные, беспокойные — беспокойные, как муравьи: спешили скорее дорваться до работы — поднимать, носить тяжести, полоть, собирать, резать,— все что угодно, любое ярмо, лишь бы заработать на хлеб. Дети голодают. Нам негде жить. Бежали, как муравьи, спешили дорваться до работы, до хлеба, а больше всего — до земли.

Мы не какие-нибудь чужаки. У нас уже семь поколений родилось и выросло в Америке, а если копнуть поглубже, так там ирландцы, шотландцы, немцы, англичане. Один наш предок сражался за революцию, а сколько участвовало в гражданской войне — и с той и с другой стороны. Мы американцы.

Они были голодные, злые. Они надеялись найти здесь дом, а нашли только ненависть. Оки... Хозяева ненавидели их, ибо хозяева знали, что Оки народ крепкий, а они сами слабосильные, что Оки изголодались, а они сами сыты по горло, и, может быть, хозяева слышали еще от своих прадедов, как легко захватить землю у слабосильного человека, если ты сам голоден, зол и у тебя оружие в руках. Хозяева ненавидели их. А в городах этих Оки ненавидели лавочники, ибо они знали, что Оки народ безденежный. Это самый верный способ заслужить презрение лавочника, ибо его симпатию вызывают как раз противоположные качества покупателя. Горожане, мелкие банкиры ненавидели Оки, потому что на них не наживешься. У этих Оки ничего нет. Рабочие на фермах тоже ненавидели Оки, потому что голодный человек должен работать, а если он должен работать, не может не работать, значит, наниматель автоматически снижает плату, и тогда на более высокую уже никто не сможет рассчитывать.

И разоренные фермеры, кочевники, нескончаемым потоком тянулись в Калифорнию — двести пятьдесят тысяч, триста тысяч. Там, позади, новые тракторы распахивали землю и сгоняли с нее арендаторов. И новые волны выплескивались на дороги, новые

волны разоренного, бездомного люда, ожесточившегося и опасного в своей ожесточенности.

Калифорнийцы много чего требовали от жизни — накопления капитала, успеха в обществе, удовольствий, роскоши, надежного помещения денег; а новые варвары требовали от нее только две вещи — землю и хлеб; и для них эти две вещи сливались в одну. И тогда как требования калифорнийцев были туманны и неопределенны, требования Оки отличались реальностью: все то, к чему они стремились, лежало тут же у дороги, дразня глаз, разжигая зависть. Плодородные поля — здесь можно рыть колодцы,— плодородные зеленые поля; земля — ее можно взять и раскрошить пальцами; трава — запах ее можно вдохнуть; стебли овса — их только пожуешь немного — и почувствуешь в горле терпкую сладость. Человек смотрел на невозделанную землю и знал и видел мысленно, что гнуть спину и напрягать мускулы здесь можно недаром; здесь вырастет капуста и золотистая сахарная кукуруза, брюква и морковь.

Бездомный, голодный человек ехал по дороге — рядом с ним его жена, на заднем сиденье исхудалые дети — и смотрел на невозделанные поля, которые могли бы дать не прибыли, а пищу. И он знал, что невозделанное поле — грех, незасеянная земля — преступление против его исхудалых детей. И когда такой человек проезжал по дороге, поля для него были соблазном, и он отдал бы все, чтобы засеять их,— ведь его дети почерпнут здесь силу, жена обретет покой. Соблазн всегда стоял перед глазами. Поля искушали его, и оросительные канавы с чистой проточной водой — это тоже было искушение.

А на юге он видел золотые апельсины на деревьях, маленькие золотые апельсины в темной зелени деревьев; и вооруженную охрану, которая была поставлена в садах, чтобы человек не мог сорвать апельсин для своего исхудалого ребенка. Апельсины пойдут на свалку, если цена на них упадет.

Он въезжал на своей старой машине в город. Он рыскал по фермам в поисках работы. Где здесь можно переночевать?

А вон у реки, в Гувервиле. Там Оки полным-полно.

Он подъезжал на своей старой машине к Гувервилю и потом уж не спрашивал, где заночевать, потому что на окраине каждого города был свой Гувервиль.

Ветошный поселок — скопление рухляди — обычно возникал у воды. Вместо домов здесь были палатки, шалаши, лачуги из картонных коробок. Человек ввозил семью в этот поселок и становился гражданином Гувервиля,— они все назывались гувервилями. Человек разбивал палатку как можно ближе к воде; а если палатки у него не было, он шел на городскую свалку, приносил оттуда

гофрированный картон и строил из него жилье. А когда лил дождь, это жилье размокало и его уносило водой. Человек обосновывался в Гувервиле и рыскал по окрестностям в поисках работы, и те немногие деньги, которые у него оставались, уходили на бензин для разъездов. По вечерам мужчины сходились и вели беседы. Сидя на корточках, они говорили о земле, которую видели вдоль дорог.

Вон там, дальше на запад, тридцать тысяч акров. Лежит себе незасеянная. Эх! Что бы я сделал с такой землей — с какими-нибудь пятью акрами такой земли. Да у меня было бы все что хочешь.

А ты заметил? На фермах ни овощей не сажают, ни свиней не держат, ни кур. У них всегда что-нибудь одно — хлопок, или, скажем, персики, или салат. А в другом месте — одни куры. Все остальное покупают, а ведь могли бы тут же, у себя на огороде, вырастить.

Эх! Мне бы парочку свиней!

Попусту заришься. Это все не твое и твоим никогда не будет.

Что же дальше? Разве так можно растить детей?

В лагерях шепотом передавали друг другу вести. В Шефтере будет работа. И машины грузились среди ночи, на дороге не протолкнешься — погоня за работой, как золотая лихорадка. В Шефтер съезжались толпы народа, ровно в пять раз больше, чем требовалось. Погоня за работой, как золотая лихорадка. Они уезжали ночью, тайком, обуреваемые жаждой дорваться до работы.

А вдоль дороги — соблазны: поля, которые могут дать хлеб.

Тут на все свой хозяин. Это не наше.

Может, все-таки удастся получить хоть небольшой участок? Ну хоть самый маленький. Вон тот клочок. Там сейчас один бурьян. Эх! Я бы с этого клочка столько картошки снял — хватило бы на всю семью.

Это все не наше. Бурьян? Пусть растет бурьян.

Время от времени кто-нибудь, не удержавшись, выбирал украдкой местечко и расчищал его, пытаясь по-воровски отнять у земли немного от ее богатств. Потайные огороды, прячущиеся среди зарослей бурьяна. Пакетик морковных семян и щепотка брюквенных. Сажали картофельные очистки, по вечерам тайком пробирались туда мотыжить краденую землю.

Оставь бурьян по краям — тогда никто не увидит, что мы тут делаем. И в середине тоже оставь, вон там, где повыше.

По вечерам тайком работали на огороде, носили воду в ржавой жестянке.

И в один прекрасный день — шериф: ты что здесь копаешься?

Я ничего плохого не делаю.

Я за тобой давно послеживаю. Разве это твоя земля? Ты хозяйничаешь на чужой земле.

Она не вспахана, я ничего плохого здесь не делаю.

Чтоб вас черт побрал, переселенцев. Вы скоро хозяевами себя здесь почувствуете. Смотри, спохватишься, да будет поздно! Подумаешь, хозяин нашелся. Проваливай отсюда.

И бледно-зеленые побеги моркови сбиты ногой, ботва брюквы затоптана. И бурьян снова захватывал свои прежние владения. Но шерифу нельзя было отказать в правоте. Урожай — это уже собственность. Земля вскопана, морковь съедена — да человек, пожалуй, станет драться за землю, которая дала ему пропитание. Гнать его отсюда! А то возомнит себя хозяином. Пожалуй, пойдет на смерть, отстаивая этот клочок земли среди бурьяна.

Видал, какая у него была физиономия, когда мы топтали брюкву? Того и гляди, убьет. Таких надо приструнить как следует, не то все заберут в свои руки.

Пришлые. Чужаки.

Говорят они, правда, по-нашему, но это совсем другой народ. Посмотри, как они живут. Разве из наших кто-нибудь стал бы так жить? Да никогда!

По вечерам присаживались на корточки, разговаривали. И чей-то взволнованный голос: а что в самом деле? Давайте соберемся человек двадцать, захватим себе участок. Оружие есть. Захватим и скажем: «Попробуйте прогоните!» Что в самом деле?

Перестреляют всех, как крыс.

А что, по-твоему, лучше, умереть или так жить? Лежать под землей или ютиться в шалаше из дерюги? Что лучше для твоих детей, умереть сейчас или через два года, от недоедания, как это называют доктора? Знаешь, что мы едим всю эту неделю? Крапивный отвар и лепешки. А откуда у нас мука на лепешки, знаешь? Смели с пола в товарном вагоне.

Разговоры в лагерях, а шерифские понятые — толстозадые, с револьверами на жирных бедрах — расхаживают между лачугами: этот народ надо держать в страхе. Их надо приструнить как следует, не то они черт-те что здесь натворят. Это народ опасный, все равно как негры на Юге. Им только дай объединиться, и тогда ничем не остановишь.

Выдержка из газеты: «Шерифский понятой Лоуренсвиля потребовал, чтобы переселенец покинул пределы города. Тот оказал сопротивление, вынудив представителя власти применить силу. Одиннадцатилетний сын переселенца убил шерифского понятого выстрелом из двадцатидвухкалиберной винтовки».

Твари поганые! С ними держи ухо востро — начнут спорить, стреляй в них первый. Если мальчишка способен убить шерифского понятого, чего же тогда ждать от взрослых? У них нрав крутой, а с ними надо еще круче. Нечего церемониться. Надо припугнуть их как следует.

А что, если они не из пугливых? Что, если они не захотят уступить и будут отвечать выстрелом на выстрел? Эти люди привыкли к оружию с детских лет. Ружье для них — это такая же часть тела, как руки. А что, если они не из пугливых? Что, если в один прекрасный день эти люди пойдут войной на нашу страну, как ломбардцы на Италию, германцы на Галлию, турки на Византию? Это была орда людей, изголодавшихся по земле и плохо вооруженных, а все-таки остановить их не смогли и легионы. Их не остановили ни зверства, ни пытки. Чем можно испугать человека, который не только сам страдает от голода, но и видит вздутые животы своих детей? Такого не запугаешь — он знает то, страшнее чего нет на свете.

Мужчины беседуют в Гувервиле: мой дед отнял землю у индейцев.

Нет, так нельзя, мы об этом уже говорили. Это воровство. А я не вор.

Да ну? А кто украл позавчера ночью бутылку молока с крыльца? Кто украл медную проволоку, продал ее и на эти деньги купил мяса?

Да ведь я для ребят, они голодные.

Как ни верти, а это воровство.

А знаете, как Ферфилды зацапали себе такую ферму? Сейчас расскажу. Тогда земля была государственная и ее можно было брать. Старик Ферфилд отправился в Сан-Франциско, походил там по кабакам и набрал сотни три всякого сброда. Они нарезали себе участков. Ферфилд их кормил и спаивал; потом, когда бумаги были оформлены, он все перевел на свое имя. После рассказывал, что ему каждый акр обошелся в пинту сивухи. А как это назвать — тоже воровство?

Хорошего, конечно, тут мало, но ведь в тюрьму его не посадили.

Да, в тюрьму не посадили. И того, который поставил лодку на фургон и потом доказывал, что весь участок был под водой,— ведь я в лодке ехал! — того тоже не посадили в тюрьму. И тех, кто дает взятки и в Вашингтоне, и у себя в штате, тех тоже не сажают.

Такие разговоры можно услышать в каждом Гувервиле, по всему штату.

Налеты — вооруженные шерифские понятые врываются в переселенческие лагеря. Убирайтесь отсюда. Приказ отдела здравоохранения. Этот лагерь — рассадник заразы.

Куда же мы денемся?

Это нас не касается. Нам приказано выселить. Через полчаса подожжем лагерь.

Здесь тиф. Хотите, чтобы зараза пошла дальше?

Нам приказано выселить. Живо собирайтесь! Через полчаса подожжем лагерь.

Через полчаса от горящих картонных лачуг и соломенных шалашей к небу поднимался дым, и люди опять выезжали на шоссе, на поиски нового Гувервиля.

А в Канзасе и Арканзасе, в Оклахоме, и Техасе, и в Нью-Мексико тракторы запахивали землю и сгоняли с нее арендаторов.

В Калифорнии их уже триста тысяч, а они все прибывают. Дороги Калифорнии забиты обезумевшими людьми, которые, как муравьи, бегут все дальше и дальше, стремясь дорваться до любой работы — поднимать, носить тяжести, полоть, собирать. К каждому грузу, который может поднять один человек, протянуто пять пар рук, на каждый кусок хлеба зарятся пять ртов.

Крупные собственники, которые потеряют свои земли при социальном перевороте. Для них, для крупных собственников, история — не книга за семью печатями, она доступна им для изучения, они могут почерпнуть из нее одну неоспоримую истину: когда собственность сосредоточивается в руках небольшой кучки людей, ее отнимают. И еще одна истина, сопутствующая первой: когда большинство людей голодает и холодает, они берут силой то, что им нужно. И еще одна истина — она кричит с каждой страницы истории: угнетение сплачивает тех, кого угнетают, оно придает им силу. Крупные собственники игнорировали эти три неоспоримых истины. Земля сосредоточивалась в руках небольшой кучки людей, количество обездоленных росло, а крупные собственники знали только одно — усмирять. Деньги тратились на оружие, на газовые бомбы для защиты крупных владений; разосланные всюду агенты подслушивали ропот недовольных, чтобы пресечь бунт в корне. Изменениями в экономике пренебрегали, планами по переустройству экономики пренебрегали; на повестке дня были только те способы, которыми расправляются с бунтовщиками, а причины, порождающие бунты, существовали по-прежнему.

Тракторы, лишающие людей работы, конвейеры, машины, заменяющие человеческий труд, выпускались все в большем и большем количестве, и семьи одна за другой выезжали на дороги, пытаясь урвать хоть крохи от несметных богатств и жадно глядя на земли, расстилающиеся по пути. Крупные собственники объединя-

лись для самозащиты и на собраниях своих ассоциаций обсуждали способы, с помощью которых можно запугивать, убивать, отравлять газами. И больше всего их страшило вот что: триста тысяч... если у этих трехсот тысяч найдется вожак, главарь... тогда конец. Триста тысяч человек, голодных, несчастных. Если бы они поняли самих себя, земля перешла бы к ним и никакие винтовки, никакие газы не остановили бы их. А крупные собственники — те, кого богатство сделало и больше и меньше рядового человека,— готовили себе гибель, хватаясь за средства, которые в конечном счете должны будут обратиться против них. Каждый их шаг, каждый акт насилия, каждый налет на бесчисленные гувервили, каждый шериф, расхаживающий по переселенческому лагерю, отдаляли немного день гибели и способствовали неизбежности этого дня.

Люди присаживались на корточки — люди с заострившимися чертами лица, отощавшие от голода, ожесточившиеся от борьбы с голодом; взгляд хмурый, челюсти сжаты. А вокруг них расстилалась плодородная земля.

Слышал, что случилось с ребенком вон в той палатке, четвертой с краю?

Нет, я только что пришел.

Малыш метался во сне, плакал. Родители думали, это от глистов. Дали глистогонного, а он умер. Говорят, есть такая болезнь — «черный язык», у него это и было. От плохой пищи так болеют.

Бедняга...

А у родителей нет денег на похороны. Придется хоронить как нищего.

Вот беда!

И руки опускались в карманы, доставали мелочь. У входа в палатку росла горстка серебра. И родители находили ее там.

Наш народ — хороший народ; наш народ — добрый народ. Даст бог, придет то время, когда добрые люди не всё будут беднякими. Даст бог, придет то время, когда ребятам будет что есть.

И собственники знали, что придет то время, когда молитвы умолкнут.

И тогда конец.

ГЛАВА XX

Дети, Конни, Роза Сарона и проповедник сидели на грузовике перед конторой следователя в Бейкерсфилде. Сидеть было жарко и неудобно, затекли ноги. Они дожидались отца, матери и дяди Джона, которые прошли к следователю. Вскоре из конторы

вынесли корзину и положили в нее длинный сверток, снятый с грузовика. Они сидели на солнцепеке, дожидаясь, когда следствие будет закончено, причины смерти установлены и удостоверение подписано.

Эл и Том бродили по улице, останавливались у витрин, с любопытством разглядывали прохожих.

И наконец мать, отец и дядя Джон вышли из конторы — вышли притихшие, молчаливые. Дядя Джон взобрался наверх. Отец и мать сели в кабину. Том и Эл вернулись, и Том сел за руль. Он сидел молча, дожидаясь указаний, куда ехать. Отец смотрел в одну точку прямо перед собой; его черная шляпа была низко надвинута на лоб. Мать потирала пальцами уголки рта, и взгляд у нее был отсутствующий, потерянный, мертвый от усталости.

Отец глубоко вздохнул.

— Ничего не поделаешь,— сказал он.

— Я знаю,— сказала мать.— А все-таки... ей хотелось, чтобы похороны были хорошие. Она всегда об этом говорила.

Том покосился на них.

— На общественный счет? — спросил он.

— Да.— Отец мотнул головой, словно стараясь вернуться к действительности.— Денег не хватило. Не осилили.— Он повернулся к матери.— Ты не горюй. Как ни ломай голову, что ни придумывай, все равно ничего не поделаешь. Нет денег. Бальзамирование, гроб, пастор, место на кладбище... Мы и десятой части не наскребем. А что могли, то сделали.

— Я знаю,— сказала мать.— Я просто не могу забыть, как она всегда говорила, чтобы похороны были хорошие. Ну что ж, ничего не поделаешь...— Она глубоко вздохнула и потерла уголки рта пальцами.— А следователь — хороший человек. Покрикивает, а все-таки хороший.

— Да,— сказал отец.— Он начистоту с нами говорил.

Мать провела рукой по волосам, на скулах у нее выступили желваки.

— Надо ехать,— сказала она.— Надо выбрать хорошее местечко для привала. Найдем работу, устроимся. Зачем ребятишек морить голодом? Это не по-бабкиному. Она на похоронах всегда всласть ела.

— Куда же поедем? — спросил Том.

Отец приподнял шляпу и почесал голову.

— В лагерь,— сказал он.— Пока не найдем работу, последнее тратить нельзя. Выезжай за город.

Грузовик проехал несколько улиц, и город остался позади. И у моста они увидели скопление палаток и лачуг. Том сказал:

— Давайте здесь остановимся. Послушаем, что говорят, узнаем, есть ли где работа.— Он съехал по крутому спуску и остановил грузовик на краю лагеря.

В расположении лагеря не было никакого порядка; лачуги, машины, маленькие серые палатки стояли где попало. Крайняя лачуга была совершенно неописуемого вида. Южная сторона — три листа ржавого рифленого железа, восточная — старый половик, прибитый к двум доскам, северная — кусок толя и кусок рваного брезента, а западная — шесть мешков из дерюги. Вместо крыши — переплет из неотесанных ивовых жердей, сверху кучей навалена трава. С той стороны, где стена была сделана из мешков, у входа в беспорядке громоздился всякий скарб. Керосиновый бидон на пять галлонов служил вместо печки, сбоку у него торчало ржавое колено трубы. Бак для кипячения белья, а вокруг — целая коллекция ящиков: ящики, заменяющие стулья, ящики, заменяющие столы. Рядом с лачугой стоял дряхлый «форд» — модель «Т» — с двухколесным прицепом. И все это говорило о том, что люди здесь опустились, отчаялись.

Дальше виднелась маленькая палатка, посеревшая от дождей, но чистенькая, опрятная; и ящики здесь были аккуратно расставлены вдоль стены. Между по́лами ее торчала печная труба, земля у входа была подметена и сбрызнута водой. На одном из ящиков стояло ведро с замоченным бельем. Рядом с палаткой — легковая машина модель «А», с самодельным прицепом — спальней. Все здесь было налажено и прибрано.

Следующая палатка была громадная, рваная; брезент висел клочьями, стянутыми кое-где проволокой. По́лы были откинуты, внутри лежали четыре широких матраца. На веревке, протянутой вдоль южной стены, сушились розовые бумажные платья и несколько пар рабочих комбинезонов. Всего в лагере было сорок палаток и лачуг, и около каждого жилья стояла машина. Несколько мальчиков сначала разглядывали подъехавший грузовик издали, а потом двинулись к нему всей компанией — босоногие, в одних комбинезонах, с серыми от пыли волосами.

Том остановил грузовик и взглянул на отца.

— Невзрачное местечко,—сказал он.— Может, поедем дальше?

— Куда там дальше! Надо сначала все разузнать,— сказал отец.— Спросим, как тут с работой.

Том открыл дверцу и вышел из машины. Верхние пассажиры спрыгнули на землю и стали с любопытством оглядываться по сторонам. Руфь и Уинфилд, по привычке, уже образовавшейся у них за дорогу, взяли ведро и пошли к ивняку, за которым полага-

лось быть воде, и кучка ребят раздалась перед ними и снова сомкнулась.

Дерюжные по́лы первой лачуги распахнулись, и оттуда выглянула женщина в грязном цветастом платье. Ее седые волосы были заплетены в косички, лицо было все в морщинах, взгляд тупой, под глазами серые мешки, углы вялого рта безвольно опущены.

Отец спросил:

— Можно нам здесь остановиться?

Голова исчезла. С минуту в лачуге ничего не было слышно, потом по́лы ее приоткрылись, и оттуда появился бородатый человек в жилетке. Женщина выглянула из-за его плеча, но наружу не вышла.

Бородач сказал:

— Здравствуйте,— и его бегающие темные глаза оглядели сначала людей, каждого по очереди, потом грузовик и поклажу.

Отец сказал:

— Я вот спрашиваю вашу жену, нельзя ли нам здесь расположиться?

Бородач напряженно вглядывался в отца, словно тот сказал что-то очень мудреное, требующее размышления.

— Где расположиться — здесь? — спросил он.

— Да, да. Или, может, тут есть хозяин, надо сначала его повидать.

Бородач прищурил один глаз, не переставая рассматривать отца.

— Вы хотите сделать привал?

Отец потерял терпение. Седая женщина по-прежнему выглядывала из лачуги.

— О чем же я говорю, как по-вашему?

— А что ж, решили остановиться — останавливайтесь. Я вас не гоню.

Том захохотал:

— Дошло наконец-то.

Отец сдерживал себя изо всех сил:

— Я хочу знать, есть тут хозяин или нет? Надо платить или не надо?

Бородач выпятил подбородок.

— Какой хозяин? — спросил он.

Отец отвернулся.

— Ну его к черту.

Голова женщины опять нырнула в лачугу. Бородач с угрожающим видом шагнул вперед.

— Какой хозяин? — повторил он.— Кто посмеет нас выгнать? Нет, ты скажи!

Том загородил собой отца.

— Поди-ка проспись как следует,— сказал он. Бородач открыл рот и потрогал нижнюю десну грязным пальцем. Минуту он приглядывался к Тому все так же внимательно и пытливо и вдруг круто повернулся и шмыгнул в лачугу вслед за седой женщиной.

Том посмотрел на отца.

— Что за чертовщина?

Отец пожал плечами. Он разглядывал лагерь. Перед одной из палаток стоял старый «бьюик» со снятой крышкой блока. Какой-то молодой человек притирал клапаны и поглядывал на грузовик Джоудов. Они заметили, что он посмеивается втихомолку. Когда бородач скрылся в своей лачуге, молодой человек бросил работу и подошел к Джоудам.

— Здравствуйте,— сказал он, и его голубые глаза весело блеснули.— Ну как, познакомились с нашим мэром?

— Что это с ним такое? — спросил Том.

Молодой человек хмыкнул:

— Да ничего, такой же тронутый, как мы с тобой. Может, чуть хуже.

Отец сказал:

— Я спросил его, можно ли здесь остановиться.

Молодой человек вытер замасленные ладони о брюки.

— А почему нельзя? Конечно, можно. Вы недавно здесь?

— Да,— ответил Том.— Сегодня утром приехали.

— Первый раз в Гувервиле?

— В каком Гувервиле?

— Да вот в этом самом.

— А! — сказал Том.— Мы только-только подъехали.

Уинфилд и Руфь вернулись, неся вдвоем ведро воды.

Мать сказала:

— Давайте раскладываться. Я очень устала. Может, отдохнем здесь.

Отец и дядя Джон влезли на грузовик и сняли брезент и матрацы.

Том подошел к молодому человеку и проводил его до машины, которую он чинил. Инструменты лежали у него на блоке, а на вакуумном бачке стояла желтая баночка с наждачной смесью для притирки клапанов. Том спросил:

— А что он какой чудной, этот бородач?

Молодой человек взял коловорот и снова принялся за притирку клапана к гнезду.

— Кто — мэр? А бог его знает. Наверно, очумелый.

— Очумелый?

— Его, наверно, полисмены так загоняли, что он до сих пор в себя не придет.

Том спросил:

— А зачем такого гонять?

Молодой человек отложил коловорот в сторону и посмотрел Тому прямо в глаза.

— А черт их знает,— сказал он.— Ты только что приехал. Может, тебе виднее, в чем тут дело. Одни так говорят, другие — эдак. Вот поживешь на одном месте день-другой, а потом явится шериф и погонит тебя дальше.— Он приподнял клапан и смазал гнездо.

— Да кому это нужно?

— Говорю — не знаю. Некоторые объясняют это так, будто здесь не хотят, чтобы мы участвовали в выборах, вот и гоняют нас с места на место. Другие говорят, чтобы не давать нам пособия по безработице. А третьи — чтобы мы не могли сорганизоваться. Не знаю. Я все время в дороге. Вот подожди, сам на себе это испытаешь.

— Ведь мы не бродяги,— не сдавался Том.— Мы ищем работу. Что ни предложат, за все возьмемся.

Молодой человек опустил коловорот и с удивлением посмотрел на Тома.

— Работу ищете? — повторил он.— Ишь ты, работу! А как по-твоему, что другие ищут? Алмазные россыпи? Я вот себе всю задницу на нет стер, а чего я ищу, как ты думаешь? — Он снова взялся за коловорот.

Том посмотрел на грязные палатки, на жалкий скарб около них, на старые машины, на бесформенные матрацы, вынесенные на солнце, на закопченные жестянки над черными от дыма ямами. Он негромко спросил:

— Работы нет?

— Пока не слышно. Позднее должна быть. Сейчас здесь никаких урожаев не снимают. Для винограда рано, для хлопка тоже рано. Мы поедем дальше, вот только клапаны притру. У меня жена, ребятишки. Говорят, дальше на севере работа есть. Туда и поедем, к Салинасу.

Том видел, как дядя Джон, отец и проповедник поднимают брезент на шесты, как мать, стоя на коленях, сметает пыль с матрацев. Новых соседей кольцом окружили дети, молчаливые, босоногие, чумазые. Том сказал:

— В наших местах раздавали листки — оранжевые. Там было написано, что здесь требуется много народу на сбор урожая.

Молодой человек рассмеялся.

— Сюда, говорят, триста тысяч понаехало, и, наверно, нет такой семьи, которая не видала бы этих листков.

— Да если нет нужды в людях, какой смысл их печатать?

— А ты пошевели мозгами.

— Я хочу разобраться, в чем тут дело.

— Слушай,— сказал молодой человек.— Предположим, ты предлагаешь работу, а охотник на нее найдется только один. Значит, сколько он ни запросит, столько ты и дашь. Теперь предположим, что охотников не один, а сотня.— Он отложил инструмент в сторону. Взгляд у него стал суровый, голос звучал резко.— Предположим, что до этой работы дорывается сотня человек. Предположим, у них есть дети, и дети сидят голодные. На каких-нибудь десять центов их можно накормить маисовой кашей. Предположим даже, что и на пять центов купишь чего-нибудь. А народу набежала целая сотня. Предложи им такой заработок, да они из-за него горло друг другу перервут. Знаешь, сколько мне платили на последнем месте? Пятнадцать центов в час. За десять часов полтора доллара. А жить там поблизости не позволяли. Пока доедешь, сколько одного бензину сожжешь.— Злоба душила его, глаза горели ненавистью.— Вот для этого листки и печатают. Пятнадцать центов в час за полевые работы... А на те деньги, которые хозяева сэкономят, такие листки можно выпускать тучами.

Том сказал:

— Вот дерьмо-то.

Молодой человек резко рассмеялся:

— Дерьмо! Ты здесь поживи немного,— если учуешь, где пахнет розами, позови меня, я тоже понюхаю.

— Но здесь должна быть работа,— гнул свое Том.— Сколько здесь всего — фруктовые сады, виноградники, огороды! Здесь люди нужны. Я же видел, сколько здесь всего растет.

В палатке рядом с машиной заплакал ребенок. Молодой человек прошел туда, и за брезентовой стенкой послышался его тихий голос. Том взял коловорот и стал притирать клапан, водя рукой по пол-оборота в обе стороны. Ребенок утих. Молодой человек вышел из палатки и остановился, глядя на Тома.

— Ничего, справляешься,— сказал он.— Хорошо, когда руки умелые. Это тебе пригодится.

— Ну, а как же все-таки? — снова начал Том.— Я ведь видел, сколько здесь всякого добра растет.

Молодой человек присел на корточки.

— Слушай,— сказал он.— Я работал в одном саду. Громадный — конца-краю не видно. Собирали персики. Круглый год его обслуживают девять человек.— Он выразительно помолчал.—

А когда персики поспевают, туда требуется на две недели три тысячи человек. Не найдут столько — все погниет. Так что они делают? Рассылают эти листки во все концы. Требуется три, а приходит шесть тысяч. Воля хозяйская — сколько им вздумается, столько и платят. А не хочешь работать за такую плату, пожалуйста — на твое место зарится тысяча человек. Ну, ты рвешь, рвешь эти персики, и наконец — все, больше не осталось. А ничего другого в тех местах нет. Одни персики, и поспевают все в одно время. Если уж снято, так все до последнего. Больше в этих местах делать нечего. И хозяева теперь не хотят, чтобы ты там торчал. А таких, как ты, три тысячи. Работа кончена. Кто тебя знает — может, ты вор, или пьяница, или скандалист. А кроме того, и вид у тебя не бог весть какой — живешь в старой палатке; местность красивая, а ты смердишь тут. Нечего тебе здесь делать. Ну и гонят в три шеи — поезжай дальше. Вот так-то.

Том посмотрел на свою палатку и увидел, что мать, двигаясь тяжело и медленно от усталости, разжигает небольшой костер из всякого хлама и ставит на огонь котелок. Дети подступили еще ближе, и спокойные, широко открытые детские глаза следили за руками матери. Дряхлый, сгорбленный старик выполз из палатки, точно барсук, и заковылял к ним, втягивая на ходу воздух ноздрями. Он заложил руки за спину и стал рядом с детьми, наблюдая за матерью. Руфь и Уинфилд стояли к ней вплотную и воинственно поглядывали на чужаков.

Том сказал злобно:

— Эти персики надо снимать сразу? Как только поспеют?

— Конечно.

— А что, если всем сговориться и заявить: «Пусть гниют». Небось живо плату повысят!

Молодой человек поднял голову и взглянул на Тома — взглянул насмешливо.

— Нечего сказать, придумал. Своим умом до этого дошел?

— Я устал,— ответил Том.— Всю ночь сидел за рулем. Я сейчас из-за любого пустяка могу сцепиться. Устал как собака. Ты уж меня не задирай. Ответь, когда спрашивают.

Молодой человек усмехнулся.

— Да нет, это я просто так. Ты здесь недавно. А те, кто тут поработал, они уже понимают, что к чему. И те, у кого сады, те тоже понимают. Вот слушай: если сговариваться и действовать заодно, нужен вожак — без вожака не обойдешься: ведь говорить кому-то надо. А стоит только ему открыть рот, его сейчас же схватят и посадят в тюрьму. Появится другой, и его туда же.

Том сказал:

— Что ж, в тюрьме, по крайней мере, кормят.

— Тебя кормят, а твоих детей — нет. Хорошо получится? Ты сидишь в тюрьме, а твои дети умирают с голоду.

— Н-да,— протянул Том.— Н-да.

— Это еще не все. Про черные списки слыхал?

— Это еще что такое?

— А вот попробуй только заикнись насчет того, чтоб действовать заодно, тогда живо узнаешь. С тебя сделают снимок и разошлют его во все концы. Тогда уж работы нигде не достанешь. А если у тебя ребята...

Том снял кепку и скрутил ее жгутом.

— Значит, что подвернулось, то и бери или подыхай с голоду; а если посмеешь пикнуть — тоже подыхай с голоду! Так?

Молодой человек широко повел рукой, показывая на рваные палатки и дряхлые машины.

Том снова посмотрел на мать, чистившую теперь картошку. Дети подступили к ней еще ближе. Он сказал:

— Нет, я так не согласен. Мы, черт возьми, не овцы. Я вот возьму да сверну кому-нибудь шею.

— Полисмену?

— Да кому придется.

— Рехнулся, голубчик,— сказал молодой человек.— С тобой живо разделаются. Ты человек безвестный, собственности у тебя никакой нет. Найдут где-нибудь в канаве, когда у тебя уж кровь на лице запечется. А в газете будет всего одна строчка — знаешь, какая? «Обнаружен труп бродяги». Вот и все. В газетах таких заметок сколько угодно, сам увидишь. «Обнаружен труп бродяги».

Том сказал:

— Около этого бродяги еще один труп обнаружат.

— Рехнулся, голубчик,— повторил молодой человек.— Что ты этим докажешь?

— Ну, а ты как бы стал? — Том посмотрел на измазанное тавотом лицо молодого человека, посмотрел ему в глаза, вдруг словно подернувшиеся пленкой.

— Никак. Вы издалека?

— Мы? Из Саллисо, Оклахома.

— Недавно приехали?

— Только сегодня.

— И долго думаете здесь оставаться?

— Не знаю. Где найдем работу, там и останемся. А что?

— Ничего.— И глаза его снова подернуло пленкой.

— Пойду посплю,— сказал Том.— Завтра с утра выедем искать работу.

— Что ж, попробуйте.

Том повернулся и пошел к своей палатке.

Молодой человек взял банку наждачной смеси для притирки и запустил туда пальцы.

— Эй! — крикнул он.

Том оглянулся.

— Ну?

— Слушай, что я скажу.— Он поманил его пальцем, на котором сидела нашлепка мази.— Слушай... Ты не нарывайся. Помнишь того — очумелого?

— Из этой лачуги?

— Да. Дурной такой, будто ничего не понимает.

— Ну и что?

— Когда сюда пожалуют полисмены,— а они то и дело к нам наведываются,— ты тоже таким прикинься. Ничего ты не знаешь, ничего не понимаешь. Полисмены только к таким и благоволят. А затевать с ними драку и не думай. Это все равно что руки на себя наложить. Прикидывайся, будто совсем очумел от страха.

— Значит, пусть полисмен что хочет делает, а ты молчи?

— Да нет, слушай. Я к тебе загляну вечерком. Может, не следует мне этого делать. Тут куда ни плюнь — везде шпики. Я иду на риск, а у меня ребенок. Но все равно, я к тебе загляну. А если увидишь полисмена, прикинься дурачком. Этаким Оки, понял?

— Что ж, это можно, если дело делать,— сказал Том.

— А ты не беспокойся. Мы без дела не сидим, только на рожон не лезем. Ребенку много ли надо? Поголодает дня два-три, и конец.— Молодой человек снова принялся за работу. Он смазал гнездо клапана, и его рука, державшая инструмент, заходила взад и вперед. Лицо его потеряло всякую выразительность, взгляд стал тупой, бессмысленный.

Том медленно побрел к своим.

— Значит, очумелый,— тихо проговорил он.

Отец и дядя Джон подошли к палатке с охапками хвороста, сложили его у костра и присели на корточки.

— Тут поблизости все подобрали,— сказал отец.— Пришлось далеко идти.— Он посмотрел на окруживших палатку детей.— Господи помилуй! Откуда вас столько набежало? — И дети смущенно потупились.

— Наверно, учуяли, что пахнет едой,— сказала мать.— Уинфилд, не вертись под ногами.— Она оттолкнула его.— Хочу потушить мясо. Мы горячего не ели с самого отъезда. Па, сходи в лавку, возьми зашеины. Я ее на костре потушу.

Отец встал и ушел. Эл открыл капот грузовика и заглянул внутрь, на блестящий от масла двигатель. Он поднял голову, услышав шаги Тома.

— Нечего сказать, веселый идешь.

— Ну еще бы! Просто прыгаю от радости, как лягушка под дождиком,— ответил Том.

— Посмотри,— Эл показал на двигатель.— Здорово, а?

Том заглянул внутрь:

— Да как будто ничего.

— По-твоему, ничего? А по-моему, замечательно. Масла совсем не пропускает.— Он вывернул свечу и сунул в отверстие палец.— Нагар есть, но это ничего, не страшно.

Том сказал:

— Ну что ж, молодец, правильно выбрал. Ты этого от меня ждешь?

— Я всю дорогу боялся: вот, думаю, рассыплется все, а чья будет вина? Моя.

— Да нет, ты правильно выбрал. А сейчас проверь все как следует, завтра с утра поедем искать работу.

— Ничего, довезет,— сказал Эл.— Можешь не беспокоиться.— Он вынул нож из кармана и стал очищать электроды свечи.

Том зашел в палатку и увидел Кэйси, который сидел на земле и сосредоточенно разглядывал свою правую босую ногу. Том тяжело опустился рядом с ним:

— Ну, как, работает?

— Что? — спросил Кэйси.

— Да нога твоя.

— А... Это я просто так — сижу, думаю.

— Ты, наверно, только в такой удобной позе и можешь думать,— сказал Том.

Кэйси пошевелил пальцами ноги и спокойно улыбнулся.

— Пока не устроишься поудобнее, и мысли в голову не идут.

— Я уж давно твоего голоса не слышал,— сказал Том.— Все думаешь?

— Да, все думаю.

Том снял кепку — грязную теперь, затасканную, с перегнутым пополам козырьком, отвернул кожу внутри и вложил туда новую прокладку из газетной бумаги.

— Села от пота, на голову не лезет,— сказал он и посмотрел на шевелившиеся босые пальцы Кэйси.— Может, ты оторвешься на минутку от своих мыслей? Послушаешь, что я скажу?

Кэйси повернул к нему голову на длинной, как стебель, шее.

— Я все время слушаю. Потому и задумываюсь. Сначала слушаю, что люди говорят, а потом начинаю понимать, что они чувствуют. Я их все время слышу, я их чувствую; люди бьют крыльями, точно птицы, залетевшие на чердак. Кончится тем, что поломают они себе крылья о пыльные стекла, а на волю так и не вырвутся.

Том долго смотрел на него широко открытыми глазами, потом отвернулся и взглянул на серую палатку шагах в двадцати от них. На ее оттяжках были развешаны выстиранные комбинезоны, рубашки и платья. Он тихо сказал:

— Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. А ты уж сам все видишь.

— Вижу,— подтвердил Кэйси.— Таких, как мы, целая армия, а узды на нее нет.— Он опустил голову и медленно провел рукой по лбу и по волосам.— Я везде это видел. Везде, где мы ни останавливались. Люди изголодались, дорвутся до мяса, а сытости не чувствуют. А когда вконец изголодаются, так что сил нет терпеть, тогда просят меня помолиться. И иногда я молился.— Он обнял колени руками и подтянул ноги повыше.— Я раньше думал, что молитва помогает. Прочтешь молитву — и все горести налипнут на нее, как мухи на клейкую бумагу. Молитва улетит и все унесет с собой. А сейчас так не бывает.

Том сказал:

— Молитва мяса никогда не давала. Для этого свинья требуется.

— Да,— сказал Кэйси.— И господь бог жалованья тоже никому не платит. Люди хотят жить по-людски, хотят растить детей. На старости лет всем хочется посидеть на крылечке и посмотреть, как заходит солнце. А молодым — потанцевать, попеть и слюбиться друг с дружкой. Есть, выпить кое-когда, трудиться — это всем хочется. Задать такую работу мускулам, чтобы все тело разломило от усталости. А черт! Что это я разболтался.

— Кто тебя знает,— сказал Том.— Болтай — слушать приятно. Но когда же ты бросишь свои думы? Надо ведь и за работу приниматься. Всем надо. Деньги на исходе. Отец отдал пять долларов, чтобы над бабкиной могилой прибили дощечку с надписью. Денег осталось самая малость.

Поджарый рыжий пес выбежал из-за палатки, вынюхивая что-то на земле. Он держался с опаской, готовясь в любую минуту удрать. Подбежав почти вплотную к Тому и проповеднику, он вдруг учуял их, поднял голову, отскочил и бросился наутек с поджатым хвостом. Кэйси проводил его глазами и сказал со вздохом.

— Никому я добра не приношу. Ни себе, ни другим. Может, мне лучше уйти? Ем ваш хлеб, занимаю место. А взамен ничего не даю. Может, найду где-нибудь постоянную работу, тогда выплачу вам хоть часть своего долга.

Том открыл рот и постучал по зубам сухим прутиком. Глаза его смотрели на лагерь — на серые палатки и лачуги из жести и картона.

— Хорошо бы сейчас табаку раздобыть,— сказал он.— Я век не курил. В Мак-Алестере мы без курева не сидели. Меня иной раз назад туда тянет.— Он снова постучал прутиком по зубам и вдруг повернулся к проповеднику.— Ты в тюрьме никогда не сидел?

— Нет,— сказал Кэйси,— не приходилось.

— Ты подожди уходить,— сказал Том.— Повремени немного.

— Чем раньше начну искать работу, тем скорее найду.

Том посмотрел на него полузакрытыми глазами, потом снова надел кепку.

— Слушай,— сказал он,— проповедники любят расписывать насчет млека и меда, а здесь этим не пахнет. Здесь нехорошие дела делаются. Местные боятся тех, кто сюда понаехал, и натравливают на нас полицию, в расчете, что мы повернем назад.

— Да,— сказал Кэйси.— Я знаю. А почему ты спрашиваешь про тюрьму?

Том медленно заговорил:

— Когда сидишь в тюрьме... как-то заранее все угадываешь. Там говорить много не разрешается. С одним, с двумя — можно, а соберется больше — разгоняют. Вот и становишься таким, что заранее все чуешь. Если готовится что-нибудь... ну, скажем, озвереет твой сосед, стукнет надзирателя щеткой по голове... ты заранее чувствуешь, что так будет. Побег или бунт... тебя об этом предупреждать не надо. Ты сам чуешь. Сам угадываешь.

— Ну и что?

— Побудь здесь,— сказал Том.— Побудь хоть до завтра. Тут что-то готовится. Я поговорил с одним... Виляет, хитрит, да, пожалуй, хватил через край. Настоящий шакал — тихоня, все время начеку, слова лишнего не скажет... а мне чудится, недаром курица клохчет.

Кэйси посмотрел на него, хотел было спросить что-то и, раздумав, плотно сжал губы. Он медленно посучил босыми пальцами, потом рознял руки и вытянул вперед правую ногу так, чтобы видеть ее.

— Ладно,— сказал он.— Я подожду уходить.

Том сказал:

— Когда люди — хорошие смирные люди — не понимают, что делается вокруг... это значит, надо чего-то ждать. Так просто не обойдется

— Я останусь,— сказал Кэйси.

— А завтра поедем искать работу.

— Ладно,— сказал Кэйси и посучил пальцами, сосредоточенно глядя на них. Том прилег, опершись на локоть, и закрыл глаза.

Он слышал доносившиеся из палатки неясные голоса Розы Сарона и Конни.

Под брезентом была густая тень, и светлые треугольники с обеих сторон выступали резко и четко. Роза Сарона лежала на матраце, а Конни сидел рядом с ней на корточках.

— Надо бы помочь матери,— сказала Роза Сарона.— Да стоит только мне шевельнуться, сейчас же рвота.

Взгляд у Конни был хмурый.

— Если бы знать заранее, что все так будет, я бы не поехал. Выучился бы дома на тракториста, получал бы три доллара в день. На три доллара можно жить в свое удовольствие, и в кино хоть каждый день ходи.

Роза Сарона насторожилась.

— Ты будешь учить радио по вечерам,— сказала она. Конни долго не отвечал ей.— Ведь будешь? — спросила Роза Сарона.

— Конечно, буду. Только мне сначала надо стать на ноги. Подработать немного.

Она приподнялась на локте.

— Ты не раздумал?

— Нет... конечно, не раздумал. Только я... я не знал, что придется жить в таких местах, как здесь.

Взгляд у Розы Сарона стал суровый.

— Раз пришлось, значит, так надо,— спокойно сказала она.

— Конечно. Я сам знаю. Надо стать на ноги. Подработать немного. А может, лучше было остаться дома? Выучился бы на тракториста. Они получают три доллара в день, да еще сверх этого прирабатывают.— Глаза Розы Сарона испытующе смотрели на Конни, и Конни почувствовал, что она оценивает, проверяет его.— Учиться я обязательно буду,— сказал он.— Только сначала надо стать на ноги.

Она проговорила с ожесточением:

— У нас будет собственный домик до того, как мне придет время. Рожать в палатке я не хочу.

— Конечно,— сказал он.— Только мне сначала надо стать на ноги.— Он вышел из-под навеса и посмотрел на мать, нагнувшуюся над котелком.

Роза Сарона легла на спину и уставилась взглядом в брезентовый полог над головой. Потом она сунула большой палец в рот, точно кляп, и беззвучно заплакала.

Опустившись на колени перед костром, мать ломала ветки и подсовывала их под самый котелок. Огонь разгорался и гас, разгорался и гас. Дети — теперь их было пятнадцать человек — молча стояли возле костра. И когда запах съестного дошел до них, они чуть сморщили носы. Солнце играло на их бурых от пыли волосах.

Детям было неловко, но они не уходили. Мать спокойно разговаривала с девочкой, стоявшей в самом центре этой жадно глазевшей толпы. Девочка была постарше остальных ребят. Она стояла на одной ноге, потирая ступней голую икру. Руки у нее были за спиной. Спокойные серые глаза в упор смотрели на мать. Она предложила:

— Давайте наломаю вам веток, мэм.

Мать подняла голову от котелка.

— Хочешь, чтобы я тебя угостила?

— Да, мэм,— спокойно ответила девочка.

Мать подсунула веток под котелок, и они затрещали на огне.

— Разве ты не завтракала?

— Не завтракала, мэм. Здесь нет никакой работы. Па хочет продать что-нибудь из вещей, купить бензину и ехать дальше.

Мать посмотрела на нее.

— А остальные тоже не завтракали?

Дети неловко переступили с ноги на ногу и отвели глаза от котелка. Один маленький мальчик хвастливо сказал:

— Я завтракал... и мой брат завтракал... и вот эти двое тоже, я сам видел. Мы досыта наелись. Мы сегодня уезжаем дальше, на юг.

Мать улыбнулась.

— Значит, вы не голодные. Здесь на всех не хватит.

Мальчик выпятил нижнюю губу.

— Мы досыта наелись,— повторил он и вдруг круто повернулся, подбежал к своей палатке и нырнул туда. Мать так долго смотрела ему вслед, что девочка решила напомнить ей:

— Огонь совсем потух, мэм. Хотите, я разожгу?

Руфь и Уинфилд стояли среди ребят, пытаясь сохранять ледяное спокойствие и достоинство. Они держались отчужденно и вместе с тем по-хозяйски. Руфь посмотрела на девочку холодными, злыми глазами. Потом присела на корточки и стала сама ломать ветки.

Мать сняла крышку с котелка и помешала мясо щепкой.

— Вот и хорошо, что вы не все голодные. Тот малыш наверняка не голодный.

Девочка презрительно улыбнулась:

— Кто — он? Да он просто хвастается. Подумаешь, нос задрал! Когда у них на ужин ничего нет, знаете, что он придумывает? Вчера вышел и говорит: мы курицу ели. А я видела, что у них было,— одни лепешки, как у всех.

— О-о! — Мать посмотрела на палатку, в которую шмыгнул мальчуган. Потом снова взглянула на девочку.— А вы давно в Калифорнии? — спросила она.

— Месяцев шесть. Мы сначала жили в правительственном лагере, потом уехали дальше, на север, а когда вернулись, там уж было полно. Вот где хорошо жить!

— А где это? — спросила мать. Она взяла у Руфи наломанные ветки и подложила их в костер. Руфь с ненавистью посмотрела на большую девочку.

— Это около Уидпетча. Там и уборные есть и душевые, белье можно стирать в лоханках, воды сколько угодно — хорошей, питьевой; по вечерам музыка, все играют, кто на чем умеет, а по субботам танцы. Ну прямо замечательно! И для детей есть площадка, и в уборных бумага. Потянешь за ручку, вода льется; а полисменов там совсем нет — никто не лазает по палаткам, а начальник, который управляет всем лагерем, он такой вежливый — зайдет в гости и поговорит, и совсем не важничает... Я бы хотела еще там пожить.

Мать сказала:

— Первый раз слышу о таком лагере. Да, в лоханке я бы постирала.

Девочка захлебывалась от восторга:

— Да там, знаете, как устроено? Горячая вода идет прямо по трубам; встанешь под душ, и так приятно! Такого лагеря нигде больше нет.

Мать сказала:

— Говоришь, там сейчас полно?

— Полно. Когда мы приехали последний раз, все было занято.

— Должно быть, большие деньги берут? — сказала мать.

— Да, но если денег нет, позволяют отрабатывать — по два часа в неделю. Посылают на уборку. Или мусорные ящики чистить, или еще что-нибудь. А по вечерам люди сходятся, разговаривают, слушают музыку, а горячая вода прямо по трубам бежит. Лучше этого лагеря нигде нет.

Мать сказала:

— Вот бы нам где пожить!

До сих пор Руфь держалась, но тут она выпалила с яростью:

— А у нас бабка умерла прямо на грузовике.— Девочка недоуменно посмотрела на нее.— Да, да,— сказала Руфь.— Ее следователь забрал.— Она поджала губы и переломила еще две-три ветки.

Уинфилд заморгал глазами, пораженный смелым выпадом Руфи.

— На грузовике умерла,— повторил он вслед за ней.— А следователь положил ее в большую корзину.

Мать сказала:

— А вы помалкивайте, не то прогоню,— и подкинула веток в костер.

На другом конце лагеря Эл подошел посмотреть на притирку клапанов.

— Скоро кончишь? — спросил он.

— Еще два осталось.

— А девочки здесь есть?

— Я женатый,— сказал молодой человек.— У меня на девочек времени не хватает.

— А у меня всегда хватает,— сказал Эл.— На что другое — нет, а на девочек всегда найдется.

— А ты поголодай, тогда другое запоешь.

Эл засмеялся:

— Все может быть. А пока что пою по-прежнему.

— Я тут разговорился с одним. Он с вами вместе приехал?

— Да. Это мой брат, Том. Ты с ним поосторожнее. Он человека убил.

— Убил? За что?

— В драке. Тот пырнул его ножом. А он ему по голове лопатой.

— Вон оно что! Ну и как же, суд был?

— Отпустили, потому что это случилось во время драки,— ответил Эл.

— Он не похож на забияку.

— Да нет. Том не забияка. Только спускать никому не любит.— Эл говорил гордо.— Том человек спокойный. А все-таки с ним лучше держать ухо востро.

— А мы поговорили. Мне показалось, он не злой.

— Нет, он не злой. Он смирный — до поры до времени, а там держи ухо востро.— Молодой человек принялся за последний клапан.— Давай помогу поставить клапаны, и крышку наденем.

— Что ж, помоги, если тебе делать нечего.

— Надо бы поспать,— сказал Эл,— да стоит мне только увидеть нутро машины, как руки сами к ней тянутся. Не могу удержаться.

— За помощь буду благодарен,— сказал молодой человек.— Меня зовут Флойд Ноулз.

— А меня Эл Джоуд.

— Очень рад познакомиться.

— Я тоже,— сказал Эл.— Прокладку оставишь старую?

— Придется,— ответил Флойд.

Эл вынул нож из кармана и поскреб им блок двигателя.

— Ох! — сказал он.— Ничего так не люблю, как копаться в машине.

— А девочек?

— Девочек тоже люблю. Все бы отдал за то, чтобы разобрать «роллс-ройс» и опять собрать. Один разок все-таки удалось заглянуть под капот шестнадцатицилиндрового «кадиллака». Вот прелесть-то! Шел я по улице в Саллисо — вижу, стоит шестнадцатицилиндровый у ресторана. Я поднял капот, и вдруг выходит из ресторана какой-то дядя — и ко мне: «Ты что тут делаешь?» А я говорю: «Ничего, смотрю. Прелесть что за машина». А он стоит со мной рядом. Наверно, сам никогда в нее не заглядывал. Стоит рядом и смотрит. Богатый, в соломенной шляпе. Рубашка в полоску, очки. Ничего друг дружке не говорим. Просто смотрим. А потом он вдруг спрашивает: «Хочешь сесть за руль?»

Флойд сказал:

— Врешь!

— Ей-богу. «Хочешь сесть за руль?»А на мпе штаны грязные. Я говорю: «Вымажу вам все».— «Садись, говорит, объедем квартал». Я сел и восемь раз вокруг того квартала объехал. Ну и машина! Ай-ай-ай!

— Хороша? — спросил Флойд.

— Ой, не говори! Разобрать бы ее по винтику... да я бы все за это отдал!

Ходившая рывками рука Флойда остановилась. Он снял последний клапан с гнезда и осмотрел его.

— Ты лучше привыкай к примусам на колесах, шестнадцатицилиндровый тебе вряд ли придется водить.— Он положил коловорот на подножку и стал счищать стамеской нагар с головки блока.

Две женщины, простоволосые, босые, прошли мимо них, неся вдвоем ведро с мутно-белой водой. Они тяжело переступали ногами, еле справляясь со своей ношей, и не поднимали глаз от земли. Солнце начинало клониться к западу.

Эл сказал:

— Тебя, видно, ничем не проберешь.

Флойд еще сильнее налег на стамеску.

— Я здесь шестой месяц,— сказал он.— Кочую по всему штату — только и думаю, как бы подработать да как бы поскорее перебраться с одного места на другое, чтобы жена и ребята не сидели без мяса и без картошки. Носишься, как заяц, а толку мало. Тут хоть из кожи вон лезь, сытым все равно не будешь. Устал я. До того устал, что и за ночь не отдыхаю. Что дальше делать, просто ума не приложу.

— Неужели нельзя найти постоянную работу? — спросил Эл.

— Нет, постоянной работы не найдешь.— Флойд соскреб

«Гроздья гнева»

остатки нагара с головки блока и протер тусклый металл тряпкой, пропитанной маслом.

К лагерю подъехала дряхлая легковая машина. В ней сидело четверо мужчин — все загорелые, суровые. Машина медленно двигалась между палатками. Флойд крикнул:

— Удачно съездили?

Машина остановилась. Человек, сидевший за рулем, сказал:

— Где мы только не были! Никакой работы здесь и в помине нет. Надо уезжать отсюда.

— Куда? — крикнул Эл.

— Сами не знаем. Здесь мы все обрыскали.— Он отпустил тормоз, и машина медленно двинулась дальше.

Эл долго смотрел им вслед.

— А по-моему, лучше ездить в одиночку. Один скорее работу найдешь.

Флойд положил стамеску и невесело улыбнулся.

— Ты еще неученый,— сказал он.— На разъезды нужен бензин. А галлон бензина стоит пятнадцать центов. Эти четверо не могут разъезжать на четырех машинах. Они складываются по десять центов и покупают бензин. Тебе всему этому еще поучиться надо.

— Эл! — Эл посмотрел на Уинфилда, с важным видом остановившегося рядом с ним.— Мясо готово, ма сейчас будет нас кормить. Иди, она тебя зовет.

Эл вытер руки о штаны.

— Мы сегодня еще не ели,— сказал он Флойду.— Я поем и приду.

— Да это не обязательно.

— Приду, приду, чего там.— Он пошел за Уинфилдом к палатке Джоудов.

Около нее было тесно. Дети такой плотной стеной обступили котелок с варевом, что мать, поворачиваясь, задевала их локтями. Том и дядя Джон стояли рядом с ней.

Мать растерянно проговорила:

— Не знаю, как быть. Надо накормить семью. А что я с этими поделаю?

Дети стояли как вкопанные и смотрели на нее. Лица их ничего не выражали, глаза перебегали с котелка на оловянную тарелку, которую мать держала в руках. Глаза неотступно следили за ложкой, ходившей от котелка к тарелке, и когда мать передала дяде Джону его порцию, глаза впились в нее. Дядя Джон подцепил полную ложку, и глаза поднялись кверху вместе с ней. Дядя Джон отправил в рот полкартофелины, и глаза уставились ему в лицо, следя за его выражением: вкусно ли, понравится ли ему?

Дядя Джон словно впервые увидел их. Он жевал медленно.

— Возьми,— сказал он Тому.— Я не хочу.

— Ты же сегодня ничего не ел,— сказал Том.

— Да у меня что-то живот болит. Не хочется.

Том спокойно сказал:

— Иди в палатку и ешь там.

— Да мне не хочется,— твердил дядя Джон.— Я и в палатке их буду видеть.

Том повернулся к детям.

— Уходите,— сказал он.— Марш отсюда! — Глаза оторвались от котелка и недоуменно уставились ему в лицо.— Марш отсюда. Так нехорошо делать. Все равно вам не хватит.

Мать разложила по тарелкам порции мяса с картошкой — совсем маленькие порции — и поставила тарелки на землю.

— Не могу я их гнать,— сказала она.— Просто не знаю, что и делать. Забирайте каждый свою тарелку и идите под навес. А то, что осталось, пусть они доедают. Вот эту дайте Розе.— Мать улыбнулась детям.— Слушайте, малыши,— сказала она,— разыщите себе где-нибудь щепочки, а я вам дам, что осталось. Только чтобы без драки.

Дети стремительно и молча разлетелись в разные стороны. Кто побежал искать щепки, кто по палаткам — за ложками. Не успела мать разложить еду по тарелкам, как они снова окружили ее — молчаливые, голодные, как волки. Мать покачала головой.

— Что же делать? Ведь семью не обделишь. Семью надо накормить. Руфь, Уинфилд, Эл! — громко крикнула она.— Берите скорей тарелки. Идите с ними под навес.— Она виновато посмотрела на дожидавшихся детей.— Здесь совсем мало,— сконфуженно сказала она.— Я поставлю котелок на землю, а вы поскребите остатки, только досыта из вас никто не наестся... Что же поделаешь. Я не дать не могу.— И, сняв котелок с огня, она поставила его на землю, сказала: — Подождите. Еще горячее,— и быстро ушла в палатку, чтобы не видеть этого.

Ее семья сидела прямо на земле, каждый со своей тарелкой, и в палатке было слышно, как дети скребут щепочками, ложками и кусками ржавой жести. Котелка за ними не было видно. Они не переговаривались между собой, не дрались, не спорили, но в каждом их движении чувствовалась железная настойчивость и чуть ли не ярость. Мать повернулась спиной, чтобы не видеть этого.

— Так больше нельзя,— сказала она.— Надо прятаться от чужих глаз.— Щепочки и ложки уже скребли по самому дну, а потом дети разошлись, оставив пустой котелок. Мать посмотрела на тарелки.— Вы, наверно, никто досыта не наелись.

Отец встал и, ничего не ответив ей, вышел из палатки. Проповедник улыбнулся и лег на землю, положив руки под голову. Эл сказал:

— Пойду помогу тут одному, он с машиной возится.

Мать собрала тарелки и пошла мыть их.

— Руфь,—крикнула она.—Уинфилд! Принесите-ка мне воды.

Она дала им ведро, и они пошли с ним к реке.

К палатке подходила высокая, широкоплечая женщина. Платье на ней было запыленное, все в масляных пятнах. Женщина шла, горделиво подняв голову. Остановившись в нескольких шагах от палатки Джоудов, она воинственно посмотрела на мать. Потом подошла ближе.

— Здравствуйте,— холодно сказала она.

— Здравствуйте,— ответила мать и, встав с колен, пододвинула ей ящик.— Садитесь, пожалуйста.

Женщина подошла совсем близко.

— Нет, не хочу.

Мать вопросительно посмотрела на нее.

— Вам что-нибудь нужно?

Женщина подперла бока руками.

— Мне нужно, чтобы вы заботились о своих собственных детях, а моих оставили в покое.

Мать широко открыла глаза.

— Я ничего такого не сделала...— начала она.

Женщина нахмурилась.

— От моего мальчишки так и разит тушеным мясом. Он сказал, что вы их накормили. Тушеным мясом вздумали хвалиться? Нечего этим хвалиться. У меня и без того много забот, а тут мальчишка прибегает и спрашивает: «Почему у нас нет тушеного мяса?» — Голос ее дрожал от злобы.

Мать подошла к ней вплотную.

— Вы сядьте,— сказала она.— Сядьте, давайте поговорим.

— Не хочу я садиться. Я стараюсь хоть как-нибудь накормить семью, а вы тут со своим тушеным мясом лезете!

— Вы сядьте,— повторила мать.— У нас теперь мяса до тех пор не будет, пока не получим работу. А если б ребятишки вот так обступили вас со всех сторон, что бы вы сделали? Нам самим не хватило, да разве детям откажешь, когда они смотрят такими глазами?

Руки женщины повисли вдоль тела. Она испытующе посмотрела на мать, потом повернулась, быстро зашагала прочь и, пройдя в свою палатку, прикрыла за собой по́лы. Мать проводила ее взглядом и снова опустилась на колени рядом с горкой оловянных тарелок.

К палатке быстро подошел Эл.

— Том! — крикнул он.— Ма, Том здесь?

Том высунул голову из-под навеса.

— Ты что?

— Пойдем,— взволнованно сказал Эл.

Они пошли вместе.

— Что случилось? — спросил Том.

— Подожди, сейчас узнаешь.— Эл подвел его к машине Флойда.— Это Флойд Ноулз,— сказал он.

— Мы с ним уже виделись. Ну, как дела?

— Да вот кончаю,— ответил Флойд.

Том провел пальцами по блоку мотора.

— Ну, Эл, что там у тебя? Выкладывай.

— Знаешь, что Флойд говорит? Расскажи ему, Флойд.

Флойд начал:

— Может, лучше бы помолчать... да ладно. Тут один приехал, говорит, что работа есть, дальше на севере.

— Дальше на севере?

— Да. Есть такое место — долина Санта-Клара. Далеко, у черта на куличках.

— А какая работа?

— Сбор слив, груш, консервирование. Говорят, скоро все созреет.

— А очень далеко? — спросил Том.

— Кто ее знает! Миль двести, что ли?

— Да, не близко,— сказал Том.— А откуда ты знаешь, что там будет работа к нашему приезду?

— Заранее этого знать нельзя,— ответил Флойд.— Но ведь здесь все равно ничего нет, а тот, кто мне сказал, получил письмо от брата. Брат сам туда едет. Он никому не велел говорить, а то все ринутся. Выезжать придется ночью. Пораньше приедем, может, получим работу.

Том внимательно приглядывался к нему.

— Зачем же так, крадучись?

— А затем, что, если все туда ринутся, работы не хватит.

— Уж очень далеко.

Флойд сказал обиженно:

— Я тебе по-дружески говорю. Не хочешь, не надо. Твой брат мне помог, потому я вам и говорю.

— А ты наверно знаешь, что здесь нет работы?

— Слушай, я три недели здесь рыскал, и хоть бы что-нибудь попалось — ничего нет! Если хочешь ухлопать на разъезды черт знает сколько бензина — пожалуйста, ищи сам. Я вас не прошу со мной ехать. Чем больше будет народу, тем меньше у меня шансов.

Том сказал:

— Да я тебе верю. Только уж очень далеко. Мы надеялись здесь поработать, надеялись подыскать себе жилье.

Флойд продолжал все так же терпеливо:

— Вы только что приехали. Вам еще многому надо поучиться. Если послушаете меня — кроме хорошего, ничего не будет. А нет — этот урок обойдется вам дороже. На постоянное жилье вы здесь не рассчитывайте, потому что в этих местах постоянной работы нет. Брюхо погонит вас дальше. Ну вот, теперь все начистоту.

— Все-таки надо бы поискать,— озабоченно проговорил Том.

К соседней палатке подъехала легковая машина. Из нее вылез человек в комбинезоне и синей рубашке. Флойд крикнул:

— Удачно съездили?

— Никакой работы здесь нет и не будет, пока не созреет хлопок.— И человек ушел в рваную палатку.

— Слыхал? — спросил Флойд.

— Н-да... А все-таки двести миль!

— Пока что вы еще никуда не пристроились. Думайте — решайте.

— По-моему, надо ехать,— сказал Эл.

Том спросил:

— А когда здесь будет работа?

— Через месяц начнут собирать хлопок. Если деньги есть, дожидайтесь.

Том сказал:

— Ма ни почем не захочет ехать. Очень уж она устала.

Флойд пожал плечами:

— Я вас туда не гоню. Делайте, как вам лучше. Я что слышал, то и сказал.— Он поднял с подножки пропитавшуюся маслом прокладку и аккуратно приладил ее к блоку.— Ну,— обратился он к Элу,— давай помоги.

Том смотрел, как они осторожно надели крышку блока на шпильки.

— Надо все обсудить со своими,— сказал он.

— Только пусть, кроме вас, никто ничего не знает,— сказал Флойд.— Я только вам говорю. Если б твой брат мне не помог, я бы и не заикнулся.

Том сказал:

— Что ж, спасибо. Надо все обсудить как следует. Может, и поедем.

Эл сказал:

— Если вы раздумаете, я один поеду, ей-богу. Как-нибудь доберусь — подвезут.

— А семью бросишь? — спросил Том.

— А что тут такого? Я вернусь. С деньгами вернусь.

— Ма на это не согласится,— сказал Том.— И отец тоже.

Флойд наставил гайки и подвинтил их сначала пальцами.

— Мы с женой выехали вместе со всеми,— сказал он.— Там, дома, и в голову бы не пришло от своих отбиваться. Просто и в голову бы не пришло. Сначала были всей семьей, потом мы приехали сюда, они двинулись дальше, и теперь куда их занесло, одному богу известно. Я с тех пор их разыскиваю, спрашиваю везде.— Он захватывал гайки ключом и равномерно подвинчивал их одну за другой.

Том присел на корточки рядом с машиной и, сощурив глаза, посмотрел на ряды палаток, на проходы между ними с вытоптанной травой.

— Нет, милый мой,— сказал он,— ма тебя не отпустит.

— А по-моему, одпому легче найти работу.

— Может быть. А все-таки она на это не согласится.

К лагерю подъехали две переполненные машины; у людей, которые сидели в них, вид был унылый. Флойд поднял глаза и не стал спрашивать, удачно ли они съездили. Сквозь грусть на их лицах проглядывало упорство. Солнце клонилось к западу; Гувервиль и ракитовые кусты позади были залиты желтым солнечным светом. Дети мало-помалу выходили из палаток и разбредались по лагерю. И женщины тоже выходили из палаток и разжигали костры. Мужчины собирались небольшими группами и, присев на корточки, заводили беседы.

Новенький «шевроле» свернул прямо к лагерю. Оп остановился среди палаток. Том спросил:

— Это еще кто? Как будто не здешние?

Флойд сказал:

— Не знаю. Полисмены, наверно.

Дверца распахнулась, и из «шевроле» вышел человек. Его спутник остался в машине. Мужчины, сидевшие на корточках, посмотрели в ту сторону, и разговоры смолкли. Женщины, возившиеся у костров, украдкой поглядывали на блестящую машину. Дети двинулись к ней, выбирая самые замысловатые пути, кружа среди палаток.

Флойд положил ключ. Том встал. Эл вытер руки о штаны. Втроем они пошли к «шевроле». На человеке, который вышел из машины, были брюки защитного цвета и фланелевая рубашка. На голове шляпа с прямыми полями. В кармане рубашки, за изгородью из вечных ручек и желтых карандашей, торчала пачка бумаг, из брючного кармана выглядывал блокнот с металлической дощечкой. Он подошел к одной из групп, и сидевшие на корточках мужчины встретили его настороженно и молча. Они следили за

ним, не двигаясь с места; белки глаз поблескивали у них потому, что они смотрели вверх, не поднимая головы. Том, Эл и Флойд не спеша — как будто от нечего делать — подошли поближе.

Человек спросил:

— Хотите получить работу?

Все смотрели на него молча и настороженно. А со всего лагеря сюда уже тянулись люди.

Наконец кто-то ответил:

— Конечно, хотим. А где она есть?

— Округ Туларе. Там начинается сбор фруктов. Нужно много народу.

Заговорил Флойд:

— Наем вы сами производите?

— Да, я подрядчик.

Люди сбились вокруг него тесной кучкой. Высокий человек в комбинезоне снял черную шляпу и прочесал пальцами длинные черные волосы.

— А сколько будете платить? — спросил он.

— Точно не могу сказать. Центов тридцать.

— А почему не можете сказать точно? Ведь у вас подряд?

— Правильно,— сказал человек в брюках защитного цвета.— Но все зависит от цен на фрукты. Может, немного больше, может, немного меньше.

Флойд вышел вперед. Он спокойно сказал:

— Я поеду, мистер. Вы подрядчик, у вас должны быть документы. Покажите их, а потом выдайте нам справку, пусть там будет сказано, где работать, когда и сколько нам будут платить, и подпишите ее. Тогда мы поедем.

Подрядчик свирепо посмотрел на него:

— Ты что, будешь меня учить, как мне свои собственные дела вести?

Флойд сказал:

— Если мы пойдем к вам работать, это и наши дела тоже.

— Ну, ты мне не указывай. Я говорю, что люди нужны.

Флойд с яростью проговорил:

— А сколько вам нужно и какая будет плата, об этом вы молчите.

— Да я еще сам не знаю!

— Тогда какое же вы имеете право нанимать людей?

— Право? Я имею право вести дела так, как нахожу нужным. Если вам приятнее отсиживать здесь задницу — пожалуйста. Я нанимаю на работу в округ Туларе. Мне понадобится много народу.

Флойд повернулся к толпе мужчин. Теперь они стояли, молча переводя глаза с подрядчика на Флойда. Флойд сказал:

— Я уже два раза так нарывался. Может, ему нужно тысячу человек. А туда соберется пять тысяч, и он будет платить по пятнадцати центов в час. И вы согласитесь, потому что у вас брюхо подводит с голоду. Если хочет нанимать людей, пусть нанимает и пусть напишет все на бумаге и проставит там плату. Спросите у него документы. Он не имеет права нанимать без документов.

Подрядчик посмотрел на свой «шевроле» и крикнул:

— Джо!

Его спутник выглянул из кабины, распахнул дверцу и вышел. На нем были бриджи и высокие зашнурованные башмаки. Сбоку на патронташе висела тяжелая револьверная кобура. К темной рубашке был приколот значок шерифского понятого. Он ступал медленно, вразвалку. На лице у него играла жиденькая улыбочка.

— В чем дело? — Кобура ерзала взад и вперед по бедру.

— Посмотри, Джо, этот молодчик тебе раньше не попадался?

Понятой спросил:

— Который?

— Вот этот.— Подрядчик показал на Флойда.

— А в чем он провинился? — спросил понятой, улыбнувшись Флойду.

— Он красный, агитацию тут разводит.

— Гм.— Понятой неторопливо зашел сбоку, чтобы посмотреть на Флойда в профиль; и лицо у Флойда залилось краской.

— Вот видите! — крикнул Флойд.— Если бы он все делал по-честному, незачем бы ему с собой понятого возить.

— Попадался он тебе раньше? — повторил подрядчик.

— Гм. Как будто знакомый. На прошлой неделе разграбили гараж с подержанными шинами,— по-моему, я его видел там. Так и есть! Он самый, голову даю на отсечение.— Улыбка сразу сбежала с его лица.— Садись в машину,— сказал он и отстегнул кнопку на кобуре.

Том сказал:

— Ни за что ни про что человека берете.

Понятой круто повернулся к нему.

— Тебе за компанию хочется? Попробуй, открой только рот, и тебя заберу. Около того гаража двое слонялись.

— Меня на прошлой неделе и в Калифорнии-то не было,— сказал Том.

— Ну, может, тебя в другом месте разыскивают. Молчи лучше.

Подрядчик снова повернулся к толпе мужчин.

— Вы этих красных сволочей не слушайте. Они смутьяны, с ними только свяжись, потом беды не оберешься. Ну, поехали в Туларе, я вас всех возьму на работу.

Ему никто не ответил.

Понятой сказал:

— Поезжайте, советую.— Жидкая улыбочка снова появилась у него на лице.— Отдел здравоохранения распорядился очистить этот лагерь. А если у вас тут еще красные водятся — смотрите, как бы с кем беды не случилось. Поезжайте-ка вы в Туларе. Здесь все равно сидеть нечего. Я вам по-дружески советую. А если не уедете, придут сюда молодцы, да еще, может, не с пустыми руками...

Подрядчик сказал:

— Я же говорю, мне люди нужны. Не хотите работать — как знаете.

Понятой улыбнулся:

— Если не хотят работать, тогда им в нашем штате делать нечего. Мы их живо отсюда выпроводим.

Флойд, точно окаменев, стоял рядом с понятым, а большие пальцы Флойда были зацеплены за пояс. Том посмотрел на него украдкой и тут же опустил глаза.

— Вот и все,— сказал подрядчик.— В округе Туларе нужны люди, работы много.

Том медленно поднял глаза и увидел руки Флойда с набухшими на кистях жилами. Руки Тома тоже приподнялись, и большие пальцы зацепились за пояс.

— Да, это все. Чтобы завтра к утру здесь ни души не было.

Подрядчик сел в машину.

— Ну,— сказал понятой Флойду,— садись.— Он протянул огромную ручищу и взял Флойда за левый локоть.

Флойд вырвался и в ту же секунду занес правую руку. Он ударил кулаком в мясистую физиономию и кинулся наутек, петляя между палатками. Понятой зашатался, Том подставил ему ногу. Понятой упал и перевалился на бок, хватаясь за револьвер. Флойд бежал, то скрываясь за палатками, то снова появляясь на виду. Понятой выстрелил лежа. Женщина, стоявшая у одной из палаток, пронзительно вскрикнула и посмотрела на свою размозженную руку. Костяшек не было, пальцы висели точно на ниточках, мякоть руки стала белая, бескровная. В дальнем конце лагеря мелькнула фигура Флойда, мчавшегося к ивняку. Понятой сел, снова поднял револьвер, но в эту минуту из толпы вышел преподобный Кэйси. Он ударил понятого ногой по шее и отступил назад, глядя на бесчувственное грузное тело.

Послышался рев мотора, и «шевроле» вылетел на дорогу, оставляя позади себя облако пыли. Он свернул к шоссе и вскоре исчез из виду. Женщина все еще смотрела на свою искалеченную руку. По краям раны мелкими каплями выступила кровь.

Из горла у женщины вырвались прерывистые вопли и истерический смех, становившийся с каждой минутой все громче и громче.

Понятой лежал, уткнувшись открытым ртом в пыль.

Том поднял револьвер, вынул магазин и швырнул его в кусты, потом вытряхнул патрон из канала ствола.

— Такому нельзя давать оружие в руки,— сказал он и бросил револьвер на землю.

Женщину с искалеченной рукой окружила толпа, она плакала, истерически взвизгивая.

Кэйси подошел к Тому.

— Уходи,— сказал он.— Ступай в ивняк и пережди там. Он не знает, кто его ударил, а твою подножку видел.

— Никуда я не пойду,— сказал Том.

Кэйси вытянул шею и прошептал ему на ухо:

— У тебя возьмут отпечатки пальцев. Ты нарушил обязательство. Ушлют назад в тюрьму.

Том еле слышно перевел дух:

— А черт! Я совсем забыл.

— Живо,— сказал Кэйси.— Пока он не очнулся.

— Прихватить бы с собой револьвер,— сказал Том.

— Нет. Не надо. Если все обойдется, я тебе свистну четыре раза.

Том не спеша отошел в сторону, потом прибавил шагу и вскоре исчез среди ив, стоявших вдоль речки.

Эл подошел к лежащему на земле понятому.

— Вот это я понимаю,— с восхищением сказал он.— Здорово ты его!

Люди все еще смотрели на распростертое тело. И вдруг где-то далеко послышался вой сирены; он взлетел кверху, быстро сошел на нет, потом сирена взвыла еще раз, уже ближе. Людей охватило беспокойство. Они потоптались на месте и вскоре разошлись в разные стороны, каждый к своей палатке. Около понятого остались только Эл и проповедник.

Кэйси повернулся к Элу.

— Уходи отсюда,— сказал он.— Иди к себе в палатку. Ты знать ничего не знаешь.

— Да? А ты сам как?

Кэйси усмехнулся:

— Надо же кому-то брать на себя вину. Детей у меня нет. Посадят в тюрьму, ну посижу там, только и всего. Ведь от меня все равно никакой помощи вам нет.

Эл сказал:

— Это еще не причина, чтобы...

— Ступай, ступай,— резко перебил его Кэйси.— Нечего тебе впутываться в это дело.

Эл ощетинился:

— Я не позволю собой командовать!

Кэйси тихо проговорил:

— Если ты влипнешь, твои все пострадают, вся семья. На тебя я плевал. А вот как бы отцу и матери не пришлось пострадать из-за этого. И Тома могут опять отправить в Мак-Алестер.

Эл поразмыслил.

— Ладно,— сказал он.— А все-таки ты порядочный дурак.

— Ну и пусть дурак,— сказал Кэйси.— А что тут такого?

Сирена не переставала завывать, и с каждым разом вой ее слышался все ближе и ближе. Кэйси опустился на колени рядом с понятым и перевернул его на спину. Тот застонал и наморщил лоб, силясь приподнять веки. Кэйси вытер пыль с его губ. Люди сидели по своим палаткам, опустив по́лы у входа. В заходящем солнце воздух казался красным, а серые брезентовые палатки точно отлитыми из бронзы.

На шоссе взвизгнули шины, и к лагерю быстро подкатил открытый «форд». Из него выскочили четверо мужчин с винтовками. Кэйси встал и подошел к ним.

— Что здесь происходит?

Кэйси сказал:

— Я избил его.

Один из приехавших подошел к понятому. Тот уже пришел в себя и приподнимался на локте, пытаясь сесть.

— Что здесь случилось?

— Да вот,— сказал Кэйси,— он тут разбушевался, я его ударил. Он стал стрелять — ранил женщину. Тогда я его еще раз ударил.

— А с чего все началось?

— Я ему надерзил,— ответил Кэйси.

— Садись в машину.

— Ладно,— сказал Кэйси и сел на заднее место. Двое из приехавших помогли понятому подняться на ноги. Он осторожно потрогал шею. Кэйси сказал:

— Вон в той палатке женщина кровью истекает от его меткой стрельбы.

— Успеется. Майк, кто тебя ударил — вот этот?

Еще не придя в себя как следует, понятой тупо уставился на Кэйси.

— Что-то не узнаю.

— Я самый,— сказал Кэйси.— Ты спутал — не на того напустился.

Майк медленно покачал головой.

— Нет, по-моему, это не он. Ой, тошнит!

Кэйси сказал:

— Я не буду сопротивляться. Вы лучше посмотрите, что с женщиной.

— Где она?

— Вон там.

Старший из понятых зашагал к палатке, не выпуская винтовки из рук. Подойдя туда, он спросил что-то, потом вошел в палатку и вскоре вышел. Вернувшись к машине, он сказал с оттенком гордости:

— Что сорок пять калибров могут наделать! Ей наложили жгут. Врача мы пришлем.

Двое понятых сели по бокам Кэйси. Сирена взвыла. Лагерь словно вымер. По́лы палаток были опущены, люди не показывались. Машина круто развернулась и выехала из лагеря. Высоко держа голову на худой жилистой шее, Кэйси, гордый, сидел между своими конвоирами. Губы его улыбались какой-то странной, словно торжествующей улыбкой.

Когда понятые уехали, люди вышли из палаток. Солнце зашло, и на лагерь спустились голубоватые вечерние сумерки. Горы на востоке были все еще желтые в солнечных лучах. Женщины вернулись к потухшим кострам. Мужчины снова собрались кучками и тихо разговаривали, сидя на корточках.

Эл выполз из-под брезентового навеса и зашагал к ивам — посвистать Тому. Мать тоже вышла и принялась разжигать костер из тонких веток.

— Па,— сказала она,— много я вам не дам. Ведь мы сегодня поздно ели.

Отец и дядя Джон сидели у палатки, глядя, как мать чистит картошку и нарезает ее ломтиками над сковородой с салом. Отец сказал:

— И что он выдумал, этот проповедник?

Руфь и Уинфилд подкрались поближе, чтобы послушать их разговор.

Дядя Джон проводил глубокие борозды в земле длинным ржавым гвоздем.

— Он понимает, что такое грех. Я спрашивал его об этом, он мне все объяснил; только не знаю, правильно ли так рассуждать. Он говорит: если человек думает, что содеял грех, значит, это грех и есть.— Глаза у дяди Джона были усталые, грустные.— Я всегда от всех таился,— сказал он.— У меня такие грехи есть, о которых я никому не рассказывал.

Мать повернулась к нему:

— А рассказывать не надо, Джон. Поведай все богу. Не отягощай других своими грехами. Это нехорошо.

— Они мне покоя не дают,— сказал Джон.

— Все равно другим не рассказывай. Пойди к реке, залезь в воду с головой и выскажи все, что тебе хочется.

Отец медленно кивал головой, слушая мать.

— Ма правильно говорит. Тебе-то полегчает, когда другим расскажешь, а грех твой пойдет вширь.

Дядя Джон посмотрел на позолоченные солнцем горы, и золото их отразилось у него в зрачках.

— Я все стараюсь одолеть это,— сказал он,— и не могу. Душу они мне съедают.

Позади него Роза Сарона, пошатываясь, вышла из палатки.

— Где Конни? — раздраженно спросила она.— Я его целый век не видела. Куда он ушел?

— Он мне не попадался,— ответила мать.— Увижу, пошлю к тебе.

— Мне нездоровится,— сказала Роза Сарона,— а он оставляет меня одну.

Мать посмотрела на опухшее лицо дочери.

— Ты плакала,— сказала она.

Слезы снова навернулись на глаза Розы Сарона.

Мать продолжала твердым голосом:

— Возьми себя в руки. Ты не одна — нас много. Возьми себя в руки. Сядь почисть картошку. Нечего над собой причитать.

Роза Сарона пошла было назад в палатку. Она старалась избежать строгого взгляда матери, но этот взгляд заставил ее вернуться к костру.

— А зачем он ушел,— сказала она, но слезы у нее высохли.

— Примись за дело,— сказала мать.— А то сидишь одна в палатке и причитаешь сама над собой. Некогда было мне за тебя взяться. А уж сейчас возьмусь. Бери нож и чисть картошку.

Роза Сарона послушно опустилась на колени у костра. Она злобно сказала:

— Пусть только придет. Я ему покажу.

Губы матери раздвинулись в медленной улыбке:

— Смотри, как бы он тебя не побил. Ты сама на это напрашиваешься — ноешь, причитаешь. Побьет, я ему спасибо скажу.

Глаза Розы Сарона негодующе вспыхнули, но она смолчала.

Дядя Джон глубоко загнал ржавый гвоздь в землю.

— Не могу больше молчать! — крикнул он.

Отец сказал:

— Ну черт с тобой, говори! Убил кого-нибудь?

Дядя Джон запустил пальцы в кармашек для часов и вынул оттуда сложенную пополам засаленную бумажку. Он расправил ее и показал отцу.

— Пять долларов.

— Украл, что ли? — спросил отец.

— Нет, это мои деньги. Утаил.

— Твои так твои.

— Да, но я не имел права их утаивать.

— Что-то я здесь никакого греха не вижу,— сказала мать.— Деньги твои.

Дядя Джон медленно заговорил:

— Тут не в том дело, что я их утаил. Важно, для чего утаил,— для того, чтобы напиться. Я знал — придет время, когда станет невмоготу, и тогда напьюсь. Думал, еще не пришло... а тут проповедник взял да и пошел в тюрьму, чтобы выручить Тома.

Отец снова закивал, потом нагнул голову набок, внимательно вслушиваясь в слова Джона. Руфь подобралась на локтях еще ближе — ползком, точно щенок; Уинфилд не отставал от нее. Роза Сарона выковыряла глубокий глазок из картофелины. Вечерние сумерки сгустились и стали еще синее.

Мать сухо сказала:

— Не понимаю, почему тебе надо напиваться, если проповедник выручил Тома.

— Не знаю. Тяжело мне очень,— грустно продолжал дядя Джон.— Он так просто на это пошел. Шагнул вперед и говорит: «Моих рук дело». И его взяли. А я пойду и напьюсь.

Отец сказал, покачивая головой:

— А зачем об этом говорить? Я бы на твоем месте пошел и напился, если уж так приспичило.

— Я мог бы искупить свой грех, а не воспользовался случаем,— все так же грустно продолжал дядя Джон.— Мне бы ухватиться за него, а я упустил... Слушай! У тебя есть деньги. Дай мне два доллара.

Отец нехотя сунул руку в карман и вынул кожаный кошелек.

— Чтобы напиться, семи долларов многовато. Ты что, шампанскую воду будешь хлестать?

Дядя Джон протянул ему свои пять долларов.

— Я и на два напьюсь. Не хватает мне еще один грех на себя брать — транжирство. Что есть, то и истрачу. Я всегда так делал.

Отец взял засаленную бумажку и отдал дяде Джону два серебряных доллара.

— Бери,— сказал он.— Раз надо, значит, надо. Другому указывать никто не смеет.

Дядя Джон взял обе монеты.

— Не сердись... Ты ведь знаешь, мне это нужно.

— Да брось ты,— сказал отец.— Ты сам знаешь, что тебе нужно.

— Ночь впереди — как я ее протяну? — сказал дядя Джон. Он повернулся к матери.— Ты не обидишься на меня?

Мать не подняла головы.

— Нет,— тихо ответила она.— Нет... иди.

Дядя Джон встал как потерянный, зашагал прочь и скрылся в сумерках. Он вышел на шоссе и пересек его у бакалейной лавки. Подойдя к сетчатой двери, он снял шляпу, швырнул ее в пыль и придавил каблуком в припадке самоуничижения. И помятая черная шляпа так и осталась лежать в пыли. В лавке он направился прямо к полкам, где за проволочной сеткой стояли бутылки виски.

Отец, мать и дети смотрели дяде Джону вслед. Роза Сарона выражала свое негодование тем, что не поднимала глаз от картошки.

— Бедняга,— сказала мать.— Может, надо было... да нет... Я еще не видела, чтобы человек так убивался.

Руфь перевалилась на бок в пыли, поближе к Уинфилду, притянула его к себе за ухо и зашептала:

— Я сейчас буду пьяная.

Уинфилд прыснул и зажал рот ладонью. Сдерживая дыхание, чтобы не фыркнуть, лиловые от натуги, дети отползли за палатку, вскочили и с визгом пустились наутек. Они спрятались в ивняке и там дали волю смеху. Руфь скосила глаза, побежала, пошатываясь из стороны в сторону, и высунула язык.

— Я пьяная,— сказала Руфь.

— Смотри! — крикнул Уинфилд.— Смотри на меня, я дядя Джон.— Он замахал руками и надул щеки; он вертелся волчком до тех пор, пока не закружилась голова.

— Нет! — крикнула Руфь.— Вот как надо! Вот как! Я — дядя Джон. Я совсем пьяная.

Том и Эл тихо шли ивняком и вдруг увидели ошалело носившихся детей. Было уже темно. Том остановился, приглядываясь.

— Да ведь это Руфь и Уинфилд. Что с ними такое? — Они подошли поближе.— Вы что, очумели? — спросил Том.

Дети остановились, застигнутые врасплох.

— Мы... мы играем,— сказала Руфь.

— Глупая игра,— сказал Эл.

Руфь дерзко ответила ему:

— Не глупее других.

Эл пошел дальше, говоря:

— Руфь хочет порку заработать. Она давно на это набивается. Сейчас самое время ей всыпать.

Руфь скорчила гримасу у него за спиной, растянула губы пальцами, высунула язык, дразня его всеми известными ей способами, но Эл не оглянулся. Она посмотрела на Уинфилда, думая снова приняться за игру, но все было испорчено. Они оба знали это.

— Пойдем к речке, нырнем с головой,— предложил Уинфилд. Они пошли к берегу, пробираясь среди кустов, злясь на Эла.

Эл и Том не спеша шли к лагерю. Том сказал:

— Зря Кэйси так сделал. Правда, от него следовало этого ждать. Он все говорил, что ничем нам не помогает. Он чудной, Эл. Все думает, думает.

— Проповедник — такое уж его дело,— сказал Эл.— У них у всех голова бог знает чем забита.

— Как по-твоему, куда это Конни пошел?

— Наверно, за кустик понадобилось.

— Что-то уж очень далеко он этот кустик выбрал.

Они шли среди палаток, держась ближе к стенкам. У палатки Флойда их остановил негромкий окрик. Они свернули к ней и присели у входа на корточки. Флойд чуть приподнял брезентовую полу.

— Ну как, едете?

Том сказал:

— Сам не знаю. Думаешь, все-таки лучше поехать?

Флойд невесело рассмеялся:

— Ты же слышал, что сказал понятой? Не уедешь — выкурят. Думаешь, этот молодчик не отведет душу после мордобоя? Его банда сегодня же вечером нагрянет сюда нас выкуривать.

— Пожалуй, и в самом деле лучше убираться восвояси,— сказал Том.— Ты куда поедешь?

— Как и говорил — к северу.

Эл сказал:

— Слушай. Мне тут один рассказывал о каком-то правительственном лагере. Где это?

— Там, наверно, полно.

— А все-таки, где это?

— Поезжайте по девяносто девятому к югу. Миль двенадцать — четырнадцать проедете, свернете на восток к Уидпетчу. Оттуда недалеко. Только там переполнено.

— Говорят, хороший лагерь,— сказал Эл.

— Очень хороший, и обращаются с тобой, как с человеком, а не как с собакой. Никаких полисменов. Только там, наверно, полно.

Том сказал:

— Я одного не пойму, чего этот понятой так разошелся. Он точно лез на драку, точно сам к тому вел.

Флойд сказал:

— Не знаю, как здесь, а на севере я однажды говорил с одним понятым, но порядочным, не то, что другие, и он мне признался, что понятые, хочешь не хочешь, а должны арестовывать людей. Шериф получает на каждого арестанта семьдесят пять центов в день, а на прокорм у него выходит только двадцать пять. Нет арестантов — значит, и доходов нет. Тот человек рассказывал, что он за неделю никого не забрал, и тогда шериф ему говорит: не будет арестованных, придется тебе снять значок. А сегодняшний к тому и дело вел, чтобы уехать не с пустыми руками.

— Да, надо убираться отсюда,—сказал Том.—Прощай, Флойд.

— Прощай. Может, еще встретимся.

— Всего хорошего,— сказал Эл. Они пошли темным лагерем к палатке Джоудов.

Картошка шипела и брызгала салом на огне. Мать поворачивала толстые ломтики ложкой. Отец сидел у костра, обхватив колени руками. Роза Сарона была в палатке.

— Том идет! — крикнула мать.— Слава богу!

— Надо уезжать отсюда,— сказал Том.

— Почему?

— Флойд говорит, что тут все подожгут сегодня ночью,— ответил Том.

— Зачем? — удивился отец.— Мы ничего плохого не сделали.

— Ничего не сделали, а понятой уехал избитый,— сказал Том.

— Мы его не били.

— Да он сам говорил, что нас выгонят отсюда.

Роза Сарона спросила:

— Вы Конни не видели?

— Видели,— сказал Эл.— Вдоль берега пятками чесал. На юг отправился.

— Он... он совсем ушел?

— А кто его знает.

Мать повернулась к ней.

— Роза, тебя не поймешь, ты расскажи все толком. Конни говорил что-нибудь?

Роза Сарона хмуро ответила:

— Говорил, что лучше бы ему сидеть дома и учиться на тракториста.

Никто не сказал ни слова. Роза Сарона смотрела на огонь, и ее глаза поблескивали в свете костра. Картошка на сковороде громко шипела. Роза Сарона шмыгнула носом и утерлась рукой.

Отец сказал:

— Конни дрянной человек. Я уж давно это чувствовал. Он пустельга.

Роза Сарона встала и ушла в палатку. Она легла на матрац и, перевернувшись на живот, уткнулась лицом в руки.

— Его и догонять, пожалуй, не стоит,— сказал Эл.

Отец ответил:

— Да. Если он такая дрянь, нам его не надо.

Мать заглянула в палатку и посмотрела на Розу Сарона. Мать сказала:

— Ш-ш!.. Зачем так говорить.

— Он дрянной человек,— стоял на своем отец.— Только и слышали от него: вот я то сделаю, это. А сам ничего не делал. Я при нем не хотел говорить. А уж если он удрал, так...

— Ш-ш,— тихо сказала мать.

— Да что в самом деле! Почему ш-ш? Ведь он удрал — так?

Мать помешала картошку, шипящее сало брызнуло во все стороны. Она подкинула веток в костер, языки огня взвились кверху и осветили стены палатки. Мать сказала:

— У Розы родится ребенок, и он наполовину ее, наполовину Конни. Нехорошо, если малыш с детства будет слышать, как отца называют дрянью.

— Врать хуже,— сказал отец.

— Нет,— перебила его мать.— А если бы он умер? Ты бы не стал бранить его мертвого?

В их спор вмешался Том:

— Да что это вы? Откуда мы знаем, совсем он ушел или нет. Сейчас разговаривать не время. Надо поесть и собираться.

— Собираться? Мы же только приехали.— Мать приглядывалась к нему сквозь окружавшую костер темноту.

Том стал объяснять ей:

— Лагерь сегодня подожгут, ма. Ты же знаешь, я не стерплю, если мое добро будут жечь у меня же на глазах, и отец с дядей Джоном тоже не стерпят. Полезем в драку, а мне нельзя попадаться. Я бы и сегодня влип, если б не проповедник.

Слушая его, мать переворачивала картошку в горячем сале. И решение пришло к ней сразу:

— Идите. Давайте есть. Надо торопиться.— Она расставила около костра оловянные тарелки.

Отец сказал:

— Как же быть с Джоном?

— А где он? — спросил Том.

Отец и мать помолчали минуту, потом отец сказал:

— Он пошел выпить.

— А черт! — крикнул Том.— Выбрал время. Где его искать?

— Не знаю,— сказал отец.

Том встал.

— Ладно, вы поешьте и уложите вещи на машину. А я пойду за дядей Джоном. Он, верно, в бакалейной лавке, через дорогу.

Том быстро шел по лагерю. У палаток и лачуг горели небольшие костры, и отсветы их падали на лица оборванных мужчин и женщин, на льнувших к огню детей. Кое-где в палатках горели керосиновые лампы, и по брезенту двигались громадные людские тени.

Том вышел немощеной дорогой на шоссе и пересек его у маленькой бакалейной лавчонки. Он остановился у сетчатой двери и заглянул внутрь. Хозяин, маленький седой человек с взъерошенными усами и с каким-то неопределенным взглядом водянистых глаз, читал газету, навалившись грудью на прилавок. На нем был длинный белый фартук и рубашка с закатанными рукавами. За спиной у него стояли горы, пирамиды, стены из консервных банок. Он поднял голову, увидев Тома, и прищурил один глаз, словно целясь из ружья.

— Добрый вечер. Чем могу служить?

— Дядей,— ответил Том.— Был дядя, да сплыл.

Хозяин посмотрел на него с недоумением и беспокойством. Он дотронулся пальцами до кончика носа и легонько потеребил его, чтобы перестало чесаться.

— Вечно вы кого-нибудь теряете,— сказал он.— Ко мне раз десять на дню заходят, только и слышишь: «Если увидите человека — зовут так-то и так-то, на вид такой-то, скажите ему, что мы уехали на север. И это изо дня в день.

Том засмеялся:

— Ну вот, если увидишь молодчика, зовут Конни, по виду смахивает на койота,— скажи ему, чтобы проваливал ко всем чертям. Скажи, мы поехали к югу. Да я не его ищу. А вот не заходил ли сюда выпить человек лет шестидесяти, брюки черные, волосы с проседью?

Хозяин оживился.

— Ну как же, конечно, заходил. Я в жизни ничего подобного не видел. Подошел к двери, швырнул шляпу на землю и наступил на нее. Вот она — у меня.— Он вытащил из-под прилавка запыленную, помятую шляпу.

Том взял ее:

— Так и есть, он самый.

— Ну вот, купил он две пинты виски и ни слова мне не сказал. Откупорил одну бутылку и тут же к ней приложился. А я торгую только на вынос. Говорю ему: «Слушай, здесь пить нельзя.

Придется тебе выйти». Он шагнул за дверь и, хочешь верь, хочешь нет, в четыре приема одолел целую пинту. Потом отшвырнул бутылку и прислонился к двери. Глаза стали тусклые. Сказал: «Благодарю вас, сэр»,— и ушел. Я в жизни не видел, чтобы так пили.

— Ушел? А куда? Я его ищу.

— Сейчас скажу. Мне еще не приходилось видеть, чтобы так пили, поэтому я за ним наблюдал. Он пошел вон туда, к северу. По шоссе проехала машина, осветила его, и я видел, как он свернул к реке. Идет, ноги подгибаются. А вторая бутылка наготове, откупорена. Он где-нибудь тут, далеко ему не уйти.

Том сказал:

— Ну, спасибо. Пойду поищу.

— А шляпу возьмешь?

— Обязательно возьму. Она ему пригодится. Спасибо.

— А что это с ним такое? — спросил хозяин.— Он пил — и будто без всякого удовольствия.

— Да так... находит. Ну, всего хорошего. А если увидишь этого прощелыгу Конни, скажи, что мы поехали на юг.

— Мне уж столько всяких примет надавали да поручений, всего не запомнишь.

— А ты не старайся запоминать,— сказал Том и вышел за дверь, держа в руке запыленную черную шляпу дяди Джона. Он пересек шоссе и пошел вдоль него. Внизу, в ложбине, лежал Гувервиль; мерцали огоньки костров, сквозь стены палаток пробивался свет фонарей. Где-то бренчали на гитаре, аккорды следовали медленно один за другим, без всякой связи, очевидно, гитарист упражнялся. Том замедлил шаги, прислушиваясь, потом не спеша пошел дальше, то и дело останавливаясь и напрягая слух. Он прошел с четверть мили, прежде чем услышал то, что ему было нужно. Внизу у дорожной насыпи хриплый голос пел что-то без всякого выражения, без всякого мотива. Том наклонил голову набок, чтобы лучше расслышать.

Монотонный голос тянул:

— Прочь от земной обители душа моя ушла. Душа моя в спасителе прибежище нашла.— Дальше послышалось неясное бормотанье, а потом все смолкло. Том сбежал по насыпи, держа прямо на этот голос. Пройдя несколько шагов, он остановился и снова прислушался. Теперь голос был совсем близко, он тянул все так же медленно и без всякого мотива: — Когда Мэгги помирала, она грустно мне шептала: я на память подарю тебе штаны — да, да. А штаны из красной байки, я скажу вам без утайки...

Том осторожно двинулся вперед. Он увидел неясную в темноте фигуру, подкрался и сел рядом с ней. Дядя Джон запрокинул бутылку, и виски с бульканьем полилось ему в рот.

Том спокойно сказал:

— Стой. А мне?

Дядя Джон повернулся к нему:

— Ты кто такой?

— Успел позабыть? Ты уже четыре раза глотнул, а я только разок.

— Нет, Том. Ты меня не дурачь. Я один сидел. Тебя здесь не было.

— А сейчас-то я здесь? Может, все-таки дашь хлебнуть?

Дядя Джон снова поднес бутылку ко рту, виски забулькало. Бутылка была пустая.

— Все,— сказал он.— Умереть бы мне. Вот как хочется умереть! Потихоньку, будто засыпаешь... Потихоньку. Устал я. Устал. Заснуть и больше не проснуться.— Он затянул нараспев: — В короне буду... в золотой короне.

Том сказал:

— Дядя Джон, слушай. Мы уезжаем. Пойдем, ляжешь на грузовик поверх вещей и уснешь.

Джон покачал головой.

— Нет. Уходи. Я не хочу. Я здесь останусь. Незачем мне возвращаться. Какой от меня толк? Волочу за собой грехи, точно штаны грязные, пачкаю хороших людей. Нет. Не поеду.

— Пойдем. Все равно мы без тебя не уедем.

— Поезжайте. Какой от меня толк? От меня толку нет. Волочу свои грехи, других ими пачкаю.

— Не ты один грешник, все такие.

Джон наклонился к нему и хитро подмигнул. Том еле различал его лицо при свете звезд.

— Моих грехов никто не знает,— никто, кроме господа. А он знает.

Том стал на колени. Он пощупал дяде Джону лоб — горячий, сухой. Джон неуклюже оттолкнул его руку.

— Пойдем,— звал Том.— Пойдем, дядя Джон.

— Не пойду. Устал. Я здесь останусь. Вот здесь.

Том пододвинулся к нему вплотную. Он поднес кулак к подбородку дяди Джона, примерился два раза, чтобы взять нужный размах, и, отведя назад плечо, нанес удар — несильный, но безошибочный. Джон дернул подбородком, повалился навзничь и хотел было приподняться. Но Том стоял, нагнувшись над ним, и когда Джон оперся на локоть, Том ударил его еще раз. Дядя Джон затих.

Том встал, поднял обмякшее, бесчувственное тело и взвалил его на плечо. Он пошатывался под такой тяжестью. Болтавшиеся руки Джона шлепали его по спине; он отдувался на ходу, мед-

ленно шагая вверх по насыпи к шоссе. Встречная машина осветила его фарами, убавила скорость и тут же унеслась в темноту.

Том еле переводил дух, идя Гувервилем к грузовику Джоудов. Дядя Джон пришел в себя и начал слабо сопротивляться. Том осторожно опустил свою ношу на землю.

К его возвращению палатку успели убрать. Эл подавал узлы на грузовик. Брезент лежал рядом, наготове — им должны были прикрыть поклажу.

Эл сказал:

— Быстро он наклюкался.

Том ответил, словно извиняясь:

— Пришлось стукнуть его, беднягу, а то не хотел идти.

— Сильно ударил? — спросила мать.

— Да нет, не очень. Он скоро совсем очнется.

У дяди Джона начались приступы тошноты. Его вырвало.

Мать сказала:

— Твоя порция картошки осталась, Том.

Том хмыкнул:

— Сейчас что-то не хочется.

Отец крикнул:

— Ну, все. Эл, привязывай брезент.

Грузовик стоял готовый к отъезду. Дядя Джон уснул. Пока Том и Эл поднимали его и взваливали на самый верх, Уинфилд давился, передразнивая дядю Джона, а Руфь, стоя рядом с ним, зажимала ладонью рот, чтобы не прыснуть.

— Готово,— сказал отец.

Том спросил:

— А где Роза?

— Вот она,— ответила мать.— Иди, Роза. Сейчас поедем.

Роза Сарона сидела молча, опустив голову на грудь. Том подошел к ней.

— Идем,— сказал он.

— Я не поеду.— Она не подняла головы.

— Ничего не поделаешь, надо.

— Я хочу вместе с Конни. Я без него не поеду.

На дорогу, ведущую из лагеря к шоссе, выехали три машины — старые, набитые людьми и всяким скарбом. Они дребезжали на ходу, освещая тусклыми фарами дорогу.

Том сказал:

— Конни нас найдет. Я попросил в лавке, чтобы ему передали, куда мы уехали. Он нас найдет.

Мать подошла и стала рядом с ним.

— Пойдем, Роза. Пойдем, милая,— мягко сказала она.

— Я его подожду.

— Ждать нельзя.— Мать нагнулась, взяла Розу Сарона под локоть и помогла ей встать.

— Он нас найдет,— сказал Том.— Ты не беспокойся. Он найдет.— Они шли по обе ее стороны.

— Может, он пошел купить книги, по которым учатся,— сказала Роза Сарона.— Может, он хотел напугать нас в шутку.

Мать сказала:

— Может быть и так.

Они подвели ее к грузовику, помогли подняться наверх, и, забравшись под брезент, она скрылась там в темноте.

Бородач из крытой травой лачуги несмело подошел к ним. Он топтался около грузовика, заложив руки за спину.

— У вас ничего такого не осталось, что может нам пригодиться? — спросил он наконец.

Отец ответил:

— Нет. Нам оставлять нечего.

Том спросил:

— А вы разве не уезжаете?

Бородач долго смотрел на него.

— Нет,— ответил он наконец.

— Да ведь подожгут.

Неуверенно глядевшие глаза уставились в землю.

— Я знаю. Нам это не в первый раз.

— Так зачем же здесь оставаться?

Растерянный взгляд секунду задержался на лице Тома, отразив красный свет потухающего костра, и снова скользнул вниз.

— Сам не знаю. Очень уж долго собираться.

— Если подожгут, так ни с чем останетесь.

— Я знаю. У вас ничего такого не будет, что может нам пригодиться?

— Нет, все с собой забираем, дочиста,— ответил отец. Бородач побрел к своей лачуге.— Что это с ним? — спросил отец.

— Очумелый,— ответил Том.— Мне тут рассказывали — это у него от побоев. Полисмены по голове били.

Еще несколько машин караваном выехали из лагеря и свернули к шоссе.

— Надо двигаться, па. Ты, я и Эл сядем в кабину. Ма пусть забирается наверх. Нет, ма, лучше садись между нами. Эл! — Том сунул руку под сиденье и вытащил оттуда тяжелый гаечный ключ.— Эл, ты садись сзади. Вот, возьми. Это на всякий случай. Если кто полезет — угости как следует.

Эл залез сзади на грузовик и уселся, сложив ноги калачиком и не выпуская гаечного ключа из рук. Том вытащил из-под сиденья домкрат и положил его рядом с тормозной педалью.

— Ну, так,— сказал он.— Ма, садись посередке.

Отец сказал:

— А я с пустыми руками.

— В случае чего возьмешь домкрат,— сказал Том.— Даст бог, не понадобится.— Он нажал кнопку стартера, маховик сделал оборот, замолчал... еще оборот... Том включил фары и выехал из лагеря на первой скорости. Тусклые огоньки фар неуверенно нащупывали дорогу. Грузовик выбрался на шоссе и повернул к югу. Том сказал: — Бывает так в жизни, что хочешь — не хочешь, а озлобишься и...

Мать перебила его:

— Том... ты же мне сам говорил... ты обещал, что не озлобишься. Ты обещал.

— Помню, ма. Я себя сдерживаю. Только эти понятые... Видал кто-нибудь понятого, чтобы он не толстозадый был? Вертят толстой задницей, палят из револьверов куда попало... Ма, если б они действовали по закону, разве бы мы им противились? А ведь закон не такой. Они наш дух хотят сломить. Им нужно, чтобы мы им пятки лизали, ползали, как побитая сука. Они хотят раздавить нас. Ей-богу, ма, до того дошло, что если не изобьешь эту сволочь, так порядочным человеком себя не считаешь. А им нужно, чтобы мы и думать забыли о своей порядочности.

Мать сказала:

— Ты обещал, Том. Ведь с нашим Флойдом тоже так было. Я знала его семью. Я помню, до чего его довели.

— Я себя сдерживаю, ма. Честное слово, сдерживаю. А разве тебе приятно будет, если я стану ползать, как побитая сука, волочить брюхо в пыли?

— Я не устаю молиться, Том. Ты себя береги. Видишь, семья распадается. Ты береги себя.

— Постараюсь, ма. Только трудно мне будет удержаться, если пристанет какой-нибудь толстозадый. Будь все по закону, дело другое. А поджигать лагерь — такого закона нет.

Грузовик шел, подрагивая кузовом. Впереди на шоссе показалась цепь красных фонарей.

— Должно быть, объезд,— сказал Том. Он убавил скорость и остановился, и в ту же минуту грузовик окружила толпа людей. Кто держал в руках кирку, кто винтовку. На некоторых были каски, кое на ком фуражки Американского легиона. Один заглянул в кабину, дохнув горячим запахом виски.

— Куда это вы едете? — Он приблизил свою красную физиономию к лицу Тома.

Том замер. Рука его скользнула вниз и нащупала домкрат. Мать изо всех сил сжала ему локоть. Том сказал:

— Мы...— и вдруг в его голосе послышались угодливые нотки.— Мы не здешние,— сказал он.— Нам говорили, что есть такой округ Туларе, там можно получить работу.

— Не в ту сторону едешь, голубчик. Нам здесь всякие Оки не нужны.

Руки и плечи Тома словно окаменели, по его телу пробежала дрожь. Мать все еще сжимала ему локоть. Вооруженные люди стояли перед машиной. Некоторые из них, корча из себя военных, были одеты во френчи с широкими кожаными поясами.

Том жалобно спросил:

— А как же туда проехать, мистер?

— Поворачивай назад и держи к северу. А сюда не возвращайся до сбора хлопка.

Том весь дрожал.

— Слушаю, сэр.

Он дал задний ход, развернулся и поехал обратно. Мать разжала пальцы и чуть похлопала его по руке. А он трясся всем телом, стараясь подавить рыдания.

— Ничего,— сказала мать.— Ничего.

Том высморкался на дорогу и утер глаза рукавом.

— Сволочь!..

— Ты сделал, как надо,— ласково сказала мать.— Как надо, так ты и сделал.

Том свернул на проселочную дорогу, проехал ярдов сто и выключил мотор и фары. Он вышел из машины, захватив с собой домкрат.

— Куда ты? — спросила мать.

— Пойду посмотрю. На север мы все равно не поедем.— Красные фонари двинулись по шоссе. Том видел, как они миновали поворот на проселочную дорогу и ушли дальше. И через несколько минут в той стороне, где был Гувервиль, раздались крики и в небо взметнулось яркое пламя. Оно поднималось все выше и выше и с сухим потрескиванием расползалось вширь. Том сел в кабину, развернулся и, не включая фар, повел грузовик проселочной дорогой. На шоссе он снова взял к югу и зажег фары.

Мать робко спросила:

— Куда мы едем, Том?

— На юг,— ответил он.— Мы не позволим всякой сволочи нами командовать. Не позволим. Попробую объехать город окраиной.

— Ну а дальше куда? — Отец заговорил впервые после долгого молчания.— Вот я что хочу знать.

— Поищем этот правительственный лагерь,— ответил Том.— Говорят, шерифским понятым туда вход заказан. Ма... мне надо

подальше от них держаться. Боюсь, как бы не убить какого-нибудь молодчика.

— Успокойся, Том,— мягко проговорила мать.— Успокойся, Томми. Один раз ты уже сделал как надо. И второй раз сделаешь.

— Да, а потом перестанешь считать себя порядочным человеком.

— Успокойся,— повторяла она.— Наберись терпения. Ведь мы... мы будем жить, когда от всех этих людей и следа не останется. Мы народ, Том, мы живые. Нас не уничтожишь. Мы народ — мы живем и живем.

— Мы одни щелчки терпим.

— Правильно.— Мать тихо засмеялась.— Может, потому мы такие крепкие. Богачи поживут-поживут — и умирают, и дети у них никудышные, неживучие. А мы, Том,— нам ни конца ни краю не видно. Ты не огорчайся, Том. Наступят и другие времена.

— Откуда ты это знаешь?

— Я сама не знаю откуда.

Они въехали в город, и Том свернул на боковую улицу, чтобы миновать центр. Он взглянул на мать при свете уличных фонарей. Лицо у нее было спокойное и глаза смотрели как-то по-новому — словно вечные, не боящиеся времени глаза статуи. Том протянул правую руку и тронул ее за плечо. Он не мог иначе. И тут же взялся за штурвал.

— Никогда раньше не слышал, чтобы ты столько говорила,— сказал он.

— Раньше это было не нужно,— сказала она.

Том проехал несколько окраинных улиц и, когда город остался позади, повернул назад. У перекрестка стоял столб с цифрой «99». Он повел машину на юг.

— А все-таки к северу нас не завернули,— сказал он.— Куда нам надо, туда мы и едем, даже если пришлось кое-чем поступиться ради этого.

Свет тусклых фар тянулся вперед, нащупывая широкую гладь черного шоссе.

ГЛАВА XXI

Снявшиеся с места, выехавшие на поиски новой жизни люди стали теперь кочевниками. Перед семьями, которые жили на небольших клочках земли, жили и умирали на своих сорока акрах, кормились или голодали, беря от сорока акров всё, что эти сорок акров могли дать,— расстилался теперь весь Запад. И они метались в поисках работы; людские потоки заливали широкие шоссе,

людские толпы теснились вдоль придорожных канав. Им на смену шли другие. По широким шоссе потоком двинулись люди. Прежде на Среднем Западе и на Юго-Западе жил простой народ — землепашцы, в которых индустрия не изменила ни одной черты; которые росли вдалеке от машин и не знали, что, попадая в частные руки, эти машины становятся грозной силой. Они жили, не ощущая на себе парадоксов индустрии. Они не утеряли способности остро чувствовать нелепости индустриального века.

И вдруг машины согнали этих людей с места, и они очутились на дороге. Жизнь на колесах изменила их; дороги, придорожные лагери, боязнь голода и самый голод изменили их. Дети, которых нечем было накормить, изменили их, непрестанное движение изменило их. Они стали кочевниками. И людская враждебность изменила, сблизила, спаяла их,— та враждебность, которая заставляла каждый маленький городок браться за оружие и встречать их словно захватчиков,— отряды, вооруженные кирками, клерки и лавочники, вооруженные винтовками, охраняли свой мир от своего же народа.

Когда кочевники заполонили дороги, на Западе поднялась паника. Собственники не помнили себя от страха, дрожа за свою собственность. Люди, никогда не знавшие голода, увидели глаза голодных. Люди, никогда не испытывавшие сильных желаний, увидели жадный блеск в глазах кочевников. И жители городов, жители богатых предместий объединились в целях самозащиты; они убедили себя: мы хорошие, а эти захватчики плохие,— как убеждает себя каждый человек, прежде чем поднять оружие. Они говорили: эти проклятые Оки — грязные, как свиньи, они — темный народ. Они дегенераты, они сексуальны, как обезьяны. Эти проклятые Оки — воры. Они крадут все, что попадется под руку. У них нет ни малейшего уважения к собственности.

И последнее было верно, ибо откуда не имеющему собственности человеку знать болезненный зуд собственничества. И, защищаясь, люди говорили: Оки разносят заразу, они нечистоплотны. Их детей нельзя допускать в школы. Они чужаки. Как бы вам понравилось, если б ваша сестра гуляла вот с таким Оки?

Люди на Западе всеми силами разжигали в себе жестокость. Они формировали части, отряды и вооружали их — вооружали дубинками, винтовками, газовыми бомбами. Страна принадлежит нам. Мы не допустим, чтобы всякие Оки отбивались от рук. Но тем, кому дали оружие, не принадлежало здесь ни клочка земли, а они мнили себя собственниками. У клерков, которые ходили по вечерам на военную муштру, тоже ничего не имелось за душой, а у мелких лавочников были только полные ящики долговых записок. Но даже долг — это нечто существенное, и конторская рабо-

та — это тоже нечто существенное. Клерк думал: я получаю пятнадцать долларов в неделю. А что, если какой-нибудь проклятый Оки пойдет на ту же работу за двенадцать? И мелкий лавочник думал: разве я могу тягаться с теми, кто никому не отпускает в долг?

И кочевники стекались со всех сторон на дороги, и в глазах у них был голод, в глазах у них была нужда. Они не владели логикой, не умели уложить свои действия в систему, они были сильны только своим множеством, они знали только свои нужды. Когда где-нибудь находилась работа на одного, за нее дрались десятеро — дрались тем, что сбивали плату за труд. Если он будет работать за тридцать центов, я соглашусь за двадцать пять.

Если он пойдет на двадцать пять, я соглашусь на двадцать.

Нет, возьмите меня, я голодный. Я буду работать за пятнадцать. Я буду работать за прокорм. Ребята... Вы бы посмотрели на них. Все в чирьях, бегать не могут. Дашь им фрукты — падалицу,— у них вздувает животы. Меня. Я буду работать за маленький кусок мяса.

И многим это было на руку, потому что оплата труда падала, а цены оставались на прежнем уровне. Крупные собственники радовались и выпускали еще больше листков, заманивая на Запад еще больше людей. Оплата труда падала, цены оставались на прежнем уровне. И не за горами то время, когда у нас опять будут рабы.

И вскоре крупные собственники и компании изобрели новый метод. Крупный собственник покупал консервный завод. Когда персики и груши созревали, он сбивал цену на фрукты ниже себестоимости. И, будучи владельцем консервного завода, он брал фрукты по низкой цене, а цену на консервы взвинчивал, и прибыль оставалась у него в кармане. А мелкие фермеры, у которых не было консервных заводов, теряли свои фермы, и эти фермы переходили в руки крупных собственников, банков и компаний, у которых консервные заводы были. И мелких ферм становилось все меньше и меньше. Мелкие фермеры перебирались в города и скоро истощали свои кредиты, истощали терпение своих друзей, своих родственников. А потом и они выезжали на дорогу. И все дороги были забиты людьми, жаждущими работы, готовыми пойти ради нее на все.

А компании, банки готовили себе гибель, не подозревая этого. Поля, расстилающиеся вдоль дорог, были плодородные, а по дорогам ехали голодные люди. Амбары были полны, а дети бедняков росли рахитиками, и на теле у них вздувались гнойники пеллагры. Крупные компании не знали, что черта, отделяющая голод от ярости, еле ощутима. И деньги, которые могли бы пойти на оплату

труда, шли на газы, на пулеметы, на шпиков и соглядатаев, на «черные списки», на военную муштру. Люди, как муравьи, расползались по дорогам в поисках работы, в поисках хлеба. И в сознании людей начинала бродить ярость.

ГЛАВА XXII

Было уже поздно, когда Том Джоуд свернул с шоссе на боковую дорогу, в поисках лагеря Уидпетч. Огни попадались редко. Только позади, там, где был Бейкерсфилд, небо пылало заревом. Грузовик шел медленно, бродячие кошки удирали с дороги, завидев свет его фар. У перекрестка стояло несколько белых деревянных домиков.

Мать спала, отец молчал, погрузившись в свои мысли.

Том сказал:

— Где его искать, не знаю. Может, подождем рассвета и тогда спросим кого-нибудь? — Он остановился у дорожного знака, и в это время к перекрестку подъехала еще одна машина. Том высунул голову: — Мистер, не знаете, где тут большой лагерь?

— Держи прямо.

Том переехал перекресток и через несколько ярдов остановился. Впереди виднелась высокая проволочная изгородь и широкие ворота. За воротами стоял маленький домик с одним освещенным окном. Том повел машину прямо к воротам. Грузовик подскочил и нырнул вниз.

— Вот черт! — сказал Том.— Я и не видел, что тут насыпь.

Сторож, сидевший на крыльце домика, встал, подошел к машине и прислонился к борту.

— Поспешил,— сказал он.— В следующий раз будешь осторожнее.

— Да что тут такое?

Сторож рассмеялся.

— Здесь ребята постоянно бегают.— Просишь людей ездить потише, а они забывают. А кто наскочит на такую насыпь, тот ее не забудет.

— Вон оно что! Надеюсь, что обошлось без поломки. А как тут... места для нас хватит?

— На одну палатку хватит. Вас сколько?

Том начал подсчитывать по пальцам.

— Я, отец, мать, Эл, Роза, дядя Джон, Руфь и Уинфилд — это ребята.

— Ну что ж, устроим. Палатка у вас есть? На чем спать найдется?

— Есть брезент и матрацы.

Сторож стал на подножку.

— Поезжай по этому ряду до конца, потом направо. Припишем вас к санитарному корпусу номер четыре.

— А что это такое?

— Там помещаются уборные, душевые и прачечная.

Мать спросила:

— У вас есть лоханки и водопровод?

— Конечно.

— Слава тебе господи! — сказала мать.

Том вел грузовик в темноте вдоль длинного ряда палаток. В санитарном корпусе горел неяркий огонь.

— Вон туда держи,— сказал сторож.— Место хорошее. Отсюда только что выехали.

Том остановил машину.

— Здесь?

— Да. Теперь пусть они разгружаются, а ты пойдешь со мной, я вас запишу. И поскорее ложитесь спать. Завтра утром к вам придет лагерная комиссия и все объяснит.

Том потупился.

— Полисмены? — спросил он.

Сторож сказал со смехом:

— Полисменов здесь нет. У нас они свои собственные. Люди сами их выбирают. Пойдем.

Эл соскочил с грузовика и подошел к ним.

— Ну как, остаемся?

— Да,— ответил Том.— Ты с отцом снимай вещи, а я пойду в контору.

— Только потише,— сказал сторож.— Многие уже спят.

Том пошел вслед за сторожем по темному лагерю и поднялся по ступенькам в крохотную контору, где стоял письменный столик и стул. Сторож сел к столу и вынул бланк из ящика.

— Как зовут?

— Том Джоуд.

— Старик — твой отец?

— Да.

— Его как зовут?

— Тоже Том Джоуд.

Вопросы следовали один за другим. Откуда приехали, давно ли в этом штате, где работали. Сторож поднял голову и посмотрел на Тома.

— Это я не из любопытства. Такое уж у нас правило.

— Ничего, ничего,— сказал Том.

— Деньги есть?

— Немного.

— Может, совсем без денег?

— Нет, немного есть. А что?

— Да ведь плата доллар в неделю, но можно отрабатывать — вывоз мусора, уборка, ну там еще что-нибудь.

— Мы отработаем.

— Завтра комиссия с вами поговорит. Расскажут вам, как тут всем пользоваться, объяснят правила.

Том сказал:

— Слушай, а что это такое? Какая это комиссия?

Сторож откинулся на спинку стула.

— Она делает большую работу. У нас тут пять санитарных корпусов. Каждый посылает своего представителя в Главную комиссию. А она здесь всем заправляет. Ее слово — закон.

— А если они начнут тут командовать?

— Ну что ж, прогнать их можно так же быстро, как и выбрать. Да нет, они хорошо работают. Недавно у нас вот как было. Знаешь проповедников из секты святых прыгунов? От них отбоя нет, чуть где соберется народ, так они сразу проповедовать и берут за это деньги. Захотелось им и сюда пролезть. Из стариков многие были не прочь их послушать. Дело за Главной комиссией — что она скажет. Созвали собрание и решили так: «Проповедовать в лагере разрешается всем. Брать за это деньги не разрешается никому». Старики наши приуныли, потому что с тех пор сюда ни один проповедник не сунулся.

Том засмеялся и спросил:

— Значит, те, кто управляет лагерем, они здешние — тут и живут?

— Да. И хорошо работают, все у них налажено.

— А ты говорил про своих собственных полисменов...

Главная комиссия наблюдает за порядком и устанавливает правила. Потом есть Женская комиссия. Она завтра зайдет к твоей матери. Женщины присматривают за детьми и следят, чтобы в санитарных корпусах было чисто. Если твоя мать не будет работать, ей поручат детей, у которых родители на работе, а когда она сама куда-нибудь устроится — найдутся другие. Они и шитьем занимаются, их здесь этому обучают. Занятия есть всякие.

— Значит, полисменов совсем нет?

— Нет, нет! Без ордера на арест полисмен сюда и сунуться не посмеет.

— Ну а если кто-нибудь набезобразничает или пьяный напьется, драку затеет, тогда что?

Сторож проткнул карандашом промокательную бумажку.

— После первого раза Главная комиссия его предупреждает. После второго дают строгое предупреждение. А после третьего — вон из лагеря.

— Господи боже! Просто собственным ушам не веришь. Сегодня вечером шерифские понятые и эти молодчики в форменных фуражках целый лагерь у реки сожгли.

— К нам они не ходят,— сказал сторож.— По вечерам наша молодежь иногда выставляет охрану вдоль забора, особенно если у нас танцы.

— Танцы? Господи помилуй!

— Танцы каждую субботу. Лучше наших вечеров во всей округе не бывает.

— Вот это я понимаю! Побольше бы таких лагерей. Почему их мало?

Сторож нахмурился.

— До этого тебе придется своим умом доходить. Иди — пора спать.

— Спокойной ночи,— сказал Том.— Ма здесь понравится. С ней уж давно как с человеком не обращались.

— Спокойной ночи,— сказал сторож.— Ложись спать. У нас встают рано.

Том шел между двумя рядами палаток. Его глаза привыкли к темноте. Он замечал, что ряды идут прямо, что мусора около палаток не видно. Земля была подметена и полита водой. Из палаток доносился храп. Весь лагерь храпел и посапывал во сне. Том шагал медленно. Он подошел к санитарному корпусу номер четыре и с любопытством оглядел его: низенький, сколочен кое-как, стены неоштукатуренные. Под навесом — открытая прачечная. Он увидел свой грузовик и, тихо ступая, пошел к нему. Брезент был уже поднят на жерди, вокруг стояла тишина. Подойдя ближе, он увидел, как из тени, падавшей от грузовика, отделилась чья-то фигура и шагнула ему навстречу.

Мать тихо спросила:

— Это ты?

— Да.

— Ш-ш! — сказала она.— Все спят. Устали очень.

— Тебе тоже не мешает уснуть,— сказал Том.

— Я тебя поджидала. Ну как?

— Хорошо,— ответил Том.— Только рассказывать я ничего не буду. Завтра утром сама все узнаешь. Тебе здесь понравится.

Она шепнула:

— Говорят, у них горячая вода есть.

— Да. А теперь ложись спи. Когда ты последний раз спала?

«Гроздья гнева»

Но мать не отставала от него.

— А ты все-таки расскажи.

— Не расскажу. Спать надо.

Она сказала шутливо, совсем по-молодому:

— Разве тут уснешь? Мне все будет думаться, чего это он мне не хочет рассказывать?

— А ты не думай,— сказал Том.— Завтра, как встанешь, надень платье получше, а тогда... тогда сама все узнаешь.

— Нет, я так не усну.

— Уснешь! — Том радостно рассмеялся.— Уснешь!

— Спокойной ночи,— тихо сказала она, нагнулась и юркнула в темную палатку.

Том залез по заднему борту на грузовик. Он лег навзничь на деревянную платформу и, закинув руки за голову, прижал локти к ушам. Ночь была прохладная. Том застегнул пиджак и снова закинул руки. Над головой у него сияли яркие, колючие звезды.

Когда Том проснулся, было еще темно. Его разбудило негромкое постукивание. Он прислушался и снова различил лязганье железа о железо. Он расправил онемевшие члены и поежился, чувствуя утреннюю прохладу. Лагерь спал. Том приподнялся и посмотрел через борт грузовика. Горы на востоке были иссиня-черные, но вот позади них забрезжил слабый свет; он тронул розовым очертания гор и, растекаясь по небу, становился все холоднее, серее, гуще и наконец совсем исчез, слившись с непроглядной ночью на западе. А над долиной уже стлались предрассветные лиловатые сумерки.

Лязганье послышалось снова. Том посмотрел вдоль ряда палаток, чуть серевших над землей. Около одной из них блеснул желтовато-красный огонек, пробивавшийся сквозь щели в железной печке. Над короткой трубой поднимался серый дым.

Том перелез через борт грузовика и спрыгнул на землю. Он неторопливо зашагал к печке. Он увидел около нее молоденькую женщину, увидел, что она держит одной рукой ребенка, что ребенок сосет грудь, спрятав голову под кофточку матери. Женщина ходила около печки, подправляла хворост в топке, приподнимала то одну, то другую конфорку, чтобы тяга была получше; а ребенок не переставал сосать грудь, и мать ловко перекладывала его с руки на руку. Ребенок не мешал ей работать, не нарушал свободы и легкости ее движений. А желтовато-красный огонек выбивался из щелей в печке и бросал неровные блики на палатку.

Том подошел поближе. Он учуял запах жареной свиной грудинки и горячего хлеба. На востоке быстро светлело. Том подо-

шел к печке вплотную и протянул над ней руки. Женщина посмотрела на него и поклонилась, тряхнув косами.

— С добрым утром,— сказала она и перевернула ломтик грудинки на сковороде.

Полы палатки раздвинулись, и оттуда вышли двое — молодой человек и старик. Оба в синих, видно, еще не стиранных брюках и таких же куртках с блестящими медными пуговицами. Они были очень похожи друг на друга — лица грубоватые, резкие. У молодого на подбородке виднелась темная щетина, у старика — седая. Головы у них были мокрые, вода стекала с волос и собиралась каплями на жесткой щетине. Щеки влажно поблескивали. Они стояли бок о бок, молча глядя на светлеющее на востоке небо. Потом зевнули, точно по команде, перевели взгляд на светлую кромку холмов и увидели Тома.

— Здравствуй,— сказал старик, и по его лицу нельзя было судить, как он настроен — дружелюбно или нет.

— Здравствуйте,— сказал Том.

И молодой человек сказал:

— Здравствуй.

Капли воды у них на лицах медленно подсыхали. Они подошли к печке и стали греть над ней руки.

Женщина хлопотала по-прежнему и только на минутку оторвалась от своих дел — посадила ребенка и стянула косы шнурком на затылке, так что теперь они болтались у нее за спиной. Она поставила на большой ящик оловянные кружки и оловянные тарелки, к ним — вилки и ножи, выловила из густого жира ломтики грудинки и положила их на тарелку, где они стали похрустывать, загибаясь с краев. Потом она открыла ржавую дверцу духовки и вынула оттуда противень с пышными лепешками.

Учуяв запах лепешек, мужчины глубоко втянули ноздрями воздух. Молодой негромко охнул:

— О-ох!

Старик повернулся к Тому:

— Завтракал?

— Нет... Но мои вон там, в палатке. Спят еще. Очень устали.

— Тогда садись с нами. У нас, слава богу, еды много.

— Спасибо,— ответил Том.— Так вкусно пахнет, что трудно отказаться.

— Вкусно?— сказал молодой.—Ты когда-нибудь слыхал, чтобы так пахло? — Они подошли к ящику и сели около него.

— Работаешь здесь? — спросил молодой.

— Только собираюсь,— ответил Том.— Мы приехали ночью. Еще не успели оглядеться.

— А мы двенадцатый день на работе.

Женщина сказала:

— Даже новую одежду смогли купить.— Оба, и старик и молодой, посмотрели на свои жесткие синие куртки и улыбнулись чуть смущенно. Женщина поставила на ящик тарелку с грудинкой, румяные пышные лепешки, подливку к ним, кофейник и тоже присела на корточки. Ребенок все еще сосал грудь, спрятав голову под кофточку матери.

Они положили себе по куску, полили лепешки подливкой и бросили сахару в кофе.

Старик набил полон рот едой и жевал и глотал быстро, жадно.

— Ой, как вкусно! — пробормотал он и снова набил полон рот.

Молодой сказал:

— Мы уже двенадцатый день хорошо едим. Ни разу так не было, чтобы остаться без завтрака или без обеда. Работаем, получаем деньги и едим досыта.— Он снова чуть ли не с остервенением накинулся на еду. Потом все выпили горячий, как огонь, кофе, выплеснули гущу на землю и налили еще по кружке.

В утреннем свете появился теперь красноватый отблеск. Отец и сын кончили свой завтрак. Они смотрели на восток, лучи рассвета падали на их лица, в глазах отражались далекие горы и занимавшийся над ними рассвет. Они выплеснули кофейную гущу из кружек и встали.

— Пора,— сказал старик.

Молодой повернулся к Тому.— Слушай,— сказал он.— Мы прокладываем трубы. Пойдем с нами, может, тебя тоже возьмут.

Том сказал:

— Очень вам благодарен. И за угощение тоже спасибо.

— Пожалуйста,— сказал старик.— Хочешь, пойдем,— мы поможем тебе устроиться.

— Как не хотеть,— ответил Том.— Подождите минутку. Я своих предупрежу.— Он быстро зашагал к палатке Джоудов, нагнулся и заглянул внутрь. Там спали. Но вот под одним одеялом кто-то завозился. Руфь выползла из-под него, извиваясь, точно змея; волосы падали ей на лоб, платье было все перекрученное, жеваное. Она осторожно выбралась наружу и встала во весь рост. Ее серые глаза смотрели со сна спокойно и ясно, без озорства. Том отошел от палатки, поманив Руфь за собой, и остановился.

— Эх, как ты растешь! — сказал он, увидев ее перед собой.

Руфь смущенно посмотрела в сторону.

— Слушай,— сказал Том.— Сейчас никого не буди, а когда проснутся, скажи им, что я ушел — может, устроюсь на работу. Ма скажешь, что я позавтракал тут у соседей. Поняла?

Руфь молча кивнула и снова отвернулась; глаза у нее были совсем ребячьи.

— Не вздумай их будить,— повторил Том. Он быстро зашагал назад к своим новым знакомцам. А Руфь с опаской подошла к санитарному корпусу и заглянула в открытую дверь.

Старик и молодой ждали Тома. Женщина вытащила из палатки матрац и усадила на него ребенка, а сама принялась мыть посуду.

Том сказал:

— Мне хотелось своих предупредить. Они еще спят.— Все трое зашагали между двумя рядами палаток.

Лагерь просыпался. У только что разведенных костров возились женщины, месили тесто на лепешки к завтраку, резали мясо. А мужчины похаживали около палаток и около машин. Небо теперь было розовое. У конторы высокий худой старик разравнивал землю граблями. Узкие бороздки получались у него прямые и глубокие.

— Ты что-то рано сегодня, папаша,— сказал ему молодой спутник Тома, проходя мимо.

— Да, да. За постой отрабатываю.

— Как бы не так! — сказал молодой человек.— Он напился в субботу, весь вечер пел песни у себя в палатке, и комиссия в наказание заставила его поработать.— Они шли по краю грунтовой дороги в тени ореховых деревьев. Над горами показался ободок солнца.

Том усмехнулся:

— Чудно́! Я вместе с вами позавтракал, а как меня зовут, не сказал, и вы тоже не назвались. Я Том Джоуд.

Старик посмотрел на него и чуть улыбнулся.

— Ты в этих местах, наверно, совсем недавно?

— Да всего несколько дней.

— Так я и думал. Тут от этого отвыкаешь. Слишком много народу. У всех одно имя: эй, приятель. Ну, ладно, будем знакомы: меня зовут Тимоти Уоллес, а это мой сын — Уилки.

— Очень приятно,— сказал Том.— А вы давно здесь?

— Девять месяцев,— ответил Уилки.— Мы сюда удрали от прошлогоднего наводнения. Ну и времечко было! Чуть с голоду не подохли.— Их башмаки громко постукивали по грунтовой дороге. Мимо прошел грузовик; он вез угрюмых, погруженных в свои мысли людей. Они держались за борта машины и не отрывали хмурых глаз от дороги.

— Эти работают на Газовую компанию,— сказал Тимоти.— Хорошо получают.

— Мы бы тоже могли доехать на нашем грузовике,— сказал Том.

— Нет, не стоит.— Тимоти нагнулся и поднял с земли зеленый грецкий орех. Он ковырнул его ногтем и метнул им в черного дрозда, сидевшего на проволочной изгороди. Дрозд вовремя вспорхнул, так что орех пролетел, не задев его, потом снова опустился на изгородь и почистил клювом блестящие черные перышки.

Том спросил:

— А разве у вас нет машины?

Оба Уоллеса промолчали, и, взглянув на них, Том понял, что его вопрос неприятен им.

Уилки сказал:

— Нам недалеко ходить — всего милю.

Тимоти сердито заговорил:

— Нет у нас машины. Продали. Пришлось продать. Сидели без хлеба. На работу тоже не могли устроиться. А тут каждую неделю приходят скупщики — смотрят, у кого есть машины. Увидят, что ты голодный, предлагают купить. А если ты вконец изголодался, они твою машину чуть не задаром получают. Вот так и с нами было. Продали за десять долларов.— Он сплюнул на дорогу.

Уилки тихо сказал:

— Я на прошлой неделе был в Бейкерсфилде. Видел ее — выставлена на продажу... стоит себе наша машина, а цена написана семьдесят пять долларов.

— Пришлось продать,— повторил Тимоти.— Решили: пусть уж они нас грабят, только бы не мы их. До воровства мы еще не доходили, но уж близко было к этому.

Том сказал:

— А мы слышали дома, что здесь работы хоть отбавляй. Перед отъездом читали листки — в них написано, что народ здесь требуется.

— Да,— сказал Тимоти,— мы тоже их читали. А работы здесь мало. И плату все время снижают. У меня уж ум за разум заходил, только и думал — как бы перебиться со дня на день.

— Теперь у вас есть работа,— сказал Том.

— Да. Только это не надолго. А хозяин у нас хороший. Участок у него небольшой. Сам работает вместе с нами. Только не надолго это.

Том сказал:

— Зачем же вам меня устраивать? Втроем кончим еще скорее. Сами себе приставляете нож к горлу.

Тимоти медленно покачал головой:

— Не знаю. Наверно, зря делаем. Мы думали купить себе шляпы. Да вряд ли удастся. Вон его участок, направо. Работа хорошая. Тридцать центов в час. И хозяин неплохой.

Они свернули с шоссе и прошли по усыпанной гравием дорожке, через маленький огород. Позади него стоял маленький белый домик, окруженный тенистыми деревьями, и сарай; за сараем виднелся виноградник и хлопковое поле. Когда они поравнялись с домиком, сетчатая дверь на крыльце хлопнула, и по ступенькам сбежал коренастый загорелый человек в картонном шлеме. Он шел по двору, засучивая на ходу рукава рубашки. Его густые, спаленные солнцем брови сердито хмурились. Щеки были красные от загара.

— Здравствуйте, мистер Томас,— сказал Тимоти.

— Здравствуйте,— раздраженно буркнул тот.

Тимоти сказал:

— Это Том Джоуд. Может, вы и его примете на работу?

Хозяин сердито посмотрел на Тома и вдруг засмеялся коротким смешком, но брови у него так и остались нахмуренными.

— Ну еще бы! Конечно, приму. Я всех приму. Мне, может, сотня человек понадобится.

— Мы думали...— извиняющимся тоном начал Тимоти.

Томас не дал ему договорить:

— Я тоже думал.— Он круто повернулся и стал лицом к ним.— Мне надо с вами поговорить. Я платил вам тридцать центов в час, так?

— Да, мистер Томас... но мы...

— И за тридцать центов я получал от вас то, что мне и требовалось,— хорошую работу.— Он сжал свои большие грубые руки.

— Мы не лодырничали.

— Ну так вот: сегодня я плачу двадцать пять центов в час. Хотите соглашайтесь, хотите нет.— Его красное лицо покраснело еще больше от гнева.

Тимоти сказал:

— Мы хорошо работаем. Вы сами это говорите.

— Не отрицаю. Но теперь дело повернулось так, что я уж, кажется, не волен нанимать людей.— Он судорожно глотнул.— Слушайте. У меня шестьдесят пять акров. Что такое Ассоциация фермеров, вам известно?

— Еще бы!

— Я в нее вхожу. Вчера вечером у нас было собрание. А кто заправляет Ассоциацией фермеров, вы знаете? Сейчас скажу. Банк на Западе. Этому банку принадлежит чуть ли не вся наша долина, а что не его, на то он имеет векселя по ссудам. И вчера один банковский представитель сказал мне: «Вы платите тридцать центов в час. Придется вам сбавить до двадцати пяти». Я говорю: «У меня хорошие рабочие. Таким не жалко и тридцать дать». А он

отвечает: «Не в этом дело. Теперь установлена плата двадцать пять центов. Если вы будете платить тридцать, поднимется недовольство». И добавляет: «Кстати, вам, вероятно, опять понадобится ссуда в следующем году?» — Томас замолчал. Дыхание с хрипом вырывалось у него из груди.— Поняли? Двадцать пять центов — и за то скажите спасибо.

— Мы хорошо работали,— растерянно проговорил Тимоти.

— Все еще не разобрались, в чем дело? Господин Банк держит в услужении две тысячи человек, а я только вас троих. У меня долговые обязательства. Вот и пораскиньте мозгами. Если найдете какой-нибудь выход, я спорить не стану. Они меня за горло держат.

Тимоти покачал головой.

— Не знаю, что и сказать.

— Подождите минутку.— Томас быстро поднялся по ступенькам. Дверь за ним захлопнулась. Через минуту он вернулся с газетой в руках.— Вот это видели? Сейчас прочитаю: «Граждане, возмущенные деятельностью красных, подожгли переселенческий лагерь. Вчера ночью группа граждан, выведенная из терпения агитацией, проводимой в местном переселенческом лагере, подожгла палатки и потребовала от агитаторов немедленно покинуть наш округ».

Том начал было:

— Да я...— и тут же осекся и замолчал.

Томас аккуратно сложил газету и сунул ее в карман. Он уже успокоился. Он негромко сказал:

— Этих людей послала туда Ассоциация. Теперь я их выдал. И если там узнают об этом, в будущем году фермы у меня не будет.

— Просто и не придумаю, что сказать,— повторил Тимоти.— Если там на самом деле были агитаторы, тогда понятно, почему в Ассоциации так рассвирепели.

Томас сказал:

— Я давно к этому присматриваюсь. Перед тем как снижать плату, красных агитаторов всюду видят. Д-да! Загнали меня в ловушку. Ну как же? Двадцать пять центов?

Тимоти опустил глаза.

— Я согласен,— сказал он.

— Я тоже,— сказал Уилки.

Том сказал:

— Ну, мне, кажется, повезло для первого раза. Конечно, я тоже буду работать. Я не могу отказываться.

Томас вытащил из заднего кармана цветной платок и вытер им рот и подбородок.

— Сколько же еще так может продолжаться? Не знаю. И как вы ухитряетесь семью кормить на такие деньги — этого я тоже не знаю.

— Пока работаем — кормимся,— сказал Уилки.— А вот если работы нет, тогда плохо.

Томас взглянул на часы.

— Пошли! Пошли рыть канаву. Эх! — вдруг крикнул он.— Так и быть — скажу. Вы живете в правительственном лагере?

Тимоти насторожился:

— Да, сэр.

— И у вас там бывают танцы по субботам?

Уилки ответил с улыбкой:

— Бывают.

— Ну так вот. В следующую субботу будьте осторожнее.

Тимоти шагнул к нему:

— А что такое? Я член Главной комиссии. Я должен знать.

Томас посмотрел на него с опаской:

— Не вздумайте сказать кому-нибудь, что от меня про это узнали.

— А что такое? — допытывался Тимоти.

— В Ассоциации терпеть не могут эти правительственные лагери. Шерифских понятых туда не пошлешь. Говорят, будто люди там сами себе устанавливают законы и без ордера никого нельзя арестовать. Так вот, если у вас затеют драку, а то и пальбу, тогда к вам явятся понятые и всех вас оттуда выкинут.

Тимоти преобразился. Он расправил плечи, взгляд у него стал холодный.

— Как же это понять?

— Не вздумайте рассказать кому-нибудь, что от меня об этом слышали,— хмуро проговорил Томас.— В субботу вечером у вас в лагере затеют драку. А понятые будут наготове.

Том спросил:

— Да зачем это? Кому эти люди мешают?

— Я тебе скажу зачем,— ответил Томас.— Кто здесь побывал, тот привыкает к человеческому обращению. А потом попадет такой в переселенческий лагерь, и с ним трудно будет справиться.— Он снова вытер лицо.— Ну, идите работать. Договорюсь я с вами до того, что останусь без фермы. Да вы народ хороший, я к вам всей душой.

Тимоти протянул ему свою худую заскорузлую руку. Томас пожал ее.

— Никто не узнает. Спасибо. Драки не будет.

— Идите работать,— повторил Томас.— И помните: двадцать пять центов в час.

— Будем и за двадцать пять,— сказал Уилки.— Для вас...

Томас зашагал к крыльцу.

— Я скоро приду,— сказал он.— Ступайте.— Дверь за ним захлопнулась.

Том и Уоллесы миновали выбеленный известью сарай и, выйдя в поле, увидели длинную узкую канаву, рядом с которой лежали секции цементной трубы.

— Вот здесь мы и работаем,— сказал Уилки.

Его отец открыл сарай и вынес оттуда две кирки и три лопаты. Он сказал Тому;

— Получай свою красавицу.

Том прикинул кирку на вес:

— Эх, хороша!

— Посмотрим, что ты к одиннадцати часам запоешь,— сказал Уилки.— Как ты тогда ее будешь похваливать.

Они подошли к тому месту, где канава кончалась. Том снял пиджак и бросил его на кучу вырытой земли. Он сдвинул кепку на затылок и шагнул в канаву. Поплевал на руки. Кирка взвилась в воздух и опустилась, блеснув острием. Том тихо крякнул. Кирка взлетала кверху и падала, и кряканье слышалось как раз в ту минуту, когда она вонзалась в грунт, отворачивая сразу целую глыбу земли.

Уилки сказал:

— Ну и землекоп нам попался! Лучше и быть не может! Он с киркой по-свойски обращается.

Том сказал:

— Слава богу! (ух!). Не впервой (ух!). Дело знакомое (ух!). Приятно такой помахать (ух!).— Он отворачивал глыбу за глыбой. Солнце уже поднялось выше фруктовых деревьев, и виноградные листья отливали золотом на лозах. Шесть футов пройдено. Том вылез из канавы и отер лоб. Его место занял Уилки. Лопата взлетала и опускалась, и куча выброшенной земли около канавы росла.

— Я уж кое-что слышал про эту Главную комиссию,— сказал Том.— Значит, вы в нее входите?

— Да, вхожу,— ответил Тимоти.— На нас лежит большая ответственность. Народу в лагере много. Мы стараемся, чтобы как можно лучше все было, и люди сами нам помогают. Только бы крупные фермеры нас не донимали. А ведь донимают, дьяволы.

Том спрыгнул в канаву, и Уилки отошел в сторону. Том сказал:

— А что он говорил (ух!) насчет драки? (ух!) Что это они придумали?

Тимоти шел по следам Уилки, и лопата Тимоти выравнивала дно канавы, подготавливая ее под трубу.

— Видно, хотят выжить нас отсюда,— сказал Тимоти.— Боятся, как бы мы не сорганизовались. Может, они и правы. Наш лагерь — это и есть организация. Люди заботятся сами о себе. Оркестр у нас такой, что в здешних местах лучшего не сыщешь. Для тех, кто голодает, открыли в лавке небольшой кредит. Можешь забрать товару на пять долларов — лагерь за тебя отвечает. С властями у нас никаких стычек не было. Вот все это и пугает крупных фермеров. И то, что в тюрьму нас не засадишь. Они, верно, думают, кто научился управлять лагерем, тот способен и на другие дела.

Том вылез из канавы и вытер пот, заливавший ему глаза.

— Вы слышали, что написано в газете про агитаторов, про лагерь около Бейкерсфилда?

— Слышали,— сказал Уилки.— Да ведь это не в первый раз делается.

— Я оттуда приехал. Никаких агитаторов там не было. Никаких красных. А что это за люди — красные?

Тимоти срезал лопатой небольшой бугорок на дне канавы. Его белая щетинистая борода поблескивала на солнце.

— Красными многие интересуются,— сказал он со смешком.— И вот один дознался, кто такие красные.— Он пришлепнул лопатой выброшенную из канавы землю.— Есть тут такой Хайнз. У него участок чуть ли не в тридцать тысяч акров — персики, виноград; консервный завод, виноделие. От него только и слышишь про красных: «Эти чертовы красные доведут страну до гибели», «Этих красных надо гнать отсюда». А один малый — из недавно приехавших сюда — слушал, слушал, потом поскреб в затылке и спрашивает: «Мистер Хайнз, я в здешних местах новичок. Что же это за люди, эти красные?» А Хайнз отвечает: «Красный — это тот сукин сын, который требует тридцать центов, когда мы платим двадцать пять». Мальчишка подумал, подумал, опять поскреб в затылке и сказал: «Мистер Хайнз! Я не сукин сын, а если красные такие, как вы говорите, так ведь я тоже хочу получать тридцать центов. Это все хотят. Выходит, мистер Хайнз, мы красные».— Тимоти подровнял лопатой еще один бугорок, и твердая земля заблестела на срезе.

Том рассмеялся.

— Я, наверно, тоже красный.— Кирка взлетела и опустилась, и грунт дал трещину. Пот струился у Тома по лбу и по щекам, поблескивал каплями на шее.— А черт,— сказал он,— хорошая вещь — кирка (ух!), если уметь с ней обращаться (ух!). Приладишься (ух!) — и как хорошо дело идет (ух!).

Они шли друг за другом, и канава мало-помалу росла, а солнце, поднимавшееся все выше и выше, обдавало их зноем.

Когда Том ушел, Руфь постояла еще несколько минут, глядя на дверь санитарного корпуса. Без Уинфилда, перед которым можно было покрасоваться, храбрости у нее не хватало. Она поставила одну босую ногу на цементный пол и тут же отступила назад. Из палатки в дальнем конце прохода вышла женщина и принялась растапливать железную печку. Руфь пошла туда, но ее тут же потянуло обратно. Она тихонько подкралась к своей палатке и заглянула внутрь. Справа, прямо на земле, лежал дядя Джон, рот у него был открыт, из горла вырывался булькающий, заливистый храп. Отец и мать спали под одним одеялом, укрывшись им с головой от света. Эл лежал с левого края, прикрыв согнутой в локте рукой глаза. У самого входа в палатку спали Роза Сарона и Уинфилд, а рядом с Уинфилдом было и ее местечко, свободное сейчас. Руфь присела на корточки. Она уставилась на светлую голову Уинфилда, и, почувствовав этот взгляд, мальчик проснулся и посмотрел на нее безмятежно спокойными глазами. Руфь прижала палец к губам и поманила его другой рукой. Уинфилд покосился на Розу Сарона. Ее раскрасневшееся лицо было совсем рядом, она дышала, чуть приоткрыв рот. Уинфилд осторожно приподнял одеяло и вылез из-под него. Потом тихонько скользнул наружу, к Руфи.

— Ты давно встала? — шепотом спросил он.

Соблюдая всяческую осторожность, Руфь отвела его в сторону, и когда им уже ничто не грозило, ответила:

— Я вовсе не ложилась. Я всю ночь хожу.

— Неправда,— сказал Уинфилд.— Врунья ты.

— Я врунья? — сказала она.— Хорошо. А зато ты ничего не знаешь. Одного дядьку зарезали ножом, а потом прибежал медведь и утащил ребеночка. А я тебе про это не расскажу.

— Никакого медведя не было,— неуверенно проговорил Уинфилд. Он прочесал волосы пальцами и оттянул штаны в шагу.

— Хорошо, пусть не было,— насмешливо сказала Руфь.— И белых суднышек из того самого, из чего посуду делают,— помнишь в прейскурантах? — их тоже не было.

Уинфилд уставился на нее во все глаза. Он показал на санитарный корпус.

— Там?

— Я же врунья! Какой мне интерес тебе рассказывать.

— Пойдем посмотрим,— сказал Уинфилд.

— Я уже там была,— сказала Руфь.— И сидела на них. И даже пипи туда сделала.

— И все ты врешь,— сказал Уинфилд.

Они пошли к санитарному корпусу, и теперь Руфь уже ничего не боялась. Она храбро вошла туда первая. Вдоль одной стены

большой комнаты были уборные, отделенные одна от другой перегородками, каждая с дверью. Белый фаянс сверкал чистотой. Вдоль противоположной стены шли умывальные раковины, а напротив входа — четыре душевых кабины.

— Вот,— сказала Руфь.— Это судна. Такие, как в прейскурантах.— Дети подошли к крайней уборной. Руфь из чистого хвастовства задрала платье и села на унитаз.— Говорю тебе — я здесь уж была,— сказала она. И в унитазе послышалось журчанье — в виде доказательства.

Уинфилд стоял сконфуженный. Его рука нажала на спускной рычажок. Раздался рев воды. Руфь подскочила и шарахнулась в сторону. Они стояли посреди комнаты и смотрели на унитаз. Вода в нем все еще бежала.

— Это все ты,— сказала Руфь.— Подошел и сломал. Я видела.

— Нет, не я. Честное слово, не я.

— Я же видела,— сказала Руфь.— Тебя к хорошим вещам и близко нельзя подпускать.

Уинфилд понурился. Он взглянул на Руфь, и глаза у него налились слезами, подбородок задрожал. И Руфь сжалилась над ним.

— Ничего. Я не нажалуюсь. Мы скажем, что это так и было. Скажем, что и не заходили сюда.— Она вывела его из санитарного корпуса.

Солнце, поднявшееся из-за горы, светило теперь на железные рифленые крыши пяти санитарных корпусов, светило на серые палатки и на чисто выметенные проходы между ними. Лагерь проснулся. В походных печках горел огонь; печки были сделаны из керосиновых бидонов, из листового железа. В воздухе тянуло дымком. Полы палаток были откинуты, и люди ходили по лагерю. Около палатки Джоудов, поглядывая по сторонам, стояла мать. Она увидела своих ребят и пошла к ним навстречу.

— Я уж забеспокоилась,— сказала она.— Где вы бегаете, бог вас знает.

— Мы просто так ходили, смотрели,— сказала Руфь.

— А где Том? Вы его не видели?

Руфь сразу приняла деловой вид.

— Видела, мэм. Том меня разбудил и сказал, что передать.— Она замолчала, подчеркивая этим значительность своей роли.

— Ну, что? — нетерпеливо спросила мать.

— Он велел сказать тебе...— Она снова замолчала и горделиво поглядела на Уинфилда.

Мать угрожающе подняла руку.

— Ну?

— Он получил работу,— быстро проговорила Руфь.— Он пошел работать.— Она с опаской посмотрела на руку матери. Рука опустилась, потом потянулась к Руфи. Мать обняла Руфь за плечи, на минуту крепко прижала ее к себе и тут же отпустила.

Руфь сконфуженно потупилась и переменила тему разговора.

— А там есть уборные,— сказала она.— Беленькие.

— Ты уж сбегала туда? — спросила мать.

— Да, вместе с Уинфилдом,— ответила Руфь и тут же предала брата: — Уинфилд сломал одну уборную.

Уинфилд покраснел. Он сверкнул глазами на Руфь.

— А она сделала туда пипи,— злобно сказал он.

Мать сразу забеспокоилась.

— Что вы там натворили? Покажите мне.— Она насильно подвела их к санитарному корпусу и втолкнула туда.— Что вы натворили?

Руфь показала на унитаз:

— Тут что-то зашипело, зажурчало. Сейчас ничего — тихо.

— Покажите, что вы сделали,— потребовала мать.

Уинфилд нехотя подошел к унитазу.

— Я совсем не сильно нажал. Просто взялся за нее, вот так, и...— Вода снова хлынула. Он шарахнулся в сторону.

Мать запрокинула голову и рассмеялась, а Руфь и Уинфилд обиженно посмотрели на нее.

— Это так и надо,— сказала мать.— Я видела такие. Когда кончишь, надо нажать, вот и все.

Детям было нелегко перенести позор собственного невежества. Они вышли на улицу и побрели между палатками поглазеть на большую семью, сидевшую за завтраком.

Мать смотрела им вслед, стоя в дверях. Потом она оглядела комнату. Она подошла к душевой кабинке и заглянула внутрь. Подошла к умывальникам и провела ладонью по белому фаянсу. Отвернула немного кран, подставила палец под струю и быстро отдернула руку, потому что вода полилась горячая. Она посмотрела на умывальник, потом закрыла слив и налила в раковину воды — немного из горячего крана, немного из холодного. Она вымыла руки в теплой воде, умылась и уже приглаживала мокрыми ладонями волосы, когда позади нее на цементном полу раздались чьи-то шаги. Мать круто повернулась. В дверях стоял пожилой человек и глядел на нее, преисполненный справедливого гнева.

Он резко спросил:

— Как вы сюда попали?

Мать судорожно глотнула, чувствуя, как вода струится у нее с подбородка на платье.

— Я не знала,— извиняющимся тоном проговорила она.— Я думала, это для всех.

Человек нахмурился.

— Не для всех, а только для мужчин,— строго сказал он. Потом подошел к двери и показал на дощечку: МУЖСКАЯ.— Вот. Теперь убедились? Раньше-то вы ее не заметили, что ли?

— Нет,— к своему стыду, призналась мать.— Не заметила. А есть такое место, куда мне можно?

Пожилой человек сразу смилостивился.

— Вы недавно приехали? — спросил он уже не так строго.

— Ночью,— ответила мать.

— Значит, комиссия с вами еще не беседовала?

— Какая комиссия?

— Да Женская комиссия.

— Нет.

Он сказал с гордостью:

— Скоро к вам придет комиссия и все покажет. Мы заботимся о новичках. А если вам нужна женская уборная, обойдите корпус. Та сторона — ваша.

Мать спросила в замешательстве:

— Вы говорите, что Женская комиссия... придет ко мне в палатку?

Он утвердительно кивнул:

— Да, наверно, скоро придут.

— Благодарю вас,— сказала мать. Она быстро вышла из уборной и чуть не бегом кинулась к своей палатке.

— Па! — крикнула она.— Джон, вставайте! Эл, ты тоже. Вставайте и сходите умойтесь.— Ее встретили недоумевающими сонными взглядами.— Все вставайте,— командовала мать.— Вставайте и идите умываться. И волосы причешите.

Дядя Джон был бледный, чувствовал себя плохо. На подбородке у него темнел кровоподтек.

Отец спросил:

— Что случилось?

— Комиссия! — крикнула мать.— К нам придет комиссия. Женская комиссия. Вставайте, идите умойтесь. А пока мы тут спали-почивали, Том устроился на работу. Ну, идите.

Они вышли из палатки, все еще сонные. Дядя Джон покачнулся на ходу, и лицо у него болезненно сморщилось.

— Ступайте вон в тот домик, умойтесь там,— командовала мать.— Надо скорее позавтракать, а то придет комиссия.— Она сходила за щепками, сложенными кучкой позади палаток, развела костер и достала кухонную посуду.— Кукурузные лепешки,— сказала она.— Кукурузные лепешки и подливку. Это быстро. Надо,

чтобы побыстрее.— Она разговаривала сама с собой, а Руфь и Уинфилд, стоявшие рядом, с удивлением смотрели на нее.

Над лагерем потянулся дымок утренних костров, со всех сторон доносились голоса.

Роза Сарона, всклокоченная, заспанная, вышла из-под навеса. Мать, отмерявшая кукурузную муку пригоршнями, повернулась к ней. Она посмотрела на измятое, грязное платье дочери, на ее спутанные, нечесаные волосы.

— Приведи себя в порядок. Надень чистое платье. Я выстирала. Пригладь волосы. Протри глаза.— Мать говорила взволнованно.

Роза Сарона хмуро ответила:

— Мне нездоровится. Я хочу, чтобы Конни пришел. Я без него ничего не буду делать.

Мать круто повернулась к Розе Сарона. Руки у нее были все в желтой кукурузной муке.

— Роза,— строго сказала она,— пора за ум взяться. Довольно тебе хныкать. Скоро придет Женская комиссия, что же мы их неряхами встретим?

— Мне нездоровится.

Мать двинулась на нее, протянув вперед запорошенные мукой руки.

— Ступай умойся,— сказала она.— Иной раз в жизни так бывает, что свое нездоровье надо про себя держать.

— Меня стошнит,— жалобно протянула Роза Сарона.

— Ну отойди в сторонку, пусть стошнит. Конечно, тебя будет тошнить. Всех тошнит. Отойди в сторонку, а потом приведи себя в порядок — вымой ноги и надень туфли.— Мать снова принялась за работу.— И заплети косы,— добавила она.

Сало на сковороде зашипело и брызнуло во все стороны, когда мать опустила в него тесто с ложки. Подливку она приготовила в котелке: смешала муку с салом, посолила и долила водой. Кофе начинал закипать в большой консервной банке, и от нее потянуло кофейным ароматом.

Отец не спеша вернулся к палатке, и мать оглядела его критическим оком. Он спросил:

— Так, говоришь, Том получил работу?

— Да, сэр. Мы еще спали, а он уже ушел. Ну-ка, открой этот ящик и достань себе чистый комбинезон и рубашку. И вот еще что, мне самой некогда,— вымой уши Руфи и Уинфилду. Там есть горячая вода. Ладно, па? Поскреби им как следует и шею и уши. Так, чтобы детки у нас блестели!

— Ишь раскудахталась! Что это с тобой? — проворчал отец.

Мать воскликнула:

— Надо, чтобы у семьи был приличный вид! В дороге до того ли было? А сейчас никто нам не мешает прибраться. Оставь грязный комбинезон в палатке, я его выстираю.

Минут через пять отец появился в побелевших от стирок комбинезоне и рубашке. И он повел приунывших, испуганных детей к санитарному корпусу.

Мать крикнула ему вдогонку:

— Уши покрепче потри!

Дядя Джон вышел из мужской половины корпуса и посмотрел по сторонам, потом вернулся обратно, сел на унитаз и долго сидел там, подпирая руками разболевшуюся голову.

Мать сняла со сковороды румяные лепешки и только успела опустить в кипящее сало ложку теста, как на землю возле костра упала чья-то тень. Она оглянулась через плечо. Позади нее стоял небольшого роста человек, тощий, как жердь, с загорелым морщинистым лицом и веселыми глазами. Швы на его чистом белом костюме были посекшиеся. Он улыбнулся ей и сказал:

— С добрым утром.

Мать недоверчиво оглядела его с ног до головы и нахмурилась.

— Здравствуйте,— сказала она.

— Вы миссис Джоуд?

— Да.

— Меня зовут Джим Роули. Я управляющий лагерем. Зашел посмотреть, как тут у вас, все ли в порядке. Может быть, вам что-нибудь нужно?

Мать недоверчиво разглядывала его.

— Нет, ничего не нужно,— ответила она.

Роули сказал:

— Я спал, когда вы приехали. Хорошо, у нас нашлось свободное место.— Говорил он приветливо.

Мать сказала просто, чистосердечно:

— Мне здесь все нравится. Особенно прачечная.

— Подождите! Скоро женщины соберутся на стирку. Вот будет весело! Как на молитвенном собрании. Знаете, миссис Джоуд, что они вчера придумали? Стали петь хором. Поют гимны и трут белье в такт. Я просто заслушался.

Лицо матери мало-помалу подобрело.

— Да, это, наверно, хорошо было. А вы хозяин?

— Нет,— ответил он.— Здешний народ любого хозяина не у дел оставит. Поддерживают чистоту в лагере, следят за порядком — сами со всем справляются. Я таких людей в жизни не виды-

вал. В помещенье, где у нас бывают собрания, шьют одежду, мастерят игрушки. В жизни не видывал таких людей.

Мать посмотрела на свое грязное платье.

— А мы еще не успели прибраться,— сказала она.— В дороге трудно поддерживать чистоту.

— Точно я сам этого не знаю,— сказал Джим Роули. Он потянул носом.— Чем это у вас так вкусно пахнет — кофе варите?

Мать улыбнулась.

— Правда, вкусно? На воздухе всегда все вкуснее.— И она сказала с гордостью: — Мы сочтем за большую честь, если вы позавтракаете с нами.

Он подошел к костру, присел на корточки, и это окончательно обезоружило мать.

— Мы гордимся таким гостем,— сказала она.— Завтрак у нас не бог весть какой, а все-таки добро пожаловать.

Джим Роули широко улыбнулся ей.

— Я уже завтракал. А вот от кофе не откажусь. Уж очень вкусно пахнет.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Вы только не торопитесь.

Мать налила в оловянную кружку кофе из консервной банки. Она сказала:

— Сахара мы еще не купили. Может, сегодня достанем. Если вы любите с сахаром, тогда будет невкусно.

— А я не пью с сахаром,— сказал Роули.— Он только вкус отбивает у хорошего кофе.

— Нет, немножко все-таки не мешает,— сказала мать. Она вдруг пристально посмотрела на него, стараясь понять, почему он сумел завоевать ее так легко и так быстро. Она искала разгадки в его лице и не находила в нем ничего, кроме приветливости. Потом она посмотрела на его белый пиджак, посекшийся по швам, и окончательно успокоилась.

Он потягивал кофе из кружки.

— Женщины, наверно, зайдут к вам с утра.

— Мы еще не успели прибраться,— сказала мать.— Им бы лучше повременить, когда мы немного устроимся.

— Ну, их этим не удивишь,— сказал управляющий.— Они сами так приехали. Нет, комиссии у нас хорошие, потому что они все понимают.— Он допил кофе и встал.— Ну, надо идти. Если вам что-нибудь понадобится, заходите в контору. Меня всегда можно там застать. Замечательный кофе, благодарю вас.— Он поставил кружку на ящик, помахал на прощанье рукой и зашагал вдоль палаток. И мать слышала, как он заговаривал с людьми, попадавшимися ему навстречу.

Мать опустила голову и с трудом сдержала слезы.

Отец подошел к палатке, ведя за собой детей. Глаза у них были все еще мокрые после перенесенных страданий. Они шли притихшие и чистенькие. Нос Уинфилда уже не лупился от загара.

— Вот,— сказал отец.— Грязь соскреб и заодно еще два слоя кожи. Чуть не отшлепал, не желают смирно стоять — и только.

Мать оглядела их.

— Вон какие стали хорошенькие,— сказала она.— Ешьте лепешки с подливкой. Надо убрать поскорее и здесь и в палатке.

Отец поставил тарелки для детей и для себя.

— Куда же все-таки Том устроился?

— Не знаю.

— Если он нашел работу, значит, мы тоже найдем.

Эл, оживленный, подошел к костру.

— Вот это лагерь! — Он взял лепешку и налил себе кофе.— Знаете, чем тут один малый занимается? Мастерит прицеп. Вон там, за теми палатками. В прицепе у него и кровать и печка будет — все как полагается. Вот это я понимаю — жизнь! Остановился, где хочешь, и живи себе поживай.

Мать сказала:

— А в настоящем домике все-таки лучше. Как только у нас все наладится, надо сразу же подыскать себе домик.

Отец сказал:

— Эл, кончишь завтракать, поедем искать работу — ты, я и дядя Джон.

— Ладно,— сказал Эл.— Я бы хотел устроиться где-нибудь в гараже. Мне больше ничего не надо. И еще подыскать бы себе старый фордик. Выкрашу его желтой краской и буду везде разъезжать. Видел тут хорошенькую девочку. Перемигнулся с ней. Хорошенькая, просто картинка!

Отец строго сказал:

— Ты сначала устройся на работу, а потом уж повесничай.

Дядя Джон вышел из уборной и медленно зашагал к палатке. Мать взглянула на него и нахмурилась.

— Ты не помылся...— начала она и вдруг увидела, что он совсем больной, слабый, грустный.— Пойди в палатку, полежи там,— сказала она.— Ты нездоров.

Дядя Джон покачал головой.

— Нет,— сказал он.— Я согрешил, а это наказание за мои грехи.— Он присел на корточки и налил себе кружку кофе.

Мать сняла со сковороды последние лепешки. Она сказала небрежным тоном:

— Заходил управляющий лагерем, посидел немного, выпил кофе.

Отец медленно поднял на нее глаза:

— А что ему здесь понадобилось?

— Просто так, пришел поговорить,— жеманно сказала мать.— Посидел немножко, выпил кофе. Говорит, как вкусно пахнет, такой кофе не часто приходится пить.

— А что ему нужно было? — допытывался отец.

— Ничего не нужно. Пришел узнать, как мы устроились.

— Что-то не верится,— сказал отец.— Должно быть, явился все вынюхать, выведать.

— Неправда! — сердито крикнула мать.— Я сразу разберу, кто за этим приходит.

Отец выплеснул кофейную гущу из кружки.

— Ты брось эту привычку,— сказала мать.— Смотри, какая здесь чистота.

— Пожалуй, такую чистоту наведут, что и жить нельзя будет,— проворчал отец.— Кончай, Эл. Поедем искать работу.

Эл вытер рот ладонью.

— Я готов,— сказал он.

Отец повернулся к дяде Джону:

— Ты поедешь?

— Поеду.

— Тебе нездоровится.

— Нездоровится, но все равно поеду.

Эл залез в кабину.

— Надо взять горючего.— Он завел мотор. Отец и дядя Джон сели рядом с ним, и грузовик покатился по широкому проходу между палатками.

Мать проводила их глазами, потом взяла ведро и пошла с ним к прачечной. Она налила горячей воды и вернулась обратно. И когда Роза Сарона подошла к палатке, мать уже мыла посуду в ведре.

— Вон твой завтрак, на тарелке,— сказала мать и пристально посмотрела на Розу Сарона. Волосы у Розы были мокрые и гладко причесанные, лицо чистое, розовое. Она была в платье — белые цветочки по синему полю. На ногах туфли на высоких каблуках, купленные еще к свадьбе. Она покраснела, увидев, что мать смотрит на нее.

— Ты помылась? — спросила мать.

Роза Сарона заговорила с хрипотцой в голосе:

— Я там стою, вдруг приходит какая-то женщина, стала мыться. Знаешь, как это надо делать? Зайдешь в такое помещение, вроде маленького стойла, повернешь кран, там их два, польется вода, какая хочешь — горячая, холодная... Я тоже так сделала.

— И я сейчас пойду! — крикнула мать.— Вот уберусь и пойду. Ты мне покажешь, как надо делать.

— Я каждый день буду мыться,— продолжала Роза Сарона.— А эта женщина... она посмотрела на меня, увидела, что я беременная, и знаешь, что сказала? Сказала, что сюда каждую неделю приходит няня. Я обязательно к ней схожу, пусть расскажет мне, что надо делать, чтобы ребенок был здоровый. К ней все женщины ходят. И я тоже пойду.— Она просто захлебывалась.— И знаешь, еще что? На прошлой неделе здесь одна родила, и весь лагерь это праздновал, нанесли маленькому подарков — белья и... и даже колясочку плетеную. Она, правда, не новая, но ее покрасили розовой краской, и стала будто только что из магазина. Дали ребеночку имя, торт спекли. О господи! — И, вздохнув всей грудью, она умолкла.

Мать воскликнула:

— Слава господу, наконец-то мы среди своих людей, как дома! Сейчас пойду помоюсь.

— Иди, там хорошо,— сказала Роза Сарона.

Мать вытирала оловянные тарелки, ставила их одну на другую и говорила:

— Мы Джоуды. Мы ни перед кем на задних лапках не ходили. Дед нашего деда сражался во время революции. Мы были фермерами, пока не задолжали банку. А те... те люди, они что-то сделали с нами. Мне каждый раз казалось, будто они бьют меня... и всех нас. А полисмен в Нидлсе... Я тогда озлобилась, меня будто подменили. Мне самой себя стало стыдно. А теперь я ничего не стыжусь. Здешний народ — это наш народ... наш. Управляющий... пришел запросто, посидел, выпил кофе... Через слово — «миссис Джоуд», «миссис Джоуд», «Ну, как у вас дела, миссис Джоуд?», «Как вы устроились, миссис Джоуд?» — Она умолкла и вздохнула.— Я себя опять человеком почувствовала.— Она вытерла последнюю тарелку. Потом прошла под навес и вынула из ящика свои туфли и чистое платье, нашла там же бумажный пакетик с серьгами. Уходя, она бросила Розе Сарона: — Если придет комиссия, попроси подождать, я скоро вернусь,— и скрылась за углом санитарного корпуса.

Роза Сарона тяжело опустилась на ящик и посмотрела на свои свадебные туфли — лакированные лодочки с маленькими бантиками. Она протерла носки пальцем и вытерла его об изнанку подола. Нагибаясь, она почувствовала свой живот, а когда выпрямилась, потрогала его и чуть улыбнулась.

По дороге к прачечной шла высокая, крупная женщина с ящиком из-под яблок, в котором лежало грязное белье. Лицо у нее было темное от загара, взгляд черных глаз пристальный, напря-

женный. Поверх бумажного платья на ней был широкий фартук из мешковины, на ногах мужские полуботинки. Она увидела, как Роза Сарона погладила себе живот, увидела ее легкую улыбку.

— Ну! — крикнула она и громко засмеялась.— Кто же будет?

Роза Сарона вспыхнула и потупилась, потом посмотрела на женщину исподлобья и поймала на себе шарящий взгляд ее черных глаз.

— Я не знаю,— пробормотала она.

Женщина опустила ящик на землю.

— Распирает он тебя? — спросила она и засмеялась, закудахтала, точно клушка.— Кого же ты все-таки хочешь?

— Я не знаю... мальчика. Мальчик лучше.

— Вы недавно приехали?

— Ночью... совсем поздно.

— Останетесь здесь?

— Не знаю. Если найдем работу, наверно, останемся.

По лицу женщины пробежала тень, ее маленькие черные глазки свирепо вспыхнули.

— Если достанете работу. Так мы все говорим.

— Мой брат сегодня уже устроился.

— Вот оно что! Ну, может, вы счастливые. Только не надейтесь на свое счастье. Ему доверять нельзя.— Женщина подошла к Розе Сарона вплотную.— Счастья только в одном ищи. Другого тебе не надо. Будь скромной,— с жаром говорила она.— Блюди себя. Содеешь грех — тогда смотри, как бы с ребенком чего не случилось.— Она присела на корточки перед Розой Сарона и злобно продолжала: — Страшные дела творятся в этом лагере. Каждую субботу по вечерам танцы, и не только кадриль танцуют, нет. Некоторые в обнимку, парочками! Я сама видела.

Роза Сарона осторожно проговорила:

— Я люблю танцы... кадриль,— и добавила добродетельным тоном: — А по-другому никогда не танцевала.

Загорелая женщина сокрушенно покачала головой.

— А вот некоторые танцуют. Но господь этого не простит, нет. И не думай.

— Я и не думаю, мэм,— тихо сказала Роза Сарона.

Женщина положила коричневую морщинистую руку ей на колено, и Роза Сарона вздрогнула от этого прикосновения.

— Ты послушай доброго совета. Кто во Христе живет, таких теперь мало осталось. В субботу вечером надо бы петь гимны, а их оркестр такое заводит... и все под него кружатся, вертятся... Да, да! Я видела издали. Я туда близко и сама не подхожу, и своим не позволяю. Танцуют в обнимку, парочками.— Она выразительно помолчала и потом заговорила снова, понижая голос до хриплого

шепота: — Мало того. Тут и пьесу представляли.— Она откинулась назад и наклонила голову набок, чтобы посмотреть, как Роза Сарона воспримет это поразительное сообщение.

— Артисты? — спросила та с трепетом.

— Какие артисты! — крикнула женщина.— У артистов души давно прокляты. Свои же люди. Здешние. И несмышленых ребят в это дело втянули, заставили их ломаться, корчить из себя бог знает кого. Я туда и близко не подходила. Только слышала, как они судачат об этом. В тот вечер по нашему лагерю дьявол разгуливал.

Роза Сарона слушала разинув рот, широко открыв глаза.

— У нас в школе раз тоже представляли про Христа-младенца... на рождество.

— Ну, я не говорю, плохо это или хорошо. Многие порядочные люди считают, что про Христа-младенца можно. Я этого так прямо не скажу, не знаю. Но ведь тут никакого Христа-младенца не было. Тут грех, обман, дьявольское наваждение. Кривляются, говорят не своими голосами, представляют бог знает кого. И танцуют в обнимку, парочками.

Роза Сарона вздохнула.

— И ведь таких не двое, не трое, а много,— продолжала женщина.— В ком осталось истинное благочестие, тех можно теперь по пальцам перечесть. Только ты не думай, что этим грешникам так все и простится. Нет! Господь бог записывает их грехи, а потом подведет черту и сложит все. Господь — он за всеми следит, и я тоже слежу. Он двоих уже поразил.

Роза Сарона еле выговорила:

— Поразил?

Голос загорелой женщины стал еще жарче, еще неистовее.

— Я сама видела. Была здесь одна молоденькая, ждала ребенка, так же как ты. Она и в пьесе кривлялась, и танцевала в обнимку. А потом,— мрачным, зловещим шепотом,— потом начала худеть, сохнуть, кожа да кости... и выкинула... мертвого.

— Ой! — Роза Сарона побледнела.

— Да, мертвого. С ней после этого никто слова не сказал. Пришлось ей уехать отсюда. Когда живешь среди грешников, грех к тебе так и липнет, милочка. И другая так же себя вела. Высохла — кожа да кости, а потом, знаешь, что было? Вдруг пропала — нет ее. Через два дня является. Говорит, ездила к знакомым. А живота как не бывало. И знаешь, что я думаю? Ее, наверно, управляющий свез куда-то, там она и опросталась. Он грехов не признает. Сам мне так сказал. Говорит, грех — это когда люди голодают, холодают, потому что в этом божьей руки не чувствуешь. Я сама от него слышала. Говорит, эти обе девушки потому так

отощали, что есть было нечего. Ну, я его отчитала как следует.— Женщина поднялась и сделала шаг назад. Глаза у нее горели. Она ткнула указательным пальцем почти в самое лицо Розы Сарона.— Я ему говорю: «Отыди, сатана!» Говорю: «Я знала, что у нас в лагере дьявол бесчинствует. Теперь я вижу, кто он, этот дьявол. Отыди, говорю, сатана!» И он попятился, честное слово попятился! Задрожал весь, заюлил. Говорит: «Прошу вас, прошу! Не причиняйте вы людям горя». Я говорю: «Горе? А что вы скажете про их души? А что вы скажете про мертвых младенцев, про тех двух грешниц, что погубили себя вашими театрами?» Он только посмотрел на меня, скривил губы, будто улыбнулся, и ушел. Понял, с кем дело имеет. Я ему говорю: «Я господу богу помогаю, слежу за тем, что здесь творится. Рука божия никого не минует — ни вас, ни прочих грешников».— Женщина подняла ящик с грязным бельем.— Берегись. Я тебя предупредила. Помни, что у тебя младенец во чреве, сторонись греха.— Она величественно зашагала прочь, и в глазах ее горел огонь добродетели.

Роза Сарона проводила ее взглядом, уткнулась лицом в ладони и заплакала. Чей-то тихий голос окликнул ее. Она подняла голову, пристыженная. Перед ней стоял управляющий — маленький человечек, одетый во все белое.

— Вы не огорчайтесь,— сказал он.— Не надо огорчаться.

Роза Сарона залилась слезами.

— Я тоже так делала,— сказала она.— Я танцевала в обнимку. Я только ей не призналась. Мы в Саллисо так танцевали. С Конни.

— Не огорчайтесь,— повторил он.

— Она говорит, я выкину.

— Я знаю, что она говорит. Я за ней послеживаю. Она неплохая женщина, только от нее людям одно горе.

Роза Сарона громко шмыгнула носом.

— Она говорит, здесь, в лагере, две женщины выкинули.

Управляющий присел перед ней на корточки.

— Постойте,— начал он.— Послушайте, что я вам скажу. Я знаю этих женщин. У них это было от голода, от усталости. И от тяжелой работы. И оттого, что они ехали на грузовике по тряской дороге. У них здоровье было плохое. Вины за ними никакой нет.

— А она говорит...

— Вы не огорчайтесь. От этой женщины людям только одно расстройство.

— ...она говорит, вы — дьявол.

— Знаю. Это потому, что я не позволяю ей огорчать людей.— Он погладил Розу Сарона по плечу.— Вы не горюйте. Ее не надо слушать.— Он встал и быстро ушел.

Роза Сарона долго смотрела ему вслед; его худые плечи подергивались в такт шагам. Она все еще провожала глазами его легкую фигуру, когда к палатке подошла мать — чистая, розовая, с мокрыми волосами, закрученными на затылке узлом. На ней было цветастое платье и старые, потрескавшиеся туфли, а в ушах болтались серьги.

— Помылась,— сказала она.— Стою под душем, теплая вода так и льется, так и бежит. Там была одна женщина, и она говорит, если хочешь, хоть каждый день мойся. Комиссия еще не приходила?

— Нет,— ответила Роза Сарона.

— А ты так и сидишь, ничего не сделала! — Мать сама подхватила тарелки.— Надо тут навести порядок. Живей поворачивайся! Возьми мешок, подмети им тут немножко.— Она собрала посуду, сложила все в ящик, а ящик задвинула под навес.— Убери постели,— командовала она.— Как хорошо под душем! В жизни такого удовольствия не испытывала.

Роза Сарона машинально повиновалась ей.

— Как ты думаешь, Конни придет сегодня?

— Может, придет... может, нет. Трудно сказать.

— А он знает, где нас найти?

— Конечно, знает.

— Ма... а может, его убили там, когда поджигали лагерь?

— Такого не убьют,— уверенно сказала мать.— Он, если захочет, куда угодно доберется — пронырливый, хитрый.

— Скорей бы он пришел.

— Когда придет, тогда и придет.

— Ма...

— Ты бы лучше делом занялась.

— Как ты думаешь, танцевать и представлять в театре — грех? Я не выкину из-за этого?

Мать бросила уборку и подбоченилась.

— Это еще что за разговоры? Ты в театрах никогда не представляла.

— А здесь некоторые представляют, и одна женщина выкинула... мертвого... в наказание за грехи.

Мать смотрела на нее во все глаза:

— Кто это тебе такого наговорил?

— Одна женщина. А этот маленький, в белом костюме, говорит, что она не потому выкинула мертвого.

Мать нахмурилась.

— Роза,— сказала она,— перестань ты себя терзать. Тебе, наверно, захотелось поплакать. Что с тобой стало, просто не знаю. У нас в семье таких никогда не было. Мы горе с сухими глазами

встречали. Это Конни тебя испортил. Он всегда выше головы хотел прыгнуть.— И она строго добавила: — Роза, ты не одна, кроме тебя, много других людей. Найди свое место среди них. Я знаю, есть такие, которые до того со своими грехами носятся, что под конец бог знает что о себе возомнят.

— Да ведь...

— Нет, довольно. Принимайся за работу. Не такая ты важная птица, не такая ты грешница, чтобы бог из-за тебя очень беспокоился. А если не перестанешь мучиться понапрасну, получишь от меня как следует.— Мать смела золу в ямку и обмахнула камни, положенные по ее краям. Она увидела комиссию, шествующую по дороге.— Делай что-нибудь. Вон идет комиссия. Делай что-нибудь, я погоржусь, какая у меня дочка.— Мать больше не смотрела на дорогу, но чувствовала, что комиссия приближается.

В том, что это шли члены комиссии, не могло быть никаких сомнений. Три женщины — чистенькие, одетые по-праздничному; одна худощавая, с прямыми, коротко подстриженными волосами, в железных очках; вторая — толстенькая коротышка, седая, кудрявая, с маленьким ротиком; а третья — великанша, грудастая, широкозадая, как ломовая лошадь, вида властного и уверенного. Комиссия шагала по дороге, полная чувства собственного достоинства.

Когда они подошли, мать стояла к ним спиной. Они остановились, сделали поворот направо и выстроились в ряд. И великанша прогудела:

— Миссис Джоуд? Здравствуйте.

Мать круто повернулась, будто застигнутая врасплох:

— Да... да. Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Мы — комиссия,— ответила великанша.— Женская комиссия санитарного корпуса номер четыре. Нам сообщили вашу фамилию в конторе.

Мать засуетилась:

— Мы еще не прибрались как следует. Вы посидите, пожалуйста, а я приготовлю кофе и угощу вас — для меня это большая честь.

Толстушка сказала:

— Джесси, представьте нас. Скажите миссис Джоуд, как нас зовут. Джесси — председательница,— пояснила она.

Джесси проговорила официальным тоном:

— Миссис Джоуд, это — Энни Литлфилд и Элла Саммерс, а я — Джесси Буллит.

— Очень рада познакомиться, для меня это большая честь,— сказала мать.— Вы, может, присядете? Хотя сидеть-то не на чем,— спохватилась она.— Сейчас я приготовлю кофе.

— Нет, нет,— церемонно сказала Энни.— Не беспокойтесь. Мы зашли посмотреть, как вы тут устроились. Хотим, чтобы вы чувствовали себя как дома.

Джесси Буллит строго остановила ее:

— Энни, не забывайте, пожалуйста, что председательница — я.

— Хорошо, хорошо. Но на следующей неделе я буду председательницей.

— Вот и ждите следующей недели. Мы меняемся,— пояснила она матери.

— Может, вы все-таки выпьете кофе? — растерянно спросила мать.

— Нет, благодарю вас.— Джесси взяла власть в свои руки.— Мы сначала покажем вам санитарный корпус, а потом, если хотите, запишем вас в женский клуб, поручим какую-нибудь работу. Конечно, это ваша добрая воля — записываться не обязательно.

— А за это... за это надо платить?

— Платить ничего не надо — надо работать. А когда вас здесь узнают поближе, тогда, может, и в комиссию выберут,— перебила ее Энни.— Вот, например, Джесси — она член не только нашей комиссии. Она входит и в главную.

Джесси горделиво улыбнулась.

— Избрана единогласно,— сказала она.— Ну-с, миссис Джоуд, теперь мы вам расскажем, какие у нас порядки в лагере.

Мать сказала:

— А это моя дочка, Роза Сарона.

— Здравствуйте,— сказали они.

— Пойдемте и вы с нами.

В голосе Джесси звучало достоинство и благодушие. Ее речь была затвержена давным-давно.

— Вы не думайте, миссис Джоуд, что мы суем нос в ваши дела. У нас в лагере есть много мест, которыми пользуются все. И мы установили кое-какие правила. Сейчас мы зайдем в санитарный корпус. Здесь все бывают, и все обязаны поддерживать в нем чистоту.— Они подошли к той части корпуса, где помещались лохани для стирки — числом двадцать. Восемь были заняты; женщины стирали в них белье и складывали отжатые вещи кучками на чистом цементном полу.— Вы можете прийти сюда когда угодно,— сказала Джесси.— Единственное, что от вас требуется, это прибрать за собой.

Женщины, занятые стиркой, с любопытством смотрели на них. Джесси громко сказала:

— Это миссис Джоуд и Роза. Они будут жить у нас.

Все хором поздоровались, а мать чуть присела и кивнула им со словами:

— Очень рада познакомиться, для меня это большая честь.

Джесси проследовала во главе комиссии в уборную и душевую.

— Я здесь уже была,— сказала мать.— И даже помылась под душем.

— Для этого души и сделаны,— сказала Джесси.— Тут те же правила: надо за собой прибрать. Каждую неделю назначается новое дежурство, дежурные раз в день все моют. Может, и вы будете дежурить. Надо приносить свое мыло.

— Придется купить,— сказала мать.— У нас все вышло.

В голосе Джесси послышались благоговейные нотки.

— А этим вы пользовались? — спросила она, показывая на уборные.

— Да, мэм. Сегодня утром.

Джесси вздохнула:

— Что ж, хорошо.

— На прошлой неделе...— начала Элла Саммерс.

Джесси строго осадила ее:

— Миссис Саммерс, об этом расскажу я.

Элла сдалась:

— Хорошо, хорошо.

Джесси продолжала:

— На прошлой неделе рассказывали вы, как председательница. А теперь я попрошу вас помолчать.

— Хорошо, расскажите сами про эту женщину,— согласилась Элла.

— Собственно говоря,— начала Джесси,— наша комиссия не должна сплетничать, но я не буду называть имен. На прошлой неделе сюда зашла одна женщина из только что приехавших; комиссия с ней еще не успела побеседовать. Приходит она сюда, кладет брюки мужа в унитаз и говорит: «Что-то уж очень низко да тесно. В три погибели гнешься. Неужели не могли сделать повыше?»

Члены комиссии высокомерно улыбнулись.

Элла опять перебила ее:

— Говорит: «Сюда сразу много не войдет».— И Элла, не сморгнув, выдержала строгий взгляд Джесси.

Джесси сказала:

— Из-за туалетной бумаги у нас постоянные неприятности. Выносить ее отсюда не разрешается — такое правило.— Она громко прищелкнула языком.— Деньги на туалетную бумагу мы собираем со всего лагеря.— Пауза... Потом: — Корпус номер четы-

ре изводит бумаги больше всех. Наверно, ее кто-то ворует. Об этом говорили на общем собрании: «В женской уборной корпуса номер четыре изводят слишком много бумаги». Так и было сказано, при всех!

Мать слушала их, затаив дыхание:

— Воруют? А зачем?

— Такие неприятности бывали и раньше,— продолжала Джесси.— Последний раз выяснилось, что три девочки вырезают из нее бумажных кукол. Девочек поймали. Но куда бумага девается теперь — неизвестно. Не успеешь повесить рулон, и уж ничего нет. Об этом говорилось на собрании. Одна женщина предложила провести звонок, чтобы он каждый раз звонил, когда рулон поворачивается. Тогда можно было бы уследить, кто сколько изводит.— Она покачала головой.— Просто не знаю, как быть. Я об этом всю неделю думаю. В корпусе номер четыре кто-то ворует бумагу.

Позади раздался жалобный голос:

— Миссис Буллит.— Члены комиссии обернулись.— Миссис Буллит, я слышала, что вы говорили.— В дверях стояла женщина, вся красная, потная.— Миссис Буллит, на собрании у меня духу не хватило признаться. Ну просто духу не хватило. Засмеяли бы.

— О чем это вы? — Джесси двинулась на нее.

— Может... может, это наша вина... Только мы не воруем, миссис Буллит.

Джесси подходила все ближе и ближе, и на лице у кающейся грешницы пот выступил теперь крупными каплями.

— Что я могу поделать, миссис Буллит?

— Объясните толком, в чем дело,— сказала Джесси.— Наш корпус опозорился из-за туалетной бумаги.

— Это тянется уже целую неделю, миссис Буллит. Но что поделаешь? Вы знаете, ведь у меня пять дочерей.

— Что же они делают с бумагой? — грозно спросила Джесси.

— Пользуются ею, больше ничего. Честное слово, больше ничего.

— Как же они смеют? Четырех-пяти бумажек вполне достаточно. Что с ними такое?

Женщина промямлила:

— Понос. У всех пятерых. Мы сидим без денег. Они наелись незрелого винограда. Каждые десять минут бегают.— И, стараясь хоть как-то выгородить своих девочек, добавила: — Они не воруют бумагу.

Джесси вздохнула:

— Почему же вы раньше этого не сказали? Надо было сказать. Из-за вас корпус номер четыре опозорился. А поносом каждый может заболеть.

Жалобный голос тянул свое:

— Едят незрелый виноград, никак их не остановишь. Понос день ото дня все сильнее и сильнее.

Элла Саммерс выпалила:

— Медицинский пункт. Ей надо обратиться на медицинский пункт!

— Элла Саммерс! — сказала Джесси.— Я вам последний раз говорю: не вы председательница.— Она снова повернулась к багровой от смущения женщине: — У вас нет денег, миссис Джойс?

Та потупилась:

— Да. Но мы скоро найдем работу.

— Напрасно вы так смутились,— сказала Джесси.— Это не преступление. Вы сбегайте в лавку и возьмите себе провизии. Лагерь имеет там кредит на двадцать долларов. Можете забрать на пять. А когда получите работу, вернете свой долг Главной комиссии. Вам это было известно, миссис Джойс,— строго добавила она.— Как же вы довели до того, что ваши дочки голодают?

— Мы благотворительностью никогда не пользовались,— ответила миссис Джойс.

— Вы прекрасно знаете, что это не благотворительность,— вознегодовала Джесси.— У нас не первый раз заходит такой разговор. В нашем лагере благотворительности нет. Мы этого не потерпим. Значит, сбегайте в лавку и возьмите там провизии, а талон принесите мне.

Миссис Джойс робко спросила:

— А если мы не сможем выплатить? У нас давно нет работы.

— Сможете выплатить — хорошо. А нет — это ни нас, ни вас пусть не беспокоит. Один человек уехал из лагеря, а через два месяца прислал деньги. Вы не имеете права допускать, чтобы ваши девочки голодали у нас в лагере.

Миссис Джойс испуганно смотрела на нее.

— Слушаю, мэм,— сказала она.

— Возьмите в лавке сыру для своих девочек,— командовала Джесси.— Это хорошо от поноса.

— Слушаю, мэм.— И миссис Джойс шмыгнула за дверь.

Разгневанная Джесси повернулась к своим товаркам.

— Она не имеет права так зазнаваться. Она живет среди своих.

Энни Литлфилд сказала:

— Она здесь недавно. Может, просто не знала. Может, ей раньше приходилось пользоваться благотворительностью. И, пожалуйста, не затыкайте мне рот, Джесси. Я имею право гово-

рить.— Она стала вполоборота к матери.— Если человек испытал на себе, что такое благотворительность, это останется на нем на всю жизнь, как клеймо. Нашу помощь не назовешь благотворительностью, и все-таки ее никогда не забудешь. Джесси, наверно, не пришлось испытать это на себе?

— Нет,— ответила Джесси.

— А мне пришлось,— продолжала Энни.— Той зимой. Мы голодали, и я, и мой муж, и дети. А тогда заладили дожди. Нам кто-то посоветовал обратиться в Армию спасения.— Глаза у нее вспыхнули.— Мы голодали... а они заставили нас пресмыкаться из-за их обеда. Они принизили нас. Они... Ненавижу их! Может, и миссис Джойс приходилось когда-нибудь пользоваться благотворительностью. Может, она не знала, что у нас здесь по-другому. В нашем лагере, миссис Джоуд, мы никому не позволим жить благодеяниями. В нашем лагере не разрешается помогать самим. Если у тебя есть лишнее, отдай в комиссию, она распределит, кому нужно. А благотворительности мы не допустим...— Голос у Энни срывался от злобы.— Ненавижу их,— повторила она.— Я никогда не видала своего мужа приниженным, а эти... эти из Армии спасения принизили его.

Джесси кивнула.

— Я это знаю,— тихо сказала она.— Я знаю, мне говорили. Ну, давайте поведем миссис Джоуд дальше.

Мать сказала:

— Хорошо здесь.

— Пойдемте в швейную,— предложила Энни.— У них две машинки. Наши женщины и одеяла стегают, и платья шьют. Вам, наверно, захочется там поработать.

Как только к матери пришла комиссия, Руфь и Уинфилд немедленно испарились.

— Может, лучше пойти с ними, послушать, что они будут говорить? — предложил Уинфилд.

Руфь схватила его за руку.

— Ну уж нет,— сказала она.— Нас из-за этих сволочей вымыли. Я с ними не пойду.

Уинфилд сказал:

— Ты на меня наябедничала про уборную. А я наябедничаю, как ты их обозвала.

В глазах Руфи мелькнул испуг.

— Нет, не надо. Я знала, что ты ее не сломал, потому и наябедничала.

— Ничего ты не знала,— буркнул Уинфилд.

Руфь сказала:

— Давай посмотрим, что тут делается.— Они пошли, смущенно озираясь по сторонам, заглядывая в каждую палатку. В конце прохода на ровном месте была расчищена площадка для крокета. Играли дети — человек пять-шесть — серьезные, молчаливые. На скамеечке у крайней палатки сидела наблюдавшая за ними пожилая женщина. Руфь и Уинфилд пустились рысцой.

— Примите нас,— крикнула Руфь.— Мы тоже будем играть.

Дети посмотрели на нее. Девочка с тоненькими, похожими на крысиные хвостики, косичками сказала:

— В следующую партию.

— А я хочу сейчас,— крикнула Руфь.

— Сейчас нельзя, а в следующую партию примем.

Руфь грозно ступила на площадку.

— Нет, сейчас.— Крысиные хвостики крепко вцепились в молоток. Руфь подскочила к ней, ударила, оттолкнула ее и завладела молотком.— Сказала, что буду играть, значит, буду,— торжествующе заявила она.

Пожилая женщина встала и подошла к площадке. Руфь свирепо покосилась на нее и стиснула молоток обеими руками. Женщина сказала:

— Оставьте, пусть играет, как Ральф на прошлой неделе.

Дети побросали молотки и молча ушли с площадки. Они стали в отдалении, глядя на Руфь бесстрастными глазами. Руфь проводила их взглядом. Потом ударила молотком по шару и побежала за ним.

— Уинфилд, давай! Возьми себе палку,— крикнула она и с удивлением оглянулась назад. Уинфилд присоединился к стоявшим в стороне детям и смотрел на нее такими же бесстрастными глазами. Руфь с вызывающим видом снова ударила по шару. На площадке поднялась пыль. Руфь притворялась, что ей очень весело. А дети стояли все там же и смотрели на нее. Руфь поставила рядом два шара и ударила сразу по обоим, потом повернулась к детям и вдруг пошла на них, держа в руке молоток.— Идите играть,— скомандовала она. Дети молча попятились назад. Минуту Руфь смотрела на них, потом бросила молоток и с плачем побежала к себе домой. Дети вернулись на площадку.

Крысиные хвостики крикнули Уинфилду:

— В следующую партию тебя примем.

Пожилая женщина сказала:

— Если она придет и будет хорошо себя вести, пусть играет. Ты, Эмма, сама была такая же.

Игра началась снова, а Руфь лежала в палатке и горько плакала.

Грузовик ехал по красивым дорогам, мимо фруктовых садов, где уже розовели персики, мимо виноградников, где чуть зеленели крупные виноградные гроздья, ехал под ореховыми деревьями, протягивавшими свои ветки до середины дороги. У въезда в каждый сад, в каждый виноградник Эл тормозил, и у каждого въезда их встречало объявление: «Рабочие не требуются. Вход запрещен».

Эл сказал:

— Когда фрукты созреют, работа здесь должна быть. Чудно́! Ты еще и спросить не успел, а тебе уже заявляют: работы нет.— Он вел грузовик медленно.

Отец сказал:

— А что, если все-таки зайти спросить? Может, они знают, где есть работа? Давайте попробуем.

Вдоль дороги шел человек в синем комбинезоне и синей рубашке. Эл поравнялся с ним и остановил машину.

— Послушайте, мистер,— сказал он.— Может, знаете, где тут есть работа?

Человек остановился и с усмешкой посмотрел на Эла; во рту у него не хватало одного зуба.

— Нет,— сказал он.— Может, вы знаете? Я уже целую неделю рыскаю, ничего не нашел.

— Вы откуда, из правительственного лагеря? — спросил Эл.

— Да.

— Тогда залезайте, садитесь. Поищем вместе.

Человек взобрался на грузовик по заднему борту и спрыгнул на платформу.

Отец сказал:

— Что-то мне чудится, что ничего нам не найти. Но поискать все-таки надо. А где искать, и сами не знаем.

— Не мешало бы в лагере кое-кого порасспросить,— сказал Эл.— Ну как, дядя Джон, получше тебе?

— Все болит,— ответил дядя Джон.— Живого места во мне нет, а дальше еще хуже будет. Надо уходить, я вам несчастье приношу.

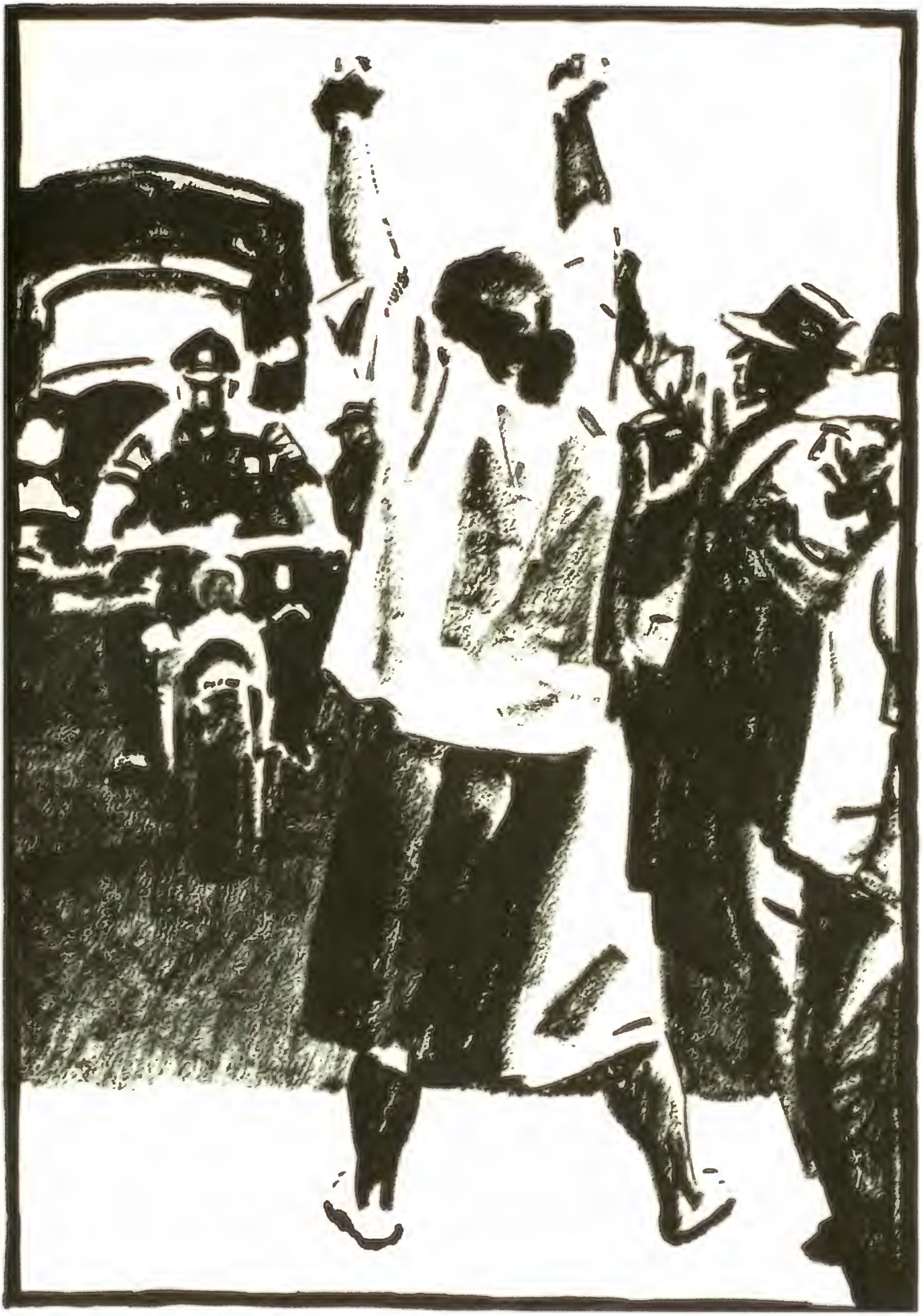
Отец положил руку ему на колено.

— Слушай,— сказал он,— не уходи. У нас и так большой урон: дед и бабка померли, Ной и Конни сбежали, проповедник сел в тюрьму.

— Чудится мне, что мы этого проповедника еще увидим,— сказал Джон.

Эл потрогал яблочко на рычаге.

— Ты болен, вот тебе и чудится всякое,— сказал он.— Да что в самом деле! Поехали назад, поговорим с людьми, узнаем, где есть



«Гроздья гнева»

работа. А то все равно что с завязанными глазами крыс ловить.— Он остановил грузовик, высунулся из кабины и крикнул: — Слушайте, мистер! Мы едем назад в лагерь, там спросим насчет работы. Что зря бензин жечь!

Их пассажир нагнулся над бортом.

— Не возражаю,— сказал он.— Я свои ходули по самые щиколотки стер. И во рту со вчерашнего дня ни крошки не было.

Эл развернулся посреди дороги и поехал назад.

Отец сказал:

— Мать огорчится, ведь Том сразу устроился на работу.

— Может, он и не устроился,— сказал Эл.— Может, так же вот ищет. Мне бы куда-нибудь в гараж. Я это дело люблю — быстро научусь.

Отец хмыкнул, и до самого лагеря они ехали молча.

Когда комиссия ушла, мать села на ящик у палатки и растерянно взглянула на Розу Сарона.

— Да,— сказала она.— Да... давно я себя так не чувствовала. А какие они обходительные.

— Я буду работать в детской компате,— сказала Роза Сарона.— Они мне предлагали. Присмотрюсь, как за детьми ходят, буду все знать.

Мать задумчиво покачала головой.

— Вот бы хорошо, если б наши получили работу,— сказала она.— Будут работать, будут хоть немного денег домой приносить.— Ее глаза смотрели куда-то вдаль.— Они будут работать на стороне, а мы здесь. Народ кругом хороший. Вот оправимся немного, куплю печку — это прежде всего. Они недорогие. Потом купим настоящую палатку — большую, и подержанные пружинные матрацы. А под брезентом будем есть. По субботам здесь танцы. Говорят, туда и знакомых можно приглашать. Жалко, у нас здесь никого нет. Может, у мужчин приятели заведутся.

Роза Сарона посмотрела на дорогу.

— Эта женщина, которая говорила, что я выкину...

— Перестань,— осадила ее мать.

Роза Сарона тихо сказала:

— Я ее вижу. Она, кажется, сюда идет. Вон... Ма, не позволяй ей...

Мать обернулась и посмотрела на приближающуюся к ним женщину.

— Здравствуйте,— сказала та.— Меня зовут миссис Сэндри, Лизбет Сэндри. Я с вашей дочкой уже разговаривала.

— Здравствуйте,— сказала мать.

— Ликует ли душа ваша в господе?

— Ничего, ликует,— ответила мать.

— А вы приобщались к благодати?

— Приобщалась.— Взгляд у матери был холодный, настороженный.

— Вот и хорошо,— сказала Лизбет.— Грешники забрали здесь большую силу. Вы приехали в страшное место. Кругом нечестивость. Нечестивые люди, нечестивые деяния. Истинно верующим нет сил терпеть. Мы живем среди грешников.

Мать чуть покраснела и сжала губы.

— А по-моему, люди здесь хорошие,— сухо сказала она.

Миссис Сэндри вытаращила на нее глаза.

— Хорошие? — крикнула она.— Разве хорошие люди станут танцевать в обнимку? Говорю вам: в этом лагере душу не спасешь. Я была вчера на молитвенном собрании в Уидпетче. Знаете, что проповедник нам сказал? «Этот лагерь, говорит, сборище нечестивцев. Бедняки хотят жить как богатые люди. Им надо оплакивать свои прегрешения, а они танцуют в обнимку». И еще говорил: «Те, кто сейчас не с нами, те закоренелые грешники». Как приятно было слушать! Мы знали, что нам бояться нечего, потому что мы не танцуем.

Мать была вся красная. Она медленно встала и двинулась на миссис Сэндри.

— Уходи! — сказала она.— Уходи сию же минуту, пока я греха на душу не взяла — не послала тебя куда следует. Иди оплакивай свои прегрешения.

Миссис Сэндри разинула рот. Она попятилась и вдруг злобно крикнула:

— Я думала, вы верующие.

— Мы и есть верующие,— сказала мать.

— Нет, вы грешники, вам только в аду гореть. Я все расскажу на собрании. Я вижу, как ваши черные души горят в адском пламени. И невинный младенец у нее во чреве тоже горит.

С губ Розы Сарона раздался протяжный вопль. Мать нагнулась и подняла с земли палку.

— Уходи! — яростно повторила она.— И чтобы духу твоего здесь больше не было. Я таких, как ты, знаю. Вы норовите последнюю радость у человека отнять.— Мать надвигалась на нее.

Миссис Сэндри подалась назад и вдруг запрокинула голову и взвыла. Глаза у нее вылезли на лоб, плечи заходили ходуном, руки болтались вдоль тела, на губах выступила густая, тягучая слюна.

Она взвыла еще и еще раз, протяжным, нечеловеческим голосом. Из палаток выбежали люди и стали неподалеку, испуганные, притихшие. Женщина медленно опустилась на колени, и ее вопли перешли в прерывистые булькающие стоны. Она повалилась на бок, руки и ноги у нее судорожно задергались. Из-под открытых век сверкали белки закатившихся глаз.

Кто-то тихо сказал:

— Это благодать. На нее сошла благодать.

Мать стояла рядом, глядя на подергивающееся тело.

Управляющий не спеша подошел к ним.

— Что случилось? — спросил он. Толпа раздалась, пропуская его вперед. Он посмотрел на лежащую перед ним женщину.— Вот беда! Кто-нибудь помогите отнести ее в палатку.

Люди молчали и переминались с ноги на ногу. Потом двое мужчин шагнули вперед и подняли припадочную — один подхватил ее под мышки, другой зашел с ног. Толпа медленно двинулась за ними. Роза Сарона ушла в палатку и легла на матрац, закрывшись одеялом с головой.

Управляющий взглянул на мать, взглянул на палку, которую она держала в руках. Он устало улыбнулся.

— Вы побили ее? — спросил он.

Мать все еще смотрела на удаляющуюся толпу. Она медленно покачала головой.

— Нет... только собиралась. Она сегодня второй раз мою дочь пугает.

Управляющий сказал:

— Не надо... не бейте ее. Она больная.— И он тихо добавил: — Поскорее бы они уехали. От нее одной больше беспокойства, чем от всех других, вместе взятых.

Мать уже совладала с собой.

— Если она опять сюда явится, я ее побью. Я за себя не ручаюсь. Я не позволю ей пугать дочь.

— Не беспокойтесь, миссис Джоуд,— сказал он.— Вы ее больше не увидите. Она только новичков обрабатывает. Больше ей незачем сюда ходить. Она считает вас грешницей.

— Я и есть грешница,— сказала мать.

— Правильно. Все мы грешники, только не такие, как ей кажется. Она больная, миссис Джоуд.

Мать с благодарностью посмотрела на него и крикнула Розе Сарона:

— Ты слышишь, Роза? Она больная. Сумасшедшая.— Но Роза Сарона не подняла головы. Мать сказала: — Я вас предупредила, мистер. Если она придет еще раз, на меня полагаться нельзя. Я ее побью.

Управляющий криво улыбнулся.

— Я вас понимаю,— сказал он.— Но все-таки постарайтесь сдержать себя. Больше я вас ни о чем не прошу.— Он медленно зашагал к палатке, куда унесли миссис Сэндри.

Мать прошла под навес и села рядом с Розой Сарона.

— Слушай,— сказала она. Роза Сарона не двигалась. Мать осторожно откинула одеяло с ее головы.— Она сумасшедшая,— сказала мать.— Ты ей не верь.

Роза Сарона зашептала в ужасе:

— Она как сказала про ад... я так и почувствовала, будто у меня все горит внутри.

— Не может этого быть,— сказала мать.

— Я устала,— шепнула Роза Сарона.— Столько всего случилось за это время, я устала. Мне хочется спать, спать.

— Так спи. Здесь хорошо соснуть. Спи.

— А вдруг она придет?

— Не придет,— сказала мать.— Я сяду около палатки и близко ее не подпущу, если она покажется. Спи, тебе надо отдохнуть, ведь скоро пойдешь работать в детскую комнату.

Мать с трудом поднялась и вышла наружу. Она села на ящик, уперлась локтями в колени и опустила подбородок на сложенные чашечкой ладони. Она видела людей, ходивших по лагерю, слышала детские крики, слышала стук молотка по железу, но глаза ее смотрели куда-то далеко.

Подойдя к палатке, отец так и застал ее в этой позе и опустился на корточки рядом с ней. Мать медленно перевела на него глаза.

— Нашли работу? — спросила она.

— Нет,— сконфуженно ответил отец.— Мы везде искали.

— А где Эл и Джон, где грузовик?

— Эл затеял какую-то починку. Пришлось попросить инструменты. Велели там все сделать, на месте.

Мать грустно проговорила:

— Здесь хорошо. Здесь можно бы пожить, хоть недолго.

— Если найдем работу.

— Да. Если найдете работу.

Он почувствовал грусть в этих словах и пригляделся к ее лицу:

— Чего же ты приуныла? Сама говоришь, что здесь хорошо. Чего же унывать?

Она посмотрела на него и медленно закрыла глаза:

— Чудно́, правда? Сколько времени мы были в дороге, мыкались с места на место, и я ни разу не задумалась. Здешние люди хорошо меня приняли, очень хорошо. А что я теперь делаю? Вспо-

минаю все самое грустное: ту ночь, когда умер дед и мы его похоронили. У меня тогда одна дорога была в голове — целый день трясешься в машине, едешь все дальше, дальше... Я как-то всего и не почувствовала. А сейчас хуже, тяжелее. Бабка... Ной ушел. Взял да и ушел вниз по реке... Сижу и вспоминаю... Бабка умерла по-нищенски, и похоронили ее, как нищенку. Тяжело мне. Как ножом по сердцу. Ной ушел вниз по реке. Не знал, на что идет. Ничего не знал. И мы не знаем. И так и не будем знать, жив ли он, умер ли. И никогда не узнаем. Конни улизнул потихоньку. Мне раньше некогда было об этом думать, а сейчас мысли идут сами собой. А ведь надо бы радоваться, что попали в хорошее место.— Отец смотрел на ее медленно шевелившиеся губы. Она говорила, закрыв глаза: — Я помню, какие были горы у той реки, где Ной от нас ушел,— острые, точно искрошенные зубы. Помню, какая была трава там, где похоронили деда. Помню колоду на ферме — перо к ней пристало, вся изрубленная, черная от куриной крови.

Отец подхватил ей в тон:

— А я сегодня видел диких гусей. Высоко летели... на юг. Так красиво смотреть! Потом видел черных дроздов — сидят себе на изгороди. Голубей видел.— Мать открыла глаза и посмотрела на него. Он продолжал: — Еще видел маленький смерч, будто человек бежит через поле. А гуси летят клином, торопятся на юг.

Мать улыбнулась.

— Помнишь? Помнишь, как мы дома — увидим гусей и говорим: «Зима будет ранняя». А зима, когда ей время, тогда она и приходила. А мы все свое: «Зима будет ранняя». Почему, сама не знаю.

— А я видел черных дроздов на изгороди,— говорил отец.— Сидят себе рядышком. И голубей. Так спокойно, как голубь, ни одна птица не сидит... На изгороди... близко один к другому. А смерч поднялся высоко — и, будто человек, пляшет по полю. Я всегда любил на них смотреть. Высокий, в человеческий рост.

— Лучше и не вспоминать о доме,— сказала мать.— Теперь это не наш дом. Про дом лучше забыть. И про Ноя тоже лучше забыть.

— Он всегда был чудно́й... не чудной, а... да что там, моя вина.

— Сколько раз я тебе говорила — перестань. Он, может, и не выжил бы.

— Все-таки я виноват.

— Перестань,— повторила мать.— Ной — он не как все. Может, ему будет хорошо у реки. Может, так лучше. Нам нельзя

растравлять себе душу. Место здесь хорошее, а там, глядишь, и работа найдется.

Отец показал на небо:

— Смотри... опять гуси. Большой клин. Ма, а зима будет ранняя.

Она тихо засмеялась:

— Иной раз делаешь что-нибудь, говоришь, а почему, сама не знаешь.

— Вот и Джон,— сказал отец.— Иди, Джон, посиди с нами.

Дядя Джон подошел к ним. Он присел на корточки перед матерью.

— Ничего не добились,— сказал он.— Ни с чем назад приехали. Да! Тебя Эл зовет. Говорит, нужно менять покрышку. На старой всего один слой.

Отец встал:

— Хорошо бы купить подешевле. Денег совсем мало. Где он?

— Вон там, от угла направо. Он говорит, если покрышку не сменить, лопнет камера.— Отец зашагал вдоль палаток, а его глаза следили за громадным клином гусей, пролетавших в небе.

Дядя Джон поднял камешек с земли, скатил его с ладони и опять поднял. Он не смотрел на мать.

— Нет работы,— сказал он.

— Вы еще не все объездили.

— Объявления везде одинаковые.

— А Том, верно, работает. Он еще не возвращался.

Дядя Джон нерешительно проговорил:

— Может, он тоже ушел... как Ной или Конни.

Мать строго посмотрела на него, и взгляд ее тут же смягчился.

— Что знаешь, то знаешь,— сказала она.— Есть такое, в чем никогда не разуверишься. Том получил работу, и к вечеру он придет. Это как бог свят.— Она улыбнулась счастливой улыбкой.— Плохой у меня сын? — сказала она.— Можно мне жаловаться на такого сына?

В лагерь начинали съезжаться легковые машины, грузовики, и мужчины один за другим шли к санитарному корпусу. И каждый нес с собой чистый комбинезон и чистую рубашку.

Мать встрепенулась.

— Джон, пойди разыщи отца. Сходите в лавку. Надо взять бобов, мяса для жаркого... сахару, моркови. И скажи ему, пусть купит чего-нибудь вкусного — все равно чего, только повкуснее. Сегодня... у нас будет вкусный ужин.

ГЛАВА XXIII

Кочевники, метавшиеся из лагеря в лагерь с одной мыслью — лишь бы найти работу, лишь бы уцелеть, сохранить жизнь, в то же время не забывали и об удовольствиях и находили их, измышляли их сами, жадно тянулись ко всему, что может принести радость. Иной раз поразвлечься удавалось и беседой, а шутки скрашивали жизнь. И так уж повелось, что в придорожных лагерях, вдоль берегов речушек, под смоковницами всегда находился рассказчик, и люди собирались у затухающих костров послушать тех, кто был наделен даром увлекательно рассказывать. Они слушали, и их молчаливое внимание сообщало этим рассказам торжественность.

Я воевал против Джеронимо...

Люди слушали, и в их спокойных глазах отражался свет потухающего костра.

Индейцы—хитрый народ, юркие, как змеи; захочет — так тихо подкрадется, что и не услышишь. Ползет по сухим листьям, а они даже не зашуршат под ним. Попробуй-ка, у тебя так не получится.

Люди слушали и вспоминали, как шуршат под ногами сухие листья.

Наступила осень, все небо в тучах. Разве можно воевать в такое время? В армии всегда все делается шиворот-навыворот. Все козыри на руках, а толку мало. С какой-нибудь сотней индейцев разделаться — и то посылали три полка, не меньше.

Люди слушали, и лица у них были спокойные, задумчивые. Рассказчики заставляли слушать себя — ритм их речи был торжествен, слова торжественны, потому что этого требовал сам рассказ, и слушатели тоже проникались торжественностью.

Один индеец стал во весь рост на скале, против солнца. И ведь знал, что его отовсюду видно. Раскинул руки и стоит. Нагой, как утречко, а солнце бьет прямо в него. Может, в голове помутилось? Не знаю. Стоит там, руки раскинул в стороны, будто распятие. От нас до него ярдов четыреста. А солдаты... ну что ж, прицелились, лежат, послюнявят палец — пробуют, есть ли ветер; стрелять никому не хочется. Может, он неспроста так стоял. Знал, что мы не будем стрелять. Лежим — курки на взводе, а приклады на плечо не поднимаем. Смотрим на него. Головной убор, перо торчит в волосах. Нам все видно. А сам нагой, как солнышко. Долго мы так лежали, а он хоть бы шевельнулся. Наконец капитан осатанел, кричит: «Стреляйте, мерзавцы, стреляйте!» А мы лежим. «Считаю до пяти. Кто не будет стрелять, того

на заметку». Ну что ж... мы подняли винтовки, нехотя, медленно,— и каждый ждет, что кто-нибудь другой выстрелит первым. Мне в жизни так горько не было. Прицелился ему в живот — индейца только таким выстрелом и уложишь... Он рухнул как подкошенный и покатился вниз. Мы подошли. Видим, не такой уж он рослый... а на скале казался великаном. Живого места не осталось — каша. Видали когда-нибудь фазана? Гордый, красивый, перышко к перышку, будто разрисованные, глаза и те будто разрисованные. И бац — выстрел! Поднимаешь его... весь в крови... И чувствуешь: вот загубил то, что лучше тебя; ешь его, и все равно радости мало, потому что и в самом деле ты что-то загубил и никак этого не исправишь.

Слушатели кивали, а если пламя костра вспыхивало чуть ярче, оно озаряло их глаза, задумчивые, сосредоточенные.

Против солнца, а руки раскинуты. Казалось — большой, высокий... как бог.

А бывало и так, что кто-нибудь урывал от еды двадцать центов и шел в кино в Мэрисвилл, или Туларе, или Сириз, или Маунтин-Вью. И возвращался в придорожный лагерь, полный впечатлений. И рассказывал, что он видел.

Один молодчик был богатый, а прикинулся бедным, и девушка одна — тоже богатая, а выдала себя за бедную. Вот встретились они в кафетерии.

Зачем?

А я почем знаю, встретились и встретились.

Нет, зачем они прикидывались бедными?

Ну, надоело богатство, вот и прикидывались.

Чепуха!

Хочешь слушать или нет?

Ладно, ладно, давай дальше. Конечно, хочу. Только, будь у меня большие деньги, будь у меня большие деньги, я бы столько свиных отбивных накупил... завалился бы ими с головой, так, чтобы продух пришлось выгрызать. Ну, давай дальше.

Они считают друг дружку бедными. А потом их арестовали и посадили в тюрьму, а выходить на волю они не хотят, потому что каждый боится, как бы другой не узнал про его богатство. А надзиратель думает, что они бедные, и измывается над ними. Ты бы посмотрел на его рожу, когда он все узнал! Чуть удар его не хватил.

А за что их посадили?

Забрали на каком-то митинге. Они сами-то были тут ни при чем, так — случайно там оказались. А пожениться из-за денег ни он, ни она не хотели, в том вся и загвоздка.

Вот сукины дети, с самого начала друг дружку обманывали!

Так получалось, будто они по-хорошему все делали. И обращение у них со всеми ласковое.

А вот я раз видел картину — ну будто это все про меня. Будто моя жизнь, и не только моя, там как-то все было больше, сильнее.

С меня и своего горя хватит. Хочется хоть немножко забыться.

Да... только не веришь тому, что показывают.

А кончается так: они поженились и все друг про дружку узнали, и те, кто над ними измывался, те тоже все узнали. Один молодчик раньше и смотреть на них не хотел, а потом этот богач возьми да и приди к нему в цилиндре, так тот чуть замертво не свалился. А потом показывали хронику, как немецкие солдаты ноги в строю задирают,— вот смеху-то было.

А если находилось хоть немного денег, человек всегда мог выпить. Острые углы стирались, по всему телу разливалось тепло. Исчезало и чувство одиночества, потому что теперь было легко населить свое воображение друзьями, легко отыскать врагов и разделаться с ними. Он сидел у канавы, и ему чудилось, что земля стала мягкая. Неудачи не так терзали, будущее ничем не грозило. И голод не рыскал вокруг, и весь мир был легкий, ласковый, и человеку ничего не стоило одолеть начатый путь. Звезды были совсем близко, и небо ласковое. Смерть — это друг, а сон — брат смерти. Возвращалось прошлое: девушка со стройными ногами танцевала когда-то там, дома... давным-давно... Лошадь... Лошадь и седло. Кожа на седле тисненая. Когда это было? Надо разыскать какую-нибудь девушку, поговорить с ней. Поговорить по-хорошему. Может, и ночь вместе. А здесь тепло. Звезды совсем близко, и печаль и радость тоже так близко одна к другой, что и не отличишь. Хорошо бы остаться пьяным на всю жизнь. Кто говорит, что это плохо? Проповедники? Да ведь у них свое опьянение. Тощие, бесплодные женщины — да откуда им, несчастным, знать? Сторонники постепенных реформ — да они не умеют вгрызаться в жизнь, откуда им знать? Нет... звезды сейчас близкие, хорошие, и я породнился со всем миром. И все в мире свято — все, даже я.

Губную гармонику всегда можно иметь при себе. Вынул из заднего кармана, постучал о ладонь, чтобы вытряхнуть пыль, сор, табачные крошки,— вот и готово. Гармоника все может: вот один тоненький звук, вот аккорды, а вот мелодия с аккомпанементом. Лепишь музыку чуть согнутыми пальцами, извлекаешь звуки, стонущие и плачущие, как у волынки, или полные и круглые, как у

органа, или резкие и печальные, как у тростниковых дудочек, на которых играют горцы. Поиграл и опять сунул в карман. Она всегда с тобой, всегда у тебя в кармане. А пока играешь, учишься новым приемам, новым способам вылепить звук пальцами, поймать его губами,— и все сам, без указки. Пробуешь везде где придется — иной раз где-нибудь в тени, жарким полднем, иной раз у палатки, после ужина, когда женщины моют посуду. Нога легко отбивает такт. Брови то лезут кверху, то опять вниз — вместе с мелодией. А если потеряешь свою гармонику или сломаешь ее — беда невелика. За двадцать пять центов можно купить новую.

Гитара подороже. На ней надо долго учиться. На пальцах левой руки должны быть мозолистые нашлепки. На большом пальце правой — твердая мозоль. Растягивай пальцы левой руки, растягивай их, как паучьи лапки, чтобы дотянуться до костяных кнопок на грифе.

Это у меня отцовская. Я еще клопом был, когда он показал мне «до». Потом научился, стал играть не хуже его, а он уж больше не брался за нее. Бывало, сядет в дверях, слушает, отбивает такт ногой. Пробуешь тремоло, а он хмурит брови; пойдет дело на лад, он откинется к косяку и кивает мне: «Играй, говорит, играй, старайся!» Хорошая гитара. Видишь, какая истертая. А сколько на ней было сыграно песен — миллион, вот и истерлась вся. Когда-нибудь треснет, как яичная скорлупа. А чинить не полагается, даже тронуть нельзя — потеряет тон. Вечером побренчу, а вон в той палатке один играет на губной гармонике. Вместе хорошо выходит.

Скрипка вещь редкая, ее трудно одолеть. Ладов нет, и поучить некому.

Послушай вон того старика, а потом переймешь. Не показывает, как играть двойными нотами. Говорит, это секрет. А я подглядел. Вот как он делает.

Скрипка — пронзительная, как ветер, быстрая, нервная, пронзительная.

Она у меня не бог весть какая. Заплатил два доллара. А вот тут один рассказывал: есть скрипки, которым по четыреста лет, звук сочный, как виски. Говорит, таким цена пятьдесят —шестьдесят тысяч долларов. Не врет ли? Кто его знает! Визгливая она у меня. Что вам сыграть, танец? Сейчас натру смычок канифолью. Вот запиликает! За милю будет слышно.

Вечером играют все три — гармоника, скрипка и гитара. Играют быстрый танец, притопывают в такт ногами; толстые гулкие струны гитары пульсируют, как сердце, пронзительные аккорды гармоники, завыванье и визг скрипки. Люди подходят поближе. Их тянет сюда. Вот заиграли «Цыпленка», ноги топочут

по земле, поджарый юнец делает три быстрых па, руки свободно висят вдоль тела. Его окружают со всех сторон, начинается танец — глухие шлепки подошв по жесткой земле,— не жалей каблуков, пристукивай! Обнимают друг друга за талию, кружатся. Волосы упали на лоб, дыхание прерывистое. Теперь поворот налево.

Посмотри-ка на этого техасца — длинноногий, ухитряется на каждом шагу четыре раза отбить чечетку. В жизни не видал, чтобы такое выделывали! Смотри, как он крутит ту индианку, а она раскраснелась, ишь выступает — носками врозь! А дышит-то! Грудь так и ходит. Думаешь, устала она? Думаешь, у нее дух захватило? Как бы не так. У техасца волосы свесились на глаза, рот приоткрыт — совсем задохнулся, а сам отбивает чечетку и ни на шаг от своей индианки.

Скрипка взвизгивает, гитара гудит. Гармонист весь красный от натуги. Техасец и индианка дышат тяжело, как умаявшиеся собаки, а всё танцуют. Старики стоят, хлопают в ладоши. Чуть заметно улыбаются, отбивают такт ногами.

Помню... давно это было... танцы в школе. Луна большая и плывет к западу. А мы с ним пошли погулять. Идем и не разговариваем — у обоих дыхание перехватило. Словом не обмолвились. Впереди стог сена. Подошли к нему и легли. Видала? Этот техасец шмыгнул со своей девушкой в темноту — думают, никто не заметил. Эх! Я бы тоже с ним пошла. Теперь и луны ждать недолго. Я видела — ее отец шагнул было за ними, да вернулся. Он знает. Осень не остановишь — она придет в свое время, и сок в дереве тоже не остановишь, — так и это. А луны ждать недолго.

Сыграйте еще, сыграйте какую-нибудь старинную балладу, ну хоть «Я шел по улицам Ларедо».

Костер затухает. Пусть его — не надо подкладывать. Старушки луны ждать недолго.

Около канавы вещал проповедник, и люди кричали истошными голосами. Проповедник метался взад и вперед, как тигр, подхлестывая паству своим голосом, и люди выли и стонали. Он не спускал с них глаз, испытывал их взглядом, делал с ними, что хотел; и когда все они в корчах валились на землю, он подходил к каждому, одним махом поднимал судорожно бьющееся тело, кричал: «Прими, господи!» — и бросал его в воду. И когда все они стояли по пояс в воде, испуганно глядя на своего учителя, он падал на колени и молился за них, просил у бога, чтобы на всех мужчин и на всех женщин сошла благодать и чтобы они катались по земле с рычанием и стонами. А люди в промокшей насквозь

одежде смотрели на него, потом вылезали на берег — башмаки полны воды, хлюпают, чавкают — и шли назад в лагерь, к палаткам, переговариваясь между собой тихими, изумленными голосами.

На нас сошла благодать, говорили они. Мы теперь чистые, как снег. Больше мы не будем грешить.

И дети — испуганные, мокрые — перешептывались между собой:

На нас сошла благодать. Мы теперь не будем грешить.

Эх! узнать бы все грехи, какие только есть на свете! Я бы их один за другим перепробовал.

Кочевники скромно довольствовались любым развлечением в пути.

ГЛАВА XXIV

В субботу утром в прачечной было полно. Женщины стирали платья — розовые из сарпинки, цветастые бумажные — и вешали их на солнце, растягивая материю руками, чтобы не морщила. К полудню жизнь в лагере била ключом, люди суетились. Волнение передавалось и детям, и они шумели больше обычного. Часа в два их начали купать, и по мере того как они один за другим попадали в руки старших, которые укрощали их и вели мыться, шум на площадке для игр стихал. К пяти часам детей отмыли дочиста и пустили на свободу со строгим наказом не пачкаться, и они слонялись по лагерю, несчастные и словно одеревеневшие в непривычно чистых костюмах.

На большой танцевальной площадке под открытым небом хлопотала специальная комиссия. Каждый обрывок электрического провода шел в дело. В поисках его обследовали городскую свалку, изоляционную ленту жертвовали из каждого ящика с инструментами. И вот залатанный, составленный из нескольких кусков провод — с бутылочными горлышками вместо изоляционных катушек — провели к танцевальной площадке. Вечером на ней должен был впервые загореться свет. Кончив к шести часам работу или поиски работы, в лагерь начали съезжаться мужчины, и в душевые хлынули новые толпы. К семи успели пообедать, и мужчины приоделись: свежевыстиранные комбинезоны, чистые синие рубашки, а кое-кто даже в приличной черной паре. Девушки надели нарядные платья — чистенькие, без единой морщинки, заплели волосы в косы, повязали ленты на голову. Женщины озабоченно поглядывали каждая на свое семейство и мыли посуду

после ужина. Струнный оркестр, окруженный двойной стеной ребят, репетировал танцевальную программу. Волнение и спешка чувствовались всюду.

В палатке Эзры Хастона, председателя Главной комиссии, состоявшей из пяти человек, шло заседание. Хастон — высокий, худощавый, с обветренным лицом, с глазами, острыми, как лезвие бритвы,— говорил с членами комиссии, представителями от всех пяти санитарных корпусов.

— Нас предупредили. Теперь мы знаем, что они хотят затеять скандал во время танцев.

Заговорил маленький толстяк от корпуса номер три:

— Их надо избить до полусмерти, проучить как следует.

— Нет,— сказал Хастон.— Они только этого и ждут. Нет, сэр. Если им удастся затеять драку, тогда они позовут полисменов и заявят, что у пас тут бесчинствуют. Так уже делалось в других местах.— Он повернулся к смуглому юноше с грустным лицом — представителю корпуса номер два.— Ну как, собрал ребят? Выставишь охрану вдоль забора, чтобы никто не пролез?

Грустный юноша кивнул головой.

— Да. Двенадцать человек. Бить никого не велел. Вытолкать — и все.

Хастон сказал:

— Сходи-ка разыщи Уилли Итона. Он сегодня распорядитель?

— Да.

— Скажи, что мы хотим поговорить с ним.

Юноша вышел и через несколько минут вернулся в сопровождении сухощавого техасца. Лицо у Итона было узкое, волосы пепельно-серые, руки и ноги длинные и словно развинченные, а глаза — как у типичного техасца, светло-серые, спаленные солнцем. Он вошел в палатку, улыбаясь, и стал, покручивая кистями рук.

Хастон спросил его:

— Ты слышал, что сегодня готовится?

Уилли усмехнулся:

— Да.

— Предпринял что-нибудь?

— Да.

— Расскажи.

Уилли Итон улыбнулся во весь рот.

— Значит, так: обычно в праздничную комиссию у нас входит пять человек, а я набрал еще двадцать. Надежные ребята — сильные. Они тоже будут танцевать, но зевать им не велено. Чуть где заговорят погромче или заспорят, они тут как тут —

кольцом. Чисто будет сделано. Никто ничего не заметит. Двинутся все разом, будто уходят с площадки, и скандалист волей-неволей уйдет вместе с ними.

— Скажи им, что бить никого нельзя.

Уилли весело рассмеялся.

— Я говорил.

— А ты так скажи, чтобы запомнили.

— Запомнят. Пятерых поставлю у ворот, пусть приглядываются к тем, кто входит. Хорошо бы их сразу выследить, до того как начнется.

Хастон поднялся. Его светлые, как сталь, глаза смотрели строго.

— Слушай, Уилли. Бить их нельзя. У ворот будут шерифские понятые. Если пустите кому-нибудь кровь, они вас заберут.

— У нас все обдумано,— сказал Уилли.— Выведем их задами прямо в поле. А потом ребята последят, чтобы назад никто не вернулся.

— На словах получается хорошо,— не успокаивался Хастон.— Ну, смотри, Уилли, чтобы ничего не случилось. Отвечать будешь ты. Бить их нельзя. Ни палок, ни ножей, ничего тяжелого в ход не пускать.

— Слушаю, сэр,— сказал Уилли.— Мы следов не оставим.

Хастон насторожился.

— Что-то не доверяю я тебе, Уилли. Если уж вам непременно хочется их побить, бейте так, чтобы крови не было.

— Слушаю, сэр.

— А в своих ребятах ты уверен?

— Да, сэр.

— Ну ладно. На тот случай, если сами не сладите,— я буду сидеть там же на площадке, в правом углу.

Уилли шутливо отдал ему честь и вышел.

Хастон сказал:

— Не знаю, как все это будет. Дай бог, чтобы обошлось без убийства. И что этим понятым здесь понадобилось? Почему они не оставят наш лагерь в покое?

Грустный юноша от корпуса номер два сказал:

— Я жил в одном лагере Земельно-скотоводческой компании. Так, верите ли, там на каждые десять человек один понятой. А водопроводный кран один на две сотни.

— Господи владыка, он мне рассказывает! — воскликнул толстяк.— Я сам оттуда. Там лачуги стоят одна к другой — тридцать пять в ряд, и за каждой еще четырнадцать. А нужников всего десять. Вонища — за милю слышно! Один понятой там с нами разоткровенничался, говорит: «Будь они прокляты, эти прави-

тельственные лагеря! Дай людям хоть раз горячую воду, они ее потом требовать будут. Дай им промывные уборные, они и уборные будут требовать. Проклятому Оки что ни покажи, он на все готов позариться. У них, говорит, в лагерях красные митинги. Каждый прохвост норовит стать на пособие».

Хастон спросил:

— И никто его не взгрел за это?

— Нет. Один ему говорит: «Какое такое пособие?» — «Не знаешь какое? То самое, в которое мы, налогоплательщики, деньги всаживаем, а достаются они вам — всяким Оки». А тот говорит: «Мы тоже платим налоги, и на продукты, и на газ, и на табак. Правительство, говорит, покупает у фермеров хлопок по четыре цента за фунт — это разве не пособие? Железные дороги и пароходные компании получают ссуды от правительства — это тоже не пособие?» Понятой отвечает: «Они нужное дело делают». А наш свое гнет: «А если бы не мы, кто бы ваши урожаи убирал?» — Толстяк оглядел всех, кто был в палатке.

— Ну, а понятой что? — спросил Хастон.

— Понятой прямо остервенел. Говорит: «Вся смута от этой красной сволочи. Ну-ка, пойдем со мной». Забрал голубчика, и дали ему два месяца тюрьмы за бродяжничество.

— Ну а если бы у него была работа? — спросил Тимоти Уоллес.

Толстяк рассмеялся.

— На этот счет мы ученые,— ответил он.— Теперь мы знаем: кого полисмен невзлюбит, тот и бродяга. Потому они и точат зубы на наш лагерь. Сюда полисменам вход заказан. Здесь Соединенные Штаты, а не Калифорния.

Хастон вздохнул:

— Хорошо бы пожить здесь подольше. А ведь скоро придется уезжать. Мне здесь нравится. Живут все дружно. Да что, в самом деле! Оставили бы нас в покое — нет, цепляются, в тюрьмы швыряют. Вот честное слово, если так будет продолжаться, нас до того доведут, что мы дадим им отпор.— И тут же напомнил самому себе: — Нет, надо соблюдать спокойствие. Кто-кто, а комиссия не имеет права закусывать удила.

Толстяк сказал:

— Некоторые думают, что работать в нашей комиссии одно удовольствие. Пусть бы сами попробовали. У меня сегодня была потасовка — женщины разошлись. Подняли ругань и ну всякой дрянью швыряться. Женская комиссия не справилась, прибежали ко мне. Просят, чтобы мы этим занялись. А я говорю: женские ссоры улаживайте сами. Они будут гнилой картошкой друг в друга швырять, а Главная комиссия их разнимай.

Хастон кивнул:

— Правильно.

Начинало темнеть; в сумерках казалось, что оркестр, репетирующий танцы, играет все громче и громче. Вспыхнули лампочки, двое мужчин осмотрели составленный из кусков провод. Ребятишки еще плотнее столпились вокруг музыкантов. Подросток с гитарой негромко наигрывал блюз «Родные поля», и на втором припеве мелодию подхватили три губные гармоники и скрипка. К площадке со всех сторон сходился народ: мужчины в чистых синих комбинезонах, женщины в сарпинковых платьях. Они окружили площадку и спокойно дожидались начала танцев, стоя под яркими лампочками, освещавшими их оживленные, внимательные лица.

Вся зона лагеря была окружена высокой проволочной изгородью, и вдоль этой изгороди, на расстоянии пятидесяти футов один от другого, сидели на траве сторожевые.

Начинали съезжаться гости: мелкие фермеры с семьями, переселенцы из других лагерей. В воротах каждый называл фамилию знакомого, от которого было получено приглашение.

Оркестр заиграл деревенский танец — теперь уже громко, потому что репетиция кончилась. Праведники сидели у своих палаток, хмуро, презрительно поглядывая по сторонам. Они не переговаривались между собой, они бодрствовали на страже и всем своим видом выражали осуждение всем этим греховным затеям.

Руфь и Уинфилд наскоро проглотили свой скудный обед и ринулись к площадке. Мать вернула их, обеими руками задрала им подбородки кверху, проверяя, не грязные ли у них носы, заглянула в уши и велела пойти в санитарный корпус вымыть руки. Они переждали несколько минут позади уборных, потом кинулись сломя голову к площадке и смешались с толпой детей, обступивших оркестр.

Эл пообедал, взял бритву Тома и потратил не меньше получаса на бритье. Он помылся, смочил водой свои прямые волосы, зачесал их назад и надел узкие шерстяные брюки и полосатую рубашку. Улучив минуту, когда в умывальной никого не было, Эл посмотрел в зеркало и послал самому себе очаровательную улыбку, потом повернулся боком, стараясь увидеть, как это получается в профиль. Он надел на рукава красные резинки, влез в узкий пиджак, протер желтые башмаки кусочком туалетной бумаги. В эту минуту в умывальную кто-то вошел. Эл выскочил оттуда и молодцевато зашагал к площадке для танцев, шаря по сторонам глазами в поисках девушек. Около одной из палаток сидела хорошенькая блондинка. Эл подошел поближе и расстегнул пиджак, выставляя напоказ рубашку.

— Пойдешь на танцы? — спросил он.

Девушка отвернулась и ничего не ответила ему.

— Неужели и словечком нельзя перекинуться? Может, пойдем, потанцуем? — И добавил небрежно: — Я вальс умею.

Девушка несмело подняла на него глаза и сказала:

— Подумаешь! Вальс все умеют.

— Лучше меня никто не умеет,— сказал Эл. На площадке снова грянул оркестр. Эл притопывал в такт ногой.— Пойдем,— сказал он.

Очень толстая женщина высунула голову из палатки и нахмурилась, увидев Эла.

— Проходи, проходи,— злобно сказала она.— Моя дочка давно сговорена. Ей уж недолго ждать — жених скоро приедет.

Эл лихо подмигнул девушке и зашагал дальше, приплясывая на ходу, поводя плечами, помахивая руками. А девушка пристально смотрела ему вслед.

Отец поставил тарелку на ящик и встал:

— Пойдем, Джон,— и пояснил матери: — Хотим поговорить кое с кем, узнаем, есть ли где работа.— И они ушли к домику управляющего.

Том подобрал хлебом оставшийся в тарелке мясной соус и отправил кусок в рот, потом протянул тарелку матери. Она опустила ее в ведро с горячей водой, сполоснула и дала вытереть Розе Сарона.

— Ты разве не пойдешь на танцы? — спросила мать.

— Обязательно пойду,— ответил Том.— Меня выбрали в комиссию. Надо заняться кое-какими гостями.

— Уже выбрали? — сказала мать.— Это, наверно, потому, что ты работаешь.

Роза Сарона сунула вытертую тарелку в ящик. Том сказал:

— Ну и толстеет она у нас!

Роза Сарона вспыхнула и взяла у матери вторую тарелку.

— А что же ей не толстеть,— сказала мать.

— И хорошеет день ото дня,— продолжал Том.

Роза Сарона покраснела еще гуще и опустила голову.

— Перестань,— пробормотала она.

— А что же ей не хорошеть,— сказала мать.— Молоденькие в положении всегда хорошеют.

Том рассмеялся:

— Если она и дальше так будет пухнуть, придется ей живот на тачке возить.

— Ну, перестань,— сказала Роза Сарона и ушла в палатку.

Мать негромко засмеялась:

— Что ты ее дразнишь?

— Да ей это нравится,— сказал Том.

— Я знаю, что нравится, а все-таки не надо ее трогать. Она и так по Конни тоскует.

— Ну, на Конни давно пора махнуть рукой. Он, поди, на президента Соединенных Штатов учится.

— Оставь ее, пе трогай. Ведь ей не легко.

Уилли Итон подошел к палатке, широко улыбнулся и спросил:

— Ты Том Джоуд?

— Да.

— Я сегодня распорядитель. Ты нам понадобишься. Мне про тебя говорили.

— Что ж, с удовольствием,— сказал Том.— Познакомься — это ма.

— Здравствуйте,— сказал Уилли.

— Очень приятно.

Уилли сказал:

— Мы поставим тебя сначала у ворот, а потом перейдешь на площадку. Надо посмотреть за гостями — может, сразу их выследим. С тобой будет еще один дежурный. А потом пойдешь танцевать — и гляди в оба.

— Что ж, это я могу,— сказал Том.

Мать насторожилась:

— А разве что-нибудь ожидается?

— Нет, мэм,— ответил Уилли.— Ничего такого не ожидается.

— Ничего не ожидается,— сказал Том.— Пошли. Ну, увидимся на танцах, ма.— Они быстро зашагали к главному въезду.

Мать поставила вымытую посуду на ящик.

— Выходи,— крикнула она и, не получив ответа, повторила: — Роза, выходи.

Роза Сарона вышла из палатки и снова принялась вытирать посуду.

— Он подшучивает над тобой.

— Я знаю. Пусть его. Только мне неприятно, когда на меня смотрят.

— Ну, тут уж ничего не поделаешь. Смотреть будут. Ведь людям приятно полюбоваться на молоденькую, когда она в положении,— приятно и весело. А ты не собираешься на танцы?

— Собиралась, а теперь не знаю. Я хочу, чтобы Конни пришел.— Она повторила громко.— Ма, я хочу, чтобы он пришел. Я больше так не могу.

Мать пристально поглядела на нее.

— Я знаю,— сказала она.— Только смотри, Роза... не осрами семью.

— Нет, ма.

— Не осрами нас. Нам и так трудно, не хватает еще сраму.

У Розы Сарона задрожали губы.

— Я... я не пойду на танцы. Я не хочу... Ма... помоги мне! — Она опустилась на ящик и закрыла лицо ладонями.

Мать вытерла руки о кухонное полотенце, присела перед дочерью на корточки и погладила ее по волосам.

— Ты у меня хорошая,— сказала она.— Ты всегда была хорошая. Я тебя не оставлю. Ты не горюй.— Она оживленно заговорила: — Знаешь, что мы с тобой сделаем? Пойдем на танцы, сядем в сторонке и будем смотреть. Если кто пригласит, я скажу, тебе нельзя. Скажу, у тебя здоровье слабое. А ты послушаешь музыку, посмотришь на людей.

Роза Сарона подняла голову.

— А танцевать не пустишь?

— Не пущу.

— И пусть до меня никто не дотрагивается.

— Никто не дотронется.

Роза Сарона вздохнула и сказала с дрожью в голосе:

— Не знаю, ма, как дальше будет. Не знаю. Не знаю.

Мать потрепала ее по колену.

— Посмотри на меня. Ну, слушай. Слушай, что я скажу. Ты потерпи еще немножечко, а там полегчает. Еще немножечко. Я правду говорю. А теперь вставай. Сейчас мы с тобой помоемся, потом наденем все самое нарядное и пойдем смотреть на танцы.— Она повела Розу Сарона к санитарному корпусу.

Отец, дядя Джон и еще несколько человек сидели на корточках у крыльца конторы.

— Мы сегодня чуть на работу не устроились,— сказал отец.— Опоздали самую малость. Перед нами двоих уже наняли. И ведь вот что чудно́, тот, который нанимал, говорит: «По двадцать пять центов мы взяли двоих. А по двадцать — пожалуйста, сколько угодно. Вы поезжайте к себе в лагерь, скажите там, что по двадцать набор будет большой».

Сидевшие на корточках люди беспокойно зашевелились. Один — широкоплечий, в черной шляпе, затенявшей ему лицо, ударил ладонью по колену.

— Я эти поганые штучки знаю! — крикнул он.— И ведь наберут людей. Наберут голодных. На такой заработок семью не прокормишь, а от двадцати центов в час все равно не откажешься. И так и эдак ты у них в руках. Они продают работу, как с торгов. Скоро, пожалуй, нам самим придется приплачивать, лишь бы устроиться.

— Мы бы пошли,— сказал отец.— У нас совсем нет работы. Обязательно бы пошли, да побоялись — уж очень злобно другие на нас посматривали.

Широкоплечий в черной шляпе сказал:

— Начнешь думать, ум за разум заходит. Я у одного работал, так он не может собрать урожай. Один только сбор и то не окупится. Просто и не знает, что делать.

— А что, если..— Отец замялся. Все молча ждали.— Да это я так — подумал... Будь у меня акр земли... жена бы овощей насажала, держали бы кур, парочку свиней. А мы бы поработали где-нибудь и вернулись. Детей в школу. Я таких школ, как здесь, нигде не видал.

— Нашим ребятам в здешних школах несладко,— сказал широкоплечий.

— Почему? Школы хорошие.

— Да... придет вот такой оборванец, босой, а другие ребята, в носочках, принаряженные, дразнят его: «Оки». Мой мальчишка ходил в школу. Каждый день дрался. Молодец, не уступал. Норовистый, чертенок. Что ни день, то драка. Приходит домой — рубашка в клочья, из носу кровь. А мать его порет. Под конец я вступился. Что ж ему, бедняге, одни колотушки получать? А здорово он их лупил, этих сволочей в носочках. Да...

Отец снова заговорил о своем:

— Что же делать? Денег у нас нет. Старший сын получил работу, да ненадолго, этим не прокормишься. Пойду на двадцать центов. Ничего не поделаешь.

Человек в шляпе поднял голову, вытянув шею, заросшую густыми, точно шерсть, волосами, блеснул на свету щетинистым подбородком.

— Да,— с горечью сказал он.— Ты пойдешь за двадцать центов. А мне платят двадцать пять. Вот ты и перехватил мою работу. А потом мне брюхо подведет, я ее у тебя за пятнадцать перехвачу. Да! Иди нанимайся.

— Что же мне делать? — допытывался отец.— Не могу я голодать ради того, чтобы тебе платили двадцать пять центов.

Широкоплечий снова опустил голову, и его подбородок скрылся в тени от черной шляпы.

— Не знаю. Работаешь по двенадцати часов в день, досыта все равно не ешь, и еще изволь ломать себе голову, как быть дальше. Мальчишка у меня живет впроголодь. Да не могу я все об одном думать. От таких мыслей и рехнуться недолго, будь они прокляты! — Сидевшие на корточках люди беспокойно зашевелились.

Том стоял у ворот, рассматривая съезжавшихся гостей. Яркий свет прожектора падал на их лица. Уилли Итон сказал:

— Гляди в оба. Я сейчас пришлю сюда Джула Витела. Он полукровка-индеец. Хороший малый. Гляди в оба. Может, заприметишь кого.

— Ладно,— сказал Том. Он смотрел на гостей, которые подъезжали целыми семьями; мимо него шли фермерские девушки с косичками, подростки, постаравшиеся навести на себя лоск ради танцев. Джул подошел и остановился рядом с ним.

— Я с тобой буду,— сказал он.

Том посмотрел на его смуглое скуластое лицо — орлиный нос, узкий подбородок.— Говорят, ты наполовину индеец. А по-моему, в тебе обе половинки индейские.

— Нет,— ответил Джул.— Половинка на половинку. А чистокровным лучше. Тогда можно устроиться в резервации. Там некоторым неплохо живется.

— Посмотри, сколько народу,— сказал Том.

Гости проходили в ворота: фермерские семьи, переселенцы из придорожных лагерей. Дети старались поскорей вырваться на свободу, степенные родители сдерживали их.

Джул сказал:

— Забавно у нас получается с этими танцами. Народ в лагере бедный, ничего за душой нет, а ходят гордые, потому что могут приглашать знакомых на танцы. И от других им за это уважение. Я тут работал на маленькой ферме. Пригласил как-то к нам хозяина. Он приехал. Потом говорил: в здешних местах нигде не бывает таких вечеров. К вам, говорит, и жену и дочь можно привезти. Эй! Смотри.

В ворота прошли трое молодых людей — трое рабочих в комбинезонах. Они держались кучкой. Сторож у ворот остановил их, они ответили на его вопрос и пошли дальше.

— Последи за ними,— сказал Джул. Он подошел к сторожу.— Кто их пригласил?

— Джексон. Корпус номер четыре.

Джул вернулся к Тому.

— Наверно, те самые и есть.

— Откуда ты знаешь?

— Да так — кажется. У них вид какой-то настороженный. Ступай за ними, покажи их Уилли, и пусть он разыщет этого Джексона из четвертого корпуса. Надо проверить их. А я побуду здесь.

Том отправился за тремя молодыми людьми. Они подошли к танцевальной площадке и незаметно присоединились к толпе. Том увидел около оркестра Уилли и поманил его.

— Ну что? — спросил Уилли.

— Вон те трое — видишь?

— Да.

— Сослались на Джексона из четвертого корпуса, будто он их пригласил.

Уилли вытянул шею, разыскал глазами Хастона и подозвал его.

— Вон те трое,— сказал он.— Надо найти Джексона из четвертого корпуса, узнать, приглашал ли он их.

Хастон повернулся на каблуках и ушел: а через несколько минут подвел к ним сухопарого, костлявого канзасца.

— Вот Джексон. Слушай, Джексон, видишь вон тех трех молодцов?

— Да.

— Ты их приглашал?

— Нет.

— А они тебе знакомы?

Джексон пригляделся повнимательнее.

— Конечно, знакомы. Вместе работали у Грегорио.

— Значит, твоя фамилия им известна?

— Конечно. Я работал с ними рядом.

— Хорошо,— сказал Хастон.— Ты к ним не подходи. Если ничего плохого не сделают, мы не станем их выпроваживать. Спасибо, Джексон.

— Хорошо сработано,— сказал он Тому.— Я думаю, это они самые и есть.

— Это Джул их заприметил,— сказал Том.

— Ну еще бы! — сказал Уилли.— Индейская кровь, он чутьем берет. Ладно, пойду покажу их своим ребятам.

Из толпы выскочил мальчик лет шестнадцати. Он остановился перед Хастоном, еле переводя дух.

— Мистер Хастон, я все сделал, как вы велели. Одна машина стоит около эвкалиптов — в ней шестеро, другая остановилась сбоку, на дороге,— там четверо. Я подошел прикурить. Они все с револьверами. Я сам видел.

Взгляд у Хастона стал суровый, жесткий.

— Уилли, у тебя все готово? — спросил он.

Уилли радостно улыбнулся.

— Будьте покойны, мистер Хастон. Все пойдет как по маслу.

— Никого не бить. Помни. Хорошо бы поговорить с ними. Если управитесь без скандала, приведите их ко мне. Я буду у себя в палатке.

— Постараемся,— сказал Уилли.

Танцы еще не начались, но Уилли поднялся на площадку.

— Занимайте места! — крикнул он.

Оркестр замолчал. Юноши и девушки, молодые мужчины и женщины засуетились, забегали, и наконец на большой площадке выстроились восемь каре,— выстроились в ожидании начала. Девушки стояли сложив руки и переплетя пальцы. Юноши нетерпеливо переступали с ноги на ногу. По краям площадки сидели пожилые люди; они чуть заметно улыбались и придерживали около себя детей. А в отдалении, у палаток, хмуро и осудительно поглядывая на все это, бодрствовали на страже праведники.

Мать и Роза Сарона сели на скамью. И когда кавалеры приглашали Розу Сарона, мать говорила:

— Нет, она плохо себя чувствует.— И Роза Сарона каждый раз краснела, и глаза у нее загорались.

Распорядитель вышел на середину и поднял руку.

— Все готовы? Начали!

Оркестр грянул «Цыпленка». Взвизгнула скрипка, загнусили гармоники, гитары гулко зарокотали на басах. Распорядитель выкрикивал фигуры, каре двигались.

— Вперед, назад, беритесь за руки, круг на месте.— Войдя в раж, распорядитель отбивал такт ногой, похаживал взад и вперед, сновал между танцующими.— Раз, два, три — кружите дам. Раз, два, три — и по местам.— Музыка то затихала, то гремела вовсю, и подошвы отбивали такт, как барабанную дробь.— Поворот направо, поворот налево. Три шага назад и — поворот кругом,— высоким вибрирующим голосом выкрикивал распорядитель. И вот прически у девушек стали уже не такие гладенькие. И у кавалеров выступили капли пота на лбу. И лихие танцоры начали выделывать умопомрачительные па. А люди пожилые, те, кто сидел по краям площадки, негромко похлопывали в ладоши, притопывали ногами, захваченные ритмом танца, и, встречаясь взглядами, кивали и мягко улыбались друг другу.

Мать прошептала на ухо Розе Сарона:

— Ты, может, не поверишь, но твой па был лихой танцор в молодые годы, я лучшего и не видела.— И мать улыбнулась.— Поневоле старые времена вспомнишь,— сказала она. И, судя по улыбкам ее соседей, они тоже вспоминали старые времена.

— В Маскоги лет двадцать назад был слепой скрипач...

— Я раз видел одного ловкача — подпрыгнет и успеет четыре раза прищелкнуть каблуками.

— А шведы в Дакоте, знаете, что делают? Насыплют перцу на пол, женщинам под юбки попадет — и-их! они разойдутся, взыграют, что твои кобылки весной. Шведы часто так делают.

А праведники следили за своими детьми, которым не сиделось на месте.

— Видите грешников? — говорили они.— Эти люди так и въедут в пекло на кочерге. Приходится же набожным людям смотреть на такое наваждение.— А дети слушали их и тревожно молчали.

— Еще один круг и передышка,— нараспев протянул Уилли.— Поддавай жару напоследок! — Девушки, распаренные, раскрасневшиеся, танцевали с серьезными, благоговейными лицами; рты у них были полуоткрыты. А юноши откидывали со лба длинные пряди волос, скакали, выворачивали ступни носками наружу, прищелкивали каблуками. Танцоры выходили на середину площадки, шли назад, пересекали ее из угла в угол, кружились под громкую, волнующую музыку.

И вдруг музыка смолкла. Танцоры остановились, еле переводя дух от усталости. И дети, словно сорвавшись с цепи, ринулись на площадку и стали бегать, гоняться друг за другом, скользить по полу, стаскивать друг с друга кепки, дергать за волосы. Танцоры сели, обмахиваясь руками. Музыканты встали со своих мест, потянулись, расправили плечи и снова сели. И гитаристы негромко затренькали, подтягивая колки.

Уилли крикнул:

— Следующий танец! Готовьтесь, занимайте места!

Танцоры с трудом поднялись со скамей, и кавалеры снова кинулись приглашать дам. Том стоял рядом с теми тремя. Он видел, как они протиснулись на площадку и пошли к одному из каре. Он махнул Уилли рукой, и тот сказал что-то скрипачу. Скрипач рванул смычком по струнам. Двадцать человек медленно двинулись со всех сторон на середину площадки. Те трое подошли к каре. И один из них сказал:

— С ней я буду танцевать.

Белобрысый подросток удивленно посмотрел на него:

— Это моя пара.

— Ты мне поговори, сопляк...

Где-то вдали в темноте раздался резкий свист. Те трое стояли, как в кольце. И каждый из них чувствовал, что его держат сильные руки. И кольцо, не размыкаясь, двинулось к краю площадки.

Уилли крикнул:

— Начали! — Заиграла музыка, фигуры сменяли одна другую, ноги гулко топали по дощатому полу.

К воротам подъехала легковая машина. Сидевший за рулем крикнул:

— Откройте! Нам дали знать, что у вас тут беспорядки.

Сторож не двинулся с места.

— Никаких беспорядков у нас нет. Слышите, музыка играет? А кто вы такие? Что вам нужно?

— Шерифские понятые.

— Ордер есть?

— Какой тут ордер, когда у вас беспорядки!

— Нет у нас беспорядков! — повторил сторож.

Люди в машинах прислушались к музыке, к выкрикам распорядителя, и машина медленно отъехала от ворот и остановилась у перекрестка.

Троих молодых людей, шагавших в середине тесного кольца, крепко держали за руки, и рты у них тоже были зажаты. Войдя в темноту, кольцо разомкнулось.

Том сказал:

— Чисто сработано.— Он держал свою жертву сзади за руки.

Уилли догнал их.

— Здорово! — сказал он.— Теперь хватит и шестерых. Хастон хотел посмотреть на этих молодчиков.

Из темноты появился сам Хастон.

— Вот эти?

— Они самые,— сказал Джул.— Сразу полезли на рожон. Только замахнуться им ни разу не пришлось.

— Ну-ка, посмотрим, что за люди.— Пленников повернули к нему лицом. Они стояли понурившись. Хастон осветил фонарем их хмурые лица.— Зачем вам это понадобилось? — спросил он. Ответа не было.— Кто вас сюда послал?

— Да что это вы! Мы ничего плохого не делали. Потанцевать захотелось — только и всего.

— Нет, врешь,— сказал Джул.— Ты хотел ударить того мальчишку.

Том сказал:

— Мистер Хастон, они вышли на площадку, а в это время кто-то свистнул.

— Да, я знаю. Понятые подъехали к самым воротам.— Хастон снова повернулся к тем троим.— Бить вас мы не собираемся. Ну, говорите — кто послал? — Ответа так и не последовало.— Вы такие же люди, как и мы,— с горечью сказал Хастон.— Ваше место с нами. Как же это так вышло? Мы все знаем,— добавил он.

— А есть человеку надо?

— Кто же вас послал? Кто вам заплатил?

— Ничего нам не заплатили.

— И не заплатят. Драки не было, платить не за что. Так ведь?

Один из пленников пробормотал:

— Делайте, что хотите. Мы ничего не скажем.

Хастон опустил голову и тихо проговорил:

— Ладно. Не надо. Только вот что. Не лезьте вы с ножом на своих же людей. Мы стараемся все получше устроить, хотим и повеселиться и порядок поддерживаем. А мешать нам не надо. Вы подумайте над этим. Вы только сами себе вред приносите... Ну так, ребята. Выпроводите их задами. И бить не надо. Они сами не понимают, что делают.

Небольшой отряд медленно двинулся в глубь лагеря. Хастон провожал их глазами.

Джул сказал:

— А что, если всыпать им немножко?

— Не смей! — крикнул Уилли.— Я слово дал.

— Ну, самую малость,— молил Джул.— Ну хоть через изгородь их перебросим.

— Нет! — стоял на своем Уилли.

— Эй, вы,— сказал он,— на этот раз отпустим вас с миром. А вы там передайте кому следует: если еще кто явится — целым не уйдет, все кости переломаем. Так и передайте. Хастон говорит, вы такие же люди, как мы,— может, и такие же. Только мне и думать об этом противно.

Они поравнялись с изгородью. Двое из охраны встали и подошли к ним.

— Провожаем гостей — рано собрались домой,— сказал Уилли. Те трое перелезли через изгородь и скрылись в темноте.

Конвоиры быстро зашагали назад, к танцевальной площадке. А навстречу им неслись завывания и визг оркестра, игравшего «Дэнни Такера».

Мужчины все еще разговаривали, сидя на корточках у конторы, и звуки музыки доносились и до них.

Отец сказал:

— Перемены должны быть. Не знаю только какие. Нам, может, и не дожить до того времени. А перемены будут. Народ стал какой-то беспокойный. Толком ни до чего не додумаешься, уж очень тревога одолела.

Человек в черной шляпе снова поднял голову, и его щетинистый подбородок попал в полосу света. Он подобрал с земли несколько камешков и расстрелял их один за другим, щелкая большим пальцем.

— Не знаю. Перемены должны быть, это верно. Мне один рассказывал, что было в Экроне, в Огайо. На каучуковых заводах. Рабочих там набрали из горцев, потому что они идут на любую оплату. А эти горцы возьми да и вступи в союз. Что тут поднялось! Лавочники, легионеры и весь этот сброд — военную муштру проходят, орут: «Красные!» Требуют, чтобы никакого союза в Экроне не было. Проповедники проповеди читают, газеты подняли

вой, заводчики организуют отряды, запасаются бомбами со слезоточивым газом. Можно подумать, что эти горцы не люди, а какие-то дьяволы.— Он помолчал и поднял с земли еще несколько камешков.— Да... это все было в марте... и вот как-то в воскресенье собрались горцы — пять тысяч человек — и отправились за город, пострелять по мишеням. Так все пять тысяч и прошли через город, и все с ружьями. Постреляли — и назад. Только и всего. С тех пор как рукой сняло. Городские ополченцы сдали дубинки назад, лавочники сидят по лавкам, никого не избили, никого в смоле и в перьях не вываляли, все остались живы-здоровы.— Наступило долгое молчание, а потом человек в черной шляпе сказал: — Здесь они что-то уж очень разошлись. Лагерь подожгли и нашего брата постоянно бьют. Я все думаю... Ружья есть у всех. Может, и нам организовать клуб стрелков да собираться по воскресеньям?

Все посмотрели на него и снова опустили глаза в землю и беспокойно зашевелились, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую.

ГЛАВА XXV

Весна в Калифорнии прекрасна. Долины, где зацветают фруктовые деревья,— словно душистые бело-розовые волны на морской отмели. Первые виноградные усики на старых узловатых лозах каскадом спадают по стволам. Широкие зеленые холмы становятся округлыми и нежными, как женские груди, а в низинах, на огородных участках, миля за милей тянутся грядки — бледно-зеленый салат, и кудрявая цветная капуста, и серо-зеленые уродцы артишоки.

А потом на фруктовых деревьях распускаются листья, и лепестки опадают на землю и устилают ее розово-белым ковром. Сердцевина цветка набухает, растет, розовеет: вишни и яблоки, персики и груши, инжир, замыкающий цветок в своем плоде. Пульс Калифорнии бьется учащенно, а фрукты тяжелеют, и ветви малопомалу сгибаются, не выдерживая этого груза, и под каждую из них надо ставить подпорки.

О плодородии пекутся люди, вдумчивые, знающие, умелые; они производят опыты с семенами, непрестанно развивают технику высоких урожаев, беря все от тех растений, корни которых способны одолеть миллионную армию врагов земли: кротов, насекомых, плесень, ржу. Эти люди трудятся усердно и неустанно, улучшая семена, корни. А есть еще другие — те, кто знает химию; они опрыскивают деревья, оберегая их от вредителей, окуривают серой виноградные лозы, борются с болезнями, с загниванием, с

грибком. Специалисты по профилактике, пограничные инспекторы, которые выслеживают плодовую муху и розового червя, карантинные надзиратели, которые вырывают больное дерево с корнем, сжигают его,— это все люди науки. А те, кто прививает молодые деревья и тонкие виноградные лозы, те искуснее всех, потому что их работа — это работа хирурга, такая же тонкая, бережная; нужно иметь руки хирурга и сердце хирурга, чтобы разрезать кору, вложить черенок, перевязать рану, защитить ее от воздуха. Это замечательные люди.

Вдоль рядов идут культиваторы — они поднимают весенний дерн, переворачивают его, чтобы сделать землю плодородной, вспахивают грунт, чтобы задержать влагу на поверхности, проводят канавки для воды, уничтожают корни сорняков, которые могут отнять эту воду у деревьев.

А плоды набухают соками, и на виноградных лозах появляются длинные кисти цветов. И по мере того как весна переходит в лето, зной растет и листья темнеют. Зеленоватые сливы малопомалу становятся похожими на птичьи яички, и ветви всей тяжестью оседают на подпорки. Начинают округляться маленькие твердые груши, появляется первый пушок на персиках. Виноградный цвет роняет свои крошечные лепестки, и твердые бусинки превращаются в зеленые пуговки, и пуговки тяжелеют. Люди, которые работают в полях, хозяева небольших фруктовых садов, присматриваются ко всему этому, производят кое-какие расчеты. Год урожайный. И люди горды собой, потому что их знания помогли им добиться высокого урожая. Их знания преобразовали мир. Низенькая тощая пшеница выросла и налилась зерном. Маленькие кислые яблоки стали большими и сладкими, а вон тот дикий виноград, вившийся по деревьям и кормивший птиц своими крошечными ягодками, породил тысячу сортов — сорт красный и черный, зеленый и бледно-розовый, пурпурный и желтый; и у каждого сорта свой вкус. Люди, работающие на опытных фермах, создали новые фрукты: гладкие персики — нектарины, сорок сортов слив и грецкие орехи с тонкой, как бумага, скорлупой. И люди не перестают трудиться — селекционируют, делают прививки, гибридизируют, выжимая все из самих себя и из земли.

Первой созревает вишня. Полтора цента фунт. Стоит ли собирать ее ради таких грошей? Черная вишня, красная вишня — наливная, сладкая, и птицы надклевывают ее, а после птиц над ней с жужжанием вьются осы. И косточки в обрывках почерневшей мякоти падают на землю и засыхают.

Сизые сливы становятся мягкими и сладкими. Собирать их, сушить, окуривать серой? Да где там! Нечем платить за уборку, даже по самой низкой цене! И сизые сливы ковром устилают зем-

лю. Кожица на них подергивается морщинками, и тучи мух со всех сторон летят на пиршество, и по долине разносится сладковатый запах тления. Сливы темнеют, и весь урожай гниет, валяясь на земле.

И вот поспевают груши — они желтые, мягкие. Пять долларов тонна. Пять долларов за сорок ящиков, каждый по пятьдесят фунтов. Но ведь деревья надо было опрыскивать, подрезать, сад требует ухода,— а теперь собирай груши, упаковывай их в ящики, грузи на машины, доставляй на копсервный завод. И за сорок ящиков — пять долларов! Нет, мы так не можем. И желтые плоды, тяжело падая на землю, превращаются в кашу. Осы въедаются в сладкую мякоть, и в воздухе стоит запах брожения и гнили.

Наступает черед винограда. Мы не можем делать хорошее вино. Хорошее вино покупателю не по карману. Рвите виноград с лоз — и спелый, и гнилой, и наполовину съеденный осами. Под пресс пойдет все — ветки, грязь, гниль.

Но в чанах образуется плесень и окись.

Добавьте серы и таннину.

От бродящей массы поднимается не терпкое благоухание вина, а запах разложения и химикалий.

Ничего. Алкоголь и тут есть. Напиться можно.

Мелкие фермеры видят, что долги подползают к ним, как морской прилив. Они опрыскивали сад, а урожая не продали. Они прививали и подреза́ли деревья, а собрать урожая не смогли. Люди науки трудились, думали, а фрукты гниют на земле, и разлагающееся месиво в чанах отравляет воздух смрадом. Попробуйте это вино — виноградом и не пахнет, одна сера, таннин и алгоколь.

В будущем году этот маленький фруктовый сад сольется с большим участком, потому что его хозяина задушат долги.

Этот виноградник перейдет в собственность банка. Сейчас могут уцелеть только крупные собственники, потому что у них есть консервные заводы. А четыре груши, очищенные и разрезанные на половинки, сваренные и законсервированные, по-прежнему стоят пятнадцать центов. Консервированные груши не портятся. Они лежат годами.

Запахом тления тянет по всему штату, и в этом сладковатом запахе — горе земли. Люди, умеющие прививать деревья, умеющие селекционировать, выводить всхожие и крупные семена, не знают, что надо сделать, чтобы голодные могли есть взращенное ими. Люди, создавшие новые плоды, не могут создать строй, при котором эти плоды нашли бы потребителя.

И поражение нависает над штатом, как тяжкое горе.

То, над чем трудились корни виноградных лоз и деревьев, надо уничтожать, чтобы цены не падали,— и это грустнее и горше

всего. Апельсины целыми вагонами ссыпают на землю. Люди едут за несколько миль, чтобы подобрать выброшенные фрукты, но это совершенно недопустимо! Кто же будет платить за апельсины по двадцать центов дюжина, если можно съездить за город и получить их даром? И апельсинные горы заливают керосином из шланга, а те, кто это делает, ненавидят самих себя за такое преступление, ненавидят людей, которые приезжают подбирать фрукты. Миллионы голодных нуждаются в фруктах, а золотистые горы поливают керосином.

И над страной встает запах гниения.

Жгите кофе в пароходных топках. Жгите кукурузу вместо дров — она горит жарко. Сбрасывайте картофель в реки и ставьте охрану вдоль берега, не то голодные все выловят. Режьте свиней и зарывайте туши в землю, и пусть земля пропитается гнилью.

Это преступление, которому нет имени. Это горе, которое не измерить никакими слезами. Это поражение, которое повергает в прах все наши успехи. Плодородная земля, прямые ряды деревьев, крепкие стволы и сочные фрукты. А дети, умирающие от пеллагры, должны умереть, потому что апельсины не приносят прибыли. И следователи должны выдавать справки: смерть в результате недоедания, потому что пища должна гнить, потому что ее гноят намеренно.

Люди приходят с сетями вылавливать картофель из реки, но охрана гонит их прочь; они приезжают в дребезжащих автомобилях за выброшенными апельсинами, но керосин уже сделал свое дело. И они стоят в оцепенении и смотрят на проплывающий мимо картофель, слышат визг свиней, которых режут и засыпают известью в канавах, смотрят на апельсинные горы, по которым съезжают вниз оползни зловонной жижи; и в глазах людей поражение; в глазах голодных зреет гнев. В душах людей наливаются и зреют гроздья гнева — тяжелые гроздья, и дозревать им теперь уже недолго.

ГЛАВА XXVI

В один из вечеров в лагере Уидпетч, когда длинные узкие облака толпились у горизонта, пламенея по краям отсветами закатившегося солнца, семья Джоудов долго не расходилась после ужина. Мать не сразу принялась за мытье посуды.

— Надо что-то делать,— сказала она и мотнула головой на Уинфилда.— Взгляните на него.— Все посмотрели на мальчика.— Спит плохо, во сне дергается. А какой бледный! — Все пристыженно потупились.— Ведь на одних лепешках сидит,— сказала

мать.— Мы здесь уже месяц. Том проработал всего пять дней. Вы рыщете с утра до вечера, а работу найти не можете. И боитесь поговорить начистоту. Деньги на исходе. А вы боитесь поговорить — духу у вас не хватает. Поужинаете вечером и расходитесь кто куда. А поговорить надо. Розе рожать скоро, а посмотрите — какая она бледная. Давайте поговорим. И, пожалуйста, не расходитесь, пока не надумаете, как быть дальше. Сала хватит на день, муки на два дня, еще есть десяток картошек. Вот, подумайте, пораскиньте мозгами.

Они молчали, не поднимая глаз. Отец вычищал перочинным ножом грязь из-под своих твердых, как железо, ногтей. Дядя Джон ковырял расщепленную доску на ящике. Том прихватил пальцами нижнюю губу и оттянул ее.

Он опустил руку и тихо сказал:

— Мы ищем работу, ма. Ходим всюду пешком, потому что бензина не напасешься. Заглядываем в каждые ворота, в каждый дом. Иной раз знаем, что без толку, а все равно мимо не проходим. Приятного мало — искать работу и знать, что все равно ничего не найдешь.

Мать сказала гневно:

— Какое вы имеете право падать духом? Семья погибает. Нет у вас такого права.

Отец внимательно оглядел чистый ноготь.

— Придется уезжать,— сказал он.— Мы не хотели, а придется. Лагерь хороший, и люди здесь хорошие. Мы боялись, как бы опять не попасть в какой-нибудь Гувервиль.

— Что ж, приходится уезжать, так уедем. Надо о еде думать, вот что главное.

Заговорил Эл:

— Бензин у меня есть — целый бак. Я только молчал об этом.

Том улыбнулся:

— Эл у нас хоть и шалопай, а иной раз соображает.

— Ну, думайте,— сказала мать.— Я больше не хочу смотреть, как семья голодает. Сала у меня на день. И всё. Роза разрешится, ее надо кормить как следует. Думайте!

— Тут горячая вода, уборные...— начал отец.

— Уборными сыт не будешь.

Том сказал:

— Сегодня приезжал один, звал на работу в Мэрисвилл. Собирать фрукты.

— А почему нам не поехать в Мэрисвилл? — спросила мать.

— Да не знаю,— сказал Том.— Что-то не понравился мне этот человек. Уж очень зазывал. А сколько будут платить, не говорит. Будто бы не знает точно.

Мать сказала:

— Поедем в Мэрисвилл. Все равно, сколько ни заплатят. Едем.

— Это очень далеко,— сказал Том.— Не хватит на бензин. Не доберемся. Вот ты, ма, говоришь «думайте». А я ничего другого не делаю, только и думаю все время.

Дядя Джон сказал:

— Тут один говорил, будто скоро начнут собирать хлопок в Туларе. Это, кажется, недалеко.

— Надо уезжать, и поскорее. Хоть лагерь и хороший, а я здесь все равно больше не останусь.— Мать взяла ведро и отправилась в санитарный корпус за горячей водой.

— Ма у нас совсем разошлась,— сказал Том.— Я ее такой злющей давно не видал. Прямо кипит.

Отец облегченно вздохнул:

— Что ж, она хоть заговорила обо всем начистоту. Я уж сколько ночей не сплю, ломаю себе голову. А теперь решим, как быть дальше.

Мать вернулась с полным ведром; от горячей воды шел пар.

— Ну,— спросила она,— надумали?

— Все еще думаем,— ответил Том.— А что, если в самом деле двинуться на север, где хлопок? Здесь мы всё объездили. Здесь ничего не найдешь, это уже ясно. Так вот, давайте погрузим все вещи и подадимся на север. Поспеем как раз к самому сбору. Я на хлопок пойду с превеликим удовольствием. Эл, а бензина у тебя полный бак?

— Почти. Двух дюймов не хватает.

— Что ж, этим обойдемся.

Мать подняла тарелку над ведром.

— Ну? — спросила она.

Том сказал:

— Ну, победила. Поедем. Так, что ли, па?

— Видно, придется,— ответил отец.

Мать взглянула на него.

— Когда?

— Да откладывать нечего. Можно и завтра утром.

— Утром и поедем. Я же вам говорю, сколько у меня всего осталось.

— Ты, ма, не думай, мне здесь тоже не хочется сидеть. Я уже две недели досыта не наедался. Есть — ел, да толку от такой еды мало.

Мать опустила тарелку в ведро.

— Значит, утром,— сказала она.

Отец хмыкнул:

— Вот какие времена настали,— язвительно проговорил он.— Раньше мужчина всем распоряжался. А теперь женщины командуют. Похоже, надо припасать палку.

Мать поставила мокрую тарелку на ящик. Она улыбнулась, не поднимая головы.

— Что ж, припасай. Вот будем сыты, устроимся где-нибудь, тогда, может, палка тебе и пригодится. А сейчас ты не делаешь своего прямого дела — не работаешь, не думаешь за всю семью. Будь по-иному — что ж, пожалуйста, замахивайся своей палкой, а женщины притаятся, как мыши, и только носом будут шмыгать. Тебе кажется, что женщину и сейчас можно исколотить. Нет, па! Сейчас тебе придется вступить с ней в драку, потому что у нее тоже палка припасена.

Отец оторопело улыбнулся.

— Ты бы хоть при детях этого не говорила, им такие слова пользы не принесут,— сказал он.

— А ты сначала накорми их, а потом рассуждай, где польза, а где вред,— ответила мать.

Отец встал с негодующим видом и ушел, и дядя Джоп поплелся за ним.

Руки матери все еще плескались в ведре, но она проводила обоих мужчин взглядом и горделиво сказала Тому:

— Он молодец. Еще держится. Того и гляди, меня отколотит.

Том засмеялся:

— Ты что же это — нарочно его подзуживаешь?

— Конечно,— сказала мать.— Мужчина иной раз мучается, мучается — совсем себя изведет, потом, глядишь, и ноги протянул с тоски. А если его разозлить как следует, тогда все будет хорошо. Па ничего не сказал, а обозлился — ух как! Он мне теперь покажет.

Эл встал.

— Пойду прогуляюсь немного,— сказал он.

— Не мешало бы машину проверить перед отъездом,— напомнил ему Том.

— Нечего там проверять.

— Смотри! Если что случится, ма на тебя напущу.

— Нечего там проверять.— Эл молодцевато зашагал вдоль палаток.

Том вздохнул:

— А я что-то устал, ма. Может, ты и меня разозлишь?

— Ты умнее, Том. Злить тебя незачем. У тебя поддержки надо искать. Остальные все... будто чужие... все, кроме тебя. А ты не сдашь, Том.

Все ложилось на его плечи.

— Не нравится мне это,— сказал он.— Я хочу погулять, как Эл. Хочу обозлиться, как па, или запьянствовать, как дядя Джон.

Мать покачала головой:

— Ничего у тебя не выйдет, Том. Я знаю. Я это с тех пор знаю, когда ты был еще маленький. Не выйдет, Том. Есть такие люди, которые устроены раз и навсегда. Вот Эл — мальчишка, у него одни девчонки на уме. А ты никогда таким не был.

— Как не был? — сказал Том.— Всегда был и сейчас такой.

— Нет. Ты что ни сделаешь, все поверх себя захватишь. Я это всегда знала, и когда тебя в тюрьму посадили, тоже знала. Такой уж ты человек.

— Нет, ма! Ты это брось. Это тебе только так кажется.

Она положила вилки и ножи на груду тарелок.

— Может быть. Может, и кажется. Роза, вытри посуду и убери.

Роза Сарона, выпятив свой огромный живот, с трудом поднялась с места. Она лениво подошла к ящику и взяла в руки мокрую тарелку.

Том сказал:

— Ишь как ее расперло, даже глаза на лоб вылезли.

— Нечего над ней подтрунивать,— сказала мать.— Она у нас молодец! А ты бы пошел простился с кем надо.

— Ладно,— сказал Том.— Пойду узнаю, далеко ли туда ехать.

Мать сказала Розе Сарона:

— Это он так болтает, это не обидно. А где Руфь с Уинфилдом?

— Убежали за отцом.

— Ну, пусть их.

Роза Сарона лениво перетирала тарелки. Мать незаметно оглядела ее.

— Ты здорова ли? Я смотрю, у тебя будто щеки запали.

— Мне велели пить молоко, а я не пью.

— Знаю. Молока нет.

Роза Сарона хмуро проговорила:

— Если б Конни не ушел, мы бы теперь жили в своем домике, он бы учился. И молоко бы покупали. И ребенок родился бы здоровый. А теперь какой он будет? Мне надо пить молоко.— Она сунула руку в карман передника и положила что-то в рот.

Мать спросила:

— Что ты грызешь? Покажи.

— Ничего.

— Покажи, что это у тебя?

— Ну, известка. Я нашла большой кусок.

— Это все равно что землю есть.

— А меня тянет на нее.

Мать долго молчала. Она разгладила руками платье на коленях.

— Это бывает,— сказала она наконец.— Я раз съела кусок угля, когда была беременная. Большой кусок угля. Бабка меня отругала. А ты не говори так про ребенка. Ты даже думать об этом не имеешь права.

— Ни мужа. Ни молока.

Мать сказала:

— Будь ты здоровая, я бы тебе всыпала как следует. Поще-чину бы залепила.— Она встала и ушла в палатку. И вскоре вышла и, остановившись перед Розой Сарона, протянула руку.— Смотри! — В руке у нее были маленькие золотые серьги.— Это тебе.

Глаза у Розы Сарона повеселели, но она тут же отвела их в сторону.

— У меня уши не проколоты.

— А я сейчас их проколю.— Мать снова ушла в палатку. Она вернулась с картонной коробочкой в руках. Быстро продела в иглу нитку, взяла ее вдвое и завязала несколько узелков. Потом продела нитку во вторую иглу, тоже завязала ее узелками и вынула из коробочки пробку.

— Больно будет. Ой!

Мать подошла к Розе Сарона, сунула пробку ей за ухо и проколола мочку иглой.

Роза Сарона съежилась.

— Колет. Ой, будет больно!

— Больнее не будет.

— Нет, будет.

— Ну, хорошо. Давай сначала посмотрим с другой стороны.— Она подложила пробку ей за ухо и проколола вторую мочку.

— Ой, будет больно!

— Тише, тише,— сказала мать.— Вот и все.

Роза Сарона с удивлением посмотрела на нее. Мать перерезала нитки и протянула в обе мочки по узелку.

— Ну вот,— сказала она.— Теперь будем каждый день протягивать по одному узелку, а через две недели сможешь надеть серьги. Возьми! Это теперь твое. Спрячь их у себя.

Роза Сарона осторожно потрогала уши и посмотрела на капельки крови, оставшиеся на пальцах.

— Совсем не больно. Только чуть укололо.

— Это давно надо было сделать,— сказала мать. Она взглянула дочери в лицо и торжествующе улыбнулась.— Ну, кончай с

посудой. Ребенок у тебя будет хороший. Я чуть не забыла,— тебе рожать скоро, а уши не проколоты. Ну, теперь не страшно.

— Разве это что-нибудь значит?

— Конечно,— сказала мать.— Конечно, значит.

Эл неторопливо шел к площадке для танцев. Поравнявшись с одной маленькой палаткой, он негромко свистнул и зашагал дальше. Он вышел за черту лагеря и сел на траву.

Красная каемка облаков, собравшихся на западе, потухла, и сердцевина у них стала черная. Эл почесал ноги и поднял голову, глядя в вечернее небо.

Через несколько минут невдалеке показалась девушка — белокурая, хорошенькая, с точеными чертами лица. Она молча села рядом с ним на траву. Эл обнял ее за талию, и его пальцы забрались чуть повыше.

— Не надо,— сказала она.— Щекотно.

— А мы завтра уезжаем,— сказал Эл.

Она испуганно посмотрела на него.

— Завтра? Куда?

— Дальше на север,— небрежно бросил он.

— А мы поженимся?

— Поженимся — когда-нибудь.

— Ты говорил, что совсем скоро! — сердито крикнула она.

— Как скоро, так сейчас.

— Ты же обещал! — Его пальцы забрались еще выше.— Отстань! — крикнула она.— Ты говорил, мы поженимся.

— Ну и поженимся.

— А теперь собрался уезжать?

Эл спросил:

— А чего ты разволновалась? Забеременела, что ли?

— Нет.

Эл рассмеялся.

— Выходит, я даром время терял.

Она вздернула подбородок, вскочила.

— Хорошо, Эл Джоуд! Ты больше ко мне не лезь. Я на тебя и смотреть не стану.

— Брось. Ну что еще выдумала!

— Вообразил о себе бог знает что. Ишь — удалец выискался!

— Ну подожди.

— Думаешь, я буду с тобой гулять? Как бы не так. Будто у меня других нет!

— А ты подожди.

— Убирайся!

Эл вдруг подался вперед, схватил ее за щиколотку и рванул к себе. Она упала, он обнял ее и зажал ей рукой злобно кривив-

шийся рот. Она пыталась укусить его, но он сдержал ее другой рукой, а ладонь выгнул чашечкой. И через минуту она затихла, а еще через минуту они уже смеялись, лежа в сухой траве.

— Мы скоро вернемся,— сказал Эл.— Я привезу много денег. Поедем с тобой в Голливуд, будем ходить в кино.

Она лежала на спине. Эл нагнулся над ней. Он увидел черные облака, отражавшиеся в ее глазах, и он увидел в ее глазах яркую ночную звезду...

— Поедем на поезде,— сказал Эл.

— А когда это будет? — спросила она.

— Ну, может, через месяц,— ответил он.

Сумерки сгустились; отец и дядя Джон сидели на корточках у крыльца конторы, где собрались и другие главы семейств. Перед глазами у них была ночь и неизвестное будущее. Маленький управляющий в потертом белом костюме стоял, облокотившись на перила крыльца. Лицо у него было усталое, осунувшееся.

Хастон повернулся к нему.

— Вы бы пошли вздремнуть, мистер.

— Да, не мешает. Сегодня ночью в одной палатке у третьего корпуса были роды. Я скоро стану настоящей повивальной бабкой.

— Надо уметь и это,— сказал Хастон.— Женатому человеку все надо уметь.

Отец сказал:

— Мы завтра уезжаем.

— Вот как? Куда же?

— Думаем, дальше на север. Может, устроимся на сбор хлопка. Сидим без работы. Есть нечего.

— А там есть работа? — спросил Хастон.

— Не знаю, но ведь тут-то ее наверняка нет.

— Немного погодя будет,— сказал Хастон.— Мы решили ждать.

— Уезжать не хочется,— продолжал отец.— Народ здесь хороший... уборные и все такое прочее. Да ведь кормиться-то надо. Бак у нас заправлен. Куда-нибудь доберемся. Мы здесь мылись каждый день. Я в жизни таким чистым не ходил. И ведь чудно́ — раньше мылся только раз в неделю, а по́том от меня не пахло. А теперь — пропустишь день, и от тебя разит. Отчего бы это? От частого мытья, что ли?

— Может, ты раньше просто не замечал этого? — сказал управляющий.

— Все может быть. Не хочется уезжать.

Маленький управляющий стиснул виски ладонями.

— Чует мое сердце, будет сегодня ночью еще один новорожденный,— сказал он.

— У нас в семье тоже скоро ожидается,— сказал отец.— Здесь бы ей лучше было рожать. Куда лучше.

Том, Уилли и метис Джул, болтая ногами, сидели на краю танцевальной площадки.

— А я табачку раздобыл,— сказал Джул.— Закурим?

— С удовольствием,— сказал Том.— Я век не курил.— Он аккуратно свернул самокрутку, стараясь не просыпать табак.

— Жалко вас провожать,— сказал Уилли.— Вы люди хорошие.

Том закурил.

— Я много над этим думал — уезжать, оставаться? Поскорее бы осесть где-нибудь.

Джул взял у него свою пачку табака.

— Да, плохо нам живется,— сказал он.— У меня дочка маленькая. Думал, пошлю ее в школу. А какая там школа, когда подолгу нигде не задерживаешься. Поживешь немного в одном месте, и надо тащиться дальше.

— Хоть бы нам в эти гувервили не пришлось заезжать,— сказал Том.— Я в одном натерпелся страху.

— А что, понятые донимали?

— Боялся, как бы не убить кого,— ответил Том.— Мы и побыли-то в нем совсем недолго, а я просто кипел весь. Приехал понятой, забрал моего приятеля,— а за что? Тот ему слово поперек сказал. Я просто еле сдерживал себя.

— А ты бастовал когда-нибудь? — спросил Уилли.

— Нет.

— Я все думаю: почему понятые у нас в лагере не бесчинствуют? Неужели же их удерживает тот маленький из конторы? Нет, сэр, тут дело не в этом.

— В чем же? — спросил Джул.

— А в том, что мы действуем сообща. Понятой если протянет лапу, так не к одному человеку, а ко всему лагерю. А на это он не осмелится. Нам только крикнуть, все двести человек прибегут. Тут один организатор из союза собрал народ у дороги. Говорит, так повсюду можно сделать. Держись друг за дружку — и только. С двумястами человек шутки плохи. Они одиночек выхватывают.

— Ну, хорошо, будет союз,— сказал Джул.— Но ведь без вожаков не обойдешься. А схватят вожака — и союз твой поминай как звали.

— Когда-нибудь придется над этим подумать,— сказал Уилли.— Я здесь уже целый год, а заработная плата падает на глазах. Сейчас семью никак не прокормишь, и день ото дня все хуже и хуже. Что ж нам, сидеть сложа руки и голодать? Просто не знаю, что и делать. Лошадей кормят, даже если они стоят без работы, хозяину и в голову не придет морить их голодом. А вот когда на него работают люди, плевал он на них. Выходит, лошадь дороже людей? Не понимаю я этого.

— Мне уж и думать не хочется,— сказал Джул.— А думать надо. Вот у меня дочка. Сами знаете — красавица. Ей здесь даже приз выдали за красоту. А что с ней дальше будет? Худеет не по дням, а по часам. Смотреть на нее больно. Красавица... Я под конец не выдержу и что-нибудь такое сотворю!..

— Что? — спросил Уилли.— Что ты сотворишь — пойдешь на воровство, сядешь в тюрьму? Убьешь кого-нибудь, угодишь на виселицу?

— Не знаю,— сказал Джул.— У меня ум за разум заходит. Просто ум за разум заходит.

— А я здешние танцы еще не раз вспомню,— сказал Том.— Такие редко где бывают. Что ж, пора спать. Всего вам хорошего. Еще повстречаемся.— Он пожал им руки.

— Обязательно повстречаемся,— сказал Джул.

— Ну, всего вам хорошего.— Том ушел и скрылся в темноте.

В темной палатке Джоудов на матраце лежали Руфь и Уинфилд, а мать пристроилась рядом с ними. Руфь шепнула:

— Ма...

— Что? Ты еще не спишь?

— Ма... а там, куда мы едем, будет крокет?

— Не знаю. Спи. Завтра рано вставать.

— Тогда лучше здесь остаться, где есть крокет.

— Ш-ш!

— Ма, а Уинфилд сегодня побил одного мальчика.

— Нехорошо.

— Я знаю. Я ему так и сказала. Он его по носу ударил. Ух, черт! Кровь так и полилась.

— Не надо такие слова говорить. Нехорошо.

Уинфилд повернулся к ним лицом.

— Он обозвал нас Оки,— с ненавистью сказал Уинфилд.— А про себя говорит: я не Оки, я из Орегона. А вы, говорит, поганые Оки. За это я его и побил.

— Ш-ш! Это нехорошо. Пусть его дразнит, тебе-то что?

— А я не хочу,— злобно сказал Уинфилд.

— Ш-ш! Спите.

Руфь сказала:

— Ты бы видела — кровь как брызнет, всю рубашку ему залила.

Мать выпростала руку из-под одеяла и легонько хлопнула Руфь пальцем по щеке. Девочка замерла на минуту, потом шмыгнула носом и беззвучно заплакала.

В санитарном корпусе, в двух смежных уборных, сидели отец и дядя Джон.

— Хоть напоследок подольше посидеть,— сказал отец.— Хорошие уборные. Помнишь, как ребятишки перепугались, когда в первый раз спустили воду.

— Я сам первое время трусил,— сказал дядя Джон. Он аккуратно подтянул штаны к коленям.— Плохо мне,— сказал он.— Чувствую, опять согрешу.

— Не согрешишь,— сказал отец.— Денег-то нет. Крепись. Грех обойдется доллара в два, не меньше, а где их сейчас возьмешь?

— Да, верно... Только у меня и мысли грешные.

— Ну что ж. Это можно и бесплатно.

— Все равно грех,— сказал дядя Джон.

— Зато дешево,— сказал отец.

— А ты не шути с грехом.

— Я не шучу. Валяй греши. С тобой всегда так: тут черт-те что делается, а ты носишься со своими грехами.

— Знаю,— сказал дядя Джон.— Со мной всегда так. Но вы и половины моих грехов не знаете.

— Держи их про себя.

— Вот и с уборными тоже — сижу, и все мне чудится, будто это грех.

— Тогда ходи в кустики. Ну, подтягивай штаны, пойдем. Надо спать ложиться.— Отец продел руки в проймы комбинезона и застегнул пряжку. Он спустил воду и долго стоял, задумчиво глядя, как она бурлит в унитазе.

Было еще темно, когда мать разбудила свое семейство. В открытые двери освещенных по-ночному корпусов лился неяркий свет. Из соседних палаток доносились разнообразные похрапывания.

Мать сказала:

— Поднимайтесь, вылезайте отсюда. Пора ехать. Скоро уже рассветет.— Она подняла скрипучую затворку фонаря и зажгла фитиль.— Вставайте, вставайте.

Под навесом лениво завозились, сбросили байковые и ватные одеяла. Сонные глаза щурились на свет. Мать надела платье поверх рубашки, в которой она спала.

— Кофе нет,— сказала она.— Осталось несколько лепешек. Будем есть их дорогой. Ну, поднимайтесь, надо грузить вещи. Только потише, а то соседей разбудите.

Прошло еще несколько минут, прежде чем они окончательно стряхнули с себя сон.

— Никуда не бегать,— предупредила мать Руфь и Уинфилда. Все оделись. Мужчины убрали палатку и погрузили вещи.— Поровнее укладывайте,— сказала мать. Они положили сверху матрац и перекинули брезент через жердь.

— Ну так,— сказал Том.— Готово, ма.

Мать держала в руках тарелку с холодными лепешками.

— Хорошо. Вот, берите по одной. Больше у нас ничего нет.

Руфь и Уинфилд схватили по лепешке и залезли на грузовик. Они покрылись одеялами и заснули, не выпуская из рук холодные жесткие лепешки. Том сел в кабину, нажал кнопку стартера. Мотор чихнул и заглох.

— Черт тебя побери, Эл! — крикнул Том.— Батарея разряжена.

Эл пришел в ярость:

— А как ее подзарядишь. когда бензину в обрез?

И Том вдруг усмехнулся.

— Этого я не знаю, только виноват ты, больше никто. Придется заводить вручную.

— Нет, это не моя вина!

Том спрыгнул на землю и достал ручку из-под сиденья.

— Ну, значит, моя,— сказал он.

— Дай сюда.— Эл схватил ручку.— Поставь на позднее, а то мне пальцы оторвет.

— Ладно. Валяй.

Эл крутил яростно. Двигатель работал с перебоями, стучал, фыркал. Том осторожно заглушал его, потом переставил зажигание и уменьшил подачу газа.

Мать села рядом с ним.

— Так весь лагерь разбудим,— сказала она.

— Ничего, опять заснут.

Эл влез в кабину с другой стороны.

— Па с дядей Джоном сели наверх,— сказал он.— Хотят еще поспать.

Том подъехал к главным воротам. Сторож вышел из конторы и осветил грузовик фонарем.

— Подождите минутку,— сказал он.

— А что такое?

— Совсем уезжаете?

— Да.

— Надо вас вычеркнуть.

— Вычеркивайте.

— Куда поедете?

— Хотим податься дальше на север.

— Ну, счастливо,— сказал сторож.

— Счастливо оставаться. Всего хорошего.

Грузовик осторожно обогнул насыпь и выехал на шоссе. Том вел машину по той же дороге, по которой они приехали сюда,— мимо городка Уидпетча на запад, к шоссе № 99, потом к северу на широкое шоссе, ведущее к Бейкерсфилду. Когда они подъехали к городским окраинам, было уже светло.

Том сказал:

— Куда ни глянешь, везде рестораны. И в каждом подают кофе. Вон тот всю ночь открыт. У них, верно, этого кофе галлонов десять, а ведь горячий, черт его подери.

— А ну тебя! — сказал Эл.

Том усмехнулся, посмотрев на него.

— Я вижу, ты в лагере успел девочкой обзавестись.

— Ну и что же из этого?

— Ма, посмотри, какой он злющий. С ним сегодня шутки плохи.

Эл раздраженно буркнул:

— Я скоро отобьюсь от вас. Одному, без семьи, куда легче.

Том сказал:

— Через девять месяцев ты сам обзаведешься семьей. Я ведь все видел.

— С ума ты сошел,— сказал Эл.— Я устроюсь в гараж, а есть буду в ресторанах.

— А через девять месяцев обзаведешься женой и ребенком.

— Нет, не обзаведусь.

Том сказал:

— Уж очень ты стал умный, Эл. Смотри не нарвись — проучат тебя как следует.

— Кто это меня проучит?

— Такие всегда найдутся,— сказал Том.

— Воображаешь, что тебе всё...

— Да ну будет, Эл,— остановила его мать.

— Я первый начал,— сказал Том.— Мне захотелось подразнить его. Ты не обижайся, Эл. Я не знал, что девочка тебя за сердце зацепила.

— Нет такой девочки, которая бы меня зацепила.

— Ну, нет так нет. Не будем спорить.

Грузовик подъехал к городу.

— Закусочных-то сколько — и все с горячими сосисками,— вздохнул Том.

Мать сказала:

— Том! Я один доллар приберегла. Тебе очень хочется кофе? Тогда возьми.

— Нет, ма. Я просто дурака валяю.

— Возьми, если уж так хочется.

— Не возьму.

Эл сказал:

— Тогда нечего твердить — кофе да кофе!

Том помолчал.

— Меня будто тянет в эти места,— сказал он наконец.— Опять та самая дорога, по которой мы тогда ночью ехали.

— Дай бог, чтобы теперь все сошло гладко,— сказала мать.— Ту ночь и вспоминать не хочется.

— Мне тоже.

Справа от них поднималось солнце, и большая тень от грузовика бежала по дороге с ними рядом, перебирая колья изгороди. Они проехали мимо отстроенного заново Гувервиля.

— Смотрите,— сказал Том.— Тут опять живут. Будто ничего и не случилось.

Дурное расположение духа мало-помалу оставило Эла.

— Мне один рассказывал,— заговорил он,— что у некоторых уж по пятнадцати, по двадцати раз всё сжигали. Они отсидятся в ивняке, потом вылезут и опять сколотят себе какую-нибудь лачугу. Точно суслики. Так к этому привыкли, будто и горя им мало. Будто ненастье пережидают.

— Да, для меня та ночь выдалась ненастная,— сказал Том. Они ехали по широкому шоссе. Солнце грело, но их пробирало дрожью.— А по утрам уж холодновато,— сказал Том.— Скоро зима. Хорошо бы все-таки подработать немного до холодов. Зимой в палатке будет невесело.

Мать вздохнула и подняла голову.

— Том,— сказала она,— к зиме надо подыскать жилье. Хочешь не хочешь, а надо. Руфь еще ничего — держится, а Уинфилд совсем слабенький. Придут дожди, надо устраиваться по-настоящему, в доме. Здесь, говорят, как из ведра льет.

— Подыщем и домик, ма. Ты не беспокойся. Домик будет.

— Лишь бы крыша над головой да пол, чтобы ребятишки спали не на голой земле.

— Постараемся, ма.

— Я не хочу заранее об этом думать.

— Постараемся, ма.

— Меня иной раз страх берет,— продолжала она.— Всю свою храбрость теряю.

— Не видал я, чтобы ты когда-нибудь ее потеряла.

— Нет, бывает... по ночам.

Послышался резкий, шипящий звук. Том крепко стиснул штурвал и нажал тормозной рычаг до отказа. Грузовик остановился. Том вздохнул.

— Кончено дело.— Он откинулся на спинку сиденья. Эл выскочил из кабины и подбежал к правому переднему колесу.

— Гвоздь! Да какой! — крикнул он.

— Заплаты есть?

— Нет,— сказал Эл.— Не осталось. Резины-то хватит, да клей весь вышел.

Том посмотрел на мать и грустно улыбнулся.

— Не надо тебе было говорить про свой доллар. Мы бы как-нибудь сами починили.— Он вылез и подошел к спустившей шине.

Эл показал на длинный гвоздь, торчавший в покрышке.

— Видал?

— Если есть хоть один-единственный гвоздь на всей дороге, так мы обязательно на него напоремся.

— Плохо дело? — спросила мать.

— Да нет, не очень, а все-таки починка.

Верхние пассажиры слезли с грузовика.

— Прокол? — спросил отец, увидел спустившую шину и замолчал.

Том попросил мать выйти и достал из-под сиденья жестянку с заплатами. Он развернул резину, вынул тюбик с пастой и осторожно надавил его.

— Засохла,— сказал он.— Может, все-таки хватит. Эл, подложи чего-нибудь сзади. Будем поднимать домкратом.

Том и Эл работали дружно. Они подложили камни под задние колеса, подняли переднюю ось домкратом и, освободив правое колесо, сняли с него покрышку. Потом, отыскав прокол, намочили тряпку в бензиновом баке и протерли камеру вокруг прокола. Эл растянул ее на коленях, а Том разорвал тюбик пополам и перочинным ножом наложил на резину тонкий слой пасты. Он аккуратно смазывал края прокола.

— Теперь пусть подсохнет, а я пока вырежу заплату.— Он подровнял края синей резины. Эл опять растянул камеру, и Том

осторожно наложил заплату.— Вот так. Теперь клади ее на подножку, надо пришлепать.— Он осторожно ударил несколько раз молотком, потом расправил камеру, глядя на заплату.— Ну ладно. Сойдет. Надевай на обод, сейчас подкачаем. Ма, похоже, твой доллар уцелеет.

Эл сказал:

— Плохо без запаса. Как хочешь, Том, а запас надо иметь. Тогда прокол и ночью не страшен.

— Когда у нас будут деньги на запасной баллон, мы купим на них кофе и мяса,— сказал Том.

Редкие в этот час машины быстро проносились по шоссе, солнце начинало пригревать сильнее. С юго-запада легкими, словно вздохи, порывами дул нежный ветерок, а горы по обе стороны широкой долины еле виднелись в жемчужно-матовом тумане.

Том накачивал камеру ручным насосом, когда на противоположной стороне шоссе остановилась встречная легковая машина. Загорелый человек в светло-сером костюме вылез из нее и пошел к грузовику. Шляпы на нем не было. Он улыбнулся, сверкнув белыми зубами. На безымянном пальце левой руки у него было широкое обручальное кольцо. На тонкой цепочке, пропущенной по жилету, болтался маленький золотой футбольный мяч.

— Здравствуйте,— приветливо сказал он.

Том перестал качать и поднял голову.

— Здравствуйте.

Незнакомец запустил пальцы в коротко подстриженные седеющие волосы.

— Вы, случайно, работу не ищете?

— Конечно, ищем, мистер. Во все норы заглядываем.

— Персики умеете собирать?

— Не приходилось,— ответил отец.

— Мы всё умеем,— быстро проговорил Том.— Мы на всякий сбор пойдем.

Незнакомец потрогал пальцем золотой мячик на цепочке.

— Ну что же, еще миль сорок проедете к северу, там работы сколько угодно.

— Вот и хорошо,— сказал Том.— Вы нам объясните, как туда попасть, и мы вскачь понесемся.

— Поезжайте к северу до Пиксли — это тридцать пять — тридцать шесть миль. А оттуда на восток еще миль шесть — восемь. Спросите, где ферма Хупера. Там работы много.

— Так и сделаем.

— А где еще есть желающие, не знаете?

— Ну как не знать,— сказал Том.— В лагере около Уидпетча таких много найдется.

— Поеду туда. У нас большой набор. Значит, не забудьте: от Пиксли к востоку, и так и держите до самой фермы.

— Есть,— сказал Том.— Большое вам спасибо, мистер. Мы очень нуждаемся в работе.

— Ладно. Поезжайте, не задерживайтесь.— Он перешел дорогу, сел в свою открытую машину и укатил к югу.

Том налег на ручку насоса.

— По двадцать раз будем,— крикнул он.— Раз, два, три, четыре...— После двадцати за насос взялся Эл, потом отец, потом дядя Джон. Камера вздулась, стала пухлой и гладкой. Три раза, по двадцати каждый.— Теперь давайте посмотрим,— сказал Том.

Эл опустил переднюю ось, убрал домкрат.

— Хватит,— сказал он.— Пожалуй, даже чересчур.

Они побросали инструменты в кабину.

— Ну, поехали,— крикнул Том.— Наконец-то мы до работы дорвемся.

Мать села в середину. За руль взялся теперь Эл.

— Полегче, Эл. Смотри, как бы не перегреть мотор.

Они ехали вдоль залитых утренним солнцем полей. Туман, закрывавший вершины холмов, ушел вверх, и бурые холмы, испещренные темно-лиловыми складками, виднелись теперь четко. Дикие голуби взлетали с изгороди, пугаясь грузовика. Эл бессознательно увеличил скорость.

— Легче,— остановил его Том.— Будешь нажимать, заплата не выдержит. Нам лишь бы доехать. Может, еще сегодня немного поработаем.

Мать взволнованно заговорила:

— Если вы устроитесь все четверо, может, лавка отпустит мне в долг. Перво-наперво возьму кофе — вы по нему соскучились, потом муки, соды и мяса. Боковину не буду покупать. Это как-нибудь потом. Может, в субботу. И мыла. Мыло обязательно. Не знаю еще, какое там будет жилье.— Она болтала, не умолкая.— Еще молоко. Обязательно возьму молока для Розы. Няня в лагере говорила, что ей надо пить молоко.

Впереди по теплому на солнце бетону ползла змея. Эл круто свернул, переехал ее и снова выехал на правую сторону дороги.

— Это не гадюка,— сказал Том.— Зря ты ее раздавил.

— Терпеть их не могу,— сказал Эл.— Всех змей, какие только есть на свете. С души воротит от одного их вида.

К полудню движение на шоссе увеличилось: блестевшие лаком машины коммивояжеров с марками компаний на дверцах; громыхающие цепями красно-белые бензовозы; огромные, с квадратными дверцами, грузовики оптовых бакалейщиков. Земля по обе стороны дороги поражала своим богатством. Фруктовые сады, во

всю силу раскинувшие пышную листву, и виноградные лозы, устилавшие междурядья длинными зелеными усиками. Грядки с дынями и зерновые поля. Среди зелени белые домики, оплетенные розами. А солнце было золотое и теплое.

Мать, Том и Эл, сидевшие в кабине, не помнили себя от счастья.

— Я уж давно так не радовалась,— говорила мать.— Если насобираем много персиков, тогда и домик себе подыщем, можно будет снять месяца на два. Без домика никак нельзя.

Эл сказал:

— Я буду откладывать. Скоплю немного, переберусь в город, найду работу где-нибудь в гараже. Сниму комнату, а обедать буду в ресторане. Каждый вечер в кино. Билеты недорогие. Буду ходить на такие картины, где с ковбоями.

Вода в радиаторе забурлила, из-под крышки с шипением вырвалась струя пара.

— Он не пустой у тебя? — спросил Том.

— Нет. Ветер в спину, потому и кипит.

— Хороший денек выдался,— сказал Том.— В Мак-Алестере, бывало, работаешь, а в мыслях только одно: как все будет, когда выпустят. Эх, думаю, вот поживу всласть, небу станет жарко! А теперь кажется, что это бог знает когда было. Точно сто лет с тех пор прошло. Там один надзиратель все придирался. А у меня руки чесались всыпать ему как следует. Потому я, наверно, и зол на эту полицейскую сволочь. Они все будто на одно лицо. У того рожа была красная. Настоящий боров. Говорили, у него брат живет где-то на Западе. Кого выпустят с подпиской, он направляет к братцу, и они там задаром на него работают. Чуть заартачится — назад в тюрьму за нарушение обязательства. Так у нас рассказывали.

— А ты не думай об этом,— взмолилась мать.— Сколько я всякой еды накуплю. Муки, лярда...

— Как же не думать,— сказал Том.— Гонишь, гонишь такие мысли, а они все равно лезут в голову. Там был один полоумный. Я вам про него еще не рассказывал. Безобидный такой. Все хотел совершить побег.— Том тихо засмеялся.

— Не думай об этом,— молила мать.

— Ну а дальше? — спросил Эл.— Дальше рассказывай.

— А тут ничего такого нет, ма,— сказал Том.— Он то и дело замышлял побег. Бывало, составит план, а молчать об этом не может. Не пройдет и двух дней, как всем все известно, даже надзирателю. Он только сунется, а его за ручку — и назад в камеру. Однажды нарисовал план побега, показал его всем и каждому. Мы посмотрели — и ни гугу. После прогулки его в камере нет, но мы

ни слова — молчим. Оказывается, он раздобыл где-то веревку и спустился на ней по стене. А внизу шестеро сторожей стоят с большущим мешком. Он спустился и угодил прямо в мешок. Сторожа завязали его с головой и так в мешке и приволокли в камеру. Все чуть с хохоту не померли. А он после этого совсем приуныл. Уж очень обиделся. Плакал-плакал, начал тосковать, а потом вспорол себе вены булавкой и истек кровью. Не перенес обиды. А смирный был. Каких только полоумных там не встретишь!

— Перестань,— сказала мать.— Я помню Флойда. Ничего в нем плохого не было. Так... несчастный... загнанный.

Солнце поднялось высоко, и тень от грузовика сжалась и ушла под колеса.

— Вот это, наверно, Пиксли,— сказал Эл.— Недавно была стрелка с надписью.— Они проехали маленький городок и свернули к востоку по более узкой дороге. Фруктовые сады, тянувшиеся справа и слева, превращали ее в коридор.

— Поскорее бы найти эту ферму,— сказал Том.

Мать сказала:

— Он говорил, что ферму Хупера всякий покажет. Хорошо бы там лавка была поблизости. Если четверо работают, отчего не отпустить в долг. Я бы тогда приготовила хороший ужин. Может, и тушеное мясо сделаю.

— И кофе,— сказал Том.— И табака для меня тоже не мешает. Я своего табака век не курил.

Далеко впереди дорога была забита машинами, а вдоль обочин стояли цепью белые мотоциклы.

— Авария, что ли? — сказал Том.

Когда они подъехали туда, из-за крайней машины вышел полисмен в высоких зашнурованных башмаках и с широким кожаным поясом. Он поднял руку, и Эл остановил грузовик. Полисмен прислонился к борту.

— Куда едете? — негромко спросил он.

Эл ответил:

— Нам говорили, что здесь неподалеку собирают персики.

— Хотите устроиться на работу?

— Вот именно,— сказал Том.

— Ладно. Подождите здесь минутку.— Он подошел к краю дороги и крикнул: — Еще одна машина. Значит, всего шесть. Надо их пропустить все сразу.

Том крикнул:

— Эй! В чем дело?

Патрульный не спеша вернулся.

— Там какая-то задержка. Вы не беспокойтесь — проедете. Держитесь за последней машиной.

Послышалось громкое фырканье мотоциклов. Машины двинулись, грузовик Джоудов шел последним. Два мотоциклиста ехали впереди, два сзади.

Том неуверенно проговорил:

— Не пойму, что тут такое.

— Может, дорога испорчена? — высказал свое предположение Эл.

— А для чего тогда четыре полисмена? Не нравится мне это.

Передние мотоциклы пошли быстрее. Вытянувшиеся гуськом старые машины тоже пошли быстрее. Эл старался не отставать от той, которая шла перед ними.

— Все такой же народ, как мы,— сказал Том.— Не нравится мне это.

Полисмены круто свернули с шоссе на широкую, усыпанную гравием дорогу. Старые машины не отставали от них. Мотоциклы неслись с оглушительным треском. В стороне, у края дороги, Том увидел людей, стоявших вдоль канавы, увидел их открытые рты — должно быть, они кричали что-то,— стиснутые кулаки и разъяренные лица. Высокая полная женщина кинулась к машинам, но один из мотоциклистов перерезал ей дорогу. Сетчатые ворота распахнулись. Все шесть машин двинулись вперед, и ворота захлопнулись за ними. Четыре мотоциклиста сделали круг и быстро пошли назад. И теперь, когда треск моторов затих, издали донеслись крики людей, выстроившихся вдоль канавы. За воротами, на усыпанной гравием дороге, стояли двое. Оба с винтовками.

Один крикнул:

— Проезжайте, проезжайте. Чего стали?

Все шесть машин двинулись вперед, потом свернули налево и очутились в лагере для сборщиков фруктов.

Перед ними правильным четырехугольником стояло пятьдесят похожих на ящики клетушек с плоскими крышами, каждая с одной дверью и с одним окном. В конце лагеря поднималась высокая цистерна. По другую сторону стояла маленькая бакалейная лавочка. Вдоль каждого ряда клетушек похаживали по двое люди с винтовками и с большими серебряными звездами на рубашках.

Машины остановились. Двое конторщиков обошли их все по очереди.

— Хотите получить работу?

Том ответил:

— Конечно, хотим. А что тут такое происходит?

— Это вас не касается. Работу хотите получить?

— Хотим.

— Фамилия?

— Джоуд.
— Сколько мужчин?
— Четверо.
— Женщин?
— Двое.
— Детей?
— Двое.
— Все могут работать?
— Да, все...
— Ну так. Отыщите дом за номером шестьдесят три. Плата — пять центов с ящика. Помятые персики не принимаем. Ну, поезжайте. И на работу выходите сразу.

Машины двинулись дальше. На двери каждого домика, окрашенного в красный цвет, был номер.

— Шестьдесят,— сказал Том.— Это шестьдесят... значит, дальше. Шестьдесят один, шестьдесят два... Вот он.

Эл подвел грузовик к самым дверям домика. Верхние пассажиры спрыгнули вниз, растерянно озираясь по сторонам. К домику уже шли двое понятых. Они пристально вглядывались в каждого из них по очереди.

— Фамилия?

— Джоуд,— нетерпеливо ответил Том.— Да что тут у вас делается?

Понятой вынул из кармана длинный список.

— У меня таких нет. Ты их никогда не видал? Посмотри номер машины. Нет. Такой у меня не значится. Как будто в порядке.

— Теперь слушайте. Чтобы все было тихо и мирно. Делайте свое дело, не суйтесь, куда вас не просят, тогда все будет хорошо.— Оба понятых круто повернулись и зашагали прочь. Они дошли до конца пыльного проулка и сели на ящики, держа под наблюдением весь ряд домов.

Том долго смотрел на них:

— Это чтоб мы себя как дома чувствовали.

Мать открыла дверь и вошла в домик. Пол там был в сальных пятнах. В единственной комнатушке стояла ржавая железная печка — и больше ничего. Вместо ножек ей служили четыре кирпича, ржавая труба была выведена наружу сквозь дыру в крыше. В комнате пахло салом и по́том. Роза Сарона остановилась рядом с матерью.

— Мы здесь и будем жить?

Мать помедлила, прежде чем ответить.

— Да,— наконец сказала она.— Вымоем — сразу станет чище. Тут надо с тряпкой пройтись.

— В палатке лучше,— сказала Роза Сарона.

— Здесь есть пол;— возразила мать.— И не будет протекать во время дождя.— Она повернулась к двери.— Что ж, надо разгружаться.

Мужчины молча принялись за разгрузку. Им было страшно. Большой квадрат домов молчал. По улице прошла женщина, но она не взгляпула на них. Голова у нее была опущена, подол грязного сарпинкового платья висел клочьями.

Общее уныние передалось и Руфи с Уинфилдом. Они не бросились обследовать новое место. Они стояли около грузовика, около старших, и тоскливо посматривали на пыльный проулок. Уинфилд подобрал с земли кусок толстой проволоки, перегнул ее несколько раз и сломал. Потом загнул короткий обрывок крючком и стал вертеть его пальцами. Когда Том и отец начали таскать матрацы в дом, к грузовику подошел конторщик в брюках защитного цвета и в синей рубашке с черным галстуком. На носу у него сидели очки в серебряной оправе, близорукие глаза за толстыми стеклами были маленькие и красные, с колючими зрачками. Конторщик вытянул шею, вглядываясь в Тома.

— Надо вас записать,— сказал он.— Сколько человек выйдет на работу?

Том ответил:

— Нас четверо — мужчин. А работа тяжелая?

— Сбор персиков,— ответил конторщик.— Оплата сдельная. Пять центов за ящик.

— А если ребятишки будут помогать — это ничего?

— Ну что ж. Только пусть поаккуратнее.

В дверях показалась мать:

— Я тут все приберу и тоже выйду на подмогу. У нас не осталось никакой провизии, мистер. Платить нам будут сразу?

— Нет, денег сразу не дадут. Но можете забирать в долг в лавке на то, что причитается.

— Ну, пойдемте,— сказал Том.— Я сегодня хочу поесть и хлеба и мяса. Куда идти, мистер?

— Я сам туда иду. Пошли вместе.

Том, отец, Эл и дядя Джон зашагали следом за ним по пыльному проулку в глубь сада. Узкие листья на персиковых деревьях начинали желтеть. Персики сидели на ветвях, точно маленькие красно-золотые шары. Среди деревьев стояли пустые ящики. Люди сновали взад и вперед — рвали персики прямо в ведра, из ведер перекладывали в тару, относили полные ящики на приемочный пункт, а там возле грузовиков их ждали приемщики, ставившие отметку против фамилии каждого сборщика.

— Вот еще четверо,— сказал их провожатый.

— Хорошо. Раньше собирали?

— Нет, в первый раз,— ответил Том.

— Смотрите, чтобы поаккуратнее. Ни падалицы, ни побитых. Побитые не принимаем. Вот ведра, возьмите.

Том поднял трехгаллоновое ведро и осмотрел его.

— Все дно дырявое.

— Так и надо,— сказал конторщик в очках.— Чтобы их не воровали. Ну, вон ваш ряд, начинайте.

Джоуды взяли по ведру и вернулись в сад.

— Даром времени не теряют,— сказал Том.

— Пропади они пропадом,— сказал Эл.— Хочу в гараже работать.

Отец покорно шел за Томом. Услышав слова Эла, он круто повернулся к нему.

— Ну, будет. И скулит он, и жалуется, и причитает. Работать надо. Смотри, не такой уж ты большой, тебя и отлупить недолго.

Эл покраснел от злости. Он весь кипел.

Том подошел к нему.

— Перестань, Эл,— спокойно сказал он.— Хлеб и мясо. Надо на них заработать.

Они срывали персик за персиком и бросали их в ведра. Том не ходил, а бегал. Одно ведро доверху, второе. Он опрастывал их в ящик. Третье ведро. Ящик был полон.— Пять центов заработал,— крикнул Том и, подняв ящик, быстро зашагал к приемочному пункту.

— Тут на пять центов,— сказал он приемщику.

Приемщик заглянул в ящик, перевернул два-три персика.

— Сваливай вон туда. Не пойдет,— сказал он.— Говорили вам, не бейте. Надо осторожнее класть, а то ни цента не заработаете.

— Вот дьявол! Да как же...

— Легче, легче. Тебя предупредили с самого начала.

Том хмуро потупился.

— Ладно,— сказал он.— Ладно.— И быстро вернулся к своим.— Можете тоже выкидывать,— сказал он.— У вас не лучше. Такие не принимают.

— Да что в самом деле!..— крикнул Эл.

— Надо осторожнее с ними. Не бросать в ведро, а класть.

Они начали снова и теперь клали персики бережно. Ящики наполнялись медленнее.

— Мы сейчас что-нибудь придумаем,— сказал Том.— А что, если Руфь, или Уинфилд, или Роза будут перекладывать их в ящики? Тогда быстрее пойдет.— Он отнес свой ящик на пункт.— Ну как, теперь есть на пять центов?

Приемщик осмотрел верхний ряд, копнул поглубже.

— Вот теперь лучше,— сказал он и поставил у себя отметку.— Поаккуратнее надо, только и всего.

Том быстро вернулся назад.

— Пять центов! — крикнул он.— Я заработал пять центов. Двадцать таких ящиков — и доллар!

Они работали без передышки. Вскоре их разыскали Руфь и Уинфилд.

— Вы тоже будете работать,— сказал им отец.— Перекладывайте персики в ящик. Только не торопитесь — по одному.

Дети присели на корточки и стали вынимать персики из ведра, и вскоре около них выстроилось еще несколько ведер. Том носил полные ящики на пункт.

— Седьмой,— говорил он.— Восьмой. Сорок центов заработали. За сорок центов можно купить хорошего мяса.

Время шло. Руфь хотела было улизнуть.

— Я устала,— жалобно протянула она.— Я пойду отдохну.

— Никуда ты не пойдешь, оставайся здесь,— сказал отец.

Дядя Джон работал медленно. Том успевал набрать два ведра, пока он набирал одно. Быстрее у него не выходило.

В двенадцать часов пришла мать.

— Я бы раньше поспела, да Розе стало дурно,— сказала она.— Так и упала замертво.

— Вы, наверно, наелись этих персиков,— обратилась мать к Руфи и Уинфилду.— Смотрите, понос будет.

Полное тело матери двигалось легко. Она почти сразу отказалась от ведра и собирала персики в фартук. К заходу солнца у них было сдано двадцать ящиков.

Том опустил на землю двадцатый.

— Доллар,— сказал он.— До какого часа работают?

— До темноты, пока видно.

— А сейчас в лавке отпустят в долг? Мать хочет купить чего-нибудь.

— Что ж, пожалуйста. Выдам вам записку на доллар.— Приемщик написал что-то на клочке бумажки и протянул его Тому.

Том отнес записку матери.

— Получай. Можешь набрать в лавке на доллар.

Мать опустила ведро и расправила плечи.

— Чувствительно в первый раз, правда?

— Еще бы. Ничего, скоро привыкнем. Ну, беги купи чего-нибудь поесть.

Мать спросила:

— А чего тебе хочется?

— Мяса,— ответил Том.— Мяса, хлеба и кофе с сахаром. А главное, мяса побольше.

Руфь заныла:

— Мы устали, ма.

— Тогда пойдемте со мной.

— Они только начали и уж устали,— сказал отец.— Сладу с ними нет. Надо их приструнить как следует, а то совсем от рук отобьются.

— Вот устроимся где-нибудь на постоянное житье, будут ходить в школу,— сказала мать. Она пошла к лавке, и Руфь с Уинфилдом несмело побрели следом за ней.

— Мы каждый день будем работать? — спросил Уинфилд.

Мать остановилась, поджидая их. Она взяла Уинфилда за руку и повела его за собой.

— Работа нетрудная,— сказала она.— Вам это полезно. И нам помощь. Если все будем работать, тогда скоро подыщем себе хороший домик. Надо, чтобы все работали.

— Я устал.

— Знаю, я тоже устала. Всем трудно. А ты подумай о чем-нибудь другом. Думай о том, как будешь ходить в школу.

— Я не хочу в школу, ма. И Руфь тоже не хочет. Мы видели, какие здесь ребята учатся. Противные. Дразнят нас — Оки! Мы их видели. Я не хочу в школу.

Мать с жалостью посмотрела на его белобрысую голову.

— Ты хоть сейчас-то не капризничай,— взмолилась она.— Вот устроимся, тогда пожалуйста. А сейчас не надо. Сейчас нам и без того трудно.

— Я шесть персиков съела,— сказала Руфь.

— Ну, будет понос. А уборной поблизости здесь нет.

Лавка, принадлежащая компании, помещалась в сарае из рифленого железа. Витрины у нее не было. Мать открыла затянутую сеткой дверь и вошла внутрь. За прилавком стоял низкорослый человек. Он был совершенно лысый, и его голый череп отливал синевой. Широкие темные брови таким резким углом взлетали над его глазами, что лицо казалось удивленным и даже испуганным. Нос у него был длинный, тонкий и крючковатый, точно клюв; из ноздрей торчали рыжеватые волосы. Черные сатиновые нарукавники прикрывали рукава его синей рубашки. Когда мать вошла, он стоял, облокотившись на прилавок.

— Добрый день,— сказала мать.

Он с интересом оглядел ее. Брови взлетели еще выше.

— Здравствуйте.

— У меня талон на доллар.

— Что ж, забирайте товару на свой доллар,— сказал продавец и визгливо хихикнул.— Да-с. На весь доллар. На один дол-

лар.— Он повел рукой, показывая на полки.— Что угодно есть,— и подтянул нарукавники.

— Я думаю мяса взять.

— Все сорта держим. Фарш. Хотите фарша? Двадцать центов фунт.

— Что-то очень дорого. По-моему, я последний раз брала по пятнадцати.

— Да, дорого.— Продавец хихикнул.— А в то же время не так уж дорого. Поезжайте-ка за фаршем в город, на это уйдет почти галлон бензина. Выходит, что и не дорого, потому что бензина у вас нет.

Мать строго проговорила:

— А разве вы тоже потратили галлон бензина, чтобы привезти это мясо сюда?

Продавец восторженно захохотал.

— Так рассуждать — все шиворот-навыворот получится,— сказал он.— Мы мясо не покупаем, мы его продаем. А если б покупали, тогда дело другое.

Мать поднесла два пальца к губам и сосредоточенно нахмурила брови.

— Тут одно сало да жилы.

— Я за него не ручаюсь, может, оно и не сварится. И за то, что сам стал бы его есть, тоже не ручаюсь. Да мало ли чего я не стал бы делать.

Мать бросила на него свирепый взгляд. Она старалась сладить со своим голосом:

— А подешевле есть что-нибудь?

— Бульонка,— ответил он.— Десять центов фунт.

— Да ведь это одни кости?

— Одни кости,— подтвердил он.— Вкусный суп будет. Из одних костей.

— А суповое мясо?

— Есть и суповое. Пожалуйста. Двадцать пять центов.

— Может, без мяса обойтись? — сказала мать.— Да им хочется. Просили мяса купить.

— Мяса всем хочется, мясо всем нужно. Возьмите фарш. Сало вытопите, пойдет на подливку. Хороший фарш. Ничего не пропадет. Костей выкидывать не придется.

— А почем... почем боковина?

— Вон куда вы махнули! Это едят только на рождество. Или в день всех святых. Тридцать пять центов фунт. Будь у меня индейка, я бы вам индейку дешевле уступил.

Мать вздохнула.

— Давайте два фунта фарша.

— Слушаю, мэм.— Он соскреб бледное мясо на вощеную бумагу.— Что еще?

— Еще хлеба.

— Прошу. Большая буханка пятнадцать центов.

— Ей цена двенадцать.

— Совершенно верно. Поезжайте в город, там купите за двенадцать. Галлон бензина. Что прикажете еще? Картошки?

— Да, картошки.

— На четверть доллара пять фунтов.

Мать с грозным видом двинулась на него.

— Наслушалась я вас, довольно! Я знаю, какие цены в городе.

Продавец поджал губы.

— Поезжайте в город.

Мать посмотрела на свою стиснутую в кулак руку.

— Что же это такое? — тихо спросила она.— Вы здесь хозяин?

— Нет. Я здесь работаю.

— А зачем вы шутки шутите? Так легче, что ли?

Она разглядывала свои заскорузлые, морщинистые руки. Продавец молчал.

— Кто же здесь хозяин?

— Акционерное общество «Ферма Хупера», мэм.

— Оно и цены устанавливает?

— Да, мэм.

Мать подняла на него глаза и чуть улыбнулась.

— К вам, наверно, кто ни придет, все вот так сердятся, как я?

Он помолчал, прежде чем ответить.

— Да, мэм.

— Потому вы и шутки шутите?

— То есть как?

— Такое подлое дело. Вам, наверно, стыдно. Поневоле отшучиваетесь.— Голос у матери был мягкий. Продавец как зачарованный смотрел на нее. Он молчал.— Значит, так,— сказала наконец мать.— Сорок центов за мясо, хлеб — пятнадцать, картошка — двадцать пять. Всего восемьдесят центов. А кофе?

— Самый дешевый — двадцать центов, мэм.

— Значит, ровно доллар. Работали семеро, а наработали только на ужин.— Она опять взглянула на свои руки.— Заверните,— быстро проговорила она.

— Слушаю, мэм,— сказал продавец.— Благодарю вас.— Он положил картошку в бумажный мешок и аккуратно загнул его сверху. Потом покосился на мать и быстро спрятал глаза, опустив их к прилавку.

Мать следила за ним и чуть улыбалась.

— Как же вы пошли на такую работу? — спросила она.

— А есть человеку надо? — сказал продавец и повторил грозно: — Надо человеку есть?

— Какому человеку? — спросила мать.

Он положил на прилавок четыре пакета.

— Фарш, картофель, хлеб, кофе. Ровно доллар.

Мать протянула ему талон и подождала, пока он запишет фамилию и сумму.

— Вот так,— сказал продавец.— Теперь в расчете.

Мать взяла пакеты с прилавка.

— Слушайте,— сказала она.— У нас нет сахара к кофе. Том — мой сын — захочет с сахаром. Слушайте. Они сейчас работают. Отпустите мне сахару, а талон я принесу потом.

Продавец отвел глаза в сторону — отвел так, чтобы не видеть матери.

— Не могу,— тихо сказал он.— Такое правило. Не могу. Мне влетит. Выгонят.

— Да ведь они работают в саду. Им уж, верно, больше десяти центов причитается. Дайте мне только на десять центов. Тому хочется сладкого кофе. Он просил купить сахара.

— Не могу, мэм. Такое правило. Без талона товар не отпускается. Управляющий то и дело мне это твердит. Нет, не могу. Не могу. Меня поймают. На этом нас всегда ловят. Всегда. Не могу.

— На десять центов?

— И на один не могу.— Он умоляюще посмотрел на нее. И вдруг его лицо преобразилось — испуга как не бывало. Он вынул из кармана десять центов и опустил их в кассу.— Вот,— с облегчением сказал он, достал из-под прилавка маленький пакетик, расправил его, всыпал туда немного сахара, взвесил и добавил еще несколько кусков.— Получайте. Все в порядке. Принесете талон, я вычту свои десять центов.

Мать не сводила с него глаз. Ее рука потянулась к пакетику с сахаром и положила его сверху на кульки.

— Спасибо вам,— негромко сказала мать. Она подошла к двери и, став на порог, оглянулась.— Одно я заучила крепко,— сказала она.— Все время этому учусь, изо дня в день. Если у тебя беда, если ты в нужде, если тебя обидели — иди к беднякам. Только они и помогут, больше никто.— Дверь за ней захлопнулась.

Продавец облокотился на прилавок, глядя матери вслед своими удивленными глазами. Раскормленная пестрая кошка вспрыгнула к нему, подошла лениво и потерлась о его плечо. Он протянул руку и прижал ее к щеке. Кошка громко мурлыкала, подергивая кончиком хвоста.

Том, Эл, отец и дядя Джон возвращались из сада, когда было уже совсем темно. Они шли, устало волоча ноги.

— Протягиваешь руку, срываешь персик — только и всего, а спина прямо разламывается,— сказал отец.

— Дня через два пройдет,— сказал Том.— Слушай, па, я после ужина хочу пойти разузнать, что там творилось за воротами. Покоя мне это не дает. Пойдешь со мной?

— Нет,— ответил отец.— Я хоть немножко хочу пожить так, чтобы работать и ни о чем не думать. Последнее время только и делал, что мозгами шевелил,— замучил их насмерть. Нет, я посижу немножко, а потом спать.

— Ну а ты, Эл?

Эл отвел глаза в сторону.

— Я, пожалуй, поброжу по лагерю, оглядеться надо,— ответил он.

— Дядя Джон не пойдет, я знаю. Что ж, схожу один. Меня любопытство разбирает.

Отец сказал:

— А у меня любопытство тогда разгорится, когда тут полисменов поубавится.

— Может, ночью их там не будет,— сказал Том.

— Проверку им устраивать я не собираюсь. Ты матери лучше не говори, куда идешь. Не то она изведется.

Том повернулся к Элу.

— А тебе не любопытно узнать, что там происходит?

— Я лучше по лагерю поброжу.

— Девочек разыскивать?

— Это мое дело,— огрызнулся Эл.

— А я все-таки пойду,— сказал Том.

Они вышли из сада в пыльный проход между двумя рядами красных домишек. Кое-где из дверей лился неяркий желтый свет керосиновых фонарей, а внутри, в полумраке, двигались черные тени. В дальнем конце прохода, прислонив винтовку к коленям, по-прежнему сидел караульный.

Том замедлил шаги, поравнявшись с ним.

— Здесь есть где помыться, мистер?

Караульный пригляделся к нему в темноте, потом сказал:

— Видишь цистерну?

— Да.

— Там шланг есть.

— А вода горячая?

— Подумаешь, важная птица! Ты кто — Джон Пиртойнт Морган, что ли?

— Нет,— сказал Том.— Что вы, что вы! Спокойной ночи, мистер!

Караульный презрительно фыркнул.

— Горячая вода! Вот новости! Скоро, чего доброго, ванну потребуют.— Он угрюмо посмотрел вслед Джоудам.

Из-за угла дома вышел второй караульный.

— Ты что, Мэк?

— Да все эти поганые Оки. Спрашивает: «Горячая вода есть?»

Второй караульный опустил приклад на землю.

— Вот они, правительственные лагеря, что делают. Эти, наверно, тоже там побывали. Нет, до тех пор, пока с правительственными лагерями не покончим, добра не будет. Не успеешь оглянуться, у тебя чистые простыни потребуют.

Мэк спросил:

— Ну, как там, за воротами?

— Весь день сегодня орали. Теперь федеральная полиция за них взялась. Достанется этим крикунам. Говорят, там какой-то один — высокий, худой — всех подзуживает. Сегодня его поймают, и тогда всей этой заварухе конец.

— Если все так просто уладится, пожалуй, мы останемся без работы,— сказал Мэк.

— Для нас работа всегда найдется. Ведь это Оки! За ними нужен глаз да глаз. А если уж очень притихнут, можно и расшевелить немножко.

— Вот снизят оплату, тогда, наверно, забеспокоятся.

— Ну еще бы! Да нет, ты не бойся — без работы сидеть не будем. Здешние хозяева не зевают.

В домике Джоудов ярко горела печка. На сковороде шипели и брызгали салом котлеты, в котелке с картошкой закипала вода. Комната была полна дыма, и желтый свет фонаря бросал на стены густые черные тени. Мать хлопотала у печки, а Роза Сарона сидела на ящике, подпирая коленями свой тяжелый живот.

— Ну как, получше тебе? — спросила мать.

— Жареным очень пахнет — мутит. А есть хочется.

— Пойди посиди в дверях,— сказала мать.— Я все равно ящик скоро разломаю.

Мужчины вошли гурьбой.

— Мясо, ей-богу, мясо! — крикнул Том.— И кофе! Ух и проголодался же я! Сколько персиков съел, а сытости никакой. Ма, где помыться?

— Сходите к цистерне. Там и помоетесь. Я детей туда послала.

Мужчины вышли.

— Вставай, Роза, вставай,— понукала мать.— Или в дверях садись, или на матрац. Ящик мне нужен.

Роза Сарона поднялась, опираясь о ящик руками. Она подошла к матрацу и тяжело опустилась на него. Руфь и Уинфилд тихонько вошли в дом и, стараясь быть как можно незаметнее, молча стали у стены.

Мать посмотрела на них.

— Чует мое сердце, что темнота вам на руку.— Она поймала Уинфилда и пощупала его волосы.— Мокрые... а грязь, наверно, так и осталась.

— Без мы-ыла,— протянул Уинфилд.

— Знаю.— Сегодня не удалось купить. Завтра, может, будет и мыло.— Она вернулась к печке, поставила тарелки на ящик и разложила по ним еду. Порция — две котлеты и одна большая картофелина. К этому три ломтя хлеба.— Потом разлила по тарелкам горячее сало из-под котлет. Мужчины вернулись с мокрыми волосами и мокрыми лицами.

— Подать мне ужин! — крикнул Том.

Они взяли каждый свою порцию. Ели молча, жадно и дочиста вытирали тарелки, подбирая подливку хлебом. Дети ушли в угол комнаты, поставили тарелки на пол и припали к еде, как звереныши.

Том проглотил последний кусок хлеба.

— Еще дашь, ма?

— Нет,— ответила она.— Это все. Вы заработали доллар, он тут весь и есть.

— Вот только это?

— Здесь торгуют с надбавкой. Надо съездить в город при первой возможности.

— Я не наелся,— сказал Том.

— Завтра будете работать полный день. Завтра накормлю как следует... вечером.

Эл вытер губы рукавом.

— Пойду поброжу здесь немного,— сказал он.

— И я с тобой.— Том последовал за братом. В темноте он подошел к нему вплотную.— Может, все-таки пойдешь со мной?

— Нет. Я уж сказал — лучше поброжу здесь немного.

— Как хочешь.— Том повернулся и неторопливо зашагал вдоль прохода между домишками. Дым из труб стлался низко, фонари четко вырисовывали квадраты дверей и окон. В дверях сидели люди и смотрели в темноту. Том видел, как они поворачивали головы, провожая его глазами. От последнего домика дорога вела к скошенному лугу, на котором при свете звезд виднелись

темные копны сена. Тонкое лезвие месяца подбиралось к западу, а вверху длинным прозрачным облаком тянулся Млечный Путь. Ноги Тома мягко ступали по пыльной темной дороге, рассекавшей надвое желтизну скошенного луга. Он сунул руки в карманы и пошел к главному въезду в лагерь. Вдоль дороги виднелась насыпь. Том слышал, как журчит вода в оросительной канаве, пробираясь среди травы. Он поднялся на насыпь и, посмотрев вниз, увидел отражения звезд, растянувшиеся в темной воде. Федеральное шоссе было недалеко. О его близости говорили огни быстро мчавшихся машин. Том пошел в ту сторону. Он различил при свете звезд высокие, оплетенные поверху проволокой ворота.

Сбоку у дороги шевельнулась неясная в темноте фигура. Чей-то голос окликнул его:

— Эй! Кто идет?

Том остановился как вкопанный.

— Кто это?

Человек встал и подошел ближе. Том увидел револьвер у него в руке. В лицо ему блеснул свет карманного фонаря.

— Ты куда это отправился?

— Да так, вышел погулять. А что, разве не разрешается?

— Гуляй где-нибудь в другом месте.

Том спросил:

— А за ворота нельзя выйти?

— Сегодня нельзя. Ну как — повернешь назад или мне подмогу вызвать свистком? Заберем тебя.

— Да плевал я на это,— сказал Том.— Нельзя так нельзя, спорить не буду. Можно и назад повернуть.

Темная фигура отступила. Фонарь погас.

— О вас же беспокоимся. А то сцапают тебя эти пикетчики.

— Какие пикетчики?

— Да красные.

— А,— сказал Том.— Я про них ничего не слышал.

— Видал, когда проезжали?

— Видал каких-то, да там было столько полисменов, что не разберешь, кто где. Я думал, авария.

— Ну ступай.

— Ладно. Назад так назад.— Том повернулся и зашагал прочь. Он прошел по дороге ярдов сто, потом замедлил шаги и прислушался. Около оросительной канавы дрожащим голосом заливался енот, вдали злобно тявкала привязанная на ночь собака. Том сел у дороги и снова прислушался. Он слышал тонкое, нежное курлыканье ночной птицы и осторожный шорох зверьков

в скошенной траве. Он посмотрел по сторонам — темные копны сена, его не будет видно,— встал и медленно вышел на луг, пригибаясь на ходу почти вровень с копнами. Он шел медленно и то и дело настороженно останавливался. Наконец впереди показались пять рядов туго натянутой проволоки. Он лег на спину, просунул голову под нижний ряд, приподнял проволоку рукой и, оттолкнувшись ногами, подлез под нее.

Он уже хотел встать, когда на шоссе показались люди. Он пропустил их далеко вперед, потом поднялся и зашагал следом за ними. Он присматривался по сторонам, нет ли здесь палаток. По шоссе изредка пробегали машины. Через ручей, пересекавший луг, был переброшен бетонный мостик. Том заглянул через парапет вниз. На дне глубокой лощины виднелась палатка, освещенная изнутри фонарем. Он постоял на мостике, разглядывая человеческие тени, ползавшие по брезенту. Потом перелез через изгородь, зашагал под откос, сквозь кустарник и низкорослый ивняк, и, спустившись, вышел на тропинку, идущую вдоль ручья. Перед палаткой на ящике сидел человек.

— Добрый вечер,— сказал Том.

— Ты кто такой?

— Да я... так просто... шел мимо...

— Знаешь здесь кого-нибудь?

— Нет. Говорю, я мимо шел.

Из палатки высунулась голова. Чей-то голос спросил:

— Что такое?

— Кэйси! — крикнул Том.— Кэйси! Как тебя сюда занесло?

— Ах, черт! Да ведь это Том Джоуд. Входи, Томми, входи.

— Ты его знаешь? — спросил человек, сидевший на ящике.

— Его? Надо бы мне его не знать! Сколько лет знаю. Мы сюда вместе приехали. Входи, Том.— Он схватил Тома за локоть и втащил в палатку.

Там — прямо на земле — сидели трое мужчин, посреди горел фонарь. Мужчины недоверчиво посмотрели на Тома. Один — загорелый, угрюмый на вид — протянул ему руку.

— Очень приятно,— сказал он.— Я слышал, как тебя Кэйси встретил. Кэйси, это тот самый, о котором ты говорил?

— Он, он самый. Ах ты господи! Где же все твои? Что ты здесь делаешь?

— Да вот,— сказал Том,— узнали, что здесь есть работа. Подъезжаем, а на дороге полно полисменов — загнали нас на эту ферму. Сегодня мы собирали персики в саду. Я видел, какие-то люди стояли вдоль дороги, кричали нам вслед. А в чем дело, так никто мне и не сказал. Я решил сам разузнать. Кэйси, а ты как сюда попал?

Проповедник наклонился вперед, и его высокий бледный лоб попал в полосу желтого света.

— Чудно́е это заведение — тюрьма,— сказал он.— Вот удалялся я раньше в пустыню, как Христос, думал, искал. Иной раз, бывало, прояснится. А по-настоящему стало все ясно только в тюрьме.— Глаза у него были живые и веселые.— Большущая камера, все время в ней полно. Люди уходят, приходят. Ну, я, конечно, со всеми говорил.

— Ну еще бы! — сказал Том.— Тебе бы только поговорить. Если б тебя вздернули на виселицу, ты бы и с палачом словечком перекинулся. Я таких говорливых в жизни не видал.

Все засмеялись. Один из них — пожилой, с морщинистым лицом — хлопнул себя по коленке.

— Всё время говорит,— сказал он.— А людям нравится — слушают его с удовольствием.

— Ведь он бывший проповедник,— сказал Том.— Признался он вам в этом?

Кэйси усмехнулся.

— Так вот,— снова начал он,— стал я кое в чем разбираться. В тюрьму разный народ попадает — кто за пьянство, а кто за воровство — и таких больше всего. И воруют большей частью по нужде. Понимаешь? — спросил он.

— Нет,— сказал Том.

— Ведь это все хорошие люди, понимаешь? А что их сгубило? Нужда. И мало-помалу я понял, что все зло в нужде. А до самой сути еще никак не докопаюсь. Как-то раз дают нам прокисшие бобы на обед. Один поднял крик, а толку никакого. Кричит — надсаживается. Надзиратель заглянул в камеру и ушел. Тогда второй начинает кричать. А потом мы все подхватили хором, тянем в одну ноту. И знаете, что было? Того и гляди, стены рухнут от нашего крика. Вот тут и началось! Надзиратели забегали, засуетились. В конце концов принесли нам на обед другой еды. Понимаешь?

— Нет,— сказал Том.

Кэйси подпер подбородок ладонью.

— Может, другому не втолкуешь? — проговорил он.— Может, тебе самому до этого надо дойти? А где твоя кепка?

— Я без нее вышел.

— Как сестра?

— Раздалась — настоящая корова. Наверно, двойню родит. Живот впору на колеса ставить, все его руками поддерживает. А ты мне так и не объяснил, что здесь делается.

Пожилой сказал:

— Мы бастуем. Здесь объявлена забастовка.

— Что ж, пять центов с ящика не бог весть какие деньги, но прокормиться можно.

— Пять центов? — крикнул пожилой.— Пять центов? Вам платят пять центов?

— Да. Мы заработали сегодня полтора доллара.

В палатке наступила напряженная тишина. Кэйси молча смотрел в темноту.

— Слушай, Том,— сказал он наконец.— Мы приехали сюда работать. Нам пообещали пять центов. Народу собралось тьма-тьмущая. Пришли в сад, а нам заявляют: два с половиной цента. На это и один не прокормишься, а если у тебя дети... Мы отказались. Нас выгнали. Тут откуда ни возьмись нагрянули полисмены. А теперь вам платят пять центов. И ты думаешь, так и будут платить по пяти центов, когда забастовка кончится?

— Не знаю,— сказал Том.— Пока что платят.

— Слушай,— продолжал Кэйси.— Мы хотели остановиться все в одном месте, а нас погнали, как свиней, в разные стороны, кого куда. А скольких избили! Как свиней. А вас, как свиней, загнали в ворота. Мы долго не продержимся. Среди нас есть такие, у кого два дня крошки во рту не было. Ты вернешься туда?

— Хочу вернуться,— ответил Том.

— Так вот... расскажи там людям. Объясни им, что они морят нас голодом, а себе нож в спину всаживают. Вот увидишь — с нами разделаются, а потом вы и ахнуть не успеете, как вам сбавят до двух с половиной центов.

— Попробую, расскажу. Только не знаю, как это сделать. Я в жизни такой охраны не видал — все с ружьями. Наверно, и говорить друг с другом не велено. Все мимо проходят — даже не здороваются. Глаза книзу, слова лишнего не услышишь.

— Все-таки попробуй, Том. Как только мы уйдем отсюда, оплату сразу снизят до двух с половиной центов. А ты сам знаешь, что это такое — нарвать и перетаскать тонну персиков за один доллар.— Он опустил голову.— Нет... так нельзя. Так даже сыт не будешь... Не прокормишься.

— Попробую, что выйдет.

— А как мать поживает?

— Ничего. Ей очень понравилось в правительственном лагере. Душевые, горячая вода.

— Да... я про них слышал.

— Там было хорошо. Только работы не нашли. Пришлось уехать.

— Надо бы и мне побывать в таком лагере,— сказал Кэйси.— Посмотреть, как там живут. Говорят, полисмены туда не показываются.

«Гроздья гнева»

— Там люди сами себе полисмены.

Кэйси вскинул голову.

— А беспорядки были? Драки, воровство, пьянство?

— Не было,— ответил Том.

— Ну а если с кем сладу нет — тогда как? Что тогда делают?

— Выгоняют из лагеря.

— А таких много?

— Да нет,— сказал Том.— Мы прожили там месяц, и всего один случай был.

Глаза у Кэйси заблестели. Он повернулся к остальным.

— Слышали? Что я говорил? Полисмены не столько пресекают беспорядки, сколько сами их разводят. Слушай, Том. Ты попробуй поговори с людьми, пусть они тоже бастуют. Дня через два самое время. Ведь персики поспели. Объясни им все.

— Не пойдут,— сказал Том.— Пять центов, а на остальное им плевать.

— Да ведь пять центов платят только штрейкбрехерам.

— Этого им не вдолбишь. Пять центов. Вот что для них самое главное.

— А ты все-таки попробуй.

— Отец не пойдет, я знаю. Отмахнется — не его дело.

— Да,— сокрушенно проговорил Кэйси.— Пожалуй, верно. Ему сначала надо на собственной шкуре все это испытать.

— Мы наголодались,— сказал Том.— А сегодня было мясо на ужин. Думаешь, отец откажется от мяса ради других? Розе надо пить молоко. Думаешь, мать заморит ее ребенка только потому, что за воротами какие-то люди глотку дерут?

Кэйси грустно сказал:

— Хотел бы я, чтобы они это поняли. Поняли бы, что мясной обед только так и можно себе обеспечить... А, да что там! Устал я. Иной раз чувствуешь: устал, нет больше сил. Помню, был у нас в камере один человек. Его засадили при мне за то, что хотел организовать союз. В одном месте удалось. А потом налетели вид-жилянты. И знаешь, что было? Те самые люди, которым он хотел помочь, отступились от него — начисто. Боялись с ним рядом показаться: «Уходи отсюда. С тобой опасно». Он обижался, горевал, а потом ничего, обошлось. «Не так уж это плохо, говорит, когда знаешь, как бывало в прежние времена. После французской революции всем вожакам головы поснимали. Но ведь мы не для собственного удовольствия это делаем, а потому, что не можем иначе. У нас это сидит в самом нутре. Вот, например, Вашингтон. Боролся за революцию, а потом вся сволочь на него ополчилась. И с Линкольном то же самое — его смерти тоже добивались».

— Да, тут удовольствием и не пахнет,— сказал Том.

— Какое там! Он еще говорил: «Мы делаем все, что можем. А самое главное — это чтобы все время хоть не намного, а шагать вперед. Там, может, и назад попятишься, а все-таки не на полный шаг. Это можно доказать, говорит, и этим все оправдывается. Значит, даром ничего не было сделано, хоть, может, так и покажется на первый взгляд».

— А ты все такой же,— сказал Том.— Все разглагольствуешь. Вот возьми моего братца Эла. Он только и знает, что бегать за девчонками. Больше ему ничего не надо. Дня через два и тут какую-нибудь найдет. Весь день об этом думает, всю ночь этим занимается. Плевал он на всякие там шаги — вперед, назад, в сторону.

— Правильно,— сказал Кэйси.— Правильно. Что ему в жизни положено, то он и выполняет. И так все, не только он один.

Человек, сидевший у входа в палатку, откинул полу.

— Что-то неладно дело,— сказал он.

Кэйси выглянул наружу.

— А что такое?

— Сам не знаю. Не сидится мне. Пугливый стал, хуже кошки.

— Да что случилось?

— Не знаю. Чудится что-то, а прислушаешься — ничего нет.

— Пугливый ты стал, верно,— сказал пожилой. Он поднялся и вышел. А через минуту заглянул в палатку.— Надвигается большая черная туча. Гроза будет. Вот что его взбудоражило — электричество.— И он снова скрылся в темноте. Остальные двое встали и вышли наружу.

Кэйси тихо сказал:

— Им всем не по себе. Полисмены то и дело грозят: изобьем, выгоним вас всех отсюда. А меня считают вожаком, потому что я много говорю.

Пожилой снова заглянул в палатку.

— Кэйси, погаси фонарь и выходи. Тут что-то неладно.

Кэйси прикрутил фитиль. Огонек нырнул вниз, вспыхнул и погас. Кэйси ощупью выбрался наружу. Том — следом за ним.

— Что такое? — тихо спросил Кэйси.

— Да не знаю. Слушай.

Громкое кваканье лягушек, сливающееся с тишиной. Сухое резкое стрекотанье кузнечиков. Но на этом фоне слышались и другие звуки — приглушенные шаги в той стороне, где была дорога, похрустыванье комьев земли под ногами, шелест кустов вдоль ручья.

— Я что-то ничего не разберу. Неясно. Может, нам только чудится? — успокаивал их Кэйси.— Мы сейчас все начеку. Нет, я ничего не слышу. А ты, Том?

— А я слышу,— ответил Том.— Да... слышу. По-моему, окружают. Давайте лучше уйдем отсюда.

Пожилой шепнул:

— Под мост... вон туда. Эх, не хочется палатку оставлять.

— Пошли,— сказал Кэйси.

Они тихо двинулись вдоль ручья. Арка моста чернела впереди, точно пещера. Кэйси нагнулся и нырнул под мост. Том за ним. Их ноги соскользнули с откоса в воду. Они прошли футов тридцать, прислушиваясь к собственному дыханию, гулко отдававшемуся под сводами. Потом вышли на другую сторону и выпрямились.

Громкий крик:

— Вот они! — Две полоски света поймали их, уткнулись им в лицо, ослепили.— Стой, ни с места! — Голоса шли из темноты.— Это он и есть. Лобастый черт! Он самый.

Кэйси, как слепой, смотрел на огонь. Он дышал тяжело.

— Слушайте,— сказал он.— Вы не ведаете, что творите. Вы детей хотите уморить голодом.

— Молчать, красная сволочь!

На свет вышел грузный, приземистый человек. В руках у него была новенькая белая палка от кирки.

Кэйси повторил:

— Вы не ведаете, что творите.

Человек замахнулся. Кэйси нырнул вниз. Тяжелая палка с глухим стуком ударила его по виску, и Кэйси рухнул набок, в темноту.

— Стой, Джордж, ты, никак, убил его.

— Посвети,— сказал Джордж.— Поделом тебе, сволочь! — Полоска света ткнулась вниз, пошарила по земле и нашла размозженную голову Кэйси.

Том стоял, глядя на проповедника. Полоска света выхватила из темноты грузные ноги и новенькую белую палку. Том кинулся молча. Он завладел палкой. Удар пришелся по плечу... Промах. Он сам это почувствовал. Но во второй раз палка со всей силой опустилась на голову, и когда человек упал, на него обрушилось еще три удара. Полоски света заметались из стороны в сторону. Раздались крики, топот, треск кустарника. Том стоял над бесчувственным телом. И вдруг — слепящий удар палкой по голове. Ему показалось, что его пронизало током. А секунду спустя он уже бежал вдоль берега, пригибаясь чуть не к самой земле. Позади слышалось шлепанье ног по воде. Он круто свернул в сто-

рону и, продираясь между кустами, забрался в самую их чащу. И замер там. Погоня приближалась, полоски света шарили вдоль ручья. Он ползком поднялся по откосу. Дальше был фруктовый сад. Но крики доносились и сюда. Он пригнулся и побежал по грядкам; комья земли шуршали, летели у него из-под ног. Впереди вдоль оросительной канавы темнел кустарник, окаймлявший луг. Он перелез через изгородь, продрался сквозь кусты винограда и черной смородины и, хрипло дыша, лег на землю. Он ощупал онемевшее лицо и нос. Нос был разбит, по подбородку струйкой стекала кровь. Он лежал на земле ничком до тех пор, пока мысли у него не прояснились. Потом медленно подполз к канаве, умылся холодной водой, оторвал лоскут от подола рубашки, намочил его и прижал к скуле и носу. Израненное лицо заломило от холода.

Черное пятно грозовой тучи стояло на горизонте, окруженное яркими звездами. Кругом снова все затихло.

Том ступил в воду, и дно сразу ушло у него из-под ног. Он взмахнул раза два руками и с трудом выбрался на противоположный берег. Мокрая одежда липла к телу. Он сделал несколько шагов, в башмаках захлюпала вода. Он сел, снял башмаки и вылил из них воду. Потом отжал снизу промокшие штанины, снял пиджак и скрутил его жгутом.

Впереди, около шоссе, плясали огоньки ручных фонарей, шаривших вдоль оросительной канавы. Том обулся и, осторожно ступая, вышел на скошенный луг. Башмаки перестали чавкать. Он выбирал направление инстинктивно и наконец ступил на дорогу по ту сторону луга и, крадучись, подошел к прямоугольнику лагеря.

Караульный, заслышав шорох, крикнул:

— Кто идет?

Том кинулся ничком на землю и замер; луч света скользнул над ним. Он бесшумно подполз к домику Джоудов. Дверь скрипнула на петлях. И голос матери — спокойный, твердый, без капельки сонливости:

— Кто там?

— Это я. Том.

— Ложись скорее спать. Эла еще нет.

— Наверно, девчонку нашел.

— Ложись,— тихо сказала она.— Я тебе постелила под окном.

Он разыскал свое место и разделся догола. Он лежал под одеялом, дрожа мелкой дрожью. Онемелость в разбитом лице проходила, и боль отдавалась теперь во всей голове.

Эл вернулся только через час. Он осторожно подошел к окну и наступил на мокрую одежду Тома.

— Тише,— сказал Том.

Эл шепнул:

— Не спишь? Где это ты ухитрился так промокнуть?

— Ш-ш,— сказал Том.— Утром расскажу.

Отец повернулся на спину, и комната наполнилась густым, заливистым храпом.

— Какой ты холодный,— сказал Эл.

— Ш-ш. Спи.— Маленькое окно серым квадратом выступало из темноты.

Том не спал. Нервы на лице отошли и заныли, скулу нестерпимо ломило, перебитый нос распух, и в нем тукала такая боль, что казалось, она встряхивает, швыряет из стороны в сторону все его тело. Он смотрел на маленький квадрат окна, видел, как звезды медленно скользят по небу и исчезают за косяком. Время от времени до его слуха доносились шаги караульных.

Наконец где-то вдали закричали петухи, и окно понемногу посветлело. Он тронул кончиками пальцев распухшее лицо, и Эл, потревоженный этим движением, застонал и забормотал что-то во сне.

Мало-помалу рассвело. В домах, притиснутых один к другому, послышались первые утренние звуки: треск хвороста, негромкое звяканье сковородок. Мать вдруг приподнялась и села на матраце. В сероватых сумерках Тому было видно ее лицо, опухшее со сна. Она долго смотрела на окно. Потом откинула одеяло и потянулась за платьем. Все еще сидя, она накинула его на голову, подняла руки, и платье скользнуло вниз. Мать встала и одернула его. Потом, осторожно ступая босыми ногами, она подошла к окну и остановилась перед ним; ее проворные пальцы расплели косу, пригладили пряди и снова заплели их. Она сложила руки на груди и несколько минут стояла не двигаясь. Свет, падающий в окно, освещал ее лицо. Она повернулась, осторожно прошла между матрацами и взяла фонарь. Створка скрипнула, она поднесла спичку к фитилю.

Отец лег набок и заморгал, глядя на нее. Она сказала:

— Па, ты еще сколько-нибудь получил?

— А? Талон на шестьдесят центов.

— Тогда вставай. Поди купи лярду и муки. Только поскорей.

Отец зевнул.

— Может, лавка еще не открыта.

— Пусть откроют. Надо вас накормить. Скоро идти на работу.

Отец натянул комбинезон и порыжевший пиджак. Он лениво вышел из дому, зевая и потягиваясь на ходу.

Дети проснулись и, как мышата, посматривали по сторонам, высунув головы из-под одеяла. В комнате чуть посветлело. Но

свет был серый, предрассветный. Мать оглядела матрацы. Дядя Джон проснулся. Эл спал крепко. Ее глаза остановились на Томе. Секунду она приглядывалась к нему, потом быстро шагнула вперед. Лицо у Тома было вспухшее, синее, на губах и на подбородке чернела запекшаяся кровь. Рваная рана на щеке туго стянулась по краям.

— Том,— шепнула она,— что с тобой?

— Ш-ш,— сказал он.— Тише. Я подрался.

— Том!

— Так вышло, ма.

Она опустилась рядом с ним на колени:

— Беда, Том?

Он долго не отвечал ей.

— Да,— сказал он наконец.— Я не выйду на работу. Надо скрываться.

Дети подползли к ним на четвереньках, жадно глядя на Тома.

— Ма, что с ним?

— Тише! — сказала мать.— Идите умойтесь.

— У нас мыла нет.

— Ну, одной водой.

— А что с Томом?

— Замолчите сию минуту. И не вздумайте болтать.

Они отползли к противоположной стене и присели там на корточки, зная, что сейчас их никто не тронет.

Мать спросила:

— Плохо?

— Нос перебит.

— Я не про это.

— Да. Плохо.

Эл открыл глаза и посмотрел на Тома.

— Господи боже! Где это тебя угораздило?

— Что случилось? — спросил дядя Джон.

Вошел отец.

— Открыто было.— Он положил на пол около печки маленький мешочек муки и брусок лярда.— Что такое? — спросил он.

Том приподнялся на локте и тут же лег.

— Эх, ослаб я. Сейчас расскажу. Так, чтобы всем сразу. А ребята?

Мать посмотрела на прижавшихся к стене детей.

— Подите умойтесь.

— Нет,— сказал Том.— Пусть слушают. Пусть тоже узнают. А то как бы не проболтались.

— Да что случилось? — допытывался отец.

— Сейчас расскажу. Я пошел вчера разузнать, почему те кричали у канавы. И встретил Кэйси.

— Проповедника?

— Да. Проповедника. Только теперь он руководил забастовкой. За ним пришли, взять его.

Отец спросил:

— Кто пришел?

— Не знаю. Какие-то люди. Вроде тех, что тогда остановили нас на дороге около лагеря. С палками.— Он помолчал.— Кэйси убили при мне. Размозжили ему голову. У меня в глазах потемнело. Вырвал палку.— Рассказывая, он снова видел ночь, темноту, огни фонарей.— Я... я ударил одного.

У матери перехватило дыхание. Отец словно окаменел.

— Убил? — тихо спросил он.

— Не знаю... У меня в глазах потемнело. Норовил так, чтобы убить.

Мать спросила:

— Тебя видели?

— Не знаю. Не знаю. Должно быть, видели. Они были с фонарями.

Секунду мать молча смотрела ему в глаза.

— Па,— сказала она,— разломай ящики. Надо приготовить завтрак. Вам скоро на работу. Руфь, Уинфилд! Если кто спросит — Том заболел, слышите? А если будете болтать, его... посадят в тюрьму. Слышите?

— Да, ма.

— Джон, ты последи за ними, чтобы они ни с кем не разговаривали.— Она разожгла огонь из ящиков, в которых раньше были сложены вещи, замесила тесто, поставила на плиту кофейник. Тонкие доски горели жарко, огонь с ревом рвался в трубу.

Отец разломал последний ящик. Он подошел к Тому.

— Ведь Кэйси... Кэйси был хороший человек. Чего он вздумал ввязываться в такие дела?

Том хмуро сказал:

— Они приехали работать по пяти центов с ящика.

— Мы столько же получаем.

— Да. Мы штрейкбрехеры. Им давали два с половиной цента.

— Этого и на еду не хватит.

— Я знаю,— устало проговорил Том.— Потому они и забастовали. А с забастовкой, наверно, вчера покончили. И сегодня нам, наверно, тоже будут платить два с половиной.

— Да как же они, сволочи?..

— Вот так, па. Ты, понимаешь? Кэйси был хороший человек, таким он и остался... Не могу забыть. Лежит... голова вдребезги, кровь хлещет. О господи! — Он закрыл глаза рукой.

— Что же теперь делать? — спросил дядя Джон.

Эл поднялся с матраца.

— Я знаю, что мне делать. Уйду и все.

— Нет, Эл, так не годится.— сказал Том.— Без тебя теперь нельзя. Уходить надо мне. Со мной вам опасно. Я оправлюсь немного и уйду.

Мать возилась у печки. Голова ее была повернута к ним, чтобы лучше слышать. Она положила сала на сковороду и, дождавшись, когда оно зашипит, стала опускать в него тесто с ложки.

Том продолжал:

— Тебе нельзя уходить, Эл. На твоем попечении грузовик.

— Надоело мне.

— Что ж поделаешь, Эл. Ведь это твоя семья. Ты можешь помочь ей. А со мной теперь опасно.

Эл сердито заворчал:

— Не дают мне устроиться в гараже!

— Потом устроишься.— Том отвернулся от Эла и увидел Розу Сарона. Она лежала на матраце и смотрела на него огромными, широко открытыми глазами.— Ты не бойся,— сказал он ей.— Сегодня тебе молока купят.— Она потупилась и ничего не ответила ему.

Отец сказал:

— Все-таки надо знать наверняка, Том. Ты убил его?

— Я сам не знаю. Ведь было темно. Потом меня кто-то ударил. Я не знаю. Дай бог, чтобы подохла эта сволочь. Дай бог...

— Том! — крикнула мать.— Не надо так говорить.

На улице послышался грохот медленно подъезжающих машин. Отец подошел к окну.

— Эх, сколько нового народу приехало,— сказал он.

— Забастовку, наверно, прикончили,— сказал Том.— Наверно, нам будут платить теперь по два с половиной цента.

— Да ведь так хоть бегом бегай, все равно не заработаешь на обед.

— Я знаю,— сказал Том.— Ешьте падалицу. Все-таки немного поддержит.

Мать повернула лепешку на сковороде и помешала кофе.

— Слушайте,— сказала она.— Я сегодня куплю дробленой кукурузы. Сварю кашу. А как только раздобудем бензину, надо уезжать отсюда. Здесь нехорошо. И Тома одного я тоже не отпущу. Нипочем.

— Нет, ма, нельзя. Я же говорю — со мной теперь опасно.

Она вздернула подбородок.

— Так и сделаем. Ну, садитесь, ешьте, пора идти. Я уберусь и тоже приду. Надо побольше заработать.

Лепешки были такие горячие, что брызгали салом. Они быстро выпили кофе и налили себе по второй кружке.

Дядя Джон покачал головой, не поднимая глаз от тарелки.

— Так просто это с рук не сойдет. Опять мои грехи сказываются.

— Да будет тебе! — крикнул отец.— Некогда нам возиться с твоими грехами. Ну, пошли. Ребята, вы тоже идите, будете помогать. Ма верно говорит. Надо поскорей выбраться отсюда.

Когда они ушли, мать поднесла Тому тарелку и кружку.

— Ты бы поел.

— Нет, ма, не могу. Так все болит, что я и рта не открою.

— А ты попробуй.

— Нет, ма, не могу.

Она присела к нему на край матраца.

— Расскажи мне. Я хочу понять, как все было. Хочу во всем разобраться. Что Кэйси сделал? За что его убили?

— Ничего не сделал. Он стоял, а они осветили его фонарями.

— Что он говорил? Ты помнишь, что он говорил?

Том сказал:

— Конечно, помню. Кэйси говорил: «Вы не имеете права морить людей голодом». Потом этот толстый обругал его красной сволочью. А Кэйси сказал: «Вы не ведаете, что творите». Тогда толстый его ударил.

Мать опустила глаза. Она сжала руки.

— Так и сказал?.. «Вы не ведаете, что творите»?

— Да.

— Вот бы наша бабка его услышала.

— Ма... когда дышишь, ведь над этим не задумываешься. Вот так и со мной было. Я даже подумать не успел.

— Я тебя не виню. Хорошо, если б этого не случилось. Если б тебя там не было... Но ведь иначе ты не мог. Я не вижу за тобой вины.— Она подошла к печке и намочила тряпку в горячей воде.— Вот, возьми. Приложи к лицу.

Он приложил горячую тряпку к скуле и носу и съежился от боли.

— Ма, я ночью уйду. Я не хочу, чтобы вы из-за меня терпели.

Мать гневно заговорила:

— Том! Я много чего не понимаю. Но без тебя нам легче не станет. Без тебя мы совсем погибнем. Было время — жили мы на

земле, и тогда все казалось просто. Старики умирали, дети рождались, и все мы жили вме́сте — у нас была семья, неразделимая... видишь, где она начинается, где кончается. А сейчас ничего не видишь. Ничего не поймешь. Сейчас все расползлось. Эл ноет, канючит — хочет отбиться от нас. От дяди Джона никакого толку. Отец потерял свое место. Он уже не главный в семье. Все рушится, Том. Семьи больше нет. А Роза...— Она обернулась и посмотрела в широко открытые глаза дочери.— Будет у нее ребенок, а семьи нет. Я стараюсь хоть как-то поддержать ее. Уинфилд... что из него получится? Скоро совсем одичает. Да и Руфь тоже... растут как звереныши. На кого мне опереться? Не уходи, Том. Останься, помоги нам.

— Хорошо,— устало проговорил он.— Хорошо. Хоть и зря это.

Мать вернулась к тазу с грязной посудой, перемыла оловянные тарелки и вытерла их.— Ты не спал ночью?

— Нет.

— Так спи. Я видела, у тебя и брюки и рубашка мокрые. Надо подсушить их около печки.— Она убрала посуду.— Ну, я пойду в сад. Роза, если кто придет,— Том заболел, слышишь? Никого не пускай, слышишь? — Роза Сарона молча кивнула.— Мы к полудню вернемся. Ты усни, Том. Может, мы уедем отсюда вечером.— Она быстро подошла к нему.— Том, ты не сбежишь?

— Нет, ма.

— Правда? Никуда не уйдешь?

— Нет, ма. Я здесь буду.

— Ну, хорошо. Так не забудь, Роза.— Она вышла и плотно притворила за собой дверь.

Том лежал не двигаясь,— и вдруг сон, словно волной, поднял его к той черте, за которой гаснет сознание, медленно отступил и поднял снова.

— Том!

— А? Что? — Он проснулся, как от толчка. Он посмотрел на Розу Сарона. Ее глаза негодующе горели.— Чего тебе?

— Ты убил человека?

— Да. Не кричи. Хочешь, чтобы услышали?

— Пусть слышат! — крикнула она.— Мне та женщина все объяснила. Я теперь знаю, что бывает за грехи. Разве ребенок родится здоровый? Конни ушел, меня не кормят, как нужно. Молока я не вижу.— Она истерически вскрикнула: — Ты убил человека! Разве теперь родится здоровый ребенок? Я знаю... он будет урод... урод! Я никогда не танцевала в обнимку.

Том встал с матраца.

— Тише,— сказал он.— Услышат, придут.

— Пускай! Он будет урод. Я никогда так не танцевала.

Он шагнул к ней.

— Замолчи!

— Не подходи ко мне. Ведь это не в первый раз. Ты уже одного убил.— Лицо у нее побагровело. Она с трудом выговаривала слова.— Видеть тебя не могу! — Она закрылась одеялом с головой.

Том услышал приглушенные, судорожные рыдания. Он закусил губу и потупился. Потом подошел к отцовскому матрацу. Под матрацем лежала винтовка — тяжелый длинный винчестер 38-го калибра. Том взял его, проверил, есть ли патрон в стволе, взвел курок и вернулся на свое место. Он положил винчестер на пол, прикладом на матрац. Рыдания Розы Сарона перешли в тихие всхлипывания. Том лег, натянул одеяло на голову, натянул его на разбитое лицо, оставив небольшой продух. Он вздохнул:

— О господи, господи!

Около их домика остановились машины, послышались голоса.

— Сколько мужчин?

— Вот только мы, трое. А сколько вы платите?

— Поезжайте к дому номер двадцать пять. Номера на дверях.

— Слушаю, мистер. А сколько вы платите?

— Два с половиной цента.

— Да что это! Так и на обед не заработаешь.

— Плата два с половиной цента. Сюда с юга едет двести человек, они и таким деньгам будут рады.

— Мистер, да побойтесь вы бога!

— Ладно, ладно. Согласны — оставайтесь, а нет — поезжайте дальше. Мне некогда с вами пререкаться.

— Да ведь...

— Слушай. Плату не я устанавливаю. Мое дело записать вас. Хотите работать, пожалуйста. А нет — проваливайте отсюда подобру-поздорову.

— Значит, номер двадцать пять?

— Да, двадцать пять.

Том дремал, лежа на матраце. Его разбудил какой-то шорох в комнате. Рука потянулась к винчестеру и крепко стиснула приклад. Он откинул одеяло с лица. Рядом с матрацем стояла Роза Сарона.

— Что тебе? — спросил Том.

— Спи,— сказала она.— Спи. Я покараулю. Никто не войдет.

С минуту он молча смотрел ей в лицо.

— Ладно,— сказал он и снова натянул одеяло на голову.

Мать вернулась домой в сумерках. Она постучалась, прежде чем войти, и сказала:

— Это я,— чтобы не испугать Тома. Она открыла дверь и вошла; в руках у нее был небольшой мешочек. Том проснулся и сел на матраце. Рана его подсохла и так стянулась по краям, что кожа на щеке блестела. Опухший левый глаз почти не открывался.— Никто не приходил? — спросила мать.

— Нет,— ответил он.— Никто. А плату все-таки снизили?

— Откуда ты знаешь?

— Слышал разговор на улице.

Роза Сарона безучастным взглядом посмотрела на мать.

Том показал на нее пальцем.

— Ма, она тут подняла крик. Думает, все беды свалятся одной ей на голову. Если я так ее расстраиваю, придется мне уйти.

Мать повернулась к Розе Сарона.

— Что с тобой?

Роза Сарона негодующе пробормотала:

— Разве родишь здорового ребенка, когда такое делается?

Мать сказала:

— Ну, будет! Будет! Я знаю, каково тебе, я знаю, что ты сама в себе не вольна, а все-таки держи язык за зубами.

Она повернулась к Тому.

— Не обращай на нее внимания, Том. Ей сейчас нелегко, я это по себе помню. Когда ждешь ребенка, так что ни случится, все будто одну тебя задевает, в каждом слове чудится обида, и будто все тебе наперекор. Ты не обращай на нее внимания. Она сама в себе не вольна.

— Я не хочу, чтобы она из-за меня мучилась.

— Ну, будет. Перестань.— Мать положила сумку на холодную печь.— Сегодня почти ничего не заработали,— сказала она.— Надо отсюда уезжать. Том, наколи мне щепок. Нет, тебе нельзя. Разломай вот этот ящик — он последний остался. Я велела, чтобы они хоть хворосту насобирали на обратном пути. К ужину будет каша, и немножко сахаром ее посыплю.

Том встал и разломал последний ящик. Мать разожгла топку с самого края, чтобы огонь был только под одной конфоркой. Она налила котелок и поставила его на печку. Вода в котелке, стоявшем над самым огнем, скоро засипела и забулькала.

— Ну, как сегодня работали? — спросил Том.

Мать зачерпнула чашкой кукурузной муки из мешочка.

— И говорить об этом не хочется. Я сегодня вспоминала, как люди шутили раньше. Теперь мы не шутим. И это очень плохо. А если кто отпустит какую-нибудь шутку, так она получается

злая, горькая, и совсем не смешно. Сегодня один говорит: «Ну, кризис кончился. Я видел зайца, и, подумайте только, никто за ним не гнался». А другой отвечает: «Тут не в этом дело. Сейчас зайцев не бьют. С ними вот как обращаются: поймают, подоят и отпустят на свободу. Тебе, наверно, не молочный попался». Разве это смешно? А помнишь, как мы смеялись, когда дядя Джон обратил индейца в нашу веру и привел к себе домой, а индеец съел у него целый ларь бобов и удрал, да еще бутылку виски с собой прихватил. Том, возьми тряпку, я ее в холодной воде намочила, приложи к лицу.

Сумерки сгущались. Мать зажгла фонарь и повесила его на гвоздь. Она подбросила щепок в огонь и стала понемножку сыпать кукурузную муку в кипяток.

— Роза,— сказала она,— ты помешаешь кашу?

На улице послышался быстрый топот. Дверь распахнулась, ударилась об стену. В комнату влетела Руфь.

— Ма! — крикнула она.— Ма, Уинфилда корчит!

— Где он? Говори!

Руфь еле переводила дух.

— Весь белый стал и повалился. Сколько он сегодня персиков съел! У него весь день понос. Так и повалился. Весь белый!

— Пойдем! — крикнула мать.— Роза, последи за кашей.

Она кинулась за Руфью. Она тяжело бежала по улице, не поспевая за девочкой. Навстречу им в сумерках шли трое мужчин, и средний нес на руках Уинфилда. Мать кинулась к ним.

— Это мой,— крикнула она.— Дайте его мне.

— Я донесу, мэм.

— Нет, дайте мне.— Она приняла мальчика на руки, повернулась к дому, но вдруг опомнилась.— Большое вам спасибо,— сказала она.

— Не за что, мэм. Мальчишка совсем ослаб. У него, наверно, глисты.

Мать быстро зашагала назад. Уинфилд, обмякший всем телом, неподвижно лежал у нее на руках. Мать внесла его в дом и положила на матрац.

— Что с тобой? Что? — допытывалась она. Уинфилд посмотрел на нее мутными глазами, мотнул головой и снова опустил веки.

Руфь сказала:

— Ма, я же говорю, у него весь день понос. Каждую минуту бегал. Он объелся персиками.

Мать пощупала ему лоб.

— Жара нет. А сам весь бледный, щеки втянуло.

Том подошел к ним и посветил вниз фонарем.

— Все ясно,— сказал он.— Изголодался, ослабел. Купи ему банку молока, заставь выпить. Пусть каши с молоком поест.

— Уинфилд,— сказала мать.— Ну как, получше тебе?

— Голова кружится,— ответил Уинфилд.— Будто все плывет.

— Ты еще такого поноса в жизни не видела,— внушительно проговорила Руфь.

В комнату, с охапками сухих веток, вошли отец, дядя Джон и Эл. Они сложили хворост у печки.

— Ну, что еще? — спросил отец.

— Уинфилд заболел. Ему нужно молока.

— Господи владыка! Нам каждому чего-нибудь нужно.

Мать спросила:

— Сколько сегодня заработали?

Доллар сорок два цента.

— Так вот, сходи в лавку и купи банку молока для Уинфилда.

— С чего бы ему заболеть?

— С чего, не знаю, а заболел. Ну, ступай.— Отец, ворча, вышел из дома.— Ты не забыла про кашу?

— Нет.— В доказательство своих слов Роза Сарона быстро помешала в котелке.

Эл недовольно протянул:

— Да что такое, ма! Неужели одна каша? Это после того, как до темноты работали?

— Эл, ты знаешь, что надо уезжать. Я приберегаю на бензин. Ты сам это знаешь.

— Фу ты черт! Ну как же тут работать, если мяса не видишь?

— А ты помолчи,— сказала мать.— О самом главном надо думать. Ты знаешь, о чем.

Том спросил:

— Это обо мне?

— Вот поужинаем, тогда все обсудим,— ответила мать.— Эл, бензина хватит на дорогу?

— Четверть бака,— ответил Эл.

— Не откладывай, говори сразу,— сказал Том.

— Нет, потом. Подожди. Мешай кашу, мешай. Сейчас поставлю кофе. Сахар или в кашу положите, или с кофе. На то и на другое не хватит.

Отец вернулся с банкой молока.

— Одиннадцать центов,— с отвращением проговорил он.

— Дай сюда.— Мать взяла у него консервную банку и открыла ее ножом. Она налила в кружку густого молока и протянула ее Тому.— Дай Уинфилду.

Том опустился на колени у матраца.

— Пей.

— Не могу я. Меня стошнит. Не приставайте ко мне.

Том встал.

— Он сейчас не может, ма. Потом дадим.

Мать приняла от него кружку и поставила ее на подоконник.

— Не вздумайте выпить,— предупредила она остальных.— Это для Уинфилда.

— Я молока совсем не вижу,— хмуро проговорила Роза Сарона.— А мне надо его пить.

— Знаю. Но ведь ты еще на ногах, а мальчишка свалился. Ну как, загустела каша?

— Да. Ложкой не провернешь.

— Хорошо, давайте есть. Вот сахар. Каждому по ложечке. Кто как хочет — или в кашу, или с кофе.

Том сказал:

— Я кашу люблю с перцем и солью.

— Соль — вот,— сказала мать.— А перец весь вышел.

Ящиков уже не было. Они расселись по матрацам и подкладывали себе каши на тарелки до тех пор, пока в котелке не показалось дно.

— Оставьте немного Уинфилду,— напомнила мать.

Уинфилд приподнялся на матраце, выпил молоко, и голод немедленно обуял его. Он поставил котелок между коленями, доел все, что там было, и принялся скрести ложкой по краям. Мать вылила оставшееся молоко в кружку и тайком сунула ее Розе Сарона. Потом разлила горячий черный кофе и обнесла им всех.

— Ну, будете вы говорить или нет? — спросил Том.— Я хочу послушать.

Отец неуверенно сказал:

— Руфи и Уинфилду незачем это знать. Может, они выйдут?

Мать сказала:

— Нет. Они хоть и малыши, а должны теперь быть как взрослые. Ничего не поделаешь. Руфь и ты, Уинфилд, не вздумайте разболтать, о чем мы тут говорим, не то вы нас погубите.

— Мы не разболтаем,— сказала Руфь.— Мы взрослые.

— Ну ладно, только молчите.— Кружки с кофе стояли на полу. Короткий и широкий огонек фонаря, похожий на крылышко бабочки, бросал желтоватые отсветы на стены.

— Ну, говорите,— сказал Том.

Мать сказала:

— Па, ты говори.

Дядя Джон отхлебнул кофе. Отец начал:

— Что ж... ты угада́л — плату снизили. И новые сборщики приехали. Такие голодные, что готовы работать за краюху хлеба. Тянешься к персику, а у тебя его перехватывают из-под самого носа. Теперь весь урожай мигом снимут. Как увидят — дерево еще не обобрано, бегом к нему бегут. Дерутся — я сам видел. Один говорит: мое дерево, а другой тоже к нему лезет. Народ приехал издалека — из Эль-Сентро. Голодные, как волки. За кусок хлеба работают с утра до ночи. Я говорю приемщику: «Разве так можно платить — два с половиной цента с ящика?» А он отвечает: «Что ж, увольняйтесь. Другие найдутся». Я говорю: «Они подкормятся немного и тоже бросят». А он говорит: «Эка! К тому времени, когда они подкормятся, мы все персики снимем».— Отец замолчал.

— Черт-те что творится,— сказал дядя Джон.— Говорят, сегодня вечером еще двести человек приедет.

Том спросил:

— Ну а про то что слышно?

Отец молчал.

— Том,— сказал он наконец,— похоже, правда.

— Так я и думал. Не разобрал в темноте, а все-таки почувствовал, что так оно и есть.

— Сейчас только об этом и говорят,— сказал дядя Джон.— Выставили охрану, кое-кто требует линчевания... конечно, если поймают этого человека.

Том взглянул на детей. Они смотрели на него, почти не мигая, точно боялись, как бы что-нибудь не произошло именно в ту минуту, когда глаза у них будут закрыты. Том сказал:

— Тот человек... сделал это после того, как Кэйси убили...

Отец перебил его.

— Сейчас рассказывают по-другому. Сейчас говорят, что он первый это сделал.

У Тома вырвалось:

— А-а!..

— Они всех на нас натравливают. Всех виджилянтов, охранников. Хотят разыскать того человека.

— А они знают его в лицо? — спросил Том.

— В лицо вряд ли знают... Но, говорят, он ранен. Говорят, у него...

Том медленно поднял руку и коснулся перебитого носа.

Мать крикнула:

— Да ведь это все не так было!

— Тише, ма,— сказал Том.— Поди докажи, как там было. Виджилянт что ни наплетет на нас, все будет правильно.

Мать приглядывалась в полумраке к лицу Тома, к его губам.

— Ты обещал,— сказала она.

— Ма, может, все-таки мне... этому человеку лучше уйти? Если б... если б действительно этот человек сделал что-нибудь плохое, он бы сказал: «Ну что ж, казните меня. Это по заслугам». Но ведь он ничего плохого не сделал. Он будто вонючку ухлопал, ему раскаиваться не в чем.

Руфь перебила его:

— Мы с Уинфилдом все знаем, ма. Зачем он говорит про какого-то человека?

Том засмеялся.

— Ну так вот, этому человеку незачем болтаться на виселице, потому что, приведись опять такой случай, и он точно так же сделает. Кроме того, ему не хочется, чтобы родные из-за него терпели. Надо уходить, ма.

Мать прикрыла рот рукой и откашлялась.

— Нет,— сказала она.— Куда ты пойдешь? На других положиться нельзя, а на своих можно. Мы тебя спрячем, позаботимся, чтобы ты сыт был, пока лицо не заживет.

— Ма, да ведь...

Она встала.

— Никуда ты не уйдешь. Мы тебя увезем отсюда. Эл, подведи грузовик к самым дверям. Я уж все обдумала. Один матрац положим на дно. Том заберется туда побыстрее, а второй поставим домиком и сбоку загородим чем-нибудь. Продух будет,— дышать можно. Не спорь. Так и сделаем.

Отец недовольно проговорил:

— Теперь, видно, мужчине и слова нельзя вымолвить. Заправилой стала. Придет время, устроимся где-нибудь на постоянное житье, я тебе тогда всыплю.

— Придет такое время, тогда и всыплешь,— сказала мать.— Вставай, Эл. Теперь уж совсем темно.

Эл вышел к грузовику. Он прикинул мысленно, как это все сделать, и, дав задний ход, подвел машину к самим дверям домика.

Мать сказала:

— Ну, живо!

Отец и дядя Джон перекинули матрац через задний борт.

— Теперь второй.

Они подняли второй матрац.

— Ну, Том, скорее!

Том быстро перелез через борт и спрыгнул на дно грузовика. Он расправил нижний матрац, а верхним прикрылся. Отец при-

поднял верхний домиком. В щели между боковыми планками можно было смотреть на дорогу. Отец, Эл и дядя Джон быстро грузили остальные вещи: поверх матрацев положили одеяла, сбоку поставили ведра, сзади расстелили третий матрац. Кастрюли, сковороды, одежда были сложены в одну кучу, потому что ящиков не осталось. Погрузка была почти закончена, когда к машине, держа винтовку на согнутой руке, подошел караульный.

— Что вы тут делаете? — спросил он.

— Уезжаем,— ответил отец.

— Почему?

— Нам предлагают работу... хорошую работу.

— Вон как? Где же это?

— Около Уидпетча.

— Ну-ка, подождите, я на вас взгляну.— Он посветил фонарем сначала в лицо Элу, потом отцу, потом дяде Джону.— А с вами будто еще один был?

Эл сказал:

— Это которого мы подвезли? Невысокого роста, бледный?

— Да, как будто так.

— Мы его на дороге подсадили. Он ушел еще утром, когда снизили плату.

— Ну-ка повтори, какой он из себя?

— Небольшого роста, бледный.

— А лицо у него сегодня не разбитое было?

— Я ничего такого не заметил,— ответил Эл.— А что, бензиновая колонка еще открыта?

— Открыта. До восьми.

— Садитесь,— крикнул Эл.— Если хотите попасть в Уидпетч к утру, надо поторапливаться. Ты в кабину, ма?

— Нет, я сяду сзади,— ответила мать.— Па, ты тоже лезь сюда. А в кабине пусть едут Роза Сарона, дядя Джон и Эл.

— Па, дай мне талон,— сказал Эл.— Попробую взять на него бензину, может, разменяют.

Караульный смотрел им вслед, пока они не свернули налево, к бензиновой колонке.

— Два галлона,— сказал Эл.

— Видно, недалеко едете?

— Да, недалеко. Вы мне разменяете талон?

— Собственно... это не полагается.

— Слушайте, мистер,— сказал Эл.— Нам предлагают хорошую работу, надо только поспеть туда сегодня же к ночи. Не поспеем — другие перехватят. Будьте другом.

— Ну, ладно. Только подпиши талон.

Эл спрыгнул на дорогу и обошел грузовик.

— Конечно, подпишу.— Он отвернул пробку и налил в радиатор воды.

— Два галлона?

— Да.

— Куда же вы едете?

— К югу. Работу обещают.

— Вон как? Теперь работы — приличной работы — мало.

— Там у нас есть знакомый,— сказал Эл.— Наверняка едем. Ну, до свидания.— Грузовик развернулся и, подскакивая на выбоинах немощеной улицы, выехал на дорогу. Слабые фары скользнули лучами по щебню; в правую ток проходил плохо, и она то и дело подмигивала. При каждом толчке посуда, сложенная на дне грузовика, громыхала и лязгала.

Роза Сарона тихо застонала.

— Нездоровится? — спросил дядя Джон.

— Да. Все время нездоровится. Отдохнуть бы где-нибудь. И зачем только мы уехали из дому! Будь мы дома, Конни никуда бы не ушел. Стал бы учиться, работу бы получил.

Эл и дядя Джон молчали. Они стеснялись говорить с ней о Конни.

У выкрашенных в белую краску ворот к грузовику подошел сторож.

— Совсем уезжаете? — спросил он.

— Да,— ответил Эл.— На север едем. Получили работу.

Сторож направил луч фонаря на машину, поднял фонарь выше, осветил брезентовый навес. Мать и отец, не двигаясь, смотрели на яркий луч.

— Ну, так.— Сторож распахнул ворота. Грузовик свернул налево и поехал к широкому шоссе № 101, пересекающему побережье с севера на юг.

— Ты знаешь, куда ехать? — спросил дядя Джон.

— Нет,— ответил Эл.— Еду куда глаза глядят. Осточертело.

— Мне рожать скоро,— с угрозой в голосе сказала Роза Сарона.— Подыщите наконец хорошее место.

В ночном воздухе чувствовалась близость первых заморозков. С фруктовых деревьев вдоль дороги уже начинали опадать листья. Мать сидела на поклаже, прислонившись к боковому борту, отец — лицом к ней.

Мать окликнула Тома:

— Ну, как ты, ничего?

Он ответил приглушенным голосом:

— Немного тесновато. Сады проехали?

— Смотри, осторожнее,— сказала мать.— Как бы не остановили.

Том приподнял край матраца. Где-то рядом в темноте громыхала посуда.

— Опустить недолго,— сказал он.— А кроме того, не хочу, чтобы меня схватили в этой ловушке.— Он прилег, опершись на локоть.— Ух ты! А ведь холодновато стало!

— Тучи собираются,— сказал отец.— Говорят, зима в этом году будет ранняя.

— А что, белки высоко гнездятся, трава рано обсеменилась? — спросил Том.— Каких только примет люди не придумают! А по старым штанам погоду не предсказывают?

— Не знаю,— ответил отец.— Я уж зиму почувствовал. А чтобы говорить наверняка, надо здесь не один год прожить.

— Куда же мы едем? — спросил Том.

— Я не знаю. Эл свернул налево. Похоже, та же самая дорога, по которой мы сюда приехали.

Том сказал:

— Не знаю, что лучше. Если ехать по главному шоссе, полисмены будут чаще попадаться. Увидят меня с таким лицом, живо сцапают. Может, свернуть на проселок?

Мать сказала:

— Постучи ему. Пусть остановится.

Том постучал кулаком по стенке; грузовик остановился у края дороги. Эл вылез и подошел к заднему борту. Руфь и Уинфилд высунули носы из-под одеяла.

— Ну что? — спросил Эл.

Мать сказала:

— Надо посоветоваться. Может, поедем проселками? Том считает, что так будет лучше.

— Из-за моего лица,— добавил Том.— Долго ли опознать? Первый же полисмен задержит.

— Так куда же тогда? Я думал, к северу. Мы едем с юга.

— Так и держи,— сказал Том.— Только проселками.

Эл спросил:

— Может, остановимся, заночуем где-нибудь, а завтра с утра поедем?

Мать быстро проговорила:

— Нет, еще рано. Надо отъехать подальше.

— Ладно.— Эл залез в кабину, и грузовик тронулся с места. Руфь и Уинфилд снова накрылись одеялом. Мать крикнула:

— Как там Уинфилд — ничего?

— Конечно, ничего,— сказала Руфь.— Он спал.

Мать опять прислонилась к борту.

— Чудно́ как-то, непривычно — будто за тобой охотятся. Я злая стала.

— Все стали злые,— сказал отец.— Все. Видела, как дрались в саду? Меняются люди. В правительственном лагере злых не было.

Эл свернул на проселочную дорогу, и желтые огоньки фар дрогнули, метнувшись по щебню. Фруктовые деревья кончились, пошел хлопчатник. Грузовик проехал полями еще миль двадцать, кружа и петляя по проселкам. Дальше дорога потянулась вдоль заросшей кустарником речки, потом свернула к мосту и по другую сторону снова пошла вдоль берега. И вскоре фары осветили длинный ряд красных товарных вагонов без колес, а у самой дороги — огромный щит с надписью: «Требуются Сборщики Хлопка». Эл замедлил ход. Том смотрел в щель между бортовыми планками. Когда грузовик проехал еще с четверть мили, Том опять постучал в стенку. Эл остановился у края дороги и опять вышел из кабины.

— Ну, что еще?

— Выключи мотор и лезь сюда,— сказал Том.

Эл залез в кабину, отъехал к канаве, выключил мотор и фары. Потом поднялся наверх по заднему борту.

— Готово,— сказал он.

Том перебрался через котелки и сковороды и стал на колени перед матерью.

— Слушайте,— сказал он.— Тут нужны сборщики. Вон там был плакат. Я все думал, как бы так сделать, чтобы и остаться с вами, и никого не подвести. Лицо заживет, тогда беспокоиться нечего, а сейчас опасно. Видите вагоны? В них живут сборщики. Может, и для вас работа найдется. Устроитесь здесь, а жить будете вот в таком вагоне.

— А ты? — спросила мать.

— Видала кустарник на берегу? Там можно спрятаться, никто меня не увидит. А по вечерам будете приносить мне еду. Чуть подальше есть дренажная труба. Я посмотрю, может, там спать можно.

Отец сказал:

— Я с удовольствием пойду собирать хлопок. Слава богу, работа знакомая!

— В вагонах, наверно, хорошо,— сказала мать.— Чисто, сухо. А ты думаешь, там, в кустах, можно спрятаться?

— Конечно, можно. Я к ним присматривался, пока ехали. Выберу местечко и отсижусь там, а как только лицо заживет, выйду.

— У тебя шрамы останутся,— сказала мать.

— Подумаешь! У кого их нет?

— Я как-то раз набрал четыреста фунтов,— сказал отец.— Правда, тогда урожай был хороший. Если все пойдем на сбор, вот и деньги будут.

— Вот и мясо будет,— сказал Эл.— Ну, что дальше?

— Лезь обратно, переспим ночь в грузовике,— сказал отец.— А с утра за работу. Я коробочки даже в темноте вижу.

— А как же Том? — спросила мать.

— Ма, не думай обо мне. Я возьму с собой одеяло. Когда поедете назад — смотрите внимательно. Там есть дренажная труба. Будете приносить мне туда чего-нибудь поесть — хлеб, картошку, кашу. Принесете и оставите. Я потом возьму.

— Ну... не знаю.

— По-моему, он дело говорит,— сказал отец.

— Конечно, дело! Лицо заживет, я выйду, буду собирать хлопок вместе с вами.

— Ну ладно,— согласилась мать.— Только смотри, будь осторожнее. Не попадись кому-нибудь на глаза.

Том пробрался в задний конец грузовика.

— Я возьму вот это одеяло. Ма, значит, ищи дренажную трубу, когда поедете назад.

— Только остерегайся,— сказала она.— Смотри, остерегайся.

— Ну еще бы! — сказал Том.— Как же мне не остерегаться? — Он перелез через задний борт и зашагал к берегу.— Спокойной ночи! — крикнул он.

Мать видела, как его силуэт слился с темнотой и исчез в кустарнике на берегу.

— Господи! Хоть бы хуже не было,— сказала она.

Эл спросил:

— Назад поедем?

— Да,— ответил отец.

— Только помедленнее,— сказала мать.— Я хочу найти ту трубу, про которую он говорил. Не прозевать бы ее.

Эл долго разворачивался на узкой дороге, прежде чем повернуть машину назад. Он медленно повел ее к товарным вагонам. Огоньки фар выхватывали из темноты сходни у высоких дверей. В вагонах было темно. Кругом стояла тишина. Эл выключил фары.

— Вы с дядей Джоном лезьте наверх,— сказал он Розе Сарона.— А я буду спать в кабине.

Дядя Джон помог Розе взобраться на грузовик. Мать сдвинула посуду. Все улеглись у заднего борта, тесно один к другому.

В одном из вагонов, судорожно всхлипывая, закатился ребенок. На дорогу выбежала собака — она принюхивалась к следам и, поравнявшись с грузовиком Джоудов, медленно обошла его. От речки доносилось тихое журчанье воды.

ГЛАВА XXVII

Требуются Сборщики Хлопка — плакаты вдоль дорог, листки — оранжевые листки: Требуются Сборщики Хлопка.

Тут написано, куда ехать: вот по этой дороге.

Темно-зеленые стволы становятся деревянистыми, створки коробочек цепко держат белый сырец, выпирающий наружу, точно кукурузное зерно.

Нам бы только дорваться до этих коробочек. Тронуть их осторожно, кончиками пальцев.

Я быстро собираю.

Вон с кем надо говорить — пошли.

Я на сбор хлопка.

Холщовый мешок есть?

Да нет...

За мешок — доллар. Вычтем из получки за первые полтораста фунтов. Первый сбор с поля восемьдесят центов за сто фунтов. Второй сбор — девяносто. Получай мешок. С тебя доллар. Если сейчас денег нет, вычтем из получки за первые полтораста фунтов. Это по-божески, сам понимаешь.

Конечно, по-божески. Хороший холщовый мешок, его хватит на весь сезон. А когда изорвется снизу, можно перевернуть другим концом. Этот конец зашьешь. Рваный разрежешь. А когда разорвутся оба конца — середка-то останется! Хорошая холстина пойдет на трусики. Или на ночную рубашку. Да что там говорить, холщовый мешок — это вещь.

Привяжи его к поясу. Оседлай его, волочи за собой между ногами. Сначала тащить нетрудно. Пальцы срывают пушистые головки, руки пробираются в мешок, который волочится у тебя между ногами. Ребятишки идут сзади; у них холщовых мешков нет — возьмут джутовый или пусть кладут к отцу. Теперь немного потяжелее. Наклонись вперед, тащи его за собой. Я мастер собирать хлопок. Пальцы знают свое дело, облюбовывают коробочку. Шагаешь между рядами, разговариваешь с соседями, можно и спеть, пока мешок не такой тяжелый. Пальцы нащупывают сами собой. Пальцы — они знают. Глаза смотрят на кусты, и рвешь, будто не глядя.

Переговариваются друг с другом через грядки...

В наших краях была одна женщина — не буду называть ее по имени — и вдруг в один прекрасный день она родила негритенка. Никто ничего не знал и не подозревал. Негра этого так и не нашли, а она с тех пор головы не подняла. Почему я про нее вспомнил? Да — она была хорошая сборщица.

Теперь мешок отяжелел, волочи его за собой. Напрягай бедра, тащи его, как ломовая лошадь. А ребята суют к отцу. Хороший урожай. В низинах кусты похуже — стволы тонкие и деревянистые. В жизни такого хлопка не видал, как здесь, в Калифорнии. Волокно длинное — лучшего хлопка нигде не видал. Земля под ним быстро гибнет. Вот, скажем, человек хочет купить себе участок. Зачем покупать? Арендуй. Земля истощится — переедешь на новое место.

Люди шеренгой движутся по полю. Пальцы знают свое дело. Пытливые пальцы снуют среди листьев, сами находят коробочки, и смотреть не надо.

Да я бы и слепой мог собирать. Чутьем коробочку нахожу. Обираю чисто, будто обсасываю.

Теперь мешок полон. Тащи его к весам. Спорь. Весовщик говорит, будто ты подложил камней. А сам хорош! Весы-то жульнические. Бывает, что правда на его стороне,— камни в мешке есть. Бывает, что на твоей,— весы жульнические. А бывает, что правы оба: и камни есть, и весы жульнические. Спорь, всегда спорь, не сдавайся без боя. После этого чувствуешь себя человеком. И он тоже чувствует себя человеком.

Камни? Есть о чем говорить! Может, какой-нибудь один попался. Четверть фунта? Подумаешь! Не сдавайся, спорь.

Назад с пустым мешком. У нас своя книжка. Записываю вес. Без этого нельзя. Они увидят, что ты ведешь запись, и не станут надувать. А не будешь отмечать у себя, тогда плохо твое дело.

Хорошая работа. Ребятишки бегают на воле. А ты не слыхал про машины, которые сами собирают хлопок?

Слыхал.

Думаешь, введут их?

Если введут, тогда, говорят, ручному сбору крышка.

Наступает вечер. Все устали. А поработали хорошо. У нас получка — три доллара. Я собирал, и жена, и ребята.

К хлопковому полю подъезжают машины. Палатки вырастают одна за другой. Грузовики с прицепами, затянутые поверху сеткой, набиты белым пухом. Хлопок цепляется за проволочные изгороди, чуть подует ветер, и хлопок шариками катится по дорогам. Чистый белый хлопок идет в джин-машины. Большие пухлые мешки стоят, дожидаясь компрессора. Хлопок пристает к одежде, застревает в усах, в бороде. Высморкаешься — в носу тоже хлопок.

Шагай, сгорбившись, набивай мешок, пока еще светло. Пытливые пальцы выискивают коробочки. Бедра напряжены, волочат мешок. Ребятишки устают к вечеру. Спотыкаются о грядки. А солнце идет на закат.

Хорошо бы подольше здесь поработать. Деньги не бог весть какие, а все-таки хорошо бы подольше.

С дороги одна за другой сворачивают дряхлые машины, привлеченные сюда оранжевыми листками.

Холщовый мешок есть?

Нет.

Вычтем доллар.

Будь нас только пятьдесят человек, тогда можно было бы поработать подольше, а нас здесь пятьсот. Надолго не хватит. Я знал одного — он так и не выплатил за мешок. Новое место — новый мешок, а пока он наберет первые полтораста фунтов, поле уже чистое.

Скопи денег хоть самую малость! Скоро зима! Зимой в Калифорнии работы нет. Набивай мешок, пока еще светло. А вон тот подложил для весу два комка земли — я видел.

А что, в самом деле! Я только выравниваю жульнические весы.

У меня записано — триста двенадцать фунтов.

Правильно.

Подумать только! Он мне и слова не сказал. Наверно, весы жульнические. Ну что ж, все равно — денек выдался удачный.

Говорят, сюда едет еще тысяча человек. Завтра будем брать с боя каждый ряд, выхватывать коробочки из-под носа у соседей.

Требуются Сборщики Хлопка. Чем больше сборщиков, тем скорее в джин-машину.

Теперь домой, в лагерь.

А у нас сегодня будет боковина — честное слово! У нас есть деньги на боковину! Возьми малыша за руку, он совсем уморился. Беги вперед, купишь четыре фунта боковины. Старуха напечет вкусных лепешек, если не очень устала.

ГЛАВА XXVIII

Товарные вагоны, числом двенадцать, выстроились близко один к другому на небольшой полянке возле речки. Они стояли в два ряда, по шесть в каждом. Колеса с них были сняты, от широких раздвижных дверей шли вниз сходни. Жилье получилось хорошее — крыши не протекают, сквозняка нет. В двенадцати вагонах разместились двадцать четыре семьи, по одной в каждой половине. Окон в вагонах не было, но широкие двери все время стояли открытыми. Половины отделялись одна от другой брезентом, а границей служил только просвет двери.

Джоуды получили половину одного из крайних вагонов. Прежние обитатели оставили здесь керосиновый бидон с прилаженной к нему трубой, которая была выведена наружу через дыру в стене. В углах вагона было темно даже при открытой двери. Мать отделила свою половину брезентом.

— Тут хорошо,— сказала она.— Лучше было, пожалуй, только в правительственном лагере.

Каждый вечер она раскладывала на полу матрацы и каждое утро снова сворачивала их. И каждый день они уходили в поле собирать хлопок, и каждый вечер у них было мясо к ужину. В одну из суббот съездили в Туларе и купили там железную печку, новые комбинезоны Элу, отцу, Уинфилду и дяде Джону и платье матери, а ее праздничное платье пошло Розе Сарона.

— Она так располнела,— сказала мать.— Зачем покупать ей новое? Только зря деньги тратить.

Джоудам посчастливилось. Они попали вовремя и успели захватить место в вагоне. Вся поляна была теперь заставлена палатками тех, кто приехал позднее, а обитатели вагонов считались уже старожилами и в некотором роде местной аристократией.

Узкая речка бежала мимо поляны, то прячась в ивняке, то снова появляясь. От каждого вагона к ней шла твердо утоптанная тропа. Между вагонами были протянуты веревки, и каждый день на них вешалось белье для просушки.

Вечером они возвращались с поля, неся под мышкой сложенные холщовые мешки. Зашли в лавку у перекрестка, где всегда было много покупателей.

— Ну, как сегодня?

— Сегодня хорошо. Три с половиной доллара. Подольше бы здесь продержаться. Ребятишки приучаются, будут хорошими сборщиками. Ма сшила два мешочка. Большие мешки им не под силу. Наберут полные — складывают в наши. Из старых рубашек сшила. Молодцы — работают.

Мать подошла к мясному прилавку, поднесла палец к губам, подула на него, сосредоточенно размышляя.

— Надо, пожалуй, взять свиных отбивных. Почем они?

— Тридцать центов фунт, мэм.

— Дайте три фунта. И еще супового мяса — получше кусочек. Завтра моя дочка сварит суп. И еще бутылку молока для нее. Она прямо жить без него не может. Ждет ребенка. Ей велели побольше молока пить. Сейчас подумаю... картошка у нас есть.

К прилавку подошел отец с банкой сиропа в руках.

— Возьмем? — спросил он.— Оладьи испечешь.

Мать нахмурилась.

— Ну ладно... бери. Вот еще это посчитайте. Так... лярда у нас хватит.

Подбежала Руфь с двумя большими пачками печенья — глаза смотрят тоскливо, и матери достаточно кивнуть или помотать головой, чтобы эта тоска выросла в трагедию или сменилась восторгом.

— Ма...— Она подняла обе пачки, поворачивая их из стороны в сторону,— вот, мол, какие красивые.

— Положи на место...

Взгляд у Руфи стал трагический. Отец сказал:

— Да они всего по пяти центов. Ребятишки сегодня хорошо поработали.

— Ну...— Глаза у Руфи начали разгораться.— Ладно.

Руфь кинулась к выходу. На полпути она поймала Уинфилда и увлекла его за собой.

Дядя Джон пощупал парусиновые перчатки с нашивками из желтой кожи на ладонях, примерил их, снял и положил на место. Потом мало-помалу передвинулся к тому прилавку, где стояло спиртное, и погрузился в изучение ярлыков на бутылках. Мать заметила это.

— Па,— сказала она и мотнула головой в ту сторону.

Отец не спеша подошел к нему.

— Что, Джон, потянуло?

— Нет.

— Потерпи до конца сбора,— сказал отец.— Тогда так напьешься, что чертям тошно станет.

— А мне не хочется,— сказал дядя Джон.— Работаю я много, сплю хорошо. Сны меня не мучают.

— Я вижу, ты все на бутылки поглядываешь.

— Я их даже не замечаю. Чудно́. Хочется накупить всего побольше. И вещи-то все ненужные. Например, безопасная бритва. Или вон те перчатки. Дешевка.

— В перчатках нельзя собирать хлопок,— сказал отец.

— Я знаю. Безопасная бритва мне тоже ни к чему. А здесь так все заманчиво, что нужно не нужно, а купишь.

Мать окликнула их:

— Пойдемте. Теперь у меня есть все.— В руках у нее были покупки. Дядя Джон и отец взяли каждый по пакету.

Руфь и Уинфилд поджидали их у дверей, с выпученными глазами, с полным ртом печенья, набитого за обе щеки.

— Вот, теперь ужинать не будут,— сказала мать.

К лагерю сходился народ. В палатках зажигались огни. Из печных труб валил дым. Джоуды поднялись по доске и прошли

в свою половину. Роза Сарона сидела на ящике около печки. Она растопила ее, и железная печурка накалилась докрасна.

— Молока купили? — спросила Роза Сарона.

— Да. Вот оно.

— Дай мне. Я с утра не пила.

— Она думает, это как лекарство.

— Так мне няня говорила.

— Картошку приготовила?

— Да, очистила.

— Надо ее поджарить,— сказала мать.— Я купила отбивных. Нарежь картошку и положи на новую сковороду. И луку подбавь. Мужчины, вы пойдите умойтесь, принесите ведро воды. А где Руфь и Уинфилд? Им тоже надо умыться. Взяли для них печенья,— сказала мать Розе Сарона.— Каждому по большой пачке.

Мужчины пошли умываться к речке. Роза Сарона нарезала картошку на новую сковороду и, стоя около печки, поворачивала ломтики концом ножа.

Край брезентовой занавески отлетел в сторону. Из-за него появилось толстое, потное лицо.

— Ну, как у вас сегодня дела, миссис Джоуд?

Мать обернулась.

— Миссис Уэйнрайт! Добрый вечер. Да ничего. Три с половиной доллара. Даже немножко больше — три доллара пятьдесят семь центов.

— А мы получили четыре доллара.

— Ну что же,— сказала мать.— У вас народу больше.

— Да. Джонас уже большой мальчик. Я вижу, у вас сегодня отбивные!

Уинфилд прошмыгнул в дверь.

— Ма!

— Подожди минутку. Да, мои любят отбивные.

— А я бекон поджариваю,— сказала миссис Уэйнрайт.— Слышите, какой запах?

— Нет. У меня лук в картошке — все перешибает.

— Ой, подгорело! — крикнула миссис Уэйнрайт, и ее голова исчезла.

— Ма,— повторил Уинфилд.

— Ну, что тебе? Поди, объелся печеньем?

— Ма... Руфь все разболтала.

— Что разболтала?

— Про Тома.

Мать широко открыла глаза.

— Разболтала? — Она опустилась перед ним на колени.— Уинфилд... кому?

Уинфилд смутился. Он попятился назад.

— Она только немножко разболтала.

— Уинфилд! Скажи, что она говорила?

— Она... она свое печенье не сразу съела, а стала грызть понемножку — знаешь, как всегда. Грызет и говорит: «Тебе, наверно, жалко, что ничего не осталось?»

— Уинфилд! — крикнула мать.— Скажешь ты наконец? — Она тревожно оглянулась на занавеску.— Роза, поди поговори с миссис Уэйнрайт, чтобы она не подслушала.

— А картошка?

— Я посмотрю за картошкой. Иди, иди! Не то она будет подслушивать.

Роза Сарона, тяжело волоча ноги, прошла за брезент.

Мать сказала:

— Ну, Уинфилд, говори.

— Я и так говорю. Она ест понемножку, потом стала ломать каждое печенье на мелкие кусочки, чтобы подольше хватило...

— Ну, дальше, дальше!

— Потом подбежали ребята, им тоже захотелось, а Руфь грызет и грызет и никого не угощает. Тогда они обозлились, один мальчишка взял да и отнял у нее всю пачку.

— Уинфилд, про то рассказывай, про другое.

— Я и рассказываю. Руфь тоже обозлилась, побежала за ним, ударила сначала его, потом другого, а потом ее одна большая девочка излупила. Здорово излупила! Руфь заревела и говорит: «Я позову старшего брата, и он тебя убьет». А девчонка сказала: «Испугалась я! У меня тоже старший брат есть».— Уинфилд выпаливал все залпом.— Они подрались, и та девчонка всыпала ей как следует, а Руфь сказала: «Мой брат убьет твоего брата». А та девчонка говорит: «А что, если мой твоего убьет?» А потом... потом Руфь сказала, что наш брат двоих уже убил. А большая девочка сказала: «Ах, вот как? Врунья ты, больше ничего». Руфь сказала: «Ах, вот как? Наш брат сейчас прячется, потому что он убил человека, и твоего брата тоже убьет». А потом они начали обзывать друг дружку всякими словами, и Руфь бросила в ту девчонку камнем, девчонка за ней погналась, а я прибежал сюда.

— О господи! — устало проговорила мать.— О господи, Иисусе Христе, непорочный младенец! Что же теперь делать? — Она прижала ладонь ко лбу и потерла пальцами глаза.— Что же теперь делать? — От печки потянуло запахом подгоревшей картошки. Мать машинально поднялась и помешала ее.

— Роза! — крикнула она. Роза Сарона вышла из-за брезента.— Последи тут. Уинфилд, беги разыщи Руфь и веди ее сюда.

— Ты ее выпорешь, ма? — с надеждой в голосе спросил Уинфилд.

— Нет. Поркой делу не поможешь. И надо же было ей проболтаться! Теперь пори не пори — все равно. Ну, беги разыщи ее и приведи сюда.

Уинфилд бросился к двери, наткнулся на мужчин, поднимавшихся по доскам, и отступил в сторону, пропуская их мимо себя.

Мать тихо сказала:

— Па, надо посоветоваться. Руфь разболтала ребятам про Тома.

— Что?

— Подралась и все выболтала.

— Вот дрянь! Зачем?

— Да она не нарочно. Слушай, па, ты побудь здесь, а я попробую разыскать Тома — скажу ему. Надо предостеречь. Ты никуда не уходи, последи тут... А я захвачу ему поесть.

— Хорошо,— согласился отец.

— Ты ничего ей не говори. Я сама.

В эту минуту в дверях появилась Руфь, а позади нее Уинфилд. Девочка была вся грязная, губы перепачканы, из расквашенного в драке носа все еще капала кровь. Вид у нее был испуганный и смущенный. Уинфилд, торжествуя, шел за ней по пятам. Руфь злобно оглядела всех, шмыгнула в угол вагона и села там спиной к стене. Она и злилась и робела в одно и то же время.

— Я ей все сказал,— выпалил Уинфилд.

Мать накладывала на тарелку две отбивных котлеты и картошку.

— Молчи, Уинфилд. Не надо, она и так наказана,— сказала мать.

Детская фигурка метнулась вперед. Руфь обхватила мать поперек туловища, уткнулась матери в живот лицом и вся затряслась от рыданий. Мать пыталась высвободиться, но грязные пальцы держали ее цепко. Мать ласково провела рукой по волосам Руфи и похлопала ее по плечу:

— Молчи, молчи,— сказала она.— Ведь ты не нарочно.

Руфь подняла грязное, исполосованное слезами и кровью лицо.

— Они отняли мое печенье! — крикнула она.— А эта большая девчонка, стерва, она меня побила...— И снова залилась слезами.

— Молчи,— сказала мать.— Не надо такие слова говорить. Ну, пусти меня, я ухожу.

— Ма, что же ты ее не выпорешь? Если б она не хвасталась своим печеньем, ничего бы и не было. Выпори ее.

— А вы, мистер, не суйте нос не в свое дело,— оборвала его мать.— Как бы тебя самого не выпороли. Ну, пусти, Руфь.

Уинфилд отошел к скатанному матрацу и уставился на своих родичей холодным, насмешливым взглядом. Он занял оборонительную позицию, прекрасно зная, что Руфь при первой же возможности накинется на него. А Руфь, убитая горем, тихо отошла в дальний угол вагона.

Мать накрыла оловянную тарелку газетой.

— Ну, я пойду,— сказала она.

— Что ж, без ужина? — спросил дядя Джон.

— Потом. Когда вернусь. Сейчас не хочется.— Мать подошла к открытой двери и осторожно спустилась вниз по перекладинам крутых сходней.

С той стороны поляны, которая была ближе к речке, палатки стояли тесно одна к другой, канаты их переплетались, колышки были вогнаны в землю впритык. Сквозь брезентовые стенки просвечивал огонь, над трубами клубился густой дым. Взрослые, стоя у палаток, переговаривались между собой. Дети как угорелые носились вокруг. Мать величаво шла все дальше и дальше. Ее узнавали, здоровались.

— Добрый вечер, миссис Джоуд.

— Добрый вечер.

— Что это у вас, миссис Джоуд?

— Занимала хлеб у знакомых. Надо вернуть.

Наконец палатки остались позади. Мать повернулась и посмотрела назад. Над лагерем стояло словно неяркое зарево, слышался приглушенный гул голосов. Иногда его прорезал чей-нибудь громкий окрик. Пахло дымом. Кто-то негромко играл на губной гармонике, старательно разучивая одну и ту же фразу, повторяя ее снова и снова.

Мать вошла в заросли ивняка на берегу. Она свернула с тропинки и, сев на землю, прислушалась, не идет ли кто за ней. Впереди показался какой-то мужчина, он шел к лагерю, подтягивая на ходу помочи, застегивая брюки. Мать сидела не двигаясь, и он не заметил ее. Она подождала минут пять, потом встала и осторожно вышла на тропинку. Она ступала тихо — так тихо, что шорох опавших листьев под ее ногами не заглушал журчания воды. Тропинка и река свернули влево, потом опять вправо и наконец вывели ее к шоссе. В серых сумерках мать увидела дорожную насыпь и круглое черное отверстие дренажной трубы, около которой она всегда оставляла еду для Тома. Она осторожно подошла туда, сунула в отверстие свой сверток и взяла стоявшую там пустую оловянную тарелку. Потом вернулась назад в кустарник, пробралась в самую его чащу и села, приготовившись ждать.

Сквозь густые заросли ей было видно черное отверстие трубы. Она обняла колени руками и сидела тихо, не двигаясь. Вскоре жизнь в кустарнике пошла своим чередом. Полевые мыши, крадучись, пробирались среди листьев. По тропинке безбоязненно прошла вонючка, оставив после себя легкую струйку зловония, а потом ветер еле-еле, точно примериваясь, шевельнул ивы, и на землю спорхнули золотые листья. И вдруг он словно закипел в кустах, встряхнул их, и листья хлынули вниз ливнем. Мать чувствовала, как они опускаются ей на волосы, на плечи. По небу, одну за другой гася звезды, плыла пухлая темная туча. Крупные капли дождя защелкали по опавшей листве, туча ушла, и звезды снова показались на небе. Мать вздрогнула. Ветер умчался дальше, и кустарник затих, но ниже по речке все еще слышался шорох листьев. Из лагеря донеслось тонкое, въедливое пиликанье скрипки, нащупывающей мелодию.

Мать различила осторожные шаги где-то влево от себя и насторожилась. Она разомкнула руки, вытянула шею, прислушиваясь. Шорох стих, и лишь долгое время спустя послышался снова. Ветка царапнула по сухим листьям. Мать увидела, как темная человеческая фигура вышла из чащи и скользнула к дренажной трубе. Черное отверстие исчезло, потом человек шагнул назад. Она тихо окликнула его:

— Том.

Человек застыл на месте, он стоял так неподвижно, так низко пригнулся к земле, что его можно было принять за пенек. Она повторила:

— Том, Том! — И только тогда он шевельнулся.

— Ты, ма?

— Да... Я здесь.— Она поднялась и шагнула к нему навстречу.

— Напрасно ты пришла,— сказал он.

— Надо повидаться, Том. Надо поговорить.

— Тропинка совсем близко,— сказал он.— Кто-нибудь пройдет — заметит.

— А разве у тебя нет такого места, где...

— Есть, да вдруг... вдруг тебя увидят вместе со мной... тогда вся семья пострадает.

— Надо поговорить, Том.

— Ну, хорошо, иди за мной. Только тише.

Он перешел речку вброд; мать не отставала от него. Он вывел ее сквозь заросли ивняка в поле. Темные кусты хлопчатника резко вырисовывались на грядках, кое-где на них висели пушистые клочья. Они прошли полем еще с четверть мили, а потом снова свернули в заросли. Том подошел к широко раз-

«Гроздья гнева»

росшимся кустам дикой смородины, нагнулся и отвел ветки в сторону.

— Надо ползком,— сказал он.

Мать стала на четвереньки. Она почувствовала песок под руками, кусты раздвинулись и уже не задевали ее по голове, потом рука нащупала одеяло. Том прикрыл ветками вход. Внутри стало совсем темно.

— Ты где, ма?

— Здесь. Тише, Том.

— Ничего, не беспокойся. Я уже привык — живу тут, будто кролик.

Она услышала, как он снимает бумагу с оловянной тарелки.

— Отбивные,— сказала она.— С жареной картошкой.

— Ого! И еще тепленькие!

Мать не могла разглядеть его в темноте, но ей было слышно, как он откусывает мясо, жует, глотает.

Она нерешительно начала:

— Том... Руфь все выболтала.

Он поперхнулся.

— Руфь? Зачем?

— Она не виновата. Подралась с какой-то девчонкой, пригрозила ей: мой брат побьет твоего брата. Знаешь, как они... Потом сказала: мой брат уже убил одного человека и теперь прячется.

Том слушал ее и смеялся.

— А я мальчишкой всех пугал дядей Джоном, только он не хотел заступаться. Мало ли что ребята болтают. Пустяки, ма.

— Нет, не пустяки,— сказала она.— Ребята наболтают, потом дойдет до взрослых, те тоже начнут болтать, а там, глядишь, кто-нибудь потребует, чтобы разузнали, в чем дело. Нет, Том, тебе надо уходить.

— Я с самого начала так считал. Мне и теперь боязно — увидят, что ты носишь сюда еду, и выследят.

— Знаю, знаю. Я все хотела, чтобы ты был при мне... Боялась за тебя. Я не успела разглядеть и сейчас не вижу — как лицо?

— Ничего, заживает.

— Подвинься поближе, Том. Дай я пощупаю. Подвинься.— Он подполз к ней. Ее рука нашла в темноте его голову, пальцы ощупали сначала нос, потом левую щеку.— Шрам очень большой. И переносица сломана.

— Может, это к лучшему? По крайней мере, не узнают. Не будь в Вашингтоне моих отпечатков, совсем было бы хорошо.— Он снова принялся за еду.

— Ш-ш! — сказала она.— Слушай!

— Это ветер, ма. Ветер.

Деревья вдоль реки зашумели.

Она пододвинулась еще ближе на его голос.

— Дай, Том, я потрогаю. Так темно, будто я слепая. Хочу запомнить, пусть хоть пальцы помнят. Уходи, Том.

— Да. Я с самого начала знал, что уйти придется.

— Мы хорошо подработали,— сказала она.— Я кое-что отложила. Держи, Том. Тут семь долларов.

— Я не возьму. Не надо, и так обойдусь.

— Держи, Том. Уйдешь без денег, я спать не буду. Мало ли что? Вдруг понадобится на автобус. Я хочу, чтобы ты ушел далеко отсюда. За триста, за четыреста миль.

— Не возьму.

— Том,— строго сказала она.— Ты возьмешь деньги. Слышишь? Ты не имеешь права меня мучить.

— Это нехорошо с твоей стороны, ма.

— Я все думала: может, ты попадешь в большой город. Может, в Лос-Анджелес. Там тебя не будут искать.

Он усмехнулся.

— Слушай, ма. Вот я прячусь тут, сижу день и ночь один. Угадай — о ком я все время думаю? О Кэйси! Он любил поговорить и частенько надоедал мне этим. А сейчас думаю о нем и вспоминаю каждое его слово. Вспоминаю, как он удалился в пустыню, искать свою душу, а оказалось, нет ничего такого в мире, где бы не было его души,— она всюду. Есть, говорит, одна большая душа в мире, а частичка ее — это я. Пустыня, говорит, ничему не поможет, потому что эта частичка должна слиться со всем миром. Чудно́ — ведь все помню. Я будто и не слушал тогда. А теперь сам понимаю: человеку в одиночку жить не годится.

— Он был хороший,— сказала мать.

Том продолжал:

— Помню, начал он шпарить из Писания. Я удивился: не похоже, что это божественное,— ни про грешников, ни про адские муки. Он два раза это повторил, и я все запомнил. Это из Екклезиаста.

— А про что там?

— Вот про что: «Двоим лучше, чем одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Это в начале так.

— А дальше? — спросила мать.— Говори дальше, Том.

— Это почти все... «Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется».

— Это из Писания?

— Да. Кэйси говорил, что из Екклезиаста.

— Ш-ш... слушай.

— Это ветер, ма. Я знаю, что ветер. И вот я еще что думал: в Писании все больше говорится о бедных, о том, что если у тебя ничего нет, так сложи руки и пошли все к черту — умрешь, тебе на том свете будут подносить мороженое на золотом блюде. А здесь, у Екклезиаста, сказано другое: двоим больше воздастся за труды их.

— Том,— спросила она,— что же ты решил делать?

Он долго молчал.

— Я все вспоминаю правительственный лагерь — как там люди сами со всем управлялись... Если кто затеет драку — мигом все это уладят, и никаких полисменов, никто в тебя револьвером не тычет. А ведь такого порядка полисменам не добиться. Вот я и думаю, почему повсюду так не устроить? Прогоним к черту полисменов, они нам чужие. Будем трудиться все вместе ради своей же пользы, будем работать на своей земле.

— Том,— повторила мать,— что же ты решил делать?

— То, что делал Кэйси.

— Но ведь его убили.

— Да,— сказал Том.— Он не успел увернуться от удара. А против закона Кэйси не шел. Я тут много думал. Вот мы живем, как свиньи, а рядом хорошая земля пропадает, или у нее один хозяин на миллион акров, а работящие фермеры живут впроголодь. А что, думаю, если нам всем собраться и поднять крик, вроде как те кричали, возле фермы Хупера.

Мать сказала:

— Затравят тебя, точно дикого зверя. Как с Флойдом было.

— Травить все равно будут. Весь наш народ затравили.

— Том... ты больше никого не убьешь?

— Нет. Я вот что думаю: раз уж я в бегах, может, мне... Да нет, ма, я еще как следует ни в чем не разобрался. Ты меня сейчас не тревожь. Не надо.

Они помолчали, сидя в черной, как уголь, темноте, под кустами. Потом мать сказала:

— Как же я о тебе узнаю, Том? Вдруг убьют, а я ничего не буду знать? Или искалечат. Как же я узнаю?

Том невесело засмеялся.

— Может, Кэйси правду говорил: у человека своей души нет, а есть только частичка большой души — общей... Тогда...

— Тогда что?

— Тогда это не важно. Тогда меня и в темноте почувствуешь. Я везде буду — куда ни глянешь. Поднимутся голодные на борь-

бу за кусок хлеба, я буду с ними. Где полисмен замахнется дубинкой, там буду и я. Если Кэйси правильно говорил, значит, я тоже буду с теми, кто не стерпит и закричит. Ребятишки проголодаются, прибегут домой, и я буду смеяться вместе с ними — радоваться, что ужин готов. И когда наш народ будет есть хлеб, который сам же посеял, будет жить в домах, которые сам выстроил,— там буду и я. Понимаешь? Фу, черт! Я совсем как наш Кэйси разглагольствую. Верно, потому, что много о нем думал все это время. Иной раз будто вижу его перед собой.

— Нет, не понимаю я, о чем ты говоришь,— сказала мать.— Не разберусь.

— Я тоже еще не во всем разобрался, ма,— сказал Том.— Такие у меня мысли, вот я их тебе и выложил. Когда сидишь на одном месте, столько всего в голову лезет... Ну, тебе пора.

— Возьми деньги.

Том помолчал.

— Ладно,— сказал он.

— Том, а когда все уляжется, ты вернешься? Ты разыщешь нас?

— Конечно, разыщу,— сказал он.— Ну, поднимайся. Дай руку.— Он помог ей найти выход. Она крепко ухватилась за его кисть. Он отвел ветки в сторону и выполз следом за ней.— Пройдешь полем до смоковницы, а там переходи речку вброд. Прощай.

— Прощай,— сказала она и быстро зашагала прочь. Слезы жгли ей глаза, но она не плакала. Она шла сквозь кусты, не таясь, вороша листья ногами. С тусклого неба брызнул дождь, капли были редкие и крупные, они тяжело падали на сухую листву. Мать остановилась и несколько минут тихо стояла среди мокрых кустов. Она повернула назад к разросшейся черной смородине; шагнула раз, другой, третий... потом остановилась и быстро пошла к лагерю. Она выбралась из кустарника около дренажной трубы и поднялась по насыпи на дорогу. Дождь стих, но небо было все в тучах. Она услышала позади себя шаги и круто обернулась. По дороге скользнул лучик карманного фонаря. Мать пошла дальше. Вскоре ее догнал какой-то человек. Он не поднял фонаря — светить ей прямо в лицо было бы невежливо.

— Добрый вечер,— сказал он.

Мать сказала:

— Здравствуйте.

— Похоже, дождь собирается.

— Это не ко времени. Нельзя будет собирать хлопок. А собирать надо.

— Мне тоже надо его собирать. Вы откуда — из лагеря?

— Да, сэр.

Они шагали в ногу.

— У меня участок в двадцать акров. Я немного запоздал с хлопком, поздно сеял. А сейчас, дай, думаю, схожу в здешний лагерь, может, там найдутся сборщики.

— Конечно, найдутся. Здесь сбор уже кончается.

— Вот и хорошо. До меня близко — мили две.

— Нас шестеро,— сказала мать.— Трое мужчин, я и двое ребят.

— Я вывешу объявление. Милях в двух отсюда.

— Мы приедем с утра.

— Даст бог, дождя не будет.

— Даст бог,— сказала мать.— Двадцать акров обобрать недолго.

— Чем скорее оберем, тем лучше. Запоздал мой хлопок. Задержался я с посадкой.

— А сколько вы платите, мистер?

— Девяносто центов.

— Мы приедем. Говорят, в будущем году семьдесят пять будут платить, а то и шестьдесят.

— Да, я тоже слышал.

— Это так просто не обойдется,— сказала мать.

— Конечно. Я сам знаю. У такой мелкоты, как мы, выбора нет. Плату устанавливает Ассоциация, а с ней нельзя не считаться. Не посчитаешься — пропала твоя ферма. Нас со всех сторон жмут.

Они подошли к лагерю.

— Мы приедем,— сказала мать.— Тут хлопка почти не осталось.— Она свернула к крайнему вагону и поднялась по доскам наверх. Неяркий свет фонаря бросал мрачные тени вокруг. Отец, дядя Джон и третий — пожилой мужчина — сидели на корточках у стены.

— Хэлло,— сказала мать.— Добрый вечер, мистер Уэйнрайт.

Уэйнрайт поднял голову. Черты лица у него были тонкие, словно выточенные, глаза сидели глубоко под густыми бровями. Мягкие седые волосы отливали голубизной. Червленое серебро бороды закрывало скулы и подбородок.

— Добрый вечер, мэм,— сказал он.

— Завтра поедем на сбор,— сообщила своим мать.— Мили за две отсюда. Двадцать акров.

— Пожалуй, надо ехать на грузовике,— сказал отец.— Раньше приедем — больше наберем.

Уэйнрайт встрепенулся.

— А что, если и нам пойти?

— Конечно, идите. Хозяин нагнал меня на дороге — мы вместе шли. Говорит, нужны сборщики.

— Здесь почти все сняли. Второй сбор жидковатый. На нем не заработаешь. С первого раза подчищают.

— Может, вы с нами поедете? — предложила мать.— Бензин пополам.

— Вот это по-дружески. Спасибо, мэм.

— И нам и вам выгода,— сказала мать.

Отец сказал:

— Мистер Уэйнрайт пришел к нам за советом. Сейчас сидели — обсуждали.

— А что такое?

Уэйнрайт опустил глаза.

— Да вот Эгги...— начал он.— Подросла девушка... шестнадцатый год, совсем стала взрослая.

— Эгги у вас хорошенькая,— сказала мать.

— А ты сначала послушай,— сказал отец.

— Эгги и ваш Эл каждый вечер гуляют. Эгги девушка здоровая, подросла, ей надо мужа, а то и беды ждать недолго. У нас в семье этого никогда не было. А сейчас нужда заела... Вот мы с миссис Уэйнрайт и беспокоимся. Что, если беда с ней случится?

Мать разложила матрац и села на него.

— Они и сейчас вместе? — спросила она.

— Каждый вечер гуляют,— ответил Уэйнрайт.— Уж сколько времени.

— Гм... Что ж, Эл мальчишка неплохой. Петушок — есть малость, но такие уж его годы. А мальчишка он неплохой, стойкий. Я лучшего сына и не желаю.

— Да мы на него не жалуемся! Он нам нравится. Ведь почему нам боязно?.. Девушка подросла. Вы уедете или мы уедем, а там вдруг окажется... У нас в семье такого позора еще не было.

Мать тихо проговорила:

— Мы подумаем, посоветуемся... Позорить вас не будем.

Уэйнрайт быстро встал.

— Спасибо, мэм. Эгги подросла. Она девушка хорошая. Если убережете нас от позора, мы вам будем очень благодарны. Эгги не виновата — выросла девушка.

— Отец поговорит с Элом,— сказала мать.— А не захочет, я сама поговорю.

Уэйнрайт сказал:

— Спокойной ночи. Большое вам спасибо,— и ушел за брезентовую занавеску. Они слышали, как он сообщал на своей половине о результатах переговоров.

Мать с минуту прислушалась, потом сказала:

— Идите сюда, поближе.

Отец и дядя Джон тяжело поднялись с места. Они сели на матрац рядом с матерью.

— А где ребятишки?

Отец показал в угол:

— Руфь накинулась на Уинфилда, оттрепала его. Я велел им обоим ложиться спать. Наверно, заснули. Роза пошла к какой-то знакомой женщине.

Мать вздохнула.

— Разыскала я Тома,— негромко начала она.— Велела уходить отсюда. Подальше.

Отец медленно покачал головой. Дядя Джон уткнулся подбородком в грудь.

— Ничего другого не оставалось,— сказал отец.— Ты как думаешь, Джон?

Дядя Джон посмотрел на него.

— Меня ни о чем не спрашивай,— ответил он.— Я теперь будто во сне хожу.

— Том у нас хороший,— сказала мать и добавила, словно извиняясь: — Это я не в обиду тебе вызвалась поговорить с Элом.

— Я знаю,— тихо сказал отец.— От меня теперь проку мало. Я только и думаю о том, как было раньше. Только и думаю о ферме, а ведь я ее больше не увижу.

— Здешние места лучше... красивее,— сказала мать.

— Да, верно. А я тут ничего не замечаю — все думаю, что сейчас с нашей ивы листья облетают. Иной раз вспомню: надо заделать дыру в заборе. Чудно́. Женщина семьей управляет. Женщина командует: то сделаем, туда поедем. А мне хоть бы что.

— Женщине легче переделаться,— успокаивающе проговорила мать.— У женщины вся ее жизнь в руках. А у мужчины — в голове. Ты не обижайся. Может... может, в будущем году местечко себе подыщем.

— У нас ничего нет,— продолжал отец.— Работы теперь долго не найдешь, урожаи собраны. Что мы дальше будем делать? Как мы будем кормиться? Розе скоро придет время рожать. Так нас прижало, что и думать не хочется. Вот и копаюсь, вспоминаю старое, чтобы мысли отвлечь. Похоже, кончена наша жизнь.

— Нет, не кончена.— Мать улыбнулась.— Не кончена, па. Это женщине тоже дано знать. Я уж приметила: мужчина — он живет рывками: ребенок родится, умрет кто — вот и рывок; купит ферму, потеряет свою ферму — еще один рывок. А у женщины жизнь течет ровно, как речка. Где немножко воронкой закрутит, где с камня вниз польется, а течение ровное... бежит речка и

бежит. Вот как женщина рассуждает. Мы не умрем. Народ, он будет жить — он меняется, немножко, а жить он будет всегда.

— Откуда ты это знаешь? — спросил дядя Джон.— Сейчас вся жизнь остановилась, разве ее чем-нибудь подтолкнешь? Люди устали, им бы только лечь да забыться.

Мать задумалась. Она потерла свои глянцевитые руки одна о другую, переплела пальцы.

— На это сразу не ответишь,— сказала она.— Мне так кажется: все, что мы делаем, все ведет нас дальше и дальше. Так мне кажется. Даже голод, даже болезни; кое-кто умрет, а другие только крепче станут. Надо со дня на день держаться, сегодняшним днем жить.

Дядя Джон сказал:

— Если б она не умерла тогда...

— А ты живи сегодняшним днем,— сказала мать.— Не растравляй себя.

— В наших местах, может, хороший урожай будет на следующий год,— сказал отец.

Мать шепнула:

— Слышите?

Доски скрипнули под чьими-то осторожными шагами, и из-за брезента появился Эл.

— Хэлло,— сказал он.— А я думал, вы давно спите.

— Эл,— сказала мать.— Мы тут разговариваем. Посиди с нами.

— Ладно. Мне тоже надо поговорить. Я скоро уйду отсюда.

— Нельзя, Эл. Мы не обойдемся без тебя. Почему ты решил уходить?

— Я... мы с Эгги Уэйнрайт решили пожениться, я буду работать в гараже, снимем домик и...— Он свирепо уставился на них.— Вот решили и решили, и никто нас не остановит.

Они молча смотрели на него.

— Эл,— сказала наконец мать,— мы рады этому. Мы очень рады.

— Рады?

— Конечно! Ты теперь взрослый. Тебе пора жениться. Только повремени, Эл, не уходи.

— Я уже обещал Эгги,— сказал он.— Нет, мы уедем. Мы больше не можем здесь оставаться.

— Подожди до весны,— упрашивала его мать.— Только до весны. Неужели до весны не останешься? А кто будет править грузовиком?

— Да я...

Миссис Уэйнрайт высунула голову из-за брезента.

— Вы уже знаете? — спросила она.

— Да. Только что узнали.

— Ах ты господи! Сейчас... сейчас бы пирог испечь... пирог... или еще что.

— Я заварю кофе, можно испечь блины,— сказала мать.— У нас сироп есть.

— Ах ты господи! — воскликнула миссис Уэйнрайт.— Я... подождите, я сахару принесу. К блинам — сахару.

Мать сунула хворост в печь, и он быстро загорелся от углей, оставшихся после дневной топки. Руфь и Уинфилд выползли из-под одеяла, точно раки-отшельники из своих раковинок. Первые несколько минут они вели себя скромно, стараясь разведать — прощены им недавние преступления или нет. Убедившись, что никто их не замечает, они осмелели. Руфь пропрыгала на одной ножке через всю половину вагона, не касаясь стены.

Мать сыпала муку в чашку, когда Роза Сарона поднялась по доскам в вагон. Она выпрямилась, опершись о косяк, и с опаской подошла к матери.

— Что случилось? — спросила она.

— А у нас новость! — крикнула мать.— Сейчас будет пир в честь Эла и Эгги Уэйнрайт. Они решили пожениться.

Роза Сарона застыла на месте. Она медленно перевела взгляд на Эла, который стоял красный, смущенный.

Миссис Уэйнрайт крикнула из своей половины:

— Я сейчас. Только наряжу Эгги в чистенькое платье.

Роза Сарона медленно повернулась, подошла к широкой двери и спустилась вниз. Ступив на землю, она медленно побрела к речке и к бежавшей вдоль нее тропинке. Роза Сарона шла туда, куда не так давно ходила мать,— в заросли ивняка. Она стала на колени и пробралась на четвереньках в самую гущу. Ветки царапали ей лицо, цеплялись за волосы, но она не замечала этого. Она остановилась только тогда, когда ветки оплели ее со всех сторон. Она легла на спину. И почувствовала, как шевельнулся ребенок у нее во чреве.

На матраце в углу темного вагона зашевелилась мать. Она откинула одеяло и поднялась. В открытую дверь лился слабый, чуть сероватый свет звезд. Мать подошла к двери и остановилась, глядя на поляну. На востоке звезды бледнели. Ветер мягко шуршал в зарослях ивняка, а от речки доносилась тихая болтовня воды. В палатках еще спали, но около одной уже горел небольшой костер, и у костра грелись люди. Мать видела их лица, освещенные неровным огнем, видела, как они потирали руки, а потом,

повернувшись, заложили их за спину. Мать долго смотрела на поляну, переплетя пальцы на груди. Порывистый ветер то налетал, то уносился дальше, в воздухе чувствовалась близость первых заморозков. Мать вздрогнула и тоже потерла руки. Бесшумно ступая, она вошла в вагон и нашарила около фонаря спички. Створка скрипнула. Она поднесла спичку к фитилю, дала ему разгореться синим язычком и вывернула желтое кольцо огня. Потом подошла к печке, поставила на нее фонарь и, наломав хрупкого хвороста, сунула его в топку. И через минуту огонь с ревом взвился в трубу.

Роза Сарона тяжело перевернулась на бок и села.

— Я сейчас оденусь,— сказала она.

— Полежала бы немножко, еще холодно,— сказала мать.

— Нет, я встану.

Мать налила воды в кофейник и поставила его на печку, потом поставила туда же сковороду с салом, чтобы раскалить ее под тесто.

— Что с тобой? — тихо спросила мать.

— Я пойду,— сказала Роза Сарона.

— Куда?

— Собирать хлопок.

— Что ты! — сказала мать.— Тебе нельзя.

— Нет, можно. Я пойду.

Мать всыпала кофе в воду.

— Роза, ты вчера не ела с нами блины.

Роза Сарона молчала.

— И что тебе вздумалось собирать хлопок? — Молчание.— Эл и Эгги? Из-за них? — Теперь мать пристально посмотрела на нее.— Брось. Совсем это не нужно.

— Нет, я пойду.

— Ну, хорошо. Только смотри, чтобы не через силу. Вставай, па! Проснись, вставай!

Отец зажмурился и зевнул.

— Не выспался,— простонал он.— Вчера часов в одиннадцать легли.

— Живо, живо. Все вставайте, идите умываться.

Обитатели вагона не сразу пришли в себя после сна. Они медленно выползали из-под одеял, поеживаясь, натягивали одежду. Мать разрезала ломтиками солонину на вторую сковороду.

— Вставайте, идите умываться,— командовала она.

В другом конце вагона, на половине Уэйнрайтов, вспыхнул свет, послышался треск сучьев.

— Миссис Джоуд! — крикнули оттуда.— Мы встаем. Скоро будем готовы.

Эл проворчал:

— И чего в такую рань подниматься?

— Там всего двадцать акров,— сказала мать.— Надо приехать пораньше. Хлопка мало. Надо поспеть, а то и вовсе ничего не останется.—Мать торопила их, торопилась и сама, чтобы не задерживаться с завтраком.— Пейте кофе,— сказала она.— Пора ехать.

— В темноте нельзя собирать, ма.

— А нам дай бог к рассвету туда попасть.

— Сыро будет.

— Дождь был маленький. Скорей пейте кофе. Эл, кончишь завтракать, готовь машину.

Она крикнула:

— Миссис Уэйнрайт, вы готовы?

— Завтракаем. Сейчас выйдем.

Лагерь проснулся. У палаток горели костры. Над вагонами клубился дым из труб.

Эл залпом выпил кофе и набрал полный рот гущи. Он сбежал по доскам, отплевываясь на ходу.

— Миссис Уэйнрайт, мы готовы! — крикнула мать. Она повернулась к Розе Сарона. Она сказала: — Оставайся.

Роза Сарона сжала зубы.

— Я поеду,— сказала она.— Ма, я поеду.

— Все равно мешка нет. Да тебе и нельзя его таскать.

— Я в твой буду класть.

— Осталась бы.

— Нет, я поеду.

Мать вздохнула.

— Ну что ж! Буду за тобой присматривать. Хорошо бы тебя сводить к доктору.

Роза Сарона взволнованно ходила по вагону. Она надела пальто, сняла его.

— Возьми одеяло,— посоветовала мать.— Захочешь отдохнуть, не озябнешь.— Они услышали гул мотора за стеной.— Мы первые приедем,— радовалась мать.— Ну, взяли свои мешки? Руфь, не забудь рубашки, в них будете собирать.

Уэйнрайты и Джоуды в темноте забрались на грузовик. Утро было близко, но бледный рассвет занимался медленно.

— Сворачивай налево,— сказала мать Элу.— Там должно быть объявление.— Они медленно ехали по темной дороге. А позади них шли другие машины, в лагере слышался гул моторов, и люди рассаживались по местам; машины выезжали на шоссе и сворачивали налево.

К почтовому ящику с правой стороны дороги был прибит кусок картона с надписью синим карандашом: «Требуются Сборщи-

ки Хлопка». Эл свернул в ворота. Весь двор был уже заставлен машинами. Электрический фонарь у входа в белый сарай освещал кучку мужчин и женщин, стоявших у весов с мешками под мышкой. Кое-кто из женщин накинул мешки на плечи, прикрывая концами грудь.

— Оказывается, мы не так уж рано приехали,— сказал Эл. Он подвел машину к забору и остановил ее там. Обе семьи слезли с грузовика и присоединились к кучке людей у сарая.

А машины все сворачивали с шоссе в ворота, и народу на дворе все прибывало. Хозяин записывал сборщиков, сидя под фонарем у входа в сарай.

— Хоули? — повторил он.— Х-о-у-л-и. Сколько?

— Четверо. Уилл...

— Уилл.

— Бентон...

— Бентон.

— Амалия...

— Амалия.

— Клэр...

— Клэр. Следующий. Карпентер? Сколько?

— Шестеро.

Он записывал фамилии в книгу напротив графы, в которой проставлялся вес собранного хлопка.

— Мешки есть? У меня несколько штук найдется. Вычтем доллар.— А машины одна за другой въезжали во двор. Хозяин поднял воротник кожаной, на меху, куртки и озабоченно посмотрел на дорогу, идущую от ворот.

— Я вижу, мои двадцать акров недолго простоят. Вон сколько народу понаехало,— сказал он.

Дети карабкались на огромный прицеп для перевозки хлопка, цепляясь босыми ногами за ряды проволоки, заменявшей борта.

— Слезьте оттуда! — крикнул хозяин.— Ну, живо! Еще проволоку мне оборвете.— И сконфуженные дети, не говоря ни слова, медленно слезли с прицепа. Наступил серый рассвет.— Придется сбавлять на росу,— сказал хозяин.— Солнце взойдет, тогда буду принимать полным весом. Впрочем, когда хотите, тогда и начинайте. Сейчас уже светло.

Сборщики быстро вышли в поле и разобрали ряды. Они привязали мешки к поясу и похлопали руками, чтобы согреть окоченевшие пальцы, от которых требовалось проворство. Небо над холмами на востоке порозовело, и сборщики длинной шеренгой двинулись по рядам. А машины все сворачивали с шоссе и въезжали во двор, и наконец места на дворе не осталось, и следующие уже останавливались за воротами. В поле гулял свежий ветер.

— И откуда вы все узнали? — говорил хозяин.— Будто по телеграфу. Мои двадцать акров и до полудня не простоят. Фамилия? Хьюм? Сколько?

Сборщики ровной шеренгой двигались по полю, и сильный западный ветер трепал их одежду. Пальцы быстро пробирались к пухлым коробочкам, быстро пробирались в длинные мешки, уже тяжело волочившиеся сзади по земле.

Отец разговаривал со своим соседом справа.

— В наших местах такой ветер всегда приносит дождь. А сейчас будто холодновато для дождя. Ты давно здесь? — Он говорил, не отрывая глаз от кустов.

Его сосед ответил, тоже не поднимая головы:

— Скоро год.

— Как по-твоему, будет дождь?

— А черт его знает, не в обиду тебе будь сказано. Люди из года в год здесь живут и то не могут угадать. Как сбор, так и жди, что дождь помешает. Вот как здесь говорят.

Отец быстро взглянул на запад. Над холмами, подгоняемые ветром, плыли большие серые тучи.

— Это, похоже, дождевые,— сказал он.

Его сосед покосился в ту сторону.

— А черт их знает!

И все, кто был в поле, оглянулись и посмотрели на тучи. И головы опустились еще ниже, руки еще быстрее засновали между листьями. Люди собирали хлопок, словно наперегонки,— они старались обогнать время, старались обогнать дождь и друг друга, побольше собрать, побольше заработать. Они прошли поле из конца в конец и кинулись разбирать новые ряды. И теперь ветер дул им в лицо, и они видели серые тучи, идущие высоко по небу, навстречу восходящему солнцу. А машины все еще останавливались на дороге, и новые сборщики подходили записываться к сараю. Люди с лихорадочной быстротой двигались по полю, взвешивали мешки, отмечали вес у хозяина, записывали у себя в книжках и бежали назад разбирать ряды.

К одиннадцати часам хлопок был собран — работа закончена. Оплетенные проволокой грузовики взяли на буксир оплетенные проволокой прицепы, выехали на шоссе и направились к джин-машине. Хлопок пробивался между рядами проволоки, маленькие облачка хлопка летали по воздуху, клочья хлопка цеплялись за придорожный бурьян и покачивались вместе с ним на ветру. Сборщики уныло брели к сараю и становились в очередь за получкой.

— Хьюм Джеймс — двадцать два цента. Ральф — тридцать центов. Джоуд Томас — девяносто центов. Уинфилд — пятнадцать центов.— Деньги были сложены столбиками: отдельно серебро,

отдельно никель, отдельно медяки. Получая плату, каждый сборщик заглядывал в свою книжку.— Уэйнрайт Эгнес — тридцать четыре цента. Тобин — шестьдесят три цента.— Очередь двигалась медленно, люди молча шли к своим машинам и медленно выезжали со двора.

Джоуды и Уэйнрайты сидели на грузовике, дожидаясь, когда дорога очистится. На землю упали первые капли дождя. Эл высунул руку из кабины. Роза Сарона сидела посередине, мать с краю. Глаза у Розы Сарона снова потухли.

— Не надо тебе было ездить,— сказала мать.— И набрала-то всего десять — пятнадцать фунтов.— Роза Сарона посмотрела на свой выпяченный живот и ничего не ответила. Она вздрогнула и высоко подняла голову. Мать развернула свой мешок, накинула его дочери на плечи и притянула ее к себе.

Наконец проезд был свободен. Эл пустил мотор и выехал на шоссе. Редкие крупные капли стрелами падали вниз и щелкали по бетону; и чем дальше уезжал грузовик, тем капли становились все чаще и мельче. Дождь так громко стучал по крыше кабины, что его было слышно сквозь стук дряхлого мотора. Те, кто сидел в кузове, развернули мешки и накинули их на головы и на плечи.

Роза Сарона тряслась всем телом, прижавшись к матери, и мать крикнула:

— Скорей, Эл. Розу что-то знобит. Ей надо ноги в горячую воду.

Эл прибавил газ и, въехав в лагерь, подвел грузовик поближе к красным вагонам. Они еще не успели остановиться, а мать уже раздавала приказания.

— Эл,— командовала она,— Джон, отец, сходите в ивняк, притащите побольше хворосту. Надо, чтобы в вагоне было тепло.

— Не протекает ли крыша?

— Вряд ли. Нет, у нас будет хорошо, сухо, только надо запастись топливом. Возьмите с собой Руфь и Уинфилда. Они сучьев принесут. Что-то наша дочка расхворалась.— Мать вылезла из машины, Роза Сарона последовала за ней, но колени у нее подогнулись, и она тяжело села на подножку.

Миссис Уэйнрайт увидела это.

— Что такое? Может, ей время пришло?

— Нет, вряд ли,— сказала мать.— Она прозябла, а может, простудилась. Дай мне руку.

Обе женщины повели ее к вагону. Роза Сарона сделала несколько шагов, и силы вернулись к ней — ноги приняли на себя тяжесть тела.

— Теперь ничего, ма,— сказала она.— Это только минутку было.

Обе женщины поддерживали ее под локти.

— Ноги в горячую воду,— наставительно сказала мать. Они помогли ей подняться по доскам в вагон.

— Вы разотрите ей руки и ноги,— сказала миссис Уэйнрайт,— а я затоплю печь.— Она сунула в печку последнее топливо и развела жаркий огонь. Дождь уже лил вовсю, сбегая струями с крыши вагона.

Мать подняла голову.

— Слава богу, крыша целая,— сказала она.— Палатка — какая она ни будь хорошая — все равно протекает. Миссис Уэйнрайт, вы много воды не ставьте.

Роза Сарона неподвижно лежала на матраце. Она позволила снять с себя туфли и растереть ноги. Миссис Уэйнрайт наклонилась над ней.

— Болей не чувствуешь? — спросила она.

— Нет. Просто нездоровится. Нехорошо мне.

— У меня есть лекарство и соли,— сказала миссис Уэйнрайт.— Если нужно — берите, пожалуйста.

Роза Сарона задрожала всем телом.

— Ма, покрой меня, мне холодно.

Мать собрала все одеяла и навалила их на нее. Дождь громко барабанил по крыше.

Мужчины вернулись нагруженные хворостом. С полей шляп и пиджаков у них струилась вода.

— Ну и льет! — сказал отец.— Вмиг промочило.

Мать сказала:

— Вы бы сходили еще разок. Хворост быстро прогорает. Скоро будет совсем темно.— Руфь и Уинфилд вошли мокрые с головы до ног, сложили свои ветки на кучу хвороста и повернулись к выходу.— Не ходите,— остановила их мать.— Станьте у печки, посушитесь.

За дверями вагона все было серебряное от дождя, мокрые тропинки блестели. Кусты хлопчатника с каждым часом становились все чернее и словно съеживались. Отец, Эл и дядя Джон уже который раз уходили в ивняк и возвращались оттуда с охапками хвороста. Хворост сваливали у двери, и только когда куча поднялась под самый потолок, они решили, что этого хватит, и подошли к печке. Вода с полей шляп струйками сбегала им на плечи. Полы пиджаков были мокрые, хоть выжми, в башмаках чавкало.

— Ну ладно. Снимайте с себя все,— сказала мать.— Я вам кофе вскипятила. Сейчас дам сухие комбинезоны. Ну, переодевайтесь, не стойте так.

Вечер наступил рано. Люди забились в вагоны и сидели там, прислушиваясь к ливню, хлеставшему по крышам.

ГЛАВА XXIX

На горную линию побережья и на долины двинулись с океана серые тучи. Высоко над землей ветер дул яростно и бесшумно, в кустарниках он свистел, в лесах поднимал рев. Тучи тянулись обрывками, слоями, вставали на небе, как серые скалы, а потом слились в сплошную пелену и низко повисли над землей. Тогда ветер стих и уже больше не тревожил тяжелую, непроницаемую массу. Сначала дождь налетал порывами, проходил, снова хлестал землю; а потом мало-помалу темп его выровнялся — мелкие капли, упорный стук их по земле, дождь, как серая пелена, сквозь которую ничего не было видно,— пелена, которая превращала день в вечер. Сухая земля пропиталась влагой и почернела. Земля пила дождь два дня, пока не утолила жажду. Тогда повсюду образовались лужи, а в низинах на полях — целые озера. Мутная вода в озерах поднималась все выше и выше, а упорный дождь хлестал их поблескивающую гладь. Наконец горы отказались принимать влагу, и ручейки, побежавшие по ущельям, слились в потоки и с ревом обрушились вниз, в долины. Дождь упорно хлестал землю. Ручьи и небольшие речки размывали корни ив и других деревьев, заставляли ивы сгибаться до самой воды, вырывали с корнем тополя и валили их. Мутная вода крутилась воронками, подступала к самому берегу и наконец хлынула в поля, в сады, на участки, где чернели кусты хлопчатника. Ровные поля превратились в озера — широкие, серые, и дождь не переставая хлестал их. Потом залило дороги; машины медленно двигались по ним, разбрызгивая впереди себя воду, оставляя мутный, пенящийся след позади. Дождь шуршал по земле, и ручьи вскипали пеной, принимая в себя все новые и новые потоки с гор.

Когда дождь только начался, кочевники попрятались по своим палаткам и, сидя там, говорили: это ненадолго. И спрашивали: сколько же это будет длиться?

А когда вода разлилась повсюду, мужчины вышли под дождь с лопатами и возвели небольшие плотины вокруг палаток. Дождь хлестал по брезенту и наконец пропитал его насквозь, и дождевые струйки побежали внутрь. Потом плотины смыло, и вода прорвалась в палатки и намочила матрацы и одеяла. Люди сидели в мокрой одежде. Они ставили ящики один на другой и клали между ними доски. И сидели на этих досках день и ночь.

Возле палаток стояли дряхлые машины, и вода привела в негодность их магнето, привела в негодность карбюраторы. Маленькие серые палатки были окружены озерами. И наконец люди решили, что надо уезжать отсюда. Но моторы не заводились, потому

что провода отсырели; а те, у которых двигатели еще работали, увязали по ступицы в глубокой грязи. И люди уходили по воде, забрав в охапку одеяла. Они шли, разбрызгивая воду, и несли на руках детей, несли стариков. И сараи, стоявшие на пригорках, были набиты людьми, дрожащими, отчаявшимися.

Некоторые уходили в города, в комиссии по выдаче пособий, и, грустные, возвращались назад, к своим.

Чтобы стать на пособие, надо прожить здесь не меньше года... Такое правило. Говорят, правительство окажет помощь. А когда, неизвестно.

И мало-помалу на них надвигался ужас, равного которому они еще не знали.

В ближайшие три месяца работы не будет никакой.

Люди в сараях сидели, сбившись в кучу; на них надвигался ужас, и лица у них были серые от ужаса. Голодные дети плакали, а кормить их было нечем.

Потом пришли болезни — воспаление легких и корь с осложнениями на глаза и на уши.

А дождь упорно хлестал землю, и вода заливала дороги, потому что дренажные трубы уже не могли отводить ее.

И тогда из палаток, из переполненных сараев стали выходить промокшие до костей люди в рваной одежде, в бесформенных от налипшей грязи башмаках. Они шли, разбрызгивая воду, в города, в сельские лавочки, в комиссии, где распределяют пособия,— шли вымаливать кусок хлеба, вымаливать пособие, красть, если удастся, лгать. А эти мольбы и унижения раздували в них огонь бесплодной злобы. И в маленьких городках жалость к промокшим до костей людям сменялась злобой, а злоба, которую вызывали голодные, сменялась страхом. Шерифы приводили понятых к присяге, спешно рассылали требования на оружие, на бомбы со слезоточивым газом, на патроны. А голодные люди толпились на задворках у бакалейных лавочек и вымаливали хлеб, вымаливали гнилые овощи, крали, если удавалось.

Люди исступленно стучались к врачам; но врачи всегда заняты, у них нет времени. Подавленные горем, люди заходили в сельские лавочки с просьбой передать коронеру, чтобы выслал машину. У коронера время было. И машины подъезжали по грязи к палаткам, к сараям и увозили мертвые тела.

А дождь безжалостно сек землю, и речки выходили из берегов и разливались по полям.

В переполненных лачугах, в сараях с отсыревшим сеном голод и страх рождали злобу. Подростки разбредались кто куда,— но не вымаливать хлеб, а красть его; и мужчины несмело разбредались кто куда — попробовать — может, удастся украсть.

Шерифы приводили к присяге новых понятых и рассылали новые требования на оружие; а обеспеченные люди, те, кто жил в домах, не боявшихся дождя, проникались сначала жалостью к этим кочевникам, потом отвращением и под конец ненавистью.

В сараях с дырявыми крышами, на мокром сене, женщины, задыхавшиеся от воспаления легких, рожали детей. А старики забивались в углы и умирали там, скорчившись так, что коронеры не могли потом расправить их окоченевшие тела. По ночам отчаявшиеся люди смело шли в курятники и уносили с собой кудахтающих кур. Если в них стреляли, они не пускались наутек, а все так же хмуро шагали по воде, а если пуля попадала в цель, устало валились в грязь.

Дождь стих. Поля были залиты водой, отражавшей серое небо, и тихий плеск ее слышался повсюду. Мужчины вышли из сараев, из лачуг. Они присели на корточки, глядя на затопленные поля. Они молчали. И лишь изредка переговаривались между собой.

Работы не будет до весны. До самой весны.

А не будет работы — не будет ни денег, ни хлеба.

Есть у человека лошади — он на них и пашет, и боронит, и сено косит, а когда они стоят без дела, ведь ему и в голову не придет выгнать их из стойла на голодную смерть.

То лошади,— а мы люди.

Женщины следили за мужьями, следили, выдержат ли они на этот раз. Женщины стояли молча и следили за мужьями. А когда мужчины собирались кучками по нескольку человек, страх покидал их лица, уступая место злобе. И женщины облегченно вздыхали, зная, что теперь не страшно — мужчины выдержат; и так будет всегда — до тех пор, пока на смену страху приходит гнев.

Крохотные былинки травы пробивались сквозь землю, и через несколько дней склоны холмов бледной зеленью встретили новую весну.

ГЛАВА XXX

Лагерь тонул в лужах, а дождь все хлестал и хлестал жидкую грязь. Взбухшая речка мало-помалу подбиралась к поляне, на которой стояли товарные вагоны.

На второй день Эл снял брезент, разделявший вагон на две половины. Он вышел наружу и прикрыл брезентом капот грузовика, потом вернулся в вагон и сел на матрац. Теперь, когда брезентовая перегородка была снята, обе семьи соединились. Мужчины сидели вместе, хмурые, подавленные. Мать поддерживала небольшой огонь в печке, подсовывая туда ветку за веткой,— хворост она приберегала. Дождевые потоки заливали плоскую крышу вагона.

На третий день Уэйнрайты забеспокоились.

— Может, нам лучше уехать? — сказала миссис Уэйнрайт.

Но мать старалась удержать их:

— Куда вы поедете, где вы найдете себе пристанище?

— Я и сама не знаю, а все-таки не сидится мне здесь.

Мать спорила с ней и украдкой поглядывала на Эла.

Руфь и Уинфилд затеяли игру, но вскоре и они притихли и пахохлились, а дождь все барабанил по крыше.

На третий день сквозь дробный стук дождевых капель послышался рев взбухшей речки. Отец и дядя Джон стояли в дверях, глядя в ту сторону. И справа и слева вода подходила вплотную к шоссе, но самые вагоны она огибала, так что лагерь стоял опоясанный — сзади дорожной насыпью, а спереди излучиной речки. Отец спросил:

— Ну, Джон, что скажешь? Если речка выйдет из берегов, как бы нас не затопило.

Дядя Джон открыл рот и потер ладонью щетинистый подбородок.

— Н-да,— сказал он.— Все может быть.

Роза Сарона лежала в жару, щеки у нее горели, глаза лихорадочно поблескивали. Мать села рядом с ней, держа в руках чашку горячего молока.

— Вот,—сказала она.— Выпей, я свиного сала туда подлила. Это подкрепляет. Ну, выпей.

Роза Сарона бессильно покачала головой.

— Не хочется.

Отец прочертил пальцем кривую линию в воздухе:

— Выйти бы всем с лопатами, устроить плотину, тогда воду можно будет задержать. Вот от сих пор и до сих.

— Да,— согласился дядя Джон.— Верно. Только не знаю, пойдет ли кто. Пожалуй, скажут, что лучше уехать.

— Да ведь в вагонах сухо,— стоял на своем отец.— Где теперь найдешь сухое место? Подожди.— Он вытащил ветку из кучи хвороста на полу. Сбежал по доскам вниз, добрался, разбрызгивая грязь, до речки и воткнул ветку у края бурлящей воды.— Фу черт, насквозь промочило,— сказал он, вернувшись в вагон.

Они следили за тонкой веткой, торчавшей у самой речки. Они видели, как вода медленно окружила ее и поднялась еще выше. Отец присел на корточки в дверях.

— Быстро прибывает,— сказал он.— Пойти поговорить, что ли? Может, согласятся? А нет, так надо уезжать.— Он посмотрел в дальний угол вагона, где помещались Уэйнрайты. Эл был у них, он сидел рядом с Эгги. Отец прошел в ту половину.— Вода под-

нимается,— сказал он.— А что, если устроить плотину? Только надо, чтобы все взялись.

Уэйнрайт ответил:

— А мы как раз сидим и думаем. Похоже, лучше уезжать отсюда.

Отец сказал:

— Вы здесь много где побывали — сами знаете, можно сейчас найти сухое место или нет?

— Это верно. А все-таки...

Эл сказал:

— Па, если они уедут, я с ними.

Отец оторопел.

— Как же так? А грузовик?.. Из нас никто не умеет им управлять.

— А мне какое дело? Мы с Эгги должны быть вместе.

— Постой,— сказал отец.— Вы подойдите-ка сюда.— Уэйнрайт и Эл встали и подошли к дверям.— Видите? Проведем плотину от того места сюда.— Он посмотрел на свою ветку. Вода бурлила вокруг нее и поднималась к самому берегу.

— Тут работы надолго, и, может, это все без толку,— не соглашался Уэйнрайт.

— Почему же не поработать, ведь все равно сидим сложа руки. А такого хорошего места больше нигде не найдешь. Пошли. Поговорим с остальными. Браться, так всем.

Эл повторил:

— Если Эгги уедет, я с ней.

Отец сказал:

— Слушай, Эл, если никто не согласится, уезжать надо всем. Пойдемте поговорим.

Они втянули головы в плечи, сошли по доскам вниз и подпялись к открытой двери соседнего вагона.

Мать сидела у печки, подбрасывая прутья в слабо горевший огонь. Руфь подошла, прижалась к ней.

— Я хочу есть,— заныла Руфь.

— Неправда,— сказала мать.— Ты ела кашу.

— Я хочу еще такого печенья. Играть ни во что нельзя. Скучно.

— Скоро будет весело,— сказала мать.— Подожди. Теперь уж совсем скоро. Будем жить в своем домике.

— Я хочу собаку,— сказала Руфь.

— Будет и собака и кошка.

— Рыжая кошка?

— Не приставай,— взмолилась мать.— Перестань ты меня мучить, Руфь. Видишь, Роза больна. Посиди смирно хоть минутку. Скоро опять будет весело.

Руфь отошла от нее, жалобно бормоча что-то.

Из того угла, где на матраце лежала укутанная одеялом Роза Сарона, донесся резкий, внезапно оборвавшийся крик. Мать быстро встала и подошла к ней. Роза Сарона сдерживала дыхание, в глазах у нее был ужас.

— Что с тобой? — крикнула мать. Роза Сарона передохнула и опять затаила дыхание. Мать сунула руку под одеяло.— Миссис Уэйнрайт! — крикнула она.— Миссис Уэйнрайт!

Низенькая толстушка вышла со своей половины.

— Вы звали?

— Смотрите! — Мать показала на лицо дочери. Роза Сарона прикусила нижнюю губу, на лбу у нее выступила испарина, в блестящих глазах стоял ужас.

— Должно быть, начинается,— сказала мать.— Прежде времени.

Роза Сарона вздохнула всей грудью, разжала зубы и закрыла глаза. Миссис Уэйнрайт нагнулась над ней.

— Сразу схватило? Смотри на меня, отвечай.— Роза Сарона бессильно мотнула головой. Миссис Уэйнрайт повернулась к матери.— Да,— сказала она.— Так и есть. Говорите, прежде времени?

— Ее лихорадка треплет, может, поэтому.

— Надо встать. Пусть походит немного.

— Она не сможет,— сказала мать.— У нее сил нет.

— Надо, надо.— Миссис Уэйнрайт держалась строго и деловито.— Мне не в первый раз,— сказала она.— Давайте прикроем дверь. Чтобы сквозняка не было.— Обе женщины налегли на тяжелую дверь и задвинули ее, оставив только небольшую щель.— Сейчас принесу лампу,— сказала миссис Уэйнрайт. Лицо у нее пылало от волнения.— Эгги! — крикнула она.— Уведи отсюда малышей, займись с ними.

Мать кивнула.

— Правильно. Руфь и ты, Уинфилд, пойдите к Эгги. Ну, живо.

— Почему? — спросили они.

— Потому что так надо. У Розы скоро родится ребеночек.

— Ой, я хочу посмотреть. Ну позволь, ма!

— Руфь! Уходи сию минуту. Живо!

Когда говорят таким тоном, спорить не приходится. Руфь и Уинфилд нехотя поплелись в дальний угол вагона. Мать зажгла фонарь. Миссис Уэйнрайт принесла свою лампу-«молнию», поставила ее на пол, и круглое пламя ярко осветило вагон.

Руфь и Уинфилд притаились за кучей хвороста и осторожно выглядывали оттуда.

— Родится ребеночек, и мы всё увидим,— негромко сказала Руфь.— Тише ты, а то ма не позволит смотреть. Если она взглянет сюда, пригнись пониже. Мы всё увидим.

— Из ребят мало кто это видел,— сказал Уинфилд.

— Из ребят никто не видел,— горделиво поправила его Руфь.— Одни мы увидим.

Мать и миссис Уэйнрайт совещались, стоя у ярко освещенного матраца. Говорить приходилось громко, так как дождь барабанил по крыше. Миссис Уэйнрайт вынула из кармана передника кухонный нож и сунула его под матрац.

— Может, и зря это,— извиняющимся тоном сказала она.— У нас всегда так делали. Вреда тоже не будет.

Мать кивнула.

— А мы клали лемех. Да это все равно, лишь бы острое было, чтобы схватки обрезало. Даст бог, не долго будет мучиться.

— Ну как, полегче теперь?

Роза Сарона беспокойно мотнула головой.

— Началось?

— Да, да,— сказала мать.— Родишь хорошего ребеночка. Ты только нам помоги. Можешь сейчас походить немного?

— Попробую.

— Вот умница,— сказала миссис Уэйнрайт.— Ну что за умница! Мы тебя поддержим, милушка. Поведем с двух сторон.

Они помогли ей встать и закололи булавкой одеяло вокруг ее шеи. Потом мать подхватила ее под руку с одной стороны, миссис Уэйнрайт с другой. Они подвели ее к куче хвороста, медленно повернули и пошли назад, и так несколько раз; а дождь глухо барабанил по крыше.

Руфь и Уинфилд следили за ними во все глаза.

— А когда она будет рожать? — спросил Уинфилд.

— Тише! Не то услышат и прогонят отсюда.

Эгги присоединилась к ним. Свет лампы падал на худое лицо и светлые волосы Эгги, а на стене двигалась тень от ее головы с длинным и острым носом.

Руфь шепнула:

— Ты видела, как рожают?

— Конечно, видела,— ответила Эгги.

— А скоро он родится?

— Нет, не скоро.

— А все-таки?

— Может, только завтра утром.

— Тьфу! — сказала Руфь.— Тогда и смотреть нечего. Ой! Глядите!

Все три женщины остановились. Роза Сарона напряглась всем телом и застонала от боли. Они положили ее на матрац и вытерли ей лоб, а она только покряхтывала и сжимала кулаки. Мать тихо успокаивала ее.

— Ничего,— говорила она.— Все обойдется, все будет хорошо. Сожми руки. Теперь прикуси губу. Вот так, так.

Схватки прекратились. Они дали ей полежать немного, потом подняли снова, и все втроем стали ходить взад и вперед, останавливаясь во время схваток.

Отец просунул голову в узкую щель между косяком и дверью. С его шляпы струйками сбегала вода.

— Зачем дверь закрыли? — спросил он. И увидел ходивших взад и вперед женщин.

Мать сказала:

— Ей время пришло.

— Значит... остаемся — хочешь не хочешь.

— Да.

— Значит, надо делать плотину.

— Да, надо.

Шлепая по грязи, отец вернулся к речке. Его отметину залило водой на четыре дюйма. У речки, под проливным дождем, стояли двадцать человек. Отец крикнул:

— Придется делать плотину. У моей дочери схватки.— Его окружили со всех сторон.

— Рожает?

— Да. Теперь мы не сможем уехать.

Стоявший рядом с ним высокий мужчина сказал:

— Не у нас рожают. Нам ехать можно.

— Конечно,— сказал отец.— Вам можно. Поезжайте. Вас никто не держит. Лопат всего восемь штук.

Он подбежал к самой низкой части берега и копнул лопатой землю. Намокшая земля громко чавкнула. Он копнул еще раз и бросил лопату земли в то место, где линия берега шла совсем близко от воды. А рядом с отцом выстроились и другие. Они наваливали длинную насыпь, а те, кому лопат не хватило, резали ивовые прутья, сплетали их и втаптывали в жидкую грязь. Ярость труда, ярость битвы обуяла всех. Брошенную лопату подхватывали другие. Работали, сняв пиджаки и шляпы. Намокшие рубашки и брюки липли к телу, башмаки превратились в бесформенные комья грязи. В вагоне Джоудов раздался пронзительный крик. Мужчины остановились, хмуро прислушиваясь, и снова взялись за лопаты. Невысокий вал рос в обе стороны и наконец примкнул к

насыпи шоссе. Все устали, лопаты двигались медленно. И так же медленно поднималась вода в речке. Она уже покрыла то место, куда были брошены первые лопаты земли.

Отец торжествующе засмеялся.

— Не подоспей мы вовремя, давно бы вышла из берегов,— крикнул он.

Вода медленно поднималась к свежей насыпи, вымывая из нее ивовые прутья.

— Выше! — крикнул отец.— Надо еще выше!

Наступил вечер, а работа не прекращалась. Люди уже перешли ту грань, где ощущается усталость. Лица у них были застывшие, мертвые. Движения судорожные, как у автоматов. Когда стемнело, женщины поставили в дверях фонари и кружки с горячим кофе, а сами то и дело бегали к вагону Джоудов и протискивались в узкую щель задвинутой двери.

Теперь схватки следовали одна за другой с промежутками в двадцать минут. Роза Сарона уже потеряла над собой власть. Она пронзительно вскрикивала от нестерпимой боли. А соседки приходили взглянуть на нее, поглаживали ее по волосам и возвращались к себе.

Мать жарко растопила печку и грела воду, налив ею все свои кастрюли и котелки. Время от времени в дверь заглядывал отец.

— Ну как, ничего? — спрашивал он.

— Ничего, ничего,— успокаивала его мать.

Когда совсем стемнело, кто-то принес к речке электрический фонарь. Дядя Джон работал исступленно, бросая землю на растущую насыпь.

— Ты полегче,— сказал отец.— Надорвешься.

— Не могу я... не могу слышать, как она кричит! Это... это как тогда...

— Знаю,— сказал отец.— А ты все-таки полегче.

Дядя Джон всхлипнул:

— Я сбегу отсюда, если не работать; честное слово, сбегу.

Отец отошел от него.

— Ну, как там моя отметина?

Человек, у которого был электрический фонарь, направил луч на ветку. Дождь блеснул на свету белыми полосами.

— Прибывает.

— Теперь будет не так быстро,— сказал отец.— По ту сторону разольется.

— А все-таки прибывает.

Женщины опять налили кофе в кружки и поставили их в дверях. И чем дальше, тем все медленнее и медленнее двигались люди, с трудом, как ломовые лошади, вытаскивая ноги из грязи.

Поверх ивовых веток набрасывали землю, и насыпь росла. Дождь лил по-прежнему. Когда луч фонаря падал на человеческие лица, он освещал напряженно смотревшие глаза и четкие желваки мускулов на скулах.

Крики еще долго доносились из вагона и наконец стихли.

Отец сказал:

— Если б родила, ма позвала бы меня.— Он хмуро взялся за лопату.

Вода в речке поднималась и клокотала у берега. И вдруг неподалеку раздался оглушительный треск. Фонарь осветил высокий, накренившийся над водой тополь. Все бросили работу, глядя в ту сторону. Ветки тополя поникли, вытянулись по течению, а вода уже подмывала его корни. Дерево медленно оторвалось от земли и медленно пошло вниз. Измученные люди молча следили за ним. Дерево плыло медленно. Но вот одна ветка зацепилась за корягу и застряла там, не пуская дерево дальше. Оно медленно повернуло по течению, и корни уперлись в свежую насыпь. Вода в запруде все прибывала. Дерево тронулось с места и выворотило часть насыпи. В углубление сейчас же просочилась тонкая струйка воды. Отец бросился вперед и стал закидывать размыв. Вода поднималась. И через несколько минут насыпь смыло и вода разлилась, достигая людям до щиколоток, до колен. Люди дрогнули и побежали, а вода ровным потоком пошла на поляну, под вагоны, под машины.

Дядя Джон видел, как насыпь размыло течением. Он успел разглядеть это и в темноте. Силы оставили его. Он рухнул на колени и очутился по грудь в бурлящей воде.

Отец крикнул:

— Эй! Что ты! — Он помог ему встать.— Голова закружилась? Пойдем, вагоны высокие, туда не достанет.

Дядя Джон из последних сил шагнул вперед.

— Не знаю, что это со мной,— извиняющимся тоном пробормотал он.— Ноги подкосились. Подкосились, и все тут.— Отец вел его к вагону, поддерживая за локоть.

Когда плотину смыло, Эл повернулся и бросился наутек. Бежать было трудно. Когда он добрался до машины, вода достигла ему до икр. Он сорвал брезент с капота и одним прыжком вскочил в кабину. Он нажал кнопку стартера. Самопуск сделал несколько оборотов, но бендикс не вращался. Эл выключил зажигание. Аккумуляторная батарея все медленнее и медленнее вращала подмокший стартер, двигатель молчал. Еще несколько оборотов — все медленнее и медленнее, Эл поставил зажигание на самое раннее. Он нащупал заводную ручку под сиденьем и выскочил из кабины. Вода уже заливала подножку. Он подбежал к радиатору.

Картер мотора был под водой. Не помня себя, Эл приладил ручку и сделал несколько оборотов, разбрызгивая медленно прибывавшую воду. И наконец эта лихорадка кончилась. Эл выпрямился. Двигатель залило водой, батарея отсырела. В стороне, где было чуть повыше, пофыркивали моторы двух машин с зажженными фарами. Колеса увязали все глубже и глубже, буксуя в грязи, и наконец водители выключили моторы и так и остались сидеть в кабинах, молча глядя на лучи фар, падавшие на дорогу. А дождь белыми полосами перечеркивал их свет. Эл медленно обошел грузовик и выключил зажигание.

Добравшись до вагона, отец увидел, что нижний конец доски плавает в воде. Он втиснул ее каблуком в грязь.

— Ну как, Джон, взойдешь сам? — спросил он.

— Ничего, взойду. Иди вперед.

Отец осторожно поднялся по доске и пролез в узкую дверную щель. Фитили у фонаря и лампы были низко прикручены. Мать сидела на матраце рядом с Розой Сарона и обмахивала ее куском картонки. Миссис Уэйнрайт совала сухие ветки в печку, и густой дым, выбивавшийся из-под конфорки, разносил по вагону запах чего-то горелого. Когда отец вошел, мать взглянула на него и тут же опустила глаза.

— Ну... как она? — спросил отец.

Мать не подняла головы.

— Да будто ничего. Спит.

Воздух в вагоне был удушливый и спертый. Дядя Джон с трудом пролез в дверь и прислонился к стенке вагона. Миссис Уэйнрайт бросила топить печку и подошла к отцу. Она тронула его за локоть и поманила за собой. Потом подняла фонарь с полу и осветила им ящик из-под яблок, стоявший в углу. В ящике на газете лежало посиневшее, сморщенное тельце.

— Ни разу и не дохнул,— тихо проговорила миссис Уэйнрайт.— Мертвый.

Дядя Джон повернулся и, устало волоча ноги, пошел в темный угол вагона. Теперь дождь стучал по крыше тихо, так тихо, что все слышали усталые всхлипывания дяди Джона, доносившиеся из темноты.

Отец посмотрел на миссис Уэйнрайт, взял фонарь у нее из рук и поставил его на пол. Руфь и Уинфилд спали рядом, прикрыв руками глаза от света.

Отец медленно подошел к матрацу, на котором лежала Роза Сарона, хотел присесть на корточки, но уставшие ноги не послушались его. Он стал на колени. Мать все помахивала картонкой. Она взглянула на отца, и глаза у нее были широко открытые, взгляд застывший, как у лунатика.

Отец сказал:

— Мы... все сделали... все, что могли.

— Я знаю.

— Мы работали всю ночь. А дерево упало и снесло нашу плотину.

— Я знаю.

— Слышишь? Под вагоном вода.

— Я знаю. Я все слышала.

— Выживет она?

— Не знаю.

— Может, мы... не все сделали, что было нужно?

Губы у матери были сухие и бескровные.

— Нет. У нас выбора не было... мы всегда делали то, что приходилось делать.

— Мы там чуть не до беспамятства работали... и вдруг надо же — дерево...— Мать посмотрела на потолок и снова опустила голову. Отец продолжал, словно он был не в силах молчать.— Может, еще выше поднимется. Вагон зальет.

— Я знаю.

— Ты все знаешь.

Она молчала, а картонка у нее в руке медленно ходила взад и вперед.

— Может, мы в чем-нибудь ошиблись? — снова заговорил отец.— Чего-нибудь не сделали?

Мать как-то странно посмотрела на него. Ее бескровные губы улыбнулись задумчивой, сострадательной улыбкой.

— Ты ни в чем не виноват. Перестань. Все обойдется. Сейчас все меняется... повсюду.

— Может, надо уезжать?.. Затопит.

— Придет время — уедем. Что надо будет сделать, то мы и сделаем. А теперь помолчи. Как бы не разбудить ее.

Миссис Уэйнрайт ломала ветки и подсовывала их в огонь, над которым вставал густой едкий дым.

Снаружи послышался чей-то злобный голос:

— Я сам с этой сволочью поговорю!

И вслед за тем голос Эла у самой двери:

— Куда лезешь?

— Вот сюда. Я доберусь до этого мерзавца Джоуда.

— Не пущу. Что тебе надо?

— Мы бы давно уехали, если бы не его плотина. Это он всех сбил. А теперь машина стоит — ни с места.

— Думаешь, наш грузовик больно прыткий?

— Пусти!

Голос Эла звучал холодно.

— Драться будем?

Отец медленно встал и подошел к двери.

— Ладно, Эл. Я иду. Ладно.— Отец спустился вниз. Мать слышала, как он сказал: — У нас больная. Пройдем вон туда.

Дождь негромко стучал по крыше, а поднявшийся ветер гнал его струями. Миссис Уэйнрайт отошла от печки и посмотрела на Розу Сарона.

— Скоро рассвет, мэм. Вы бы легли, уснули. Я посижу около нее.

— Нет,— ответила мать.— Я не устала.

— Да будет вам,— сказала миссис Уэйнрайт.— Ложитесь, поспите хоть немного.

Мать медленно помахивала картонкой.

— Вы по-дружески к нам отнеслись,— сказала она.— Спасибо вам.

Толстушка улыбнулась.

— Благодарить не за что. У нас у всех одна доля. Случись что с нами, вы бы нам помогли. Или кто другой.

— Да,— сказала мать,— мы бы помогли.

— Или кто другой. Раньше каждый знал только свою семью. Теперь все мы вместе. И чем хуже людям, тем больше у нас забот... Его нельзя было уберечь.

— Я знаю,— сказала мать.

Руфь глубоко вздохнула и отняла руку от лица. Она уставилась невидящими глазами на лампу, потом повернула голову и посмотрела на мать.

— Родилось? — спросила она.— Ребеночек уже есть?

Миссис Уэйнрайт подняла с полу мешок и прикрыла им ящик из-под яблок, стоявший в углу.

— Где ребеночек? — допытывалась Руфь.

Мать провела языком по губам.

— Ребеночка нет. Его и не было. Мы ошиблись.

— Тьфу! — Руфь зевнула.— А я думала, будет ребеночек.

Миссис Уэйнрайт села рядом с матерью и взяла у нее картонку. Мать сложила руки на коленях, ее усталые глаза не отрывались от лица Розы Сарона, забывшейся сном.

— Ну, что же вы? — сказала миссис Уэйнрайт.— Прилягте. Ведь около нее будете. Она вздохнет поглубже, вы и то проснетесь.

— Хорошо.— Мать прилегла на матрац рядом со спящей Розой Сарона. А миссис Уэйнрайт так и осталась возле них.

Отец, Эл и дядя Джон сидели в дверях, глядя, как занимается серый рассвет. Дождь стих, но тучи по-прежнему сплошь затягивали небо. Первые проблески стального света отразились в воде.

Из дверей было видно быстрое течение речки, уносившее с собой ветки, ящики, доски. Крутясь воронками, вода стремилась к поляне, к вагонам. От насыпи не осталось и следа. На самой поляне вода стояла спокойно, не потревоженная течением. Границы разлива окаймляла желтая пена. Отец нагнулся и положил прутик на сходни, чуть повыше уровня воды. Они видели, как вода медленно подобралась к нему, подхватила и отнесла в сторону. Отец положил другой прутик, на дюйм выше, и сел, не спуская с него глаз.

— Думаешь, и в вагон проберется? — спросил Эл.

— Не знаю. Ведь еще сколько ее с гор хлынет. Не знаю. Может, и дождь опять пойдет.

Эл сказал:

— Если вода проберется в вагон, так все подмочит.

— Да.

— Больше, чем на три-четыре фута над полом не поднимется, ведь у нее шоссе на пути, она разольется вширь.

— Почему ты так думаешь? — спросил отец.

— А я с того конца вагона следил, как прибывает.— Он вытянул руку.— Вот на сколько поднимется, не больше.

— Ну и что же? — сказал отец.— Пускай. Нас здесь не будет.

— Нет, мы здесь будем. Здесь грузовик. Вода спадет, а с ним после этого на целую неделю хватит возни.

— А что ты придумал?

— Можно вот что сделать: разберем борта у грузовика, устроим настил, поднимем на него все вещи, и самим будет где сидеть.

— Гм! А стряпать как, а что мы будем есть?

— По крайней мере, ничего не подмочит.

Предутренний свет стал ярче, в нем появился серый металлический отблеск. Второй прутик соскользнул с досок, подхваченный водой. Отец положил еще один, повыше.

— Заметно прибывает,— сказал он.— Пожалуй, так и сделаем, как ты говоришь.

Мать беспокойно задвигалась во сне. Глаза у нее были широко открыты. Она крикнула, точно предостерегая:

— Том! Том!

Миссис Уэйнрайт сказала ей что-то успокаивающим голосом. Ресницы вздрогнули и закрылись снова, и мать съежилась, так и не расставшись со своим тревожным сном. Миссис Уэйнрайт встала и подошла к двери.

— Слушайте,— тихо сказала она.— Нам отсюда скоро не выбраться,— и протянула руку, показывая в тот угол, где стоял ящик из-под яблок.— Нехорошо так оставлять. Лишние слезы, лишнее горе. Может, вы унесете его... похороните где-нибудь.

Они молчали. Отец заговорил первый:

— Да, верно. Лишнее горе. Но, по закону, так просто нельзя хоронить.

— Мало ли что мы делаем против закона, когда ничего другого не придумаешь.

— Да.

Эл сказал:

— Пока вода не поднялась еще выше, надо разобрать борта.

Отец повернулся к дяде Джону.

— Может, ты его похоронишь, а мы с Элом перетащим сюда доски?

Дядя Джон угрюмо проговорил:

— Почему я должен это делать? Почему не вы? Я не хочу.— И тут же добавил: — Ладно. Я все сделаю. Ладно, похороню.— И громче, срывающимся голосом: — Дайте его. Дайте его мне.

— Тише, как бы не разбудить их,— сказала миссис Уэйнрайт. Она вынесла ящик и бережно расправила сверху мешок.

— Лопата там, за тобой,— сказал отец.

Дядя Джон взял лопату. Он соскользнул по доскам вниз и, не найдя сразу дна, очутился почти по пояс в медленно колыхавшейся воде. Он принял ящик другой рукой и сунул его под мышку.

Отец сказал:

— Пошли, Эл. Разберем борта.

В серых рассветных сумерках дядя Джон обогнул вагон, миновал грузовик и поднялся по скользкой дорожной насыпи. Он зашагал по шоссе мимо лагеря и вышел к ивняку, где взбухшая речка сворачивала к самой дороге. Дядя Джон бросил лопату и, держа ящик прямо перед собой, пробрался сквозь кусты к быстрой речке. Он постоял там минуту, глядя на завивавшуюся воронками воду, на клочья желтой пены, оседавшие на кустах. Он прижал ящик к груди. Потом нагнулся, опустил его в воду и придержал рукой. Он сказал с яростью:

— Плыви, расскажи им все. Плыви по улицам. Будешь гнить. Может, они хоть от тебя все узнают. Ты только так и можешь говорить. Я даже не знаю, кто ты — мальчик или девочка. И никогда не узнаю. Плыви, остановись где-нибудь на улице. Может, тогда они поймут.— Он бережно направил ящик по течению и отнял руку. Ящик низко осел, пошел боком, попал в водоворот и медленно перевернулся вверх дном. Мешок распластался по воде, и ящик, подхваченный течением, быстро уплыл следом за ним, скрывшись из виду за кустарником. Дядя Джон схватил лопату и быстро зашагал назад к лагерю. Разбрызгивая на ходу воду, он подошел к грузовику, с которого отец и Эл снимали борта.

Отец оглянулся на него.

— Все сделал?

— Да.

— Тогда вот что,— сказал отец,— ты помоги Элу, а я схожу в лавку, надо купить чего-нибудь из еды.

— Купи грудинки,— сказал Эл.— Я хочу мясного.

— Хорошо,— сказал отец. Он спрыгнул с грузовика, а дядя Джон стал на его место.

Когда они втащили доски в вагон, мать проснулась и села на матраце.

— Что вы делаете?

— Хотим сколотить настил, чтобы не залило.

— Зачем? — спросила мать.— Здесь сухо.

— Сейчас сухо. А вода прибывает.

Мать с трудом поднялась с матраца и подошла к двери.

— Надо уходить отсюда.

— Уходить нельзя,— сказал Эл.— Все вещи здесь. Грузовик здесь. Все наше добро.

— Где па?

— Пошел купить чего-нибудь к завтраку.

Мать посмотрела вниз на воду. До пола вагона не хватало каких-нибудь шести дюймов. Мать вернулась к матрацу и посмотрела на Розу Сарона. Та встретила ее взгляд.

— Ну, как ты? — спросила мать.

— Устала очень.

— Скоро накормлю тебя завтраком.

— Мне есть не хочется.

Миссис Уэйнрайт подошла и стала рядом с матерью.

— Она сейчас совсем хорошая. Совсем молодец.

Глаза Розы Сарона спрашивали мать, но мать старалась не смотреть в них. Миссис Уэйнрайт отошла к печке.

— Ма...

— Ну, что ты?

— Ма... где же?..

Мать не выдержала. Она опустилась на колени рядом с дочерью.

— Бог даст, еще будет,— сказала она.— Мы все сделали, как умели.

Роза Сарона заметалась и с трудом приподнялась с матраца.

— Ма!

— Ты не виновата.

Роза Сарона снова откинулась назад и закрыла глаза согнутой в локте рукой. Руфь подобралась к самому матрацу и с ужасом смотрела на нее. Она спросила громким шепотом:

— Ма, она заболела? Она умрет?

— Да нет, что ты. Она поправится. Она скоро поправится.

Вошел отец, нагруженный покупками.

— Ну, как она?

— Ничего,— ответила мать.— Все будет хорошо.

Руфь доложила Уинфилду:

— Она не умрет. Так ма говорит.

А Уинфилд — солидно, совсем как большой, ковыряя щепочкой в зубах, пробормотал:

— И без тебя знаю.

— Откуда?

— Не скажу,— ответил Уинфилд и выплюнул изо рта щепочку.

Мать сунула в огонь последние ветки, поджарила грудинку и сделала к ней подливку. Отец купил белого хлеба. Мать нахмурилась, увидев эту покупку.

— Деньги остались?

— Нет,— ответил отец.— Да уж очень есть хочется.

— А покупаешь белый хлеб,— неодобрительно сказала мать.

— Есть хочется. Ведь мы работали всю ночь.

Мать вздохнула.

— А как дальше будем?

Пока они ели, вода поднималась все выше и выше. Эл наскоро проглотил свою порцию и тут же принялся сколачивать настил вместе с отцом. Пять футов в ширину, шесть в длину, четыре фута от пола. А между тем вода подобралась к двери, долго стояла там, словно в нерешительности, и наконец медленно двинулась в вагон. Дождь пошел снова — тяжелые, крупные капли, как и прежде, шлепали по воде, гулко барабанили по крыше.

Эл сказал:

— Ну, давайте поднимем матрацы. И одеяла туда же, а то промокнут.

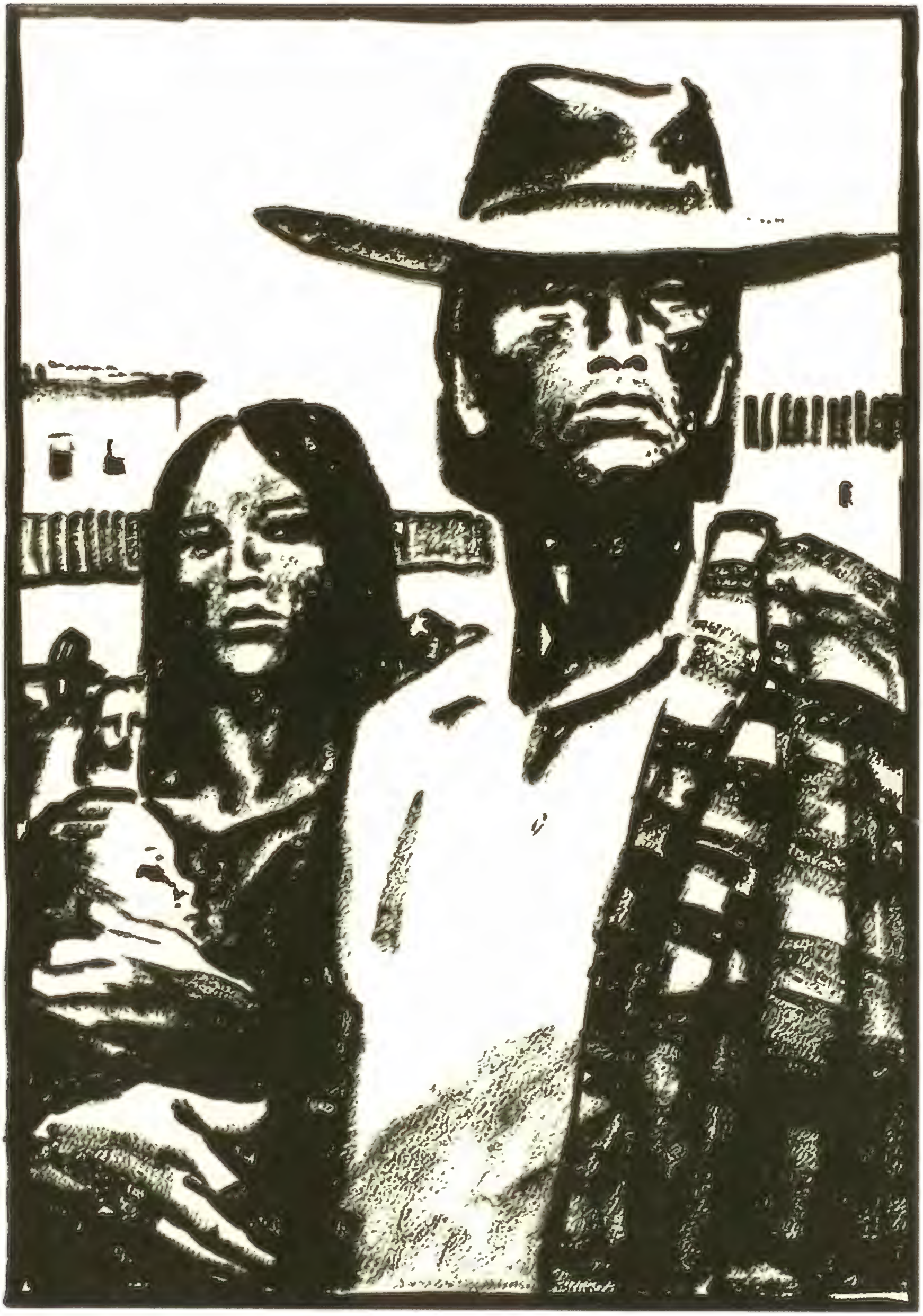
Они складывали весь свой скарб на высокий настил, а вода заливала пол. Отец и мать, Эл и дядя Джон с четырех углов подняли матрац, на котором лежала Роза Сарона, и устроили ее поверх вещей.

Роза Сарона противилась им:

— Я сама. Я не больная.— А вода прозрачной пленкой разливалась по полу. Роза Сарона шепнула что-то матери, и мать сунула руку под одеяло, потрогала ей грудь и кивнула.

В другом конце вагона Уэйнрайты стучали молотками, сооружая настил. Дождь усилился, но ненадолго и скоро стих.

Мать посмотрела себе под ноги. Вода в вагоне поднялась на дюйм.



«Жөмчужина»

— Руфь, Уинфилд,— испуганно крикнула она,— залезайте наверх. Еще простудитесь.— Они забрались туда с ее помощью и неловко примостились на матраце рядом с Розой Сарона. И мать вдруг сказала: — Надо уходить отсюда.

— Нельзя,— сказал отец.— Эл верно говорит: все наше добро здесь. Мы еще дверь снимем и положим наверх, не так тесно там будет.

Они сбились в кучу на высоком настиле и сидели молчаливые, хмурые. Вода в вагоне поднялась на шесть дюймов и только потом залила шоссе и хлопковое поле по ту сторону дорожной насыпи. Остаток этого дня и всю ночь промокшие насквозь мужчины спали на снятой с петель двери. Мать лежала рядом с Розой Сарона. Она то перешептывалась с ней, то садилась на матраце, в тяжелом раздумье глядя прямо перед собой. Оставшийся от завтрака хлеб был спрятан под одеялом.

Дождь шел теперь с перерывами — короткие шквалы сменялись затишьем. На следующий день утром отец ушел куда-то, прямо по воде, и вернулся с десятком картофелин в кармане. Мать хмуро смотрела, как он выломал несколько досок из внутренней обшивки вагона, разжег печку и зачерпнул воды в котелок. Они ели горячую картошку руками. И когда эта последняя пища была съедена, все сидели молча, не отводя глаз от серой воды, и легли спать только за полночь.

Наступило утро, тревожный сон оборвался сразу. Роза Сарона шепнула что-то матери.

Мать кивнула.

— Да,— сказала она.— Пора.— Потом повернулась к мужчинам, лежавшим на снятой с петель двери.— Мы уходим,— яростно сказала она,— будем искать, где повыше. Вы — хотите оставайтесь, хотите нет, а я заберу с собой Розу и ребятишек и уйду.

— Нельзя отсюда уходить,— слабо запротестовал отец.

— Хорошо. Тогда, может, вы донесете Розу до шоссе и вернетесь обратно? Дождя сейчас нет. Мы уходим.

— Хорошо. Мы тоже пойдем.

Эл сказал:

— Я не пойду, ма.

— Почему?

— Мы с Эгги...

Мать улыбнулась.

— Конечно, Эл,— сказала она.— Оставайся. Присмотришь тут за вещами. Вода спадет, мы вернемся. Скорее, пока нет дождя,— торопила она отца.— Вставай, Роза. Поищем, где посуше.

— Я сама пойду.

— Потом попробуешь, когда выберемся на дорогу. Ну, подставляй спину, па.

Отец спрыгнул в воду и стал там. Мать помогла Розе Сарона слезть и подвела ее к двери. Отец взял ее на руки, поднял как можно выше и, осторожно ступая по глубокой воде, обогнул вагон и пошел к шоссе. Там он спустил ее с рук и обнял за плечи. Дядя Джон шел за ними следом, неся Руфь. Мать соскользнула в воду, и платье вздулось вокруг нее пузырем.

— Уинфилд, садись ко мне на плечи. Эл, вода спадет, мы вернемся. Эл...— Она помолчала.— Если... если придет Том... скажи ему, что мы вернемся. Скажи, чтобы поосторожнее был. Уинфилд, садись на плечи... вот так. Не болтай ногами.

Пошатываясь из стороны в сторону, она пошла по глубокой — по грудь — воде. Мужчины помогли ей взобраться на дорожную насыпь и приняли от нее Уинфилда.

Они стояли на шоссе, глядя назад, на красные квадраты товарных вагонов, на грузовики и легковые машины, залитые медленно колыхавшейся водой. И дождь пошел снова, но легкий, моросящий.

— Пойдемте,— сказала мать.— Роза, ты сможешь идти сама?

— Голова немного кружится,— ответила Роза Сарона.— И такая ломота во всем теле, будто меня избили.

Отец жалобно протянул:

— Пойдем,— а куда пойдем?

— Не знаю. Ну, пошли. Помоги Розе.— Мать взяла ее под правую руку, отец под левую.— Поищем сухое место. Что же делать? Вы второй день ходите во всем мокром.

Они медленно двинулись дальше. Они слышали, как несется вода в речке вдоль дороги. Руфь и Уинфилд шагали впереди, разбрызгивая лужи. Небо потемнело, дождь хлынул сильнее. Движения на шоссе не было.

— Надо торопиться,— сказала мать.— Если Роза у нас промокнет, просто и не знаю, что с ней будет.

— А куда нам торопиться, этого ты не сказала,— язвительно заметил отец.

Дорога свернула в сторону, следуя излучине речки. Мать окинула взглядом залитое водой поле. Далеко впереди, немного левее, на невысоком холме стоял потемневший от дождя сарай.

— Смотрите! — сказала мать.— Смотрите! Там, наверно, сухо. Пойдемте туда, переждем дождь.

Отец вздохнул.

— Как бы хозяева не выгнали.

Впереди у дороги Руфь приметила красное пятнышко. Она кинулась туда. Жалкий кустик дикой герани, на нем единственный цветок, побитый дождем. Руфь сорвала его. Она бережно отделила один лепесток от венчика и прилепила его себе на нос. Уинфилд подбежал к ней.

— А мне дашь? — спросил он.

— Ну уж нет, сэр! Это мое. Я сама нашла.— Она прилепила — теперь уже на лоб — еще один красный лепесток, похожий на ярко-красное сердце.

— Руфь! Дай мне! Ну дай! — Уинфилд хотел вырвать у нее цветок, но промахнулся, и Руфь ударила его по лицу. Он застыл на месте от неожиданности, потом губы у него дрогнули, из глаз полились слезы.

В это время подошли остальные.

— Ну, что такое? — спросила мать.— Что такое?

— Он хотел отнять мой цветок.

Уинфилд проговорил сквозь слезы:

— Мне только один... я тоже хочу на нос.

— Дай ему, Руфь.

— Пусть сам найдет. Это мое.

— Руфь! Дай ему лепесток.

Руфь почувствовала угрозу в словах матери и решила переменить тактику.

— Ну ладно,— сказала она добреньким голосом.— Я сама тебе прилеплю.— Старшие пошли дальше. Уинфилд вытянул шею. Руфь лизнула лепесток и больно пришлепнула его к носу Уинфилда.— Ах ты сволочь! — тихо сказала она. Уинфилд потрогал лепесток и прижал его плотнее. Они побежали догонять старших. Руфь уже потеряла всякий интерес к своей находке.— Вот,— сказала она,— возьми еще. Прилепи на лоб.

Справа от дороги дождь снова стал сечь воду. Мать крикнула:

— Скорее! Сейчас хлынет. Давайте через изгородь. Тут ближе. Скорее! Ничего, Роза, ничего.

Они почти волоком перетащили Розу Сарона на другую сторону канавы, помогли ей перелезть через изгородь. И тут ливень настиг их. Он лил потоками. Они прошли размытым полем и поднялись на невысокий косогор. Темного сарая почти не было видно за пеленой дождя. Дождь свистел, шумел, и порывы ветра сгоняли его струями. Роза Сарона поскользнулась и повисла на руках отца и матери.

— Па! Ты донесешь ее?

Отец нагнулся и подхватил Розу Сарона на руки.

— Все равно промокли,— сказал он.— Скорее! Уинфилд, Руфь! Бегите вперед.

Они кое-как добрались до сарая и, пошатываясь от усталости, вошли туда. Двери с этой стороны не было. В сарае валялся старый инвентарь — дисковый плуг, поломанный культиватор, колесо. Дождь барабанил по крыше и занавеской закрывал вход. Отец осторожно посадил Розу Сарона на измазанный маслом ящик.

— О господи! — вырвалось у него.

Мать сказала:

— Может, там дальше есть сено. Вон там, за дверью.— Она распахнула заскрипевшую на ржавых петлях дверь.— Сено! — крикнула она.— Идите все сюда.

За дверью было темно. Свет проникал туда только сквозь щели в стене.

— Ложись, Роза,— сказала мать.— Ложись, отдохни. Тебе надо обсохнуть.

Уинфилд сказал:

— Ма! — Но дождь, грохотавший по крыше, заглушил его голос.— Ма!

— Ну что? Что тебе?

— Смотри! Вон там!

Мать оглянулась. В полумраке виднелись две фигуры: в углу лежал на спине мужчина, рядом с ним сидел мальчик, смотревший на пришельцев широко открытыми глазами. Мальчик медленно поднялся и подошел к матери.

— Вы хозяева? — спросил он. Голос у него был хриплый.

— Нет,— ответила мать.— Мы просто спрятались здесь от дождя. У нас больная. Нет ли у тебя одеяла, накинуть на нее, пока платье не просохнет?

Мальчик вернулся в свой угол, принес оттуда грязное ватное одеяло и протянул его матери.

— Спасибо,— сказала она.— А что с тем человеком?

Мальчик проговорил хриплым монотонным голосом:

— Он сначала болел... а теперь умирает с голода.

— Что?

— Умирает с голода. Собирали хлопок, заболел. У него шесть дней ни крошки во рту не было.

Мать прошла в угол сарая и посмотрела на лежавшего там человека. Ему было лет пятьдесят. Заросшее щетиной, призрачно худое лицо; широко открытые глаза, взгляд бессмысленный, остановившийся. Мальчик стал рядом с ней.

— Твой отец? — спросила мать.

— Да. Он все отказывался от еды — то, говорит, не хочется, то недавно поел. Все мне отдавал. А сейчас совсем ослаб. Шагу ступить не может.

Дождь немного стих, и стук капель по крыше перешел в ласковый шорох. Худой, как призрак, человек шевельнул губами. Мать опустилась на колени и подставила ему ухо. Губы шевельнулись снова.

— Да, да,— сказала мать.— Вы не беспокойтесь. Ничего с ним не будет. Подождите, я только сниму мокрое платье с дочери.

Мать вернулась к Розе Сарона.

— Раздевайся.— Она загородила ее одеялом. И когда Роза Сарона сняла с себя все, мать накинула ей одеяло на плечи.

Мальчик снова подошел к ней.

— Я ничего не знал. Он все отказывался от еды — то, говорит, недавно поел, то не хочется. Вчера я пошел, разбил окно, украл хлеба. Дал ему пожевать немного. А его стошнило, он после этого еще больше ослабел. Ему бы супу или молока. У вас нет денег на молоко?

Мать сказала:

— Ты перестань. Не беспокойся. Мы что-нибудь придумаем.

Мальчик вдруг закричал:

— Да он умирает! Я вам говорю, он с голоду умирает.

— Перестань,— повторила мать.

Она посмотрела на отца и дядю Джона, с беспомощным видом стоявших около умирающего. Она посмотрела на Розу Сарона, закутанную в одеяло. Взгляд матери сначала только на секунду встретился со взглядом Розы Сарона, но потом она снова посмотрела на нее. И обе женщины глубоко заглянули в глаза друг другу. Роза Сарона задышала тяжело, прерывисто.

Она сказала:

— Да.

Мать улыбнулась:

— Я знала. Я так и знала.— Она потупилась и посмотрела на свои руки, сжимающие одна другую.

Роза Сарона шепнула:

— Вы... вы уйдете отсюда... все уйдете?

Дождь еле слышно шуршал по крыше.

Мать протянула руку, откинула спутанные волосы со лба дочери и поцеловала ее в лоб. Мать быстро встала.

— Пойдемте отсюда,— сказала она.— Пойдемте все в пристройку.

Руфь открыла рот, собираясь спросить что-то.

— Молчи,— сказала мать.— Молчи и марш отсюда.— Она пропустила их мимо себя в пристройку, увела туда же и мальчика и прикрыла за собой скрипучую дверь.

Минуту Роза Сарона неподвижно сидела в наполненном шорохом дождя сарае. Потом она с трудом подняла с земли свое

усталое тело и закуталась одеялом. Она медленно прошла в угол сарая и остановилась, глядя на изможденное лицо, глядя в широко открытые испуганные глаза. Она медленно легла рядом с ним. Он покачал головой. Роза Сарона откинула одеяло с плеча и обнажила грудь.

— Так надо,— сказала Роза Сарона. Она прижалась к нему и притянула его голову к груди.— Ну вот... вот...— Ее рука передвинулась к его затылку, пальцы нежно поглаживали его волосы. Она подняла глаза, губы ее сомкнулись и застыли в таинственной улыбке.

ЖЕМЧУЖИНА

ПЕРЕВОД Н. ВОЛЖИНОЙ

«В городе рассказывают об одной огромной жемчужине — о том, как ее нашли и как ее снова лишились. Рассказывают о ловце жемчуга Кино, и его жене Хуане, и о ребенке их Койотито. Историю эту передавали из уст в уста так часто, что она укоренилась в сознании людей. И как во всех историях, рассказанных и пересказанных множество раз и запавших в человеческое сердце, в ней есть только хорошее и дурное, только добро и зло, только черное и белое, и никаких полутонов.

Если это притча, может быть, каждый поймет ее по-своему и каждый увидит в ней свою собственную жизнь. Как бы то ни было, в городе рассказывают, что...»

I

Кино проснулся в предутренней темноте. Звезды все еще сияли, и день просвечивал белизной только у самого горизонта в восточной части неба. Петухи уже перекликались друг с дружкой, и свиньи, спозаранку начавшие свои нескончаемые поиски, рылись среди хвороста и щепок в надежде, что где-нибудь отыщется не замеченное ими раньше съестное. За стенами тростниковой хижины, в зарослях опунций, чирикала и трепыхала крылышками стайка маленьких птиц.

Кино открыл глаза и посмотрел сначала на светлеющий квадрат — это был вход в хижину, потом на подвешенный к потолку ящик, где спал Койотито. И наконец, он повернул голову к Хуане — к своей жене, которая лежала на циновке рядом с ним, прикрыв синей шалью ноздри, грудь и спину. Глаза у Хуаны тоже были открыты. Кино не помнил, чтобы, проснувшись, он когда-нибудь не встретил взгляда Хуаны. Ее темные глаза поблескивали маленькими звездочками. Она смотрела на него, и так бывало всегда, когда он просыпался.

Кино услышал легкий всплеск утренней волны на берегу. Слушать это было приятно — Кино опять закрыл глаза, чтобы вникнуть в звучащую в нем музыку. Может быть, так делал только он один, а может быть, так делали все люди его народа. В давние времена люди его народа были великими слагателями песен, и что бы они ни делали, что бы они ни слышали, о чем бы они ни думали — все претворялось в песнь. Это было очень давно. Песни остались и по сию пору; Кино знал их все, а новых песен не прибавлялось. Это не значит, что у каждого человека не было своей собственной песни. Вот и сейчас в голове у Кино звучала песнь,

ясная, тихая, и если бы Кино мог рассказать о ней, он назвал бы ее Песнью семьи.

Ноздри у Кино были прикрыты краем одеяла, чтобы не дышать сырым воздухом. Его глаза блеснули в сторону — на легкий шорох. Это почти бесшумно вставала Хуана. Ступая крепкими босыми ногами по земляному полу, она подошла к ящику, где спал Койотито, и наклонилась над ним и сказала ему какое-то ласковое словечко. Койотито посмотрел на нее, закрыл глаза и снова уснул.

Хуана подошла к ямке для костра, откопала уголек и стала раздувать его, ломая и подкладывая в ямку сухие ветки.

Кино тоже встал, накинул одеяло на голову, на плечи и прикрыл им ноздри. Он сунул ноги в сандалии и вышел смотреть восход солнца.

За дверью он присел на корточки и подобрал одеяло к коленям. Он увидел, как высоко в небе над Заливом яркими пятнами вспыхнули маленькие облачка. К нему подошла коза, она повела носом и уставилась на него холодными желтыми глазами. Тем временем за спиной у Кино Хуана разожгла костер, и яркие блики стрелами протянулись сквозь щели в стене тростниковой хижины, легли зыбким квадратом через порог. Запоздалая ночная бабочка порхнула внутрь, на огонь. Песнь семьи зазвучала позади Кино. И ритм семейной песни бился в жернове, которым Хуана молола кукурузу на утренние лепешки.

Рассвет занимался теперь быстро: белесая мгла, румянец в небе, разлив света и вспышка пламени — сразу, лишь только солнце вынырнуло из Залива. Кино посмотрел вниз, пряча глаза от сияющего блеска. Он услышал позади похлопывание ладоней по лепешкам, сочный запах раскаленной сковороды. На земле копошились муравьи — большие, черные, с глянцевитым тельцем, и маленькие, пыльно-серые, шустрые. С величавостью господа бога смотрел Кино, как один пыльно-серый муравей отчаянно выкарабкивался из ловушки, которую вырыл ему в песке муравьиный лев. Поджарая пугливая собака подкралась к Кино и, услышав его ласковый оклик, свернулась калачиком рядом с ним, аккуратно обвила хвостом лапы и грациозным движением положила на них голову. Собака была черная, с золотисто-желтыми подпалинами на том месте, где надлежит расти бровям. Утро выдалось как утро, самое обычное, и все же ни одно другое не могло сравниться с ним.

Кино услышал поскрипывание веревки — это Хуана вынула Койотито из подвешенного к потолку ящика. Она умыла его и пристроила в провес шали так, чтобы он был у самой ее груди. Кино видел все это не глядя. Хуана тихо запела древнюю песнь, которая состояла всего из трех нот, с бесконечной сменой интервалов

между ними. И эта песнь была частью Песни семьи. Каждая мелочь вливалась в Песнь семьи. И иной раз она взлетала до такой щемящей ноты, что к горлу подступал комок, и ты знал: вот оно — твое спокойствие, вот оно — твое тепло, вот оно — твое *Все*.

За тростниковой изгородью стояли другие тростниковые хижины, и оттуда тоже тянуло дымком, оттуда тоже доносились утренние звуки, но те песни были другие, и свиньи там были другие, и среди жен там не было Хуаны. Кино был молодой, сильный, и черные волосы спадали ему на бронзовый лоб. Глаза у него были теплые, ясные, взгляд их пронзительный, усы — редкие и жесткие. Он отнял край одеяла от ноздрей, потому что темный, ядовитый воздух теперь растаял и на хижину падал желтый солнечный свет. Два петуха, растопырив крылья, распушив перья на шее, припадали друг перед другом к земле у тростниковой изгороди и пугали друг друга обманными наскоками. Где им, неумелым, драться. Они не бойцовые. Минуту Кино смотрел на них, а потом перевел взгляд вверх — туда, где от Залива к холмам мерцала в небе стайка диких голубей. Мир проснулся, и Кино встал и вошел в тростниковую хижину.

Когда он появился на пороге, Хуана поднялась от пылающего в ямке костра. Она снова положила Койотито в ящик, подвешенный к потолку, расчесала свои черные волосы, заплела их в две косы и связала концы узкой зеленой ленточкой. Кино присел на корточки у костра, свернул трубкой горячую лепешку, обмакнул ее в подливку и съел. И еще он выпил немного пульки, и это был весь его завтрак. Других завтраков ему есть не приходилось, если не считать праздников да еще одного памятного дня, когда он съел такое невероятное количество печенья, что чуть не умер. Кино наелся, и тогда Хуана вернулась к костру и тоже позавтракала. Они обменялись между собой двумя-тремя словами, но стоит ли тратить слова, особенно если говоришь не по необходимости, а по привычке. Кино удовлетворенно вздохнул, и это было их беседой.

Солнце нагревало тростниковую хижину, длинными полосами проникая сквозь щели в стенах. И одна такая полоска упала на ящик, где лежал Койотито, и на веревки, тянувшиеся к потолку.

Движение, еле заметное, привлекло к ящику взгляд Кино и Хуаны. Они застыли, каждый на своем месте. Вниз по веревке, на которой ящик Койотито был подвешен к потолочной перекладине, легко и словно пританцовывая, полз скорпион. Хвост с жалом был у него вытянут, но он мог в любую минуту ударить им.

Дыхание со свистом вырвалось из ноздрей у Кино, и он открыл рот, чтобы этого не было слышно. И тут испуг исчез из его глаз, оцепенелость прошла. В голове у него зазвенела новая Песнь — Песнь зла, музыка недруга, несущего горе семье, дикий,

грозный, приглушенный напев, а сквозь него жалобным плачем пробивалась Песнь семьи.

Скорпион легко полз вниз по веревке к ящику. Хуана чуть слышно, сквозь сжатые зубы, прошептала древнее заклинание и еще «Богородицу». Но Кино не мог больше оставаться в неподвижности. Его тело бесшумно скользнуло по хижине — скользнуло бесшумно и плавно. Он шел, вытянув перед собой руки ладонями вниз, и не сводил со скорпиона глаз. А Койотито, лежавший в ящике, смеялся и протягивал к скорпиону ручонку. Скорпион почуял опасность, когда Кино был совсем близко. Он замер, и его хвост короткими рывками поднялся над спиной, и на хвосте полукругом блеснуло жало.

Кино стоял не дыша. Он слышал, как Хуана снова прошептала древнее заклинание, и он слышал злой вражеский напев. Он не смел двинуться, он ждал, когда скорпион двинется первым, а тот насторожился, стараясь разведать, откуда ему грозит смерть. Рука отца тянулась вперед — тянулась медленно, ровно. Хвост с жалом дернулся кверху. И в эту минуту смеющийся Койотито качнул веревку, и скорпион сорвался с нее.

Рука отца метнулась поймать, схватить, но скорпион пролетел мимо, упал ребенку на плечо и, едва коснувшись его, вонзил жало. И тут Кино поймал скорпиона и, хрипло вскрикнув, раздавил, расплющил его пальцами. Он швырнул это месиво себе под ноги и ударил по нему кулаком, а Койотито зашелся криком от боли. Но Кино бил, топтал врага до тех пор, пока на земляном полу не остался только мокрый след. Зубы у Кино были оскалены, глаза бешено горели, а в ушах гремела Песнь врага.

Но ребенок был уже на руках у Хуаны. Она нашла место укуса, начинавшее краснеть. Она прижалась к ранке губами, сплюнула и снова стала сосать, а Койотито все кричал и кричал.

Кино стоял рядом; он не знал, что делать, он только мешал Хуане.

На крик ребенка сбежались соседи. Они высыпали из своих хижин. Брат Кино Хуан Томáс и его толстая жена Аполония и четверо их детей столпились в дверях, загородив вход, из-за них выглядывали другие, а один маленький мальчик пробрался между ногами взрослых, чтобы как следует все увидеть. И те, кто стоял впереди, передавали тем, кто стоял сзади: «Скорпион. Ребенка укусил скорпион».

Хуана оторвала губы от места укуса. Ранка чуть увеличилась и, обескровленная после высасывания, побелела по краям, но красный отек распространился дальше, вздувшись твердым лимфатическим бугорком. Эти люди знали, что такое скорпион. Взрослые тяжело болеют от его укуса, а ребенку недолго и умереть. Они

знали, что сначала будет отек, и жар, и спазмы в горле, потом начнутся желудочные колики, а потом, если яд успел глубоко проникнуть в ранку, Койотито умрет. Но жгучая боль от укуса постепенно стихала. Крики Койотито переходили в стоны.

Кино часто дивился железной воле своей терпеливой хрупкой жены. Она, такая покорная, почтительная, веселая, почти без единого крика выгибала спину дугой, рожая ребенка. Усталость и голод она сносила чуть ли не легче его самого. На веслах могла поспорить со взрослым мужчиной. И вот сейчас она решилась на такое, чего он никогда не ждал от нее.

— Доктора,— сказала она.— Пойди приведи доктора.

Это слово дошло до соседей, теснившихся на маленьком дворике за тростниковой изгородью. И они повторяли: «Хуана велит позвать доктора». Удивительная вещь, небывалая вещь — вдруг потребовать доктора. А если его приведут, это будет и вовсе чудо. Доктор никогда не ходит в поселок, где стоят тростниковые хижины. Да и зачем ему ходить сюда, если он пользует богачей, которые живут в каменных и кирпичных городских домах, и еле справляется с этим.

— Он не пойдет,— сказали те, кто стоял во дворе.

— Он не пойдет,— сказали те, кто стоял в дверях, и Кино сам так подумал.

— Доктор не пойдет к нам,— сказал Кино Хуане.

Она перевела на него взгляд, холодный, как взгляд львицы. Койотито был ее первенец — Койотито был для нее почти всем в мире. И Кино почувствовал решимость Хуаны, и музыка семьи стальным тембром зазвучала у него в ушах.

— Тогда мы пойдем к нему сами,— сказала Хуана, и она оправила свою темно-синюю шаль на голове, один конец ее перебросила на руку, положила в провес стонущего ребенка, а другим концом прикрыла ему лоб, чтобы свет не резал глаза. Люди, толпившиеся в дверях, подались назад, толкая тех, кто стоял сзади, и пропустили ее. Кино последовал за ней. Они вышли из калитки на изрезанную колеями дорогу, и соседи потянулись за ними.

Весь поселок принял участие в их беде. Бесшумно ступая босыми ногами, люди быстро двигались к центру города — впереди Хуана и Кино, за ними по пятам Хуан Томас и Аполония, колыхавшая на ходу своим огромным животом, потом — соседи, а ребятишки бежали рысцой справа и слева. Желтое солнце отбрасывало вперед на дорогу их черные тени, так что они ступали по своим теням.

Процессия подошла к тому месту, где тростниковые хижины кончились и начинался город с кирпичными и каменными домами, город, где на каждом шагу были глухие ограды, голые снаружи, а

изнутри, в прохладных садиках с журчащей водой, сплошь увитые белыми, розовыми и ярко-красными цветами бугенвиллеи. Из этих скрытых от глаз садиков доносилось пение птиц, запертых в клетки, и плеск прохладной воды, струившейся на раскаленные плиты. Процессия пересекла залитую слепящим солнцем площадь и миновала церковь. Толпа росла и росла, и тем, кто второпях примыкал к ней, рассказывали шепотом, что ребенка укусил скорпион, что отец и мать несут его к доктору.

И новые участники процессии, особенно нищие с церковной паперти — великие знатоки финансовых вопросов,— быстро оглядывали старенькую синюю юбку Хуаны, примечали прорехи на ее шали, оценивали зеленую ленточку в косах, безошибочно определяли, сколько лет служит Кино его одеяло, сколько тысяч раз была стирана его одежда, и, убедившись, что они бедняки, шли вместе со всеми посмотреть, какой оборот примет эта драма. Четверо нищих с церковной паперти знали все, что делалось в городе. Лица молодых женщин, спешивших к исповеди, были для них открытой книгой, и когда женщины выходили из церкви, нищие сразу угадывали их грехи. Им были известны все мелкие городские сплетни и многие крупные преступления. Они спали в тени на паперти, не покидая своего поста, и видели каждого, кто даже украдкой шел в церковь искать утешения в своих скорбях. Доктора они тоже знали. Ничто не оставалось для них тайной — ни его невежество, жестокость, алчность, ни его ненасытность, ни его грехи. Они знали наперечет все неудачные аборты, которые он делал, знали, что милостыню он дает скупо — медяками. Они видели, как вносили в церковь тех, кого он отправил на тот свет. И, поскольку ранняя обедня кончилась и в делах было затишье, нищие — эти неустанные добытчики точных сведений о ближних — примкнули к процессии, любопытствуя, как разжиревший, обленившийся доктор поступит с ребенком бедняков, которого укусил скорпион.

Процессия подошла к широкой калитке в ограде докторского дома. Оттуда доносилось журчание воды и пение птиц, запертых в клетки, и шарканье длинных метел по плитняку. Из докторского дома доносился и вкусный запах поджаренной грудинки.

Кино в нерешительности стал перед калиткой. Этот доктор не был сыном его народа. Этот доктор принадлежал к той расе, которая почти четыре века избивала, и морила голодом, и грабила, и презирала соплеменников Кино, и так запугала их, что бедняки униженно подходили к этой двери. И как бывало всегда, когда Кино случалось сталкиваться с людьми этой расы, он вдруг почувствовал себя слабым и вдруг испугался чего-то и в то же время озлобился. Гнев и страх всегда шли рука об руку. Кино легче было бы убить этого доктора, чем заговорить с ним, ибо соплеменники

доктора обращались с соплеменниками Кино, как с бессловесной скотиной. И когда Кино поднял правую руку к железному кольцу на калитке, гнев вспыхнул в нем, в ушах загремела музыка врага и губы его плотно сжались, но левая рука сама собой потянулась к шляпе. Железное кольцо громыхнуло о калитку. Кино снял шляпу и стал ждать. Койотито негромко застонал на руках у Хуаны, и она ласково прошептала ему что-то. Толпа сгрудилась вокруг них, чтобы ничего не проглядеть, ничего не упустить.

Через минуту-другую широкая калитка чуть приотворилась. Кино увидел в эту щель зеленую прохладу садика и маленький плещущий фонтан. Человек, который выглянул оттуда, был его соплеменник. Кино заговорил с ним на древнем языке их племени.

— Малыша... нашего первенца... укусил скорпион,— сказал Кино.— Ему нужен искусный лекарь.

Щель уменьшилась; слуга не пожелал говорить на древнем языке.

— Минутку,— сказал он.— Пойду узнаю,— и, притворив калитку, запер ее изнутри на засов.

Слепящее солнце разбросало черные людские тени по белой каменной ограде.

Доктор сидел на постели у себя в комнате. На нем был красный муаровый халат, привезенный когда-то из Парижа и узковатый теперь в груди, если застегнуться на все пуговицы. На коленях у доктора стоял серебряный поднос с серебряной шоколадницей и чашечкой тончайшего фарфора, казавшейся до смешного маленькой, когда он брал ее своей огромной ручищей и подносил ко рту, держа большим и указательным пальцами, а остальные три растопырив, чтобы не мешали. Глаза его тонули в отечных мешках, углы рта были брюзгливо опущены. С годами доктор стал тучным и говорил хриплым голосом, потому что горло у него заплыло жиром. На столике рядом с кроватью торчали в стаканчике сигареты и лежал маленький восточный гонг. Мебель в комнате была громоздкая, темная, мрачная; картины — все религиозного содержания, а фотография только одна, да и то покойницы жены, вкушающей теперь райское блаженство, если этого можно было добиться мессами, которые оплачивались по ее завещанию. В свое время доктор, хоть и ненадолго, приобщился к большому миру, и всю его последующую жизнь заполнили воспоминания и тоска по Франции. Тогда, говорил он, я жил, как цивилизованный человек, подразумевая под этим, что его скромные средства позволяли ему содержать любовницу и питаться в ресторанах. Он налил себе вторую чашку шоколада и раскрошил пальцами песочное печенье. Слуга подошел к открытой двери и остановился там, дожидаясь, когда его заметят.

— Ну? — спросил доктор.

— Какой-то индеец с ребенком. Ребенка укусил скорпион.

Доктор осторожно опустил чашку на поднос, прежде чем дать волю гневу.

— Только мне и дела, что лечить «каких-то индейцев» от укусов насекомых. Я врач, а не ветеринар.

— Да, хозяин,— сказал слуга.

— Деньги у него есть? — осведомился доктор.— Да нет! Они все безденежные. Я один во всем мире почему-то должен работать даром. Мне это надоело. Пойди узнай, есть у него деньги?

Вернувшись, слуга чуть приотворил калитку и посмотрел в щель на ожидающую ответа толпу. И на этот раз он заговорил на древнем языке:

— У тебя есть чем заплатить за лечение?

Кино сунул руку в потайной карман где-то под одеялом. Он вынул оттуда бумажку, сложенную вчетверо. Он стал бережно разворачивать ее по сгибам — один, другой, третий... и наконец там показались восемь мелких, плоских жемчужин. Они были уродливые, серые, точно маленькие язвы, и не имели почти никакой цены. Слуга взял их вместе с бумажкой и снова затворил калитку, но на этот раз ждать его пришлось недолго. Он отворил калитку ровно настолько, чтобы бумажка пролезла в щель.

— Доктор ушел,— сказал он.— Его позвали к тяжелобольному.— И быстро захлопнул калитку, потому что ему было стыдно.

И стыд волной прокатился по толпе. Она стала таять. Нищие вернулись на ступеньки паперти, слоняющиеся бездельники отправились слоняться дальше, а соседи разошлись, чтобы Кино, которого так опозорили у всех на глазах, не было стыдно перед ними.

Кино долго стоял у ограды докторского дома, и рядом с ним стояла Хуана. Медленно надел он свою просительно снятую шляпу. И вдруг наотмашь ударил кулаком по калитке. И удивленно посмотрел на рассеченные суставы и на кровь, струившуюся у него между пальцами.

II

Город теснился у широкого речного устья, подступая своими старыми желтыми домами к самому берегу Залива. А на берегу лежали вытащенные из воды найаритские лодки — белые и голубые лодки, служившие уже не одному поколению, потому что их смолили особым водонепроницаемым составом, секрет изготовления которого принадлежал ловцам жемчуга. Лодки были высокобортные, стройные, с закругленным носом, закругленной кормой

и мидельшпангоутом, где крепилась мачта с маленьким треугольным парусом.

Желтый песок подходил почти к самой воде, и там его сменяли водоросли и измельченная прибоем ракушка. В песке сновали, копошились крабы, а на отмелях среди битой ракушки то выскакивали, то снова прятались по своим крохотным норкам маленькие омары. Морское дно кишело всем ползающим, плавающим, тянущим ростки кверху. Тихая волна колыхала бурые водоросли, покачивала длинные листья зеленой зостеры, за которые цеплялись морские коньки. Ядовитые рыбы — пятнистые ботете — лежали на мягком слое зостеры, а над ними шныряли взад и вперед разноцветные крабы.

Голодные городские собаки и свиньи неустанно рыскали по берегу в надежде на то, что наступающий прилив выбросит на отмель дохлую рыбу или морскую птицу.

Утро было еще совсем молодое, но мглистый мираж уже возникал вдали. Дрожащий воздух, который одно увеличивает, а другое стирает совсем, стлался над Заливом, и в этой дрожащей зыби все казалось призрачным, обманывающим зрение; все в ней — и море и земля — обретало и четкую ясность, и смутность сновидения. Может быть, поэтому люди, живущие у Залива, полагаются больше на то, что им подсказывает внутренний голос, на то, что им подсказывает воображение, и не доверяют глазам — глаза обманывают, они сокращают даль и видят резкие контуры там, где их нет. В мангровой роще за городом с одного края стволы деревьев обрисовывались четко, как в линзе телескопа, а с другого — расплывались черно-зеленым пятном. Дальний берег Залива таял в зыбком тумане, похожем на воду. Во всем, что охватывал глаз, не было ни малейшей достоверности, нельзя было, положившись на зрение, знать, действительно ли ты видишь что-нибудь или перед тобой пустота. И люди, жившие у Залива, считали, что так бывает повсюду, и это не казалось им странным. Над водой нависла медно-мглистая дымка, и знойное солнце пронизывало ее и заставляло мерцать слепящими отсветами.

Тростниковые хижины ловцов жемчуга стояли в глубине отмели, справа от города, и лодки были вытащены на берег неподалеку от них.

Кино и Хуана медленно спустились к берегу и подошли к своей лодке — единственной ценности, которую Кино имел в этом мире. Лодка была очень старая, дед Кино привел ее из Найарита, а после него она досталась отцу Кино, а от отца перешла к Кино. Эта лодка была одновременно и его достоянием, и его кормилицей, ибо мужчина, имеющий лодку, может обещать женщине, что у нее будет хоть какая-то еда. Лодка — это спасение от голода. Каждый

год Кино заново покрывал ее водонепроницаемым составом, способ изготовления которого тоже достался ему от отца. И сейчас он подошел к ней и, как всегда, нежно коснулся рукой ее носа. Он положил водолазный камень, корзинку и веревки на песок. Потом свернул вдвое одеяло и бросил его на нос лодки.

Хуана опустила Койотито на одеяло и прикрыла шалью, чтобы уберечь от палящего солнца. Койотито молчал, не плакал, но отек поднимался у него с плеча на шею и за ухо, лицо было опухшее, щеки горели. Хуана сошла в воду. Она собрала со дна бурых водорослей, сделала из них плоскую лепешку и приложила ее к отечному плечу мальчика, и это средство было ничем не хуже, а то и лучше тех, которые мог посоветовать доктор. Средству этому не хватало только одного — докторского авторитета, потому что оно было совсем бесхитростное и ничего не стоило. Желудочные колики не появились у Койотито. Вероятно, Хуана успела вовремя высосать яд из ранки, но высосать вместе с ядом собственную тревогу за их первенца ей не удалось. В ее молитвах не было прямой просьбы о выздоровлении ребенка — она молила о том, чтобы Кино нашел жемчужину, которой они могли бы расплатиться с доктором за лечение Койотито, ибо ход мыслей у людей, живущих около Залива, так же зыбок, как мираж, что встает над ним.

Кино и Хуана протащили лодку по песку к Заливу, и, когда она всплыла, Хуана села в нее, а Кино пошел рядом, подталкивая корму до тех пор, пока лодка не скользнула по воде всем корпусом, чуть подрагивая на прибрежной волне. Тогда они дружно опустили двусторонние весла, и лодка с шипением рванулась вперед, покрывая морщинками морскую гладь. Другие ловцы жемчуга уже давно вышли в море. Через несколько минут Кино увидел их сквозь дымку, стоявшую над тем местом, где была жемчужная банка.

Солнечный свет проникал сквозь воду до самой банки, и там, на каменистом дне, усеянном разломанными открытыми раковинами, лежали фестончатые жемчужницы. Это была та самая банка, которая в прошлые века вознесла короля Испании на первое место в Европе, банка, которая давала ему деньги на ведение войн и одела богатыми ризами не одну церковь за упокой его души. Серые жемчужницы с похожими на юбку фестончиками по краям, облепленные рачками и маленькими крабами, оплетенные нитями водорослей жемчужницы. Случайности подстерегают жемчужницу ежеминутно — крохотная песчинка может попасть в складки мантии и вызвать там раздражение, и тогда мякоть, защищаясь от песчинки, будет обволакивать ее ровным слоем перламутрового вещества. И, раз начав, мякоть не перестанет обволакивать инородное тело до тех пор, пока его не выбросит оттуда волной или пока

не погибнет сама жемчужница. Из века в век люди ныряли под воду и собирали жемчужницы с банок и вскрывали их створки в поисках песчинок, одетых слоем перламутрового вещества. Рыбы косяками держались поблизости от этих мест, поблизости от раковин, брошенных ловцами жемчуга, и выедали мякоть, заключенную под блестящей гладью их створок. Но зарождение жемчуга — дело случая, такая находка — редкое счастье, легкое похлопывание по плечу, которым удостаивает человека бог, или боги, или все они вместе.

У Кино были две веревки: одна — привязанная к камню, другая — к корзинке. Он снял с себя рубашку и брюки и положил шляпу на дно лодки. Вода была гладкая, словно подернутая маслом. В одну руку он взял камень, в другую — корзинку и скользнул через борт ногами вперед, и камень увлек его на дно. Пузырьки воздуха вскипели над ним и рассеялись, и толща воды прояснилась. Наверху, сквозь ее волнистую зеркальную чистоту, он увидел днища лодок, скользивших по ней.

Кино двигался осторожно, чтобы не замутить воду илом и песком. Он продел правую ступню под веревку, которой был обвязан камень, и его руки заработали быстро, срывая жемчужницы с их ложа то по одной, то сразу по нескольку штук. Он клал их в корзинку. В некоторых местах раковины сидели так тесно одна к другой, что отставали сразу целыми сростками.

Народ Кино пел обо всем, что с ним случалось, обо всем, что существовало в мире. Он сложил песни рыбам, разгневанному морю и тихому морю, свету и тьме, луне и солнцу, и песни эти таились в глубине сознания Кино и его народа все до единой, даже забытые. И сейчас, когда Кино наполнял свою корзинку раковинами, в нем зазвучала песнь, и ритмом этой песни было его гулко стучащее сердце, которому подавало кислород дыхание, задержанное в груди, а мелодией песни были стайки рыб — они то соберутся облачком, то снова исчезнут,— и серо-зеленая вода, и кишащая в ней мелкая живность. Но в глубине этой песни, в самой ее сердцевине, подголоском звучала другая, еле слышная и все же неугасимая, тайная, нежная, настойчивая и временами прячущаяся за основной голос. Это была Песнь в честь Жемчужины, в честь *Той, что вдруг найдется*, ибо жемчужину могла подарить любая раковина, брошенная в корзинку. Удача и неудача — дело случая, и удача — это когда боги на твоей стороне. И Кино знал, что в лодке, там, наверху, его жена Хуана творит чудо молитвы, и лицо у нее застывшее, мускулы напряжены — она готова взять удачу силой, вырвать ее из рук у богов, ибо удача нужна ей, чтобы отек на плече у Койотито опал и не распространялся дальше. И так как нужда в удаче была велика и жажда удачи была велика,

тоненькая тайная мелодия жемчужины — Той, что вдруг найдется,— звучала громче в это утро. Она ясно и нежно, целыми фразами вплеталась в Песнь подводного мира.

Гордость, молодость и сила позволяли Кино без всякого напряжения оставаться под водой больше двух минут, и он работал не спеша, выбирая самые крупные раковины. Потревоженные моллюски лежали с плотно сомкнутыми створками. Чуть правее от Кино громоздились камни, сплошь покрытые жемчужницами, но молодыми, еще негодными. Кино поплыл к камням, и там, под небольшим выступом, он увидел очень большую раковину, которая лежала одна, без своих сородичей. Створки у этой древней жемчужницы были приоткрыты, потому что ее охранял каменный выступ. И между похожими на губы кожными складками что-то блеснуло призрачным блеском — блеснуло и тут же исчезло, потому что створки раковины захлопнулись. Сердце у Кино забилось тугими толчками, и в ушах у него пронзительно запела мелодия Той, что вдруг найдется. Медленным движением он оторвал раковину от ее ложа и крепко прижал к груди. Он высвободил ногу из веревки, опоясывающей камень, и его тело поднялось на поверхность, черные волосы сверкнули на солнце. Он протянул руку через борт и положил раковину на дно лодки.

Хуана откинулась к правому борту, выравнивая лодку, пока он влезал в нее. Глаза у него горели, но, подчиняясь требованиям приличий, он вытянул из воды сначала камень, потом корзинку с раковинами. Хуана почувствовала его волнение и отвела взгляд в сторону. Не годится слишком сильно желать чего-нибудь. Иной раз это гонит удачу прочь. Желай, но не очень настойчиво, и будь деликатен по отношению к богу или богам. Хуана перестала дышать. Не спеша Кино открыл свой короткий острый нож. Он в раздумье посмотрел на корзинку. Может быть, лучше вскрыть *ту* раковину последней? Он вынул из корзинки маленькую жемчужницу, перерезал ей замыкательный мускул, ощупал пальцем складки мантии и бросил жемчужницу за борт. И тут он словно впервые увидел большую раковину. Он опустился на корточки, взял ее в руки и осмотрел со всех сторон. Бороздки раковины поблескивали на свету, переходя из черного цвета в коричневый, и на ней сидели только два-три маленьких рачка. Кино не решался открыть ее. То, что он видел, могло быть просто отсветом, случайно приставшим перламутровым осколком, а то и чистой игрой воображения. В этом Заливе с его неверным светом иллюзий больше, чем реальностей.

Но взгляд Хуаны не отрывался от Кино. Хуана не могла больше ждать. Она коснулась ладонью головы Койотито, прикрытой шалью.

— Открой,— чуть слышно проговорила она.

Кино ловким движением всунул нож между створок раковины. Он почувствовал, как напрягся у моллюска мускул. Он повел черенок ножа книзу, действуя им, как рычагом; замыкательный мускул, стягивающий обе створки, лопнул, и верхняя створка отскочила прочь. Похожий на губы моллюск съежился и тут же обмяк. Кино приподнял кожную складку, и там лежала она — огромная жемчужина, не уступающая в совершенстве самой луне. Она вбирала в себя свет и словно очищала его и отдавала обратно серебристым излучением. Она была большая — с яйцо морской чайки. Она была самая большая в мире.

У Хуаны перехватило дыхание, и она чуть застонала. А в ушах у Кино звенела тайная музыка Той, что вдруг найдется, звенела чистая, прекрасная, теплая и сладостная, сияющая и полная торжества. И в глубине огромной жемчужины проступали его мечты, его сновидения. Он отделил ее от умирающего моллюска, и положил на ладонь, и покатал на ладони, и увидел, что она совершенна по форме. Хуана подвинулась к нему, не сводя глаз с жемчужины, лежащей в его руке. Это была та самая рука, которую он разбил о калитку в ограде докторского дома, и рассеченная кожа на ее суставах посерела от соленой морской воды.

И Хуана бессознательно потянулась к Койотито, спавшему на отцовском одеяле. Она сняла примочку из водорослей и посмотрела на его плечо.

— Кино! — пронзительно крикнула Хуана.

Он отвел глаза от своей жемчужины и увидел, что отек у сына спадает, что его тельце побороло яд. И тогда пальцы Кино сомкнулись над жемчужиной, и он не совладал с собой. Он запрокинул голову и протяжно взвыл. Глаза у него закатились под лоб, из горла вырвался крик, тело повело судорогой.

Люди на других лодках испуганно оглянулись и тут же ударили веслами и наперегонки понеслись к лодке Хуаны и Кино.

III

Каждый город схож с живым организмом. У каждого города есть нервная система, голова, плечи, ноги. Города разнятся один от другого, двух одинаковых не бывает. И эмоциональная жизнь их идет полным ходом. Каким образом вести распространяются по городу — это загадка, разрешить которую нелегко. Вести летят быстрее, чем мальчишки могут сорваться с места и побежать разванивать их; быстрее, чем женщины могут обменяться ими, переговариваясь через ограду.

Не успели Кино с Хуаной и с другими ловцами жемчуга подойти к тростниковым хижинам, как нервы города напряглись и завибрировали, принимая поразительную весть: Кино выловил *Жемчужину — самую большую в мире.* Не успели мальчишки, еле переводя дух, выговорить эти слова, как их матери уже все узнали. Поразительная весть пролетела мимо тростниковых хижин и пенящейся волной обрушилась на город с каменными и кирпичными домами. Она докатилась до священника, гуляющего по своему саду, поселила задумчивость в его очах и напомнила ему, что церковь нуждается в ремонте. Священник прикинул, сколько может стоить такая жемчужина, и стал припоминать — крестил ли он младенца Кино, венчал ли Кино с женой? Весть пришла к хозяевам магазинов, и они поглядывали на залежавшуюся на полках мужскую одежду.

Весть пришла и к доктору, в то время как на приеме у него сидела женщина, которую мучили не болезни, а старость, хотя ни она сама, ни доктор не хотели признать это. И когда выяснилось, кто такой Кино, доктор принял вид строгий, но доступный.

— Его ребенок — мой пациент,— сказал доктор.— Я лечу его от укуса скорпиона.

И он закатил заплывшие жиром глаза и вспомнил Париж. Комната, которую он снимал в Париже, представилась ему роскошной, его скуластая сожительница — прелестной, доброй девушкой, хотя про нее нельзя было сказать ни того, ни другого, ни третьего. Доктор устремил взгляд куда-то в пространство, мимо своей пожилой пациентки, и увидел себя в парижском ресторане, и гарсон откупоривал ему бутылку вина.

Раньше всех весть дошла до нищих на церковной паперти, и, услышав ее, нищие удовлетворенно захихикали, ибо они знали, что нет даятеля более щедрого, чем бедняк, которому привалило нежданное счастье.

Кино выловил Жемчужину — самую большую в мире. В городе по маленьким конторам сидели агенты, скупщики жемчуга. Скупщики сидели каждый в своей конторе и ждали, когда им принесут жемчужины, и лишь только продавцы появлялись, они начинали тараторить, торговаться, кричать и грозить, и это продолжалось до тех пор, пока цена не падала до такого уровня, ниже которого ловец жемчуга уже не мог пойти. И для низкой цены был свой предел, и преступать его скупщики не смели, ибо бывали случаи, что, отчаявшись, человек уходил и жертвовал свои жемчужины церкви. А когда сделка совершалась, скупщики оставались в конторе одни, и пальцы их нервно поигрывали жемчужинами, и они жалели, что эти драгоценности принадлежат не им. Ибо на самом-то деле скупщиков было немного — скупщик был

только один, и он, этот один человек, рассадил своих агентов по разным конторам, чтобы создать видимость конкуренции. Поразительная весть проникла и в скупочные конторы, и глаза у скупщиков сузились, в кончиках пальцев появился легкий зуд, и каждый скупщик подумал, что не вечно же будет жить их хозяин, придется кому-нибудь со временем занять его место. И каждый из них представлял себе, как при наличии некоторого капитала он начнет свое собственное дело.

Многие вдруг воспылали интересом к Кино — им заинтересовались люди, занимающиеся торговлей, и люди, чающие подачек и помощи. Кино выловил Жемчужину — самую большую в мире. Сущность жемчужины смешалась с людской сущностью, и эта смесь выделила странный, мутный осадок. От каждого человека вдруг потянулись какие-то нити к жемчужине Кино, и жемчужина Кино проникла в чужие сны, желания, вожделения, расчеты, планы, замыслы, мечты о будущем, нужды, страсти, и лишь один человек стоял на пути к их утолению, и этот человек был Кино. И, как ни странно, все вдруг почувствовали в нем врага. Поразительная весть подняла со дна города нечто бесконечно злое и темное; темная муть была как скорпион или как чувство голода, когда голодного дразнит запах пищи, или как чувство одиночества у влюбленного, когда его любовь безответна. Ядоносные железы города начали выделять яд, и город вспухал и тяжело отдувался под его напором.

Но Кино и Хуана ничего этого не знали. Им, таким счастливым и взволнованным, казалось, что все радуются их радостью. Хуан Томас и Аполония радовались, а ведь они оба тоже были частью того мира. Вечером, когда солнце спряталось за горами Полуострова и опустилось в открытое море, Кино присел на корточки у себя в хижине рядом с Хуаной. И в тростниковую хижину набились соседи. Кино держал в руке свою огромную жемчужину, и она лежала, теплая и живая, у него на ладони. И мелодия жемчужины сливалась с Песнью семьи, и обе они звучали еще сладостнее от этого. Соседи разглядывали жемчужину, лежащую на ладони у Кино, и дивились — бывают же такие счастливцы на свете!

И Хуан Томас, который сидел на корточках по правую руку от Кино, ибо он приходился ему братом, сказал:

— Ты богач! Что же ты теперь будешь делать?

Кино ушел взглядом в свою жемчужину, а Хуана опустила ресницы и прикрыла лицо шалью, чтобы никто не заметил, как она волнуется. И в мерцающей жемчужине проступило все то, о чем Кино мечтал раньше и от чего отказался, ибо все это было несбыточно. Он увидел в жемчужине, как Хуана с Койотито на

руках и сам он, Кино, стоят, преклонив колени, у высокого алтаря и священник венчает их, потому что теперь они смогут заплатить ему. Он тихо проговорил:

— Мы обвенчаемся... в церкви.

Он увидел в жемчужине, как они будут одеты: на Хуане — шаль, совсем новая, так что складки у нее еще коробятся, и новая юбка, и Кино приметил, что из-под длинной юбки Хуаны выглядывают туфли. Все видно в тепло мерцающей жемчужине! Сам он в новом белом костюме, и шляпа у него новая — не соломенная, а тонкого черного войлока, и ноги тоже обуты — и на нем не сандалии, а башмаки со шнуровкой. Но Койотито — вот кто красавец! Койотито в синем матросском костюмчике из американского магазина, и на голове у него маленькая капитанская каскетка — Кино запомнилась такая, когда к ним в город зашел пароход с туристами. Кино разглядел все это в излучающей свет жемчужине, и он сказал:

— Мы купим новую одежду.

И мелодия жемчужины трубным гласом запела у него в ушах.

А потом на ее нежно-серой поверхности проступили и другие вещи, которые Кино так хотелось иметь: гарпун взамен того, что он упустил в море год назад,— новый железный гарпун с кольцом на древке, и (его мыслям нелегко было совершить такой скачок)... и карабин! А что же? Ведь он теперь богатый! И Кино увидел Кино в жемчужине — Кино, который держал в руках винчестер. Мечты, безудержные мечты! Но как приятно так помечтать! Его губы нерешительно выговорили это слово.

— Карабин,— сказал он.— Может быть, я куплю карабин.

И карабин опрокинул все барьеры. Казалось бы, это немыслимо, но стоило ему подумать о покупке карабина, как горизонт распахнулся перед ним, и он устремился дальше. Ибо сказано, что человек никогда не удовлетворяется достигнутым: дайте ему желаемое, и он попросит чего-нибудь еще. Да! Сказано — в умаление человеку, тогда как это один из самых замечательных его талантов, это талант, который возносит человека над животными, довольствующимися тем, что у них есть.

Соседи, толпившиеся в хижине, молча закивали в ответ на эти безудержные мечты. Но сзади кто-то прошептал: «Карабин. Он купит карабин».

Мелодия жемчужины торжествующим звоном стояла в ушах Кино. Хуана подняла голову и широко открытыми глазами посмотрела на Кино, дивясь его отваге, дивясь силе его мечты. А он, раздвинувший перед собой горизонты, был теперь словно провод под током. В жемчужине ему виделся Койотито, сидевший за маленькой партой, точь-в-точь такой, какую он увидел однажды, за-

глянув в открытую дверь школы. Койотито был в курточке, а сверху на курточку был выпущен белый воротничок, подвязанный широким шелковым галстуком. Мало того! Койотито писал на большом листе бумаги. Кино свирепо посмотрел на своих соседей.

— Мой сын пойдет в школу,— сказал он, и соседи притихли.

Хуана громко передохнула. Глаза Хуаны, не отрывавшиеся от лица Кино, заблестели, и потом, словно проверяя, возможно ли такое чудо, она быстро перевела взгляд на Койотито, который лежал у нее на руках.

Лицо у Кино пророчески светилось.

— Мой сын будет листать и читать книги, и мой сын научится писать и понимать по-писаному. И мой сын выучит цифры, и тогда мы станем свободными людьми, потому что он будет все знать, а от него и мы все узнаем.

И Кино увидел в жемчужине, как он сам и Хуана сидят на корточках перед маленьким костром в тростниковой хижине, а Койотито читает им по большой книге.

— Вот что нам даст эта жемчужина,— сказал Кино.

Он ни разу в жизни не произносил столько слов подряд, и ему стало страшно своей многоречивости. Его пальцы сомкнулись над жемчужиной и погасили ее. Кино стало страшно, как бывает страшно человеку, когда он скажет: «Так будет»,— не зная, что его ждет впереди.

И соседи поняли, что у них на глазах свершилось великое чудо. Они поняли, что тот день, когда Кино нашел жемчужину, положит для них начало новому летосчислению и что толки об этом дне не затихнут долгие годы. Если все, о чем говорил Кино, исполнится, они станут рассказывать, какой он тогда был, и что он сказал, и как блестели у него глаза, и в конце своего рассказа добавят: «Кино словно преобразился. Великая сила вошла в него, и с этого все и началось. Видите, чем он стал теперь! И все это произошло у меня на глазах!»

А если замыслы Кино пойдут прахом, те же самые соседи будут рассказывать так: «С этого все и началось. Безумие охватило его, и он говорил безумные слова. Да хранит нас господь от такой беды! Господь покарал Кино, ибо он взбунтовался против нашей жизни. Видите, что с ним стало! И я сам был при том, как разум покинул его».

Кино взглянул на свою сжатую в кулак руку и увидел запекшуюся кровь и кожу, стянувшуюся на суставах, разбитых о докторскую калитку.

Сумерки сгущались. Хуана перехватила шаль пониже, пристроила туда ребенка, так чтобы он лежал у ее бедра, подошла к

ямке для костра и откопала уголек в золе и стала раздувать его, подкладывая сверху сломанные сухие ветки. Отсветы огненных язычков заплясали по лицам соседей. Соседи знали, что давно пора ужинать, но им не хотелось уходить.

Стало совсем темно, и отблески костра дотянулись до тростниковых стен, когда у входа в хижину возник шепот, и слова, сказанные там, шепотом же передавались из уст в уста.

— Отец идет... идет священник.

Мужчины обнажили головы и попятились от двери, а женщины прикрыли шалями лица и опустили глаза. Кино и его брат Хуан Томас встали. В хижину вошел священник — седой, стареющий человек со старчески дряблым лицом и по-молодому острым взглядом. «Дети» — называл он этих людей и, как с детьми, обращался с ними.

— Кино,— мягко начал он,— ты получил имя в честь великого мужа — великого отца церкви.— Это прозвучало как благословение.— Твой покровитель покорил пустыню и смягчил сердца твоих соплеменников. Известно ли тебе это? Так написано в книгах.

Кино быстро взглянул на головку Койотито, прижавшуюся к бедру Хуаны. Настанет день, подумал он, когда этот мальчик будет знать, что написано в книгах и чего там нет. Мелодия жемчужины умолкла, а вместо нее Кино услышал ту, другую — утреннюю. Медленной, тонкой струйкой зазвенел напев зла, вражеский напев, но он был еще слабый, еще отдаленный. И Кино оглядел своих соседей, стараясь угадать, с кем из них проникла сюда эта песнь.

Священник заговорил снова:

— Мне сказали, что ты нашел сокровище — огромную жемчужину.

Кино разжал руку и протянул ее на свет, и священник чуть слышно ахнул, пораженный величиной и прелестью жемчужины. И он сказал:

— Я надеюсь, сын мой, что ты не забудешь возблагодарить Того, кто даровал тебе такое счастье, и испросишь его водительства на будущее.

Кино молча кивнул, и вместо него тихо ответила Хуана:

— Мы не забудем, отец. И теперь мы обвенчаемся. Так сказал Кино.— Она обвела соседей взглядом, ища подтверждения своим словам, и они торжественно склонили головы.

Священник сказал:

— Приятно знать, что ваши первые мысли — мысли благочестивые. Да хранит вас господь, дети мои.— Он повернулся и не спеша пошел к выходу, и люди расступились перед ним.

Но пальцы Кино снова сомкнулись вокруг жемчужины, и он подозрительно посмотрел по сторонам, потому что недобрая песнь снова зазвучала у него в ушах, зазвучала пронзительно, приглушая мелодию жемчужины.

Соседи один за другим разошлись по своим хижинам, и Хуана присела у костра и поставила на маленький огонь глиняный горшок с фасолью. Кино подошел к двери и выглянул наружу. Как и всегда, до него донесся запах дыма от костров, и он увидел затуманенные звезды и, почувствовав вечернюю сырость, прикрыл ноздри краем одеяла. Тощая собака опять подбежала к нему и приветственно затрепыхалась всем телом, точно флаг на ветру, но Кино обратил к ней взгляд и не увидел ее. Он прорвался сквозь кольцо горизонта в холодную пустоту. Он чувствовал себя одиноким, беззащитным, и в стрекотанье цикад, в скрипучих голосах квакш, в урчанье лягушек ему слышался напев врага. Кино чуть вздрогнул и плотнее прикрыл ноздри краем одеяла. Жемчужина была все еще зажата у него в руке, зажата крепко, и он чувствовал ладонью, какая она гладкая и теплая.

За спиной у Кино Хуана пошлепывала руками по лепешкам, прежде чем положить их на глиняный противень. Кино чувствовал позади себя тепло и нежность, и Песнь семьи звучала там, словно мурлыканье котенка. Но теперь, сказав вслух, что его ждет впереди, он тем самым создал свое будущее. Замысел — это реальная вещь, и то, что ты замышляешь, живет в тебе. Замысел, родившийся и уже зримый, становится реальностью в ряду других реальностей. Он существует, его уже нельзя разрушить, но на него легко посягнуть. И будущее Кино стало такой реальностью, и лишь только оно утвердилось, другие силы — разрушительные — потянулись к нему, и Кино знал это и должен был готовиться к тому, чтобы отразить их посягательства. И еще Кино знал, что боги не любят людских замыслов, не любят, когда людям сопутствует успех, разве только если его приведет случай. Он знал, что боги мстят человеку, добившемуся успеха своими собственными силами. И, зная это, Кино страшился своих замыслов, но, поскольку они уже существовали, разрушить их он не мог. И чтобы оградить свои замыслы от всяких посягательств, он постепенно заковывал себя в броню — один против всего мира. Его глаза, его разум нащупали опасность задолго до того, как она появилась.

Стоя в дверях, он увидел, что вдоль изгороди идут двое и один человек несет фонарь, который освещает землю и ноги их обоих. Они свернули к проходу в тростниковой изгороди и подошли к его хижине. И Кино узнал их: один был доктор, а другой — слуга, который отворил ему калитку утром. Рассеченные суставы его правой руки словно обожгло огнем, когда он увидел, кто идет к нему.

Доктор сказал:

— Меня не было дома, когда ты приходил утром. Но теперь я освободился и решил сразу же прийти посмотреть твоего ребенка.

Кино стоял на пороге, загораживая плечами вход в хижину, и ненависть бушевала в его глазах — ненависть и страх, ибо вековая покорность глубоко сидела в нем.

— Ребенок почти здоров,— отрывисто проговорил он.

Доктор улыбнулся, но его глаза в отечных мешках не улыбались.

Он сказал:

— Укусы скорпиона дают иной раз неожиданные последствия, друг мой. Как будто наступает явное улучшение, и вдруг, когда никто этого не ждет...

Доктор надул губы и сделал ими «пуфф!», показывая, как скоро может наступить конец. И он переложил свою черную сумку с инструментами из правой руки в левую, так чтобы на нее упал свет фонаря, ибо ему было хорошо известно, что народ Кино любит всякие инструменты и верит в их могущество.

— Иной раз,— ровным голосом продолжал доктор,— иной раз у больного вдруг начинает сохнуть нога, или он слепнет, или становится горбуном. О! Мне ли не знать, что такое скорпион, друг мой, и я умею лечить от его укусов.

Кино почувствовал, как его ненависть и ярость испаряются и на их место приходит страх. Он ничего не понимает в болезнях, а доктор, может быть, действительно умеет лечить. Рисковать нельзя — нельзя отгораживаться от доктора своим явным невежеством. Доктор, может быть, все понимает. Кино загнан в ловушку, всегда расставленную перед людьми его народа, и он не вырвется из нее до тех пор, пока не будет знать наверное, что написано в книгах и чего там нет. Да! Рисковать нельзя — нельзя подвергать опасности ни жизнь, ни прямую спинку Койотито. Кино отступил в сторону и пропустил доктора и его слугу в тростниковую хижину.

Хуана поднялась от огня и попятилась в угол и прикрыла ребенку лицо кистями шали. А когда доктор подошел к ней и протянул руку, она судорожно прижала Койотито к груди и метнула взгляд на Кино и увидела, как блики огня перебегают по его лицу.

Кино молча кивнул ей, и только тогда она позволила доктору взять ребенка.

— Посвети мне,— сказал доктор, и когда слуга поднял фонарь, доктор внимательно оглядел ранку на плече у Койотито. Он задумался на минуту, а потом завернул ребенку верхнее веко и посмотрел глазное яблоко. Он покачал головой, не отпуская сучившего ножками Койотито.

— Так я и думал,— сказал доктор.— Яд проник глубоко и скоро сделает свое дело. Поди сюда, посмотри.— Он снова завернул ребенку верхнее веко.— Видишь — посинело.— И Кино с ужасом убедился, что и вправду глазное яблоко у Койотито голубоватое. А кто знает, может быть, оно у него всегда такое? Но ловушка была поставлена. Кино не посмел рисковать.

Отечные глаза доктора подернулись слезой.

— Я дам ему лекарство, может быть, оно поборет яд,— сказал он, передавая ребенка отцу.

И доктор вынул из своей сумки маленький пузырек с белым порошком и желатиновую капсулу. Он всыпал порошок в капсулу, закрыл ее, вложил в другую — побольше и закрыл и эту. Дальнейшее было сделано ловко, умело. Доктор взял ребенка у Кино и, ухватив его двумя пальцами за нижнюю губу, открыл ему рот. Толстые пальцы доктора сунули капсулу на самый корень языка, так что ребенок не мог выплюнуть ее, а потом доктор поднял с пола маленький кувшин и дал Койотито глотнуть пульки — и все. Доктор снова посмотрел ему глазное яблоко, поджал губы и будто задумался.

Но вот он отдал ребенка Хуане и повернулся к Кино:

— Действие яда должно сказаться в течение часа. Если лекарство подействует, ребенок выживет. Через час я приду. Может быть, я поспел вовремя и спасу его.— Он глубоко вздохнул и вышел из хижины, и слуга с фонарем последовал за ним.

Хуана держала ребенка у себя под шалью и смотрела на него, сама не своя от волнения и страха. Кино подошел к ней, откинул край шали и тоже посмотрел на Койотито. Он поднял руку, чтобы оттянуть ему веко, и только тогда увидел, что жемчужина все еще зажата у него в руке. Он подошел к ящику у стены и вынул оттуда небольшую тряпицу. Он завернул в нее жемчужину, вырыл пальцами ямку в дальнем углу хижины, положил туда этот крошечный сверток, забросал его землей и разровнял место, так чтобы ничего не было видно. Потом вернулся к костру, около которого, не сводя глаз с лица Койотито, сидела Хуана.

Придя домой, доктор опустился в кресло и посмотрел на часы. Слуги подали ему легкий ужин — шоколад с песочным печеньем и фрукты, и доктор сидел, недовольно глядя на все это.

В соседних хижинах впервые обсуждалось то, чему было суждено долгие годы служить темой всех бесед, всех толков и пересудов. Соседи показывали друг другу, какая огромная эта жемчужина, соединяя кончики большого и указательного пальцев, и легкими ласкающими движениями рук старались передать, до чего же она прекрасна. С этого дня соседи будут пристально следить за Кино и Хуаной, следить, не вскружило ли им голову богат-

ство — ведь богатство кружит голову всем. Соседи знали, почему доктор пришел к Койотито. Доктор был плохой актер, и все догадались о цели его прихода.

А в Заливе маленькие рыбешки, сбившиеся плотным косяком, сверкали чешуей в воде, спасаясь от косяка крупных рыб, которые гонялись за ними, чтобы сожрать их. И людям, сидевшим по тростниковым хижинам, было слышно, как идет эта бойня, как мелочь со свистом рассекает волну, а хищники, стремительно вырываясь на поверхность, шлепают по воде плавниками и хвостом. Испарения поднимались над Заливом и солеными капельками оседали на кустах, кактусах и низкорослых деревьях. И мыши сновали по земле, а маленькие ночные ястребки бесшумно охотились на них.

Костлявый черный щенок с золотисто-огненными подпалинами над глазами подошел к дверям хижины Кино и заглянул туда. Он чуть не отвихлял себе зад, когда Кино скользнул по нему взглядом, и сразу затих, лишь только Кино отвел от него глаза. Щенок не вошел в хижину, а, сидя у порога, с безумным интересом следил за тем, как Кино ел фасоль из маленького глиняного горшочка, как он вытер его дочиста лепешкой, съел и лепешку и запил все это пулькой.

Поужинав, Кино стал свертывать самокрутку, как вдруг Хуана резко вскрикнула:

— Кино!

Он взглянул на Хуану, встал и быстро подошел к ней, потому что в глазах Хуаны был ужас. Он нагнулся и ничего не разглядел в полумраке. Он подкинул ногой веток в ямку, чтобы костер разгорелся ярче, и тогда огонь осветил головку Койотито. Лицо у ребенка было все красное, горло судорожно подергивалось, в уголках рта проступила густая слюна. У Койотито начинались желудочные колики, и ему было совсем плохо.

Кино стал на колени рядом с женой.

— Значит, доктор говорил правду,— сказал он, сказал и самому себе и жене, потому что мысли у него были все еще злые, недоверчивые и он все еще не забыл про белый порошок. Покачиваясь взад и вперед, Хуана жалобно затянула Песнь семьи, точно ею можно было отогнать беду, а ребенка тошнило, и он корчился у нее на руках. Кино был весь во власти своих сомнений, и напев зла гудел у него в ушах, почти заглушая песнь Хуаны.

Доктор выпил чашку шоколада, подобрал со скатерти крошки песочного печенья и отправил их в рот. Потом он вытер пальцы салфеткой, посмотрел на часы, поднялся и взял свою сумку.

Весть о том, что ребенку стало хуже, быстро облетела тростниковые хижины, потому что после голода болезнь — самый

«Жемчужина»

страшный враг бедняков. И кое-кто из соседей тихо говорил: «Вот видите! По пятам за удачей идут ее пагубные друзья». И они вставали, покачивая головой, и шли к хижине Кино. Прикрывая краем одеяла ноздри от сырости, соседи со всех сторон спешили в темноте к хижине Кино, и скоро там опять стало тесно. Люди стояли и смотрели на Койотито и время от времени коротко переговаривались между собой о том, как это грустно, что такая беда случилась в день радости, и добавляли: «Все в руках божиих».

Старухи присели на корточки рядом с Хуаной и пытались помочь ей, а если не помочь, так хоть утешить.

Доктор быстро вошел в хижину в сопровождении своего слуги. Он разогнал старух, точно это были куры. Он взял ребенка, осмотрел его и пощупал ему лоб.

— Яд оказывает свое действие,— сказал доктор.— Но я буду бороться с ним. Сделаю все, что могу.

Он попросил воды и капнул в кружку три капли нашатырного спирта, потом разжал Койотито зубы и влил раствор ему в рот. Койотито пронзительно закричал, давясь и выплевывая лекарство, а Хуана, как обезумевшая, смотрела на него. Возясь с ребенком, доктор приговаривал:

— Счастье, что я умею лечить от укусов скорпиона, не то...— И доктор пожал плечами, давая этим понять, что было бы, если бы не его уменье.

Но Кино, еще не расставшийся со своими подозрениями, все смотрел и смотрел на раскрытую докторскую сумку и видневшийся в ней пузырек с белым порошком. Мало-помалу судороги прекратились, и Койотито затих на руках у доктора. А потом он глубоко вздохнул и задремал, измученный приступами рвоты.

Доктор передал Койотито с рук на руки Хуане.

— Теперь дело пойдет на поправку,— сказал он.— Я выиграл бой.

И Хуана обожающими глазами посмотрела на него.

Доктор уже закрывал свою сумку. Он спросил:

— Когда же ты думаешь расплатиться со мной? — Он проговорил это даже ласково.

— Я расплачусь, как только продам жемчужину,— ответил Кино.

— У тебя есть жемчужина? И хорошая жемчужина? — заинтересовался доктор.

И тут хором вступили соседи.

— Он выловил самую большую в мире! — наперебой кричали они и, сомкнув кончики большого и указательного пальцев, показывали, какая она огромная, эта жемчужина.

— Кино разбогатеет,— перебивая один другого, говорили соседи.— Такой жемчужины еще никто не видел.

Доктор сделал удивленное лицо.

— Первый раз слышу. А где ты держишь свою жемчужину? В надежном месте? Хочешь, я спрячу ее у себя в сейфе?

Кино прикрыл глаза веками, и на скулах у него проступили желваки.

— Место надежное,— сказал он.— Завтра я продам ее и заплачу вам.

Доктор пожал плечами, но его слезящиеся глаза, не отрываясь, смотрели в глаза Кино. Он был уверен, что жемчужина спрятана в хижине, и следил, не взглянет ли Кино на то место, где она зарыта.

— Будет очень жаль, если жемчужину украдут у тебя до того, как ты ее продашь,— сказал доктор и заметил, что Кино невольно метнул взгляд на пол, к угловой стойке хижины.

Когда доктор ушел и соседи нехотя разбрелись по домам, Кино присел на корточки у тлеющих в ямке углей и стал прислушиваться к ночным звукам — к шороху легкой прибрежной волны и лаю собак где-то вдалеке, к шелесту ветерка на крыше тростниковой хижины и к приглушенным голосам соседей, доносившимся из других хижин поселка. А голоса не умолкали, потому что сон у этих людей прерывистый: они проснутся среди ночи, поговорят и опять засыпают. И, посидев у тлеющего костра еще несколько минут, Кино встал и подошел к двери.

Он втянул ноздрями воздух и прислушался, не подползает ли, не крадется ли кто, и его глаза впивались в ночную темноту, ибо Песнь зла не стихала, а вместе с ней не стихали ни гнев, ни страх в сердце Кино. Приглядевшись, прислушавшись к ночи, он вернулся в хижину, подошел к угловой стойке, откопал жемчужину и, вырыв под циновкой другую ямку, положил ее туда и прикрыл сверху землей.

А Хуана, сидевшая у костра, следила за ним недоумевающим взглядом, и когда он спрятал жемчужину, она спросила:

— Кого ты боишься?

Кино искал слово, нужное для ответа, и, найдя его наконец, сказал:

— Всех.— И почувствовал, как твердая броня одевает ему сердце.

Они легли на циновку, и в эту ночь Хуана не стала класть ребенка в ящик, подвешенный к потолку, а взяла его к себе и прикрыла ему лицо своей шалью. И вскоре в ямке для костра один за другим погасли все угольки.

Голова у Кино горела даже во сне, и ему снилось, что Койотито научился читать и что теперь он, его сын и сын его народа, расскажет своему отцу всю правду. Койотито читал книгу — огромную, величиной с дом, буквы в ней были большие, каждая величиной с собаку, и слова скакали и резвились по ее страницам. А потом на книгу упала густая тень, и сейчас же вслед за этим снова зазвучал злой напев, и Кино беспокойно заворочался во сне, и при первом же его движении глаза у Хуаны открылись. Кино проснулся, но злой напев все еще пульсировал у него в ушах, и он лежал в темноте, насторожившись всем своим существом.

И вдруг из дальнего угла хижины до него донесся звук, такой слабый, что, может статься, это только почудилось ему, затаенный шорох, бесшумная поступь, почти невнятное «х-х» сдерживаемого дыхания. Кино сам перестал дышать, прислушиваясь, и он знал: то темное, что таится в его доме, тоже не дышит и тоже прислушивается. Минуту-две в дальнем углу хижины все было тихо. Кино мог бы подумать, что он ошибся. Но рука Хуаны предостерегающе подкралась к его руке, и тут звук послышался снова: шорох шагов по утоптанному полу и царапанье пальцами по земле.

К сердцу Кино волной подступил смертельный страх, а вслед за страхом, как всегда,— гнев. Рука его метнулась к груди, туда, где висел на шнурке нож, и он вскочил с циновки и, хрипя, фыркая, как разъяренная кошка, бросился на то темное, что таилось в углу его дома. Он нащупал рукой мягкость ткани, ударил ножом, промахнулся, снова ударил, почувствовал, что нож распорол ткань, и тут мозг ему пронзило молнией, и его обожгло взрывом боли. Шорох у порога, быстро удаляющийся топот ног — и все стихло.

Кино почувствовал, что со лба у него течет теплая кровь, услышал зов Хуаны:

— Кино! Кино!

И в голосе ее был ужас. Тогда холодное спокойствие пришло к нему, так же стремительно, как минуту назад гнев, и он сказал:

— Я жив. Здесь больше никого нет.

Он ощупью пробрался к циновке. А Хуана уже была у костра. Она раскопала в золе уголек, бросила на него разорванных кукурузных листьев, подула на них, и по хижине заплясали маленькие отсветы огня. А потом Хуана достала из потайного места огарок освященной свечки, зажгла его и поставила на камень у костра. Хуана двигалась быстро и тихо напевала все время. Она намочила край своей шали в воде и вытерла Кино кровь со лба.

— Ничего,— сказал Кино, но голос и глаза были у него угрюмые, холодные, и ненависть росла в нем.

И тогда напряжение, кипевшее в Хуане, прорвалось наружу, губы у нее сжались тонкой полоской.

— Эта жемчужина недобрая! — крикнула Хуана.— В ней грех! Она погубит нас! — В голосе Хуаны зазвучали пронзительные нотки.— Выбрось ее, Кино. Давай раздавим ее жерновом. Давай закопаем ее и забудем то место. Давай бросим ее назад в море. Она несет с собой беду. Кино, муж мой! Она погубит нас! — И в отблесках огня, плясавшего по хижине, губы и ресницы Хуаны дрожали от страха.

Но во взгляде Кино была непоколебимость, и волю его тоже ничто не могло поколебать.

— Когда мы еще дождемся такого? — сказал он.— Наш сын должен учиться в школе. Он должен разорвать путы, которые держат нас.

— Она принесет нам гибель! — крикнула Хуана.— Всем нам, даже нашему сыну.

— Молчи,— сказал Кино.— Довольно говорить. Утром мы продадим жемчужину, и все, что в ней есть недоброго, уйдет, останется только хорошее. Молчи, жена.— Его темные глаза хмуро уставились на огонь, и тут он впервые почувствовал, что все еще держит нож в руке, и, взглянув на стальное лезвие, увидел на нем узкую полоску крови. Секунду он колебался, а потом, вместо того чтобы вытереть нож о брюки, счистил с него кровь, ударив им в землю.

Вдали уже начали перекликаться петухи, и в воздухе потеплело — рассвет был близок. Утренний ветер покрывал рябью гладь речного устья, шелестел листвой мангровых деревьев, и маленькие волны все чаще и чаще набегали на мелкую ракушку прибрежной кромки. Кино приподнял циновку, откопал свою жемчужину и положил ее перед собой.

И красота жемчужины, зыбко мерцающей серебром при свете огарка, обманула его своей прелестью. Она была такая красивая, такая нежная, и у нее была своя песнь — песнь, полная обещаний, сулящая радость, надежное будущее, покой. Ее теплое свечение было как целебное снадобье на саднящую рану, как стена, ограждающая от обид. Она навсегда захлопывала дверь перед голодом. И по мере того, как Кино смотрел на нее, взгляд у него становился все мягче и напряженность сходила с лица. Он видел маленькое отражение огарка в серебристой поверхности жемчужины, он слышал чудесную песнь подводного царства, музыку рассеянного зеленого света на морском дне. Взглянув на него украдкой, Хуана увидела, что он улыбается. И так как они были все же одним существом, одной волей, она улыбнулась вместе с ним.

И в утро этого дня их приласкала надежда.

IV

Не достойна ли удивления зоркость, с какой каждый маленький городок следит и за самим собой, и за отдельными единицами, составляющими его целое. Если мужчина, женщина, ребенок живет, придерживаясь раз и навсегда установленных правил, и не нарушает обычаев, не отличается от других мужчин, женщин и детей, не идет на риск новизны, не страждет каким-нибудь недугом и не грозит ни душевному покою, ни размеренному течению жизни города, тогда эта единица пребывает в неизвестности и ничем не дает знать о себе. Но пусть только кто-нибудь один сделает шаг в сторону от рутины мысли или от раз заведенного, надежного порядка вещей, и нервы горожан сейчас же отзовутся на это, нервная система города сейчас же придет в действие. И тогда каждая отдельная единица сообщается с другими такими же единицами.

И вот ранним утром по всему городу Ла-Пас разнеслась весть, что днем Кино пойдет продавать свою жемчужину. Это стало известно соседям в тростниковых хижинах и ловцам жемчуга; это стало известно в китайских бакалейных лавках; это стало известно в церкви, потому что служки перешептывались между собой, делясь последней новостью о жемчужине. Слух об этом дошел и до монахов; нищие на церковной паперти обсуждали его, ибо им-то наверняка предстояло вкусить от первых плодов удачи, выпавшей на долю Кино. Мальчишки встретили эту новость восторженными криками, но больше всех она взволновала скупщиков жемчуга, и когда день наступил, каждый скупщик уже сидел у себя в конторе наедине со своим черным бархатным лотком и кончиками пальцев катал по нему жемчужины и заранее репетировал свою роль в предстоящем событии.

Издавна принято было считать, что скупщики жемчуга ведут свои дела каждый сам по себе и перехватывают друг у друга жемчужины, которые приносят им на продажу. И когда-то действительно так и было. Но этот порядок не оправдал себя, ибо, горячась, скупщики частенько переплачивали ловцам жемчуга, и мириться с таким расточительством в конце концов не пожелали. В дальнейшем остался только один скупщик — многорукий скупщик, и люди, которые сидели по своим конторам в ожидании Кино, знали заранее, сколько они предложат за его жемчужину, сколько надбавят и на какие пойдут ухищрения, чтобы сбить цену. И хотя эти скупщики работали не на процентах, а получали только свое жалованье, их трепала лихорадка, ими владел охотничий азарт, потому что человек, которому по роду его занятий надле-

жит сбивать цену, торгуется с радостью, с восторгом и сбивает ее настолько, насколько это удается ему. И так всякий из нас на любом жизненном поприще действует в полную меру своих способностей и выполняет все от него зависящее, что бы мы там ни думали сами о себе. Скупщик жемчуга остается скупщиком жемчуга независимо от того, получит ли он награду за свои труды, повысят ли его в должности, удостоят ли похвалы, и самый лучший, самый удачливый среди них тот, кто покупает жемчуг по самой низкой цене.

Солнце, желтое и горячее в то утро, поднимало испарения с речного устья и с Залива и серебристо-дымчатыми шарфами развешивало их в воздухе, а воздух дрожал, и даль расплывалась в нем. К северу от города над Заливом стоял мираж — отображение горы, которая была больше чем в двухстах милях отсюда, и отвесные склоны этой горы были укутаны сосновыми лесами, а над линией лесов она вздымалась в небо голой скалистой вершиной.

В утро этого дня лодки лежали на берегу, никто не вышел на ловлю жемчуга, ибо в городе ожидались важные события, надо было присутствовать при них и видеть собственными глазами, как Кино пойдет продавать свою огромную жемчужину.

В утро этого дня обитатели тростниковых хижин засиделись за завтраком, и каждый из них говорил о том, что бы он сделал, если бы жемчужина досталась ему. И один человек сказал, что он принес бы ее в дар святому отцу в Риме. Другой — что он уплатил бы за помин души всех своих родственников на тысячу лет вперед. Третий предпочитал, выручив деньги за жемчужину, раздать их беднякам Ла-Паса, а четвертый прикидывал, сколько можно сделать добра на такую большую сумму, скольких можно осчастливить, выручить, спасти. Соседи надеялись, что свалившееся на Кино богатство не вскружит ему голову, не превратит его в черствого богача, не привьет ему дурных черенков от дичка скупости, злобы и бессердечия. Ибо Кино любили в поселке, и было бы жаль, если бы жемчужина принесла ему гибель. «У него такая хорошая жена Хуана,— говорили соседи,— и такой славный мальчик Койотито, и ведь Койотито — не последний, будут и другие дети. Неужели огромная жемчужина погубит их всех?»

Для Кино и Хуаны утро этого дня было лучшим за всю их жизнь, и они могли сравнить его только с тем днем, когда родился Койотито. Этот день положит начало всем последующим. И они будут говорить: «Это было за два года до того, как мы продали жемчужину». Или: «Это было спустя полтора месяца после того, как мы продали жемчужину». Хуана решила, что в такой день можно на все махнуть рукой, и она одела Койотито в платьице,

которое береглось к его крещению, когда будет чем заплатить за крещение. И Хуана расчесала волосы, вплела в косы красные ленты, завязала концы бантиками и нарядилась в свою свадебную юбку и кофточку. Когда все приготовления подошли к концу, солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Рубашка и брюки у Кино были хоть и рваные, но чистые, и в этот день он последний раз надевал на себя лохмотья. Ибо завтра, а может статься, даже сегодня, у него будет все новое.

Соседи, посматривавшие сквозь щели в стенах на дверь хижины Кино, тоже были одеты и готовы к выходу. Собираясь вместе с Кино и Хуаной идти продавать жемчужину, никто из них не испытывал ни малейшего чувства неловкости. Так и следовало поступить в этот знаменательный день, надо быть сумасшедшим, чтобы не пойти вместе с Кино и Хуаной. Останься они дома, это можно было бы счесть чуть ли не знаком недружелюбия с их стороны.

Хуана бережно надела шаль на голову, и один ее конец спустила по правому боку и перекинула через правую руку, так что получилось нечто вроде маленькой люльки, и в эту люльку она посадила Койотито — пусть все увидит, и не только увидит, а может быть, и запомнит. Кино надел широкополую соломенную шляпу и потрогал тулью рукой — все ли в порядке, ибо надевать ее следовало не на затылок и не набекрень, как любит носить шляпы бесшабашная, неженатая молодежь, и не прямо, как носят люди пожилые, а чуть на нос, что должно было подчеркивать напористость, деловитость и силу воли ее обладателя. О многом можно судить по тому, как сидит у человека шляпа на голове! Кино сунул ноги в сандалии и завязал ремешки. Огромная жемчужина была завернута в кусок мягкой замши и положена в кожаный мешочек — в нагрудный карман. Кино аккуратно скатал одеяло в длину, перебросил его через левое плечо, и теперь они были готовы — все трое.

Полный достоинства, Кино вышел из своей хижины, а следом за ним Хуана с Койотито на руках. И на промытой отливом дороге к ним один за другим присоединились соседи. Хижины извергали на улицу взрослых, выплескивали детей. Но цель этого шествия была такая серьезная, что только один человек шагал рядом с Кино, и это был его брат Хуан Томас.

Хуан Томас наставлял младшего брата.

— Смотри, как бы тебя не обманули. Надо действовать осмотрительно,— говорил он.

— Очень осмотрительно,— согласился с ним Кино.

— Мы не знаем, сколько платят за жемчуг в других городах,— говорил Хуан Томас.— Как угадать настоящую цену, если

нам неизвестно, сколько скупщик получит за твою жемчужину в другом городе?

— Ты прав,— сказал Кино.— Но откуда нам это знать? Мы живем здесь, мы не знаем, что делается в других местах.

Чем ближе они подходили к городу, тем больше и больше росла сопровождающая их толпа, но Хуан Томас продолжал говорить, потому что его мучило беспокойство.

— Когда тебя еще не было на свете, Кино,— говорил он,— старики все думали, как сделать, чтобы получать больше денег за жемчуг. И они решили найти человека, который возил бы жемчуг в столицу и продавал бы его там и получал бы плату за свои труды.

Кино склонил голову.

— Знаю,— сказал он.— Это было мудрое решение.

— И такого человека нашли,— продолжал Хуан Томас.— Все отдали ему свои жемчужины и отправили его в путь. И с тех пор он как в воду канул, а вместе с ним и жемчуг. Тогда нашли другого человека, и его тоже отправили в большой город, и он тоже исчез. После этого старики отказались от своей затеи, и все пошло по-прежнему.

— Знаю,— сказал Кино.— Я помню, как наш отец рассказывал об этом. Старики решили мудро, но религия не позволяет так делать. Об этом нам говорил священник. Пропажа всех жемчужин была возмездием тем, кто захотел сменить свое место на лучшее. Священник объяснил нам, что каждый мужчина и каждая женщина — это воин, посланный господом богом охранять чертог Вселенной. Кому положено нести стражу на крепостном валу, кому — во тьме подземелья. Оставлять свой пост не дозволено и бегать с места на место тоже не дозволено, ибо тогда силы ада восстанут и чертог будет разрушен.

— Я слышал эту проповедь,— сказал Хуан Томас.— Он читает ее каждый год.

Братья чуть прищурились, так, как щурился весь их народ — и сами они, и прадеды, и прапрадеды их — вот уже четыреста лет, с того самого дня, когда эту страну заполонили чужеземцы, всезнающие, всевластные и готовые в любую минуту подкрепить порохом свои знания и власть. И за четыреста лет народ Кино научился отгораживаться от них только чуть заметным прищуром глаз, чуть заметными складками у рта и отчужденностью. Ничто не могло разрушить эту ограду, ничто не могло помешать им оставаться самими собой под ее защитой.

Нарастающая толпа двигалась торжественным шагом, чувствуя все значение этого дня, и если кто-нибудь из ребятишек затевал драку, поднимал крик или плач, срывал шляпу с головы у

сверстника и взъерошивал ему волосы, взрослые шикали на озорников и смиряли их. Настолько важные события ожидались в этот день, что один дряхлый старец тоже примкнул к процессии, восседая на могучих плечах своего внука. Процессия миновала тростниковые хижины и вступила в город с кирпичными и каменными домами, где улицы были чуть пошире, а вдоль домов шли узкие тротуары. И, как накануне, к ней примкнули нищие с церковной паперти; ее провожали глазами лавочники; маленькие таверны опустели, хозяева заперли их и тоже двинулись вместе с толпой. А солнце заливало город зноем, и тень на землю отбрасывали даже мелкие камешки.

Слух о приближении процессии опередил ее, и скупщики жемчуга выпрямились и насторожились, сидя в своих маленьких темных конторах. Они стали перелистывать какие-то бумаги, притворяясь занятыми на случай появления Кино, и убрали свой жемчуг с глаз долой, ибо не годится, чтобы мелкие жемчужины оставались на столе, когда рядом с ними ляжет красавица. Весть о прелести жемчужины, которую несет Кино, уже дошла до них. Конторы скупщиков теснились все на одной узенькой улице, окна у них были снаружи зарешечены, а изнутри закрыты жалюзи, и оттого, что свет проникал внутрь только сквозь щели между деревянными планками, в конторах всегда стояла мягкая полутьма.

В одной из контор сидел грузный, неповоротливый человек. Выражение лица у него было отечески доброе, взгляд ласковый. Такой здоровается приветливо и обязательно за руку, знает множество анекдотов — словом, душа нараспашку. А какая в нем отзывчивость! Посреди шуток и смеха вдруг загрустит, вспомнив вашу покойную тетушку, и смахнет слезу, скорбя о вашей невозвратимой утрате. В то утро он поставил себе на стол вазу, а в нее единственный цветок — алый гибискус, и ваза соседствовала с черным бархатным лотком для жемчуга. Лицо у этого человека было выбрито до синевы, руки были чистые, с отполированными ногтями. Дверь его конторы стояла распахнутой навстречу утру, и он напевал что-то себе под нос, а правой рукой проделывал фокус с монетой. Монета перекатывалась у него по костяшкам пальцев, уходила на ладонь, подскакивала кверху, поблескивая на свету. Она мгновенно исчезала и снова появлялась, а он даже не смотрел на нее. Пальцы работали сами собой, с точностью автомата, и человек напевал что-то себе под нос и поглядывал на дверь. И вдруг он услышал топот приближающейся толпы, пальцы его правой руки заработали еще быстрее, и когда Кино появился в дверях, монета сверкнула в последний раз и исчезла.

— Добрый день, друг мой,— сказал грузный человек.— Чем могу служить тебе?

Глаза Кино не сразу привыкли к полумраку маленькой конторы, потому что в них все еще стояло слепящее солнце. А в глазах скупщика стояла жестокость, и они смотрели на Кино по-ястребиному — в упор, не мигая, тогда как губы его приветливо улыбались. И правая рука, спрятанная под столом, по-прежнему играла монетой.

— Я принес жемчужину,— сказал Кино. И Хуан Томас, стоя рядом с ним, чуть слышно хмыкнул, недовольный сдержанностью этого ответа. Соседи смотрели в контору с порога, мальчишки висели на оконной решетке, а двое-трое малышей, опустившись на четвереньки, наблюдали за всем происходящим, выглядывая из-за ног Кино.

— Ты принес одну жемчужину,— сказал скупщик,— а мне приносят их сразу по десять — двенадцать штук. Ну что ж, покажи свою жемчужину. Мы оценим ее и заплатим тебе по справедливости.— И его пальцы лихорадочно завертели монету.

Чутье подсказало Кино, что надо бить на эффект. Это получилось у него как-то само собой. Медленно положил он на стол кожаный мешочек, медленно вынул оттуда грязную замшевую тряпочку, скатил огромную жемчужину на черный бархатный лоток и, мгновенно подняв глаза, посмотрел скупщику в лицо. Ни малейшей перемены не было в этом лице — оно не дрогнуло, ничем не выдало себя, но рука, спрятанная под столом, дала осечку. Монета запнулась за сустав пальца и бесшумно скользнула скупщику на колени. И пальцы, прятавшиеся под столом, сжались в кулак. Когда правая рука вынырнула из своего тайного убежища, указательный палец тронул огромную жемчужину, пустил ее по черному бархату лотка; большой и указательный подняли ее, поднесли к глазам скупщика и подкинули в воздух.

Кино затаил дыхание, и соседи тоже затаили дыхание, и по толпе — от стола к дверям — пронесся шепот:

— Он рассматривает ее. Цену еще не сказал... О цене речи пока не было.

Рука скупщика действовала сама по себе. Рука бросила огромную жемчужину обратно на бархатный лоток, указательный палец толкнул, щелкнул ее — он издевался над ней, а на лице скупщика заиграла грустная, презрительная усмешка.

— Ничего не могу поделать, друг мой,— проговорил он и чуть пожал плечами, выражая этим свою полную непричастность к постигшей Кино неудаче.

— Эта жемчужина стоит больших денег,— сказал Кино.

Пальцы скупщика снова щелкнули жемчужину, так, что она заметалась по бархатному лотку, мягко отскакивая от его бортов.

— Знаешь, что такое обманка? — спросил скупщик.— Люди ищут золото, а находят обманку. Так и с твоей жемчужиной. Она слишком велика. Кто ее купит? На такие спроса нет. Это всего лишь диковинка. Жаль, но что поделаешь? Ты думал, что твоя жемчужина стоит огромных денег, а ведь это только диковинка, особой ценности она не имеет.

В глазах у Кино были растерянность, тревога.

— Она самая большая в мире! — воскликнул он.— Такой жемчужины еще никто не видел!

— Ошибаешься,— сказал скупщик.— Она слишком большая, грубая. Она представляет интерес лишь как редкостный по величине экземпляр. Если ее купят, так разве в какой-нибудь музей для пополнения коллекции морских раковин. Я могу предложить тебе за нее... ну, скажем, тысячу песо.

Лицо у Кино потемнело, глаза смотрели грозно.

— Она стоит пятьдесят тысяч,— сказал он.— Вы сами это знаете. Вы хотите обмануть меня.

Ухо скупщика уловило, как по толпе, услышавшей предложенную цену, прошел невнятный ропот. И скупщик почувствовал легкую дрожь страха.

— Не вини меня,— быстро проговорил он.— Я всего лишь оценщик. Спроси кого-нибудь еще. Сходи к другим скупщикам и покажи им свою жемчужину. А лучше пусть они сами придут сюда, и ты убедишься, что мы не в сговоре. Эй! — крикнул он и приказал мальчику, выглянувшему из-за двери в глубине конторы: — Сбегай к тому-то и тому-то. Попроси их прийти сюда, только не говори зачем. Скажи просто, что я буду рад их видеть.— И правая рука нырнула под стол и вынула еще одну монету из кармана, и монета начала перекатываться взад и вперед по костяшкам пальцев.

Соседи Кино перешептывались между собой. Они так и думали, что добром это не кончится. Слов нет, жемчужина большая, но цвет у нее необычный. Она с самого начала показалась им какой-то странной. И если уж на то пошло, тысяча песо на дороге не валяются. Для человека, у которого ничего нет, это целое состояние. А что, если Кино согласится на такую цену? Ведь только вчера он был бедняком.

Но Кино словно окаменел. Он чувствовал, что судьба его решается, что его кольцом окружает волчья стая, что над ним вьются стервятники. Он чувствовал, как зло подкрадывается к нему, и не знал, где искать защиты. Он слышал вражескую песнь, она стояла у него в ушах. А огромная жемчужина, поблескивая, лежала в черном бархатном лотке, и человек, сидевший за столом, не мог отвести от нее глаз.

Толпа в дверях дрогнула и расступилась, давая дорогу троим скупщикам. Толпа примолкла теперь, боясь упустить хоть слово, боясь прозевать малейшее движение, малейший взгляд. Кино тоже молчал — молчал настороженно. И вдруг он почувствовал, что его потянули сзади за рубашку, и, оглянувшись, посмотрел в глаза Хуаны, и когда он отвернулся от нее, новые силы прихлынули ему к сердцу.

Скупщики смотрели куда угодно, только не друг на друга и не на жемчужину. Тот, что сидел за столом, сказал:

— Я оценил вот эту жемчужину. Ее хозяин не согласен с моей оценкой. Попрошу вас взглянуть на эту... эту вещь и определить ее стоимость. Учти,— обратился он к Кино,— что я не назвал суммы, которую предложил тебе.

Первый скупщик, тощий, жилистый, словно только сейчас увидел жемчужину. Он взял ее, быстро покатал между большим и указательным пальцами и презрительным жестом бросил в лоток.

— Меня можете не принимать в расчет,— сухо проговорил он.— Я ничего не дам. Мне такая не нужна. Это не жемчужина... Это какое-то чудовище.— Его тонкие губы сжались еле заметной полоской.

Теперь второй скупщик, маленький, с тихим, робким голосом, взял жемчужину, внимательно осмотрел ее. Он вынул лупу из кармана и посмотрел на жемчужину еще раз. И негромко рассмеялся.

— Искусственные и то бывают лучше,— сказал второй скупщик.— Мне такие попадались. Она мягкая, рыхлая. Через несколько месяцев потускнеет и умрет. Смотри...— Он протянул лупу Кино, показал, как пользоваться ею, и Кино, которому никогда не приходилось разглядывать жемчуг сквозь увеличительное стекло, испугался, увидев, какая странная поверхность у его жемчужины.

Третий скупщик взял ее у Кино.

— Один мой клиент интересуется такими вещами,— сказал он.— Даю пятьсот песо, а ему, может быть, продам за шестьсот.

Кино быстро протянул руку и выхватил жемчужину у него из пальцев. Он завернул ее в замшевый лоскут и сунул за пазуху.

Человек, сидевший за столом, сказал:

— Я, конечно, набитый дурак, но от своей цены не отступлюсь. Даю по-прежнему тысячу песо. Что это ты? — удивился он, когда Кино спрятал жемчужину.

— Вы меня обманываете! — гневно крикнул Кино.— Я не буду продавать здесь свою жемчужину. Я поеду в другой город, может быть, даже в столицу.

Скупщики быстро переглянулись. Они поняли, что переборщили; они знали, что им влетит за такой промах, и тогда человек, сидевший за столом, быстро проговорил:

— Хорошо, даю полторы тысячи.

Кино повернулся и, расталкивая соседей, пошел к двери. Жужжанье голосов доносилось до него смутно, сквозь яростный гул крови в ушах, и, пробившись к выходу, он зашагал прочь от конторы. Хуана рысцой поспевала за ним.

Когда наступил вечер, соседи разошлись по домам и, ужиная кукурузными лепешками и фасолью, обсуждали важные события этого дня. Трудно сказать, где правда. Слов нет, жемчужина красивая, но они впервые видят такую, а скупщики разбираются в жемчуге лучше всех. «И вы помните? — говорили они.— Скупщики не советовались друг с другом, и все трое признали, что жемчужина не имеет никакой цены».

— А может, они сговорились заранее?

— Если это так, значит, нас обманывают всю нашу жизнь.

Может быть, говорили некоторые, может быть, Кино не следовало отказываться от полутора тысяч песо. Это большие деньги, он таких денег и в руках не держал. Может быть, Кино безмозглый дурак? А что, если он и в самом деле поедет в столицу и не найдет там покупателя на свою жемчужину? Такое трудно пережить. Вот теперь, говорили трусливые, теперь, когда Кино пошел наперекор этим скупщикам, они вовсе не захотят иметь с ним дело. Может быть, Кино сам положил голову на плаху, сам погубил себя.

Другие же говорили: «Кино отважный человек, такого человека не запугаешь; он прав». И эти гордились своим соседом Кино.

А Кино, опустив голову, сидел на циновке у себя в хижине и думал. Жемчужина была зарыта под камнем у костра. Кино долго, не отрываясь, смотрел на пеструю циновку, и у него уже начинало рябить в глазах. Он потерял свой мир, а нового не нашел. И Кино было страшно. Еще ни разу в жизни не случалось ему далеко уходить из дому. Чужие люди, чужие места страшили его. Он представлял себе это чудовище, что зовется столицей, чудовище, где все чужое. Оно притаилось за морем, за горами, до него тысячи миль, и каждая чужая, страшная миля внушала Кино ужас. Но он потерял свой старый мир, и теперь ему надо было пробираться в новый, ибо его мечта о будущем была реальна, уничтожить ее никто не мог. Он сказал «я пойду», и это «пойду» тоже обрело реальность. Решиться пойти и сказать об этом вслух — все равно что быть на полпути к цели.

Хуана следила за ним, когда он зарывал жемчужину, она следила за ним, купая и кормя грудью Койотито, а теперь Хуана пекла кукурузные лепешки на ужин.

Хуан Томас вошел к ним в хижину и присел на корточки рядом с Кино, и после долгого молчания Кино сказал:

— Что мне было делать? Эти люди обманщики.

Хуан Томас медленно покачал головой. Он был старший, и Кино прибегнул к его мудрости.

— Не знаю, как быть...— ответил он.— Нас обманывают со дня нашего рождения и до самой могилы, когда втридорога просят за гроб. Но мы живем, несмотря ни на что. Ты пошел наперекор не только скупщикам жемчуга, но наперекор всей нашей жизни, наперекор всему, на чем она держится, и я страшусь за тебя.

— Что мне грозит, кроме голода? — спросил Кино.

Хуан Томас медленно покачал головой.

— Голод грозит нам всем. Но что, если ты прав... что, если жемчужина стоит больших денег?.. Ты думаешь, этим все кончится?

— Как тебя понять?

— Сам не знаю,— сказал Хуан Томас,— но я страшусь за тебя. Ты ступил на неизведанную землю, дороги ее не знакомы тебе.

— Я все равно пойду. Я не стану откладывать,— сказал Кино.

— Да. Идти надо,— согласился с ним Хуан Томас.— Но как знать? Может быть, там, в столице, будет то же самое? Здесь у тебя много друзей, здесь я — твой брат. А там ты один.

— Что же мне делать? — воскликнул Кино.— Здесь творятся беззакония. Мой сын должен быть счастлив. А они замахиваются на его счастье. Друзья не оставят меня без помощи.

— Да, они не откажутся помогать, пока это не будет им в тягость, пока это не подвергнет их опасности,— сказал Хуан Томас и встал со словами: — Да хранит тебя господь.

И Кино тоже сказал:

— Да хранит тебя господь,— и даже не посмотрел брату вслед, потому что эти слова странным холодком отозвались у него в груди.

Когда Хуан Томас ушел, Кино долго сидел на циновке и думал. Оцепенение и серая безнадежность сковывали его. Перед ним были закрыты все пути. Грозный напев врага не умолкал. Мысли жгли его, не давая ему покоя, но чувства по-прежнему были в тесном сродстве со всем миром, и этот дар единения с миром он получил от своего народа. Он слышал, как надвигается ночь, как прядают на песок и откатываются назад, в Залив, маленькие волны, слышал сонные жалобы птиц, устраивающихся на покой, и любовное томление кошек, и ровный посвист пространства. И в ноздрях

у него стоял острый запах водорослей, оставленных отливом на берегу. Маленькие язычки огня бросали узорчатые тени на циновку, и он застывшим взглядом смотрел на них.

Хуана тревожно следила за ним, но она знала его, знала, что лучшая помощь ему — это молчать и быть рядом. И Хуане словно тоже слышалась Песнь зла, и она боролась с ней, тихонько напевая песенку о семье, песенку о покое, тепле, нерушимости семьи. Она держала Койотито на руках и пела ему, гоня беду прочь, и голос ее смело восставал против угрозы, таившейся в суровой мелодии зла.

Кино, не двигаясь, сидел на циновке и не просил ужинать. Но Хуана знала: он попросит, когда проголодается. Взгляд у Кино был застывший, и он чувствовал, что зло настороже, что оно неслышно бродит за стенами тростниковой хижины. Потайное, крадущееся, оно поджидало его в темноте. Оно страшной тенью расплывалось в ночи, но эта тень звала, грозила, бросала ему вызов. Его правая рука скользнула за пазуху и тронула нож, глаза расширились; он встал и подошел к двери.

Хуана хотела остановить его; она подняла руку, чтобы остановить его, и в ужасе глотнула воздух. Кино долго вглядывался в темноту, а потом ступил за дверь. Хуана тотчас услышала почти бесшумный бросок, натужный хрип, звук удара. Она застыла на месте, скованная ужасом, но через секунду между губами у нее, как у кошки, блеснул оскал зубов. Она опустила Койотито на пол. Она схватила камень, лежащий у костра, и выбежала из хижины, но там, у тростниковой изгороди, все стихло. Кино пытался встать, приподняться с земли, а около него никого не было. Только колеблющиеся тени и плеск то набегающих, то уходящих волн и ровный посвист пространства. Но зло было здесь, повсюду, оно пряталось за тростниковой изгородью, таилось возле хижины, ширяло в воздухе.

Хуана бросила камень и, обняв Кино, помогла ему встать и повела домой. Кровь струилась у него с волос, а от уха до подбородка, через всю щеку, шла рана — глубокая кровоточащая рана. Он еле переступал ногами, почти теряя сознание, и все мотал и мотал головой. Рубашка на нем была располосована и висела клочьями. Хуана помогла ему сесть на циновку, подолом юбки утерла густеющую кровь с лица и дала глотнуть пульки из маленького кувшинчика. Но он все мотал и мотал головой, стараясь прогнать дурманящую темноту из глаз.

— Кто? — спросила Хуана.

— Не знаю,— сказал Кино.— Не видел.

Тогда Хуана принесла воды в глиняном горшке и промыла ему рану, а он сидел, тупо глядя в одну точку.

— Кино, муж мой! — воскликнула Хуана, но его глаза смотрели мимо нее.— Кино, ты слышишь меня?

— Слышу,— вяло проговорил он.

— Кино, эта жемчужина недобрая. Давай уничтожим ее, пока она не уничтожила нас самих. Давай раздавим ее жерновами. Давай... давай бросим ее в море, ей место только там, Кино, она недобрая, недобрая!

И пока Хуана говорила, свет постепенно разгорался в глазах Кино, и они яростно вспыхнули, и мускулы у него на лице окрепли, и воля тоже окрепла.

— Нет,— сказал Кино.— Я не сдамся. Я одолею. Мы не упустим своего счастья.— Он с размаху ударил кулаком по циновке.— Никто не отнимет у нас нашей удачи.— И взгляд у него смягчился, и он ласковой рукой тронул Хуану за плечо.— Доверься мне,— сказал он.— Я мужчина.— И в глазах у него блеснула хитрая искорка.— Утром мы спустим лодку на воду и поедем по морю, а потом пойдем через горы к столице. Пойдем оба — ты и я. Больше нас никто не обманет. Я мужчина.

— Муж мой! — хрипло проговорила Хуана.— Мне страшно. Мужчину тоже могут убить. Давай бросим жемчужину назад в море.

— Молчи! — яростно крикнул он.— Я мужчина. Молчи.— И Хуана умолкла, потому что так велел ей его голос.— Давай спать,— сказал он.— Завтра с первыми лучами — в дорогу. Ты не побоишься уйти со мной?

— Нет, Кино.

Тогда взгляд Кино стал мягким, теплым, и его рука коснулась щеки Хуаны.

— Давай спать,— сказал он.

V

Поздняя луна поднялась в небе перед первыми петухами. Кино проснулся в темноте, уловив легкое движение рядом с собой, но сам не двинулся — только глаза его обшарили темноту. И в бледном свете луны, пробиравшемся сквозь щели тростниковой хижины, Кино почувствовал, как Хуана бесшумно встает с циновки. Он увидел, как она крадется к костру. Но руки ее сделали свое дело так бережно, что он услышал только легкий шорох, когда они двинули камень, лежащий у костра. А потом Хуана тенью скользнула к выходу. Она задержалась на секунду у ящика, где спал Койотито, загородила темным силуэтом квадрат двери и исчезла.

И злоба волной обдала Кино. Он вскочил с циновки, вышел из хижины так же тихо, как Хуана, и услышал ее быстрые шаги, удаляющиеся к берегу. Он ступал бесшумно, а в мозгу у него полыхала ярость. Заросли кустарника остались позади; спотыкаясь о камни, Хуана шла к воде, но, услышав, что он догоняет ее, побежала. Она занесла руку для броска, но Кино метнулся вперед, схватил эту занесенную над головой руку и вырвал жемчужину из ее пальцев. Он кулаком ударил Хуану по лицу, и она упала на камни, и тогда он ударил ее ногой в бок. При бледном свете луны он увидел, как маленькие волны подбежали к Хуане и отхлынули назад, и юбка ее всплыла на них и тут же облепила ей ноги.

Кино оскалил зубы и зашипел, как змея, а Хуана смотрела на него, точно овца на мясника, неподвижными, широко открытыми глазами, в которых не было страха. Она знала, что Кино готов убить ее и что Кино прав. Она покорно принимала смерть, не защищаясь, не моля о пощаде. Но ярость Кино утихла, и на место ярости пришло чувство омерзения. Он отвернулся от Хуаны и зашагал по берегу к зарослям кустарника. Вспышка гнева опустошила его.

Он услышал, как к нему метнулись из зарослей, выхватил из-за пазухи нож, всадил его в первую темную фигуру и почувствовал, что не промахнулся. И, сбитый с ног, тут же упал сам, сначала на колени, а с колен — ничком на землю. Жадные пальцы пробрались ему за рубашку, лихорадочные пальцы шарили, обыскивали его, и жемчужина, выпав из разжатой руки, откатилась за небольшой валун на тропинке. И легла там, мерцая серебром в лунном свете.

Хуана с трудом приподнялась с камней у воды. Лицо у нее ныло, в боку была тупая боль. Она стала, пошатываясь, на колени, и мокрая юбка облепила ее бедра. В сердце Хуаны не было злобы против мужа. Он сказал: «Я мужчина»,— а эти слова много о чем говорили Хуане. Они говорили Хуане, что муж ее наполовину безумец, наполовину бог. Они говорили ей, что Кино может помериться силой с горой и ополчиться против моря. В глубине своей женской души Хуана знала, что гора устоит, а человек погибнет, что море вспенится, а человек утонет в нем. И все же это и делает его мужчиной — полубезумцем и полубогом, а Хуана не могла жить одна, она должна была чувствовать его рядом с собой. И хотя это различие между мужчиной и женщиной иной раз приводило ее в смятенье, она считала, что так и должно быть, и покорялась и не могла жить одна. Она пойдет за Кино, как же иначе! Ведь бывало же раньше, что ее женское благоразумие, женская осторожность и чувство самосохранения пробивались сквозь мужское

упорство Кино и спасали их всех. Морщась от боли, Хуана встала, опустила сложенные чашечкой ладони в волны, умыла разбитое лицо обжигающей соленой водой и, крадучись, пошла вверх по берегу следом за Кино.

Длинные перистые облака плыли по небу с юга. Бледная луна ныряла в них и снова выплывала, так что Хуана шла то в темноте, то на свету. Она горбилась от боли, голова у нее была низко опущена. Вот и заросли, и небо снова затянуло облаками, но лишь только луна выглянула из-за них, огромная жемчужина, лежавшая на тропинке у валуна, сверкнула серебром в лунном свете. Хуана опустилась на колени и подняла ее, но тут луна снова спряталась. Хуана стояла на коленях, думая, что ей делать: может быть, вернуться к морю и докончить начатое? Но в эту минуту снова посветлело, и она увидела на тропинке два человеческих тела. Она кинулась туда и узнала Кино, а рядом с ним лежал неизвестный ей человек, и шея у этого человека была залита чем-то темным, глянцевито поблескивающим.

Кино медленно шевельнулся, руки и ноги у него дернулись, как у раздавленной букашки, из горла вырвалось хриплое бормотанье. И Хуана сразу, в один миг поняла, что прежняя их жизнь ушла навсегда. Мертвый на тропинке, нож Кино с окровавленным лезвием убедили ее в этом. До сих пор Хуана еще пыталась спасти хоть крохи прежнего покоя, крохи той жизни, что была до жемчужины. Но теперь былое ушло, его не вернешь. И, поняв это, она сразу, без раздумий, отрешилась от прошлого. Теперь надо было думать только о том, как им спастись.

Куда девалась ее боль, вялость ее движений! Она быстро оттащила убитого с тропинки в заросли кустарника. Потом подошла к Кино и утерла ему лицо мокрой юбкой. Он начинал приходить в себя и тихо стонал.

— Жемчужину отняли. Я потерял ее. Теперь все кончено,— сказал он.— Жемчужины нет.

Хуана успокаивала его, как больного ребенка.

— Молчи, молчи,— говорила она.— Вот твоя жемчужина. Я нашла ее на тропинке. Ты слышишь меня? Вот твоя жемчужина. Ты понимаешь, что я говорю? Ты убил человека. Нам надо бежать. Понимаешь? Нас схватят. Надо бежать, пока еще темно.

— На меня напали,— неуверенно проговорил Кино.— Я защищался, я спасал свою жизнь.

— А ты помнишь, что было вчера? — сказала Хуана.— Думаешь, в городе посчитаются, напали на тебя или нет? Ты помнишь скупщиков? Неужели же тебе поверят?

Кино вздохнул всей грудью и стряхнул с себя слабость.

— Да,— сказал он.— Ты права.— И воля его окрепла, и он снова стал мужчиной.

— Беги домой, возьми Койотито,— сказал он.— И захвати всю кукурузу, что у нас есть. Я спущу на воду лодку, и мы уедем.

Кино поднял нож, валявшийся на тропинке, и ушел в темноту. Спотыкаясь, он выбрался на берег и отыскал там свою лодку. И когда луна снова выглянула из-за облаков, он увидел, что в днище его лодки пробита большая брешь. И слепая ярость вспыхнула в нем и придала ему силы. Тьма смыкается вокруг его семьи; вражеская песнь будоражит ночь, парит над мангровой рощей, завывает в морском прибое. Лодка его деда, смоленная тысячи раз,— и расщепленная пробоина в ее днище. Это зло, с которым не мирится сознание. Убийство человека — зло меньшее, чем убийство лодки. Ведь у лодки нет сыновей, лодка беззащитна, и рана, нанесенная ей, не заживет. К ярости, бушевавшей в сердце Кино, примешивалась боль, но эта последняя капля закалила его волю так, что теперь ее ничто не могло бы сломить. Он стал зверем, который будет прятаться и нападать из засады, и он будет жить теперь только для того, чтобы спасти себя и семью. Мучительная боль в голове прошла. Кино больше не чувствовал ее. Он в несколько прыжков одолел отмель и побежал сквозь густой кустарник к своей хижине. И ни разу, ни на одну секунду не пришло ему в голову, что вместо своей можно воспользоваться чьей-нибудь чужой лодкой. Эта мысль была так же далека от него, как мысль о том, что в лодке, кому бы она ни принадлежала, можно сделать пробоину.

Петухи перекликались между собой — рассвет был близок. Дымок первых костров просачивался сквозь стены тростниковых хижин, и в воздухе стоял запах первых кукурузных лепешек. Ранние птицы уже суетились в кустах. Бледная луна побледнела еще больше, облака сгустились и плотным слоем затянули южную часть неба. Ветер повернул к речному устью — тревожный, порывистый ветер, несущий с собой запах бури, и в воздухе чувствовалось, что предрассветная тишина обманчива, что скоро ее не будет.

Подбегая к своей хижине, Кино весь дрожал какой-то странной ликующей дрожью. Теперь мысль его работала ясно, ибо выбора перед ним не осталось, и его пальцы сначала тронули жемчужину в нагрудном кармане, а потом нож, висевший на шнурке за пазухой.

Он увидел впереди слабое зарево, и тут же из темноты с треском вымахнул вверх столб огня, и отсветы его упали на тропинку. Кино побежал, не чуя под собой ног. Он знал: это полыхает его хижина. И он знал, что тростниковые хижины сгорают дотла

в несколько минут. Когда он был уже совсем близко, навстречу ему метнулась чья-то тень. Хуана с Койотито, и в руке у нее судорожно зажато одеяло Кино. Ребенок испуганно плакал, а в широко раскрытых глазах Хуаны стоял ужас. Кино знал, что ему не спасти своего жилья, и он ни о чем не стал расспрашивать Хуану. Он сам все понял, но Хуана все-таки сказала:

— Пол изрыт, все обшарили, даже колыбель. А подожгли спаружи, пока я была там.

Безжалостное пламя пожара озарило лицо Кино — каждую черточку его лица.

— Кто? — спросил он.

— Не знаю,— ответила она.— Какие-то темнокожие.

Соседи выбежали из своих хижин, и они следили за падающими искрами и затаптывали их, чтобы огонь не перемахнул дальше. И вдруг Кино стало страшно. Его испугал яркий свет. Он вспомнил про человека, который лежал, убитый, на тропинке, и схватил Хуану за руку и увлек ее со света в тень, падающую от соседской хижины, ибо теперь свет грозил им опасностью. На решение ему понадобилась всего лишь секунда, и, решившись, он пробрался задами поселка к хижине своего брата Хуана Томаса и переступил ее порог, ведя за собой Хуану. Снаружи раздавались крики взрослых и плач детей, так как друзья Кино думали, что он не успел выбежать из горящей хижины.

Жилье у Хуана Томаса было такое же, как и у его брата Кино; тростниковые хижины почти все строятся одинаково, все пропускают свет и воздух. И Кино с Хуаной, сидя в углу хижины Хуана Томаса, видели сквозь щели в ее стенах пляшущие языки огня. Они видели, как эти языки яростно взметнулись вверх, как завалилась крыша, и вслед за тем огонь мгновенно потух, точно костер, сложенный из мелких сухих веток. А потом они снова услышали крики друзей и пронзительный вопль Аполонии, жены Хуана Томаса, которая, будучи ближайшей их родственницей, затянула плач по ним — покойникам.

Вспомнив, что шаль на ней старая, Аполония бросилась домой за новой, праздничной. И когда она стала рыться в ящике у стены, до нее донесся негромкий голос Кино:

— Не причитай, Аполония. Мы живы.

— Как вы сюда попали? — спросила она.

— Не спрашивай,— сказал Кино.— Пойди приведи Хуана Томаса, но больше никому ничего не говори. Запомни, Аполония, это очень важно для нас.

Она постояла минуту, растерянно прижав руки к груди, а потом тихо ответила ему:

— Хорошо, брат мой.

Вскоре Хуан Томас вернулся домой. Он зажег свечу, подошел с ней в угол, куда они забились, и сказал:

— Аполония, запри дверь и никого не пускай.— Хуан Томас, как старший, взял власть в свои руки.— Ну что, брат мой? — спросил он.

— На меня напали в темноте,— сказал Кино.— И в драке я убил человека.

— Кто он? — быстро спросил Хуан Томас.

— Не знаю. Темнота... и все темно, все непонятно.

— Это она, жемчужина,— сказал Хуан Томас.— В этой жемчужине сидит дьявол. Тебе следовало продать ее, и дьявол ушел бы вместе с ней. Может быть, еще не поздно? Продай и купи себе покой на эти деньги.

Но Кино сказал:

— Брат мой! Меня оскорбили, и целой жизни не хватит, чтобы забыть это. Моя лодка лежит на берегу с пробитым днищем, дом мой сожгли, а в зарослях кустарника — убитый. Бежать мне некуда. Спрячь нас у себя, брат мой.

Кино в упор взглянул на Хуана Томаса, подметил глубокую тревогу у него в глазах и, предупреждая возможный отказ, быстро проговорил:

— Ненадолго. Пройдет день, наступит ночь, и ночью мы уйдем.

— Хорошо. Спрячу,— сказал Хуан Томас.

— Я не хочу навлекать на тебя беду,— продолжал Кино.— Ведь со мной — как с прокаженным. Мы уйдем сегодня в ночь. И ты будешь в безопасности.

— Я не оставлю тебя без помощи,— сказал Хуан Томас и добавил: — Аполония, запри дверь. И даже шепнуть никому не смей, где Кино.

Весь следующий день Кино и Хуана молча просидели в полутемной хижине Хуана Томаса и слушали, что говорят о них соседи. Сквозь щели им было видно, как соседи роются в золе, ищут там их обгоревшие кости. Затаившись в хижине Хуана Томаса, они слушали, с каким ужасом все обсуждают весть о пробоине в лодке. Хуан Томас уходил и разговаривал с людьми, чтобы усыпить возможные подозрения, и делился с ними своими догадками и домыслами о том, что произошло с Кино, Хуаной и ребенком. Одному он говорил: «Наверно, они ушли вдоль побережья на юг, спасаясь от проклятия, которое тяготеет над ними».

А другому: «Кино никогда не расстанется с морем. Может быть, он раздобыл себе другую лодку? — И добавлял: — Аполония слегла от горя».

А днем поднялся ветер, и он хлестал воду в Заливе, ворошил водоросли на берегу, он завывал и в хижинах, и при таком ветре лодку, вышедшую в море, ждала бы верная гибель. И Хуан Томас стал говорить соседям: «Кино нигде нет. Наверно, он ушел в море и утонул». После каждого своего выхода он возвращался не с пустыми руками. Он принес плетеную соломенную сумку с фасолью и бутыль из тыквы, полную риса. Занял где-то чашку сушеного перца и пачку соли и еще раздобыл нож дюймов восемнадцати в длину, тяжелый, как маленький топор, и этот нож мог служить одновременно и инструментом и оружием. И когда Кино увидел его, взгляд у Кино просветлел, и он любовно провел по ножу ладонью и попробовал лезвие большим пальцем.

Ветер выл над Заливом, взбивал воду пеной, мангровые деревья метались под его порывами из стороны в сторону, как испуганное стадо, а тончайшая песчаная пыль поднялась с побережья и плотным облаком повисла над морем. Ветер развеял тучи, очистил небо и гнал перед собой песок, точно снег в метель.

В вечерних сумерках Хуан Томас долго говорил с братом:

— Куда ты пойдешь?

— На север,— ответил Кино.— Я слышал, что на севере есть большие города.

— Держись подальше от побережья,— сказал Хуан Томас.— В городе собирают людей, пошлют обшаривать весь берег. За тобой будет погоня. Жемчужина все еще при тебе?

— При мне,— ответил Кино.— Я не расстанусь с ней. Я мог бы принести ее в дар, но теперь она — моя беда и вся моя жизнь, и я не расстанусь с ней.— И когда он говорил это, в глазах у него были злоба, жестокость и горечь.

Койотито расплакался, и Хуана прошептала над ним заклинание, чтобы он замолчал.

— Ветер сильный,— сказал Хуан Томас.— Следов не останется.

Они собрались в путь затемно, до восхода луны. И перед выходом, по обычаю, молча постояли в хижине Хуана Томаса. Хуана держала Койотито за спиной, укрыв и подхватив его шалью, и он спал, прижавшись щекой к ее плечу. Шаль укрывала ребенка, а один ее конец Хуана держала у лица, защищая ноздри от ночной сырости. Хуан Томас дважды обнял брата и поцеловал его в обе щеки.

— Да хранит тебя господь,— сказал он, и это было как смерть.— Ты не расстанешься со своей жемчужиной?

— Эта жемчужина стала моей душой,— сказал Кино.— Расстаться с ней — все равно что потерять душу. Да хранит господь и тебя.

VI

Ветер дул сильно, свирепо, и он сразу забросал Хуану и Кино сухими ветками, песком и галькой. Они плотнее запахнули на себе одежду, прикрыли лицо, оставив одни глаза, и вышли в мир. Ветер разогнал облака, и звезды холодно поблескивали в черном небе. Хуана и Кино шли с опаской, держась подальше от центральных улиц, где их мог увидеть первый попавшийся сторож, ибо город замыкался на все замки, на все засовы, боясь ночи, и те, кто бродил в темноте, не могли остаться незамеченными. Кино окраинами пробирался на север — на север по звездам — и наконец вышел на изрезанную колеями песчаную дорогу, которая вела сквозь чащу кустарника к Лорето — обители чудотворной девы Марии.

Кино чувствовал, как ему бьет песком по ногам, и радовался, что ветер заметает следы. Тусклые звезды показывали дорогу, узенькой лентой убегавшую вперед сквозь заросли кустарника. А за спиной у себя Кино слышал легкую поступь Хуаны. Он шагал быстро и бесшумно, и Хуана рысцой поспевала за ним.

Что-то древнее шевельнулось в душе Кино. Пробиваясь сквозь страх, который всегда вселяли в него темнота и дьяволы, бродящие в ночи, к нему льнуло волной какое-то странное ликующее чувство; что-то звериное зарождалось в нем — звериное чутье, звериная осторожность, ярость; что-то древнее овладевало им, надвигаясь из глубины веков, прожитых его народом. Ветер дул ему в спину, звезды указывали путь. Ветер плакал и шуршал в кустарнике, а они все шли и шли — час, другой, третий. Никто не попадался им навстречу, они никого не видели. И наконец справа от дороги в небе показалась ущербная луна, и когда она поднялась выше, ветер утих и на земле тоже все примолкло.

Узкая, изрезанная колеями дорога была видна теперь ясно. При безветрии на ней останутся отпечатки ног, но они уже далеко отошли от города, и, быть может, следов никто не заметит. Кино шел по самой колее, и Хуана ступала за ним след в след. Если утром по дороге проедет в город тяжелая повозка, этого будет достаточно, и никто не догадается, что они проходили здесь.

Они шли всю ночь, не замедляя шага. Среди ночи Койотито проснулся, и Хуана переложила его к груди и убаюкала, и он снова заснул. Но то злое, что таится в ночи, сопутствовало им все время. Над головой у них, зловеще ухая, с шелковым свистом крыльев проносились совы, в зарослях плакали и заливались хохотом койоты. А раз даже какой-то крупный зверь тяжелой по-

ступью продрался сквозь кусты и тотчас кинулся прочь. И Кино стиснул рукоятку ножа и почувствовал в нем надежного защитника.

Мелодия жемчужины торжествующе звенела в ушах у Кино, а сквозь нее просачивалась тихая песенка семьи, и обе они вплетались в мягкий шорох сандалий по песку. Кино и Хуана шли всю ночь, и на рассвете Кино стал подыскивать, где бы им укрыться на день. И такое место нашлось недалеко от дороги. Маленькая прогалина среди кустов — может быть, недавняя лежка оленей — вся точно занавешенная ломким сухостоем. И когда Хуана села на землю и устроилась поудобнее, чтобы покормить Койотито грудью, Кино вернулся на дорогу. Он сломал ветку и тщательно разровнял следы там, где они сворачивали к зарослям. В рассветных сумерках до него донесся скрип колес, и он спрятался за кусты и пропустил мимо себя двухколесную повозку, запряженную тяжело налегавшим на оглобли волом. А когда повозка скрылась, он вышел из кустов, пригляделся к колеям и увидел, что отпечатки их ног исчезли. И он разровнял свои новые следы и вернулся к Хуане.

Хуана дала ему мягких кукурузных лепешек, которые сунула им на дорогу Аполония, и легла поспать. Но Кино не спал; он сидел рядом с ней, низко опустив голову. Он долго наблюдал за муравьями, вереницей тянувшимися по земле, и потом двинул ногу вперед. Муравьи одолели это препятствие и продолжали свой путь, а Кино так и остался сидеть, глядя, как они переползают через его ступню.

Солнце уже начинало припекать. Они далеко отошли от Залива, а здесь, в этих местах, воздух был такой сухой и горячий, что раскаленный зноем кустарник то и дело потрескивал, источая приятный смолистый запах. И когда Хуана проснулась, когда солнце высоко поднялось в небе. Кино заговорил с ней о том, что она давно знала сама.

— Вон от того дерева держись подальше,— сказал он, показывая на низкорослое деревце.— Не дотрагивайся до него. Если дотронуться, а потом потереть глаза — ослепнешь. И не подходи к тем деревьям, которые кровоточат. Видишь? — вон одно такое. Если надломить на нем ветку, из места надлома потечет красная кровь, а это приносит несчастье.— И Хуана молча кивнула, выслушав его, и чуть заметно улыбнулась, потому что она сама все это знала.

— Как ты думаешь, пошлют за нами погоню? — спросила она.— Будут разыскивать?

— Будут,— ответил Кино.— Тот, кто найдет нас, завладеет жемчужиной. Разыскивать будут.

И Хуана сказала:

— Может быть, скупщики говорили правду и эта жемчужина ничего не стоит? Может быть, мы обманулись в ней?

Кино сунул руку за пазуху и вынул свою жемчужину. Солнце заиграло на ней так, что ее блеск ослепил его.

— Нет,— сказал он.— Разве стали бы охотиться за жемчужиной, которая ничего не стоит?

— А ты знаешь, кто напал на тебя? Это были скупщики?

— Нет, не знаю,— ответил он.— Я не рассмотрел их в темноте.

Он вгляделся в жемчужину, стараясь отыскать в ней свои прежние видения.

— Когда мы продадим ее, я куплю карабин,— сказал он и стал искать его на блестящей поверхности, но вместо карабина увидел только скорчившееся на тропинке тело и кровь, блестящей струйкой текущую из перерезанного горла. И он быстро проговорил: — Мы обвенчаемся в большой церкви.— Но в жемчужине была только Хуана, с разбитым лицом пробиравшаяся ночью к их тростниковой хижине.— Наш сын научится читать,— отчаянно крикнул он. И лицо Койотито — опухшее, с лихорадочным блеском в глазах, как после того лекарства, которое ему дал доктор.

И Кино снова спрятал свою жемчужину за пазуху, и Песнь жемчужины зловеще зазвенела у него в ушах, переплетаясь с Песнью врага.

Солнце жгло с такой силой, что Кино и Хуана перебрались с прогалины в кружевную тень кустов, где по земле прыгали маленькие серые птички, которые тоже искали тени. Днем, в самый зной, Кино лег, надвинул шляпу на глаза, прикрыл лицо одеялом от мух и заснул.

Но Хуана не спала. Она сидели неподвижно, точно каменное изваяние с застывшей маской лица. Губы ее, разбитые кулаком Кино, были все еще вспухшие, а около рассеченного подбородка с жужжаньем вились мухи. Но Хуана сидела неподвижно, как часовой, и когда Койотито проснулся, она положила его на землю, и он стал махать ручонками и дрыгать ножками, заворковал, заулыбался, и наконец Хуана тоже улыбнулась ему. Она подняла с земли маленькую веточку и пощекотала Койотито пятки, а потом развязала узел и напоила сына водой из тыквенной бутыли.

Кино заворочался во сне и вскрикнул гортанным голосом, и рука его дернулась кверху, будто в драке. А потом он застонал и быстро сел, раздув ноздри, глядя прямо перед собой широко открытыми глазами. Он слушал, но до него доносился только сухой треск в кустарнике и ровный посвист пространства.

— Что ты? — спросила Хуана.

— Молчи,— сказал он.

— Тебе приснилось.

— Может быть.— Но Кино не успокоился, и когда Хуана дала ему кукурузную лепешку из своих припасов, он то и дело переставал жевать и все прислушивался к чему-то. Тревога не оставляла его; он оглянулся через плечо, поднял свой большой нож с земли, потрогал лезвие. И когда Койотито снова заворковал, Кино сказал Хуане: — Уйми его.

— Что случилось? — спросила она.

— Не знаю.

Он снова прислушался, по-звериному сверкнув глазами. Потом бесшумно встал и, низко пригнувшись, пробрался сквозь заросли к дороге. Но дальше он не пошел, а лег под колючим кустом и посмотрел в ту сторону, откуда они с Хуаной пришли.

И он увидел их. И, застыв всем телом, опустил голову под прикрытием низких ветвей. Вдали показались трое — двое пеших, третий всадник. Кино знал, что это за люди, и весь похолодел от страха. Даже отсюда, издали, ему было видно, что двое пеших идут медленно, низко склоняясь к земле. Один остановится, приглядится к чему-то, другой подойдет к нему и тоже посмотрит. Это были следопыты, ищейки, те самые, что выслеживают даже горных баранов на каменистых склонах. Чутье у них — как у собак. Быть может, Хуана или он сам ступили где-нибудь в сторону от дорожной колеи, и эти люди, эти охотники найдут их по следам — по сломанной травинке, по еле заметной осыпи в песке. За ними верхом на лошади ехал какой-то темнокожий, ноздри у него были прикрыты краем одеяла, а поперек седла поблескивало на солнце дуло винтовки.

Кино лежал так тихо, что его нельзя было отличить от кустов. Затаив дыхание, он перевел глаза туда, где недавно разравнивал свои следы. Даже гладкий, ровно раскиданный песок может много о чем сказать следопытам. Он знал этих горцев-охотников, этих ищеек. В местах, где дичи мало, им приходится применять свое умение по-другому, и вот теперь они охотятся за ним. Двое пеших рыскали по дороге, точно звери, и, находя какие-то приметы, склонялись к земле, и всадник тоже останавливался.

Охотники повизгивали, точно собаки, напавшие на горячий след. Кино медленно протянул руку к своему большому ножу и положил его рядом с собой. Он знал, что ему делать. Если эти ищейки задержат шаги около заметенных следов, он кинется на всадника, убьет его и завладеет винтовкой. Это единственный путь к спасению. И, подпустив всех троих поближе, он вырыл носками

сандалий ямки в песке, так, чтобы вскочить сразу, так, чтобы у ног была опора для прыжка. Низко нависшая ветка мешала ему смотреть, загораживая дорогу.

Хуана, сидевшая в глубине зарослей, услышала мягкий стук подков, и в эту минуту Койотито снова заворковал. Она схватила его на руки, прикрыла с головой шалью, дала ему грудь, и он умолк.

Когда следопыты подошли еще ближе, Кино увидел из-под нависшей ветки только их ноги и ноги лошади. Он увидел темные заскорузлые ступни, белые лохмотья брюк, услышал поскрипывание кожаного седла, позвякивание шпор. У заметенных следов пешие остановились и внимательно оглядели это место, и всадник тоже остановился. Лошадь мотнула головой, прося повода, и мундштук звякнул ей о зубы, и она захрапела. Тогда следопыты выпрямились, посмотрели на лошадь и особенно внимательно на ее уши.

Кино перестал дышать, но спина у него чуть выгнулась, мускулы на руках и ногах резко напружились, и на верхней губе полоской проступил пот. Следопыты долго разглядывали дорогу, потом медленно пошли дальше, не сводя глаз с песка, а всадник двинулся следом за ними. Следопыты пошли быстрее — пройдут несколько шагов, остановятся, посмотрят — и снова чуть не бегом. Кино знал, что они вернутся. Они будут кружить около этого места, будут замедлять шаги, нагибаться над дорогой, разглядывать ее, они все обшарят и рано или поздно придут назад к заметенным следам.

Он скользнул в заросли, даже не потрудившись уничтожить отпечатки своих ног. К чему? Слишком много оставлено примет, слишком много сломанных веток и взрыхленного песка и сдвинутых с места камешков. Теперь им владела только одна мысль — о бегстве, безоглядном бегстве. Он знал, что эти ищейки найдут его следы. Осталось одно — бежать. Пробираясь сквозь кусты быстрыми, неслышными шагами, он вышел к тому месту, где сидела Хуана. Она вопрошающе подняла на него глаза.

— Ищейки,— сказал он.— Пойдем.

И внезапно его охватило чувство беспомощности, безнадежности, и он почернел лицом и печально посмотрел на Хуану.

— Может, мне лучше сдаться им?

Хуана вскочила, и ее рука легла на его руку.

— А жемчужина? — хрипло вскрикнула она.— Неужели же эти люди уведут тебя живым, чтобы ты уличил их в краже?

Его рука вяло потянулась за пазуху, где была спрятана жемчужина.

— Все равно отнимут,— чуть слышно проговорил он.

— Пойдем! — крикнула она.— Пойдем! — И не дождавшись ответа: — Неужели ты думаешь, что меня отпустят живой? Неужели ты думаешь, что отпустят живым ребенка?

И смысл этих слов дошел до сознания Кино, и он оскалил зубы, и глаза у него бешено вспыхнули.

— Пойдем,— сказал он.— Мы поднимемся в горы. Может быть, в горах они потеряют нас.

С лихорадочной быстротой собрал Кино лежащие на земле тыквенные бутыли и мешочек со всеми их припасами. Узел он взял в левую руку, а в правой у него был нож. Он развел кусты, пропуская Хуану вперед, и они свернули к западу, туда, где поднимались высокие голые горы. Быстро, почти бегом, шли они сквозь заросли кустарника. Это было бегство — безоглядное бегство. Кино даже не пытался соблюдать осторожность. Он отшвыривал камни, попадавшиеся под ноги, продираясь сквозь чащу, сбивал листья с ветвей, и они предательски отмечали его путь. Полуденное солнце заливало потрескавшуюся землю таким зноем, что даже растительность не выдерживала этого и негодующе позванивала под палящими лучами. Но впереди были голые гранитные горы, они поднимались над обломками скал, уходя вершинами прямо в небо. И Кино бежал к этим вершинам, как делают почти все звери, скрываясь от преследования.

Места эти были засушливые; здесь росли одни кактусы, долго сохраняющие воду, да кустарник с длинными корнями, которые глубоко проникают в почву за влагой и довольствуются малым. Земли в этой пустыне не было видно — один камень, и большие глыбы его, и осколки любой формы, не отшлифованные водой. Между камнями пробивалась унылая сухая трава — трава, которой достаточно одного дождя, чтобы пустить ростки, образовать семенную коробочку, уронить семена в почву и умереть. Рогатые лягушки провожали глазами семью Кино, поворачивая, как на стержне, свои маленькие драконьи головы. Время от времени крупные зайцы, прятавшиеся в тени, выскакивали на звук шагов и, отбежав немного в сторону, прятались за ближайшим же камнем. Звенящий зной дрожал над пустыней, и гранитные горы вдали казались такими прохладными и желанными.

Кино спасался бегством. Он знал, как все это будет. Ищейки пройдут по дороге еще немного и, убедившись, что след исчез, вернутся назад и снова начнут осматривать, обшаривать каждый куст и вскоре найдут то место, где он и Хуана остановились на отдых. А дальше дело пойдет совсем легко — мелкие камешки, сбитые листья, сломанные ветки, маленькие углубленьица в песке, там, где неверно ступила нога. Кино будто видел их перед собой:

торопятся по следу, чуть повизгивая от нетерпения, а позади них темнокожий всадник с винтовкой, как бы равнодушный ко всему происходящему. Напоследок и он сделает свое дело, потому что назад в город им никому не вернуться. О, как ясно звучала теперь Песнь зла в ушах у Кино, мешаясь со звоном зноя и сухим треском змеиных гремушек. Ширь и мощь мелодии исчезла, она стала вкрадчивой, гибельной, как отрава, и биение сердца Кино было ее призвуком, ее ритмом.

Путь становился все круче, камни — все крупнее и крупнее. Но теперь расстояние между следопытами и семьей Кино увеличилось. И посреди крутого подъема Кино остановился передохнуть. Он влез на большую каменную глыбу и посмотрел назад — туда, где над зарослями переливался дрожащий от зноя воздух. Но врагов своих — ни пеших, ни даже всадника — он не увидел. Хуана присела на корточки в тени, падающей от каменной глыбы. Она поднесла к губам Койотито бутыль с водой; его пересохший язычок жадно прильнул к горлышку. Когда Кино спрыгнул вниз, Хуана подняла на него глаза; она заметила, что он смотрит на ее ноги, исцарапанные, изрезанные о камни и кусты, и быстро прикрыла их юбкой. Потом протянула ему бутыль, но он покачал головой. Глаза Хуаны ярко блестели на побледневшем от усталости лице. Кино провел языком по пересохшим губам.

— Хуана,— сказал он.— Я пойду дальше, а ты спрячься, пережди здесь. Я заведу их в горы, и когда они минуют тебя, ступай в Лорето или Санта-Росалию. А потом, если мне удастся уйти от них, я приду за тобой. Это наш единственный путь к спасению.

Хуана глубоко заглянула ему в глаза.

— Нет,— сказала она.— Мы будем вместе.

— Один я пойду быстрее,— резко проговорил Кино.— Если идти вместе, для ребенка это будет еще опаснее.

— Нет,— сказала Хуана.

— Не спорь. Так надо, и такова моя воля.

— Нет,— сказала Хуана.

Он искал хоть намека на слабость в ее лице, намека на страх, колебания — и не нашел. Глаза Хуаны ярко блестели. Тогда он беспомощно пожал плечами, но ее сила передалась и ему. Когда они пошли дальше, их бегство уже нельзя было назвать безоглядным.

Чем ближе к горам, тем больше менялось все вокруг. Каменная крошка уступала место длинным пластам гранита с глубокими расселинами между ними, и Кино перепрыгивал с одного пласта на другой, стараясь ступать по их гладкой поверхности, на

которой не остается никаких отпечатков. Он знал, что, потеряв след, ищейки будут кружить там, где он оборвался, пока снова не нападут на него, и это отнимет у них немало времени. И теперь он шел к горам не напрямик, а зигзагами и то и дело сворачивал на юг и оставлял за собой какую-нибудь отметку, а потом снова возвращался к голым гранитным пластам. Подъем становился все круче и круче, и у Кино появилась легкая одышка.

Солнце приближалось к голым зубцам гранитных гор, когда Кино, уже никуда больше не сворачивая, пошел прямо к черневшей впереди глубокой расселине в горной гряде. Если в этих местах есть вода, так ее надо искать только там, ибо там что-то растет — он видел зелень даже издали. И если в гладкой гранитной гряде есть проход, его тоже надо искать у глубокой расселины. Правда, это не безопасно, потому что такая мысль может прийти в голову и следопытам, но пустая бутыль не давала ему свободы выбора. И когда солнце спустилось к линии гор, Кино и Хуана, устало волоча ноги, начали трудный подъем к видневшейся впереди расселине.

Высоко в горах, из узкой трещины под серым гранитным выступом, журча, бежал маленький ручеек. Его питал снег, сохраняющийся все лето в затененных уголках среди утесов. Ручеек этот временами пересыхал, обнажая свое каменистое, устланное водорослями ложе, но потом опять накапливал холодную, чистую, свежую водичку. В дни коротких ливней он даже превращался в поток и обрушивал вниз по расселине пенящуюся белую струю. Но сил ему хватало ненадолго, и большую часть года он бежал тонкой ниточкой. Местами вода собиралась в маленькие бочажки, а потом падала с высоты ста футов в другой такой же бочажок и, переполнив его, снова струилась вниз от бочажка к бочажку и наконец уходила в каменистую почву предгорья и исчезала там без следа. Собственно, и исчезать-то было почти нечему, потому что, пока вода бежала по отвесным склонам, раскаленный воздух утолял ею свою жажду, а брызгами ее питалась истомившаяся без влаги растительность. Звери постоянно навещали эти маленькие бочажки. Горные бараны и олени, пумы, еноты и мыши издалека приходили сюда на водопой. Птицы, прятавшиеся днем в зарослях кустарника, слетались вечерами к этим бочажкам, похожим на ступеньки, вырубленные в крутом горном склоне. Вдоль ложа ручейка местами собирались наносы песка и земли, и там, где только можно было запустить в них корни, сразу что-нибудь вырастало — дикий виноград и карликовые пальмы, папоротник, гибискус и трава с пушистыми метелками на длинных стеблях. А в бочажках жили лягушки и плавунцы, и по дну их ползали черви. Все, что любит воду, стремилось к этим мелким лужицам. Дикие кош-

ки приходили сюда на охоту и лакали воду, омывая в ней окровавленные зубы, и после каждого их посещения все вокруг было усеяно перьями. Около маленьких бочажков не угасала жизнь, потому что здесь была вода, и по той же самой причине здесь изо дня в день шло смертоубийство.

На самой нижней ступеньке, где ручеек разливался вширь, прежде чем ринуться вниз с высоты ста футов и бесследно пропасть в каменистой пустыне, была небольшая площадка — гранит и слой песка на нем. Вода струилась сюда тонкой ниточкой, но и этого было достаточно, чтобы бочажок не пересыхал, чтобы под навесом скалы находили приют и низкорослые травы, и папоротник, и дикий виноград, который полз вверх по склону, цепляясь своими усиками за гранит. Весенние потоки образовали здесь нечто вроде песчаной отмели, и во влажном песке вокруг бочажка зеленел водяной кресс. Отмель была вся изрыта, истоптана, взрыхлена ногами животных, приходивших сюда на водопой и на охоту.

Солнце уже спустилось за гранитный кряж, когда Кино и Хуана одолели крутой, неровный подъем и наконец-то подошли к воде. С этой площадки была видна вся пустыня вплоть до Залива, голубеющего вдали. К бочажку они добрались из последних сил, и Хуана, рухнув на колени, прежде всего умыла Койотито, а потом наполнила бутыль водой и напоила его. Ребенок тоже был измучен и капризничал и все плакал, пока Хуана не дала ему грудь, и тогда он прильнул к ней и зачмокал, громко насасывая язычком. Кино долго и жадно пил прямо из бочажка. Потом он прилег, глядя, как Хуана кормит ребенка, и дал отдых мышцам, но через минуту встал, подошел к тому месту, где ручеек переливался через край гранитного выступа, и пристально оглядел расстилавшуюся внизу пустыню. Его взгляд остановился на чем-то, и он замер. Далеко внизу виднелись оба следопыта; они виднелись точечками, будто это ползли муравьи, а сзади них полз третий муравей — побольше.

Хуана повернула голову и увидела, как напряглись у него плечи.

— Далеко? — спокойно спросила Хуана.

— К ночи будут здесь,— ответил Кино. Он взглянул вверх, на длинную отвесную трещину в скалах, откуда текла вода.— Надо идти на запад,— сказал он и внимательно пригляделся к серому гранитному уступу правее трещины. И на высоте тридцати футов он увидел на нем ряд небольших впадин, нечто вроде пещер. Он снял сандалии и, цепляясь пальцами ног за неровности гранитного уступа, поднялся к пещерам и заглянул в них. Это были

небольшие эрозионные углубления с идущими под уклон сводами. Кино влез в самую большую пещеру, лег там и, убедившись, что снаружи его не видно, быстро вернулся к Хуане.— Лезь туда. Может быть, там нас не найдут,— сказал он.

Не говоря ни слова, Хуана налила доверху тыквенную бутыль, и Кино помог ей подняться в пещеру, потом собрал все их съестные припасы и переправил туда же. Сидя у входа в пещеру, Хуана наблюдала за ним. Она заметила, что он не стал уничтожать их следы на песке, а полез вверх по утесу левее бочажка, ломая и обрывая виноградные лозы и папоротник. Поднявшись до следующего гранитного выступа, он таким же путем спустился вниз, оглядел гладкий уступ со впадинами — не осталось ли там их следов, и наконец взобрался по нему и пролез мимо Хуаны в пещеру.

— Когда они придут,— сказал он,— мы незаметно выйдем отсюда и спустимся в предгорья. Как бы только ребенок не заплакал. Смотри, чтобы он у тебя молчал.

— Он не заплачет,— сказала она и, обеими руками приподняв головку Койотито, глубоко заглянула ему в глаза, и он ответил ей величавым взглядом.— Он знает, что нельзя,— сказала Хуана.

Кино лежал у входа в пещеру, уткнувшись подбородком в скрещенные руки, и смотрел, как синяя тень от горного кряжа двигалась по зарослям кустарника внизу, достигла Залива и длинным сумеречным пологом протянулась над землей.

Ищейки долго не появлялись — следы Кино, видимо, было не так-то легко отыскивать. Уже начинало темнеть, когда они добрались до маленького бочажка на гранитном выступе. И теперь все трое следопытов шли пешком, потому что лошадь не смогла бы одолеть последний крутой склон. Сверху они казались маленькими, щуплыми. Двое, не успев напиться, стали обследовать небольшую песчаную отмель и увидели следы, оставленные Кино на утесе левее бочажка. Третий, с винтовкой, отдыхал, и, напившись, те двое присели рядом с ним на корточки, и огоньки трех сигарет то разгорались, то затухали в сумерках. А потом Кино увидел, что они принялись за еду, и до него долетели их смягченные расстоянием голоса.

Вскоре на горный кряж надвинулась тьма — густая, черная. Звери, навещавшие бочажок, пришли и в этот вечер, но, учуяв людей, скрылись во тьме.

Кино услышал шепот у себя за спиной.

— Койотито! — прошептала Хуана. Она успокаивала его. Кино услышал хныканье и по звуку понял, что Хуана прикрыла ребенка шалью.

Внизу на отмели вспыхнула спичка, и в ее мгновенном свете Кино увидел, что двое следопытов уже спят, свернувшись клубком, по-собачьи, а третий караулит, и огонек спички отблеском скользнул по его винтовке. Спичка погасла, но глаза Кино все запомнили. Он еще видел этих людей, каждого в отдельности: двое спят, свернувшись клубком, а третий сидит на корточках, поставив винтовку между колен.

Кино бесшумно подался в глубь пещеры. В глазах Хуаны отражалась низко стоявшая в небе звезда, и они светились, как две искры. Кино тихо подполз к ней и почти коснулся губами ее щеки.

— Я знаю, что делать.

— Тебя убьют.

— Если подкрасться к тому, что с винтовкой...— шептал Кино.— Надо покончить с ним первым... тогда не убьют. Те двое спят.

Пальцы Хуаны выбрались из-под шали и схватили его за руку.

— Ты в белом... они увидят тебя при звездах.

— Нет,— сказал он.— Но надо сделать это до того, как выйдет луна.

Он поискал ласкового слова и не нашел его.

— Если меня убьют,— сказал он,— ты так и сиди здесь. А потом, когда их не будет, ступай в Лорето.

Пальцы, сжимавшие ему кисть, чуть дрогнули.

— Что же делать? — сказал он.— Выбора нет. Все равно утром они нас разыщут.

И голос у нее тоже чуть дрогнул.

— Да хранит тебя господь,— сказала она.

Он пригляделся к ней в темноте и увидел ее большие глаза. Его рука протянулась и ощупью нашла ребенка и секунду задержалась ладонью на головке Койотито. А потом Кино поднял руку и коснулся щеки Хуаны, и дыхание занялось у нее в груди.

В полукруге свода, на фоне звездного неба, Хуана увидела, что Кино снимает с себя свою белую одежду. Грязная, рваная, она все же могла выдать его в ночной темноте. Бронзовая кожа будет ему лучшей защитой. А потом она увидела, как он обмотал шнурок амулета вокруг роговой рукоятки ножа, так что нож повис у него на груди, оставляя обе руки свободными. Он не вернулся к ней. Его темная пригнувшаяся фигура секунду задержалась в полукруге свода, и вот ее уже нет.

Хуана подползла к выходу из пещеры и посмотрела вниз. Она, как сова, выглядывала из своего гнезда в гранитном уступе,

а ребенок спал у нее за спиной, положив головку набок и прижавшись к ее плечу. Она чувствовала его теплое дыхание у себя на шее и шептала то молитву, то ворожбу — то «Богородицу», то древнее заклинание против темных сил зла.

Когда Хуана выглянула из пещеры, ночь как будто посветлела, и на востоке, там, где должна была появиться луна, в небе проступило сияние. И, глядя вниз, Хуана увидела огонек сигареты во рту у дозорного.

Кино ящерицей медленно полз по гладкому уступу. Он дернул шнурок на шее и передвинул нож за спину, чтобы лезвие не звякнуло о гранит. Его растопыренные пальцы впивались в неровности горного склона, он льнул к нему грудью, нащупывал босыми ступнями опору, боясь поскользнуться, ибо малейший звук — шорох камешка, невольный вздох, неосторожное прикосновение тела к граниту — мог поднять на ноги тех, что были внизу. Любой звук, не сродный ночи, мог насторожить их. Но темная ночь не хотела молчать: маленькие квакши, жившие возле воды, чирикали, как птицы, в расселине громко отдавался металлический стрекот цикад. А в голове у Кино по-прежнему звучал напев врага, пульсирующий глухо, будто сквозь сон. Но Песнь семьи стала теперь пронзительной, свирепой и дикой, точно шипение разъяренной пумы. Она набирала силу и гнала его на встречу с врагом. Ее мелодию подхватили цикады, и чирикающие квакши вторили ей, расчленяя ее на маленькие фразы.

Неслышно, как тень, Кино спускался по утесу. Босая нога скользнет на несколько дюймов вниз, пальцы нащупают опору, вцепятся в нее, то же движение другой ногой, потом чуть передвинется ладонь правой руки, следом за ней — левая, и вот уже все тело бесшумно опустилось вниз. Кино открыл рот, чтобы и дышать беззвучно, ибо он знал, что невидимкой нельзя стать даже в темноте. Если дозорный, услышав какой-то шорох, взглянет на это темное пятно, прильнувшее к уступу,— на его тело,— он все поймет. Ползти надо было так медленно, чтобы дозорный даже не повел глазами в эту сторону. И прошло много времени, прежде чем Кино одолел спуск и скользнул за карликовую пальму у края гранитной площадки. Сердце грохотало у него в груди, ладони и лицо были мокрые от пота. Он скорчился за пальмой и, чтобы успокоиться, долго переводил дыхание, набирая полные легкие воздуха.

Каких-нибудь двадцать футов отделяли его теперь от врага, и он старался до мельчайших подробностей припомнить всю эту гранитную площадку. Нет ли на ней камня, о который можно споткнуться во время стремительного броска? Он стал растирать себе икры, чтобы их не свело судорогой, и почувствовал, как дер-

гаются у него мышцы после такого долгого напряжения. А потом он с опаской посмотрел на восток. До восхода луны оставались считанные минуты, надо торопиться. Силуэт дозорного темнел перед ним, но двоих спящих из-за пальмы не было видно. Дозорный ему и нужен — с ним и надо разделаться быстро и без всяких колебаний. Он осторожно потянул через плечо шнурок амулета и высвободил роговую рукоятку своего большого ножа.

Поздно! Едва он успел выпрямиться, как из-за линии горизонта в восточной части неба вынырнула серебряная кромка луны. Он снова спрятался за пальму.

Луна была старая, ущербная, но она бросила резкий свет и резкую тень в расселину, и теперь Кино ясно увидел человека с винтовкой на маленькой отмели у бочажка. Дозорный посмотрел на луну, снова закурил, и огонек спички осветил на миг его смуглое лицо. Ждать больше нельзя; как только дозорный отведет взгляд от луны, Кино бросится. Мускулы у него на ногах напряглись, точно пружина, заведенная до отказа.

И тут откуда-то сверху донесся тоненький приглушенный плач. Дозорный поднял голову, прислушиваясь, и встал, и один из спящих завозился на песке и спросил сонным голосом:

— Что это?

— Не знаю,— ответил дозорный.— Похоже на плач. Голос будто человеческий... будто ребенок плачет.

Проснувшийся сказал:

— Кто его знает? Может, койот с выводком? Мне приходилось слышать, как скулят их детеныши — совсем по-человечьи.

Пот крупными каплями катился по лбу Кино, попадал в глаза и обжигал их. Тоненький плач зазвенел снова, и дозорный взглянул на гранитный уступ — туда, где была пещера.

— Наверно, койот,— сказал он, и Кино услышал, как его винтовка сухо щелкнула затвором.

— Если это койот, он у меня сейчас замолчит,— сказал дозорный, поднимая винтовку к плечу.

Выстрел грянул, застигнув Кино посредине броска, и вспышка ослепила его. Большой нож взлетел вверх и ударил с надсадным хрустом. Лезвие прошло сквозь шею глубоко в грудь. Кино действовал, как страшный своей мощью механизм. Он схватил винтовку и одновременно рванул нож из раны. Его сила, стремительность и точность его движений — все было как у безотказно действующего механизма. Он круто повернулся всем телом и размозжил голову сидевшему на песке, будто это была дыня. Третий кинулся наутек ползком, точно краб, попал в бочажок, вскочил и, как одержимый, полез вверх по утесу, откуда тонкой ниточкой

струилась вода. Он скулил и лепетал что-то, цепляясь руками и ногами за плети дикого винограда. Но Кино был беспощаден и холоден как сталь. Не спеша поднял он спусковой рычаг, приложил винтовку к плечу, не спеша прицелился и выстрелил. Его враг рухнул со скалы прямо в воду, и Кино медленно подошел к бочажку. В лунном свете перед ним блеснули полные ужаса, безумные глаза, и Кино прицелился и выстрелил между глаз.

А потом Кино неуверенно повел головой по сторонам. Что случилось? Какой звук пытается проникнуть в его мозг? Квакши и цикады молчали. Но лишь только кровавая волна отхлынула от мозга Кино, он осознал этот звук. Этот протяжный, надрывный, забирающий все выше и выше истерический вопль несся из маленькой пещеры в гранитном уступе. Вопль — вестник смерти.

Все в Ла-Пасе помнят возвращение семьи Кино; быть может, там еще есть старики, которые сами присутствовали при возвращении Кино и Хуаны, но те, кто знает об этом только понаслышке от своих отцов и дедов, тоже представляют, как все было. Это возвращение никого не оставило безучастным.

Золотой солнечный день близился к вечеру, когда первые мальчишки как сумасшедшие ворвались в город и разнесли по всем улицам весть, что Кино и Хуана вернулись. Все высыпали им навстречу. Солнце спускалось к линии гор на западе, и тени длинными полосами тянулись по земле. И быть может, именно из-за них, из-за этих теней, возвращение Кино и Хуаны оставило такой глубокий след в людской памяти.

Они возвращались в город по изрезанной колеями песчаной дороге, и они шли не гуськом, как всегда,— Кино первый, Хуана за ним,— а рядом, бок о бок. Солнце светило им в спину, и длинные тени их шествовали впереди, так что казалось, будто они несут каждый по темной башне. Кино держал винтовку на согнутой руке, а Хуана шла, перебросив свою шаль через плечо, как узел. И узелок этот был маленький, но в нем лежало что-то тяжелое, оттягивающее ткань. Шаль Хуаны коробилась от запекшейся крови, и узелок чуть покачивался в такт ее шагам. Лицо у Хуаны было застывшее, скованное морщинками усталости, скованное борьбой с усталостью. А взгляд ее уходил куда-то внутрь. Она шла далекая и чуждая всему, как небо. Губы у Кино были плотно сжаты, скулы обрисовывались четко, и люди рассказывают, что он нес в себе что-то страшное, грозное, как надвигающаяся буря. Люди рассказывают, что и Хуана и Кино казались такими далекими от человеческих забот, человеческого горя; что, пройдя

сквозь муку, они будто вышли по другую ее сторону; что их обоих будто ограждала стена, воздвигнутая колдовской силой. И те, кто прибежал посмотреть на них, подались назад, уступая им дорогу, и не обмолвились с ними ни словом.

Кино и Хуана шли по городу так, будто города не было. Они не смотрели ни направо, ни налево, ни вверх, ни вниз, а только прямо перед собой. Шаг у них был чуть судорожный, как у искусно сделанных деревянных кукол, и грозные черные башни тянулись перед ними далеко вперед. И когда они проходили по городу с его кирпичными и каменными домами, скупщики жемчуга смотрели им вслед сквозь зарешеченные окна, слуги припадали одним глазом к прорезям в калитках, а матери поворачивали своих младших за плечи и прижимали их к себе — лицом в юбку. Кино и Хуана прошли бок о бок через весь город с кирпичными и каменными домами, миновали тростниковые хижины, и соседи подавались назад, уступая им дорогу. Хуан Томас поднял руку, приветствуя их, но слов приветствия не нашел, и рука его на минуту нерешительно повисла в воздухе.

Песнь семьи пронзительно звенела в ушах у Кино. Теперь он был свободен от всего и страшен в своей свободе, и Песнь эта стала его боевым кличем. Они прошли мимо черного квадрата — всего, что осталось от их хижины,— и даже не посмотрели в ту сторону. Они прошли сквозь заросли, окаймлявшие береговую отмель, и спустились к воде. И ни он, ни она даже не взглянули на свою пробитую лодку.

И, подойдя к самой воде, они остановились и устремили взгляд на Залив. А потом Кино положил винтовку на песок, сунул руку за пазуху и вынул оттуда свою огромную жемчужину. Она лежала у него на ладони. Он вгляделся в ее поверхность — серую, бугристую теперь. Искаженные злобой лица смотрели на него оттуда, и он увидел зарево пожара. И на поверхности жемчужины он увидел обезумевшие глаза человека, упавшего в бочажок. И на поверхности жемчужины он увидел Койотито, который лежал в маленькой пещере, и головка у Койотито была размозжена пулей. Жемчужина была страшная; она была серая, как злокачественная опухоль. И Кино услышал Песнь жемчужины, нестройную, дикую. Пальцы Кино чуть дрогнули, и он медленно повернулся к Хуане и протянул жемчужину ей. Она стояла рядом с ним, все еще держа за спиной свой недвижный узелок. Секунду она смотрела на жемчужину, потом взглянула Кино в глаза и тихо проговорила:

— Нет... ты.

И Кино отвел руку назад и что было сил швырнул жемчужину далеко в море. Кино и Хуана следили, как она летит, мерцая

и подмигивая им в лучах заходящего солнца. Они увидели легкий всплеск вдали и, стоя рядом, бок о бок, долго не сводили глаз с этого места.

А жемчужина коснулась прекрасной зеленой воды и пошла ко дну. Покачивающиеся водоросли звали, манили ее к себе. На ней играли прекрасные зеленые блики. Она коснулась песчаного дна. Вода на поверхности моря была как зеленое зеркало. А жемчужина лежала на дне, среди перистых, похожих на папоротник растений. Краб, скользнувший мимо нее, поднял за собой легкое облачко песка, и когда оно рассеялось, жемчужина исчезла.

И Песнь жемчужины сначала перешла в невнятный шепот, а потом умолкла совсем.

ПРИМЕЧАНИЯ

С творчеством Дж. Стейнбека советский читатель впервые познакомился незадолго до начала Великой Отечественной войны. Летом и осенью 1939 года на страницах «Правды» появились отрывки из романа «Гроздья гнева», который на следующий год в полном объеме был напечатан в журнале «Интернациональная литература», а также вышел отдельной книгой. Общий тираж этих изданий «Гроздьев гнева» превысил 300 тыс. экземпляров. В 1957 году роман Стейнбека был переиздан Гослитиздатом в серии «Зарубежный роман XX века» с предисловием Б. Изакова.

Повесть Стейнбека «Луна зашла» в 1943 году печаталась на страницах журналов «Огонек» и «Звезда» и была опубликована в том же году отдельным изданием в Магадане. В 1956 году журнал «Иностранная литература» публикует повесть Стейнбека «Жемчужина», а в 1962 году — роман «Зима тревоги нашей»; оба произведения были затем перепечатаны Издательством иностранной литературы.

В первой половине 60-х годов многие рассказы Стейнбека (взятые в основном из сборника «Длинная дорога», 1938) широко публиковались различными периодическими изданиями. В подборку «Нового мира» (1963, № 12) были также включены два отрывка из романа «Небесные пастбища». Несколько новелл Стейнбека составили сборник «Уши Джонни Медведя» («Правда», 1963); в том же году издательство Художественной литературы опубликовало перевод повести «Квартал Тортилья-Флэт». Затем несколькими изданиями (включая журнальные) был напечатан путевой дневник Стейнбека «Путешествие с Чарли в поисках Америки».

Отрывки из последнего произведения Стейнбека «Америка и американцы» были помещены в журнале «Нева» (1966, № 12).

В Советском Союзе Дж. Стейнбек побывал трижды. Впервые это случилось летом 1937 года, во время его первого путешествия в Европу, включавшего также Великобританию, Ирландию и Швецию. Десять лет спустя по поручению газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» Стейнбек вновь приехал в СССР. В поездке его сопровождал популярный фотокорреспондент Р. Кейпа. Впечатления от увиденного, не свободные от веяний «холодной войны», Стейнбек изложил в «Русском дневнике» (1948).

Последний приезд американского прозаика в нашу страну пришелся на ноябрь 1963 года. По просьбе президента США Дж. Кеннеди, Стейнбек вместе с драматургом Э. Олби принял участие в «культурной миссии доброй воли» в рамках двустороннего соглашения о расширении культурного сотрудничества между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

КВАРТАЛ ТОРТИЛЬЯ-ФЛЭТ

Повесть была завершена Стейнбеком в конце 1933 года, однако издана фирмой Ковиси-Фрид лишь два года спустя — в обстановке жестокого экономического кризиса публикация книги малоизвестного прозаика казалась многим издателям слишком рискованным делом.

В работе над «Кварталом Тортилья-Флэт» Стейнбек, по его собственным словам, помимо непосредственных жизненных впечатлений, ориентировался на композицию, характеры и общий «рыцарский колорит» известного романа Т. Мэлори «Смерть Артура» (XV в.). «Форма книги — вариации на тему Мэлори»,— писал Стейнбек своему литературному агенту М. Макинтошу зимой 1934 года. «Однако,— признавался писатель,— наверно, мне не удалось сделать свое намерение предельно ясным». Действительно, нарочитые литературные параллели отступают в повести Стейнбека на второй план по сравнению с искусной обрисовкой человеческих характеров и необычного образа жизни персонажей. «Главная задача этой книги,— указывал писатель,— это показать живых людей, малоизвестных широкому миру, но лично мне чрезвычайно симпатичных»

Стр. 25. *Рыцари Круглого стола.*— В кельтских народных преданиях, которыми пользовались Т. Мэлори и другие сочинители рыцарских романов, говорится о том, как легендарный король Артур, вождь бриттов в V—VI вв., велел изготовить для придворных пиршеств круглый стол, за которым все рыцари чувствовали бы себя равными.

Стр. 27. *Война с Германией.*— Имеется в виду первая мировая война, в которую США вступили в апреле 1917 г.

Стр. 34. *Боевой Боб* — прозвище американского адмирала Робли Эванса (1846—1912), получившего известность во время испано-американской войны 1898 г.

Стр. 53. *Женский Христианский Союз Трезвости* — одна из американских филантропических организаций; основана в середине XIX в.

Стр. 54. *Святой Франциск* Ассизский (1182—1226) — католический священник, основатель ордена францисканцев, отличавшегося строгостью нравов и аскетизмом.

Стр. 77. «*Сухой закон*» — действовал на территории США с 1920 по 1934 г.

Стр. 134. *Сан-Квентин* — тюрьма штата Калифорния; закрыта в середине 60-х годов.

Стр. 162. *Армия спасения*— известная благотворительная организация, имеющая отделения в каждом штате США.

ГРОЗДЬЯ ГНЕВА

Начало осуществления замысла «Гроздьев гнева» относится к осени 1936 года, когда в газете «Сан-Франциско ньюс» была опубликована серия статей Стейнбека, посвященная положению сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии. Год спустя Стейнбек отклонил предложение журнала «Лайф» подготовить чисто сенсационный репортаж о голодающих калифорнийцах.«Я просто не в состоянии зарабатывать деньги на этих людях... Их страдания слишком велики»,— писал он в начале 1938 года, уже в процессе работы над будущим романом.

Первый вариант книги под условным названием «Случай в Салатном городке» не удовлетворил автора и был им коренным образом переработан. Создание «Гроздьев гнева» потребовало предельного напряжения духовных и физических сил писателя; после отсылки рукописи в издательство «Вайкинг» в конце 1938 года Стейнбеку на несколько недель был предписан постельный режим.

Публикация «Гроздьев гнева» вызвала острую идейную полемику в общенациональном масштабе. Против разоблачительного пафоса романа выступили Объединенная ассоциация фермеров, ряд городских советов в штатах Нью-Йорк и Калифорния, архиепископ (впоследствии — кардинал) Спеллман.

«Объединенные фермеры» очень хитроумно пытались заставить меня взять свои слова обратно. Однако им не повезло, поскольку роман полностью документирован. Все материалы, на которых он основан, были переданы в комитет конгресса под председательством Лафоллета, а когда расследование заблокировали, их переслали в министерство юстиции... Вряд ли им удастся теперь меня застрелить, так как причина была бы слишком очевидной. Пока я чувствую себя в безопасности, если не думать об автомобильных авариях, внезапных нападениях и тому подобном»,— так писал Стейнбек летом 1939 года, сделавшего его всеамериканской знаменитостью. Тогда же автор «Гроздьев гнева» был избран в «Национальный институт искусств и литературы», а год спустя роман получил литературную премию Пулитцера — одновременно с пьесой У. Сарояна «Лучшие годы жизни» и биографией Линкольна, принадлежавшей перу К. Сэндберга. Большой успех имела и экранизация романа (1940, режиссер Дж. Форд).

Эпиграф к роману — посвящен Кэрол Стейнбек (Хеннинг), первой жене Стейнбека, и Тому Коллинзу, психологу, руководителю правительственного лагеря для рабочих-мигрантов вблизи Бейкерсфилда (Калифорния).

Стр. 249. «*Сирс Роубак*»— известная в 30-е годы посредническая фирма, занимавшаяся пересылкой товаров по почте.

Стр. 251. «*Странствия пилигрима*» — нравоучительно-аллегорический роман английского писателя-пуританина Джона Беньяна (1628—1688). По сей день пользуется популярностью у консервативных американцев, принадлежащих к протестантской церкви.

Стр. 312. *Пейн* Томас (1737—1809) — известный общественный и политический деятель США эпохи Войны за независимость 1775—1783 гг., выразитель взглядов радикальной демократии. Многие идеи памфлета Пейна «Здравый смысл» нашли отражение в Декларации независимости (1776), принятой Вторым континентальным конгрессом и включенной впоследствии в конституцию США.

Стр. 316. *Субъект из Белого дома.*—Имеется в виду Франклин Делано Рузвельт, президент США в 1933—1945 гг.

Она снималась у Уорнеров.— Братья Уорнер — одна из ведущих кинофирм Голливуда в 30—50-х годах.

Стр. 365. *...на побережье есть один хозяин, у которого этой земли миллион акров.*— Речь идет о семействе Херстов, помимо крупных земельных участков и другой недвижимой собственности, владевшем с начала XX в. многими бульварными изданиями в разных городах США. В послевоенные годы влияние концерна Херста в американском издательском мире заметно уменьшилось.

Стр. 391. *Когда-то давно Калифорния принадлежала Мексике...*—Территория нынешней Калифорнии перешла к США после войны с Мексикой в 1846—1848 гг. С 1850 г. Калифорнии предоставлен статут штата.

Стр. 394. *Гувервили* — ироническое наименование (по имени Г. Гувера, президента США в 1929—1933 гг.) поселков бездомных и безработных американцев, стихийно возникавших в стране в годы экономического кризиса.

Стр. 440. *Американский легион*— организация бывших военнослужащих, ветеранов войн, в которых США принимали участие. Основан в 1919 г.

Стр. 545. *Виджилянты*— «бдительные»; так назывались отряды народной милиции североамериканских колоний во время Войны за независимость; впоследствии это наименование присвоили себе наемники крупных собственников, боровшихся с профсоюзным и негритянским движениями.

ЖЕМЧУЖИНА

В мае и апреле 1940 года Стейнбек вместе с биологом Эдом Риккетсом совершил путешествие по западному побережью Мексики. В опубликованной Стейнбеком и Риккетсом год спустя книге путевых заметок «Море Кортеса» намечены общие контуры народного предания, которое впоследствии легло в основу повести. Впервые «Жемчужина» была опубликована в 1945 году в жен-

ском журнале «Вуменс хоум компэниен» и в 1947 году вышла отдельным изданием. Для экранизации повести Стейнбеком был написан сценарий (совместно с Дж. Вагнером).

Тема жизни и страданий мексиканского народа нашла у Стейнбека также отражение в документальной повеси «Забытая деревня» (1941) и в сценарии фильма «Вива Сапата!» (1952).

Стр. 620. *Залив.*— Имеется в виду сильно вытянутый в меридиональном направлении Калифорнийский залив, отделяющий полуостров Калифорния от основной территории Мексики.

Стр. 645. *Ла-Пас* — город на юго-западной оконечности полуострова Калифорния.

А. Мулярчик

СОДЕРЖАНИЕ

А. Мулярчик. Творческий путь Джона Стейнбека 5

КВАРТАЛ ТОРТИЛЬЯ-ФЛЭТ. *Перевод И. Гуровой* 21
ГРОЗДЬЯ ГНЕВА. *Перевод Н. Волжиной* 167
ЖЕМЧУЖИНА. *Перевод Н. Волжиной* 615

Примечания *А. Мулярчика* 681

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 183

Джон Стейнбек

КВАРТАЛ ТОРТИЛЬЯ-ФЛЭТ
ГРОЗДЬЯ ГНЕВА
ЖЕМЧУЖИНА

*

Редактор Е. Осенева
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Т. Кузина и В. Широкова

*

ИБ № 460
Сдано в набор 26/VII 1976 г. Подписано к печати 18/XI 1976 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 43 печ. л. 40,12 усл. печ. л. 44,28+1 вкл. +8 нак. = 45,33 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ 592. Цена 2 р. 19 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28